

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://nekrasovniko1ai.ru/> Приятного чтения!

Собрание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов

Том первый  
Часть первая  
Глава I  
Летний вечер

Четыре часа пополудни; день жаркий, но воздух чист и ароматен. Солнце усердно нагревает темно-серые стены большого, неуклюжего дома, стоящего вдали от прочих деревенских изб. Об архитектуре его можно сказать одно: вероятно, он был недостроен, когда его покрыли крышей. Окна, маленькие и редкие, наглухо заперты. У дома есть и сад; но он несколько не защищает его от солнца; кроме кустов сирени да акаций, не видно в нем никаких дерев. Впрочем, в нем найдется всё необходимое для деревенского сада: крытая аллея из акаций, с беседкой, несколько дряхлых скамеек, расставленных на дурно выметенных дорожках; в стороне – гряды с клубникой, а по забору тянутся кусты смородины и малины. Полусгнившая терраса с колоннами и деревянными перилами, выкрашенными белой краской, выходит в сад, и от нее тянется дорожка; она спускается вниз к небольшой реке, которая вся покрыта болотными лилиями и другими травами. Через речку перекинут узенький мостик в китайском вкусе. Переходящему его нужно иметь достаточный запас мужества, потому что местами доски сгнили, а остальные прыгали от прикосновения. Но за смелость свою он щедро вознаграждался, очутившись вдруг в прекрасном лесу вместо унылого, обнаженного сада. Огромные деревья заменяли здесь беседку и крытую аллею, зеленая мягкая трава с цветами – сгнившие деревянные скамейки. Тут так всё дышало весело и роскошно, как будто не маленькая река, а целое море разделяло два сада.

Вступив в дом, мы увидим одну из главных комнат, необыкновенно широкую и низенькую, с полом, выкрашенным густо-коричневой краской, с закопченным потолком, с мебелировкой, в которой каждая вещь свидетельствует давность лет и лишение удобств. Высокие стулья, выкрашенные белой краской, с букетом роз на спинке, с соломенными подушками, привязанными к сиденью, жались плотно друг возле друга, окаймляя стены. Посреди комнаты – обеденный круглый стол с бесчисленными тоненькими ножками, напоминавший огромного окаменелого паука. В углу против окон – массивный флигель в неуклюжем чехле из толстого серого сукна. На желтой закопченной стене – барометр, оправленный в черное дерево. В одном углу помещались стенные часы с пудовыми гирями, которые по огромности своей скорее годились украшать башню рыцарского замка, чем столовую мирного селянина.

Под монотонный стук маятника по комнате ходила женщина пожилых лет, с лицом бледным и суровым. В ее крупных и неправильных чертах было полное отсутствие малейшей нежности. Закинув руки назад, она прохаживалась тяжелою поступью, погруженная в раздумье. Ее полутраурный туалет гармонировал с мрачностью комнаты: он состоял из темного ситцевого капота и бархатной пелеринки с бахромой; за поясом позванивала огромная связка ключей; тюлевый чепчик с темными лентами прикрывал волосы женщины, черные с проседью.

У окна, затянутого серпянкой, сидели девушка и старичок, лицом друг к другу. Противоположность лет резко выказывала молодость, полную жизни, и кроткую старость. Несмотря на совершенно детский туалет девушки, ей смело можно было дать лет шестнадцать. Ситцевое полинялое светленькое платье с короткими рукавами, которые выказывали полненькие и красивые руки, и беленькая детская пелеринка не могли скрыть пышных плеч. Девушка была причесана а la chinoise. [1] Ее слегка волнистые волосы приподняты были кверху, открывая красивый лоб и виски. Коса ее, очень густая, низко спускалась на затылок, на котором вились от природы маленькие пукли. Головка так грациозно была поставлена на ее прекрасных плечах, что невольно обращала на себя внимание. Черты лица были небольшие, исключая глаз – ясных и смелых; а в очертании красивых губ, несмотря на детское еще выражение всего лица, выражалось уже столько энергии, что вы невольно догадывались о силе характера. Гармония господствовала во всей фигуре девушки, начиная с огненных ее глаз до красивых пальцев, которыми она работала бисером на бумаге, – занятие, придуманное для потери зрения.

Старичок был очень маленького роста: он почти весь мог бы усесться в вольтеровских полинялых креслах. Лицо его было кротко, черты мелкие, но,

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
несмотря на дряхлость, сохранившие еще форму. Из-под белого вязаного колпака, которым была покрыта его голова, падали редкие длинные седые волосы и ложились на воротник ситцевого халата. Огромные очки почти закрывали всё его маленькое лицо. На коленях у него лежала книга, а на окне подле него – табакерка и розовый клетчатый платок.

Тишина была томительная кругом в доме; одна только мерно-тяжелая поступь, то заглушаемая боем маятника, то вторившая ему, монотонно раздавалась по зале. Внимательный глаз, однако ж, заметил бы маленькую комедию, которая безмолвно разыгрывалась среди всеобщей тишины. Лишь только высокая женщина поворачивалась спиной к окнам, как девушка отнимала голову от работы и заглядывала за ширмы, стоявшие у окна. Старик делал то же. Они улыбались, глядя в окно; по временам девушка едва сдерживала смех. Но как только высокая женщина доходила до двери против окон и поворачивалась, девушка и старик пугливо обращались к своим занятиям; лица их быстро принимали серьезное выражение.

Внимание старичка и девушки привлекал стоявший у окон в саду высокий мальчик... Впрочем, мальчиком его можно было назвать только по костюму, да еще по гримасам и прыжкам, какие он теперь выделявал. Широкие его плечи заключены были в узенькую синюю суконную курточку, рукава которой едва доставали до кисти его мускулистых рук. На отложенный воротничок рубашки падали светло-белокурые длинные волосы. Ростом он был довольно высок и вообще имел вид недоросля. Щеки его горели ярким румянцем, пот катился градом с его открытого лба; но он ничего не замечал и усердно гримасничал и ломался. Однако ж проказам его, которые так занимали старика и девушку, суждено было скоро кончиться.

Высокая женщина случайно, не дойдя до двери, повернула голову и застала врасплох старичка и девушку. Как бы почувствовав устремленные на них зоркие глаза, они оба вздрогнули и склонили головы, один – к книге, другая – к работе. Язвительно улыбнувшись, высокая женщина молча вышла из залы в боковую дверь. Девушка выразительно переглянулась со старичком и робко прислушивалась к стуку двери в соседней комнате, которая выходила на террасу. Через минуту возвратилась в зал высокая женщина; запыхавшись, тащила она за собою проказника, пойманного врасплох в саду, – он неохотно шел за ней, упираясь всем телом. Со всею силой своего высокого роста и могучих плеч она посадила мальчика на стул у флигеля и грозно сказала:

– Я жду, жду его, думаю – еще в классе, а он изволит гримасничать, как фигляр какой-нибудь. – И, с презрительной миной обратясь к старичку, который, как школьник, уткнулся в книгу, она прибавила: – А как вам-то не стыдно?

Затем, быстро отвернув голову, подошла к девушке, низко склонившей голову над работой, с готовностью принять грозу, уже тяготеющую над ней.

– А вы, сударыня! – воскликнула высокая женщина, дурно скрывая свой гнев и, однако, стараясь придать своему голосу более ровности. – вспомнили бы, что едите чужой хлеб, носите чужое платье! хоть бы из деликатности, коли в вас нет благодарности, слушались ваших благодетелей. Не зевали бы по окнам, а работали бы.

Изливая таким образом свой гнев, высокая женщина всё ближе и ближе подходила к девушке. Сдерживая ускоренное дыхание, бедная девушка сжала свои губы, на которых как бы блуждала улыбка; щеки ее горели, а дрожащей рукой она ловила бисеринку, которая упорно увертывалась от нее.

Голос высокой женщины всё возвышался, лицо пылало гневом. Она продолжала:

– Я вас прочу, сударыня, я заставлю вас не улыбаться, а плакать, когда вам говорят дело. Взятая из милос...

Но тут она была прервана сильным стуком крышки флигеля и диким криком: то кричал молодой человек, кусая свою руку и подпрыгивая.

Высокая женщина кинулась к нему; в минуту гнев исчез с ее лица, смененный испугом. Она озабоченно смотрела на мальчика, повторяя:

– Всё твои шалости!

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
И она хотела было дотронуться до его руки; но он дико вскрикнул: «Ай, больно!» – и уклонился.

– Воды холодной и уксусу, скорее, скорее! – отрывисто проговорила высокая женщина, подавая связку ключей девушке, подбежавшей к ней.

Вода и уксус были принесены, и ушибленная рука молодого человека обвязана. Через пять минут он сидел у круглого стола за книгой, а высокая женщина – против него с аршинными спицами, которыми она вязала шерстяной шарф. В комнате воцарилась тишина, нарушенная, впрочем, очень скоро сильным ударом, которым наградила себя в лоб мальчик, преследуя докучливую муху. Неожиданная его выходка рассмешила девушку; но смех ее был приостановлен грозным взглядом высокой женщины и повелительным восклицанием:

– читай вслух!

Молодой человек повиновался. Но он читал то басом и необыкновенно скоро, то пищал, коверкая немецкие слова (он читал по-немецки) так уморительно, что, кроме высокой женщины, все едва удерживались от смеху. Потеряв терпение, она вырвала у него книгу и, отбросив ее, сказала грозно:

– погоди, голубчик, перестанешь ты у меня тешить ленивицу, дай приехать ему!

Казалось, эта угроза подействовала на шалуна: он оперся на стол руками, затянутыми в узкие и короткие рукава курточки, положил на них голову и стал смиренно глядеть за бегающими по столу мухами. Все углубилось в свои занятия; девушка случайно подняла голову и встретилась глазами с молодым человеком: на лицах у обоих, как молния, мелькнул смех; она подавила его кашлем, а он разразился истерическим взрывом хохота.

Высокая женщина и старик вздрогнули; отбросив свое вязанье и сложив руки, первая с недоумением глядела на смеющегося юношу, который зажимал рот больною рукой.

– Чему ты смеешься? – запальчиво спросила она.

Он, вспрыгивая, забарабанил по столу обвязанной рукой.

– А-а-а! у вас, кажется, вся боль прошла от смеху? – сказала язвительно высокая женщина и, освидетельствовав его руку, с сердцем толкнула шалуна к флигелю, проворчав: – смеет обманывать!

Но он не унимался: сидя за флигелем, он поминутно сморкался и принужденно кашлял, поглядывая искоса на девушку.

– Вы, кажется, сегодня решились меня бесить; но вам не удастся – вон отсюда!! – сказала повелительно высокая женщина.

В голосе ее было столько силы и твердости, что юноша потупил глаза, но, однако ж, не двигался с места.

– я тебе говорю! – с нетерпением прибавила она.

– я виноват, больше не буду! – покорным голосом отвечал он и взял аккорд.

– Не хочу слушать ваших извинений! – проговорила более кротким голосом высокая женщина и, повернувшись спиною к флигелю, стала вязать.

Молодой человек играл с большим одушевлением; в его игре видно было также много механического труда. Он разыгрывал одну из сонат Бетховена. Трудно было поверить, что это был тот самый шалун, который за минуту вел себя так детски. Нежные черты его лица приняли задумчивое и печальное выражение. Голубые глаза быстро перебежали от нот к клавишам. Брови его слегка сдвинулись, и вся его фигура возмужала и дышала энергией. Часа два он без умолку играл. Высокая женщина, оставив свое вязанье, неподвижно его слушала. Девушка по временам поглядывала на играющего и на слушающих его, и улыбка блуждала на ее веселом лице. Старичок сладко спал в своих креслах. Заметив, что играющему жарко, высокая женщина глазами приказала девушке открыть окно, у которого она сидела.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Пробило с громом семь часов. Высокая женщина сочла их и ласково произнесла:

– Довольно, Петруша!

Но играющий не обращал внимания на ее слова: он продолжал играть; зато старичок при голосе высокой женщины пугливо проснулся и вопросительно глядел на нее. Она повелительно сказала, обращаясь к девушке:

– Прикажете давать чай!

Играющий остановился, встав из-за флигеля, подошел к высокой женщине и поцеловал ее в плечо. Вся суровость и холодность исчезли с ее лица. Она с любовью расправила взмокшие волосы, прильнувшие к пылающему лбу Петруши.

– Тетенька, – сказал он, – мы будем пить чай на террасе? здесь так душно!

– Да, ты весь в испарине.

И тетка вытерла ему лоб своим платком.

— Ничего! посмотрите, как тихо в саду! – подходя к раскрытому окну, сказал Петруша, и вдруг его лицо приняло прежнее детское выражение; он выбежал из залы, говоря: – Я, тетенька, велю готовить чай на террасе!

Тетка не успела кивнуть головой в знак согласия, как Петруша уже был в саду и невероятными прыжками пустился бежать по аллее, ведущей к мостику. За несколько шагов он был остановлен криком «Стой!», и девушка, смеясь, выскочила из-за куста.

Они схватились за руки, стали ровно в линию и, переглянувшись, ударили три раза в ладоши, протяжно произнося: «Раз... два... три!» Затем с веселым криком пустились они бежать через мостик в ту часть сада, которую правильнее назвать лесом. Они бежали не переводя духу, поддразнивая друг друга; наконец девушка, обняв руками небольшую тонкую березку, радостно закричала:

– Я первая, я первая!

– Я второй, я второй! – обнимая деревцо, смеясь и подражая голосу девушки, кричал Петруша.

– Ах! потише, Петруша! – сказала девушка и стала оправлять свою слегка помявшуюся пелеринку.

Петруша насмешливо глядел на нее.

– Да вам, кажется, нравится, – продолжала она, – когда ваша тетенька бранит меня, что я скоро пачкаю пелеринки!

– А хорошо я ее надул? – с гордостью спросил Петруша, и, скача с ноги на ногу, он жалобно пищал: – О! больно, больно!

И оба расхохотались.

– Однако пойдем домой: может, уж нас ищут! – пугливо сказала девушка.

И, перейдя мостик, они пошли к дому разными дорожками.

На террасе, у стола, за самоваром, уже сидела высокая женщина, когда девушка подходила к дому. Петруша первый подошел к столу и сел подле сухой фигуры с длинным неподвижным лицом, желтыми жидкими волосами и серыми злыми глазами, быстро бегавшими. Этот человек был так тощ, как будто его готовили для гербариума. Длинная его шея, как пучок проволоки, затянута была в белую пожелтевшую косынку, под цвет его лицу. Старинный синий фрак с медными пуговицами был ему видимо широк; зато нанковые сиреневые узенькие панталоны обрисовывали не только его высохшие ноги, но и голенищи его топорных сапогов. Канареечного цвета жилет дополнял его наряд. То был учитель Петруши. Чахоточная, маленькая, сероватого цвета женщина сидела возле него, робко глядя на всех. Что-то жалкое и страдальческое было в ее фигуре. То была подруга его жизни.

Во время чаю, кроме Петруши да его тетеньки, никто не говорил. По окончании чаю учитель отвесил поклон и удалился; за ним последовала его жена, сделав неловкий реверанс хозяйке. Старичок медленно прохаживался по саду с Петрушей и девушкой, а высокая женщина, сидя на террасе, рассуждала с ключницей.

## Глава II Учитель

Высокая женщина была полная хозяйка в доме своего единственного брата, который был в отсутствии в эту минуту. Он не был вообще домоседом; зато сестра во всю жизнь не более двух раз выезжала из деревни в ближайший город, и то на короткое время. Воспитанная строгой мачехой, которая славилась по всей губернии своим искусством хозяйничать и примерной экономией, Настасья Андреевна (так звали высокую женщину) в четырнадцать лет окончила свое образование. Она не умела читать и писать правильно, зато обладала обширными познаниями в хозяйстве. Она знала все тайны и уловки скотниц и поваров, разные соленья, варенья, делание цукатов и уксусу... впрочем, трудно перечесть, что знала она по хозяйственной части... считала отлично, даже на счетах. В лучшую свою пору она была бы недурна собой; но отсутствие моциона быстро развивало в ней полноту, которая не шла ни к летам девушки, ни к сложению, и без того плотному, да и характер у нее был довольно тяжелый. Для нее не существовали удовольствия молодой девушки. Она не любила даже быть с равными по летам и очень скучала редкими своими выездами. Она была самолюбива, и ее оскорбляло незавидное положение в обществе. Не умея вести разговора с мужчинами, которые изредка к ним приезжали, дурно танцуя, не имея, по скупости мачехи, нарядного туалета, она сделалась равнодушна к удовольствиям своих лет прежде, чем испытала их, и не только полюбила свою незавидную жизнь, но даже не постигала другой жизни вне кладовых и хозяйственных работ, которыми занимали ее с утра до ночи.

Выше всего ставя экономию и умение хозяйничать, мачеха была совершенно довольна апатичным характером Настасьи Андреевны, но считала всё-таки нелишним ежедневно читать ей наставления касательно бережливости и т. п. Старуха видела в падчерице залого хорошей хозяйки и внутренне радовалась им, но ворчала, по привычке, «что она своей щедростью сделает ее нищей».

Мать Настасьи Андреевны умерла при самом рождении дочери. Отец женился во второй раз и через год тоже умер, оставив вторую жену полной распорядительницей имения до совершеннолетия детей. Всё в доме изменилось, и скупой характер мачехи не замедлил проявиться.

Оставшись вдовой, опекушкой двух малолетних детей, она с помощью бережливости привела расстроенное их имение в цветущее состояние, но зато страшно высохла душой. Никакие чувства вне хозяйственного интереса не существовали для нее, и она ревновала свою падчерицу, как страстно любящая женщина, ко всему, кроме хозяйства. Девушке строго воспрещены были чтение и музыка, к которой она оказывала большое расположение, – единственная склонность, какую в ней замечали. Но старуха видела в музыке явный подрыв своему благосостоянию, и только в редкие свободные часы дозволялось Настасье Андреевне садиться за избитые пятиоктавные клавикорды. Безжизненное, холодное лицо Настасьи Андреевны одушевлялось, небольшие глаза ярко горели, если ей случалось по слуху разыграть какой-нибудь вальс или романс.

Брат Настасьи Андреевны был старше сестры только годом; но молчаливый, серьезный характер делал его старым не по годам. Он также весь предан был хозяйственным делам – ходил в молотильню, на мельницу, по конюшням и мог заменить искусного управляющего по своей распорядительности и строгости. Между братом и сестрой не существовало дружбы, даже подобия этого чувства. Впрочем, тому много способствовало их воспитание. Едва Настасья Андреевна начала помнить себя, как ей приказано было брату своему говорить «вы» и слушаться его во всем. Играть им не позволялось ни вместе, ни порознь. Всё развлечение их состояло в соревновании – кто скорее и вернее вычислит или сложит ту или другую арифметическую задачу. К тому жезависть, так свойственная в детях к похвалам родных, много охлаждала их. И надо сознаться, что старуха с необыкновенным искусством умела поджигать рвение их к хозяйству. С тонким расчетом хвалила она то одного, то другую гостей своим, высчитывая их экономические подвиги.

Однако, как ни откладывалось воспитание сына, но наконец мачеха увидела, что оно необходимо. Она стала приискивать гувернера. Судьба, казалось, заботилась о

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
скупой старухе. За самую незначительную сумму взялся приготовить мальчика молодой и очень образованный иностранец. Вот как было дело. Богатый сосед, возвратись из-за границы, привез с собой молодого человека родом из Германии. Помещику нравились восторженность его характера, его громадные надежды на будущее, которыми он жил, не заботясь о настоящем. Познакомься с ним за границей, богатый барин привез его в деревню больше для компании, чем для управления своим оркестром. Но, идеалист по натуре, немец ничего не видел: он думал, что страсть к музыке скрепила их узы, и только глубокий сон, в который погружался иногда его меценат среди концерта, смущал мечтателя. Дирижируя деревенским оркестром, он воображал, что занимает столько же важный пост, как шеф какого-нибудь европейского оркестра, и, садясь за фортепиано играть перед дремлющим своим меценатом, дрожал и менялся в лице, будто тысячи дилетантов собрались слушать его. Немец имел несчастную слабость, свойственную многим, – придавать излишнюю важность тому, чем занимался. Самолюбие было причиной тому, а может быть, и страсть к искусству. Некоторые странности и неровности в характере мецената с избытком выкупались привольною жизнью. Немец прожил так с полгода, как вдруг совершенно неожиданно покровитель его упал со стула и покончил дни свои. Удар был двойной. Немец очутился без гроша денег и в чужой земле. Разделив инструменты по равной части, наследники не обратили внимания на несчастного распорядителя их, который принужден был приютиться из милости у старого управляющего. Чужой хлеб горек, и как только открылось первое место, немец с радостью взял его. Нужда заставила его избрать другой путь: вместо композитора и капельмейстера, он сделался гувернером у скупой и сварливой старухи. Но, поступив к ней в качестве учителя, он не мог отказаться от своих мечтаний. Заметив расположение к музыке в Настасье Андреевне, учитель стал заниматься с ней. Расчет победил в старухе нелюбовь к музыке, и она очень обрадовалась, что даром обойдется музыкальное образование падчерицы. Там, где другой увидел бы только способность к музыке, восторженный немец провидел нечто необыкновенное. Ему вообразилось, что судьба призвала его к завидному подвигу – образовать будущую знаменитость. Невеселая его жизнь у старухи приняла характер, полный интереса, и когда приходила ему мысль переменить место, совесть останавливала его: он боялся погубить талант, который действительно был в Настасье Андреевне.

Избитые пятиоктавные клавикорды терзали учителя: он потребовал другие, угрожая в противном случае прекратить музыкальные уроки. Но скупую старуху несколько не испугала такая угроза; она даже обрадовалась, потому что Настасья Андреевна, слишком ревностно занимаясь музыкой, делала иногда упущения по хозяйству. Видя, что угрозы не действуют, учитель сделал старухе следующее предложение: купить флигель пополам; но как у него не было денег, то предоставлялось ей право вычитать из его жалованья; если же он отойдет, то флигель остается ей.

Не скоро решилась старуха на такое выгодное предложение; но когда привезли флигель, она не могла налюбоваться им, облекла его в серый суконный чехол и объявила, что позволяет играть на нем не более одного раза в неделю – по воскресеньям.

Немец страшно рассердился и отвечал, что вносит свою сумму на том же условии: флигель останется ей, когда он отойдет, лишь бы теперь им пользоваться. Страх потерять дешевого учителя заставил старуху согласиться, и флигель был перенесен из залы в классную, возле комнаты учителя и его ученицы. Тут только началось серьезное ученье. Так как днем мало было времени у Настасьи Андреевны, то она занималась музыкой по ночам, как только старуха ложилась спать и отпускала ее.

Прошло два года. Настасья Андреевна сделалась совершеннолетней девицей. Она говорила довольно развязно по-немецки; полнота ее исчезла, черты лица стали помельче и понежнее; в глазах появился блеск; вся фигура как будто переродилась, ожила. Ее начали огорчать и доводить до слез упреки старухи в расточительности, которая, впрочем, была совершенно вымышленная, и если в чем проявлялась, так разве в лишнем куске сахара, положенном в стакан учителю.

Брат Настасьи Андреевны учился лениво, потому что внимание и все способности его были настроены к предметам коммерческим и хозяйственным. Он скупал мед, перепродавал его, жил на полях в рабочую пору, – словом, ему было не до книг. Но мачеха благоразумно рассуждала, что деревенская деятельность не может принести значительных выгод его жизни, и стала готовить сына в полк. Эта весть как громом поразила учителя. Он ужаснулся при мысли, что должен бросить свои надежды, которые успели уже пустить глубокие корни в его мечтательном сердце. Немец возмечтал создать из своей ученицы знаменитую виртуозку... и сколько славы,

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a  
сколько радостных и высоких волнений обещало ему будущее! Часто, строя свои воздушные замки, он уже видел огромную, ярко освещенную залу, полную публикой. Он подводит к роялю свою ученицу – ее встречают рукоплесканиями. Она играет – ее слушают с восторгом; она кончила – зала потрясается криками; их вызывают обоих, забрасывают букетами! На другой день газеты наполнены похвалами ему и его ученице. Его жертвы, борьба, труды – всё, всё вычислено. Подобным мечтам не было конца в непрактической голове учителя. В вечном деревенском однообразии, среди вечных мелочей узкой и бедной жизни Настасья Андреевна была его будущее, его слава. И нелегко было ему вдруг расстаться с мечтами, которые он лелеял и развивал целые четыре года!

Но еще тяжелее отразилась роковая весть в сердце Настасьи Андреевны: она приняла ее, будто весть о близкой смерти своей. В первый раз в жизни она всю ночь металась в постели без сна, горько-горько рыдая. Встав утром, она почувствовала тягость, даже отвращение бежать в кладовые, выдавать повару провизию весом и мерой; однако привычка была так сильна, что она выполнила свои обязанности аккуратно и в положенный час сидела перед самоваром. Старуха заметила волнение и недавние слезы падчерицы, но промолчала, может быть приписав их разлуке с братом. Днем, за хлопотами, Настасья Андреевна не успела даже поговорить с учителем; зато когда старуха легла спать, она до усталости играла под руководством грустного своего учителя. Они оба молчали о предстоящей им разлуке, как бы страшась ускорить ее.

Настасья Андреевна сделалась рассеянна. Старуху страшно испугала такая перемена. Она удвоила свою строгость и стала подвергать падчерицу неожиданным экзаменам: вдруг поручала ей вынуть из сундука штуку холста, вытканную таким-то ткачом в таком-то году, давала ей огромную связку ключей и сама следовала за нею. Если падчерица ошибалась и отпирала не тот сундук (а их было до двадцати), то получала жестокий выговор.

День отъезда приближался; накануне его учитель и Настасья Андреевна часов в десять вечера, когда все улеглись спать, сели за флигель. Учитель просил ее сыграть любимую его сонату Бетховена, потом сам играл ее, и они не заметили, как настала ночь, о которой известил их бой часов внизу. Учитель встал из-за флигеля, начал что-то говорить, но не мог: так сильно было его волнение. Он поклонился низко Настасье Андреевне и вышел. Настасья Андреевна, бледная и дрожащая, с потупленными глазами, несколько минут стояла неподвижно, потом села к роялю, прильнула головой к нотам и долго-долго оставалась так. Когда она приподняла голову, отчаяние разлито было на ее бледном лице. Машинально и тихо одной рукой перебирала она клавиши, потом стала играть громче и громче; щеки ее запылали, грудь высоко поднималась; а слезы, увлажив ее глаза, придавали ей вид вдохновенный. Она играла свое сочинение и так увлеклась игрой, что не замечала встревоженной и бледной фигуры своего учителя, который сначала слушал тихонько у дверей, потом стал приближаться и наконец очутился у стула своей ученицы. Лицо девушки, быстро изменяясь, выражало то восторг, то отчаяние. Почувствовав присутствие учителя, она вскрикнула и закрыла свое пылающее лицо руками.

– О, продолжайте, продолжайте! прекрасно, прекрасно!.. Боже мой, и я должен ее оставить! – заговорил учитель с сильным одушевлением. – Есть, – продолжал он, дрожа всем телом, – есть две ошибки в вашем сочинении. Сыграйте еще раз!

Настасья Андреевна молчала.

– Где ноты, где! покажите мне их! – нетерпеливо твердил учитель.

Настасья Андреевна радостно улыбнулась, отняв руки от лица, и робко спросила:

– Вам нравится?

– Повторите скорее!

Ученица поспешно обратилась к клавишам. По окончании игры учитель забежал по комнате, ломая руки и говоря с отчаянием:

– И я должен оставить ее без всякого руководства!.. нет, я не могу, не вынесу, – это невозможно!

И, обратись к Настасье Андреевне, он протянул ей руку. Ученица пугливо смотрела

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a  
на учителя и, с пылающим лицом, робко, нескоро подала ему свою руку, которую он с жаром поцеловал. Настасья Андреевна вся вспыхнула и быстро села на стул, в волнении осматриваясь кругом. Учитель ничего не замечал; он с жаром говорил:

– Я отдам всё, я соглашусь на всё, чтобы остаться при вас!

Настасья Андреевна вскочила со стула, в недоумении глядя на учителя, который продолжал:

– За самую ничтожную плату я соглашусь...

При этих словах Настасья Андреевна горько зарыдала.

– Не плачьте, не горюйте, если любовь ваша сильна...

Настасья Андреевна замолчала и подняла гордо голову.

Учитель продолжал:

– Повторяю вам, если ваша любовь к музыке сильна, употребите всё, всё, только не бросайте, не бросайте ее!

И учитель сложил руки, будто прося пощадить его жизнь. В лице Настасьи Андреевны выразилось прежнее недоумение.

– Надо, надо ей ехать за границу! – говорил он, рассуждая с самим собой. – Она рождена быть артисткой, у ней все заложено великой будущности... О, поезжайте, поезжайте! не губите своего таланта!

Он чуть не плакал, произнося последние слова. Настасья Андреевна ничего не понимала.

– Куда ехать? – пугливо спросила она.

– Боже мой! за границу.

Настасье Андреевне вдруг показалось в темном углу строгое лицо мачехи, вооруженной связкою ключей. Она покачала головой.

– Просите, умоляйте ее! – сказал учитель.

– Я... я не смею! – грустно и решительно ответила Настасья Андреевна.

Учитель замолчал, печально повесив голову на грудь. Долго они просидели молча. Он первый прервал молчание, сказав:

– Я надеюсь, я даже уверен, что мы еще будем продолжать наши уроки. Я иначе не возьму места, как по соседству вас, с условием, чтоб я мог хоть раз в неделю, хоть раз в месяц приезжать к вам.

– Неужели... да будет ли возможно? – радостно заметила Настасья Андреевна.

– Я всё употреблю; но самое лучшее, если бы...

Учитель тяжело вздохнул и тихо продолжал:

– Если бы ваша мачеха согласилась взять меня хоть в управляющие.

На лице Настасьи Андреевны показался испуг, и она потупила глаза.

– Я на всё согласился бы!.. – продолжал учитель, вопросительно глядя на нее.

Она не знала, куда деться, не смела поднять глаз. Учитель молчал.

На лице Настасьи Андреевны выражалось страшное волнение; она, казалось, хотела что-то сказать, но не решалась.

Время между тем шло, свечи давно догорели, и дневной свет освещал комнату.



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Опомнясь, она с ужасом вскрикнула:

– Боже, уж светло!

– Да, пора укладываться! – печально сказал учитель и медленно вышел.

Настасья Андреевна как прикованная осталась на своем месте. Учитель скоро возвратился, таща запыленную корзину, наполненную нотами. Поставив ее у ног своей ученицы, он сказал дрожащим голосом:

– Вот всё, что я могу оставить вам. Флигель принадлежит вашей мачехе. Прощайте!

Настасья Андреевна страшно побледнела и сжала свои губы, как будто стараясь удержать стон.

– Ах! – сказал учитель. – У меня есть еще одна вещь, которую я, кроме вас, никому, никому не отдал бы!

И он поспешно вышел.

Настасья Андреевна склонила голову на подушку дивана, и из ее груди вырвался стон; но учитель опять вошел в комнату, и она собрала все свои силы, чтоб казаться спокойною.

Учитель подал ей нотный лист с поправками, обделанный в рамку под стеклом. То был факсимиль Бетховена.

Настасья Андреевна не решалась брать: она знала, как дорожил им учитель.

– Возьмите, возьмите! – сказал он. – Вы имеете право иметь его.

Она радостно взяла листок и глазами поблагодарила его, потом робко вынула из кармана нотный листок, тоже исписанный, но весьма тщательно, и, вспыхнув, сказала, подавая его учителю:

– А я... я сочинила прощальный вальс...

Учитель быстро бросился с нотным листком к флигелю и стал его разыгрывать, по временам делая поправки карандашом. Потом он пригласил ее играть в четыре руки (так был написан вальс). Они повторяли его раз десять; учитель хвалил его. Настасья Андреевна была счастлива.

Солнце взошло и осветило утомленные лица играющих. Горничная Настасьи Андреевны вошла в комнату и пугливо сказала:

– Барышня, барыня встает!

Настасья Андреевна вздрогнула, выскочила из-за флигеля, но в ту же минуту опять села и покойно сказала:

– Хорошо!

Горничная вышла.

– На вас будут сердиться: идите! – заботливо заметил учитель.

– Пусть сердятся! – холодно отвечала Настасья Андреевна и с отчаянием прибавила:  
– Может быть, в последний раз мы играем...

И она поспешила заглушить эти слова громким аккордом.

Горничная опять вошла в комнату, сказав:

– Барыня вас зовет!

– Иду! – твердо отвечала Настасья Андреевна.

И, дождавшись, когда горничная вышла, она схватила руку учителя, с чувством

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
пожала ее и выбежала из комнаты.

Настасья Андреевна была встречена строгим и пытливым взглядом старухи, за которым следовал вопрос:

– Что это значит? вас нужно ждать!

Настасья Андреевна молчала.

– Всё ли готово для вашего брата? – оглядывая ее с ног до головы, тем же тоном спросила старуха.

– Еще с вечера всё было уложено, – отвечала Настасья Андреевна.

– Отчего же вы опоздали к чаю?.. – спросила старуха таким тоном, что Настасья Андреевна побледнела.

Приход учителя и брата прекратил тяжелую сцену. Настасья Андреевна занялась чаем.

За минуту до отъезда молодого барина дворня явилась в залу прощаться с ним. Старуха в слезах благословила сына и прочла ему наставление, которое заключилось поцелуями, длившимися с четверть часа.

Когда Настасья Андреевна стала прощаться с братом, которого она в первый раз теперь поцеловала, ей сделалось так грустно, так грустно, что она горько заплакала. Казалось, чувство, столь естественное между братом и сестрой, только теперь пробудилось в ней. Но слезы вдруг высохли, сердце замерло, дыхание стеснилось в груди – при грустных словах: «Прощайте, Настасья Андреевна!», произнесенных учителем; бедной девушке стало так тяжело, так страшно, что она готова была вскрикнуть; но и голос замер. В ту же минуту она вздрогнула, застигнутая пристальным взглядом старухи; поспешно и холодно простилась она с своим учителем.

На крыльце было новое прощанье, новые слезы. Наконец под общий крик «Прощайте» экипаж двинулся со двора.

Настасья Андреевна, не обращая внимания ни на кого, полными слез глазами следила за удалявшимися, и когда ничего не было видно, она с рыданием убежала в свою комнату. Ее позвали вниз, к мачехе. Старуха лежала уже в постели и болезненным голосом сказала ей:

– Вы уж даже не хотите побыть при мне, тогда как я убита разлукой с ним!

– У меня болит голова! – отвечала Настасья Андреевна.

– Голова болит?? – насмешливо заметила старуха и строго продолжала: – А я вся больна, вся убита горем!

Настасья Андреевна села у постели. Старуха охала, морщилась, поминутно подносила платок к глазам. Наконец она прервала молчание и печально сказала:

– Теперь наши едут, бедненькие; я думаю, тоже горюют, как и мы. А-а, ох!

И она тяжело вздохнула, продолжая всё тем же ласково-печальным голосом:

– Книги в целости сдал Эдуард Карлыч? а?

Да-с! – отвечала Настасья Андреевна и страшно смешалась: то была ее первая ложь.

– Признаться, мне жаль было расставаться с Эдуардом Карлычем: он честный человек.

Настасья Андреевна в недоумении посмотрела на старуху: в первый раз она слышала похвалу учителю, которого старуха обыкновенно называла расточителем.

Разговор опять остановился; старуха прервала его следующими словами:

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Куда-то он, бедненький, денется? есть ли у него место?..

Настасья Андреевна быстро отвечала:

– У него нет места; он просил...

Она не могла закончить своей фразы; губы у ней задрожали, и, объятая ужасом, она привстала со стула, глядя на старуху, которая медленно приподымала голову с подушек и язвительно улыбалась; за улыбкой следовал тихий смех, окончательно оледенивший Настасью Андреевну.

Старуха встала с постели и повелительным жестом указала ей на дверь.

У Настасьи Андреевны подкосились колени; она упала к ногам старухи, которая холодно и с презрением сказала:

– Я вас видеть не хочу!

И опять указала на дверь.

Настасья Андреевна сделала умоляющий жест, но, встретив неумолимо холодные глаза мачехи, с трепетом вышла из комнаты.

С того вечера в продолжение целого месяца Настасья Андреевна не слыхала слова от своей мачехи, – и между тем находилась постоянно при ней. Прощаясь, здороваясь, она брала руку старухи, чтоб поцеловать ее; но всякий раз старуха с сердцем выдергивала свою жесткую руку. Гнев мачехи приводил бедную девушку в отчаяние; она чувствовала невыносимую тоску, худела с каждым днем, наконец слегла в постель. Болезнь падчерицы смягчила старуху, тем более что некому было заниматься хозяйством: выдавать провизию, записывать каждую крошку и вести счетные книги; боль в ногах лишала ее возможности самой всюду присутствовать. Старуха пришла наверх и позволила падчерице поцеловать свою руку, которую Настасья Андреевна облила горькими, нервическими слезами. Болезнь продолжалась с неделю. Настасья Андреевна, еще слабая, встала с постели, полная рвением скорее приступить к выполнению своих обязанностей по хозяйству. Мачеха вздохнула свободнее, и грифельная доска, висевшая у ее постели, каждый день исписывалась двойным числом приказаний, которые падчерице следовало исполнить по хозяйству в течение дня.

Вечером обыкновенно старуха ложилась в постель, а Настасья Андреевна садилась к столу и под диктовку писала счета расхода и прихода.

Раз вечером, погруженные в такое занятие, они заслышали вдали звук дорожного колокольчика. Была осень, и очень дождливая; к тому же и час уже довольно поздний; трудно было предположить гостей, которые, впрочем, иначе не ездили к ним, как в торжественные дни. Однако ж колокольчик всё приближался. Настасья Андреевна превратилась в слух, а старуха в недоумении говорила:

– Кто бы мог быть?

Когда звук колокольчика замер у ворот, Настасья Андреевна вся вспыхнула, выскочила из-за стола и бросилась из комнаты, преследуемая удивленными глазами мачехи. Но Настасье Андреевне было не до того: она всё забыла. Сердце ее билось с такой силой, что она не могла дышать; слезы душили ее. Она не понимала, что с ней делается, а между тем переживала минуту, может быть, самую счастливую в своей жизни. Забыв свою робость, с силою жала она руку учителя, встреченного в прихожей; он отвечал ей таким же пожатием.

Гость был принят хозяйкой вежливо, даже излишне любезно, так что ему в тот вечер не осталось времени поговорить с Настасьей Андреевной, которая не переставала улыбаться и жадно ловила каждое слово учителя. После ужина он пошел спать, а Настасья Андреевна долго еще была задержана старухой, которая очень ласково разговаривала с ней...

Когда Настасья Андреевна вошла в свою мрачную комнату, в которой свободно могла предаться своей радости, она в первый раз в жизни запрыгала, запела, кинулась к комоду, стала доставать бедные свои наряды. Ей хотелось быть завтра лучше, красивее. Но из страха она не решилась выбрать платья понаряднее и только чистым

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
рюшем обшла ворот того же платья, которое носила в обыкновенные дни. Ложась в постель, она так была счастлива, что всё прежнее горе казалось ей сном. Долго она не спала, мечтая о завтрашнем дне.

Рано утром она была пробуждена легким звуком привязанного колокольчика под своим окном, которое было над крыльцом. Невольно вскочила она с постели и кинулась к окну. Ужас изобразился на ее лице; она дико глядела на телегу, в которую усаживался учитель, плотно закутанный в шинель. Утро было туманное и холодное, осенний мелкий дождь порошил в воздухе. Настасья Андреевна, забыв всякую предосторожность, раскрыла форточку и, высунувшись из нее, хотела кричать; но голосу у ней не достало. Телега тронулась, и Настасья Андреевна в отчаянии бросилась к двери, забыв, что она в ночном туалете. На пороге, лицом к лицу, она столкнулась с мачехой, которая, загородив ей дорогу, строго спросила:

– Куда?

Настасья Андреевна молчала и глядела такими странными глазами, как будто перед ней стояла женщина, которую она в первый раз видела.

– Выпей воды и сядь! – повелительно сказала старуха.

И, взяв Настасью Андреевну за руку, привела к постели, на которую взволнованная девушка упала без чувств.

Опомнясь, Настасья Андреевна открыла глаза и увидела свою мачеху, сидевшую возле нее. Старуха холодно спросила:

– Лучше ли тебе?

– Да-с, – пробормотала Настасья Андреевна.

– Остайся в постели! – строго заметила старуха и встала, готовая идти.

Ужас овладел Настасьей Андреевной при мысли, что она узнала тайну ее сердца; она вскочила с постели и, ухватясь за колени мачехи и целуя их, умоляющим голосом закричала:

– Маменька, маменька!

– Что это за сцены? – грозно и пугливо сказала старуха.

– Я виновата! – рыдая, отвечала Настасья Андреевна.

– Знаю, знаю, ты больше его не увидишь.

Настасья Андреевна вскрикнула и закрыла лицо руками.

– Вот до чего довела твоя ветреность!

– О, боюсь вам, боюсь, он даже не знает! – ломая руки, вскрикнула Настасья Андреевна.

– Замолчите! – строго прервала ее мачеха и быстро пошла к двери, сказав: – Вы знаете мое мнение о таких девицах!..

И она вышла, оставив свою падчерицу посреди комнаты, на коленях, убитую стыдом и страхом.

Настасья Андреевна долго хворала. Как только она стала поправляться, мачеха объявила ей, что за нее сватается их сосед, и спросила, желает ли она выйти за него.

Настасья Андреевна решительным голосом отвечала:

– Нет.

– Почему? – спросила старуха, сопровождая свой вопрос таким взглядом, что Настасья Андреевна долго стояла потупив глаза; когда она приподняла голову, в

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
лице ее столько было страдания и решимости, что мачеха торопливо сказала:

– Ну, что же?

– Я прошу одного – позвольте мне навсегда остаться при вас; я ни за кого не пойду замуж.

– Это твое твердое намерение?

– Да! – тяжело вздохнув, отвечала Настасья Андреевна.

– Хорошо! я не буду тебя принуждать. Но помни свои слова. Я их не забуду! – торжественно произнесла старуха.

И с этого дня обхождение ее с Настасьей Андреевной сделалось прежнее. Это воскресило Настасью Андреевну; она удвоила свое старанье и заботы по хозяйству. Дав обещание не выходить замуж, Настасья Андреевна сделалась разом как бы пожилой женщиной. Наружность ее приняла характер холодный, даже суровый. Она стала взыскательна, даже строга с людьми. Улыбка не оживляла ее лица; в минуты, когда она долго оставалась за флигелем, черты ее смягчались и как бы слезы увлажняли ее глаза; но потом, и очень скоро, лицо ее снова принимало ледяное выражение, которое с годами сделалось в нем почти постоянным.

### Глава III

#### Приемыш

Прошло несколько лет. Настасья Андреевна превратилась не только в зрелую, но даже и сварливую деву. Бережливость и экономию ее можно было назвать скупостью, требовательность порядка – сварливостью. Казалось, дряхлая мачеха оживала во всем блеске в своей падчерице.

Жизнь их не отличалась разнообразием. Казалось, они жили в степи: даже самые близкие соседи не заглядывали к ним. Кроме уездного доктора да приходского священника, других гостей не знала Настасья Андреевна. Врат Настасьи Андреевны, Федор Андреич, изредка приезжал в отпуск повидаться со старухой и с сестрой; но посещения его, при всей любви к нему, мало доставляли радости бедной девушке. Характер его был молчалив и взыскателен; суровость в минуты гнева доходила до крайней степени. Только хлопоты увеличивались: надо было угодить брату, любившему хорошо покушать, и скупой старухе, не любившей лишних издержек. Никогда не допустила бы она и малейшей роскоши, если б не боялась Федора Андреича, который был уже совершеннолетний и мог сам распорядиться имением своего отца, потребовав отчета у опекуни. К счастью, посещения его были так редки, что строгий порядок не мог поколебаться в доме. По целым годам подушки дивана в гостиной не знали прикосновения человеческой руки; равно и губы хозяек, казалось, забыли о существовании улыбки. Каждая неодушевленная вещь вместе с владельницами преждевременно старелась.

Наконец случилось следующее происшествие.

В одно зимнее утро Настасья Андреевна, закутанная в кацавейку, обшитую мехом, в подобие горноста, в капоре и теплых больших сапогах, расхаживала по двору с несколькими дворовыми лицами, обозревая кладовые и амбары. У ворот остановились салазки, запряженные тощей клячей; в них сидела женщина в тулупе с ребенком на руках. Появление каждого нового лица, даже из крестьян, было событием в доме. Неудивительно, что Настасья Андреевна тотчас послала ключницу спросить, кого и чего надо приехавшей женщине. Вместо всякого ответа, женщина развязала свой тулуп и поставила на ноги трехлетнего окутанного ребенка, потом сунула в его маленькие красные, как гусиные лапы, ручонки письмо, нагревшееся у ней на груди, двумя пальцами захватила красненький носик малютки; наконец перекрестила его и, подтолкнув на узенькую тропинку, перерезывавшую наискось двор, сказала ему:

– Ну, Петруша, с богом, в ножки, да не забудь, как учила!

Мальчик побежал; верно, ноги его озябли; он падал, но, поощряемый криками женщины, быстро вставал и продолжал бежать. Наконец силы его ослабли; упав в третий раз, он заплакал и не поднимался.

Настасья Андреевна подошла к ребенку, подняла его и взяла на руки. Ребенок, обвив холодными своими ручонками шею Настасьи Андреевны, внятно сказал:

– Моя матушка умерла! – И в ту же минуту прибавил, смотря на ее руку: – Дай же ляле!

Это тронуло и заинтересовало Настасью Андреевну; она подозвала женщину.

С низким поклоном женщина подала ей письмо, выпавшее из рук ребенка. Лишь только Настасья Андреевна увидала адрес, всё лицо у ней вспыхнуло. Она с удивлением оглядела ребенка, который прилежно рассматривал ее меховой воротник и, боязливо дотрагиваясь до него пальцем, повторял вопросительно:

– Кыса?! кыса?..

Настасья Андреевна поставила его на землю и начала читать письмо. Руки у ней дрожали, лицо горело. Дворня с напряженным любопытством следила за ней. Настасья Андреевна быстро надвинула капор на глаза и, не смотря в лицо ключнице, сказала:

– Отведите ее в застольную, а ребенка напоите чаем!

И она быстро пошла было к дому, забыв даже запереть кладовую, двери которой стояли настежь. Люди переглянулись, и глаза их устремились к кладовой, как будто они надеялись в ней найти разгадку тайны. Настасья Андреевна, однако, вернулась, но не затем, чтоб запереть кладовую: она взяла на руки ребенка и что-то тихо сказала принесшей его женщине, которая начала креститься и кланяться вслед удалявшейся барышне.

Ребенок остался не только в доме, но даже в комнате Настасьи Андреевны, которая долго не говорила о нем мачехе и только наконец в день своего рождения в первый раз свела его вниз. Но сухое сердце старухи не оживил и не обрадовал веселый смех ребенка. Она долго не соглашалась взять трехлетнего приемыша, страшась расходов, которые казались ей огромными. Но, увидя слезы Настасьи Андреевны и в первый раз услышав упреки, наконец позволила ребенку прикоснуться алыми губками и своей руке. С того дня Петруша сделался членом семейства. Настасья Андреевна заменила ему заботливую няньку и нежную мать. Она обшивала его сама, сама одевала, словно боясь, чтоб прикосновение другой руки не испортило его; горничные пожимали плечами, замечая, как иногда Настасья Андреевна бегала и пряталась, играя с Петрушей. Как приемыш Петруша пользовался положением исключительным. Все в доме любили его, как отвод гнева Настасьи Андреевны, и притом никому не доставалось за него, потому что он вечно был с Настасьей Андреевной, которую называл тетенькой. Под защитой ее Петруша рос весело. Федора Андреича он видел раз в год, приезжавшего повидаться с родными, и был для него совершенно чужим. Петруша любил и знал одну только Настасью Андреевну, которая гордилась этим и ревновала его ко всем, кому он оказывал расположение.

С самых ранних лет и первой наукой Петруши была музыка. Ложась спать, он горько плакал, если Настасья Андреевна не убаюкивала его своей игрой: музыка заменяла ему монотонное убаюкиванье и покачиванье колыбели.

Старуха мачеха видимо дряхла и наконец, прохворав довольно долго, умерла, распорядившись, чтобы на будущую стирку выдали мыла полфунтом менее, потому что весеннее солнце помогает белишь. (То были последние слова скупой домоводки.)

Настасья Андреевна, оплакав старуху чистосердечными слезами, стала полной хозяйкой дома и своих действий. Но последнее было излишне в настоящую минуту. Она разучилась желать и действовать независимо, по собственному побуждению. И, не получая более хорошо знакомых выговоров и наставлений, она искренно грустила, чувствовала пустоту. Единственной целью остальной ее жизни сделался приемыш, достигший уже того возраста, когда серьезно нужно было думать об его воспитании.

После смерти мачехи Настасья Андреевна получила до ста тысяч, накопленных старухой и отказанных ей по духовному завещанию; кроме того, ей следовала седьмая часть из имения. Но она не взяла ничего, предоставив всё брату, с одним условием, чтоб он не лишал Петрушу своей любви и попечений. Федор Андреич согласился на такое условие с особенной охотой: в то время он брал значительный подряд. Дом и деревня по-прежнему остались под присмотром Настасьи Андреевны. Хотя Федор Андреич вышел в отставку и переехал в деревню, но частые отлучки не позволяли ему входить в хозяйственные распоряжения. Да и не к чему было: Настасья Андреевна заменяла ему самого отчетливого управляющего и самую

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
аккуратную ключницу.

Характер Федора Андреича имел очень много родственного с характером покойной мачехи; в нем не было только мелкой скупости, но эгоизм еще больше; на свои прихоти он не жалел денег. Со смертью мачехи, число знакомых, ездивших к ним, не увеличилось: Федор Андреич, как и покойная старуха, не находил удовольствия в обществе. Вообще он был молчалив, равнодушно холоден с домашними и при случае очень взыскателен; особенно опасно было пренебрегать его привычками, которые играли важную роль в его характере: казалось, он ел, пил и спал по одной привычке; при нарушении их холодное равнодушие сменялось горячностью, переходившею в тяжелый, продолжительный гнев, который обрушивался равно на виновных и невинных.

Настасья Андреевна без ропота выносила незаслуженный гнев брата. Она слишком хорошо была приготовлена к покорности. Впрочем, Федор Андреич вел жизнь кочующую; положительные причины тому не были известны сестре: он упорно молчал о своих делах. Как отъезд, так и приезд его были всегда неожиданны. Случалось, что он уезжал в ночь, не простясь с домашними, и находился в отлучке по нескольку месяцев. Писем Федор Андреич не имел привычки писать и также не изъявлял желаний их получать. Часто Настасья Андреевна не знала, в какой части России находится брат. При возвращении в деревню и свидании с домашними он не обнаруживал своих чувств ни словом, ни движением, встречал сестру и приемша, как будто накануне их видел, целовал их, говорил «здравствуйте» и мало любопытствовал знать, что они делали и как жили без него, а о себе рассказывал еще менее.

Поздоровавшись, Федор Андреич тотчас обращался к делам по деревне и счетам, которые подавала ему сестра на разграфированной бумаге, как самый аккуратный управляющий.

Сначала Настасья Андреевна, по сильной своей привязанности к приемшу, боялась, не женился бы брат; но Федор Андреич так мало обращал внимания вообще на женщин, что она скоро совершенно успокоилась.

Теперь нам следует познакомиться с остальными лицами, которых мы видели в первой главе.

#### Глава IV

##### Еще благодеяние

Однажды, после продолжительного своего отсутствия, Федор Андреич возвратился в деревню в сопровождении шестидесятилетнего старика и миловидной молоденькой девушки. Обстоятельства, которые привели в его дом старина и девочку, доказывают, что и его сердце не было чуждо доброты. Вот они. Во время пребывания по делам в Москве, Федору Андреичу случилось отдавать последний долг одному из своих коротких знакомых. Похорон были пышные, с балдахином, со множеством факельщиков и с бесконечно длинной тропинкой ельнику. Не без громких криков и всхлипываний густая толпа, вся в черном, торжественно шла за бархатным гробом; за ней тянулась бесконечно длинная вереница экипажей. Много тут было и притворно и искренно грустных лиц; но фигура Федора Андреича особенно шла к печальной процессии. Он шел, нахмутив брови и потупив глаза: то было его обычное выражение; он имел привычку на ходу обдумывать свои дела.

Погруженный в свои размышления, Федор Андреич не заметил, что уже приближался к кладбищу. Грубый голос женщины вывел его из задумчивости:

– Ну куда вы, озорники, лезете? не до вечера же нам с покойником, стоять здесь!

Федор Андреич поднял голову и очень удивился, увидав, что идет за гробом из простого дерева; гроб выкрашен желтой краской, пышного балдахина нет, – гроб стоит открыто на простых дрогах. Федор Андреич не мог понять, как случилось такое превращение, а между тем оно было очень просто. Идя в задумчивости, он поотстал от толпы, потом машинально дал дорогу бедному гробу. Но узкость улицы не позволяла ехать этому гробу рядом с богатым, он отстал, а экипажи не хотели пустить его вперед, за что женщина, сопровождавшая гроб, горячо перебранивалась с кучерами.

Федор Андреич так был поражен превращением богатого гроба в бедный, что не скоро обратил внимание на другую женскую фигуру, припавшую к гробу. Эта фигура была вся в трауре, и рыдания ее были тихи, но невольно трогали. Федору Андреичу стало

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
досадно: оп не любил видеть горе, даже такое, которому мог пособить. И, чтоб скорей избавиться неприятного зрелища, он присоединился к крикливой женщине, приказывая кучерам дать место проехать. Заслышав повелительный голос, женская фигура подняла голову и полными слез глазами взглянула на Федора Андреича. Несмотря на всю сухость сердца, он почувствовал что-то вроде сострадания.

То была очень хорошенькая девушка лет пятнадцати, с выражением такой отчаянной грусти, что Федор Андреич почувствовал необходимость сказать ей, и как можно скорее, что-нибудь утешительное. И, указав на кареты, он произнес:

– Они сейчас проедут.

– Мы давно ждем, – отвечала девушка, отирая слезы.

И, дернув за воротник крикливую женщину, прибавила:

– Оставь их, Матренушка; мы лучше подождем.

– Ишь вы какие, барышня! этак из-за них, озорников, и обедню здесь простоишь! – гневно отвечала Матренушка и снова начала перебраниваться с кучерами.

Девушка замолчала и, облокотись на дроги, задумалась. Слезы ручьями текли по ее щекам; но она не замечала этого, погруженная в раздумье. Федор Андреич, присев на доску у забора, куда притиснуло гроб экипажами, смотрел на девушку. Наконец последняя карета проехала, и дроги двинулись; девушка и ее спутница продолжали шествие. Федор Андреич, проводив далеко глазами печальную церемонию, без бархата, карет и факельщиков, но трогающую сердце фигурой молодой девушки, пошел тихо к церкви, чтоб снова присоединиться к пышным похоронам.

Досада изобразилась на его лице, когда, подойдя к паперти, он увидел опять тот же простой гроб и девушку. Спутница ее суетилась, кричала и охала, нанимая внести гроб в церковь. А девушка тоскливо глядела на толпу, окружавшую гроб, и судорожно сжимала свои руки, как бы досадуя, зачем они так слабы, что не могут внести гроб. Но, завидев Федора Андреича, она радостно кинулась к нему и умоляющим голосом сказала:

– Пожалуйста, помогите внести гроб! Матренушка только всё разговаривает.

Федор Андреич сделал было недовольное лицо; но горькие рыдания девушки устыдили его, и он подошел к гробу, прикрикнул на спорящих с Матренушкой и собственноручно понес его с другими в церковь. Гроб поставили; девушка стала возле него. И когда сняли крышку, она как будто обрадовалась, увидев лицо покойницы, в с любовью начала поправлять помявшийся ее наряд. Пожилое лицо покойницы походило скорее на спящее, чем на мертвое. Ни одна черта на этом кротком лице не была искажена предсмертными муками; только бесконечная грусть разлита была в нем.

Грациозная фигура девушки, одиночество у гроба, молодость, искренняя и тихая скорбь, ласки, расточаемые ею покойнице, подавляемые рыдания – всё это обратило внимание присутствующих на девушку. Как при пышных похоронах жалеешь о покойнике, мало думая о провожающих его, которым он, верно, оставил хорошее утешение, так точно при виде бедных похорон вдвое большее сжимается сердце за сопровождающих гроб.

Девушка, казалось, забыла всё и всех; она спешила ласкать покойницу, поминутно целуя ее оледенелые руки и лицо, обливая их слезами. Федор Андреич, внеся гроб в церковь, невольно сделался как бы участником в бедных похоронах. К нему обращались с вопросами, и так как спутница девушки исчезла, то ему пришлось сделать некоторые распоряжения.

Началось отпевание; плач, крики огласили церковь, и, после продолжительного прощания, покойников поочередно понесли из церкви с плачем и унылым пением.

Девушка еще в начале панихиды страшно побледнела и впала в какое-то ошолбенение. Церковь опустела, пение слышалось еще, но становилось всё тише и тише, наконец совершенно замолкло. Девушка пошатнулась и упала без чувств у гроба.



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Федор Андреич уже был в дверях, чтоб идти за богатым гробом, как одна из нищих, стоявших у дверей, дернув его за рукав, сказала:

– Глянь-ка, барин, твоя, что ль, упала?

Федор Андреич, воображая, что нищая просит милостыню, проговорил:

– Бог подаст!

– Да о девушке тебе говорю, ты, кажись, гроб внес, так с ней что-то приключилось.

Федору Андреичу страшно надоели его приключения; он остановился на паперти и смотрел на удаляющиеся богатые похороны, в раздумье – идти ли вперед или назад.

– Посторонитесь! Эй, вы! – раздался резкий голос позади него.

То был церковный служитель, пробивавшийся в дверях между нищими; на его руках лежала без чувств девушка.

Федор Андреич подошел к ней. Служитель спросил его:

– Не из ваших ли?

– Нет! – отвечал он, глядя, как служитель своими грубыми руками поддерживал маленькую бледную головку девушки и вопросительно осматривался, куда бы ее положить. Крякнув, он опустил ее на камень, махнул рукой и встал с коленей.

– Куда же ты? – сердито спросил Федор Андреич.

– Мне некогда, – отвечал служитель и пошел.

Федор Андреич глядел на девушку нерешительно. Нищие, как вороны, сбегались к несчастной.

– Кажись, она богу душу отдала! Смотри-ка, Кондратьевна, точь-в-точь алебастровая! – воскликнула одна из нищих.

Кондратьевна была одета в черный коленкоровый салоп и повязана черной косынкой; она с убийственной холодностью нагнулась к лицу девушки и будто с сожалением смотрела на нее, и между тем жилистая рука старухи скользнула в карман платья девушки.

Хромой нищий, мальчишка, запыхавшись, подскочил тоже к толпе, стуча своим костылем, и крикнул:

– Небывалая покойница – пешком сюда пришла! А зачем платок тащишь! – прибавил он.

– Ай-ай! – раздалось в толпе нищих.

Кондратьевна стала браниться с хромым, который замахнулся было на нее костылем и задел за девушку.

Федор Андреич кинулся к толпе, грозным голосом разогнал нищих. Одна Кондратьевна замешкалась, заботливо прикрывая украденным платком лицо девушки.

Федор Андреич оттолкнул Кондратьевну, сбросив платок с лица девушки, и, сев подле нее, приложил руку к ее сердцу; потом он торопливо приказал принести воды и уксусу, обещая заплатить. Когда было окроплено водой лицо девушки и смочена уксусом ее голова, она медленно открыла глаза, тяжело вздохнула и, невнятно прошептав: «Мне спать хочется», опять закрыла глаза.

Тихое дыхание, детское выражение лица девушки возбудили сильное сострадание в Федоре Андреиче: он, не шевелясь, просидел с полчаса над нею.

Явилась Матренушка, но не освободила Федора Андреича. Поохав над девушкой, она побежала в церковь, чтоб нести гроб к могиле. Когда его понесли из дверей при

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
громких рыданиях Матренушки, девушка вздрогнула, быстро открыла глаза и, дико вскрикнув, рванулась к гробу. Федор Андреич удержал ее, боясь, чтоб она не помешала нести гроб. Но силы девушки так были истощены, что она не могла встать с колен и, оставаясь в этом положении, горько зарыдала. На холодном лице Федора Андреича явилось сострадание; он с нежностью уговаривал девушку, которая в отчаянии ничего не видела и, прильнув к нему на грудь, продолжала рыдать. Она рыдала горько и долго, так что грудь заныла у Федора Андреича. Наконец рыдания стали тише и тише и понемногу совсем замолкли. Девушка впала в забытие.

Федору Андреичу в первый раз в жизни пришлось быть в таком положении. Слезы и рыдания потрясли его так сильно, что он принял живое участие в девушке и терпеливо ждал возвращения Матренушки.

Матренушка явилась с кладбища и, всхлипывая, упрашивала Федора Андреича покушать кутьи, которую она держала в стакане.

– Ну что плакать-то! отвези-ка скорее свою барышню домой да уложи в постель, – наставительно сказал Федор Андреич и, взяв девушку на руки, понес к своей карете.

– Ах, батюшка, что ты делаешь! – в испуге вскрикнула Матренушка и заслонила ему дорогу.

– Что ты, с ума сошла? пусти! – сказал Федор Андреич.

– Как можно, батюшка! какая карета? Ишь, что у меня осталось, а дома и гроша нет.

И Матренушка, развязав узел носового платка с медными деньгами, стала считать их.

– Садись, дура! – сердито заметил Федор Андреич. – Тебя не заставят платить.

– Ах, родной ты, бог тебя наградит, – кланяясь низко, захныкала Матренушка.

Федор Андреич бережно положил в карету девушку, которая по временам медленно открывала глаза, чтоб тотчас снова закрыть их.

Матренушка с гордостью раздавала свои гроши нищим, приговаривая: «Молитесь за рабу божию Евдокию».

– Садись скорее! – крикнул Федор Андреич, выходя из кареты.

Матренушка раза два споткнулась, наконец влезла в карету, говоря:

– Это ничего, батюшка: устала маленько моя барышня.

– Какое устала! она просто больна.

– Да как и не заболеть, прости господи! ведь уж как возились-то с покойницей. Денно и ночью сидели у ее кровати. Да как и умерла уж, всю обмыла, да сама еще, никак, и читала над ней.

– Что она, дочь, что ли, покойницы? – спросил Федор Андреич, глядя, как Матренушка укладывала головку девушки на свой салоп.

– Нет, внучка! – отвечала Матренушка.

Взяв в зубы гребень, выпавший из головы девушки, и завертывая как попало густые волосы своей барышни, она в то же время продолжала:

– Да, кажись, очень дальная; но по чувствам не уступит и сродной. Нечего греха таить, заплатила покойнице сиротка за ее хлеб-соль.

– Так у ней даже никого родных нет? – спросил Федор Андреич.

– Ни души, oprичь при смерти больного старика, сожителя хозяйки-покойницы.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Кто они такие? Кажется, очень бедные?

– И не приведи господи! иной день... да что тут рассказывать: чай, подивились, какие похороны-то!

Федор Андреич, спохватившись, что задерживает больную, захлопнул дверцы и крикнул кучеру ехать; а сам пошел пешком.

Так как экипажей было много, то карета не скоро выбралась на простор; когда она догнала Федора Андреича, задумчиво шедшего, Матренушка высунулась и закричала ему:

– Спасибо тебе за сироту!

Но за шумом экипажей Федор Андреич не расслышал слов Матренушки; он подумал, что девушке хуже, приказал кучеру остановиться и, подойдя к окну, спросил:

– Что с ней?

– Да ничего, батюшка, кажется, опочивает.

– Так зачем же ты кричала? – с сердцем спросил Федор Андреич и привстал на подножку, чтоб посмотреть на больную. Сострадание ли выразилось на холодном лице Федора Андреича, или так просто вздумалось Матренушке, только она умоляющим голосом сказала:

– Батюшка... родной, не оставь сироту!

– Да что я могу сделать, глупая! – отвечал Федор Андреич.

– Да помоги ты хоть нам старика-то в больницу отвезти. А то она, сердечная, изведется с горестей.

– Да как его фамилия?

– Самсонов, батюшка, Яков Петрович Самсонов!

– Так, значит, хоронили Авдотью Степановну? – поспешно спросил Федор Андреич и в волнении схватился за ручку кареты.

– Ах, господи, так она вам знакома! – радостно воскликнула Матренушка.

Через две минуты Федор Андреич сидел в карете и расспрашивал Матренушку о господах, в особенности о старичке.

Дорогой девушка очнулась и очень удивилась, увидав себя в карете и в сопровождении незнакомого лица.

– Ишь мы, по-господски теперь с похорон едем! – с гордостью заметила Матренушка, и, указывая на Федора Андреича, она продолжала: – Вот они изволили знать вашу бабушку.

– Вы ее знаете? – радостно спросила девушка, обратись к Федору Андреичу, и заплакала, прошептав: – Она умерла!

– Перестаньте плакать, успокойтесь, вы можете захворать, а на ваших руках есть еще больной, – сказал Федор Андреич.

Девушка поспешно вытерла слезы и, принужденно улыбнувшись, сказала:

– Разумеется, глупо! Я не буду больше плакать. А вы знаете дедушку?

– Как же! Но вы, вы меня помните? – спросил Федор Андреич.

Девушка устремила на него свои выразительные глаза и закачала головой.

– Я вас видел очень маленькой; вы так изменились, выросли, – я бы ни за что вас не узнал.

Девушка продолжала глядеть на него и как бы отыскивала в недалеком своем прошедшем время, когда знавала его.

– Ну, не говорил ли вам дедушка иногда о родственнике своем, Федоре Андр...

– Ах боже мой! так это вы! – пугливо воскликнула девушка, и ее лицо покрылось краской, а в глазах блеснул гнев; она тихо продолжала: – К вам дедушка писал три письма, даже я...

– На то была причина, что я ничего не писал вам. Меня не было в деревне.

– А потом? – заметила девушка.

– Как только я узнал обо всем, то сейчас же поехал в Москву.

Федору Андреичу показалось совестно сознаться перед девушкой, что он не хотел отвечать своему родственнику. Он лгал ей.

– Теперь поздно! – с упреком сказала девушка; но вдруг голос ее изменился, и она умоляющим голосом прибавила: – У дедушки ничего не осталось: всё взяли!

– Будьте покойны: я всё сделаю, что от меня будет зависеть.

Радостная улыбка оживила лицо девушки.

Федору Андреичу больной дедушка приходился двоюродным братом по женской линии. Мачеха Федора Андреича не очень уважала своих бедных родственников и редко упоминала о существовании их, в то время как с богатыми вела аккуратную переписку, описывая свое несчастное вдовье положение с сиротами. Но она дурно разочла. Богатые родственники равнодушно приняли Федора Андреича, когда он приехал в Москву служить, и ни в чем не пожелали помочь ему. А забытый и пренебреженный бедный родственник радушно принял его, обласкал, ссудил деньгами и, несмотря на разность лет, был ему самым нежным братом, – даже раз выручил его из беды, внеся за него деньги, проигранные им. Но, по холодности своей натуры, Федор Андреич легко забыл доброго родственника, и когда получил отчаянное письмо, в котором брат описывал ему нищету свою, застигшую его неожиданно, Федор Андреич даже ничего не отвечал; то же было и с другими письмами. Он сохранил только одно – именно письмо внучки, которая тихонько писала к нему о бедном состоянии своего дедушки. Оно поразило его оригинальностью своей: в нем было столько детского и вместе с тем так много справедливых и гордых упреков.

Федор Андреич застал своего двоюродного брата в самом горестном положении. Будучи искусным ходатаем по тяжбым делам и в то же время человеком беспримерной честности и доброты, брат его взялся за процесс одного бедного человека; в выигрыше процесса не было сомнения, и по доброте своей старик употребил много денег, занимая на свое имя, так как никто не хотел верить тяжущемуся. Процесс уже подходил к концу, как вдруг тяжущийся скончался, разбитый экипажем, наехавшим на его дрожки. Наследники получают почти выигранное дело, передают его другому. Доверчивому ходатаю не только не уплатили расходов по делу, но даже обвинили его в каком-то дурном поступке. Началось дело. Самсонов в отчаянии захворал и поручил отписываться другому; попался ему человек не очень добросовестный, который и довел его до нищеты. Дом продали на уплату долгов; мебель и вещи пошли на лечение. Неожиданно скопившиеся несчастья так потрясли жену стряпчего, что она, не дождавись своего мужа, первая поспешила слечь в могилу. Самсонов, верно, последовал бы за нею, если б не Федор Андреич, который не пожалел денег на его лечение.

Когда старик начал поправляться, Федор Андреич предложил ему и его внучке убежище в своем доме. Старик с радостью согласился.

При первой встрече с родными гостями Настасья Андреевна, сама не зная почему, возненавидела Аню. Может быть, сначала то была бессознательная вражда старой девы к молоденькой и хорошенькой девушке. Но потом заботливость брата о гостях, какой ни она, ни приемш никогда не видали и даже не подозревали, чтоб он был к ней способен, – довершила остальное. Настасья Андреевна сделалась сурова и мелочно требовательна к Ане, и, верно, Ане пришлось бы плохо, если б не Федор Андреич да не хитрый Петруша, с первого же дня подружившийся с Аней.

Старичок страдал, когда Настасья Андреевна нападала на его внучку. Но делать было нечего: им некуда было деваться. Аня понимала очень хорошо свое положение и, зная, что ее слезы огорчают дедушку, старалась как можно равнодушнее принимать незаслуженные упреки и выговоры Настасьи Андреевны; но такое благоразумие еще более подстрекало Настасью Андреевну: она прибегала к самым мелочным мерам и часто метко попадала в своего врага.

Известно, что переход из детства сопровождается желанием казаться старше своих лет, Настасья Андреевна была неумолимо строга к туалету Ани, которым распорядилась по поручению брата. И Аня со слезами надевала пелеринку, которую давно уже стыдилась носить, считая себя взрослой девушкой; но всего ужаснее было ей расстаться с своими прическами, которые она так искусно умела разнообразить каждый день.

Слез Ани Настасья Андреевна боялась: они поднимали грозу в доме. Если Федор Андреич замечал, что у Ани красные глаза, он тотчас требовал, чтоб она сказала ему причину. Таким образом, узнав раз о несправедливости Настасьи Андреевны, он назвал ее «сварливой бабой». С той минуты Настасья Андреевна всеми силами своей души возненавидела Аню и искала неумолимо случаев мстить ей, не рассуждая о беззащитности своего врага. Но, к счастью Ани, Федор Андреич стал реже отлучаться из деревни и сроки его отсутствия не были продолжительны.

Против своего обыкновения, он стал проводить вечера в гостиной, где играл в карты или шашки со старичком, а иногда требовал, чтоб Аня читала ему вслух какую-нибудь книгу или газету. Эти семейные картины наполняли сердце Настасьи Андреевны ревностью, почему не ее приемыша заставлял он читать, и под предлогом хозяйства она бежала к себе наверх, чтоб не слышать приятного голоса Ани, который раздражал ее... Зато старичок сладко засыпал под голос своей внучки. Петруша присутствовал тут же и, будто слушая, сам с собой играл в шашки. Один Федор Андреич, медленно покуривая из маленького чубука с огромной пенковой трубкой, слушал внимательно и часто поправлял Аню, если она торопилась и не так выговаривала слова.

Удар был еще ужаснее для Настасьи Андреевны, когда ее брат стал заботиться о неоконченном воспитании Ани, в то время как давно была пора думать о воспитании Петруши.

В дом был взят гувернер. Петрушу с Аней засадили за уроки. Так как Петруша был резвый мальчик, то Аня, очень понятно, оказывала больше успехов, чем он, и часто получала похвалы от Федора Андреича, а Петруша – выговоры. В глазах Настасьи Андреевны всё принимало другой вид: она вообразила, что беззаботная Аня помышляет очернить Петрушу в глазах его благодетеля, а учитель потому только хвалит ее, что она перед ним кокетничает. И раз, присутствуя при выговоре, который прочитан был Петруше его благодетелем, Настасья Андреевна не выдержала и стала защищать своего приемыша.

– Вы, братец, всё его браните, а не хотите обратить внимания, с кем больше занимается Селивестр Федорыч. Всякий отстанет, если только с одной будут заниматься.

Федор Андреич сердито заметил, что пристрастие ее ослепляет.

– Господи! так небось к ней не пристрастен никто! Уж я давно всё вижу, да не хотела говорить вам! Я чаще вашего заглядываю в классную.

После этого разговора Федор Андреич стал посещать классную, что имело неблагоприятные последствия: Петруша подвергался наказаниям еще чаще и строже. Настасья Андреевна каждый раз, как начинался класс, подслушивала у дверей и, подметив что-нибудь за Аней и учителем, перетолковывала по-своему. Наконец Аня стала конфузиться учителя, преследуемая обидными и несправедливыми намеками Настасьи Андреевны.

Это не укрылось от Федора Андреича, и он уволил Аню от классов. А сам учитель, верно догадываясь о причине частых сцен в доме и боясь потерять место, отправился в город на неделю и, пробыв там две, явился с женой. Искусная сваха помогла ему. Через три дня по приезде его явилась к учителю очень пожилая женщина в сопровождении какого-то молодого мужчины и объявила, что она пришла

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
переговорить с ним, узнав его желание. После расспросов, сколько он получает жалованья и какой его характер, пожилая женщина сказала, что у ней есть племянница двадцати семи лет с десятью тысячами приданого, которую она желает устроить, собираясь сама предпринять дальнейшее путешествие. Вскоре учитель стоял под венцом с девушкой, очень неуклюжей, с некрасивым, но смиренным лицом.

Таким образом, мы познакомились теперь со всеми лицами, которых увидели в начале повести, и даже узнали несколько о Федоре Андреиче, которого не было на нашей сцене при поднятии занавеса.

Глава V

Хитрая выдумка

Аня и Петруша остались в саду. Он сидел верхом на деревянных перилах террасы в задумчивом положении. Аня, стоя неподалеку, бросала вверх носовой платок, играя им, как мячиком.

– Ну, лови, Петруша! – сказала Аня, кинув платок к Петруше.

Он ничего не слышал и оставался в задумчивой позе.

Подымая упавший платок, Аня насмешливо спросила его:

– Скажи, пожалуйста, Петруша, о чем ты так задумался? Верно, боишься, что Настасья Андреевна пожалуется ему?

– Вовсе и не думал! – обидчиво отвечал Петруша. – Если бы даже и пожаловалась... ну, что мне могут сделать??

– Как же? – с удивлением спросила Аня.

– Разумеется! ну, что сделают?.. побранят!.. велит сидеть у Селивестра Федорыча!..

И, помолчав, он с грустью продолжал:

– Нет, Аня! я думал, отчего она меня не хочет послать нынче в город, чтоб держать экзамен. Ведь опять целый год надо будет сидеть в классной с Селивестром Федорычем да проходить зады. В то время как все мои товарищи учатся, я... я один только бью баклуши в этой куцей курточке!

И Петруша с сердцем рванул курточку, так что она затрещала; глаза его наполнились слезами, и он засвистел, вероятно желая скрыть их.

– Ну, кто у тебя и бывает? один Федя! – заметила Аня.

– Он-то меня и злит! – с горячностью подхватил Петруша и с возрастающим жаром продолжал: – Поступил в класс – и нос поднял, говорить со мной не хочет, что ни скажу ему – подсмеивается, ты, говорит, на руках у нянюшек. А сам мне по плечу, да и годами моложе.

И, переменяя голос, он с восторгом воскликнул:

– Ах, Аня! что он мне рассказывал! как они весело живут! играют, курят!

– Ну, а как узнают? – спросила Аня.

– Кто же может узнать! Селивестра Федорыча нет там, чтоб всё переносить. А товарищи не выдадут и сухим из воды вытащат. Да погодите, я уж поставлю на своем: я буду, буду в пансионе нынешний год!!

Последние слова Петруша говорил, обратись к дому, как будто кто-то его слушал в окне.

Аня засмеялась.

– Чему ты смеешься? – с сердцем спросил Петруша.

– Над тобой!.. ха-ха-ха!.. у! как разгорячился. И играть будет, и курить будет...

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
ха-ха-ха!

– Буду, всё буду делать, что захочу, как переселюсь в город! – топнув ногой и разгорячась, воскликнул Петруша.

– Да в том-то и вся сила, когда-то еще переселишься? – поддразнивая, заметила Аня.

– Клянусь тебе, очень скоро! – торжественно произнес Петруша и прибавил таинственно: – Я уж знаю, что надо сделать.

Аня перестала смеяться и с любопытством спросила:

– А что?

– Скоро состареешься – не скажу!

– Пожалуйста! – умоляющим голосом сказала Аня.

– Я, пожалуй, скажу, только с условием.

– Какое?

– Танцуй со мной при Феде, а ему откажи, если он будет просить тебя. А то он меня всё дразнит, что ты на меня как на мальчишку смотришь...

Аня, помолчав, нетерпеливо сказала:

– Ну, скажи же, что ты сделаешь?

Петруша огляделся кругом и, понизив голос, сказал таинственно:

– Помнишь, по какому случаю он рассердился, хотел меня отправить в город? Да тетенька разнежничалась!

– Ну, помню! что же? – с напряженным любопытством спросила Аня.

– Не понимаешь? – с удивлением, в свою очередь, спросил Петруша.

Аня покачала головой.

– Я...

Петруша опять огляделся и тихо продолжал:

– Я перепису черновое письмо Феде, что он у меня оставил, и выроню при нем, будто нечаянно.

– Так что же?

– А вот увидишь, что будет, – весело отвечал Петруша и, схватив Аню за руку, потащил ее за собой, прибавив: – Побежим в нижний сад.

Аня сначала упиралась, но потом пустилась бежать ровно с Петрушей и спросила его:

– А кому писал Федя письмо?

– К Танечке, – отвечал Петруша,

– И она ему пишет?

– Разумеется!

Она замолчала и продолжала бежать. Петруша усилил свой бег и сказал:

– А ты будешь писать ко мне, когда я уеду отсюда?

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Это зачем?

– Так!

– Нет-с, вы уж лучше попросите Танечку, чтоб она вам обоим писала.

– Трусиха! – заметил Петруша и, выпустив ее руку, пошел шагом.

– Вовсе не из трусости!

– А из чего же?

– Так!

– Значит, тебе меня не будет жаль? – с упреком заметил Петруша.

– Пойдем к лодке, Петруша! – взяв его за руку, поспешно сказала Аня.

– Зачем?

– Нарвем цветов; я их ужасно люблю.

– Ну пойдем!

И они как стрелы пустились бежать, – перебежав мостик, повернули по берегу речки, которая прихотливо изгибалась узкою лентою, окаймленною с двух сторон широкими листьями болотных лилий. Прибежав к одному из кустов, Петруша взвалил себе на плечи два весла, которые скрывались там, и медленно пошел к лодке, стоявшей невдалеке. Он проворно прыгнул в нее и отвязал ее от колышка, покрытого изумрудным мхом.

Лодка заколыхалась, и из-под зеленой тины блеснула вода. Петруша с ловкостью перекинул конец весла на берег, а другой придержал рукой. Аня, приподняв высоко платье, чтоб его не замочить, стала тихонько пробираться по веслу, которое вертелось во все стороны.

– Какие у тебя маленькие ножки! – заметил Петруша.

Аня, потеряв баланс, закачалась.

Если бы не ловкость Петруши, она упала бы в воду; но он схватил ее за руку и с силою притянул в лодку. Он смеялся. Аня тоже смеялась.

Лодка тем временем отчалила от берега и тихо прорезала себе дорогу в зелени, оставляя за собой ленту воды, которая уменьшалась постепенно и наконец исчезла.

– Смотри, весло забыли! – кричала Аня.

– И с одним накатаемся.

\* \* \*

Петруша стоя правил одним веслом и насмешливо глядел на нее.

Легкий туман стал подниматься из реки, которая становилась шире и чище, а лес, окаймлявший берега с обеих сторон, густел и темнел. Петруша и Аня плыли молча; последняя смотрелась в воду, опускала руки в нее и так ехала, производя ими легкий плеск.

– Петруша! – неожиданно окликнула она задумавшегося своего вожатого.

– А? – спросил пугливо Петруша.

Эхо повторило их. Это Аню очень заняло, и она, смеясь, стала повторять на разные голоса имя Петруши и прислушивалась к эхо.

– Отчего, Петруша, лес повторяет, что я ни скажу? – спросила Аня.

– Это – эхо, – глубокомысленно отвечал Петруша.



– Вот хорошо! я и без тебя знаю, что эхо! – насмешливо и передразнивая его голос, отвечала Аня и с важностью продолжала: – Нет, ты мне растолкуй, отчего и как?

Петруша молчал.

– Не знаешь?

– А ты знаешь? – с досадою спросил Петруша.

– Нет! но мне не стыдно! я не буду курить и писать письма! – Аня сопровождала свои слова лукавыми взглядами.

– О, тогда я всё узнаю; а теперь чему научиться с Селивестром Федорычем? разве как сушить васильки, чтоб перемешивать с табаком и потом курить их.

– Да тебе будет скучно там одному! На лодке нельзя кататься и рвать таких цветов.

И Аня нагнулась сорвать одну из лилий; но корень был крепок, и она только возмутила поверхность воды. Петруша, бросив весло, сорвал ей его.

– Еще и эту, и эту! – говорила Аня Петруше, который наклонял лодку во все стороны, собирая цветы, разбросанные по реке, и говорил:

– Чего мне будет жаль, так тебя, Аня: она тебя замучит попреками.

– Уж, право, не знаю, что я ей сделала! она меня ужасно не любит, – с грустью сказала Аня.

– Ты пиши ко мне, если уж она очень...

– Что же ты сделаешь?

– Я...

Петруша призадумался и потом отвечал:

– я скажу ей, что не буду ее любить.

– Ах! не говори ты ей этого! – воскликнула Аня в испуге и тихо заплакала.

– О чем же ты плачешь, Аня? – недовольным голосом спросил Петруша, и, отнимая ее руки от глаз, он вкладывал в них цветок.

– Страшно! – всхлипывая, отвечала девушка.

– С чего тебе страшно? – глядя вокруг, спросил Петруша.

– Я останусь одна: она меня с дедушкой будет бранить всякий день.

– Ну так я останусь, не плачь! Посмотри, какой чудесный цветок.

Так утешал Петруша свою спутницу.

Аня взглянула на цветок, понюхала его и немного запачкала себе нос. Петруша залился смехом и, сорвав себе лилию, напачкал тоже свой нос.

Они гримасничали в лодке, смеялись; вдруг Аня призадумалась и сказала:

– Знаешь что, Петруша: сорвем по цветку, высушим их, и когда ты приедешь побывать, я спрошу свой, а ты у меня свой. И если кто потеряет его, тот должен целый год исполнять всё, что ни приказывают.

– Хорошо; спасибо! – отвечал Петруша, взяв поданный ему цветок, и прибавил: – Я его в историю положу.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Болтая, они не заметили, что стемнело. Аня первая пугливо сказала:

– Однако, Петруша, вернемся назад; пока еще доедем, а может, нас хватятся.

Но как ни спешил Петруша, когда лодка причалила к месту, где они сели, уже совсем смерклось. Аня с Петрушей бегом пустились к дому, и лишь только завидели его, как оба в один голос пугливо заметили:

– Огонь в гостиной!

– Не приехал ли он? – сказал Петруша.

И, подойдя ближе к дому, стал на скамейку. Аня последовала его примеру. Приподнявшись на цыпочки, она заглянула в окна и потом, быстро присев, дрожащим голосом сказала:

– Ах, уж и стол накрыт!

Петруша, стоя на скамейке и придерживаясь за плечи Ани, говорил:

– Он ходит по комнате: значит, сердит! – И, соскочив со скамейки, он продолжал: – Смотри, Аня, скажи, что сидела у себя в комнате.

– Хорошо; ну, иди же; я приду потом, – отвечала Аня.

И они разошлись.

В зале был уже накрыт стол для ужина. Старичок сидел в своих креслах и, прильнув к стеклу, высматривал в темноте сада свою внучку и Петрушу, которых искали по всему дому и ждали ужинать. Федор Андреич, рассерженный поздним отсутствием Петруши и Ани, расхаживал в зале и ворчал на свою сестру, зачем она не смотрит за ними и позволяет девушке в такой поздний час отлучаться из дому. Настасья Андреевна своими словами, казалось, еще сильнее раздражала гнев брата. Фигура его, и без того серьезная, сделалась мрачною. Он был небольшого роста, но необыкновенно широк в плечах, с плотными руками и ногами. Его лицо далеко не принадлежало к числу приятных; густые с проседью волосы, торчавшие вверх, придавали его строгим чертам что-то мрачное; а густые брови, почти сросшиеся вместе, увеличивали суровость выражения его черных блестящих глаз и большого носа. Он носил небольшие усы с проседью, которые скрывали его толстые губы. Цвет лица его был красноватый и не лишенный здоровья. Одет он был в синеватого цвета венгерку с высоким стоячим воротником, который упирался в его полный подбородок и делал еще шире его лицо.

Появление Петруши нарушило молчание, воцарившееся в зале. Федор Андреич встретил его следующими словами:

– А, насилиу явился!

Петруша поцеловал у него руку.

– Вы заставляете ждать себя... Где ты был?

И лицо Федора Андреича становилось всё мрачнее.

– Я катался на лодке! – робко отвечал Петруша.

– Я ведь тебе запретил? как же ты смел! – грозно спросил Федор Андреич.

– Я ему позволила: он хорошо играл сегодня! – подхватила Настасья Андреевна.

Ее брат, нахмутив брови, отвечал:

– Прекрасно, ты его отпустила; а где же Аня?

– Я не знаю-с! – поспешно отвечал Петруша.

– Разве она не с тобой каталась? – с удивлением спросил Федор Андреич.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Нет-с! – запинаясь, проговорил Петруша.

В ту минуту Аня, слегка смущенная, вошла в залу.

– А-а-а, сударыня!.. где вы изволили быть? – торжествующим голосом спросила Настасья Андреевна.

– Я сидела наверху!

– Неправда: я сама была в вашей комнате.

– Верно, я...

– Поди поздоровайся, – перебил ее старичок.

Аня подошла к Федору Андреичу, поцеловала его в щеку.

– Боже мой! посмотрите на ее платье, – вскрикнула Настасья Андреевна и, кинувшись к Ане, стала поворачивать ее во все стороны.

Торопясь домой, Аня забыла о своем платье, и роса вымочила его.

Федор Андреич выразительно посмотрел на Петрушу, погрозив ему, и сквозь зубы сказал:

– Так ты один катался?

– Я одна гуляла в саду! – побледнев и умоляющим голосом сказала Аня, обратись к Федору Андреичу, который отвернулся от нее и настойчиво требовал, чтоб Петруша сознался в своей лжи.

Но Петруша упорно молчал. Этим временем Настасья Андреевна накинулась на Аню, которая заплакала.

Федор Андреич, оставив Петрушу, обратился к плачущей и грозно закричал:

– Вы, кажется, сговорились меня злить сегодня. Одна плачет, другой лжет!

– А она разве не солгала вам? – подхватила Настасья Андреевна, бросая яростные взгляды на Аню.

– Настасья Андреевна, моя Аня не лгунья! – обидчиво заметил старичок.

Внучка кинулась к своему защитнику и, скрыв свою голову на его плече, горько зарыдала. Дедушка утешал ее и шептал:

– Тише, не плачь: он пуще рассердится.

Федор Андреич заходил скорыми шагами по комнате: то было признаком гнева.

Настасья Андреевна шепталась с Петрушей, делая ему выразительные жесты.

– Да перестанете ли вы, сударыня! – грозно топнув ногой, сказал Федор Андреич, остановись перед Аней. – Вы плачете, как будто бог знает что с вами сделали. Прошу перестать: вы знаете, я не люблю слез!

Последние слова были сказаны гораздо громче. Старичок вытер слезы у внучки и сказал ей тихо:

– Попроси прощенья.

– Я не виновата! – отвечала Аня всхлипывая.

– Капризная девчонка! – заметила Настасья Андреевна и, крикнув лакея, приказала подавать ужин.

В глубоком молчании все уселись за стол, в том числе и губернёр с женой, сошедший сверху. Раз двадцать он кланялся, а жена его приседала хозяину дома,

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a пока они были замечены им.

– Вы продолжаете сердиться? отчего вы не кушаете? – нахмутив брови, сказал Федор Андреич Ане, которая сидела, понурив голову, и ничего не ела.

Старичок толкнул ее ногой. Аня, не слышав вопроса хозяина, вопросительно посмотрела на своего дедушку, который уткнулся в свою тарелку и прилежно кушал.

– Отвечайте же, – вас спрашивают! – дрожащим от гнева голосом сказала Настасья Андреевна.

– Что вам угодно? – спросила Аня.

– О чем вы так думаете, что ничего не слышите? – язвительно спросила Настасья Андреевна и готовилась продолжать выговор, но, остановленная взглядом своего брата, быстро сжала губы.

Встали из-за стола. Аня подошла проститься с Федором Андреичем, сказав грустно:

– Покойной ночи-с!

Федор Андреич взял Аню за руку, поцеловал ее в лоб и ласковым голосом произнес:

– Забудьте всё и спите спокойно.

Аня с теми же словами подошла к Настасье Андреевне. Они обе едва коснулись губами до щек друг друга; последняя наградила Аню гневным взглядом. Со старичком Аня прощалась без слов. Она нежно поцеловала его в щеку, потом в руку и опять в щеку, как бы желая показать присутствующим свои чувства к нему.

– Дедушка, я вас провожу и зайду к вам, – шепнула она старичку.

Старичок крепко поцеловал свою внучку и перекрестил.

– Прощайте, Петрушенька! – сказала Аня, проходя мимо него.

Петруша стоял у окна и глядел в мрачный сад. Эти слова вывели его из задумчивости; он молча поклонился Ане и с нежностью поцеловал старичка, который отвечал ему таким же поцелуем и тоже его перекрестил.

– Прощай, брат! – пожимая руку Федора Андреича, сказал старичок, сопровождая слова свои благодарным взглядом.

– Прощайте! – вдруг веселым голосом отвечал Федор Андреич и, сделав общий поклон, ушел из залы.

Все побрели по своим комнатам, исключая Настасьи Андреевны, которая осталась собирать остатки белого хлеба в корзинку и долго еще копалась внизу, запирая водку, вино по разным чуланам.

Через час всё в доме спало глубоким сном; только в кабинете Федора Андреича еще виден был огонь.

Часть вторая

Глава VI

Письмо

Кабинет Федора Андреича уборкой своей не отличался от других комнат. Мебель была в нем самая необходимая: железная кровать, у которой стоял маленький столик, заваленный губернскими газетами, бронзовый подсвечник с зеленым колпаком, освещавший комнату, комод старинный с бронзовой оправой, несколько стульев соломенных, новейшей работы бюро и у окна вольтеровское кресло, в котором задумчиво сидел Федор Андреич. В его руках был неизменный его коротенький чубучок с огромной пенковой трубкой. Но он не курил в эту минуту, а, поддерживая голову одной рукой, смотрел в раскрытое окно в темный сад. Он сидел так неподвижно, что его можно было принять за спящего, если б из-под густых бровей не сверкали его блестящие серые глаза. В этом положении провел ночь Федор Андреич; лишь только занялась заря, он лениво встал, как бы сожалея о промчавшейся ночи, выбил свою недокуренную трубку и, набивши новую, вышел из

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
своего кабинета и очутился на террасе. Утренний воздух дал ему почувствовать без сна проведенную ночь; усталый, он уселся на отсыревшие ступеньки террасы.

Утро было свежее; зелень и даль неба покрыты были легким наром, который, медленно подымаясь, разрывался местами. Птицы, чирикавая, скакали по песку дорожек, порхали на кусты, собирая капли росы, или, весело щебеча, пролетали над головой Федора Андреича в свои гнезда, свитые в крыше террасы.

Но его ничто не развлекало: он сидел в неподвижном положении, и трубка опять была забыта. Солнце вспыхнуло, осветив все предметы; птицы громче запели, послышалось мычание коров, ржание лошадей; вдали пахло дымом затопленной печки. Но пробуждение дня не могло вывести из задумчивости Федора Андреича. Наконец он вдруг встрепенулся. Над его головой раздался стук открытого окна; сонная Аня, с распущенными волосами, с ярко горящими щеками, закутанная в белое одеяло, появилась в окне. Она, щурясь, глядела на солнце, прямо светившее ей в лицо, зевнула, вздрогнула и, плотнее закутавши свои плечи одеялом, легла на окно. Аня глядела неопределенно на небо, на зелень в саду, следила внимательно за птичками – и вдруг скрылась с окна, но через минуту опять появилась, вооруженная зонтиком, которым слегка стукнула в соседнее окно, и спряталась.

Через несколько минут соседнее окно раскрылось с шумом, и сонное лицо Петруши с <вс>клокоченными волосами показалось в нем. Аня выглянула из своего и залилась смехом. Петруша, зевая, спросил:

– Ну, чему смеешься?

– У, какой ты страшный!

Петруша, догадавшись, оправил свои волосы и спросил ее:

– А ты давно встала?

– Давно, давно! – протяжно отвечала Аня и зевнула сладко.

Петруша последовал ее примеру и сказал:

– Что же ты меня не разбудила прежде?

– Не хотела.

– Значит, солгала: верно, сама проспала; а уж как вчера божилась, что встанет рано-рано, чтоб идти гулять!

Аня лукаво улыбнулась и, потягиваясь, сказала:

– Какой я страшный сон, Петруша, видела!

– Ну, верно, не страшнее вчерашнего вечера: каково нас поймали? и всё твое платье!

– Мне так было страшно за тебя! – перебила его Аня.

– А мне за тебя: думаю, расплечется и всё расскажет.

– Вот мило! ты думаешь в самом деле, что я девочка! – обидчиво заметила Аня и с уверенностью продолжала: – Нет, что бы ни случилось со мной, я ничего не сказала бы,

Аня поддерживала свое личико; оно было полузакрыто распущенными ее волосами, концы которых висели из окна и качались в воздухе.

– Знаешь, Аня, тебе бы так носить волосы, – заметил Петруша.

– То есть не чесаться? – смеясь, подхватила Аня, и, закинув голову кверху, смотря на небо и щуря лукаво глаза, она прибавила: – Ну а так хорошо?

– Не шали: упадешь! – строго заметил Петруша Ане, которая мотала головой. – Пойдем гулять... Как бы теперь хорошо покататься на лодке.

– Мне не в чем! мое платье с вечера взяли замывать.

– Надень мое! – смеясь, сказал Петруша.

– Ха-ха!

Петруша в минуту свесил ноги на крышу и болтал ими.

– Не делай этого, бога ради: ты знаешь, какая гнилая крыша. Вон сколько дыр на ней.

И вдруг она пугливо устремила глаза в одну из них и, замахав рукой, скрылась из окна. Петруша стал ее звать и, соскочив на крышу, подошел к ее окну. Аня закричала ему с ужасом:

– Он встал, сидит на террасе.

Петруша пугливо прокрался назад. Оба окна вскоре тихо закрылись. Но Федор Андреич всё слышал и видел, и детские выходки Ани и Петруши ему видимо не понравились. Он совершенно сдвинул свои брови и кусал губы, крутя жестоко свои усы.

Чай и завтрак подавали в этот день в кабинет Федору Андреичу. К обеду стол накрыт был в зале. Все, собравшись, ожидали его появления, чтобы начать обедать. Он так был мрачен при появлении, что на лицах всех присутствующих изобразилась тревога, и они вопросительно переглянулись. Молча Федор Андреич принял приветствие домашних, и когда стенные часы с громом и шипением пробили три часа, он заметил про себя:

– Как поздно!

– Не прикажете ли, братец, подавать кушать? – спросила Настасья Андреевна.

– Давайте, – отвечал рассеянно Федор Андреич, и, обратясь к Петруше, который, стоя у флигеля, перебирал ноты, он сердито прибавил: – Ну что же ты стоишь! вели подавать!

Петруша пошел к двери и в ту самую минуту вынул из кармана носовой платок, а с ним вместе выпало письмо.

– Петрушенька, вы что-то выронили! – заметила Аня, заранее приготовленная, что ей нужно было сказать.

Но Петруша как бы не слышал и вышел в дверь.

Аня подошла, чтобы поднять письмо; но Федор Андреич остановил ее. В то время Петруша вернулся в залу. Федор Андреич молча указал ему на письмо. Петруша, слегка изменяясь в лице, поднял письмо и хотел спрятать его в карман.

– Подай его сюда! – таким голосом произнес Федор Андреич, что все в зале вздрогнули.

Петруша тотчас же повиновался. Пробежав письмо, Федор Андреич громко засмеялся, отчего Настасья Андреевна, побледнев, вскочила со стула и с удивлением смотрела на брата, потому что смех был у него предвестником страшного гнева. Всё, что было в комнате, притаило дыхание и следило за мрачным выражением лица Федора Андреича, который, язвительно улыбаясь, сказал:

– Иди за мной!

И пошел из залы. Петруша твердым шагом последовал за ним.

Настасья Андреевна, проводив их глазами, тоскливо и вопросительно глядела на всех, как бы прося объяснения, и, остановив свои глаза на смущенной Ане, спросила:

– Что это значит?

Аня покачала головой.

Даже безжизненное лицо Селивестра Федорыча пришло в волнение, а его жена сильно закашлялась.

– Что такое Петруша сделал? – спросил старичок Аню с участием.

Она отвечала со вздохом:

– Не знаю, дедушка.

– Опять какие-нибудь шалости! и где усмотреть за ним? – тоном оправдания проговорил учитель.

Лакей явился в залу с миской супу и поставил ее на стол.

– Доложи барину, что суп подали! – свободнее вздохнув, сказала Настасья Андреевна.

Но лакей скоро возвратился, донесся ей, что барин ничего не отвечал. Настасья Андреевна приказала вынести миску из залы и вышла; она скоро возвратилась еще в большем волнении, брала вязанье в руки, бросала его, поминутно смотрела на часы и тоскливо на дверь.

Через томительных полчаса явился в залу Федор Андреич; он был бледен, губы его судорожно сжаты; глаза сверкали таким огнем, что все, как бы ослепленные их блеском, потупили свои.

– Что же вы не обедаете? – раздражительным голосом спросил Федор Андреич, взглянув на стол.

– Мы ждали вас, братец! – нетвердым голосом отвечала Настасья Андреевна.

– Велите скорее давать!

Когда опять подали суп, Настасья Андреевна робко сказала лакею:

– Попроси Петрушеньку...

– Не нужно! – перебил ее Федор Андреич.

Настасья Андреевна остолбенела, с разливательной ложкой в руках, и глядела на своего брата, который, судорожно постукивая ножом по столу, исподлобья глядел на всех.

– Вы его наказали? – придя в себя, спросила Настасья Андреевна.

– Да! он сегодня без обеда, – резко отвечал ей брат, и она принялась разливать суп.

Федор Андреич ужасно капризничал за столом, ворчал на сестру, что не всё в порядке, громко бранил лакея, подававшего кушанье...

– Боже мой, что с ним? – в недоумении шептала Настасья Андреевна.

Обед тянулся долго, хотя никто почти не ел, кроме Селивестра Федорыча; но и тот видимо конфузился от случайно падавших на него гневных взглядов хозяина.

После обеда, казалось, гнев Федора Андреича поутих; но он всё еще хмурился и, сидя в гостиной на диване с трубкой в зубах, постукивал ногой, глядя в даль сада.

Аня и Настасья Андреевна заняты были работой, а старичок, забыв свой послеобеденный сон, сидел, понуриив голову, за шахматным столиком. Тяжелая и подавляющая тишина царила в комнате, в которой была раскрыта дверь на террасу в сад, как бы для сравненья этих людей, заключенных в комнате, с птицами, вольно летающими повсюду, с бабочками, порхавшими по кустам, с мухами, кружащимися

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
бесмысленно в воздухе. Иногда в комнату залетала большая муха: жужжа неистово, она тоскливо билась по стеклам и радостно вылетала опять в сад.

Наконец послышалось мерное дыхание Федора Андреича, и голова его облокотилась на спинку дивана; трубка сжата была в руке, которая покоилась на ручке дивана.

Настасья Андреевна на цыпочках вышла из гостиной и отправилась к кабинету брата, где сидел Петруша. Она постучалась в дверь.

– Кто? Аня? – спросил Петруша изнутри.

– Нет, это я; отвори!

– Я заперт.

– Господи, господи! что ты такое сделал? что за письмо и к кому?

Петруша молчал.

– Говори же! – строго продолжала Настасья Андреевна.

Петруша всё молчал.

– Скажешь ли ты мне!.. – Не дождавшись ответа, Настасья Андреевна с сердцем продолжала: – Поделом тебе, и прекрасно, что тебя наказали: ты упрямый мальчишка!

И она возвратилась в залу; но ее приход, как он ни был осторожен, пробудил брата; подозрительно посмотрев на Настасью Андреевну, он сказал:

– Верно, навещать ходили? да я принял меры против вашего баловства.

И он показал ключ от двери своего кабинета.

Томительно длинно прошло время для Ани от обеда до чаю. Федор Андреич вышел из гостиной, и она кинулась в сад, чтоб подышать чистым воздухом. Поравнявшись с окном кабинета, она услышала сердитый голос Федора Андреича и следующие слова:

– В последний раз спрашиваю, к кому писал письмо?

Ответа не слыхала Аня, и когда хлопнули дверью, она, припрыгнув, закричала:

– Петруша!

Петруша выглянул из окна; глаза его были заплаканы, но он улыбался и торжествующим голосом сказал:

– А каково я их всех поддел!

Аня с участием спросила:

– Петруша, ты, кажется, плакал? за что он тебя оставил без обеда?

– Вовсе не думал плакать! Выйдут же наконец из терпения и пошлют меня в город.

– Не хочешь ли ты есть?

Вместо ответа, Петруша, указав рукой вдаль, поспешно присел.

Аня, повернув голову по указанию Петруши, увидела Федора Андреича, гуляющего по саду; она побежала в залу, где Настасья Андреевна уже сидела за самоваром. Она встретила Аню следующими словами:

– Где это вы изволите бегать?.. из-за вас в доме целый день тревога!

– Я была в саду.

– Так извольте идти опять туда: вас сам Федор Андреич пошел искать; просите его



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
кушать чай.

Аня побежала искать Федора Андреича, но столкнулась с ним на террасе.

– Куда? – строго спросил он.

– К вам-с! – отвечала Аня.

– Это зачем?

– Вы искали меня.

– Да; а где вы были?

– В саду.

– Сад велик! где именно?

Аня замялась, но вдруг поспешно отвечала:

– Я рвала ягоды.

– Сырые-то? ай-ай-ай!

И Федор Андреич покачал головой, взял Аню за руку и пристально глядел ей в глаза. Она покраснела как мак, потупила глаза, и сердце у ней застучало от страху. Она страшилась, что он видел ее у окна, где был заключен Петруша.

– Вы любите меня? – протяжно спросил Федор Андреич...

– Да-с... очень... – не вдруг проговорила Аня.

Это вызвало недоверчивую улыбку на губы Федора Андреича. Он наставительным голосом сказал, держа ее за руку:

– Вы уж большая девица: вам не следует вставать до свету, чтоб болтать с глупым мальчишкой, которому надо учиться. Все эти шалости вчера и сегодня нейдут к вам... но бог с ними. Вы, верно, знаете, к кому он изволил писать письмо, а?

Аню как будто бы жгли на медленном огне. Она обрадовалась бы, если б пол обрушился и поглотил ее, лишь бы не чувствовать прикосновения горячей руки, которая жгла ее, и пронизательных сверкающих взглядов Федора Андреича.

– Что же вы? вы, как и он, молчите?

– Я ничего не знаю-с! – заплакав, отвечала Аня; ей было страшно.

– Я ждал этого! – с сердцем сказал Федор Андреич и с силою сжал ее руку, отчего Аня слегка вскрикнула; он оставил ее и стал ходить взад и вперед по террасе.

Аня плакала.

– Братец, чай готов, – сказала Настасья Андреевна, появись в дверях.

– Прикажете мне сюда подать! – отрывисто отвечал ей брат и продолжал ходить.

– Извольте принести чашку! – обратясь к Ане, сказала Настасья Андреевна, и когда девушка скрылась, она поспешно продолжала:– Братец, простите Петрушу: он и так довольно наказан.

– За его упрямство ему еще не то будет! не просите!.. Я его не прощу!.. – отрывисто, сердитым голосом сказал Федор Андреич.

– Это несправедливо! всё одного наказывать, в то время как другая во сто раз более виновата.

– Да вы не знаете, что он сделал, и заступаетесь. Он упрямый мальчишка!

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Всему научился у ней; прежде он не был таким. Я, я никогда не взяла бы в дом такую упрямую девчонку; она его всему научает: он еще дитя, – с горячностью говорила Настасья Андреевна.

– Хорошо дитя!.. но прошу таких глупостей не говорить в другой раз.

Аня слышала обвинение себе. Оскорбление, это чувство, доселе ей неизвестное, обхватило ее; она вся задрожала, хотела говорить, но не могла, – хотела плакать, но слезы душили ее; поставив чашку на перилы террасы, она кинулась в сад. Сумерки мешали видеть лицо Ани; однако Федор Андреич вернул ее, заметив, что в саду сыро. Аня ушла в залу и, сев у окна, сжала свою голову руками, облокотись на подоконницу. Она оставалась в этом положении, пока не почувствовала легкого удара по плечу. Старичок стоял возле нее и тихо сказал ей:

– Что с тобой?.. не слышишь, что Федор Андреич тебя зовет?

Аня очень удивилась, что чай был убран и зала темна.

– Иди же читать газету, – с удивлением повторил старичок.

Внучка как бы машинально повиновалась: она вошла в гостиную. Свет свечей резал ей глаза. Федор Андреич сидел один на диване у круглого стола, покуривая трубку. Аня молча села, взяла газету, лежавшую на столе, и стала читать. Но она читала так рассеянно, что Федор Андреич заметил ей, что она, верно, разучилась читать, и приказал прекратить чтение.

Через полчаса в гостиной старичок, храня глубокое молчание, играл в карты с Федором Андреичем, а его сестра расхаживала по террасе, пол которой очень сильно скрипел. Дверь на террасу была раскрыта. Аня сидела с работой в руках возле старичка, но поминутно задумывалась; стук карт по столу заставлял ее вздрагивать, и она обращалась к своей работе.

Вечер был тих, свечи горели ровно. Вдруг посреди глубокой тишины послышался звонкий голос, полный грустной мелодии. Он пел русскую песню:

Не одна-то во поле дороженька..

Шаги на террасе замолкли, Аня оставила шитье; играющие в карты и все вслушивались в пение.

– Кто это распевает в саду? – с удивлением спросил Федор Андреич и вдруг, усмехнувшись, продолжал:– А, это, верно, он! Слышите, Настасья Андреевна, каким соловьем заливается ваш баловень?

И он стуком карт как бы старался заглушить пение. Оно было так грустно, что у Ани показались слезы на глазах, а старичок сделал ренонс. Последнее очень рассердило Федора Андреича, и он, поворчав на старичка, крикнул своей сестре:

– Да скажите, чтоб он перестал петь.

Пение через минуту затихло.

Подали ужин. Настасья Андреевна, несмотря на свой обычный аппетит, ничего не ела. В половине ужина она сказала:

– Позвольте, братец, послать ему туда ужин.

– Сделайте одолжение! Иван! отнеси Петру Федорычу стакан воды и черного хлеба.

На глазах Настасьи Андреевны показались слезы, и она с упреком взглянула на Аню, которая печально сидела возле своего дедушки. После ужина Федору Андреичу вздумалось продолжать игру. Аня, сказав, что у ней болит голова, простилась с играющими, чтоб идти спать; но вместо своей комнаты она очутилась в саду и, бросив горсть песку в закрытое окно кабинета, нетерпеливо глядела на него. Петруша открыл окно, Аня произнесла:

– Тс!

– Аня, ты? – спросил Петруша, всматриваясь в темноту сада.

– Я, я, Петруша!

– Смотри, чтоб тебя не увидели.

– Нет: он играет в карты с дедушкой, а она говорят с поваром... Петруша, нельзя ли мне вскарабкаться к тебе?

– Высоко; впрочем, вскочи на карниз: я поддержу тебя.

И Петруша, свесившись из окна, протянул руки. Аля подпрыгнула, ухватилась за них и, как кошка цепляясь по стене, стала одной ногой на карниз и, локтями придерживаясь на оконнице, находилась почти в висячем положении.

– Не упади! – заметил Петруша; и он придерживал ее.

Аня, указывая на стакан воды и хлеб, стоящий у окна, сказала:

– Ведь это он тебе выдумал такой ужин.

И, вынув из кармана своего платья кусок жаркого и белого хлеба и подавая Петруше, прибавила:

– А я вот что тихонько для тебя спрятала.

Петруша как бы нехотя стал есть; но по мере каждого куска он ел с большей и большей жадностью.

Аня глядела на него.

– А какой соус был сегодня за обедом? – жуя, спросил Петруша.

– Твой любимый.

– Ах, жаль! вот ты бы мне его принесла.

– Очень ловко! соус в карман положить! – смеясь, подхватила Аня. – Я и так боялась, что заметят меня. Ты знаешь, как Настасья Андреевна глядит за мной.

– Что она, рада, что я наказан?

– О нет! даже не ужинала.

– Вот хвастунья-то! а как уж грозила мне, как будто в самом деле злая.

– Она тебя любит, Петруша.

– Да я-то ее не буду любить, если она станет привязываться к тебе.

– Ах, Петруша! выпустят ли тебя завтра? мне так скучно.

– Пусть лучше меня продержат здесь с неделю, только бы отвезли в город и отдали учиться.

– Надо проситься.

– Хочет, чтоб я сказал, к кому я написал письмо, когда я сам не знаю!

– Скажи, что к Танечке.

– Ишь какая добрая! чтоб он пожаловался на нее! лучше я скажу – к тебе.

– Изволь: я согласна! пусть меня наказывают, только бы тебя простили.

Голос у Ани задрожал, и она заплакала.

– Аня, что ты, о чем плачешь? – с участием спросил Петруша.

Плача, Аня отвечала:

– Настасья Андреевна уверяла его, что я всему виновата и что учу тебя лгать ему...

Аня, рыдая, склонила голову на окно. Петруша с сердцем топнул ногой и, наклонясь к Ане, сказал:

– Полно, не плачь: когда я стану учиться, я не позволю тебя так обижать.

В это время голоса за дверьми заставили их вздрогнуть. Локти у Ани соскочили; она скатилась вниз и, чуть не упав, пустилась бежать к себе в комнату.

Петруша долго не спал и видел, как Федор Андреич просидел всю ночь в креслах у окна, а утром он увидел его в постели во всей одежде.

На другое утро Аня, как ни хитрила, чтоб скрыть свои руки, расцарапанные при падении, но их тотчас заметил Федор Андреич и, сказав: «Куда вы это лазить изволили?», погрозил ей пальцем. За обедом он, неожиданно для всех, объявил, что завтра утром повезет Петрушу в город, что ему нечего делать в деревне.

Настасья Андреевна давно знала, что должна расстаться когда-нибудь с своим любимцем; однако это ей не помешало измениться в лице.

Селивестр Федорыч не доел жаркого и с ужасом глядел на хозяина; его жена закашлялась, как обыкновенно с ней случалось при всяком волнении. Федор Андреич, как бы заметив это, сказал учителю:

– Вы можете остаться у меня, пока не сыщете места.

Учитель встал и отвесил поклон, его жена сделала реверанс, и с новым аппетитом Селивестр Федорыч доел свое жаркое и взял двойную порцию пирожного, – верно, за своего ученика, которому в этот день отнесли обед в кабинет.

В доме сделалась суматоха. Настасья Андреевна на одной кладовой перебежала в другую, считала белье, и какие хитрости ни употребляла, чтоб проникнуть к своему любимцу, – всё рушилось о железную волю ее брата.

Ане тоже не было случая переговорить с Петрушей, потому что Федор Андреич целый день сидел у себя в кабинете, а когда смерклось, посадил ее читать. Ужин был подан ранее обыкновенного, и, прощаясь, Федор Андреич объявил, что поедет в город с Петрушей после завтрака.

Настасья Андреевна с вечера заказала любимые кушанья Петруши для завтрака и не очень покойно спала эту ночь.

## Глава VII

### Отъезд

Утром, собравшись к чаю, Настасья Андреевна спросила лакея, стоявшего у двери:

– Что, встал барин?

– Никак-с нет!

– Спит? – с удивлением поглядев на лакея, заметила Настасья Андреевна.

– Никак-с нет! – поспешно отвечал лакей.

– Что ты это зарядил свое «никак-с нет»? Поди, проси кушать чай.

И она стала заваривать чай.

Лакей не двигался с места и, запинаясь, сказал:

– Да... они-с в ночь изволили уехать-с!..

Все присутствующие недоверчиво глядели на сконфуженного лакея.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Как, уехали?! а Петруша? – воскликнула Настасья Андреевна.

– Они-с тоже! – пугливо глядя на хозяйку, отвечал лакей.

– Как же ты меня не разбудил? – закричала Настасья Андреевна.

– Очень крепко запретил барин никого не беспокоить-с.

Настасья Андреевна опустила в изнеможении на стул, а все присутствующие менялись удивленными взглядами и пожатием плеч, казалось лишась способности говорить. Посреди-то этой тишины со стола зажурчали ручьи воды. Настасья Андреевна забыла закрыть кран у самовара, заваривая чай. Все заахали, засуетились вокруг стола. Настасья Андреевна шумела больше всех, выбравив всех, начиная от Ани до жены учителя... Когда привели всё в надлежащий порядок и все опять уселись по своим местам за чай, на каждом лице заметно было напряженное усилие разгадать причину неожиданного отъезда хозяина и похищения Петруши.

Селивестр Федорыч находился в волнении, особенно подозрительном при его глубокомысленной неподвижности. Он напевал старичку обидчивым голосом:

– Что же, мной были недовольны, что ли? разве они не знают, что я семерых приготовил к экзамену?

– Уехал! – пробормотала Настасья Андреевна, неопределенно смотря на самовар.

– Не дал ни с кем проститься! – покачивая головой, в свою очередь рассуждал старичок.

Настасья Андреевна, услышав его, подняла голову; глаза ее запылали гневом, и она, задыхаясь, отвечала старичку:

– И даже не дать проститься с той, которая ему заменяла мать!

Руки ее судорожно сжались, и она тихо произнесла, как бы рассуждая сама с собой:

– Кажется, я терпела; но этот поступок...

– Он, верно, боялся слез? – заметил старичок.

– Ах, боже мой! да что я за дура? неужели я стала бы плакать, если его повезли бы учиться! Я давно просила его позаботиться о нем. А тут вдруг, как преступника, засадили в комнату и ни с кем не дали проститься – увезли.

– Круто поступил! – печально сказал старичок.

– Не круто... нет... это просто жестоко! – воскликнула Настасья Андреевна и, как бы испугавшись своих слов, огляделась кругом. Но, встретив сухую фигуру Селивестра Федорыча, она видимо обрадовалась и продолжала, не понижая голоса: – Это всё вы, вы виноваты: вам только бы сидеть у себя да нежничать с вашей женой!

Учитель разгорячился от несправедливых упреков Настасьи Андреевны и с несвойственным жаром сказал:

– Помилуйте, Настасья Андреевна! я обязанность свою исполнял как следует: я занимался с ним ровно восемь часов в сутки, по десять предметов проходил каждый день. Слава богу, я знаю, как должно исполнять свой долг; у госпожи Ломаковой я пятерых приготовил в...

– Убирайтесь вы со своими Ломаковыми! Вы за Петрушей не смотрели, не смотрели! – кричала всё сильнее Настасья Андреевна.

Учитель обижался и ко всем обращался с вопросом: «Чем же я-то виноват?»

– Я бы вас дня не стала держать! вот как вы правы! – произнесла иронически Настасья Андреевна и вышла из залы, захлопнув с силою дверь.

– Что я такое сделал? – жалобно спросил Селивестр Федорыч, обращаясь к старичку, который отвечал ему:

– И, батюшка! полноте! не видите вы, что ли, как она огорчена? Всем поровну досталось от нее сегодня.

Учитель задумался, а его жена не спускала глаз со своего мужа; ее била лихорадка, и слезы текли по щекам.

– Не плачьте! – с участием шепнула Аня, подойдя к жене учителя, которой, казалось, только недоставало этого, чтоб разрыдаться.

– Это, это что? – спросил учитель, глядя с удивлением на свою жену.

– Очень просто: ей больно, что на вас рассердилась Настасья Андреевна, – отвечал старичок.

Но жена учителя уже не плакала и, сделав реверанс стулу, на котором сидела Настасья Андреевна, вышла первая из залы, а за ней и муж.

– Аня, пойдем погулять в сад: здесь что-то душно! – вставая со стула, сказал старичок.

Дедушка и внучка, оба грустные, пошли в сад. Усадив старичка в беседку, Аня пустилась бежать к мостику, но скоро остановилась и пошла лениво; мимоходом и как бы с досадою щипала листья с кустов и бросала на дорожку. Подойдя к молоденькой березе, у которой она недавно была с Петрушей, она остановилась перед ней и долго оставалась в раздумье. Потом, вынув из кармана перочинный ножичек, она вырезала число и год на дереве.

Долго она ходила по саду, как бы кого-то всё искала, – была у речки, пробовала кататься на лодке, и видно было, что ей неловко и грустно.

Она возвратилась в беседку и нашла старичка сладко спящим на скамейке. Сорвав огромную ветвь акации, она села возле него и стала обмахивать мух с лица спящего, пристально глядя ему в лицо. Мысли ее обратились к прошедшему – к той веселой и свободной жизни, какую она вела у доброго старичка: невольно родилось сравнение с теперешней жизнью. Она припоминала ту легкость на душе, когда, бывало, усевшись между двумя старичками под вечерок, она читала им романы, как потом она им разливала чай и как весело ей было ложиться спать. И когда дошла она до смерти бабушки, сердце у ней сжалось и вдруг пришла ей мысль: что, если и дедушка умрет, с кем она останется? Это так испугало Аню, что она разбудила старичка. Открыв глаза, он пугливо спросил:

– Что тебе, Аня, что?

– Ах, дедушка, мне скучно! – отвечала внучка.

– Что же мне делать, голубушка моя! – протирая глаза, ласково отвечал старичок.

– Не спите!

– Да ведь так только вздремнул.

И он сладко зевнул.

– Ну хотите, я принесу сюда шашки, и мы будем играть.

– Ты разве умеешь?

– Умею: недаром же я сижу всё возле вас, как вы играете с ним.

– Ну давай!

Аня побежала к дому и в аллее видела Настасью Андреевну, которая расхаживала скоро и поминутно подносила к глазам платок.

Под вечер Аня стала веселее, потому что целый день провела одна с дедушкой: всё было тихо, никто ее не бранил, никто на нее враждебно не глядел; она говорила, что ей приходило в голову, ела за столом, сколько ей хотелось, потому что

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Настасья Андреевна не сходила сверху со дня отъезда Петруши.

Аня, пользуясь этим, отобрала себе пробор, завила пукли и возилась с ними по несколько часов в день. Стоя перед зеркалом, она напряженно рассматривала себя, будто совершенно постороннюю особу, и наконец решила, что она недурна собой, хоть и желала много перемен в своем лице. Во-первых, более бледности и таких огромных глаз, что верно б сама испугалась, если б желание вдруг исполнилось.

В несколько дней она как будто возмужала. Движения ее стали плавны, она не бегала по саду, а тихо расхаживала по дорожкам; даже ее мысли вращались на совершенно новых предметах.

В ожидании ужина усталая Аня после продолжительной прогулки отдыхала на диване в гостиной; у стола читал старичок газету. Дверь была открыта на террасу; но Ане было жарко: она откинула густые пукли от разгоревшихся своих щек, сняла пелеринку с своих пышных плеч и оставалась в полулежачей позе.

– Не закрыть ли дверь на террасу? – смотря на пылающие щеки своей внучки, спросил старичок.

– О нет! мне и так жарко; я далеко зашла, всё думая да думая, потом бегом бежала домой.

– Дурочка, о чем же это ты так думала?

– О Петруше! я ужасно рада, что его увезли отсюда.

– Чему же ты рада? – с удивлением спросил старичок.

– Да помилуйте! ну что ему было здесь-то делать, шалить?..

– Умно рассуждаете! – раздался голос: в дверях террасы стоял Федор Андреич.

Аня и старичок очень испугались неожиданного появления его и стали его расспрашивать, как он явился.

– Просто всего изломало меня от езды. Я вышел у лесу из коляски да и пришел пешком, – ласково пожимая руку у старичка, отвечал Федор Андреич, и, обратясь к Ане, он продолжал:– Что же вы не здороваетесь со мной? ведь мы давно не видались.

И он поцеловал ее в лоб и погладил по плечу.

– Уф! – упав на диван, произнес Федор Андреич и, проведя рукой по лбу, вдруг пугливо оглядел комнату и поспешно спросил:– А где сестра?

– Наверху-с! – отвечала Аня.

– Здорова?

– Кажется! – неутвердительно отвечала Аня.

Но Федор Андреич, не слушая ответа, обратился к старичку и, потирая руками, спросил:

– Ну а как вы без меня проводили время?

– Да вот, как видишь, скучали, – отвечал старичок, и говорил искренно, потому что без карт и партии шашек ему страшно длинны казались вечера.

– А вы? – обратясь к Ане, спросил Федор Андреич.

– Да вот играла со мной в шашки: ведь она умеет играть! – с гордостью сказал старичок.

– Хорошо, сыграем... сыграем...

И Федор Андреич с удивлением глядел на Аню и продолжал:

– Да что это вы как-то нарядны сегодня?

На Ане было ее будничное ситцевое платье с открытым лифом и рукавами; но несколько диких роз приколото было к корсажу. Пукли, падавшие на ее плечи, при слабом освещении, делали ее туалет очень роскошным.

Аня сконфузилась и поспешила накинуть на плечи, пелеринку; закинув пукли назад, она спрятала их под гребенку. Всё это было сделано необыкновенно быстро; но, срывая свой букет с лифа, она слабо вскрикнула, уколотив руку.

Федор Андреич с упреком сказал:

– К чему всё это вы измяли! Я только так заметил, вот вы и наказаны..

И, заслышав шаги в зале, он подмигнул старичку, прибавив шепотом: «Идет!»

Настасья Андреевна вошла в гостиную; брат поздоровался с ней и, подавая ей письмо, сказал:

– Петруша вам всем посылает поклон, а вам письмо.

Настасья Андреевна тут же, распечатав его, стала читать; но руки у ней задрожали, она стала щуриться и наконец быстро вышла из гостиной.

За ужином Федор Андреич поразил всех любезностью своей; он даже пожал руку учителю и его жене и отвечал поклоном на ее скорый реверанс. Лица у всех были веселы, кроме Настасьи Андреевны, которая после ужина объявила брату, что желает с ним переговорить.

– С большим удовольствием! – отвечал Федор Андреич; но его лицо противоречило словам.

Войдя в гостиную, Настасья Андреевна заперла дверь в залу, заглянула на террасу и, став посреди комнаты, молча глядела на брата, как бы не решаясь говорить. Но Федор Андреич не заметил этого и покуривал свою трубку, делая кружочки из дыму.

– Братец! – дрожащим, но полным упрека голосом начала Настасья Андреевна.

Федор Андреич поднял голову и равнодушно посмотрел на сестру, которая раскрыла рот, чтоб говорить, и вместо того залилась слезами. Может быть, с детства он не видал ее плачущею; но он спокойно продолжал глядеть на сестру. Прошла минута в молчании. Федор Андреич первый нарушил его, сказав:

– Вы еще долго будете плакать?

– Вы... вы жестоко поступили со мной! – всхлипывая, отвечала ему сестра.

– Это в чем?.. что увез шалуна?.. не дал ему проститься ни с кем? – насмешливо спрашивал Федор Андреич и строго продолжал: – Мне нужно было проучить его – это ему было наказанием.

– Наказывая виноватого, вы забыли, что оскорбляете... – раздражительно перебила его Настасья Андреевна.

– Полноте! что за оскорбление! – нахмутив брови, резким голосом заметил ей брат.

Настасья Андреевна замолчала и кротко спросила:

– Петруша приедет после экзамена?

– Нет! я его намерен проучить за его упрямство, и он до Рождества не будет дома. Он это знает.

Настасья Андреевна гордо подняла голову и твердым голосом сказала:

– Братец, так я поеду в город к нему!



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Не нужно-с! – сердито отвечал Федор Андреич.

– Я... я завтра поеду! – отчаянным голосом сказала Настасья Андреевна.

Глаза ее засверкали и встретились с не менее блестящими глазами брата. Они переглянулись, как бы измеряя силу друг друга.

– Вы можете делать, что вам угодно! – вставая, холодно сказал Федор Андреич.

– Я еду! – пробормотала едва внятно Настасья Андреевна.

И они разошлись по разным дверям. Настасья Андреевна, уходя в залу, оглянулась на своего брата, который мерными шагами вышел на террасу.

## Глава VIII

### Гроза

Сборы к отъезду Настасьи Андреевны произвели большую суматоху в доме. Это был ее первый выезд из деревни с тех пор, как она родилась в ней. Сама она ходила как потерянная; ей было дико, что она пошла против воли Федора Андреича, которому с детства привыкла повиноваться. Но любовь к приемышу так была сильна в ней, что она не побоялась прогневить брата, лишь бы только повидаться с Петрушей, благословить его на новую жизнь и дать ему наставление, как вести себя в ней.

Накануне отъезда Настасьи Андреевны Аня всю ночь трудилась над письмом к Петруше, которое посылалось тихонько с человеком, сопровождавшим Настасью Андреевну. Много труда стоило Ане изложить письменно все происшествия после его отъезда. Она раз восемь переписывала письмо и наконец, рассердясь, запечатала его своим колечком.

Ключи были оставлены Федору Андреичу, а он передал их Ане, которая и заняла роль хозяйки.

Отсутствие Настасьи Андреевны ни на кого не имело грустного впечатления; напротив, все были веселы за столом, даже жена учителя решила говорить. Федор Андреич сам подчинился веселой молодой хозяйке, у которой были большие упущения по хозяйству; но детский испуг, вызвавший краску на щеки, без того уже розовые, и желание загладить предупредительностью ошибку – обезоруживали угрюмого хозяина и расправляли его нахмуренные брови.

Выдался день, что у Ани всё хозяйство шло наизворот, – Федор Андреич рассердился; хотя гнев его обрушился на повара, но Аня тихонько поплакала. Следы слез были открыты Федором Андреичем, и, вместо всяких упреков, он предложил ей ехать кататься.

Так как для живого характера Ани в деревне не было развлечений, то она с радостью приняла предложение и побежала одеваться.

Но туалет ее не был многосложен. Дорожного зимнего капора ей не хотелось надеть, а летней шляпки не было, и она, накинув белый кисейный вуаль на голову и взяв зонтик, сошла на крыльцо. Федор Андреич со старичком хлопотали около рысака, запряженного в длинные беговые дрожки.

– Вы не трусливы? – спросил Федор Андреич, садясь осторожно на дрожки и собирая вожжи.

– О нет! – гордо отвечала Аня.

– Помните, что ноги надо держать осторожнее, когда будем на гору въезжать.

– Я знаю-с, – садясь проворно, сказала Аня.

– Ну, пускай! – сказал Федор Андреич кучеру, державшему под уздцы лошадь, которая быстро рванулась с места.

– Тс-тс! – произносил Федор Андреич, осаживая ее и заставляя идти шагом, пока раскрывали ворота.

Старичок с беспокойством следил за лошадей и, когда выехали из ворот, закричал:

– Аня, ноги, ноги! братец, осторожнее!

Аня весело кивала головой, как бы поддразнивая старичка, который долго оставался на крыльце, приложив руку к глазам.

Лошадь горячилась; но Аня была совершенно покойна, не потому, что была уверена в искусстве Федора Андреича, а скорее по детской беспечности и желанию чего-нибудь нового. Проезжая деревню, Аня радушно отвечала на низкие поклоны баб и мужиков, высыпавших смотреть на барина.

– Ну, куда хотите? – спросил Федор Андреич, выехав за околицу.

– В лес! ах, пожалуйста, свезите меня в лес! – отвечала Аня и несколько тише продолжала: – Мне говорили, что там много ягод!

– А кто это вам сказывал?

– Дуня!

– А-а-а!

Они ехали по узенькой дорожке, проложенной между золотистой рожью. Солнце начинало садиться и, яркими своими лучами рассыпаясь по чистому небу, манило в бесконечную даль, где чернелся лес, сквозь который, как зарево пожара, просвечивалось оно. Дорога была гладкая. Федор Андреич усилил бег лошади и спросил Аню:

– Не боитесь?

– Нисколько! напротив, очень весело.

– Если так, то держитесь крепче: я пущу лошадь во всю рысь.

Аня слегка обхватила Федора Андреича рукой, а другою уцепилась за подушку дрожек.

– Крепче, крепче держитесь! – твердил Федор Андреич и пустил лошадь.

Лицо его ожило; он с напряжением следил за лошадей, прищелкивал языком и, казалось, весь перешел в вожжи, которые держал, как ученый кучер.

Аня же, поджав свои ноги, держась за Федора Андреича и приложив свою голову к его плечу, звучно смеялась и в то же время щурилась от быстроты мелькавших перед ней колосьев ржи.

Въехав в лес, Федор Андреич утишил бег лошади, повернул голову к Ане и, поцеловав ее в лоб, спросил:

– Ну что?

От неожиданной ласки Аня покачнулась назад; дрожки, наехав в ту минуту на кочку, подбросили ее, как мячик, кверху, и она очутилась на земле.

Страшный крик вырвался из груди Федора Андреича. Он бросил вожжи, соскочил с дрожек и кинулся к Ане, которая уже стояла на ногах и, дрожа всем телом, силилась улыбаться. Она не столько испугалась своего падения, сколько крика Федора Андреича и его бледности.

– Не ушиблись ли вы? – нетвердым голосом произнес Федор Андреич.

– Мне ничего! – пугливо отвечала Аня, очищая свое платье и собирая свои волосы, рассыпавшиеся при падении. Она стала искать гребенку свою, но собрала только мелкие куски и, держа их в руках, со слезами глядела на них.

Федор Андреич, заметив сломанную гребенку, рассердился:

– Вот ваши шалости, вот до чего они вас доводят! Ну что вы теперь будете делать

Аня поспешно разняла их на две косы и стала заплетать.

Федор Андреич молча ждал окончания, и когда Аня, забросив свои косы назад, взглянула на него, гнев уже исчез с его лица. Она робко сказала:

– Я вас рассердила?

– Признаюсь, вы хоть кого из себя выведете.

Тут только он хватился лошади; но ее не было видно.

– Боже мой! где она? чтоб не сломала себе ноги! – в отчаянии воскликнул он и чуть не бегом пустился, свистя пронзительно.

Невдалеке послышалось ржание. Федор Андреич пошел тише и свободно вздохнул. Аня первая открыла дрожки, которые, зацепив колесом за молоденькое дерево, стояли боком, а лошадь спокойно щипала дубовые листья с отростков и, махая хвостом, отгоняла докучливых комаров, усевшихся у ней на спине.

Федор Андреич заботливо осмотрел лошадь и дрожки и, найдя, что всё было в целости, вывел лошадь на дорогу и сел на дрожки, сказав Ане:

– Извольте садиться; теперь уж некогда, делать прогулки: пора домой.

И он посадил Аню вперед и, когда лошадь тронулась с места, прибавил:

– Не бойтесь: я тихо поеду; но всё-таки держитесь за меня, а то опять упадете!

– Я уж не упаду-с, – отвечала Аня, уклоняясь.

– Вздор! сидите смирно! – резко сказал Федор Андреич.

И он пустил лошадь маленькой рысью.

По лицу Ани можно было заключить, что ей не нравилась заботливость Федора Андреича; она кусала губы, вертелась и вдруг вскрикнула:

– Стойте, стойте!

Федор Андреич остановил лошадь и тревожно спросил:

– Что такое?

Аня соскочила с дрожек и, сказав: «Я забыла зонтик», пустилась бежать назад.

– Экая шалунья! – сердито сказал Федор Андреич и крикнул громко: – Назад! назад!

Аня остановилась и тихо пошла к дрожкам.

– Назад! – повторил Федор Андреич, и когда Аня подошла к нему, он спросил своим сердитым голосом, страшно хмуря брови: – Куда вы так бежали? а?

– Взять зонтик!

– И для такой дряни стоит бежать за версту?.. Садитесь! – повелительно прибавил Федор Андреич.

Аня села, и ей стало страшно одной в лесу с сердитым Федором Андреичем, у которого лицо никогда еще не казалось ей так угрюмо, а глаза так блестящи, как теперь. Сердце у ней застучало, и она готова была бежать от него.

– Держитесь крепче за меня! – отрывисто сказал Федор Андреич, давая свободу лошади; но Аня не решалась дотронуться до его руки.

– Что же вы боитесь! я не укушу! – раздражительно заметил Федор Андреич.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Подъезжая к дому, он насмешливо спросил:

– Ну что, съел я вас?

И когда старичок встретил их, Федор Андреич сказал:

– Ну трусиха же ваша внучка, чуть шеи не сломала.

– Господи! как? что? – тревожно воскликнул старичок, обращаясь к своей внучке, которая, поцеловав его крепко, отвечала:

– Ничего, я не ушиблась!

– Какая жара сегодня! – заметил Федор Андреич и, сев на крыльцо, вытер платком лицо, горевшее, как раскаленное железо.

Аня о чем-то задумалась и машинально следила за лошадьёю, которую кучер проваживал по двору.

– Уж не изволите ли вы сердиться? – спросил Федор Андреич, окинув Аню пристальным взглядом.

– Я устала, – ответила она и ушла.

– Ее надо почаще брать с собой... ужасная трусиха, да и моцион ей нужен! – провожая глазами Аню, заметил Федор Андреич.

– Странно! а на вид такая храбрая, – в недоумении отвечал старичок. – Спасибо, – с чувством прибавил он, – спасибо, что ты о ней заботишься, как родной отец.

– Разве я ей не родня? – обидчиво сказал Федор Андреич.

– Больше, чем родной! Но она девушка добрая: она оценит твое расположение к ней. Мы чувствуем всё, всё, что ты для нас делаешь.

И у старичка слезы дрожали на ресницах.

– Что это! как вам не стыдно! Я, слава богу, и чужих пригрел в своем доме. Вы увидите впоследствии мое расположение к вам. Я не люблю вполонину делать добро. Вы стары, а ей нужна опора.

– Я даю тебе право, или, лучше, ты его уже приобрел своими благородными поступками: устрой ее судьбу.

После этого разговора они пошли в гостиную и застали Аню в слезах, сидящую на ступеньке террасы.

Гнев охватил Федора Андреича; он заходил по террасе, бормоча: «Вот мило – плакать каждую минуту!»

И потом требовал, чтоб она сказала причину.

– Я сломала гребенку и потеряла зонтик! – всхлипывая, отвечала Аня.

– И вы из таких пустяков плачете, как будто вас теснят здесь, а?

– Она глупенькая! – перебил старичок.

– Зачем же она не смеется, а чуть что-нибудь – хнычет? Знайте, сударыня! я вам в последний раз говорю, что не терплю, когда в моем доме, плачут. Слышите?

И Федор Андреич пошел в сад.

– Ну что ты его сердишь? – садясь к Ане, сказал старичок.

Внучка, положив ему голову на колени, продолжала плакать.

– Перестань, Аня; ну стоит ли о гребенке так плакать.

- Ах, дедушка, я совсем не о том плачу!
- Так о чем же?
- Я его боюсь.
- Чего же его бояться? что ты? он так нас любит.
- Не знаю; я его боюсь.

И она крепко прижалась к старичку и плакала; старичок, не зная, чем утешить ее, сказал:

- Посмотри-ка, Аня, какая бабочка красивая летит, – чудо!

Аня заплаканными глазами взглянула на порхавшую бабочку, долго следила за ней и наконец пустилась ее ловить.

Старичок свободно вздохнул и, улыбаясь, глядел на бегающую свою внучку, бормоча:

- Дитя еще; немудрено, что боится его.

После чаю Федор Андреич пожелал сыграть с Аней партию в шашки. Они уселись в гостиной.

- Ну-с, почем прикажете? – шутливым голосом спросил своего партнера Федор Андреич, расставляя свои шашки.
- На деньги я не хочу играть, – сухо отвечала Аня.
- Отчего?
- У меня их нет.
- Выиграете, так будут.
- Нет! я не хочу! – капризным голосом отвечала Аня и, перестав расставлять шашки, сложила руки.

Федор Андреич нахмурил брови.

- Нехорошо, нехорошо! – строгим голосом заметил Ане старичок, поставил за нее шашки и с несвойственной ему строгостью сказал:– Играй!

Аня не без удивления повиновалась старичку.

Игра длилась до ужина, и Аня осталась победительницей, выиграв несколько партий у Федора Андреича, который принес из кабинета двадцатипятирублевую бумажку и, подавая ей, сказал:

- Вот теперь вы можете не плакать о ваших потерях. Пошлите в город нарочного, чтоб он вам купил гребенку.
- Много! – заметил старичок.

— Надо же ей иметь свои деньги: она не дитя! – сердито сказал Федор Андреич и, обратясь к Ане, которая, покраснев, не брала денег, прибавил:– Возьмите же!

И он поспешно отошел от стола.

- Возьми скорее, а не то опять рассердится, – шепнул старичок, сунув в руки Ане бумажку.

К самому ужину приехала Настасья Андреевна. Она была не в духе. Усталость от дороги, холодная встреча брата, полное равнодушие его к Петруше, о котором она рассказывала, – всё обрушилось на Аню, которая, к довершению беды, имела неосторожность занять место Настасьи Андреевны за столом. Настасья Андреевна

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a стала придираться к ней за разные мелочи и наговорила ей довольно колкостей. Аня, не выдав ее давно, почувствовала более храбрости и оправдывалась очень смело. И когда кончился ужин, Настасья Андреевна подняла страшный шум. Брат положил конец, послав Аню спать, а Настасье Андреевне строго заметив:

– Если кто виноват в беспорядкам в доме, так, я думаю, вы, потому что хорошая хозяйка не должна бросать всё, чтоб скакать к упрямому мальчишке.

Этислова глубоко поразили Настасью Андреевну. Она всю жизнь свою посвятила хозяйству, гордилась титулом хорошей хозяйки и воображала, что никем не может быть заменима в доме брата. Федор Андреич подобными упреками довел ее до того, что она созналась в своем проступке и попросила у него прощенья.

Аня в то время, трепеща от страха и радости, читала письмо от Петруши, который также подробно писал ей о своем положении и молил ее при каждом случае писать к нему.

Переписка завязалась, потому что случаев было много пересылать письма. Беспреданно ездили подводы в город за разными необходимостями, которых оказывалось очень много с тех пор, как Петруша жил в городе; узлы разных варений и солений отсылались к нему каждый раз заботливой хозяйкой.

Боясь Настасьи Андреевны и ее брата, Аня придумала следующую хитрость. Петруша должен был писать свои письма не только на имя дедушки, но даже всё письмо будто бы к нему, а уж она должна была понимать, в чем дело. А так как дедушка был слаб зрением, и притом от слабости у него дрожала рука, то Аня предлагала свои услуги и писала под его диктовку, а чаще сочиняла всё письмо сама. Хитрость удалась: никто не подозревал, что Аня с Петрушей ведут переписку.

Игра в шашки с Федором Андреичем вменилась в обязанность Ане. Впрочем, скука выкупалась частыми выигрышами: у Ани накопилось до ста рублей – сумма огромная, на которую она не могла придумать, что бы купить.

Прогулки также повторялись почти каждый день, но были для Ани невыносимы, потому что ей приходилось быть одной с Федором Андреичем: Ане было неловко с ним говорить, а он сердился, что она ничем не довольна.

Раз, в назначенный час, дрожки стояли уже у крыльца, когда начали собираться тучи. Настасья Андреевна и старичок заметили Федору Андреичу, что ехать не совсем приятно: сейчас пойдет дождь. Но их замечание только рассердило его, и он ускорил свой отъезд, побранив Аню за медленность. Аня чуть не со слезами села на дрожки, потому что лицо Федора Андреича было мрачнее самой тучи, медленно расстилавшейся по небу. Душный перед грозой воздух давил грудь Ани. Они поехали молча.

Послышались вдали глухие удары грома. Аня сказала:

– Вы слышите? гром!

Федор Андреич, вместо всякого ответа, пустил лошадь во всю рысь. Он о чем-то всё думал и часто пугливо глядел на Аню, как будто дивился присутствию девушки, которая вызывала его из задумчивости каким-нибудь движением.

Стал накрапывать редкий, но крупный дождь. Аня опять нарушила молчание, заметив, что идет дождь.

Но ничто не заставляло Федора Андреича повернуть назад; он ехал всё прямо, как бы без всякой цели. Удары грома становились всё чаще и явственнее, а небо всё облегло тучами, так что прежде времени совершенно стемнело. Молния быстро, как змея, взвилась по небу; лошадь приостановилась. Федор Андреич вздрогнул, а Аня слегка вскрикнула. Не успели они прийти в себя, испуганные молнией, как оглушительный раскат грома разразился над их головами. Лошадь рванулась и помчалась. Аня обхватила за шею Федора Андреича и закрыла глаза.

Долго мчала лошадь Федора Андреича; он потерял фуражку; жесткие с проседью его волосы стояли дыбом, глаза страшно сверкали, а густые брови совершенно сдвинулись. Аня, вся вымоченная дождем, дрожала не столько от холоду, сколько от страху. Федор Андреич остановился в первой деревне, чтоб переждать дождь и дать

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a ей обсушиться. Они вошли в пустую избу, только что выстроенную. Аня должна была, за неимением другого платья и белья, надеть русскую рубашку и сарафан, принесенные хозяином избы, и превратилась в красивую крестьянку.

Заботы Федора Андреича об Ане исполнялись как бы с сердцем, и малейшее уклонение от них с ее стороны раздражало его.

На дворе стояла такая буря и темнота, что не было возможности пуститься в дорогу. Федор Андреич после чаю приказал принести сена и сам приготовил постель для Ани. Чистое полотенце в головах служило вместо подушек. Аня с радостью бросилась на сено, потому что ей так было тяжело и страшно.

Ветер выл на дворе, и дождь стучал в окна мрачной избы, освещенной одной сальной свечой, перед которой сидел Федор Андреич. Лицо его было красно, против обыкновения, глаза сверкали и были устремлены постоянно на Аню, которая притворилась спящею.

Настала глубокая ночь. Федор Андреич только тогда изменил свое положение и, встав со скамьи, заходил по избе, – то подходил к окну и смотрел в него, нетерпеливо барабанил по стеклу, то подходил к Ане и, наклонясь, глядел на нее, верно желая знать, спит ли она. Тогда у бедной Ани замирало сердце, и дыхание останавливалось.

Наконец он потушил свечу. Аня чуть не вскрикнула: пока она видела знакомое лицо, ей не так было страшно, но тут ей показалось, что она лежит в могиле. От малейшего шелеста волосы дыбом подымались у ней, и холодный пот выступал на лбу. Она напрягала зрение, чтоб различить что-нибудь в темноте. Но страх ее так увеличился, что ей стали казаться какие-то видения. Она творила молитву, и вдруг ей показалось, что она уже чувствует чье-то дыханье. Аня дико вскрикнула.

– Что! что такое? – спросил Федор Андреич.

– Мне страшно! огня зажгите, огня! – говорила Аня, смешивая слова с рыданиями.

– Господи! что это за детство! не даст заснуть! где вы?

И Федор Андреич приблизился к ней и, взяв ее за руку, сказал:

– Ну чего вы испугались?

– Зажгите огня: мне страшно! – кричала Аня.

Огонь был высечен, и у Ани как бы отлегло на сердце. Федор Андреич, обводя свечой избу и остановясь на бледной и дрожащей Ане, сидящей в углу на сене, сердито сказал:

– Ну как вам не стыдно! точно дитя!

И, поставив свечу на стол, он бросился на скамью.

Аня только тогда задремала, как начало рассветать. Проснувшись утром, она прямо встретила глаза Федора Андреича, стоявшего перед ней; он сказал:

– Насилу-то проснулись! я вас будил. Вставайте: пора ехать домой.

Трудно описать тревогу, какую наделало отсутствие Федора Андреича и Ани. Всю ночь старичок и Настасья Андреевна не ложились спать, ожидая их каждую минуту.

При свидании с дедушкой Аня так обрадовалась, что долго душила его своими поцелуями. Федор Андреич остался очень недоволен беспокойством домашних об их отсутствии и сказал своей сестре:

– Вы воображали, что я должен скакать в бурю и рисковать сломать себе шею, чтоб поспешить к вашему ужину. Разве не могли без меня лечь спать?

Весь этот день он по-прежнему провел у себя в кабинете.

Глава IX

С переселением в город для Петруши открылась новая жизнь, не лишенная горя. Федор Андреич дал ему на содержание довольно незначительную сумму. Самолюбие не позволяло ему отставать от товарищей: скоро он наделал долгов; нужно было платить или задолжить вдвое. Петруша решился на последнее, хотя знал очень хорошо строгость Федора Андреича; но надежда на любовь Настасьи Андреевны немного успокаивала его. Однако, как ни была хороша и разнообразна жизнь между товарищами, Петруша скучал по деревенской жизни, по Настасье Андреевне, которую очень любил. Он также желал видеть Аню, которая своими письмами несколько напоминала ему его деревенскую жизнь.

Незадолго перед праздниками посылали нарочного в город, и Аня спешила окончить письмо к Петруше. Она сидела возле старичка, который дремал, и очень проворно скрипела пером. Она описывала свое нетерпение видеть его, разные сцены свои с Настасьей Андреевной, хвалила ее брата, рассказывая, как он за нее заступается иногда.

Она так была углублена в свое занятие, что не обратила внимания на замолкнувшие в зале шаги Настасьи Андреевны, которая, подкравшись сзади, через ее плечо схватила письмо.

Аня вскрикнула и, закрыв лицо руками, склонилась к столу.

Старичок вздрогнул и с удивлением смотрел на радостное лицо Настасьи Андреевны, которая, потрясая письмо в воздухе, сказала:

– Наконец я имею улику всем вашим козням! А, вы изволите вести переписку, отвлекать мальчика от наук, чтоб на него сердились, чтоб его наказывали, жаловаться на меня!

Лицо у ней покрылось яркой краской, и она с минуту читала письмо.

– Отлично! Прекрасно! вас обижают здесь... Вы поселяете раздор во всем доме. Но теперь всё выведено наружу, довольно вы хитрили, и вам придется снова нищенствовать, как прежде. Вам здесь более нет места!

И она вышла из залы.

Аня и старичок, как оглушенные громом, слушала Настасью Андреевну, и, когда она вышла, Аня с ужасом воскликнула:

– Господи, что нам будет!

– Чего ты испугалась! – весь дрожа, сказал старичок. – Ну есть ли правда в том, что нагородила глупая и дерзкая женщина?

– Неужели она в самом деле подозревает, что мы ссорим Петрушу с ним?

И Аня горько зарыдала.

– Полно! она погорячилась!.. Какие и против кого мы делали козни?

Как ни успокаивал старичок свою внучку, но ужас объял его при мысли, что если они должны будут оставить дом: куда ему деваться с внучкой?

В то же самое время в кабинете хозяина происходила не менее неприятная сцена. Торжественно войдя в комнату, Настасья Андреевна подала письмо своему брату, сидевшему за счетами, и радостно сказала:

– Наконец я нашла случай уличить и вывести всё наружу. Вот где источник всех неприятностей в доме... Читайте, и вы увидите, как опутывают неопытного мальчика, чтоб навлекать на него ваш гнев и самим выигрывать в ваших глазах. Я давно подозревала переписку старика с Петрушей. Я боялась за него.

Федор Андреич пробежал письмо; брови его нахмурились страшно; смяв письмо, он бросил его на пол, а сам, вскочив со стула, заходил по комнате.

В первый раз Настасья Андреевна обрадовалась признакам гнева в своем брате и



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a продолжала тем же упрекающим голосом:

– Я вам всегда говорила, что Петруша не виноват. Вот как вам платят за вашу хлеб-соль. Они поселяют раздоры между...

– Какие раздоры? кто поселяет? – неожиданно остановись перед Настасьей Андреевной, грозно перебил брат.

– Братец! – пугливо пробормотала Настасья Андреевна, попятясь назад; но брат наступал с гневом и повторял:

– Говорите, кто... кто поселяет раздор, кто??

– Я ничего... – оторопев и запинаясь, бормотала Настасья Андреевна.

– Для чего же вы пришли сюда?.. для чего вы всё это наговорили?? какие раздоры??

– и несколько тише он прибавил:– Насчет глупого письма прошу не беспокоиться: я его не возьму к празднику.

– Боже мой, он опять виноват остался! – с ужасом воскликнула Настасья Андреевна.

И, полная гнева, она гордо сказала:

– Я вижу, братец, что вы опутаны кругом хитрой и лицемерной девчонкой.

– Замолчите!! – так сильно воскликнул Федор Андреич, что рамы задрожали в комнате.

И Настасья Андреевна кинулась в испуге к двери, на которую указал ей брат; но он остановил ее и с убийственной жестокостью сказал:

– Сохрани вас боже, если вы осмелитесь намекнув ей о ваших глупых подозрениях.

Настасья Андреевна сделала умоляющий жест и, встретив сверкающие гневом глаза брата, с рыданием вышла из комнаты.

Аня и старичок немало были поражены молчанием с обеих сторон о письме. Одно их поразило – это отсутствие за столом Настасьи Андреевны и полное равнодушие ее брата, как будто они сговорились. Он был очень любезен с Аней и со старичком, припоминал свое житье в Москве и заключил следующими словами, обращенными к старичку:

– Я никогда не забуду всех одолжений ваших в то время. Они спасли меня, может быть, от многих несчастий. И, пока я буду жив, дом мой будет вашим.

Старичок до слез был тронут благодарностью Федора Андреича.

И когда дедушка и внучка остались одни, первый наставительно сказал:

– Нет, нам следует всё вытерпеть от нее. Бог с ней, он хозяин дома и не думает так об нас: зачем же нам подымать ссору между братом и сестрой...

Оставался один день до праздника, а за Петрушей не посылали. Из намеков Настасьи Андреевны Аня могла догадаться, что ее письмо тому причиной. Это ее ужасно опечалило: она так желала видеть Петрушу; к тому же посреди стариков Ане было очень скучно.

В первый день праздника – то было Рождество, – возвратясь после обедни, все сидели за чаем в глубоком молчании. Явился деревенский священник поздравить с праздником. Он отслужил молебен и с удивлением спросил:

– А где Петрушенька ваш? Я что-то его не вижу?

Настасья Андреевна с упреком посмотрела на брата, который покойно отвечал:

– В городе, батюшка!

– Как... в такой великий праздник и не в доме своих родных?! ведь вы его сыном

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a своим признали! – воскликнул священник.

– Он наказан! – отвечал недовольным голосом Федор Андреич.

– Братец! простите его! – умоляющим голосом произнесла Настасья Андреевна и, обратись к священнику, в отчаянии прибавила: – Хоть вы, батюшка, попросите за него.

Старичок и Аня находились в сильном волнении.

– Что за такой превеликий грех, Федор Андреич, мог сделать он?

– Ослушание, батюшка!

– Братец, в чем же он вас ослушался? – с упреком заметила Настасья Андреевна и прибавила, глядя на Аню: – Следовало бы наказать тех, кто не стыдится ссорить...

– Побойтесь бога! – воскликнул обиженно старичок.

И, с несвойственной ему горячностью, схватив Аню за руку и подведя к побледневшему Федору Андреичу, он сказал:

– Встань перед ним на колени и проси за того, за кого тебя оклеветали!

Аня, рыдая, упала на колени перед Федором Андреичем, который сердито поднял ее и с презрением произнес:

– Стыдитесь... разве вы способны!

Старичок, указывая на образ, торжественно произнес:

– Пусть он будет свидетелем, что ты не поселяла раздора.

Голос у старичка прервался, и он заплакал. Аня бросилась в объятия к нему и тоже зарыдала.

– Полноте, полноте! – повторял Федор Андреич, разнимая Аню и старичка.

И, поцеловав того и другую, он медленно произнес, смотря на свою сестру:

– Однажды навсегда требую от всех присутствующих здесь – ни одним словом, ни взглядом не обижать тех, кого я призрел в своем доме.

– Аминь! – заключил священник.

– В доказательство, что на меня никто не имеет влияния, извольте послать лошадей в город!

Настасья Андреевна от радости оторопела; Аня же с увлечением кинулась к Федору Андреичу и с жаром поцеловала его, после того сама сконфузилась и стояла, потупив глаза.

– В такой великий день помиритесь все, – сказал священник, смотря на Настасью Андреевну, которая подошла мерными шагами к брату и сказала:

– Простите меня, братец.

И они поцеловались.

– Простите нас, если мы невольно огорчили вас, – сказал старичок, подходя к Настасье Андреевне.

Все перецеловались, исключая учителя, стоявшего в продолжение всей сцены прижавшись в углу, и его жены, обильно проливавшей слезы.

– Да простит вас всех господь, и да снизойдет на ваши главы мир и тишина! – так заключил священник семейную сцену, после чего все свободнее вздохнули.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Приезд Петруши в деревню произвел всеобщую радость; даже Федор Андреич довольно ласково его принял, расспрашивал о его занятиях и жизни. Петруша вырос и возмужал в несколько месяцев, как его не видала Аня; он ей уже казался совершенным молодым человеком, а не тем Петрушей, с которым она любила бегать по саду и даже ссориться для разнообразия. Она вспомнила разговор на лодке, как Петруша доказывал, что, когда он поживет в городе, она к нему изменится: да, он был прав! Но Петруша так был рад возвращению своему в деревню, что Аня осталась для него всё той же Аней, и, только боясь гнева Настасьи Андреевны, он старался украдкой говорить с ней.

Накануне Нового года приехали гости к Петруше: Федя, бывший товарищ его детства, и Танечка, воспитанница Фединой матери.

После длинного и скучного обеда, в отсутствие Федора Андреича, удалившегося отдыхать в свой кабинет, Петруша упросил Настасью Андреевну сыграть вальс, и под тихие звуки, чтоб не разбудить хозяина, две юные пары закружились по зале. Старичок, Селивестр Федорыч и его жена были зрителями.

Петруша, кружась с Аней, тихо разговаривал.

Но вдруг танцы прекратились. В дверях стоял Федор Андреич и глядел на танцующих.

– Продолжайте, продолжайте! – сказал он довольно весело и сел на стул.

Заслышав голос брата, Настасья Андреевна прекратила игру: танцующие, начавшие было вновь кружиться, тотчас же остановились.

– Зачем остановилась? играй, – заметил ей брат и, взяв Танечку от Феде, сделал круг вальса.

Всё остолбенело от удивления и не верило глазам. И когда он посадил Танечку на место, отвесив ей низкий поклон, старичок засмеялся.

– Чего вы смеетесь? вы, кажется, в самом деле считаете меня стариком. Сыграйте-ка, сестрица, мазурку... знаете, старинную: по той мне легче.

И, взяв Аню, он пустился выплясывать со всеми старинными ухватками, становился на колени, вывертывался из ее рук.

Со всех сторон сыпались восклицания удивления.

– Живей, живей! – топая ногами и каблуками и носясь по зале, твердил Федор Андреич.

Угрюмое лицо его мало смягчилось, он скорее был неприятен в своей ненатуральной веселости. При окончании фигуры он приподнял Аню за талию и, прокружив ее в воздухе, посадил на стул, а сам, бросившись возле и вытирая платком лицо, сказал задыхаясь:

– Уф, устал! – и, обратись к учителю, повелительным голосом прибавил:– Ну что же, берите даму.

Селивестр Федорыч засмеялся и искал глазами, где бы найти даму; но две дамы имели уже кавалеров, оставалась одна его жена.

– Что же, начинайте! – повторил Федор Андреич шутливо. – Берите вашу жену.

– Ну а я уж один потанцую, – смеясь, сказал старичок, и, выступив на середину залы и приподымая свой халат, как дамы платье, он неповоротливо вертелся перед сухой фигурой учителя, тащившего нехотя за собой свою жену, которая, конфузясь, пятилась назад.

Смех раздался в зале. Старичок притряхивал плечами и прищелкивал языком. Федор Андреич приказал зажечь старинные канделябры, стоявшие вечно в гостиной, на ломберных столах; свечи в них с незапамятных времен не зажигались и только каждый год подвергались омовению. Мрачная зала осветилась и наполнилась музыкой, смешанной с говором, шарканьем и смехом. Вся дворня сбежалась в переднюю и глядела с удивлением на господ и залу, в которой, с тех пор как она была

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
выстроена, в первый раз раздались смех, говор и танцы. Федор Андреич приказал  
даже подать какое-нибудь угощение для танцующих, а для себя, старичка и учителя  
– вина, и, расхаживая по зале, угощал всех. Если Настасья Андреевна уставала  
играть, он сочинял в антрактах разные игры.

Пробило двенадцать часов: начались поздравления и целования. Федор Андреич со  
всеми перецеловался, даже с учителем и его женой.

Ужин был шумный и поздно встали из-за стола. Прощаясь с Аней, Федор Андреич  
спросил:

– Вам было весело сегодня?

– Да-с; благодарю вас! – отвечала Аня и с жаром поцеловала его в щеку, а он,  
взяв ее голову в обе руки, осыпал поцелуями. Петруша стоял возле, ожидая очереди  
проститься с Федором Андреичем, который и его удостоил поцелуем.

Первый день, с тех пор как Аня поселилась в доме Федора Андреича, она ложилась  
спать такой счастливой и веселой, что долго не могла заснуть от волнения.

На другое утро мрачность вступила в свои права, и Федор Андреич по-прежнему  
хмурил брови.

Глава X

Долг. – Прогулка

Праздники прошли быстро. Петруша должен был ехать в город. При прощанье он  
объявил о своем долге Настасье Андреевне, у которой ужас и гнев были первым  
порывом; но мольбы и отчаяние Петруши смягчили ее, и она обещала ходатайствовать  
за него у своего брата, потому что у ней самой в руках не было ни гроша.

Прощанье Петруши с Аней было трогательно: они плакали оба, клялись думать каждую  
минуту друг о друге и расстались до следующего праздника.

Уныние настало в доме после отъезда Петруши. Аня часто плакала.

Настасья Андреевна, как ни сбиралась объявить тайну Петруши своему брату, не  
находила удобной минуты; но, получив письмо от Петруши, где он просил ее  
поспешить высылкою денег, она решила сказать всё брату, несмотря на его  
недовольное лицо в тот вечер.

Он играл с Аней в шашки, старичок следил за игрой, а Настасья Андреевна вязала  
чулок.

– Братец... – начала она нетвердым голосом. – Петруша, уезжая, просил меня...

– О чем? – не отрывая глаз от игры, спросил ее брат.

Настасья Андреевна с минуту помолчала и наконец сказала:

– Просить у вас прощенья.

– В чем? – и, взяв шашку, он прибавил, обращаясь к Ане:– Прозевали!

– Он очень, очень раскаивается и дал мне слово никогда этого не делать.

– Опять!.. Ну, вы просто рассеянно играете! – хмурясь, сказал Федор Андреич Ане  
и продолжал: – В чем же он раскаивался?

– Он не виноват: приятели...

– Верно, уж долги появились? – перебил сестру Федор Андреич.

– Не сердитесь, братец; я его жестоко бранила.

– Хорошо, хорошо! – недоверчиво произнес Федор Андреич и спросил:– А сколько?

Настасья Андреевна нетвердым голосом произнесла:

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Триста!

Аня и старичок с ужасом переглянулись.

– Гм... каково?.. У меня нет денег платить за него долги, и так он дорого стоит, – покойно и решительно отвечал Федор Андреич и, обратись к Ане, прибавил: – Ну-с, о чем вы думаете?

Аня поспешно подвинула шашку.

– Братец, он дал расписку, и срок кончился, – тоскливо заметила Настасья Андреевна после некоторого молчания.

– Мне-то что за дело! вольно мальчишке верить.

– Это будет пятно на его чести.

– Кто велел ему ее пятнать!

Холодность, с какою говорил Федор Андреич, отняла всякую надежду у сестры; она пришла в отчаяние.

– Братец, я прошу эти деньги дать для меня; неужели вы мне откажете?

– Откажу, потому что вы их просите на баловство и поощрение мотовства...

И, горячась, он продолжал:

– Да скажите мне, пожалуйста, вы просили у нашей покойной мачехи для меня денег? давала она мне столько, как я ему даю на содержание, а?

– Он молод и в первый раз... – заметил старичок.

– я тоже был молод, однако никому не давал расписок.

– Может быть, дурные товарищи, – опять сказал старичок.

– И у меня были тоже товарищи... Впрочем, напрасно его оправдывать... Мне всё равно... Я сказал ему, что не буду за него платить долгов, когда привез его в город, и не заплачу.

И Федор Андреич углубился в игру. Никто его не смел более беспокоить, и партия длилась в глубочайшем молчании. Аня проиграла.

– желаете отыгаться? – спросил Федор Андреич.

– Извольте! только с условием! – весело отвечала Аня.

Она давно заметила, что ее веселое расположение часто смягчало суровость его, и теперь не ошиблась: он довольно ласково отвечал:

– Говорите, какое?

– Я скажу, если выиграю.

– Что за тайны! говорите прежде.

– Не скажу.

– А я не согласен играть.

– Я ожидала этого! – с тяжелым вздохом сказала Аня и привстала со стула.

– Кажется, вы изволили надуть губы? Садитесь.

Партия долго тянулась. Аня обдумывала каждый шаг, но перевес всё-таки был на стороне Федора Андреича, который подшучивал над горячностью Ани.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Но вдруг Федор Андреич сделал такую ошибку, что старичок с жаром воскликнул:

– Да что вы сделали?

– Эх! скажите, какая рассеянность! – с досадою сказал Федор Андреич.

– Да как это вы? что с вами сделалось! как вы этого не видали? – приставал к нему старичок.

Он наконец недовольным голосом сказал:

– Ну что вы заахали! разве нельзя ошибиться?

– Выиграла! – с силою ударив шашкой по доске, воскликнула Аня и, забив в ладоши, стала прыгать по комнате.

Настасья Андреевна и старичок не без удивления посмотрели на развязность Ани, до сих пор вечно застенчивой при Федоре Андреиче. А он был углублен в игру, как бы обдумывая проигранную им партию.

– Ну-с, извольте сказать ваше условие, – сказал он.

– Я завтра его скажу, – небрежно отвечала Аня.

– Как завтра? – с удивлением спросил Федор Андреич.

– Очень просто – завтра!

И она присела перед ним.

– Хитра! надула старого филина! – заметил Федор Андреич, подмигнув старичку.

Настасья Андреевна так улыбнулась язвительно, что Аня закусил губу.

На другой день утром, за чаем, Федор Андреич встретил Аню вопросом:

– Ну-с, какое условие?

– За обедом скажу, – отвечала Аня, здороваясь с ним.

– Вы, кажется, подсмеиваетесь надо мной, – хмурясь, заметил Федор Андреич и быстро вышел из залы.

– Как мило! и что за дерзость так шутить со старшими! – язвительно сказала Настасья Андреевна. – Вы его сердите своими глупостями и лишаете других возможности говорить о деле.

Этот упрек подействовал на Аню: она догадалась, что Настасья Андреевна желала опять говорить с братом о Петруше. Извинясь перед ней, она попросила позволения отнести чай Федору Андреичу в кабинет. Она важно вошла к нему и, с недовольным видом поставив чашку на стол, пошла назад.

– Подождите; куда торопитесь? – сказал Федор Андреич.

Аня, остановись посреди комнаты, повернула к нему одну только голову.

– Подойдите!

Аня медленно подошла.

– Вы сами догадались принести мне чай?

Аня покачала головой.

– А вы разве сами не могли догадаться?

– Если бы мне не приказали Настасья Андреевна и дедушка, я к вам ни за что бы не пошла.

Федор Андреич улыбнулся такой смелой откровенности. Аня никогда еще так фамильярно с ним не обходилась.

– Отчего? – спросил он.

– Я сердита на вас! – отвечала она.

Федор Андреич засмеялся; смех его был такой редкостью, что Аня испугалась; храбрость ее исчезла, и она вновь чувствовала неловкость перед ним.

– А за что вы на меня сердитесь?

Аня, с минуту помолчав, отвечала:

– За то, что вы проиграли и стараетесь показать, что рассердились на меня, чтоб не заплатить своего проигрыша.

– С чего вы взяли? вы, право, забавны! Извольте же говорить ваше условие, и я его исполню, если только оно возможно.

– О, конечно, оно очень возможно! – радостно воскликнула Аня и нерешительно прибавила: – Заплатите долг за Петрушу.

Федор Андреич вскочил с своего места; лицо его запылало гневом, и, топнув ногой, он грозно сказал:

– Извольте идти; я таких глупостей не намерен исполнять.

Аня так испугалась в первую минуту, что ноги у ней задрожали; но вдруг она гордо сказала:

– Я вас потому прошу об этом, чтоб опять не подумали, что мы с дедушкой строим козни.

Федор Андреич посмотрел пристально на Аню, молча подошел к бюро, вынул оттуда деньги, отсчитал триста рублей и, подавая их Ане, сердитым голосом сказал:

– Извольте передать от меня Настасье Андреевне.

Аня, полная гордости, вручила деньги Настасье Андреевне, которая ужасно обрадовалась им. Они тотчас же были посланы к Петруше.

Этот случай так ободрил Аню, что она совершенно изменила свое обращение с Федором Андреичем; особенно замечала она свое влияние, если не было Настасьи Андреевны в комнате. Тогда она капризничала и выпрашивала всё, что ей хотелось. Настасья Андреевна с ужасом стала замечать перемену в Ане, которая уже не слушалась ее более. Она по ночам читала романы, чесала голову, как ей хотелось, не надевала более передников. Впрочем, Ане уже было семнадцать лет.

Иногда Аня оставалась одна с угрюмым Федором Андреичем; тогда она походила на маленькую болонку, запертую в одну клетку со львом. Чувствуя инстинктивно громадную силу зверя, собачонка, однако ж, лает на него, теревит его за гриву, вызывая на бой, а потом от одного его сердитого взгляда прячется, дрожа, в угол и визжит. Так-то и Аня. Иногда она трепетала при одном взгляде Федора Андреича, а то вдруг смело противоречила ему.

Петруша и Аня продолжали вести переписку, благодаря деньгам, которые постоянно проигрывал ей Федор Андреич. К тому ж все в доме любили Аню и в тяжкие минуты прибегали под защиту ее. Это льстило Ане, и она употребляла всё свое искусство, чтоб поддержать свою роль в их глазах. Следующего рода вещи стали повторяться. Любимая чашка Федора Андреича была разбита одним из лакеев. Никто не знал, как сказать о том ему, и ждали бури в доме. И точно, когда Настасья Андреевна подала своему брату чай не в его любимой чашке он грозно спросил:

– Что это значит?

Молчание было ему ответом; бледность лакея, стоявшего в углу залы, изобличила

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a виновного.

– Кто разбил чашку? кто? – привставая со стула и всё более и более горячась, говорил Федор Андреич.

– Это я виновата! – вдруг, встав со стула, сказала Аня.

Ужас и удивление изобразились на лицах присутствующих; ждали грозы. Но Федор Андреич проговорил что-то сквозь зубы, сел на свое место и стал пить чай из поданной ему чашки.

Настасья Андреевна, видя такое влияние Ани над своим братом, страшно досадовала, но в душе не могла не сознаться, что оно было благодетельно для всех в доме, тем более что характер брата стал еще раздражительнее и придирчивее и одна Аня своей болтовней и звучным смехом развлекала его и имела доступ к нему в самые страшные минуты его гнева.

Ане льстило ее влияние, и она заметно изменилась в обращении со всеми; ей уже казалось, что она не из милости живет в доме, а по какому-то праву.

Петруша приехал на Пасху. Аня встретила своего товарища игр холодно. Ее гордая осанка, шелковое платье, покровительный тон так поразили Петрушу, что он не верил, что это та самая бедная девочка, с которой он бегал по саду, которая, провожая его, горько плакала, прося его защиты. Петруша не знал даже, как и говорить с ней; если он ее по-старому называл «Аня», она гордо выпрямлялась и, с недоумением поглядев на него, не удостоивала даже ответом.

Настасья Андреевна, смотря на Аню враждебными глазами, насказала о ней Петруше ужасов. Петруша глубоко был огорчен, тем более что Аня в своей надменности гораздо сильнее нравилась ему, чем прежде, в своей покорности. Он уехал в отчаянии, оставив письмо Ане, полное упреков, заслуженных и незаслуженных.

При чтении письма Аню бросало то в жар, то в холод; когда она дочла до того места, где Петруша, по наущенью Настасьи Андреевны, упрекал ее в намерении выжить всех из дому, она вскрикнула пугливо, потом с недоумением разорвала письмо на мелкие кусочки и долго плакала.

В течение нескольких дней потом она была грустна, услуживала Настасье Андреевне, которая по своей жесткости не могла смириться, а только вновь вызывала Аню на бой.

В доказательство, что все ее желания выполняются, Аня пожелала учиться ездить верхом. Седло было выписано из Москвы, лошадь куплена, и Аня, торжествуя, разъезжала всякий день на прогулки в сопровождении Федора Андреича.

Трудно передать всю мелочность войны, какую вели две женщины в этом доме. И каждая удача как с одной, так и с другой стороны еще более разжигала их вражду.

Настасья Андреевна из экономии требовала удаления учителя, который, пользуясь молчанием хозяина, каждый день сходил к столу и к чаю. Федор Андреич согласился. Аня довела распоряжения Настасьи Андреевны до самой последней степени и почти накануне отъезда учителя упросила Федора Андреича оставить его, под предлогом, будто она желает брать у него уроки. Учитель был оставлен.

Настасья Андреевна так была уязвлена этим поступком Ани, что грозилась ей оставить дом брата. Может быть, она и исполнила бы свою угрозу, но мысль о будущем Петруши заставляла ее принести не первую жертву.

На каникулы явился Петруша. Он похудел, был бледен и избегал Ани, что ужасно оскорбляло ее, тем более что он очень нравился Ане с тех пор, как румянец исчез с его щек и вместо детской веселости в глазах появилась грусть.

Ане было жаль его, и в то же время ей не хотелось первой начать объяснение. Она холодность свою заменила кокетством, но таким тонким, что нужно было дивиться ее искусству, которое можно было бы приобрести в большой практике, а не в деревне, где, кроме старика дедушки да угрюмого Федора Андреича, она никого не видала. Петруша стал менее дичиться своей подруги детства.



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Раз, во время послеобеденного отдыха Федора Андреича, Аня пожелала ехать верхом и предложила Петруше сопровождать ее. Лошади были оседланы, по приказанию Ани, и они поскакали в лес. Аня была довольна случаем показать свою ловкость и смелость. Она скакала не переводя духу; канавки, плетни не останавливали ее. Петруша молча следовал за ней.

– Знаете ли, что вы очень похожи на Федора Андреича: он, решительно как и вы, всё молчит, когда катается со мной? – сказала Аня, останавливая свою лошадь всю в пене.

– Вы знаете очень хорошо, почему я молчу, – с упреком отвечал Петруша.

– Оттого, что вам наговорила на меня Настасья Андреевна? – перебила его Аня.

– Ах! пожалуйста, не говорите этого. Когда она была виновата против вас, я разве оправдывал ее? – с горячностью возразил Петруша.

Аня вспыхнула, ударила хлыстом лошадь и помчалась; она скакала долго и очень была поражена, не видя Петруши за собой. Она вернулась назад. Петруша ехал шагом и о чем-то думал. Аня подскакала к нему и с запальчивостью сказала:

– Почему вы отстаете!

– Лошадь очень устала, и я боюсь ее замучить: она не моя.

Аня сконфузилась и предложила, доехав до лесу, привязать лошадей, чтоб дать им отдых.

Когда подпруги были ослаблены и лошади привязаны к дереву, Аня сказала:

– Петруша, пойдем собирать васильки для Селивестра Федорыча, как мы, помнишь, прежде делали, чтоб его задобрить.

Петруша очень был поражен такой переменной; он глядел с удивлением на Аню, которая, взяв его за руку и потупив глаза, продолжала:

– Петруша, ты на меня сердисься?

– Нет, Аня; но ты сама очень изменилась.

– Ах, Петруша, что же мне делать? я готова всё сделать, чтоб только она на меня так не смотрела! Я всё знаю: она наговорила на меня, будто я...

– Аня, я сам вижу! – с упреком перебил ее Петруша.

– Ну, скажи мне, что я должна делать?

– Не знаю, – только не быть такой.

Равнодушие, с которым говорил Петруша, сначала так рассердило Аню, что она заплакала; потом она вытерла слезы и, гордо подняв голову, торжественно сказала:

– Петруша... дашь ли ты мне слово защищать меня и моего дедушку: тогда я ничего не буду делать против нее.

– Ты помнишь, Аня, как я всегда за вас заступался; я тогда был еще мальчишка.

– Если так, Петруша, забудь всё, не сердись на меня более; прости же меня!..

Аня остановилась.

– Ах, Аня... как мне больно было, как ты вздумала, чтоб я тебе говорил «вы»! – с жаром подхватил Петруша.

И, усевшись на траву, они стали передавать друг другу все страдания свои. Оба заплакали; но скоро звучный смех огласил лес.

Они, припоминая старое время, стали бегать и догонять друг друга.

Полные радостью примирения, они вернулись домой. Федор Андреич был ужасно разгневан самопроизвольным распоряжением. Он встретил Петрушу следующими словами:

– Милостивый государь! как вы осмелились взять мою лошадь?

– Это я приказала оседлать, – самонадеянно отвечала Аня за оторопевшего Петрушу.

Федор Андреич пуще прежнего сдвинул свои брови, но кротче отвечал:

– А вы, сударыня, как смели распоряжаться?

Аня вспыхнула; она давно уже не слыхала таких жестких слов.

– Я не знала, – обидчиво отвечала она, – что не могу распоряжаться своей лошадью.

– Своей – как угодно, но не другими! – запальчиво произнес Федор Андреич.

Аня замолчала, и так как она имела характер мстительный, то с вечера подбила Петрушу идти гулять рано утром. И, чтобы придать решимости Петруше, она насмешливо сказала:

– Может быть, ты боишься его: помнишь, как он за нашу прогулку засадил тебя к себе в кабинет?.. Впрочем, он тогда рассердился, что был вечер, а мы теперь пойдем утром. Да и тебе ведь уж двадцать лет.

– Больше – двадцать один! – с гордостью сказал Петруша.

Рано утром Аня, взяв с собою булку, а Петруша – книгу, отправились на дальнюю прогулку. Они доехали в лодке до ближайшей деревни, там выпили молока, долго гуляли в лесу, читали книгу и вернулись домой после утреннего чаю.

Встревоженные лица домашних известили их о готовившейся буре; но Аня смело подошла здороваться с Федором Андреичем, который сидел на террасе и медленно курил трубку. В присутствии своей сестры и старика он старался придать своему голосу более твердости, но не умел: видно было, что гнев душил его.

– Где вы это изволите пропадать? – спросил он.

– Мы гуляли.

– Как же вы смели без спросу?

– Мы ходили пешком, – насмешливо отвечала Аня, не замечая умоляющих жестов старичка.

– Вот, братец, вы видите, как она вам отвечает: что же вы хотите, чтоб я делала? Она дошла до такой дерзости..

– Я никому не позволю быть дерзким со мной! – в гневе закричал Федор Андреич.

Аня побледнела; но при взгляде на торжествующее лицо Настасьи Андреевны кровь хлынула ей в голову, и она с необычайной смелостью сказала:

– Я дерзостей никому не делаю своими прогулками; но никто не может мне их запретить!

Послышались со всех сторон восклицания удивления. Федор Андреич, казалось, сам онемел от слов Ани, которая гордо глядела на всех.

– Вы... вы воображаете, что над вами нет старшего, а?.. – задыхаясь и едва сдерживая гнев, спросил Федор Андреич.

– Нет! кроме моего дедушки! – отвечала Аня.

Старичок побледнел и в отчаянии воскликнул:

– Аня, Аня!

– Каково! а? слышите, братец! что она думает о себе! Она, кажется, воображает, что играет первую роль в доме, – жужжала Настасья Андреевна своему брату, который, повесив голову, сидел, как бы о чем-то думая. Он долго оставался в этом положении. Все, объятые страхом, разошлись, оставив его одного.

В этот день Федор Андреич не выходил из своего кабинета, а на другое утро все в доме были поражены его неожиданным отъездом: он уехал в ночь.

## Глава XI

### Опять письмо

Аня очень скоро ощутила отсутствие Федора Андреича и с ужасом увидела, до какой степени расположение его было необходимо ей: Настасья Андреевна не замедлила выказать свою власть над беззащитной Аней и ее бабушкой. Целые дни проходили в попреках, в колкостях, которые приводили гордую Аню в отчаяние, особенно после той свободы, которой она наслаждалась так недавно. Петруша впал в немилость у Настасьи Андреевны за его расположение к старичку и заступничество за Аню и скоро уехал. Его отъезд был страшен для Ани: она оставалась совершенно одна. Но, к счастью, возвратился скоро Федор Андреич. Аня, увидев его, так ему обрадовалась, что бросилась ему на шею и долго плакала. Но как она была удивлена: Федор Андреич совершенно изменился к ней, даже к старичку, с которым сухо поздоровался и ничего не говорил. Он сидел большую часть времени у себя в кабинете, а если и выходил в залу, то был до того угрюм, что Аня не решалась произнести слова; слезы ее потеряли всякую силу; он даже был жесток в такие минуты своими вопросами:

– Чем еще вы недовольны?

Туалет Ани изнашивался, даже не было у ней башмаков, – Федор Андреич как бы не замечал, а Настасья Андреевна ждала, когда Аня попросит, чтоб иметь случай прочесть ей наставление и высчитать, сколько на нее тратят. Но Аня решилась терпеливо выносить всё – для своего дедушки, который от беспрестанных домашних неприятностей стал часто прихварывать.

С каждым приездом Петруша больше сближался с Аней. Детская их дружба теперь, когда они уже были в полном расцвете жизни, начала принимать характер серьезный. Это не укрылось от Настасьи Андреевны, и, в отместку своему любимцу, она перестала присылать ему разные хозяйственные мелочи. Даже деньги он получал уже не через нее, а должен был сам просить их у Федора Андреича, который обращался с ним с убийственною холодностью.

Всё это раздражало Петрушу; он часто стал ссориться с Настасьей Андреевной, которая всё приписывала и без того угнетенной Ане. Аня же давно бы покинула этот дом, если б не дедушка, умолявший ее потерпеть, и уверявший, что скоро Федор Андреич перестанет сердиться и всё опять пойдет хорошо.

Но время шло. Раздоры вспыхивали из малейших пустяков. Петруше перестали посылать деньги; он жил в долг.

Всё это наконец вывело из терпения Аню: она написала ему письмо, где логически изложила печальную перспективу их любви, просила его забыть о ней и требовала, чтоб он повиновался желаниям Настасьи Андреевны.

Аня потеряла все силы; бодрость духа исчезла у ней в каждодневных стычках с Настасьей Андреевной; она похудела; нервы ее до такой степени раздражились, что она от всяких глупостей плакала как сумасшедшая.

Посланный, которому она тихонько отдала письмо Петруше, должен был, по распоряжению Настасьи Андреевны, возвратиться на другое утро. Но настал вечер, а он не являлся; волнение Ани доходило до страшной степени, так что Федор Андреич заметил:

– Вы, кажется, сегодня чем-то очень заняты.

– Праздностью, как всегда, – подхватила Настасья Андреевна.

– Отчего вы совершенно оставили музыку? хоть бы ею иногда занялись! – продолжал Федор Андреич, верно смягчась бледностью Ани. Аня хотела было сказать, что ей запретила играть Настасья Андреевна, но смолчала; зато как же она была награждена! ее враг язвительно отвечал:

– Из лени!

– Извольте-ка заниматься, – сказал Федор Андреич и, обратись к старичку, насмешливо прибавил: – Прикажите вашей внучке хоть чем-нибудь заниматься, а то она от праздности всё только хнычет.

– Федор Андреич! – с упреком возразил старичок.

– Она ведь ничьей власти не признает здесь, кроме вашей, – продолжал тем же язвительным тоном Федор Андреич.

Эта фраза тысячу раз была повторяема им с тех пор, как Аня имела безрассудство сказать, что, кроме дедушки, никто не может приказывать ей.

Аня, вся вспыхнув, быстро подошла к флигелю, судорожно отбросила крышку, взяла два аккорда и чуть не воплем заглушила их.

С минуту сидящие в комнате молча вслушивались в рыдания девушки, которые полны были отчаяния. Старичок, победив опасение прогневить Настасью Андреевну и ее брата, пошел утешать свою внучку.

Лицо Федора Андреича приняло суровое выражение. Искоса поглядев на свою сестру, которая стала упрекать Аню в капризах, он сказал:

– Всё ваше пустословие... замолчите!

Настасья Андреевна пугливо и вопросительно уставила свои глаза на брата: она думала, что он уже никогда ее примет Аню под свою защиту.

– Перестаньте! мне ужасно надоели все ваши слезы!

И, встав с своего места, он стал ходить по комнате.

Аня замолчала; в ту минуту дверь отворилась, и посланный в город, несколько пошатываясь, вошел в комнату. Аня радостно встрепенулась.

– Отчего ты так долго не являлся? – обратись к нему, спросила Настасья Андреевна. – Пил где-нибудь? а?

– Ну что ты его спрашиваешь, пил ли он? разве не видишь, он на ногах не стоит?.. – заметил Федор Андреич.

Лакей пробормотал: «Виноват» – и, еще более шатаясь, пошел к двери.

– Подай счета! – остановив его, сказала Настасья Андреевна.

Лакей сунул в карман руку и подал письмо вместо счета.

– Это что? письмо? – вертя его в руках, бормотала Настасья Андреевна, потому что оно было без адреса. И вдруг, как бы озаренная вдохновением, она сорвала печать. Аня как безумная кинулась к Настасье Андреевне, воскликнув:

– Не читайте: это ко мне.

И она взяла письмо.

Федор Андреич перестал ходить.

– Как вы смели вырвать у меня из рук письмо, а? – гневно проговорила Настасья Андреевна и, обратясь к брату, продолжала: – Братец! я у вас прошу защиты против дерзостей этой интриганки: она, она ссорит Петрушу со мной, чтоб он женился на ней.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Аня окаменела. Федор Андреич взял у ней из рук письмо, подошел к свече и стал читать; вдруг лицо его побагровело, и он залился смехом, от которого Аня кинулась к дедушке, как бы под защиту; лакей вздрогнул, а Настасья Андреевна пугливо произнесла:

– Братец!

Федор Андреич вырвал Аню из объятий старичка, вывел ее на середину комнаты, разорвал на мелкие кусочки письмо, затоптал его ногами и сказал страшным голосом:

– Видите, сударыня, видите... и помните, что скорее я позволю назвать себя дураком, чем соглашусь на такую нелепость!

И он вышел из комнаты.

Аня вновь кинулась к слабому своему дедушке, а Настасья Андреевна, испугавшись гнева своего брата, забыла весь гнев свой к Петруше, стала подбирать клочки письма, дрожащими руками складывала их на столе, и крупные слезы, падающие на них, припечатывали их к столу.

В письме своем Петруша умолял Аню успокоиться и обещал приехать на днях, чтоб просить ее руки.

В ожидании Петруши Аня ничего не пила, не ела. Настасья Андреевна находилась в сильном волнении, старичок также, – словом, все, кроме Федора Андреича; но его спокойствие было страшнее самого гнева.

Наконец приехал Петруша в самый обед. Федор Андреич приказал вести его прямо в кабинет свой, отчего Настасья Андреевна страшно побледнела. Ее брат, не торопясь, окончил обед, за которым один только и ел. Лишь только он удалился в кабинет, как Аня и Настасья Андреевна, будто сговорясь, кинулись за ним и стали слушать у дверей.

Сначала разговор шел обыкновенным тоном; потом голоса стали возвышаться. Голос Федора Андреича гремел и слышался в зале, отчего старичок, зажав уши, творил молитву, а лакеи, собиравшие со стола, стояли, разинув рты, как окаменелые, кто с тарелкой, кто с салфеткой.

– Так твое намерение неизменно? – кричал Федор Андреич.

Голоса Петруши не было слышно за гневным восклицанием:

– Так вон же из моего дома!!

Настасья Андреевна, дико вскрикнув, кинулась в кабинет и встретила на пороге с Петрушей, бледным как полотно. Он, дрожа всем телом, с чувством поцеловал у ней руку и сказал:

– Прощайте: меня гонят отсюда.

– Проси, скорее проси прощенья, – загоразивая ему дорогу, сказала Настасья Андреевна.

– Я не могу! – отвечал Петруша и, поцеловав свою благодетельницу, пошел. Остановись перед полумертвой Аней, прислонившейся к стене, Петруша прибавил:

– Если вы любите меня, то через два года я буду просить руки вашей у дедушки, как у единственного человека, смеющего располагать вами.

И он вышел из передней.

Настасья Андреевна, упав на колени перед братом, стала молить его о пощаде своему приемышу.

Аня, едва дойдя в свою комнату, упала без чувств на пол и долго бы пролежала без помощи, если бы Федор Андреич, рассерженный до последней степени упреками своей сестры за расположение его к Ане, не явился к ней, чтоб выслать ее из своего

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
дома.

В первый раз он вошел в комнату к Ане с тех пор, как она заняла ее. Мебели в комнате другой не было, кроме кровати из простого дерева, такого же стола и двух плохих стульев: под разными предлогами, Настасья Андреевна отобрала всю мебель, бывшую прежде в комнате.

В первую минуту Федор Андреич не обратил внимания, где жила призренная им сирота; увидав Аню, которая лежала как мертвая на полу, он остановился как вкопанный, устремив на нее свои сверкающие глаза. Первый день его знакомства с ней живо представился ему. Тогда он бросил взгляд вокруг себя и, увидав кругом такую бедность, покраснел. Постояв несколько минут в каком-то недоумении, он наконец бережно положил Аню на постель и кинулся сзывать весь дом на помощь. Верховые поскакали за доктором, за лекарствами. Дни и ночи Федор Андреич проводил у постели Ани, которая находилась в опасности. Когда же опасность миновалась, заботливость и предупредительность его еще усилились. Он сам ходил на кухню, когда готовили для больной суп или желе, и всякий день утром приносил ей какой-нибудь подарок.

С Настасьей Андреевной он перестал говорить, устранил ее от хозяйства, и она сидела у себя в комнате, ни во что не вмешиваясь.

В это время она так изменилась, что не было сомнения в жестокой болезни, разрушавшей ее; но она молчала, как бы желая, чтоб другие догадались и подали ей помощь. Но Федор Андреич равнодушно глядел на добровольное заключение сестры в комнате, приписывая его капризу.

Оправясь от болезни, Аня упросила Федора Андреича, который совершенно изменился в обращении с ней и с стариком, помириться с сестрой. Он исполнил ее желание и пошел сам к ней в комнату. Но мало пользы принесло это. Брат и сестра при каждой встрече возобновляли взаимные упреки и после каждой сцены всё более и более удалялись друг от друга.

## Глава XII

### Развязка

Тем временем Петруша весь предался занятиям, видя в труде единственное средство спасти Аню, которая казалась ему заключенною красавицею, а себя воображал он рыцарем, готовым освободить ее. Благодаря деньгам, которые тайно посылала ему Аня от имени Настасьи Андреевны, он мог жить покойно и, совершенно помирившись со своей благодетельницей, вел с ней переписку. С Аней также. В продолжение года Аня виделась с Петрушей не более двух раз, и то на самое короткое время. Разлука окончательно определила их отношения; им казалось, что любовь их беспредельна, а препятствия связали их навсегда неразрывными узами. Петруша уже считался женихом Ани; он просил ее руки у старика, который хотя и дал слово, но хранил его в тайне от Федора Андреича.

Аня была полной хозяйкой в доме; но это уже ей не льстило, а напротив – совесть ее мучила, что она заняла место Настасьи Андреевны, которая слегка смягчилась к ней, узнав, что она посылала деньги Петруше.

Наконец Петруша окончил ученье самым блестящим образом и явился в дом. Он был принят радостно всеми, а Федором Андреичем учтиво, даже с каким-то страхом. Видимо избегая разговора с Петрушей, он сел на лошадь и только поздно вечером вернулся. Его ждали к ужину: даже Настасья Андреевна сошла вниз и заняла свое обычное место. Когда он вошел в залу, все удивились страшной перемене в его лице: оно, против обыкновения, было бледно, глаза лишены всякого блеску. Он во весь ужин ни с кем не говорил ни слова и, казалось, ел машинально, не обращая ни на что внимания. Встав из-за стола, он хотел было уйти; но Петруша остановил его следующими словами:

– Завтра я должен быть в городе, чтобы переговорить о месте, которое мне предлагают.

Федор Андреич пугливо посмотрел на Петрушу, который продолжал:

– Так как я вам обязан всем, то прошу у вас позволения жениться.

– Нет! нет! это невозможно! – почти умоляющим голосом отвечал Федор Андреич.

– Братец! я... я всё простила им и дала слово и мое благословение, – гордо заметила Настасья Андреевна.

– Не противься, брат: они давно любят друг... – начал было старичок, но был прерван гневным голосом Федора Андреича:

– Вздор! это только каприз... да, это один их каприз! – И, простонав: «Боже мой! они убьют меня!», он сел на стул и закрыл лицо руками.

Все окружили его, кроме Ани, которая, уткнувшись в окно, не переводила дыхания, слушая решение своей судьбы. Молчание длилось с минуту, Федор Андреич отвел от лица руки и, посмотрев на окружающих, с иронической улыбкой, едва слышным голосом произнес:

– Я согласен!

Слова эти произнесены были таким тоном, что произвели не радость, а общий испуг. Он продолжал, обращаясь к Петруше:

– Мне нужно... я должен переговорить с тобой.

И он ушел с Петрушей в гостиную, притворив дверь.

Остальные лица молчали в тревожном ожидании. Прошло много времени. Аня и Настасья Андреевна долго боролись со сном; наконец сон одолел – они задремали; старичок давно уже сладко спал.

Поздно ночью дверь из гостиной тихо раскрылась, и Федор Андреич вышел с Петрушей. Лица обоих были бледны, встревожены; но они дружески глядели друг на друга; руки их были сжаты. Увидя Аню и Настасью Андреевну, Петруша хотел было подойти, но Федор Андреич умоляющим жестом остановил его; они обнялись, и Петруша выбежал из комнаты. Аня и Настасья Андреевна пугливо вскочили с своих мест; но Федор Андреич стоял спиной у дверей, как бы защищая их; лицо и вся его фигура столько выражали страдания, что Аня и Настасья Андреевна бросились к нему, тихонько отвели его от дверей, посадили на стул. Он как ребенок повиновался всему, бросая на них блуждающие взгляды.

Скрип ворот и топот лошадей заставили его вздрогнуть; он радостно вскочил со стула и убежал в кабинет, оставив в совершенном недоумении Аню и Настасью Андреевну... Узнав об отъезде Петруши, они не знали, что думать. Но на другое утро Настасья Андреевна получила письмо от своего приемыша. Петруша поручал ей Аню, молил ее забыть все враждебные чувства к ней и объявлял, что по непредвиденным обстоятельствам едет на Кавказ; если Аня, писал он, через два года не выйдет замуж, то он вернется, чтоб быть ее мужем, – но что теперь он не может изменить своего решения.

Это известие сразило равно как Аню, так и Настасью Андреевну. Последняя поехала в город, чтоб самой проводить Петрушу.

Федор Андреич дал сестре значительную сумму денег на отправку Петруши.

Аня столько выстрадала в короткое время, что не чувствовала сил перенести новое испытание. Но письмо Петруши, наполненное мольбами не покидать старичка и Настасью Андреевну, которую из города привезли полумертвую, подкрепило ее. Аня получила позволение ходить за больной; но в раздражительные минуты Настасья Андреевна изливала на ней всю желчь. Она упрекала ее за все несчастья свои, даже за гибель своей молодости, так печально проведенной. Зато Федор Андреич еще никогда так не был внимателен к Ане. Он предупреждал все ее желания, как бы стараясь загладить происшедшее. Но для Ани стало всё невыносимо: она теперь стыдилась своего влияния и на все угождения Федора Андреича отвечала холодно. Это раздражало его, и он начал жаловаться старичку на неблагодарность его внучки.

Нового рода сцены начались для Ани; она плакала теперь так же горько от внимательности того, чей суровый взгляд приводил ее в отчаяние в прежние времена. Аня убегала Федора Андреича; он делал ей сцены; даже старичок оскорблялся упрямством своей внучки и делал ей выговоры:

– Он тебе отец; ты должна любить его больше, чем меня; без него что мы?.. И мне на старости лет должно идти просить милости из-за всех капризов твоих...

Упреки старичка были страшнее всего: Аня решила победить непонятное чувство, вследствие которого, когда она желала улыбкою благодарить Федора Андреича за внимательность к ней, губы ее как бы лишались способности улыбаться, а глаза выражали досаду.

\* \* \*

В один зимний вечер Аня читала газету в гостиной. Федор Андреич сидел возле нее. Старичок дремал на своих креслах в зале; но в этот вечер ему что-то не спалось, и он глядел на бледную свою внучку, которая прямо сидела против него. Две свечи, горевшие на столе, резко освещали ее и Федора Андреича. Багровый цвет его лица и сверкающие глаза составляли совершенную противоположность с бледностью Ани и ее грустно-томными глазами. Федор Андреич через плечо Ани следил за ее чтением; но его глаза большею частью были устремлены на лицо читавшей. Долго смотрел на них старичок, долго с возрастающим беспокойством всматривался он в лицо Федора Андреича, как будто читая роковую тайну в его глазах, жадно прильнувших к Ане. И вдруг страшная мысль озарила старичка. Он всё понял и весь востепенулся, – лицо его выразило мучительный испуг. Старичок поспешно встал и вошел в гостиную; но его прихода не слышал Федор Андреич.

Старичок окликнул его. Федор Андреич вздрогнул и закрыл лицо руками.

– Аня, поди, тебя спрашивает Настасья Андреевна! – поспешно сказал старичок.

Аня вышла; но она скоро вернулась, потому что Настасья Андреевна спала. Подходя к гостиной, она была поражена необыкновенно громким и резким голосом своего дедушки, который, завидя внучку, сказал:

– Поди отсюда!

Федор Андреич кинулся к ней и, схватив ее за руку, в испуге сказал:

– Что вы хотите делать... я не пущу ее... я имею на нее такое же право, как вы... я...

Аня, полная ужаса, вырвала свою руку от Федора Андреича и бросилась к старичку...

...Федор Андреич, ударив по столу кулаком, громовым голосом закричал:

– Так я вам противен! хорошо же! Я вас тоже не могу видеть. Мне, наконец, стала невыносима такая жизнь! – говорил Федор Андреич, мечась по комнате.

Старичок увел Аню, ничего не понимавшую, но дрожавшую от страха.

Через полчаса, переговорив что-то с больной, он вышел оттуда в слезах и послал к ней Аню. Она вошла в полуосвещенную комнату Настасьи Андреевны, которая была вся в белом, что придавало еще более суровости чертам ее исхудавшего лица. Она сидела на постели и судорожно сжимала свои худые руки.

Аня робко приблизилась к постели больной, которая указала ей на стул, стоявший возле. Аня повиновалась. После некоторого молчания больная начала дрожащим голосом:

– Завтра рано утром вы уедете отсюда...

Аня в испуге бросилась на колени и в отчаянии воскликнула:

– Что я такое сделала? Боже, что я такое сделала?!

– Встань, встань! ты ни в чем не виновата! Это всё я... я всему причиной. Это моя глупая ревность погубила вас всех!

И больная упала на подушки и зарыдала.

Аня кинулась целовать иссохшие руки Настасьи Андреевны, которая не отняла их на этот раз; отвечая пожатием, она твердила:



– Люби Петрушу, он через год вернется, будьте счастливы...

– Позвольте мне остаться возле вас... – умоляющим голосом сказала Аня.

И ей казалось в эту минуту, что Настасья Андреевна так же ей близка и дорога, как ее покойная бабушка.

– О нет, нет! сохрани тебя боже! Я не сегодня, так завтра могу умереть; дедушка твой тоже не из долговечных; ты останешься одна... О нет! скорее отсюда, скорей уезжайте!

Аня рыдала.

– Не плачь... твои слезы напоминают мне его, – помню, как он просил меня, чтоб я любила и не оставляла тебя. Но что я смогу сделать! О, господи, господи! лучше уж прекрати мои страдания!

И, притянув Аню к себе, она перекрестила ее, поцеловала в лоб и проговорила:

– Вот тебе мое благословение; передай ему его, как увидишься с ним. Прощай; я уже не увижу вас больше... Уйди отсюда: мне очень тяжело...

Аня, рыдая как безумная, вышла из комнаты. Старичок на все расспросы Ани, почему он оставляет дом, твердил одно:

– Бог нас не оставит. Узнаешь всё потом.

Они целую ночь не спали, хотели было укладывать вещи, но, за что ни брались, всё было чужое, и тогда Аня сказала с необыкновенною твердостью:

– Дедушка, нам нечего укладывать; лучше отдохните: дорога будет длинная, если мы поедем так далеко, как вы говорите.

На другой день, рано утром, старинный рыдван стоял у крыльца. Старичок и Аня с узелками в руках спускались по лестнице, прощаясь почти на каждой ступеньке с дворней. В передней они столкнулись с Федором Андреичем, который попросил отъезжающих войти в залу.

Затворив дверь и помолчав с минуту, Федор Андреич нетвердым голосом сказал:

– Я вижу, что вы серьезно хотите выполнить ваше намерение? Куда вы едете и чем будете жить?

Старичок и Аня взглянули вопросительно друг на друга; они в первую минуту своего решения не подумали об этом.

Федор Андреич продолжал, обращаясь к Ане:

– Своими капризами что вы готовите вашему дедушке? опять нищету, голод!

Аня молчала. Тогда он обратился к старику и с упреком продолжал:

– А вы – в такие лета и так неблагоприятны. Ну что вы ей готовите? Что ожидает девушку в ее лета, посреди нищеты и труда, к которому она разве готовилась?

– О, я буду день и ночь работать! – воскликнула Аня.

Федор Андреич улыбнулся и язвительно сказал:

– Хорошо-с, вы будете работать: зачем же вы не делали этого прежде, когда ваш дедушка и вы сами чуть не умирали с голоду? Что, вы нашли тогда средства к существованию?..

– Мы всё помним и не забудем, что для нас было сделано, – прервал его старичок.

– Полноте! Я не для того говорю, чтоб высчитывать мои благодеяния... Но я хочу вразумить вас, что в жизни не часто бывают такие случаи, чтоб вас спасали от

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
нищеты. Я призрел вас, я хотел сделать ее счастливой.

Федор Андреич говорил кротко, так что старичок стал колебаться.

– Я хотел ей предоставить всё свое имение, – продолжал с жаром Федор Андреич.

Аня пугливо поглядела на него, а старичок заметил:

– У вас есть наследники, а мы не имеем на имение никакого права.

– А разве она не может сделаться моей наследницей? От вас будет зависеть сделать ее счастливой. Я дал вам слово устроить ее и готов даже жениться, чтоб...

Аня дико вскрикнула и умоляющими глазами смотрела на старичка, который, тяжело вздохнув, отвечал:

– Я не могу ее приневоливать, тем более что она любит другого.

– Боже мой, да вы, кажется, сами превратились в мальчишку, что так рассуждаете! Он молод, беден и, может быть, оставил уже свое намерение. Да к тому ж отдать ее замуж за человека, который сам из милости питается? Вы потворствуете тому, что поведет их к общей гибели!

Федор Андреич страшно горячился.

– Я предпочту всё, но только не буду ничьей женой, кроме его! – гордо сказала Аня.

Федор Андреич замолчал, долго и пронизательно глядел на Аню, потом прошелся по комнате несколько раз и, остановясь вновь перед ней, торжественно сказал:

– Я всё употребил, все меры, даже, может быть, глупые, чтоб предотвратить нищету и несчастья от вас. Вы всё отвергли!.. – Губы его судорожно улыбнулись, и оп язвительно продолжал: – Теперь помните, что уже двери моего дома закрыты для вас, а кошелек мой – туго завязан. Прощайте!

И он раскрыл дверь, в которую, дрожа всем телом, вышли два несчастные существа, приготавливавшиеся идти смело навстречу нищете и труду.

Настасья Андреевна выслала им денег на дорогу. Федор же Андреич ничего не дал и даже не сказал, чтоб они взяли что-нибудь из белья и платья. Он насмешливо глядел, как они усаживались в рыдван. Когда экипаж двинулся, старичок выглянул, чтоб поклониться и поблагодарить в последний раз хозяина, но вздрогнул и спрятался: так язвительна была его прощальная улыбка.

Часть третья

Глава XIII

Прачка

В одной из отдаленных улиц города NNN, в глубокою осень, вечером часов в десять, молодой человек, плотно закутанный в серую шинель, медленно прохаживался около покачнувшегося забора, посматривая на противоположный чистенький двухэтажный домик, верхний этаж которого был ярко освещен. В запотевших окнах его поминутно мелькали разряженные фигуры.

В подвале топилась лежанка, и оттуда также выходил яркий свет, отражаясь в лужах, стоявших на кирпичном тротуаре, который приходился в уровень с низенькими окнами. Разительную противоположность представлял средний этаж, тускло освещенный лампадами, теплившимися у икон в богатых ризах. Окна его по первое стекло были завешены кисейными занавесками; печально и одиноко стояли на них горшки герани и густою тенью рисовались на стеклах.

Около часа неизвестный господин в шинели ходил как маятник против дому, казалось не замечая ни диких визгов ветра, смешанного с лаем собак, ни мерного дождя, ни скрипения старых заборов, ни шипения торчавших за ними голых деревьев, которые при каждом порыве ветра гнулись во все стороны и своими прутьями колотили по забору. Наконец он быстро перебежал на другую сторону улицы и стал смотреть в окно подвала. С первого взгляда низенькую и широкую комнату можно было принять за корабль: веревки были растянуты по всем направлениям ее и висевшее на них белье

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a покачивалось, как паруса. Убранство комнаты не отличалось роскошью: огромная кровать с ситцевыми пологам, возле нее сундук, окованный железом, небольшой шкаф, один полуразвалившийся стул, большой и маленький стол – вот и всё. И, однако ж, в комнате было тесно. Платяные корзины, одна на другой, стояли на полу; юбки, тугие, как пергамент, висели по стенам. Корыто с синей водой помещалось на сундуке, и утюги валялись где ни попало.

За небольшим столом сидела худая женщина лет под сорок, с головой, повязанной по-купечески. В движениях ее было что-то судорожное; на ее желтом и костлявом лице резко отражались следы тяжелого труда. В ее быстрых карих глазах и в большом рте с узенькими губами было много желчи. Она хлебала щи из большой деревянной чашки и за каждым глотком с какою-то злобою бросала ложку далеко от себя.

На скамье, в простенке между двумя окнами, за небольшим столом, гордо и беспечно сидел пожилой человек в ситцевом архалуке, с плотно остриженной головой, с небольшими усами, торчавшими кверху, и с серебряной серьгой в левом ухе. Трудно было уловить черты его лица, которое всё состояло из крупных складок и походило на сплоенное жабо. Глаза едва виднелись из-под густых бровей и напухших век. При каждой ложке он страшно разевал рот. Помещавшийся подле него на столике кот, весь черный как смоль, с жадностью следил за каждым глотком своего хозяина, облизывался своим розовым языком и то шурил, то тарасил свои злые, с зеленым блеском, зрачки. Другой кот, дымчатый, обнаруживал более спокойствия: поджав все четыре лапки, он лениво открывал по временам заспанные глаза, осматривал каждый предмет и, остановившись на нагоревшей свече, стоявшей против ужинающего, апатично закрывал их.

На оконнице, очень высокой от полу, сидел еще третий кот – серо-желтый. Он был тощ и жалок, робко смотрел на хозяина, подергивал ушами и беспрерывно менял положение.

Подбежав к окну подвала, молодой человек высунул было руку, чтоб постучать в стекло, но, как бы испугавшись холоду, пугливо спрятал ее под шинель и побрел к воротам. Он постучал в дверь подвала, где ужинали.

– Кто там? – отвечал ему крикливый женский голос.

– Это я! – робко сказал молодой человек, высунув голову в дверь и по-прежнему закрывая лицо воротником шинели, поднятым выше головы.

Женщина привстала и ладонью начала вытирать губы.

– Мое белье готово? – поспешно спросил молодой человек, входя.

– Нет! да я ведь в четверг обещала! – с неудовольствием заметила женщина, подходя к двери.

– Хорошо-с, хорошо-с! – быстро отвечал он и захлопнул дверь.

– Ишь ты, как приспичило!

Она не успела договорить, как дверь снова раскрылась и тот же робкий голос спросил:

– Катенька наверху?

– Спит!.. на что вам? – довольно резко спросила она.

– Прощайте, прощайте! – пробормотал едва внятно господин в шинели и скрылся.

– Чего ннна...ддо? – жуя, спросил ужинающий.

– А тебе на что? – крикливо отвечала женщина, садясь снова на свое место. – Вишь, нелегкая носит по ночам таскаться за бельем! – прибавила она себе под нос.

В подвале квартировала прачка Настасья Кирилловна с сожителем своим отставным унтер-офицером Куприянычем и двенадцатилетней дочерью Катей. Судьба Настасьи Кирилловны не всегда была так печальна: в молодости она была стройна и хороша

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a  
собой и жила с бабушкой, женщиной небедной, но сварливой и строгой, которая никак не хотела выдать ее замуж, – может быть, не желая лишиться попечений внучки. Несмотря на строгость и зоркость бабушки, молодая мещанка, к несчастью своему, умела провести ее, и когда полк вышел из города, отчего Настя стала горевать и худеть, – старухе донесли о проделках внучки. Старуха лишила ее наследства и скоро умерла.

У Насти явилось много женихов: подозревали, что у ней есть деньги. Но она всем отказывала и, сделавшись первой прачкой в городе, дни и ночи работала, лишь бы скопить что-нибудь своей дочери Кате, которую любила с редкой нежностью.

Раз прачка простудилась и слегла; слезам ее не было конца. Мрачные мысли не давали ей покою. «Ну что, если я умру, – думала она. – Катя останется сиротой».

Вероятно, этот страх решил судьбу Куприяныча, который уже не раз сватался за Настю через сваху. Свадьба была слажена, как только прачка оправилась. Она решилась выйти замуж для своей Кати, потому что будущий муж имел капитал, по словам свахи, и желал иметь жену для одного порядка, по его собственным словам. Но каков был ужас молодых, когда на другой день после свадьбы они узнали, что оба ошиблись в своих надеждах: Куприяныч, обманутый слухами, ходившими по городу, рассчитывал тоже на капитал прачки. Но Куприяныч не оробел: он твердо сказал, что знать ничего не хочет, женился для спокойствия и не намерен работать!

Слезы и ссоры не замедлили украсить их жизнь. Прачка скрепя сердце вынула небольшую сумму, скопленную потом и кровью для своей дочери, и уплатила долги по свадьбе. Забот и трудов у ней вдвое прибавилось, потому что Куприяныч целые дни лежал на раскаленной лежанке с своими котами, которых так уважал, что не позволял никому до них дотрогиваться. Несмотря на отсутствие моциона, аппетит его был удивителен. Впрочем, очень понятно: жизнь его текла мерно и ровно, – ни забот, ни тревог он не знал. На Катю он смотрел как на вещь, необходимую в его доме. Раз ему пришла мысль вмешаться в воспитание Кати: он хотел ее наказать, но мать пришла в такое негодование, что Куприяныч махнул рукою, и его любовь сосредоточилась на котках.

Однако ж он любил их неодинаково: серо-желтый худой кот был вечно в загоне. Куприяныч кормил его так плохо, что бедный кот принужден был прибегать к краже, за что прачка беспощадно колотила его, довольная случаем выместить свою злобу, которую питала против кошек вообще.

Вероятно, вследствие чрезмерного голода серый кот решился последовать примеру своих товарищей и робко вскочил тоже на стол. Куприяныч замахнулся на него ложкой и проворчал:

– Ишь, туда же!

Бедный кот с ужасом соскочил со стола и кинулся на окно, возле которого сидела прачка; вероятно думая разжалобить ее, он нежно мяукнул.

– Я те помякаю! уж придушу когда-нибудь! – грозно крикнула прачка.

Несчастный кот кинулся под кровать, но, увидя, что погони нет, тихонько взобрался на горячую лежанку – покушение, за которое уже не раз ему доставалось, – и, севшись на засаленную подушку, начал наблюдать за своими гонителями.

– А что Катя не ужинает? – спросил Куприяныч, глядя в глаза черному коту.

Прачка резко отвечала:

– Спит; разве не слышал, как она сверху пришла?

– Нет!.. а что?

– Да, говорит, там гости, в карты играют, а деньги так и валяются по столу!

И прачка злобно усмехнулась, потом сердито нахмурила брови и тяжело вздохнула.

– Вот, а ты зевай да жди денег! Не правда ли, она дура? – прибавил, улыбаясь,

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Куприяныч, обращаясь к черному коту, который облизнулся и подвинулся ближе к нему.

– Да что ты меня учишь? – грозно закричала прачка. – Слава богу, ни за кем еще не пропадали деньги! Уж, кажись, домовые хозяева хуже всяких жидов, даром что богатые да руки склавши сидят, а небось зажить хотели два рубли! Ведь получила же!!

И лицо прачки всё задрожало; она сердито оттолкнула чашку со щами и, сложив руки, судорожно сжала их, как бы стараясь усмирить свое волнение.

– Слышь, отжить хотели! а еще дом свой! – заметил Куприяныч дымчатому коту, который в ответ сладко зевнул.

– Да что за дом! знаем мы, как им достался: у племянника отжилили... мне Сидоровна всё рассказала! Намеднись я принесла наверх белье – горничная пьет кофей в кухне. Я и говорю: нельзя ли денег? «Обождите», – говорит. Ну, нечего делать! Если б не ласкали Катю, и дня бы не стала ждать. А то, словно барышню, сама ее завьет и читать посадит.

Прачка улыбнулась, но на одну минуту; лицо ее снова приняло сердитый вид, и она продолжала:

– Да и то сказать, чем моя Катя хуже ее?

Краска выступила на желтом лице прачки, и она, подумав, с ужасом сказала:

– Ну, а как я умру?.. что с ней будет?

И прачка задумалась, покачивая головой. Потом она гневно обратилась к мужу с упреком и сказала:

– Небось ты и себя-то не сумеешь прокормить?.. Сиротка!

Прачка вытерла слезы.

Куприяныч подмигнул котам и, указывая головой на жену, сказал:

– Ишь, плачет... Ну что расплакалась! – прибавил он, повернув голову к жене. – Лучше дело делай.

Прачка грозно привстала и презрительно закричала:

– Ах ты дармоед, лежебок! тебе лишь бы с своими котами лежать. Да ты смотри у меня: я их всех передую!

Прачка горячилась. Куприяныч равнодушно выносил гнев своей сожительницы и с любовью гладил по спине черного кота, который вытягивался, приподнимая заднюю лапку, и обнюхивал чашку.

Куприяныч поддразнивал жену:

– Ишь, душить?!

– Да, задавлю! – кричала прачка.

– Только ударь! – грозно и мерно произнес Куприяныч, выразительно подняв руку.

В ту минуту на постели послышался детский лепет; занавеска раздвинулась: выглянула сонная испуганная головка хорошенькой двенадцатилетней девочки. Девочка пугливо произнесла:

– Мама, мама!

– Спи, спи, я здесь! – кротко произнесла прачка, и на ее лице не было уже и тени злобы.

Личико скрылось за занавеской. Прачка села на прежнее место, облокотилась рукой

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
на стол и подперла голову. Куприяныч вытаскивал говядину из щей и кормил котом.

– Куприяныч! – вдруг произнесла прачка кротко.

– Что? – лениво отвечал муж.

– Знаешь что? – Лицо прачки прояснилось, по мере того как она продолжала. – Не попросить ли мне его милость устроить мою Катю? Ведь Семен Семеныч не раз говаривал мне, что его барин такой добрый, уж скольких пристроил! они теперь не хуже верхней живут. А чем моя Катя хуже, а?

Куприяныч всё свое внимание сосредоточил на котах, любясь, как они опускали свои лапки в чашку и потом облизывали их.

– Ну что же ты молчишь? – обиженным тоном спросила прачка.

– А мне что за дело! Твоя дочь!

Прачка вспыхнула. В то же время взор ее упал на стол, и она увидела страшное зрелище: серый кот лизал чашку, из которой она ела. Прачка схватила его за уши, подержала на воздухе и с наслаждением брякнула об пол, сказав:

– Ах ты окаянный!

На мяуканье кота Куприяныч пугливо оглянулся и сердито заметил:

– Ну что расходилась?!

– Ну не грех ли тебе поганить посуду? Я их до смерти заколочу!

– Полно же озорничать! – уже смотря прямо на свою жену, сказал Куприяныч, и лицо его слегка сгладилось; серебряная серьга запрыгала в ухе.

Прачка стиснула зубы, бросила робкий взгляд на кровать и неожиданно повернулась спиной к грозному Куприянычу. Поправив светильню у лампы, нагар которой, упав в масло, жалобно зашипел, она прибрала немного в комнате и зевнула. Раздевшись, она осторожно улеглась возле своей дочери, продолжавшей крепко спать, перекрестила ее и долго еще, засыпая, шептала:

– Господи, господи, да будет воля твоя!..

А Куприяныч тем временем любовался, как его коты лизали чашку. Наконец и он начал зевать, прокричал котам:

– Ну, налево кругом! – и, быстро схватив чашку, опрокинул ее.

Коты поскакали со стола. Куприяныч погасил свечу и улегся. Постелью его была раскаленная лежанка, на которой без затруднения можно было бы жарить жаркое. Но он только крякнул от удовольствия.

Через несколько минут храпенье обитателей подвала смешалось с мерным стуком дождя, падавшего на кирпичные тротуары, и с мурлыканьем котом. Лампада уныло освещала подвал и серого кота, который, почувствовав себя на свободе, везде лазил, всё обнюхивал; наконец, устав, улегся на глаженое белье, уложенном в корзину, и своим мурлыканьем присоединился к общему концерту.

Прачка уже видела сон, что Катя ее выросла и, одетая в богатое шелковое платье, танцует с офицерами; сама же она сидит в хорошем обществе и пьет самый крепкий кофий.

А между тем молодой человек, закутанный в шинель, всё еще продолжал ходить около дома. По временам он садился у забора и приклонял к нему свою голову. Долго сидел он, не чувствуя, что шинель его намочила и отяжелела. Наконец шум внутри двора заставил его вздрогнуть; он одним прыжком очутился у калитки и тоже стал стучать. Калитка раскрылась, начали выходить разные господа, по-видимому весело убившие вечер, – молодой человек пропустил всех, заглядывая каждому в лицо. С шумным говором и хохотом разошлась вся компания в разные стороны, сопровождаемая отчаянным лаем собак.

– Ну что стал, свой, что ли? – спросила баба, закутанная в истертую ситцевую кацавейку, и готовилась запереть калитку.

– Сидоровна! – торопливо произнес господин, закутанный в шинель.

– А, это вы, батюшка! – сказала радостно Сидоровна.

– Я.

– Ишь, грех какой: не спознала тебя и испужалась. Родимый ты мой, ведь день-деньской наработаешься, а ночью то и знай, что ворота отворяй да затворяй.

Молодой человек не слушал Сидоровну: он смотрел на удаляющихся гостей.

– Вот тебе! – сказал он, всунув что-то в черствую руку старухи.

Сидоровна спрятала деньги и, кланяясь, сказала:

– Благодарствуй, батюшка, спасибо.

– Все ушли? – дрожащим голосом спросил он.

– Прах их знает! да, чай, уж скоро заблаговестят, опять иди отворять ворота.

– Ну а ты узнала, что я тебе велел?

– Как же, батюшка, как же.

– Ну?

– Вправду мне сказывала Олена Петровна: день-деньской сидит у них!

Молодой человек вздрогнул.

– Слышишь, – сказал он, – никому ни слова, не бери даже денег; я тебе дам больше, только не говори никому.

Голос его прервался, и он кинулся на другую сторону улицы.

Сидоровна посмотрела вслед ему, покачала головой и, зевая, захлопнула калитку.

Свет постепенно убавлялся в окнах верхнего этажа, наконец остался в одном крайнем окне. Кто-то подошел к окну, – штора быстро скатилась, и настал мрак. Молодой человек обнаружил признаки совершенного отчаяния; голова его упала на грудь, шинель скатилась с его плеч. Ветер дул ему в лицо, и крупные капли дождя, смешанные со слезами, текли по его лицу. Глухие всхлипывания надрывали его грудь.

Ветер выл, выл, наконец, как бы утомясь, начал стихать. Уныло прозвучал первый удар колокола к заутрене. Молодой человек встрепенулся и поглядел на все стороны. Однообразный звон гудел по пустынным улицам, ничем не заглушаемый. Вдали начали раздаваться тяжелые шаги и кашель спешивших к заутрене. Вдруг скрипнула калитка в доме, против которого находился молодой человек. Он привстал и не спускал глаз с калитки: кряхтя, вышла оттуда сгорбленная купчиха, вся в черном, ведя за собою седого старика в высокой меховой шапке, который торопливо постукивал своей палкой, как бы щупая прочность места, куда заносил ногу. Господин в шинели при виде стариков с ужасом кинулся бежать, как будто увидел что-то страшное.

#### Глава XIV

##### Кофейная близ театра

Молодой человек, которого видели мы в предыдущей главе, был актер на театре того города. Хотя он и занимал роли первых любовников, но его фигура не отличалась стройностью. Рост был хорош, но на сцене он как-то приседал и гнулся и оттого казался маленьким и горбатым. Глаза его были мутно-зеленоватые, с выражением грусти и бесконечной доброты; волосы густые, но почти желтые, одного цвета с лицом. Черты лица были, впрочем, правильны; но одутловатость портила всё. Робкий

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
взгляд и неловкие движения придавали всей фигуре первого провинциального любовника бесцветность, в которой, однако, было столько жалкого, что вы невольно чувствовали к нему сострадание. Шестилетнее пребывание при театре не пошло ему впрок: на сцене он был так же робок и неловок, как в первый свой дебют; за кулисами – словно чужой между шумной толпой провинциальных актеров и актрис, где самые горячие дружеские излияния идут рядом с враждой и завистью; ни ссориться, ни льстить он не умел. С ним же все обходились с презрением, сознавая бессознательно его благородство, которое они понимали односторонне: по их мнению, оно заключалось в том, чтоб не расславлять чужих тайн, не клеветать, не перебивать дороги у собрата. Впрочем, он сам избегал дружбы с товарищами, которая особенно горяча бывала в первых числах месяца, когда получалось жалованье; начинали льстить: «Ты, брат, лихо сыграл свою роль!», предлагали выпить за успех, а потом, когда приходило к расчету, льстец незаметно исчезал или притворялся до такой степени подгулявшим, что его нужно было свезти еще домой на извозчике. С молодыми актрисами он также не мог сойтись; они считали унижительной даже вежливость с собратами своими по ремеслу, – перед бенефисом только делались ласковее, приглашали актеров обедать, поили в уборной своей чаем, а на другой день после бенефиса снова едва им кланялись. Если же актер, еще неопытный, приходил к обеду, то хозяйка вслух замечала о наглости людей, которые ходят без зова, обносила его вином и отворачивалась, если он спрашивал ее о чем-нибудь. Эти очень обыкновенные истории навсегда отбили у него охоту бывать где-нибудь, кроме кофейной, куда собирались все актеры и театралы.

Жалованье его было так незначительно, что едва доставало ему на скудный гардероб. На чужой счет жить он не умел. У него никогда не доставало духу навязываться в трактире к какому-нибудь купцу или театралу и платить за угощение домашними тайнами актрис. И если его угощали иногда молодые купцы, то единственно из любви к искусству. Он не решался также поправить свои дела, женившись на хорошенькой актрисе, чтоб жить роскошно... Не хотел также посвятить себя самолюбивым прихотям богатого одинокого купца, вооружая против него всех под видом правды и беспредельной своей дружбы, отвергая иногда даже довольно значительный подарок, в надежде, что бескорыстная дружба со временем оценится в каменный дом. Сколько нужно забот и ловкости, чтоб богатый купец только у него одного крестил детей и дарил крестнику на зубок ломбардные билеты в несколько тысяч! Он также не решался идти по дороге других молодых своих товарищей, которые проигрывали в один час вдвое больше, чем получали в год жалованья, пили с утра до ночи, угощая других, и еще хвастали...

Ему всё это было дико, – может быть, вследствие того, что он готовился быть купцом и сидеть в лабазе! Он был сын одного богатого купца. Старик был строг и держал своего сына взаперти до двадцати лет. Он не смел отлучаться на полчаса из родительского дома и почти не видел людей. Как вдруг старик скоропостижно умирает, сын остается единственным наследником. Молодой купчик поверил достояние свое дяде, а сам принялся жуировать. Приятели налетели со всех сторон к богатому наследнику. Разгул и карты сделались единственным его занятием. Его познакомили с актерами, которые ели, пили на его счет, занимали у него без отдачи. Актрисы тоже не упускали случая поживиться от него. Наконец дела пришли в такое расстройство, что долгам его не было счета. Дядя всё молчал и давал сам ему займы денег.

Неаккуратность в платеже и слухи о разорении озаботили его кредиторов, которые вдруг потребовали уплаты. Молодой купчик сам испугался своих долгов: он кинулся к дяде просить помощи, но тот тоже требовал уплаты долга. Ему грозила тюрьма: так были плохи его дела. Дядя сжалился над племянником и пощадил его. Друзья молодого разорившегося купчика, как жаворонки осенью, отлетели далеко-далеко; он очутился один, без денег, больной от разгульной жизни. Много вынес он унижения и горя. Вином заглушал он свою грусть и угрызения совести, не дававшей ему покоя, что так глупо было прожито отцовское наследство. Дядя видеть его не хотел, вероятно боясь, что племянник будет просить у него денег. Он ошибся: разорившийся купец был горд и только в забытьи, во время пирушки, вдруг, воображая себя всё еще богатым, желал вмешиваться в игру, шумел и важничал; его отталкивали, называли нищим, – он заливался слезами, просил денег у всех присутствующих, чтоб отыграть свое богатство. Грубые насмешки были ответом несчастному; он метался в отчаянии, осыпаясь колкостями. Раз в такую минуту к нему подошел утешитель; он сам был уже навеселе; но речи его так были красноречивы, что разорившийся купец кинулся в объятия утешителя и на груди его рыдал, жалуясь на людей; то была первая жалоба его на ближних своих. Под общий смех, пошатываясь, они вышли из кофейной. Утешитель привел несчастного к себе на



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a квартиру; долго они говорили о людях и других предметах. На другое утро, проснувшись, оба они дивились, как разорившийся купец попал в комнату актера.

Остроухов был талантливейший актер в городе и любим публикой; но невоздержность делала его жалким. Голос его был постоянно хриплый, память исчезла: ролей он никогда не знал. Содержатель театра держал его единственно для обстановки пьес и дельных советов, которые он иногда давал молодым актрисам и актерам.

Утром, за бутылкой, Остроухов подал мысль разорившемуся купцу вступить в актеры. Через несколько месяцев на театре появился дебютант Мечиславский: купчик скрыл свою настоящую фамилию Демьянов, страхась дяди, который пришел в негодование от такого поступка и торжественно лишил своего племянника наследства. День дебюта был замечательным днем в жизни Мечиславского. Театр был полон, каждый желал посмотреть на дебютанта, которому во время оно многие льстили, обыгрывая и обманывая его. Благодаря бывшим друзьям промотавшегося купчика рукоплескания не умолкали. Его вызывали несколько раз; вызывая и хлопая, друзья думали поквитаться с погибшим через них и радовались, что совесть их теперь навсегда очищена.

Остроухов чуть не прыгал от радости за кулисами. Он знал роль Мечиславского наизусть и повторял ее за ним, – приходил в отчаяние, если тот не так читал, и кричал из-за кулис на сцену: «Громче! больше жару, махни рукой, ударь, да ударь сильнее в грудь!» А актерам и актрисам, стоявшим за кулисами и болтавшим между собой, он сердито замечал:

– Тише, ради бога, тише!

Но его замечания только разжигали говорящих; они нарочно страшно шумели, зная очень хорошо, что тем заглушают голос дебютанта, и без того робкого, и отвлекают его от своей роли.

После спектакля Мечиславский сидел в кофейной, где некогда его знавали сначала в богатстве, потом в унижении; теперь снова ему жали руки, поздравляли с успехом, угощали его и пили за его здоровье.

Каждый из окружавших его теперь, казалось, гордился сознанием, что если бы не его содействие в разорении, то талант погиб бы в лабазе.

Остроухов условился с содержателем театра, который, зная критическое положение дебютанта, долго не соглашался дать ему порядочное жалованье. Мечиславский подписал контракт и принял звание провинциального актера. Жизнь за кулисами не полюбилась Мечиславскому: он неохотно шел в театр и скоро стал равнодушен к вызовам и рукоплесканиям. На него находили минуты страшного отчаяния, особенно после разгула. Он проклинал своего друга Остроухова, зачем тот втянул его в эту кипящую жизнь, где вечно шум, смех, клеветы, зависть, лицемерие. В эти минуты он сознавал вполне свое ничтожество, и его отчаяние доходило до страшной степени. Припадок оканчивался обмороком, а на другой день Мечиславский, очнувшись, ничего не помнил; только тоска долго его душила, и он не выходил из дому. Остроухов, приписывая всё это частому разгулу, стал сдерживать себя и своего друга. По-видимому, последний начал свыкаться с жизнью провинциального актера: припадки сознания реже повторялись.

Но тут случилась другая беда: Остроухов поссорился с содержателем театра. Мечиславский не хотел расстаться с своим другом, и, составив довольно жалкую труппу, они стали разъезжать по ярмаркам. Удачи не было. К счастью, нашелся благодетель, который предложил Мечиславскому съездить с ним в Петербург, чтоб посмотреть игру столичных актеров. Вернувшись через три месяца и застав Остроухова в самом бедственном положении, Мечиславский уговорил своего друга поступить вновь на театр города NNN, имевший уже более средств. Город NNN радостно принял любимца своего Остроухова и его друга Мечиславского, в котором произошла большая перемена. Он перестал кутить, начал заниматься своими ролями, раньше всех приходил на репетицию и даже поссорился с кем-то за кулисами. Эта перемена в Мечиславском, однако ж, не была никем замечена за кулисами: в то время внимание всех было устремлено на вновь прибывшую молодую актрису Любскую, с появлением которой сцена ожила, и за кулисами происходили целые драмы и комедии. Соперница ее, актриса Ноготкова, особенно покровительствуемая одним богатым любителем театра, женщина лет двадцати, недурная собою, не могла вынести, что Любская играет ее роли. Нужно заметить, что театр был поддерживаем

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a многими богатыми людьми этого города, которые во что бы то ни стало желали соперничать с столичными театрами и хвастали, что у них на театре есть отличные артистки. Содержатель театра был человек грубый, необразованный; он сначала держал труппу паясов, потом кочующих актеров, с которыми бродил по ярмаркам; наконец, заехав в город NNN, он вошел в долю с любителями театра, которые проживали состояние свое на эту страсть, и основался там постоянно с своею труппою. В городе NNN даже составилась балет; а это большая редкость в провинции.

Любская была стройна, хороша собою, особенно манеры резко отличали ее от прочих актрис своею грациею. Как актриса, она еще не была замечательна; но учила свои роли, обдумывала их, слушала с благодарностью замечания опытных актеров, а не смеялась им в глаза, как другие самонадеянные актрисы.

О ней никто ничего не знал; приехав в город, она явилась сама к содержателю театра и объявила ему, что желает дебютировать. Он представил ее любителям театра, которые остались в восторге от новой дебютантки, тем более что она умела не только читать свои роли, но даже правильно писала, знала немного иностранные языки. Театр был полон всегда, когда она играла. Но не прошло недели, как Ноготкова начала интриговать, и Любская подверглась преследованиям. Ей не давали нового костюма, в то время как Ноготковой шили дорогие платья. Лучшие роли тоже давались опять Ноготковой, а те пьесы, где Любская имела успех, совершенно исчезли с репертуара. Дошло раз даже до того, что Любской подставили шатающуюся скамейку, на которую ей нужно было лечь: она упала, – дикий хохот Ноготковой раздался за кулисами и изобличил ее благородный поступок. Если публика принимала Любскую хорошо, что почти было всегда, то Ноготкова, стоя за кулисами в великолепном платье и в брильянтах, топала ногами, грозила кулаками и страшно бранилась. Содержатель театра спешил успокоить Ноготкову каждый раз, когда Любскую больше вызывали: он грозился выгнать Любскую с своего театра, но, страшась любителей театра, довольствовался мелочным притеснением. Часто Любская, играя веселую и беззаботную девушку, глотала слезы и по окончании сцены, убежав в уборную, горько плакала. Иногда, выведенная из терпения, она сама сердилась и кричала не менее Ноготковой. Все было против Любской, зная, что Ноготкова имеет больше влияния. Каждый рассчитывал на ее покровительство, исключая Остроухова и Мечиславского, которые защищали угнетенную и за то страдали не менее ее.

Мечиславскому и Любской приходилось часто играть вместе. Публика рукоплескала им в горячих сценах изъяснений в любви. Мечиславский начал обнаруживать талант, так что благодаря его одушевлению игра самой Любской стала развиваться. Вне сцены, однако ж, Мечиславский по-прежнему был робок и молчалив, особенно с Любской.

Любская не последовала привычке, принятой в кругу актрис и актеров, говорить друг другу «ты», она ограничилась только Остроуховым. Со всеми остальными она была далека.

Остроухов не мог понять, что делается с его другом: в Мечиславском с некоторых пор началось болезненное волнение и раздражительность. На репетиции он забывал иногда твердо заученную роль, обо всё спотыкался, и если приходилось обнять Любскую, то он не рещался или так неловко это делал, что обрывал ей кружева, наступал на платье.

Ноготкова первая заметила странности Мечиславского и, зная, что ничто так не вредит молодой актрисе, как ее склонность к собрату, распустила слухи, будто Мечиславский влюблен в Любскую и пользуется ее расположением. На другой день почти весь город говорил об этом. Услужливые актрисы и актеры из любви к искусству сплетничать, под видом участия и дружбы, силою навязали Любской и Мечиславскому сплетни Ноготковой. Первая, пожав плечами, улыбнулась этому, как вещи невероятной, зато последний в первый раз вышел из себя и чуть не побил услужливого вестника закулисных сплетней.

Остроухов наконец догадался о состоянии Мечиславского, который с каждым днем делался мрачнее и мрачнее, не ел, не пил, всё сидел дома.

– Ну что ты делаешь? А? не стыдно ли? – так начал Остроухов, после неудачных усилий затаскать Мечиславского обедать в трактир. – Ты поверил дуракам... да уж ты не тово ли?.. Да, брат, опоздал!

Остроухов подмигнул.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovnikola  
Мечиславский весь вздрогнул и резко спросил:

– Как?.. что?..

– Тьфу пропасть! ну что тарачишь глаза! – с досадою сказал Остроухов, робко поглядывая на своего друга. – Ну что тут такого! дело обыкновенное; вот, слава богу! что, она не такая же актриса, как и все?

– Ты знаешь его? – глухим голосом спросил Мечиславский, стараясь придать своему бледному лицу спокойствие.

Остроухов медлил ответом, смотря в лицо своему другу. Вдруг, махнув рукой, он со вздохом сказал:

– Поди в нашу кофейную: он там играет на бильярде. Высокий и красивый такой.

– Отчего ты раньше мне не сказал? – сжимая кулаки и стиснув зубы, закричал Мечиславский.

– А на что? – с упреком спросил Остроухов.

Мечиславский, ничего не отвечая, оделся, взял фуражку и вышел.

– Обедать, что ли? – глядя с участием вслед Мечиславскому, спросил Остроухов, но не получил ответа и махнул отчаянно рукой.

Содержатель кофейной дорожит близостью театра. До пробы, после пробы, во время спектакля и после – всегда публика, особенно бильярдная. В провинции это то же, что фойе французского театра. Тут зарождаются слава и падение актрис и актеров. Закопченные стены бильярдной слышат каждый день самые сокровенные тайны актрис. В такую кофейную спешат молодые купчики покутить с актерами, которые, прибежав с репетиции, поспешно едят и пьют на их счет и снова убегают за кулисы; сочинители драм, водевилисты – первые с важностью декламируют стихи из своих драм, вторые говорят не иначе как плоскими остротами и каламбурами из своих водевилей и поют всем и каждому свои вновь сочиненные куплеты. Туда же забегают отогреться полузамерзшие вздыхатели без капиталов после часового дежурства у подъезда, где выходят актрисы. Туда бежит и зевака развлечь себя и послушать сплетней, чтоб разнести их потом по городу и в те дома, которые редко посещают театры.

В бильярдной всегда шумно. Известные игроки с важностью следят за игрой своего собрата с новичком. Говор, стук киев не умолкают. Табачный дым слоями стелется по комнате. Иногда только, в очень интересные представления, бильярдная отдыхает, и маркер, играя сам с собой, уныло мурлычет нараспев: «Два и ничего! тридцать и ничего!» Есть актеры, так привыкшие к шуму, что часто учат роль в бильярдной, и если не сбиваются, то, значит, она хорошо заучена.

Мечиславский пробрался прямо в бильярдную и, сев в угол, стал рассматривать играющих на бильярде. Высокий, красивый мужчина, с кием в руке, принимал важные позы после каждого своего удара, как бы приготавливаясь к снятию своего портрета. С ним играл актер, лицо которого было испещрено черными бородавками; он резко отличался своими унижительными ужимками от гордо-плавных движений своего партнера. Мечиславский не спускал глаз с играющих, как вдруг позади его раздался сиплый голос:

– Здравствуй, Федя!

Мечиславский неохотно повернул голову: перед ним стоял небольшого роста господин с опухшим лицом; важно драпируясь в коротенький плащ, почти детский, и прищуривая глаза, и без того едва видные из заплывших век, он важно сказал:

– Послушай, какой я сочинил сюжет для своей новой драмы! чудо! – и господин с опухлым лицом, гордо закинув голову, продолжал: – Слушай же, и для тебя есть роль хорошая!.. Объявлена война; жених идет в поход; он приходит прощаться с своей невестой, которая страшно его любит, плачет, не пускает его. Раздается у окон бой барабана. Невеста падает в обморок. Жених, в отчаянии, бежит. Вдруг удар грома; молния ударяет в окно, разбивает его. Раскаты грома усиливаются, ветер воеет, окно горит, наконец, стена в пламени, занавес опускается... А что, эффектно? а? – и сочинитель драмы самодовольно смотрел на Мечиславского, который

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
машинально кивнул головой, не спуская глаз с играющих. – Первый акт будет называться «Прощанье и Буря»!.. Второго действия я еще не обдумал; но зато последнее... о-о-о! просто чудо!.. Эй, рюмку! – закричал он вошедшему слуге и, снова обратись к Мечиславскому, с жаром продолжал: – Поле сражения, слышен бой барабанов и стрельба за кулисами... вдруг...

– Извольте! – проворно крикнул слуга сочинителю, который, выпив несколько рюмок сряду под счет слуги: раз и два, продолжал свой рассказ:

– Поле сражения, из-за кулис бегут русские и неприятель. А что лучше – турки или французы? – И, не дождавшись ответа, сочинитель продолжал: – Турецкий костюм живописнее на сцене. Но вот что плохо: ведь ваш режиссер не любит меня, – он уронит мою драму. А, да я отдам ее в бенефис Ноготковой! Поле сражения должно быть очень хорошо обставлено: солдаты, раненые и мертвые, валяются по сцене... недурно бы и лошадей разбросать. Ну да уж куда ни шло! Восемьсот выстрелов, кроме пушек, – вот главное! Ну, слушайте дальше: на руках своих офицеры тащат юнкера, раненого. Их окружают другие офицеры. Сражение выиграно. Офицер рассказывает о храбрости молодого юнкера, который был в походе его другом и грудь свою подставил под пулю, предназначенную ему. Все приходят в умиление. Является доктор. Хотят осмотреть рану, расстегивают мундир. О, ужас – женщина!

«Владимир! – слабо говорит девушка. – Я твоя Ольга!»

«Ольга!» – кричит с ужасом Владимир.

«Я умираю! прости!» – и она подает ему обручальное кольцо.

Жених в отчаянии кричит: «И я тоже!» – хватая шпагу, прокалывает себя и падает возле своей невесты. Все плачут, слышен бой барабана... Ура! Множество солдат является на сцену с пленными. Вдали пожар и колокольный звон. Занавес опускается! – торжественно окончил сочинитель драмы и крикнул: – Эй, Петруша, анисовки!

И затем он начал сиплым голосом декламировать стихи, махая руками и с жаром ударяя себя в грудь.

Мечиславский ничего не слышал: он жадно прислушивался к словам видного мужчины, который, рассказывая что-то, упомянул имя Любской. Сочинитель драмы в то время, держа рюмку в руках, важно декламировал, а слуга, стоя с подносом возле него, смеялся, осматривая изорванный локоть его фрака. Весь театр и всё, что принадлежит к нему, знало несчастного сочинителя драм, которые творились в несколько дней, по заказу актрис и актеров. В случае нужды сочинителя запирали в комнату, лишали сапогов, давали перо, бумагу и чернила да графин водки в день для вдохновения. И драма в пяти действиях с прологом в несколько дней являлась в свете, а потом и на сцене. Труды автора мало ценились актерами и актрисами. Рублей двадцать пять, данных в разное время по мелочам и с нотацией, что его драма ни гроша не стоит, – вот и всё награждение, какое получал сочинитель за свои труды. Он был принимаем актерами и актрисами только тогда, когда бывал нужен им, а в другое время его грубо выгоняли. Впрочем, эти господа и с лучшими авторами так поступали. Если хотите взять деньги, то надо быть очень осторожным: давая свою пьесу бенефицианту, нужно заранее сделать условие, а не то вместо денег получите в подарок булавку с фальшивыми бирюзами.

Сочинитель драмы, переговорив со всеми, опять подсел к Мечиславскому.

– Скажи-ка, Федя, неужели Любская пленилась этим молодцом, а?

И он указал на видного мужчину, который, в ту минуту проходя мимо, громко сказал, обращаясь к двум молодым людям:

– Господа! вечером к Любской: я дома.

Сочинитель драмы страшно засмеялся. Мечиславский вскочил с своего места и как вкопанный остановился, дико глядя на всех. Лицо его приняло мрачное выражение, которое, впрочем, скоро сменилось обычным кротким взглядом.

Мечиславский, склонив голову на грудь, задумался. Он думал о положении провинциальных актрис. Самолюбие женщины страшно раздражено на этом поприще.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Туалет есть часть ее славы; а небольшого жалованья неостанет даже и на мытье тонкого белья!

Остаться твердою посреди вечного соблазна мудрено. Мечиславский судил по себе и знал, что сценическая жизнь требует роскоши и удаления всех мелочных забот.

– Глупа она! – начал сочинитель драмы. – Право, глупа! ведь он в дружбе с Ноготковой тож! Жаль, а тут может выйти драма! – И сочинитель начал декламировать стихи:

Отдай Гирея мне – он мой!

Мечиславский вздрогнул, провел по лицу рукой и кинулся из бильярдной.

А сочинитель воскликнул с жаром:

Но знай: кинжалом я владею:

Я близ Кавказа рождена!!!

Глава XV

Проба

Во время репетиции внутренность провинциального театра представляет жалкий вид. Партер и ложи темны и пусты; самая сцена освещена тускло – свечами оркестра или лампами. Голубоватый дневной свет, пробивающийся в каждую щелку, ложится полосками по неровному полу; кулисы обнажены; вместо парусинных деревьев или дверей и окон видна одна грязная лестница, упирающаяся в потолок сцены, который весь усеян разными блоками, веревками, свернутыми парусиновыми облаками; тонкие доски, как висящие мосты, перекинута в разных направлениях по ним, покачиваясь, ловко перебегают плотники или декораторы с иголками и лоскутами парусины для починки порванной пещеры или облака; пропитанные маслом ламповщики лениво лазят по лестницам, приготавливая к вечеру лампы. Шум, гам во всех углах; таскают с одного места на другое декорации, выбирают нужную мебель в бутафорской. Бутафорская – небольшая шумная комната у самого оркестра, наполненная чучелами, чашками, канделябрами, мебелью и всеми принадлежностями уборки комнат; тут же ход в суфлерскую, то есть стул на возвышении: сядьте – и ваша голова очутится в широком отверстии, выходящем на сцену; туда также сажают под арест провинившихся хористов, а иногда даже и актеров. Остальное пространство под полом занято громадными колесами, рычагами, веревками. Плотники стучат топорами под шумные распоряжения машиниста, поминутно бегающего то наверх, то со сцены под пол.

Под этим-то громом и сумятицей идет репетиция какой-нибудь кровавой драмы или воздушного балета. Из фойе слышны пение, шарканье и задыхающийся голос, повторяющий: раз, два, три! Актеры и актрисы в разнообразных костюмах, кто в шубе, кто в сюртуке, кто в чепчике, кто в шляпке, кто закутанный в шерстяной шарф, шмыгают из кулисы в кулису. Главные актеры с ролями ходят по сцене в разных направлениях и, нахмутив брови, протверживают свои роли, которые держат у носу, с трудом разбирая их в темноте. Слышен страшный крик: «Место! место!» Тащат кулису; в то же время пронзительный голос декоратора раздаётся на сцене:

– Слева! № 1: тень!

Люк раздвигается до половины. Появляется голова рабочего и тотчас исчезает. Если ошибутся, декоратор бежит вниз с страшными угрозами.

Наконец действующие лица репетируемой пьесы собрались на сцену. Режиссер поминутно смотрит на часы и кричит:

– Господа, помните: пять минут осталось, только пять минут!

Дело режиссера обставлять пьесу, стоять за кулисами, выпускать хористов и актеров на сцену по ходу пьесы, которую он держит в руках, высылать актера, когда его вызывают. На репетиции он главное лицо: вычитает из жалованья, если актер не явится в назначенный час, делает выговоры.

– Все ли собрались? – кричит режиссер.

– Любской, Остроухова и Орлеанских нет, – отвечает суфлер из своей будочки.

Репетиция замедляется.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Между тем за кулисами две низшего сорта актрисы хвастают друг перед другом. Одна говорит:

– Мне вчера купил шляпку.

– А мне заказал салоп в двести рублей, – отвечала Другая.

– Да, счастливые! – раздаётся вдруг поощрительное восклицание третьей женщины, которая, пользуясь темнотою, подслушивала.

К ним присоединился актер с неприятными ужимками, с лицом, испещренным бородавками. Поцеловав ручки хвастающихся и каждой наговорив множество лести, он спросил у одной из них:

– Ну а здоровье Василья Сергеича?

– Да, проказник! тебе на что? – было ему ответом; и слова эти сопровождались презрительным взглядом.

– О, какие вы злые! а я-то как старался, ей-богу: всякий день всё только про вас и твердил ему!

– Да, несчастная! воображаю! – воскликнула опять актриса.

Актер отошел и, обращаясь к другой кучке актрис, горячо споривших, заметил, указывая на прежнюю свою собеседницу:

– Как вздернула нос-то!

– Кто? а? – в один голос спросили все.

– Купоркина! – отвечал актер.

– Правда, что Василий Сергеич хочет на ней жениться? – вся побагровев, спросила одна из них; прочие громко засмеялись.

– Чему вы здесь смеетесь?

Этот вопрос был сделан худенькой женщиной в коротеньком платьице, закутанной в большой платок, которая вдруг подскочила к толпе.

– А, здравствуйте!

И актер, украшенный бородавками, вытянул губы, чтоб поцеловать ей руку.

– Ай, девицы... ай, урод! – с сердцем закричала худенькая женщина и затопала ногами.

– Ну, виноват, виноват; а я вам хорошую новость хотел сказать: Бунин влюблен в вас до безумия; говорит: буду просить руки!

– Да счастливая Настя! да, девицы! – воскликнуло несколько женщин разом.

Худенькая женщина самодовольно улыбнулась, ухватила за кулису и начала делать батманы, стараясь задеть ногой актера, который, хохоча, гримасничал и ломался.

– Место, место! – крикнули два мужика, тащившие двухэтажную избу. Актрисы шумно разбежались.

На противоположной кулисе ссорились две молоденькие танцовщицы; вокруг них составился кружок.

– Ты думаешь, что он купец, так я тебе позволю вперед лезть, чтоб тебя все видели! Это мое место! – кричала белокурая очень недурная собой женщина; но гнев портил ее миниатюрное личико.

– Да, девицы, да, счастливая! шутка ли, какая важная особа! – отвечала другая танцовщица.

– Тише, господа, тише! – кричал режиссер, а сам прикладывал ухо, чтоб тоже послушать ссору, которая, может быть, кончилась бы трагически, если б в ту минуту не спустилась сверху дверь и не разлучила ссорящихся.

Сцена всё больше и больше наполнялась. Ноготкова, наряженная безвкусно, сидела на стуле у будки суфлера – место очень почетное. За кулисами больше ни о чем не говорили, как о новой шляпке Ноготковой.

– Да, счастливая, да, урод, да, девицы!! – раздавалось во всех углах и на все тоны. Актер с бесчисленными бородавками, присев перед Ноготковой, дивился и умилялся, нахваливая ее туалет.

– Экая красавица! всё на ней хорошо!

– Что же, пора? – крикнула Ноготкова.

– Любской еще нет! – отвечало несколько голосов разом из темных кулис.

– Я не намерена ждать всякую дрянь! – презрительно проворчала Ноготкова.

Актер с бородавками обрадовался случаю и начал передавать разные сплетни насчет Любской. Ноготкова громко смеялась. Запыхавшись, пришла толстая старая женщина, небрежно одетая, ухватками и лицом очень похожая на торговку, продающих картофель; впрочем, ампула, которое она занимала, соответствовало ее характеру и фигуре. Ее фамилия была Деризубова. Она подскочила к актеру, сидевшему перед Ноготковой, и со всего размаху ударила его в спину, закричав:

– А ты, пострел, везде поспел!

Эта грубая шутка всех рассмешила. Актер с бородавками упал в ноги Ноготковой и заохал под общий хохот.

– Здравствуй, Машка! – дружески кивнув головой, сказала Деризубова Ноготковой и в ту же минуту стала осматривать ее туалет со всех сторон, делая отрывистые вопросы: – Что дала? аль подарили?

Ноготкова страшно преувеличивала ценность своих вещей, – слабость довольно обыкновенная у актрис: они думают возбудить зависть одних и приобрести уважение других, хвастаясь дорогими подарками.

Появление Любской с Остроуховым привело в волнение всю сцену: каждый спешил посмотреть, как Любская одета. Простой ее наряд никому не понравился.

Режиссер встретил их следующими словами:

– Вы опоздали, с вас штраф!

– Две минуты, – отвечала Любская, смотря на свой часы.

Это возбудило шепот и перемигивание. В кулисах слышались восклицания: «Да, счастливая! какие маленькие – в четвертак!»

– Да как они ей достались? просто дура!

– Всё равно! – отвечал режиссер.

– Вы ошибаетесь: штраф положен за пять минут! – возразил Остроухов.

– Ишь какой! так и есть, как бы не так! – подхватила Деризубова, подбоченясь. – Мы-то чем хуже ее? небось ни минуты не заставляем ждать.

– Начинать, начинать! Дамы и гости, выходите! – закричал режиссер.

С середины сцены хлынул народ – стало просторнее. Из-за кулис появилось с одной стороны несколько хористок в разнородных костюмах с работою в руках; с другой – небритые, в сюртуках, хористы.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Сделайте одолжение, дайте мне стул, – вежливо сказала Любская, обращаясь к кому-то из мужчин, стоявших за кулисами.

– Помилуйте, вы всю сцену заставите! – подхватил режиссер. – Нельзя! – крикнул он в кулису.

Ноготкова, постукивая ногой, насмешливо глядела на Любскую, которая, покраснев, отвечала горячо:

– Другие же сидят! – и она указала на Ноготкову.

– Мало ли что, голубушка! то другие! – сказала Деризубова, гримасничая, и, подщелкнув языком, прибавила: – Знай наших!

Любская закусила губы и искала глазами стула за кисами; вдруг из первой кулисы, совершенно темной, явилась фигура со стулом. То был Мечиславский; он неловко поклонился Любской и подал ей стул.

– Гляди-ка, Маша! Вот-то лабазник! – сказала Деризубова. Хохот раздался в некоторых кулисах.

Любская побледнела и хотела было идти к Деризубовой; но Мечиславский остановил ее, спокойно сказав:

– Пусть их тешатся своими грубостями. Оставьте их!

– Здоровы ли вы? – спросила Любская, глядя на бледное лицо Мечиславского.

Ничего не отвечая, он поспешно скрылся опять за кулису.

(То было то самое утро, которое встретил он под окнами знакомого нам дома.)

Хотели было начать репетицию; но оказалось, что Орлеанских нет. Это были муж с женой – первые актеры, хотя супруга имела единственный дар: так кричать, что за кулисами все боялись ее; а на сцене в патетических местах ей иногда даже удавалось голосом своим производить эффект. Она вмешивалась во все сплетни, вечно ссорилась и через своего мужа имела голос у содержателя театра и любителей. Она льстила тем, в ком видела выгоду, и тотчас начинала притеснять их, как только добивалась своей цели. Несмотря на то что у ней было огромное семейство, она имела претензию на молодость и красоту. Как драматическая актриса, играя часто герцогинь и разных важных дам, она приобрела привычку ходить с необыкновенной торжественностью – мерно, тяжеловесно, – глядеть важно; но не очень чистые поступки и льстивые слова не соответствовали ее величавой осанке.

Остроухов встретил Орлеанских объявлением о штрафе, которым угрожал режиссер всем опоздавшим.

– Что! штраф?! – грозно повторила Орлеанская, подходя к режиссеру.

Режиссер нежно улыбался и ловил руку Орлеанской, чтоб поцеловать, приговаривая:

– Ей-богу, совладать нельзя: все хотят тянуться за вами!

Орлеанская самодовольно улыбнулась, презрительно посмотрела на всех присутствующих и засмеялась громко.

Режиссер забил в ладоши: все расступились. Орлеанская, понюхав табуку, удалилась в глубину сцены. Ноготкова встала и пошла за нею; они поздоровались. Орлеанская выступила медленно, с страшным топотом, вероятно думая сообщить своей походке величие герцогинь (она должна была играть роль герцогини), и прочла монолог; Ноготкова читала свой, поминутно останавливаясь, и если суфлер ей подсказывал, она кричала:

– Ах, надоел! я знаю! не сбивай!

Явился Орлеанский с ролью в руках; он стал на колени перед герцогиней (то есть своей женой) и сделал вид, будто подает бумагу.



– Встань! – важно сказала герцогиня.

Орлеанский начал читать свою роль; в то время жена его разговаривала с Ноготковой о шляпке и о Любской.

– Герцогиня! Итак, спеши! – кричал суфлер.

Орлеанский заметил своей жене, чтоб она или болтала, или репетировала.

– Что ты меня учишь? Я свою роль знаю, по мне хоть и не репетировать.

Однако ж Орлеанский окончил сцену как следует, а жена, назло ему, пробормотала свою кое-как. Орлеанский должен был прийти поцеловать руку у герцогини, чего он не исполнил, потому что супруга его в то время стояла к нему спиной и болтала. Он пошел было вон со сцены, но вдруг остановился и спросил режиссера:

– А с вашей стороны дверь будет?

– С левой! – отвечал ему режиссер.

– Да помилуйте, я должен спиной повернуться к герцогине... что вы?

– Что делать! декорации старые: не приходится дверь иначе, как налево.

Репетиция приостановилась, потому что Орлеанский долго спорил с режиссером об двери.

Когда настала минута репетировать Любской с Мечиславским, последний пришел в сильное волнение; в голове его закружилось, в ушах зазвенело.

– Герцог! я исполнил долг свой! – кричал ему суфлер.

Но волнение Мечиславского возрастало. Он не спал всю ночь и слишком много выстрадал в несколько часов. Силы видимо изменяли ему. Заметив возрастающую бледность его лица, Остроухов подскочил к нему, и Мечиславский, пошатнувшись, упал без чувств на руки своего друга.

– Что с вами? – с испугом спросила Любская.

– Ничего, так; дурно ему, – сказал Остроухов.

Но слово «Пьян! пьян!» раздавалось всюду.

Режиссер подошел и сказал Мечиславскому:

– С вас штраф и под арест, по приказанию Ивана Артамоныча.

– Какой штраф! смотри, он, может быть, уж не дышит! – гневно сказал Остроухов. И, обращаясь к кулисам, закричал: – Братцы, пособите!

– Надо доктора! скорее доктора! – кричала Любская, заглянув в посинелое лицо Мечиславскому.

– Выспится! всё пройдет! – смеясь, заметила Деризубова.

Мечиславского отнесли в уборную. Сделалось смятение. Во всех кулисах только и говорили, что об Мечиславском и Любской. Но скоро сцена очистилась; в оркестре начали настраивать инструменты. Пол улили водой; забегали танцовщицы в коротеньких платьях. Заиграла веселая музыка, и зашаркали.

Мечиславский и Любская были совершенно забыты.

## Глава XVI

### Провинциальный театрал

В одиннадцать часов утра, в комнате, довольно пышно убранной, сидел за туалетом господин важной осанки, очень пожилых лет. Камердинер страшно суетился около своего барина, который, вымывшись десятью сортами мыл, вылил банку жидкости на

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a  
свое лицо, отчего желтизна исчезла, а вслед за тем выступил на щеках нежный румянец. Брови были слегка подкрашены, остатки седых волос густо были смазаны черным фиксажуром и все торчали кверху, с целью скрыть лысину, которая едва виднелась, как пруд, заросший травой. Обвислый подбородок подтянулся черным высоким атласным галстухом, а воротнички рубашки врезались в его щеки и тем скрыли не одну морщину. Корсет придавал пышности его изумительно выпрямленной талии. И когда туалет был окончен, камердинер мог с гордостью сказать, что труды его увенчались полным успехом, потому что господину с важной осанкой смело можно было убавить несколько лет. При вступлении в кабинет первым делом господина с важной осанкой было посмотретья во все зеркала, которых было тут девять, и потом уже усесться на диван за круглый стол, на котором был сервирован кофе. Кабинет своей меблировкой очень походил на самого владельца. Хотя всё уже было подержанное, но с первого взгляда казалось роскошно и эффектно: везде позолота, бархат; но всё это, начиная с цвета лица господина до серебряного сервиза, из которого он кушал кофе, всё было фальшивое, исключая только попугая, заключенного в клетке, да огромной черной собаки, лежащей на бархатной подушке у топившегося камина. Слегка высохшие цветы на окнах, картины в позолоченных и закопченных рамах, статуэтки, почерневшие от времени, – всё вместе было как-то уныло, так что становилось не только жаль самого владельца этого кабинета, но даже собаки и попугая его.

Впрочем, письменный стол один имел отпечаток жизни: на нем стояло до десяти женских портретов в характерных костюмах с эффектными позами. По столу валялись башмачки танцовщиц, браслеты, сухие цветы, перчатки, а под стеклянным колпаком на бархатной красной подушке лежала женская ножка из гипсу. Тут же стояла коллекция бабочек. Он уверял, что сам ее составил.

Пока господин с важной осанкой пил кофе, у него перебивало множество просителей, в том числе и кредиторы. Надо было изумляться любезности и ловкости, с какою обходился он со всеми, так что почти все без исключения оставались им довольны; кредиторы, обезоруженные и как бы пристыженные его любезностью, сами же просили извинения, что беспокоили его.

В числе просительниц была и знакомая нам прачка с дочерью. Катя понравилась важному господину, и он обещал пристроить ее куда-нибудь.

Потом явилось несколько молодых людей, из разговора которых можно было сейчас догадаться, что они принадлежат к числу самых страстных театралов. Все сплетни кулис и даже партера – всё было передаваемо наперерыв друг другу. Когда коснулись Любской и Мечиславского, господин с важной осанкой оправил важно галстух, может быть, чтоб скрыть некоторое волнение, и равнодушно сказал:

– Господа, я нахожу, что вы уж слишком черните ее, хоть я и не из числа ее поклонников.

Гости выразительно переглянулись между собою, потому что, как им были известны тайны кулис, столько же тайны театралов были доступны каждому, кто желал их знать. Весь театр, даже почти весь город, знал, как господин с важной осанкой ухаживал за Любской, но не достиг ничего. Сначала он подсылал своего камердинера и его приятелей в театр, когда играла Любская, чтоб аплодировать ей и вызывать до пяти раз, потом сажал их, чтоб шикать. Всем были известны многочисленные меры, перепробованные им, и его равнодушию мало верили.

– Я вас уверяю, что это правда, – с жаром подхватил молодой человек в необыкновенно узком платье и с лицом, усеянным угрями.

– Фи, фи! какое злословие, господа! в наше время мы заглушали такие слухи, а вы их распускаете.

– Дашкевич хочет его вызвать на дуэль, – проговорил молодой человек с угрями.

При этом имени лицо господина с важной осанкой заметно искривилось; но он сладким голосом сказал:

– Я его считаю за порядочного человека: если б даже слухи были справедливы, он не стал бы драться со всяким. Он уже доказал свое благородство в истории с нашей милой пери.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
На последние слова было сделано ударение довольно сильное, так что некоторые улыбнулись, взглянув на молодого человека с угрями, который, запев себе под нос, замолчал.

В третьем часу господин с важной осанкой, надев шляпу и натянув перчатки на свои руки, униженные кольцами, обошел дозором все зеркала и у каждого нашел что-нибудь поправить в своем безукоризненном туалете. Собака, попугай и камердинер следили за каждым движением своего хозяина, и когда он вышел из кабинета, попугай пронзительно вскрикнул, как бы обрадовавшись, и стал качаться на кольце; собака вытянулась и улеглась на полу. Вернувшись в кабинет, камердинер с важностью занял у стола место своего барина и стал допивать холодный кофе.

Господин с важной осанкой был из числа любителей театра, хотя, кроме советов, он уже ничем не мог помогать содержателю его, потому что имение его было в долгу и он сам едва мог поддерживать свои разорительные привычки. Но он имел голос между любителями театра, вследствие чего актеры и актрисы дорожили его покровительством.

Калинский – так звали господина с важной осанкой – некогда был богат, когда-то хорош собой; но всё это было в прошедшем. Один Калинский еще воображал себя молодым человеком, красивым и богатым, хотя воображать последнее было довольно трудно, потому что кредиторы часто напоминали ему противное. Но всё-таки с помощью ловкого камердинера Калинский обделывал свои дела и жил роскошно, судя по наружности.

Калинский молодость свою провел не столько с пользой, сколько с удовольствием; он ухаживал тогда за актрисами, ставил на карту большие куши, услаждался дорогими винами и решительно не заметил, как прошла не только его молодость, но даже как с годами прибавилось долгов на его большом, но уже заложенном имении. Продав часть своего имения, он не мог оставаться жить в столице, где страдало его самолюбие, где начинали уже говорить о красоте и победах других молодых людей, хвалили ценный подарок, сделанный актрисе не им, а каким-нибудь купцом. В провинции Калинский ожил вновь, сделался предметом разговора всех, и где недоставало ему денег, он употреблял хитрости, интриги, так что в ту минуту, когда мы познакомили его с нашими читателями, Калинский смело шел, не останавливаясь, к достижению своей прихоти или удовлетворению своего самолюбия и не задумывался ни перед какими средствами, лишь бы иметь успех. Любская имела в лице Калинского самого злейшего врага; он был главною пружиною неприятностей между Любской и Ноготковой; равно и в публике он устраивал всегда так, что если Любская играла вместе с Ноготковой, то последнюю непременно лишней раз вызывали, а Любской даже шикали, хотя шиканьем он только сердил публику, которая с досады принималась рукоплескать Любской. Он также научил содержателя театра, раболепствовавшего перед всеми любителями театра, потому что они делали ему большие вспомоществования, не давать пьес, в которых Любская имела успех. Ноготковой шили для новых ролей новые костюмы, а Любской перешивали старые. Трудно передать все мелочи, которые самого агнца в состоянии рассердить, а не только женщину раздражительную и самолюбивую...

Через неделю после визита своего к Калинскому прачка решила идти просить Любскую о ходатайстве: так как Калинский много расспрашивал Катю о Любской, то прачка надеялась, что он для Любской похлопочет о Кате.

– Здравствуйте, Олена Петровна! – низко кланяясь, сказала прачка, войдя в одиннадцать часов утра в кухню к Любской.

– Ну, здравствуй! – отвечала небрежно женщина лет тридцати, с лицом, бровями, ресницами, губами, глазами и волосами пепельного цвета. Роста она была очень высокого и неимоверно сухощавого сложения, грудь впалая, пуки длинные, плечи сутуловатые, которыми она поминутно передергивала. К довершению прелестей, одна щека у ней припухла, что придавало ее лицу какое-то постоянно гордое, саркастическое выражение.

Она была горничная Любской и в эту минуту распивала кофе.

– Олена Петровна, матушка, будь моей Кате второй матерью.

– Ну, что нужно? – грубо перебила горничная прачку.

- Замолви словечко: скажи, что, мол, сударыня, пришла прачка.
- Что учишь-то! разве не умею говорить, что ли? Чего ты хочешь?
- Попросить вашу барыню, чтоб она замолвила словечко об Кате.

И прачка умильно глядела на горничную, которая презрительно отвечала:

- А! небось теперь: «Олена Петровна, мать вторая!» – а то, не спросясь никого, полетела... туда же – хочет, чтоб дочка актрисой была!
- Матушка Олена Петровна, посуди сама: ну что я, бедная, ну куда я ее пристрою?
- А отчего она не может быть прачкой аль горничной? чем мы хуже ее? Не в свои сани садишься!

Прачка тяжело вздохнула и с покорностью отвечала:

- Олена Петровна, ведь я ей мать. Ну как не пожелать своему детищу счастья?
- Великое счастье – кривляться! – с презрением воскликнула горничная и вслед за тем грубо прибавила постучавшемуся в дверь: – Ну, кого еще несет?

Дверь раскрылась: показалось лоснящееся лицо небольшого мужчины средних лет, опрятно одетого.

- Ах, Семен Семеныч! – передернув плечами, закатив под лоб свои пепельного цвета глаза и заморгав быстро ресницами такого же цвета, нежно воскликнула горничная.

Семен Семеныч был камердинер Калининского. Он с утонченного учтивостью расшаркался с горничной и с прачкой, у которой осведомился о здоровье мужа, на что получил ответ:

- А что ему, батюшка, делается! лежит себе да возится с негодными котами.
- Ваша барыня спит? – спросил, улыбаясь, Семен Семеныч.
- Хороша барыня! – насмешливо отвечала горничная и с любопытством спросила: – А вам на что, Семен Семеныч?
- Вот-с!

И Семен Семеныч показал письмо, лукаво улыбаясь.

- Ну уж... право... вы ведь знаете, как она мне грозила, если я буду с вами знакома.
- Ничего-с! тут вот-с насчет ихней Катеньки сказано-с!
- Ах, боже ты мой, родной, ну как его милость... – завопила прачка.
- Ну что горланишь! – сказала горничная и, закатив глаза, обратилась к Семену Семенычу: – Вы уверены, что из этого письма ничего не выйдет?
- Не извольте сумлеваться: я лукавствовать с вами не стал бы, – отвечал Семен Семеныч и подал горничной небольшой из серой бумаги мешок, сказав нежно: – Не угодно ли полакомиться, Елена Петровна?
- Ах-с, я и так бы... зачем? – жеманясь, проговорила горничная.

Семен Семеныч, вскрыв его, поднес горничной, лукаво глядя на нее, и сказал:

- Отведайте: по вкусу ли?
- Что это, ах... как это можно... какой вы, право! – радостно восклицала горничная, схватив мешок. И, вынув из изюма кольцо с бирюзой, она надела на свой костлявый длинный палец.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Золото-с, с настоящей бирюзой-с! – проговорил Семен Семеныч.

Дверь в сени с шумом раскрылась: ввалился чрезвычайно высокий мужчина в фризовой шинели и басом прокричал:

- Завтра репетиция «Дочери-преступницы», в одиннадцать ровно!
- Ну что вопишь, словно режут!
- Да ведь надо же, так требуется, Олена-матушка.
- Ну, мужлан!
- Дай водочки!
- Как же! здесь не кабак.
- Ишь, злая!

И подразнив горничную, высокая фигура с шумом скрылась. Затем явился краснощекий молодой человек с приятной улыбкой, одетый очень чисто, с узлом под мышкой. Вежливо раскланявшись с горничной и со всеми в кухне, он скоро пробормотал:

- Насчет-с герцовских платьев!
- Спят, – отвечала горничная.
- Я подожду-с: нужно примерить-с.
- Поздно легла.
- Так позвольте оставить; я зайду через час.
- Хорошо.

Не прошло минуты, как ввалился кучер и медленно произнес:

- Карета приехала, сидят.
- Какая карета! не знаешь, что ли, что наша по утрам не ездит теперь в ваших корзинках? Да покажи записку! – крикнула горничная.

Кучер подал лоскуток бумаги, на котором было написано с десятков фамилий актеров и актрис, которых следовало ему забрать и привезти в театр на пробу.

– Потрудитесь, Семен Семеныч, – передергивая плечами, сказала горничная, подавая камердинеру бумажку.

Семен Семеныч прочел и объявил, что даже фамилия Любской не написана.

- Да я ведь почему знаю? Дали записку сегодня: поезжай! я был вчера здесь, ну и думал, что и сегодня надо.
- То-то вы, простота! а кабы я разбудила!

Раздался колокольчик из комнат, и горничная, распростившись с гостем и взяв от него письмо, пошла на зов. Прачка затянула свою песню: «Устрой мою Катю: я за тебя век буду бога молить» и так далее.

## Глава XVII

Закулисная сплетня. – Прачка устраивает судьбу своей дочери  
Письмо Калининского было содержания очень обыкновенного между провинциальными актрисами. Под видом преданности к Любской он извещал ее, что один господин, прикидывающийся преданным ей, в день именин поднес Ноготковой <браслет>, да еще с надписью, хотя взятой с известного памятника, но всё-таки оскорбительной для нее, если она считает его в числе своих друзей. Надпись следующая:

Завистниц имела,

Соперниц не знала.

Любская в волнении едва могла дочитать письмо. В ее голове быстро пронеслись слова и взгляды актрис за кулисами, которых она не брала на себя труда объяснить. А поспешность, с которой Дашкевич оставил ее вчера утром, не дав положительного ответа, куда он так торопится, подтверждала слова Калининского. В глазах потемнело у Любской, и она, как статуя, оставалась в неподвижности. Ничего не может быть ужаснее в жизни женщины, как узнать о торжестве своей соперницы, сознать его, и, к довершению всех мучений, перед множеством людей, которые, как докучливые комары в летний жаркий день, кусают вас со всех сторон своими ядовитыми насмешками, и нет средств укрыться от них: они найдут место пропустить свое жало.

Недоумение Любской недолго продолжалось. Она поспешно оделась и явилась на репетицию. Это присутствие духа и смелость явиться в такую минуту за кулисы доказывали, каким характером обладала Любская. Она знала обычай Ноготковой на другой день именин являться на репетицию, даже если она не участвовала в ней, во всем, что было подарено ей, а в случае и куплено самую, но выдано за подарки. И не ошиблась: она застала Ноготкову разряженную как куклу; толпа актрис и актеров разглядывала ее наряд и хором хвалила всё. Несмотря на быстрый переход от утреннего света к темноте сцены, Любская тотчас же заметила массивный браслет на руке своей соперницы, которая с убийственной улыбкой поправила его.

Как ни считала себя Любская выше мира, в котором находилась, однако колени у ней задрожали, когда она увидела браслет, переходящий из рук в руки актеров и актрис. Последние восклицали:

– Да, счастливая!.. Да, весело!.. Да, девицы!..

– Не правда ли, хорошенькая вещица? – спросил ее актер с бесчисленными бородавками на лице.

Любская выхватила у него браслет и готова была бросить его в темный оркестр; но восклицания присутствующих образумили ее; дрожа всем телом и силясь улыбнуться, она осталась с поднятой рукой, как бы любясь браслетом издали, и потом молча вручила его актеру с бесчисленными бородавками, который спросил:

– Ну что, хорош?

Любская молча кивнула ему головой.

– Надпись есть.

И актер с бесчисленными бородавками громко и торжественно прочел:

Завистниц имела,

Соперниц не знала.

А.Д.

Любская почувствовала в эту минуту прикосновение чьей-то руки: то был Остроухов, приближения которого она не заметила. Остроухов тихо шепнул ей:

– Иди отсюда: ты не вынесешь этой пытки.

Любская кинулась в темную кулису и, прислонясь к ней, тихо зарыдала.

– Тише, ради бога, тише: ты им подашь еще более поводу тешиться над собою.

Любская пугливо огляделась и дрожащим от гнева голосом спросила:

– Все знают?

– К несчастью, ты узнала последняя.

– Как?! – с ужасом и негодованием воскликнула Любская. – Неужели всё было ложь?

- Как видишь, – грустно отвечал Остроухов.
- Вы знали прежде?
- Да.
- Зачем же мне ничего не говорили?
- Ты так гордо держишь себя с нами, то есть с Федей.
- Он здесь? Боже, где он? – пугливо воскликнула Любская.
- Его здесь нет: он что-то болен.

Любская свободно вздохнула.

Парусинные кулисы, где говорила Любская с Остроуховым, заколыхались слегка. Остроухов приложил палец к губам, переменял разговор и тихо шепнул Любской:

- Смейся!

Любская засмеялась.

- Громче! – шепнул Остроухов и стал болтать равный вздор.

Смех Любской привлек многих актрис и актеров к кулисе. Любская с Остроуховым смеялись на всю сцену, так что режиссер закричал:

- Говорю вам: штраф! тише! тише!

Уходя с пробы, Остроухов пожал Любской руку и с гордостью сказал:

- Если ты будешь так продолжать, вспомни меня – ты сделаешься замечательной актрисой.

Эта похвала вызвала слезы, которые изобильно текли по щекам Любской; выражение ее лица и всей фигуры было так убито, что Остроухов, сажая ее в карету, строго сказал:

- Неужели ты не имеешь гордости и приходишь в отчаяние от таких вещей, на которые должно отвечать смехом, как ты и сделала. Знаешь ли, что веселость твоя лучшее и самое верное мщение?.. Будь весела, поезжай куда-нибудь, где бы тебя могли видеть веселой, – одним словом, сделайся актрисой сегодня не за кулисами, не на сцене, освещенной лампами, а при дневном свете.

- Мне скучно! мне тяжело! – проговорила Любская, закрывая лицо руками.

- Вздор! ты должна быть сегодня веселой!

И, захлопнув дверцы, Остроухов велел кучеру ехать в модный магазин на главной улице города, сказав Любской:

- Ради бога, купи к завтраму себе какую-нибудь обновку. Проба в двенадцать часов.

Любская, поплавав в карете, скоро перестала, как бы вспомнив советы Остроухова. Она купила себе новую шляпку и возвратилась домой.

Но на лестнице она была испугана прачкой, которая, упав ей в ноги, загородила дорогу и завyla.

- Что такое? что? – пугливо спросила Любская.
- Сделайте милость, матушка! заставьте богу...
- Да скажи, что тебе? – нетерпеливо воскликнула Любская.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Съезди ты, мать родная, благодетельница, к его милости!

– К кому?

– К Лиодору Алексеичу Калинскому; его милость намеднись пообещал определить мою Катю, а сегодня понесла ему белье: я, говорит, не могу; госпожа Ноготкова сама изволила заезжать ко мне и просить о своей какой-то родственнице. Ведь она человек богатый; а я, я-то где возьму деньги учить мою Катю?

И прачка завывала.

Слезы действовали неприятно на Любскую; она с жаром просила прачку перестать.

– Сами знаете, девочка умная: за что пропадет! А где мне взять? шутка ли – сколько корзин должна переглядывать, перестирать! ну где мне и прожить-то долго..

Прачка готовилась еще пуще завывать.

– Не плачь, пожалуйста: я сейчас же поеду сама к нему, – сказала Любская и стала защищаться от прачки, которая, вознося ее доброту, ловила у ней руку, чтобы поцеловать...

Калинский тотчас же был уведомлен о предстоящем ему визите чрез своего камердинера, который находился у Куприяныча в гостях, когда прачка вбежала домой с сияющим лицом.

В ожидании Любской Калинский изыскивал себе эффектную позу. Сначала сел в кресле с книгой и приказывал собаке положить голову ему на колено. Наконец предпочел сесть у письменного стола, разбросав по нем бумаги и книги, и углубился в занятия, как только слышал звонок в передней.

Камердинер, с шумом раскрыв дверь, возвестил прибытие Любской. Калинский с минуту оставался как бы пораженным, потом радостно кинулся к ней и, усаживая ее на диван, воскликнул:

– Боже! чему я обязан счастьем видеть вас у себя?

– Я думаю, очень обыкновенному случаю для вас: я, как и другие, приехала к вам с просьбой, – отвечала Любская.

– Приказывайте! – наклонив почтительно голову отвечал Калинский.

– Я прошу вас определить очень хорошенькую девочку.

Калинский задумался.

– Я вас умоляю, – не без кокетства произнесла Любская: она жаждала случая хоть чем-нибудь отомстить своей сопернице.

– О! для вас я готов изменить своему слову! – восторженно воскликнул Калинский.

– Поверьте, что совесть ваша будет вознаграждена: вы сделаете истинно доброе дело.

– Я забуду всё, чтоб угодить вам. Это цель моей жизни...

Калинский остановился, заметив легкое содрогание Любской, которая гордо взглянула на него; с минуту они пытливо глядели друг на друга.

– Вы сердитесь на меня? – спросил Калинский.

– Кто? я? за что? вы опять заговорили по-старому? – покойно отвечала Любская.

– Нет!

– За письмо?..

Любская засмеялась.



- Как вы веселы! – с удивлением заметил Калининский.
- Отчего же мне скучать?.. Я окружена людьми, которые заботятся обо мне, исполняют мои...
- О, я вижу, вы по-прежнему меня не понимаете и всё толкуете в дурную сторону...
- Мое мнение изменится, если вы исполните мою просьбу.
- Для этого я готов принести всё в жертву!

Любская встала.

- Вы бежите, – с грустью заметил Калининский.
- Вы, кажется, были заняты: я боюсь...
- Как вы злы! неужели вы не знаете, что вас видеть для меня...
- А много говорит ваш попугай? – перебила его Любская.
- Он забавен, а главное – ужасно привязан ко мне; впрочем, я любим всеми, кроме...
- Вы, как Робинзон, окружены зверьми, – сказала Любская, указывая на собаку.
- Да, это верное животное и очень привязанное ко мне.
- Зачем же она на веревке? – спросила Любская.

Калинский смешался, но тотчас же отвечал с приятной улыбкой:

- Она ревнива ко мне.

Любская улыбнулась, попросила, чтоб отвязали собаку, и сказала:

- Я вас уверяю, она ничего не сделает, по крайней мере мне.

Не скоро удалось Калининскому освободить свою собаку: она не давалась ему, и когда наконец ошейник был снят, кинулась под диван и заворчала.

Любская кусала губы от смеху, потому что Калининский весь побагровел, нежными словами выманивая собаку, которая рычала всё сильнее; попугай присоединился к ней своим криком.

- Они сегодня меня бесят! впрочем, это понятно: они никогда не видали у меня в кабинете дамы.
- И потому их ревность не имеет границ, – перебила Любская и, еще раз повторив просьбу свою, раскланялась и вышла.

Экипаж ее не успел еще отъехать от крыльца, как по всей квартире Калининского раздался вой собаки и крики попугая.

Калинский сердито кричал своему камердинеру, тащившему собаку за шиворот из-под дивана:

- Скажи собачнику, что гроша не дам, если не приучит ее лежать на подушке без привязи и не отвадит лазать под диван.

И он принялся наказывать вызолоченной палочкой своего попугая.

По возвращении домой душевное напряжение Любской разрешилось отчаянием, которое не было тихо и безвыходно: нет! рыдания ее были гневны; краска на лице, взгляды и движения доказывали, что для ее горя есть еще облегчение; известно, что ничего нет страшнее тихой скорби.

Любская написала к Дашкевичу письмо и приказала отдать, когда он приедет, а сама

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
заперлась в спальне.

В то самое время, когда для Любской всё окружающее казалось печальным и мрачным, прачка находилась наверху блаженства: Семен Семеныч явился к ней с извещением, чтоб она везла Катю в ученье. Прачка бросила недоглаженную юбку, ахала, смеялась, кидалась во все углы, собирая узелок для своей дочери, и поминутно восклицала:

– Господи! господи! чем я ей заслужу?

Или:

– Вот и моя Катя будет в карете ездить и шелковые платья носить!!

– Я приду домой завтра? – приставала Катя к матери с вопросами.

– Глупенькая, скорее надень чистые чулки да пойдем проститься к верхней барыне.

– Я надену и новый платочек?

– Да, да! Куприяныч! попотчуй водочкой-то Семена Семеныча!

И прачка сунула в руку камердинеру красную бумажку.

Он с любезностью поклонился.

– Ну, прощайте, – сказала прачка.

– С богом-с, – отвечал Семен Семеныч.

Прачка уже взялась за ручку двери, как остановилась и воскликнула:

– Что это, я, кажись, от радости рехнулась! Катя, простись с отцом да помолись богу!

И прачка усердно стала молиться. Катя последовала примеру матери.

– Ну, прощайся! – сказала прачка, толкнув Катю к Куприянычу.

Катя нехотя подошла к нему и тихо сказала:

– Прощайте!

– С богом, прощай! – отвечал равнодушно Куприяныч и в первый раз поцеловал Катю в лоб.

– Перекрести! – заметила прачка своему мужу.

Он перекрестил.

Прачка сняла с шеи маленький серебряный образок и, благословив дочь, схватила ее за голову, прильнула к ней губами и заплакала. Катя, не понимая, впрочем, о чем плачет мать, тоже заплакала, и рыдания наполнили подвал.

– Полноте-с, о чем тут плакать, сами изволили желать! – заметил Семен Семеныч.

Куприяныч ничего не говорил. Он пожимал только плечами и насмешливо глядел на свою жену.

Прачка ничего не слушала; она дрожащими руками крестила свою дочь, целовала ее голову, даже руки и длинные косы, и, прижав девочку к своей высохшей груди, твердила:

– Катя, не забудь свою мать, не забудь ее!

Семен Семеныч, видя, что слезам прачки не будет конца, сказал:

– Что это-с вы ребенка-то пугаете: ведь они заробуют!

– Ах, батюшка, будет ли она счастлива! – воскликнула прачка и рыданием заглушила свои слова.

– Ну ведь у ней опухнут и покраснеют глаза; скажут еще, что болезнь какая, – нетерпеливо отвечал Семен Семеныч на вопрос прачки о судьбе дочери.

Прачка прекратила свои рыдания, перекрестив и поцеловав в последний раз дочь, вытерла ей слезы, пугливо поглядела ей в лицо и нетвердым голосом сказала:

– Ну, пойдем!

И прачка печально вывела за руку свою дочь из подвала.

В кухне Любской был большой беспорядок. На плите кипел бульон; недоглаженное платье было забыто горничной, которая, важно облокотясь на доску, кричала страшно. Перед ней стояла маленькая женщина в шелковом салопе и в шляпке с помпатами цветами. То была горничная Ноготковой. Денщик с нафабранными усами, с гордой осанкой, стоял в шинели, навьюченный чубуками, фуражкой, саблей и сюртуком.

Сидоровна, вся в лохмотьях, с веревкой в руке, жалась в углу у дров, только что ею принесенных.

Разговор был горячий между горничными и денщиком. Они не скоро заметили приход прачки, ее дочери и Семеныча. Елена Петровна встретила последнего радостным восклицанием; но камердинер не заметил ее и прямо адресовался с вопросом к денщику:

– Переезжаете?

– Да, мы любим по-походному: сегодня здесь, а завтра там.

И он указал на горничную Ноготковой, которая отвечала:

– Да я не то что Олена Петровна: я воли вам не дам-с.

– Ну так мы приступом возьмем.

Смех раздался в кухне.

– Прощайте, Олена Петровна, – начала прачка, толкая Катю, которая протянула губы к горничной.

– Это куда разрядилась? – спросила горничная Любской.

– Учиться, – с гордостью отвечала Катя.

– А глаза что красны: мать, что ли, била?

– Ах, Олена Петровна! когда же я ее била? – обидчиво заметила прачка.

– Мы пришли проститься с вашей барыней.

– Некогда – плачет! – отрывисто отвечала горничная и подмигнула денщику, который самодовольно закрутил усы.

Семен Семеныч лукаво улыбнулся и шепнул горничной Ноготковой:

– Чай, и ваша скоро заплачет?

– Наша не из таких: она плакать не станет, а глаза выцарапает.

И она обратилась к Олене Петровне и озабоченно продолжала:

– Так розовое наденут? Ну и наша розовое, только с иглочки. Прощай, Оля! Заходи кофейку испить.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Горничные дружно поцеловались и расстались.

– Важнейшая особа! – заметил денщик, провожая глазами горничную Ноготковой.

– Да, только язык-то длинен! – с сердцем заметила Олена Петровна.

Прачка обратилась к ней с вопросом:

– Нельзя ли доложить?

– Отвяжись ты от меня! – грубо закричала Олена Петровна. И, закатив глаза под лоб, она обратилась к денщику и нежно сказала: – Прошу лихом не вспоминать нас. Заверните когда-нибудь вечерком.

Денщик гордо раскланялся и ушел.

Сидоровна и ему отвесила всегдашний раболепный поклон, на который обыкновенно никто из проходящих и уходящих не отвечал ей.

Через полчаса Катя сидела на скамейке в спальне у Любской, которая переплетала густые косы будущей актрисы.

В кухне Сидоровна раскладывала на столе карты на будущую участь Кати. Прачка, пригорюнясь, то радостно улыбалась, то тяжело вздыхала, наблюдая предсказание засаленных карт Сидоровны, которая вечно носила их за пазухой.

Куприяныч один был равнодушен к будущности Кати. Он бегал со щипцами по комнате, бросался на пол, лоя желто-серого кота, который в зубах держал мышонка. Наконец Куприянычу удалось поймать за хвост серого кота и выхватить из его зубов жертву. Он кинул мышонка к черному коту и напряженно следил за движениями своего любимца, который, цапнув лапкой мышонка и понюхав его, медленно отошел.

В то время воротилась прачка с грустным лицом; Катю же повезла сама Любская. Куприяныч начал доказывать жене, как полезно и необходимо иметь кошек в доме, и, показывая мышонка, лежавшего, поджавши лапки, сказал:

– Небось всё перегрыз бы, ведь мог попортить дорогую рубашку аль платье какое. А вот мой чернушка его цап-царап.

Прачка так была, огорчена разлукой с дочерью, что только махнула рукой. Муж стал приводить в порядок свою постель, готовясь улечься.

Завидя смятое платье Кати, прачка снова заплакала, но скоро с сердцем вытерла слезы своей сухой рукой и занялась глаженьем.

Часть четвертая

Глава XVIII

Жизнь кочующего актера

Общая квартира Мечиславского и Остроухова состояла из двух комнат. Первая темная комната была обращена в сени и прихожую, а светлая – в спальню, кабинет и приемную.

Светлая комната была замечательна простенками необыкновенной ширины, как будто располагались строить замок, а не двухэтажный дом. Окна широкие, но низенькие, бросали зеленоватый свет на все предметы, – может быть, потому, что вместо штор и ширм их украшали огромные зеленые бутылки с желудочной водкой, славившейся своей целебностью; автор ее был сам Остроухов.

В громадном простенке стоял большой стол с откидными полами; на нем красовался зеленоватый маленький самовар с чайником на макушке. На круглом ржавом подносе, с маленькой решеточкой кругом, стояли два стакана; один в бисерном чехле.

Напротив стола, у стены, находился массивный турецкий диван, обтянутый тиком, во многих местах разодранным, откуда виднелась другая материя, а местами и третья, так что диван напоминал возвышения, образующиеся наносами, по которым можно вычислить столетия. За диваном, в углу у печки, стоял маленький простого дерева комод с разошшимися ящиками и тут же маленький туалетный ящик с зеркалом.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
По другой стене тянулась длинная кровать с коротенькой периной и небольшими кожаными подушками, напоминавшая детей, выросших из своего платья. Под кроватью валялись сандалии дружно с туфлями, вышитыми шерстью. Возле кровати – ломберный раскинутый стол, на нем запыленные роли, парики, бритвы, – всё пересыпано нюхательным табаком и пылью.

Остроухов даже не имел и зеркала, а какой-то кривой кусочек, обделанный в пеструю бумажку.

Противоположная стена от двери до окна была завешана разного рода платьями: тут висел французский кафтан с блестками, греческая рубашка, испанский плащ рядом с засаленным халатом, шубой и другими платьями.

Когда Остроухов возвратился с пробы, посадив Любскую в карету, он застал Мечиславского, лежащего на диване с ролью в руке. По нахмуренным бровям и взглядам исподлобья можно было догадаться, что Остроухов чем-то недоволен. Его умное лицо, разрисованное морщинами, имело обычное выражение утомления и грусти. То и другое в настоящую минуту выразилось еще резче. Но Мечиславский не обратил внимания на своего друга: он слишком был погружен... только не в чтение роли. Бледное лицо его по временам вспыхивало; глаза то блистали гневом, то увлажались слезами.

Выпив обыкновенную порцию желудочной, Остроухов бросился на свою кровать и, заложив руки за голову, начал поглядывать на Мечиславского. Наконец он окликнул его после долгого молчания:

– Федя, а Федя!

Мечиславский так вздрогнул, что роль выпала у него из рук.

– Ну что, брат, чего испугался? кажется, осторожно окликнул! – недовольным голосом заметил Остроухов.

Мечиславский немного смешался и неохотно спросил:

– Да что тебе нужно?

– Затвердил ли ты роль? ведь завтра играть ее, – с упреком отвечал Остроухов.

Мечиславский пугливо посмотрел на своего товарища и покачал головой.

– Нехорошо, братец! что нехорошо, так нехорошо! На меня нечего смотреть, что я своей роли не знаю; память стала слаба, – коли и запнусь, гримасой поправлю, да со старика и публика не взыщет: она ко мне привыкла... Ну а ты? твое дело другое! ну, как запнешься в сцене, где слова должны кипеть? Придется смотреть на свою возлюбленную и в то же время ухо подставлять к суфлеру – не годится! Да и ее можешь сбить.

Мечиславский, как пристыженный школьник, громко стал читать свою роль.

– Ведь, право, ты какой! например, завтра в одной сцене надо драться, а ты небось хоть бы чубуком попробовал!

– Да отвяжись! завтра на репетиции могу научиться.

– Ну, так! на последней-то? оно так! с тобой и станут возиться! Ну-ка, валяй!

И Остроухов быстро вскочил с кровати, сбросил сюртук и, засучив рукава рубахи, вооружился рапирой, стоявшей в углу у печки с чубуками и кочергой. Нападая на Мечиславского, он закричал:

– Защищайся, злодей!

Мечиславский оттолкнул рукой рапиру от своей груди и с досадою оказал:

– Да полно!

Остроухов пожал плечами и, став посреди комнаты, принялся фехтовать один.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Морщины на лице его разгладились, утомленные глаза вспыхнули огнем, словно в пылу действительной драки; через минуту он вдруг остановился, весь вздрогнув, лицо его побледнело, глаза с ужасом устремились к полу, будто в самом деле перед ним лежал убитый им человек; отбросив рапиру, он тихо опустился на колени и, щупая с содроганием пол, отчаянным голосом произнес:

– Он мертв!

Мечиславский с жадностью следил за Остроуховым, который с одушевлением разыграл всю сцену из роли своего друга.

Окончив сцену, Остроухов отер рукавом рубашки пот с лица и хриплым голосом сказал:

– Устарел: голосу не хватает выдержать всю сцену! Разве подкрепиться?

И он подкрепился.

Мечиславский стал читать свою роль с жестами, выходами и уходами. Остроухов, лежа на своей кровати, закинув руки за голову, делал Мечиславскому замечания, заставляя его повторять раза по два некоторые монологи и наконец довел своего друга до изнеможения. Мечиславский бросил на половине свою роль.

– Ну что, осовел? ведь я игрывал эту роль, как был молод. Правда, тому давно-давно! когда я был молод.

Остроухов тяжело вздохнул.

– Право, Федя, я как погляжу на молодых людей, так нынче... право, жаль: ну точно мокрые курицы ходят. Например я скажу про себя: как был молод – веришь ли? – так всё и кипело... И чего я не видал на свете!

– И что же вышло из этого? – спросил насмешливо Мечиславский.

Остроухов на минуту задумался и вдруг, вскочив с кровати и комически раскланиваясь, произнес с приятной и скромной улыбкой:

– Ваш покорнейший слуга.

Мечиславский отвечал улыбкой на выходку своего товарища, который, кряхтя, улегся опять на свое место и, рассуждая сам с собой, продолжал:

– Ну, пусть я имею слабость; но ведь я всё-таки имею, как и другие люди, сердце, совесть, честь! Не верят, думают, уж я совсем пропал.

– Мало ли что о нас другие думают! – заметил Мечиславский.

– Оно резонно, да обидно, когда через какую-нибудь свою слабость, которая, кроме меня (Остроухов с жаром ударил себя в грудь и продолжал), никому вреда не приносит... а тут всякий смотрит на тебя с презрением.

– Ты что-то сегодня в дурном расположении, – сказал Мечиславский.

– И не думал, а так, к слову пришлось. Ты меня знаешь: я ведь не охотник хныкать да людей винить, в чем сам виноват.

– А если они виноваты, так что тогда?

– А зачем сам так слаб, что позволяешь себя обижать, а? Ну, про себя я не говорю: я стар; а ты?

– Ну а ты?

– Я другое дело: ты вот был богат.

– Да сплыл!

– А я так и не сплывал; и где взять мне было амбиции на всё, что я пережил, чему

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a подвергался? Небось ты вот актер, а что видел, где был? А я-то, братец, разве только у самоедов не увеселял. Вот оно какая штука! Ты думаешь, чай, я вот так и сделался актером? Как же! Я в оркестре в барабан колотил, потом выучился на флейте, потом сделался суфлером. Да и дебют-то мой был курьезный. Я выступил на сцену в первый раз в медвежьей шкуре. И наконец-то сделался актером. Уф! страшно вспомнить!.. Выходя в чужой шкуре, мне казалось всё нипочем, а как пришлось в своей, так ноги не держат, в горле так странно! словно бутылку масла выпил. К тому ж замешалась любовишка: и за нее, бывало, боишься, и за себя, – ну, право, чуть не умер. И как чудно я сделался актером! оно, право, удивишься случаем. Сначала я и не думал, что у меня есть талант, хоть часто, когда сидишь, бывало, в суфлерской будке и подсказываешь роль, так вот и казалось, что сам бы лучше сыграл. Ну, вот раз приехала наша труппа в один город, наняла сараи и стала их превращать в театр. Всё было уже готово; вот я раз вышел с пробы, – у самых сений меня останавливает женщина чисто одетая и в шляпке, но мне совершенно незнакомая и очень красивая. «Не надо ли вам актрисы?» – спросила она меня, ну в точь как мужики, бывало, спрашивали, когда устраивали сарай: «Не надо ль плотника?» Я, признаюсь, улыбнулся такому странному вопросу моей незнакомки; она гордо сказала:

– Я дам денег тому, кто похлопочет, чтоб меня приняли актрисой.

Я поглядел на нее еще пристальнее и окончательно убедился, что она очень хороша собой. Я было спросил ее, кто она, что она, да получил ответ:

– А на что вам? ведь оттого я не сделаюсь лучше? Скажите мне, хотите ли вы учить меня и выпустить на сцену? Если так, то я с завтрашнего же дня начну.

– Извольте, я дам вам роль, и когда выучите, приходите сюда и спросите меня; я пройду с вами.

– Да я читать не умею! – печально отвечала незнакомка.

– Как же вы хотите быть актрисой? – с упреком воскликнул я.

– Очень просто: у меня память очень хорошая; почитайте мне роль, а там я понемногу стану учиться читать.

Мне всё это показалось так странным, что я из любопытства одного согласился, не думая, что от этого вся моя будущность зависит. Незнакомка правду сказала: бывало, два раза прочтем роль, она уж запомнит. Таланту было бездна. В разговоре ничего не понимает, а начнет читать роль свою, ну просто не слушаешься. Подымет ли руку, повернет ли голову – просто статуя. Я учил ее тихонько от всех и сам учился и, когда всё было готово, предложил содержателю театра дать некоторые сцены из «Отелло». Содержатель театра был грубый человек, но – спасибо – уступчивый и сговорчивый. Ему сначала не понравилось, что я хочу оставить суфлерство: я отлично умел подсказывать актерам, которые, бывало, едва на ногах стоят. Но я кое-как всё уладил, насулил содержателю, что заслужу ему. «Ну, говорит, – так и быть, пошел на сцену. А ошкуют тебя да твою ученицу, так я тебе задам». Однако дело обошлось как нельзя лучше: хоть мы дурно играли, но намазанная моя рожа, глаза страшные да красота моей ученицы всё выкупили, и уж нас вызывали, вызывали! У меня роли Дездемоны и Отелло так перепутались в голове, что я едва мог находиться, что мне говорить. Наши дебюты произвели шум в городе, и театр ломился от зрителей. Содержатель театра бегал как потерянный от радости и поминутно вешался мне на шею, говоря, что я его первейший друг. Я переменял совершенно обращение с ним, да и со всеми; оно, знаешь, как увидишь, что нужен человеку, от которого зависишь, так спокойнее станешь; да и голова-то как-то задергивается сама кверху.

– Ну, она выучилась читать, была хорошая актриса? – спросил Мечиславский.

– Такая вышла актриса, что и я-то через нее понял многое. Раз играли мы вместе, и она так побледнела и так у ней глаза засверкали, что я задрожал как лист перед ней, а ведь знал, что только по роли.

Мечиславский перебил его опять вопросом:

– Она добрая была до тебя?

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Известно как: пока не стала ездить в карете; впрочем, не жди хорошего от женщины, если в ней сильны гнев да ненависть: тут...

И Остроухов махнул рукой.

На лице Мечиславского, казалось, блеснуло удовольствие. Он спросил:

– Так она тебя не любила?

– Да еще неизвестно, могла ли она кого любить. Я такой своенравной женщины не видывал; много она испортила у меня крови, побился я с год с ней, а потом и бросил всё.

– Что же, она жаловалась на тебя, как ты ее бросил?

– Экой ты простофиля! – с сердцем сказал Остроухов. – Я бросил всё: это значит, я образумился и не поскакал за нею, когда она отправилась на другой театр. Да я-то сам глуп был; а всё молодость! эх, сгубил я себя ни за грош! – печально воскликнул Остроухов и повернулся навзничь, что было в нем признаком дурного состояния духа.

Мечиславский окликнул его; Остроухов быстро перевернулся, вытянувшись в доску, потом опять лег навзничь с такою же ловкостью и повторил эту штуку до трех раз.

Мечиславский с упреком сказал ему:

– Ну что ты кривляешься, как мальчишка!

– Не кривляюсь, братец, а припоминаю то, что мне доставляло громкие рукоплескания.

– И охота была брать такие роли?

– Чудак ты! Оно известно: теперь я обегу такую роль. А на ярмарках, знаешь, как сбор лучше, так и нам лучше, – тут лишь бы шла публика, готов невесть что сыграть. О костюмах нечего и говорить: нужен французский кафтан, наряжают в испанский плащ. Раз я какого-то английского герцога отхватал в костюме из «Отелло», и ничего: аплодировали, даже никто не рассмеялся. Ну уж декораций и не спрашивай: нужна пещера, ставят избу. Раз я играл очень серьезную роль; после трагического монолога мне надо бежать, я ткнулся в дверь – она не подается, я в другую – она только нарисована. Я стал, не знаю, что делать. Актриса должна по роли говорить: «Боже, он ушел!», а я и не думал уходить, – публика смеется. Я подумал-подумал, да скок в окно. Забили в ладоши, вызвали меня; я повторил выходку – еще стали вызывать; и если бы я хотел тешиться, меня бы раз двадцать вызвали, так что из трагедии кровавой вышла комическая сцена. И содержатель театра придумал, чтоб на другой день в одной маленькой пьесе все действующие лица входили и уходили не через дверь, а через окно... А на вашем театре всё как следует: и провалиться хорошо, и дверей много, зато какие вещи делаются: ведь актеры-то друг друга за полушку продадут. Поди, послушай-ка актеров, как они честят своего брата какому-нибудь богачу, любителю театра; а всё из страха, чтоб он не вздумал угостить тоже и другого. У нас, напротив, одного позвал, валят все остальные с ним: «Угощай, коли любишь искусство!» Бывало, как выезжать из города, и пойдешь отыскивать, кто заложил платье, – уж знали кутил, – выкупишь, заплатишь. А здесь умирай хоть с голоду, поди попроси побогаче актеров да актрис, ну-ка попробуй... Да и сами-то актрисы не так были далеки от товарищей, и угощают так, без видов всяких. Может быть, потому, что меньше баловства им, да и самих-то было две-три, да и обчелся. Понадобится старуха, так актеры занимали роли. Бывало, одна другой всё отдаст, коли нужна на сцену вещь какая... А здесь каждая норовит унижить остальных своим нарядом и уж ни за что румян не даст другой, не то что вещь какую. А как начнется у них вражда, так просто пропадай! Вот, например, Орлеанская пользуется почетом здесь, а она просто злодейка. Если счесть, что она на своем веку наделала, так не поверишь. Я уж не говорю о домашней жизни: закрывай глаза, что там делается! А вот у ней была смазливая сестра, поступила на театр. В нее был влюблен до безумия один учитель; хорошо! дело было слажено, учителю дала слово девушка, что за него выйдет замуж. Но после нескольких дебютов, в которых она была принята чересчур уж хорошо, что и губит молодых актрис, Орлеанская взбаламутила смазливую девушку, стала ее целовать, звать к себе жить и доказывать, что она не должна выходить замуж за



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
какого-нибудь учителя, что с ее лицом она может и богатой быть и за князя выйти, и тот, говорит, в тебя влюблен и этот... Приходи, говорит, ко мне. Девушка, по незнанию жизни, и отказала учителю. Боже ты мой! он свету невзвидел, чуть у нас руки не целовал, чтоб мы поговорили да урезонили ее. Вот я ее и стал усовещевать: она, знаешь, и подалась. Учитель под собой ног не слышит от радости, стал сочинять ей романс, что она чудное создание, да не успел окончить его, как смазливая девушка снова подняла нос, нарядилась в бархатную кацавейку с золотыми кистями, которыми за версту отгоняла от себя порядочных людей, поигрывая ими. Орлеанская как коршун сторожит ее и кричит на всю сцену, что она скоро породнится с богатым барином. Учителя не только не пускали в дом, так даже около ходить. Бывало, уведешь его от сраму, а то Орлеанская вышлет своего повара гнать его. Смазливая девушка в коляске с Орлеанской стала разъезжать, ролей учить не хочет, готовясь уж в княгини. Учитель стал заговариваться, и его, бедного, засадили в комнату: он так и зачах; умирая, просил ее приехать проститься, да Орлеанская не пустила... она бы не прочь.

Остроухов не замечал, что его рассказ об учителе производит сильное впечатление на Мечиславского, который наконец тревожно спросил:

– Что же, она вышла замуж?

Остроухов горько улыбнулся.

– Как же, как же, но только не за князя, а за актера.

– Как?

– Да так; известно, сулил ей только, а приехал дядя его да прямо к ней. Вы, говорит, думаете, он богат, да я, говорит, всё ему даю, а вот узнал, что он стал шалить, так и гроша не дам. А племянничек уверил ее, что у него горы золотые. Девушка в слезы, – говорит, меня обманули. А дядя в ответ: зачем верили! И увез своего племянника. Она осталась без коляски, да еще должна была кое-какие долги заплатить. Орлеанская сухая вышла из воды, заперла несчастной двери своего дома да еще за кулисами да в уборной честила ее. В то время здесь один актер собирал труппу для себя, чтоб ехать на ярмарку, нужна была ему красивенькая актриса, он женился и уехал. Однако расчел плохо: она, тово уж, знаешь, покашливала от всех этих историй, да еще в дороге простудилась, и последовала за учителем.

Остроухов прошелся по комнате, как бы припоминая что-то, и, подойдя к окну, предложил рюмку Мечиславскому, сидевшему повеся голову; тот отказался. Остроухов выпил один. Кряхтя и потирая руки, он начал ходить по комнате скорыми шагами, бормоча под нос.

– Если тебе было так хорошо в кочующей труппе, скажи на милость, зачем же ты ее оставил? – вдруг спросил Мечиславский.

Остроухов, остановясь против Мечиславского, горестно покачал головой и еще печальнее произнес:

– Мне всё опротивело, и я метался как потерянный.

– А меня винишь, что я опустился.

– Я... я дело другое. Ты вот, может быть, мухи не обидел, а я... я низкий человек! – с силою воскликнул Остроухов, и глаза его дико засверкали.

– Что ты, полно! – пугливо произнес Мечиславский.

– Так не сравнивай себя со мной!.. Я... я лучше всех знаю, чего заслуживаю. Разве бы я мог дойти до такого состояния...

И он закрыл лицо руками.

– Ну что ты пустяки говоришь! С тех пор как я тебя знаю, небось, что ты дурного сделал?

– Совесть, совесть; надо спросить ее! Я вот уж несколько лет задобриваю ее; но она, она, верно, слишком была возмущена, что покою нет.

– Да что ты такое сделал? – с любопытством спросил Мечиславский.

– Я... ничего ровно для многих людей, но... слушай... Я никому еще не повторял этой истории. Ты, может быть, не так строго меня осудишь... Я хотел жениться, тому лет двенадцать, – она была актриса, хорошенькая, молоденькая, и была не прочь выйти за меня. Мне кажется, она любила меня... да! надо любить, чтоб отказаться от богатства. Но она, как и я, много уже видела горя в жизни, и потому мы были оба раздражительны и необузданны в своем гневе. Между нами были частые вспышки, и надо тебе заметить, что в такие минуты были мы оба страшны: мы чувствовали страшную ненависть друг к другу; как так и она были готовы на всё, чтоб досадить и уязвить другого. Раз обманутый в любви, я был подозрителен и ревнив. В одну из наших ссор недобрые люди воспользовались, чтоб расстроить нашу свадьбу. Они так возбудили мою ревность, что я забыл себя. К тому ж, когда мне передавали сплетни, я выпил много вина и как помешанный кинулся в театр, где она играла, чтоб удостовериться в своих подозрениях. И спрятавшись за кулису, я следил за ней; мне только казалось, может быть, что ее выразительные глаза устремлены всё на одно кресло, где сидел мой богатый соперник, преследовавший ее своею любовью. Но она всё отвергла из любви ко мне. Я, однако ж, не верил ей в эту минуту, и чем более следил за ней, тем более ревность моя разгоралась. И когда занавес стали опускать, мне показалось, что она сделала ему знак. Занавес не успел стукнуться об пол, как я... неистово кинулся к ней... и...

Голос у Остроухова замер; он глухо продолжал:

– Раздался всеобщий крик. Она, как бы не веря сама себе, дико глядела на всех и вдруг с ужасом кинулась от меня бежать. Я не мог сдвинуться с места, я не смел поднять глаз. Меня вывели из этого положения актеры, присутствовавшие тут – одни с одобрением, другие с негодованием. Я кинулся к ней. Вбегая на лестницу, я споткнулся обо что-то: то она лежала без чувств, в костюме, с открытой головой; как она была на сцене, так в сильный мороз и прибежала, бедняжка, домой... Я плакал, рвал на себе волосы, да этим не помог. Она лежала без чувств и, когда открыла глаза, то, завидя меня, вздрогнула и снова закрыла их. Всю ночь я простоял на коленях у ее постели, спрятав голову от стыда и угрызения совести. К утру щеки ее стали пылать, всё лицо передергивалось, и разразилась она бредом, и таким страшным, таким страшным! Она то плакала истерически, зачем я ее ударил, то пряталась от меня, крича, что я хочу повторить опять то же; одним словом, пытка была для меня так сильна, что она-то меня и довела до несчастной моей слабости. Она была молода, и силы взяли верх над болезнью. Первый раз, придя в память, она ничего не помнила и ласково глядела на меня. Но припомнив, что было до болезни, она прогнала меня с отвращением. С этой минуты я махнул рукой на всё и дошел до того, что меня за два дня до представления заперли в бутафорскую, чтоб я прошел роль. С тех пор голос у меня стал пропадать; я постарел, обрюзг и занял роли комические. Женщин я боялся, да, признаться, и всех людей. Но потом память моя стала свываться с моим проступком, да и слабость от излишнего пристрастия к вину. Я сделался опасно болен. В продолжение всей болезни, без моего ведома, за мной ходила одна из наших актрис. Жалость ко мне... нет, она любила меня... заставила это сделать. Она была не в первой молодости, много испытала неудач в жизни и ко мне, верно, привязалась, как к человеку потерянному. Я был тронут ее заботами обо мне. Но и тут мне была неудача: такой ревнивой женщины я не видывал, – впрочем, может быть, потому, что она любила меня. Но я сам себе казался так ничтожен, что даже не хотел верить, чтоб кто-нибудь мог питать ко мне порядочное чувство. Она ссорилась со мной, когда я пил лишнее. Мне стали скучны ее слезы. Я убежал ее – она пуще меня ревновала. По правде сказать, я особенно ни за кем не ухаживал, а разве под веселый час побалагуришь. Нет, не верит. Ну, чем образумишь, коли что вобьет себе в голову женщина? Поехала наша труппа на ярмарку. Была зима, и суровая. Восемь повозок тащилось по степям, с кулисами и гардеробами. У меня была особая кибитка, и всё она устроила, чтоб я не ехал вместе с быстроглазой актрисой, к которой она меня ревновала, – а быстроглазая, как назло, всё вертится перед нами, как, бывало, остановимся на станции. Проехали мы с полдороги – ну, просто мука: замучила меня ревностью. Я крупно поговорил с ней утром, а к вечеру остановились пить чай на постоялом дворе. Она удивила меня: перестала коситься, стала поить чаем и сама ну подливать мне рому в чашку. Было холодно, и я погрелся. Сели мы в кибитку последние; наши уехали вперед. Она меня крепко поцеловала, как часто дельвала. Я, покалякав с ней, завернулся с головой в шубу да и заснул. Я проснулся: кругом было тихо, снег валил страшный, ящик пел, лошади едва тащили кибитку. Мне как-то просторно показалось около. Я рукой ишу ее, где она... Мороз пробежал по

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
коже. Я крикнул ямщику: «Стой». Кибитка стала «Где хозяйка?» – крикнул я ямщику. «Не могу знать», – удивлением отвечал ямщик и, не доверяя мне, пошарил рукой в снегу, который завалил пустое место. Я с ужасом всплеснул руками и тут догадался, что значило и подливание рому и последние ласки. Я велел догонять наши кибитки, всё еще питая надежду, не пошутила ли она. Но ее там не было. Мы все вернулись на постоялый двор, ища по дороге ее: может быть, думали, не выпала ли как, хотя дорога была гладка как зеркало. Часа два я бегал по большой дороге, крича ее; но ответа не было. Кибитка поехала. Я остался на постоялом дворе и два дня ждал ее: думаю, может вернется. Но потом приехал за мной содержатель театра. Мы с ним с горя выпили чайку с ромом. Я очнулся, когда уж мы прибыли на место.

Остроухов горько усмехнулся и сказал:

– Ну, что скажешь ты теперь обо мне?

И, не получив ответа от своего друга, он лег ничком на кровать. Тишина настала в комнате.

Вдруг послышались всхлипывания.

Мечиславский вздрогнул и подошел к своему другу, стал его уговаривать; но тот продолжал плакать, повторяя:

– Федя, тяжело! я погибший человек.

Голос его совершенно ослаб, всхлипывания стали тише и тише, наконец затихли. Мечиславский с грустью глядел на своего друга, и слезы блистали в его глазах.

## Глава XIX

### Перед спектаклем

На другой день Остроухов проснулся довольно рано. Он смутно помнил прошедший день. Он чувствовал тяжесть во всем теле, голова была особенно тяжела; но это не помешало ему погрузиться в раздумье об Мечиславском, который после бессонной ночи только что заснул. Его сон был тревожен, судя по краске на его бледных щеках, нахмуренным бровям, сжатым судорожно губам и по отрывистому дыханию.

Остроухов, сидя на своей кровати и оглядывая свою комнату, в первый раз был поражен ее неопрятностью и даже нищетой. В эту минуту он походил на человека, который вдруг открывает в женщине, виденной им ежедневно в продолжение нескольких лет, особенную черту, прежде не замеченную. Так точно и Остроухов сидел долго в каком-то удивлении. В то утро солнце бросало яркий свет сквозь тусклые и запыленные стекла и, играя пыльным лучом, падало прямо на лицо спящего Мечиславского. Остроухов соскочил с кровати и, взяв шерстяное одеяло с постели, долго возился, чтоб занавесить им окно. Но так как оно было дыряво, то лучи пробивались и, словно назло Остроухову, пятнами освещали его друга. Усевшись на кровать, Остроухов рассуждал сам с собой, глядя на спящего: «И сон-то твой лишен приятности: солнце режет тебе глаза, если вздумает осветить нашу каморку. Разве так надо ему жить? Надо, чтоб его окружала роскошь, чтоб он мог весь погружаться в искусство. Я дело другое – на сцене я разыгрываю людей ничтожных, шутов или погибших; публика аплодирует мне за верное изображение их, не зная того, что, сойдя со сцены, я сниму только лохмотья или шапку паяса, смою белилы, а возвращусь домой всё таким же погибшим человеком. Он же занимает роли людей чистых, с гордой душой, не знающих других страданий, кроме страданий своего сердца. Он должен весь быть совершенство и нежность, пред ним все преклоняются, он герой на сцене. И, сойдя с нее, он возвращается в ту же комнату, как и я! Глуп был я, когда, зная всё, обвинял его в бесталанности. К тому ж его любовь... да, он любит, и так любить только могут люди, для которых любовь делается жизнью; отними ее – и жизнь погибла. Боже, за что он погибнет! что я могу сделать для тебя?» – И старый актер со слезами глядел на спящего, лицо которого выражало страдание. Слабый крик вырвался из груди Мечиславского, и он застонал.

– Федя, Федя! пора на пробу, – сказал нетвердым голосом Остроухов, наклоняясь к лицу спящего, на лбу которого выступил пот крупными каплями.

Мечиславский открыл глаза и, с удивлением посмотрев на Остроухова, пугливо спросил:

– что тебе надо? что случилось?

– Да ничего: ты что-то во сне стонал.

– А, спасибо!.. Мне снилось страшное.

Мечиславский вытер пот со лба.

– Ну, вставай; напьемся чайку, да и на пробу.

– Да что-то рано! – отвечал Мечиславский, потягиваясь, и, увидав занавешенное окно, в недоумении спросил: – Это что?

Остроухов сконфузился и после минуты молчанья отвечал:

– Да солнце бутылку очень нагревает, а..

– Ты как нежная мать о ней хлопчешь! – сказал Мечиславский.

Остроухов обиделся и с упреком посмотрел на своего друга.

За чаем Остроухов рассказал ссору Любской с Дашкевичем и причину ее.

Надо было видеть волнение, с каким слушал его Мечиславский; он, не подымая глаз, едва только мог сказать:

– Я думаю, она очень огорчена.

– О нет! ведь она только назло Ноготковой показывала вид, будто интересуется им!

– Неужели! – радостно вскрикнул Мечиславский и, потупив глаза, стал пить свой чай, обжигая им рот.

Остроухов иронически глядел на своего друга. Покончив чай, они отправились на пробу.

Мечиславский сделался необыкновенно весел, репетировал свою роль с одушевлением, примерил платье к вечеру, чего с ним прежде никогда не случалось, и, возвратясь домой, стал фехтовать на рапире.

Остроухов зубрил свою роль и сердился на своего друга, что он мешает ему учить ее.

Победавав, он лег отдыхать перед спектаклем, а Мечиславский, расхаживая по комнате, проходил вполголоса свою роль наизусть, потом стал собирать узлы. Он выдвинул из-под кровати плетенную из белых прутьев корзину, положил туда белье, свой маленький туалет, роль Остроухова, парик со стола и лег на диван.

Проснувшись, Остроухов потянулся и, зевая переливами, сказал:

– Федя, смерть испить хочется: нет ли у нас кваску?

– Есть бутылка, да я думал взять ее в театр.

Остроухов выпил чуть не всю бутылку, от удовольствия крикнул и стал одеваться. Одевшись, он велел захватить Мечиславскому его вещи и вышел из комнаты.

Перейдем теперь к Любской. Как актеры молодые и старые, так и актрисы перед спектаклем отдыхают, иные и спят, для приобретения сил к вечеру. Любская лежала на диване; горничная собирала узел. Это не то что актер, платье которого большею частью остается в уборной. Нет, актрисе иногда надо до десяти платьев везти с собою; а сколько белья, шпилек, булавок, белил, румян! да и не перечтешь всего! Горничная, собрав узел, оставила одну Любскую, которая, кажется, только того и ждала, потому что тотчас же, уткнувшись в подушку, стала плакать. Она не заметила прихода Остроухова, который почти всегда приходил к ней не с главного хода. Он постоял с минуту, кашлянул тихо. Любская вздрогнула и подняла голову.

– Что это, матушка моя, еще не наплакалась?.. Ну, полно глазки-то тереть, есть о чем, небось золотце потеряла!

– Да я совсем не о том плачу: я не дура, – обидчиво отвечала Любская.

– О чем же?

– О том... о том, что я была слепа, что я поверила ничтожному человеку.

И она опять заплакала.

– Эх, зато зорче будешь! а оно тебе не мешает.

– Что еще вы знаете! – в отчаянии воскликнула Любская.

– Полно! я пришел к тебе по одному важному дельцу.

– Что вам угодно?

– А вот что...

Остроухов замялся.

Любская нетерпеливо глядела на него.

– Видишь ли, вот вы... вы ничего не видите... Ты ведь женщина порядочная; иначе я не стал бы и говорить с тобой.

– Да что же? скажи скорее.

– То... что вот вы все без исключения плачете о пустяках и не видите истинно плачевного. Небось вы сейчас подметите, кто об вас страдает в партере, и не замечаете, что творится возле вас на сцене.

Любская с удивлением произнесла:

– Я ничего не замечала, право.

– Тем хуже: человек гибнет, а ты даже не удостоила обратить...

– Кто? что такое? что вы говорите? – поспешно перебила Любская.

Остроухов отвечал:

– Тебе не нравится: оно, конечно, актер... фи! – презрительным голосом сказал Остроухов.

Любская пугливо посмотрела на Остроухова; лицо ее как бы вдруг озарилось какою-то мыслию, от которой оно вспыхнуло, но тотчас же покрылось бледностью. Тихо и невнятно она произнесла:

– Неужели Мечиславский?

Остроухов произнес выразительно:

– Ага!

Любская как бы в негодовании заходила по комнате, судорожно ломая руки.

Остроухов нахмурил брови и гордо сказал:

– Я вижу, вы оскорбились: оно, разумеется, он...

Любская зарыдала.

Остроухов замолчал и, махнув рукой, сказал:

– И дернуло меня впутаться в такое дело! Ну, перестань, я так... ну, полно!

Любская рыдала как безумная.

– Карета приехала! – сказала вошедшая горничная.

Остроухов схватился за голову и с негодованием воскликнул:

– Ах я старая башка! что я наделал! и забыл, что ведь она должна сегодня такую большую роль играть! – и, обратись к Любской, которая платком душила свои рыдания, прибавил: – Я дурак, я вовсе не думал, что говорил. Прости, ну, прости!

И он с искренностью протянул руку. Любская подала ему свою.

– Ну, вот люблю, не злушая, – тихо произнес он и, сказав: «Прощай», ушел в большом волнении.

В шестом часу сцена еще была темна и пуста; изредка проходила актриса с громадными узлами в уборную, и за ней кучер проносил огромную корзину с платьями. Зато уборные были ярко освещены. Говор, смех, толкотня представляли странную противоположность с пустынной сценой. Большею частью в провинциальных театрах уборные бывают общие, для двух–трех одна. И только привилегированные актрисы получают особую уборную. Иногда ее украшают роскошно, и тогда с завистью подходят и заглядывают в нее прочие актрисы, а хористки даже понижают голос, проходя мимо такой уборной.

Но мы обратимся к общей уборной. Это была большая комната без окон, а с узкими отверстиями, чуть не у потолка, в виде окон. Посредине трюмо, освещенное двумя лампами, прибитыми высоко к стене. Сбоку зеркало и ломберный стол, тоже с двумя лампами по бокам. На противоположной стороне диван и стол; двери огорожены ширмами, которые служат и вешалкой для платьев.

Некоторые актеры и актрисы бродили уже около уборных, подсматривая, где пьют чай.

...Орлеанская явилась первая в уборную с родственницей своего мужа, которую она называла Саша.

Лицо Саши ясно доказывало трудность исполнять подобную роль у взыскательной актрисы, какою слыла Орлеанская. Тучное ее тело было облечено в широкий и чрезвычайно нескладный капот. Волосы были в папильотках, что делало ее сердитое и еще не совсем разгулявшееся после сна лицо не очень привлекательным.

Поджав ноги, она сидела на диване за чаем и допивала шестую чашку, с шумом прихлебывая.

Напротив нее сидела Деризубова и вторила ей, держа блюдечко пятью пальцами. Саша разбирала узел, выставляя на стол белилы, румяны и разные принадлежности туалета. Вдруг она вскрикнула и с ужасом глядела на пустую коробочку, где лежали только две булавки.

– Что, забыла? – крикнула Орлеанская.

Саша замялась.

– Ну, так! вот корми, одевай, трудись для них, а они сидят себе сложа руки и ничего не помнят.

Орлеанская на этот раз была несправедлива перед своей родственницей. На руках ее лежал весь дом и дюжина детей, которых Орлеанская и не видала никогда, потому что, любя тишину, не допускала детей за три комнаты до своей.

– Я сейчас займу у кого-нибудь, – робко проговорила Саша.

– Не нужно–с, вы бы еще пошли хныкать да канючить по чужим уборным, когда у меня всё есть.

– Ты слышала об Любской? – сказала Деризубова.

– Да, да, ха-ха!

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Орлеанская громко засмеялась; в то время из рук Саши выпала баночка, за что Орлеанская страшно раскричалась и опять заключила фразой:

– Вот корми ее, обувай.

На глазах Саши блеснули слезы, которые она пугливо скрыла, уткнувшись в картонку лицом, будто бы ища чего-то.

Прибытие Любской отвлекло от Саши внимание Орлеанской. Любская поклонилась со всеми, и с Сашей даже, но только одна Саша отвечала ей на поклон как следует. Орлеанская презрительно кивнула головой; Деризубова произнесла выразительно:

– Здравствуйте.

И она стала перешептываться с Орлеанской, которая с наглостью залилась смехом на всю уборную.

Горничная Любской, разбирая ее узлы и картоны, гордо смотрела на Сашу, разглаживавшую косу, привязанную к спинке стула, стоявшего у трюмо.

Перешептывание Орлеанской и Деризубовой было прервано стуком в дверь уборной.

– Кого несет? – закричала грубо Орлеанская.

– Я, маменька, это я, голубушка, моя герцогиня! – выглядывая из-за ширм, сказал актер с бесчисленными бородавками на лице.

– А, Ляпушкин! – произнесла покровительственным тоном Орлеанская, у которой актер с раболепством поцеловал руку, за что получил щелчок той же самой рукой.

– Ах ты повеса! – крикнула Деризубова и, вскочив с своего места, прижала Ляпушкина в угол стены и тут начала его бить, приговаривая: – Вот тебе, вот тебе, не повесничай!

– Матушка, родная, не буду, дай перевести дух! – пищал жалобно Ляпушкин, страшно гримасничая.

Орлеанская хохотала во всё горло. Саша и горничная улыбались; одна Любская морщилась: видно было, что на нее нехорошо действовала эта сцена.

– Ай да Матрена! поделом ему! – вытирая слезы, сказала Орлеанская.

– Уф, устала! – сказала Деризубова, махая руками, как извозчики в мороз на улице, и прибавила: – Налей-ка мне чашечку.

– И мне тоже, маменька! – заметил Ляпушкин.

– Который раз пьешь сегодня? – спросила Орлеанская.

– Ей-ей, еще первый, маменька. Ну, кто у нас добрее вас? Вы не то что другие; вы сами всех угощаете.

Ляпушкин подмигнул на Любскую, сидящую у зеркала с полотенцем в руке. К счастью, что половина лица ее была уже забелена, и потому не так заметно было вспыхнувшее на нем негодование.

– Пей, на... – сказала Орлеанская, сунув небрежно стакан чаю в руки Ляпушкина, который нежным голосом сказал:

– Я возьму сухарик?

И взял пять целых.

Орлеанская села у трюмо и тоже стала белиться и румяниться. Саша стояла перед ней, подавая ей то одну баночку, то другую.

Деризубова с Ляпушкиным, опустошив весь чайник, сахар и сухари, скрылись незаметно из уборной.

Орлеанская, по мере окончания туалета, ворчала всё сильнее и сильнее на Сашу, – зачем крепко косу ей привязала, не так пукли взбила, – и заставляла ее перечесывать голову, аккомпанируя любимой фразой:

– Ну за что вас кормить, одевать!

Любская представляла совершенный контраст: она одевалась, не произнося слова, как будто ей было тяжело говорить, и только жестами или глазами указывала на вещь, какая ей была нужна. Зато ее горничная была полна негодования, и по морганию ее пепельных ресниц и фырканию можно было заключить, что она горела желанием сгрубить Орлеанской. Но представился случай, и горничная обнаружила совершенно противное. Орлеанская так рассердилась на Сашу, что оттолкнула ее от себя и, обращаясь к горничной Любской, ласково сказала:

– Милая, припилиь мне мантию. Она ничего не умеет сделать.

– Извольте-с! – с услужливостью отвечала горничная и стала ей прикалывать мантию; Саша тем временем плакала.

Орлеанская грозно говорила:

– Плачь, плачь! – и истинно герцогской поступью вышла из уборной, прибавив: – Извольте взять питье и зеркало.

Колокольчик пронзительно прозвонил у дверей уборной, и Орлеанская поспешила выйти. Любская с участием заметила плачущей, что не следует ей огорчаться, потому что Орлеанская постоянно воевала в уборной. Саша, казалось, утешилась этим доводом и, взяв графин с питьем, булавок, зеркало, румян, последовала за Орлеанской.

Горничная разразилась негодованием на Орлеанскую, доказывая, что она за пятьдесят рублей не стала бы одевать такую капризную. Прозвонили второй раз в колокольчик. Любская сказала своей горничной:

– Скорее, скорее!

В уборной Ноготковой Ляпушкин и Деризубова упивались чаем и пожирали сухари. Ноготкова, мурлыча под нос свою роль, проводила тушью брови и сказала:

– Ну, скорее, мне пора одеваться!

Ляпушкин, чуть не захлебываясь, допил стакан чаю и, вытирая губы руками, подошел к Ноготковой и сказал:

– Красавица моя, маменька золотая!

– Ты его хорошенько! – заметила Деризубова.

Ляпушкин, гримасничая, на цыпочках вышел из уборной. Прозвенел пронзительно колокольчик у двери уборной, и голос режиссера раздался: «На сцену, на сцену!»

– Я не одета еще! – закричала Ноготкова.

Деризубова крикнула тоже:

– Слышишь, она не одета.

– А, мое почтение-с, Дарья Петровна, – входя в уборную, сказал режиссер и прибавил: – Да вы успеете: вам во втором акте выходить.

– Ах да! – произнесла Ноготкова и опять занялась своими бровями.

Мечиславскому прикалывал портной банты на башмаки, а Остроухов румянил его.

– Довольно! – заметил Мечиславский.

– Как довольно? в последнем акте больше эффекту произведешь, как сотрешь румяны.



Прозвонил тот же колокольчик, и тот же голос прокричал: «На сцену, господа, на сцену!»

В уборной всё засуетилось: кто бросил последний взгляд в зеркало, кто торопился надеть шляпу, кто натягивал перчатки.

## Глава XX

Торжество Любской и Мечиславского

За четверть часа до поднятия занавеса сцена была освещена и наполнена народом, все участвующие в пьесе и не участвующие ходили по сцене, кричали, смеялись и очень часто ссорились. В этот вечер давали трагедию с бесчисленным множеством действующих лиц и актов. Режиссер страшно суетился по сцене, расставляя воинов и придворных дам. Орлеанская величественно и тяжеломерно расхаживала по сцене с ролью, а за ней следовала Саша, придерживая ее шлейф. По временам Орлеанская понюхивала табак, брала зеркало из рук своего пажа, долго глядела на свой нос и подбеливала его. Молоденькие актрисы, танцовщицы, как мухи на сахар, слетались со всех сторон к кружку занавеси, чтоб посмотреть в партер, и друг перед другом хвастали.

– Место! место!! – повелительно прокричал режиссер и, заглянув за занавес, три раза ударил ногой об пол.

Музыка заиграла, и со сцены разбежались все, исключая тех актрис и актеров, кому следовало остаться.

Орлеанская усаживалась на стул. Саша расправляла ей шлейф.

– Пора... место, господа! – кричал режиссер Орлеанскому, который с жаром рассказывал другому актеру, как он сшиб в среднюю лузу желтого.

Режиссер, кинувшись за кулисы, отчаянным голосом закричал: «Место!», и с последним аккордом музыки занавес медленно взвился.

В пьесе всех холодно принимали, исключая Мечиславского и Любской. Первый играл с таким одушевлением, что все за кулисами выразительно переглядывались. В этот вечер его фигура как-то была хороша. Он не горбился, не приседал, держался прямо и гордо глядел на всех. Грустное состояние духа шло очень к роли Любской, и рукоплескания не умолкали, когда они были на сцене. Орлеанская бесилась и, стоя на сцене, чуть не вслух бранила публику. Ноготкова тоже страшно злилась.

В последнем акте обыкновенно два любящие сердца, скрывавшие свою любовь, наконец открывают ее друг другу. Мечиславский так разыграл эту сцену, что рукоплескания несколько секунд потрясли театр и «браво» раздавалось на разные голоса. Любская, в объятиях своего возлюбленного, рыдала непритворно, тронутая игрой Мечиславского, который в восторге осыпал поцелуями ее голову. Любская первая опомнилась и шепнула Мечиславскому:

– Вам начинать; пора, пора!

Мечиславский едва мог опомниться; он не находил нити своей роли, не слышал суфлера, который чуть не вылез из своей будки, подсказывая ему. Поза, лицо так шли к роли любовника, обезумевшего от счастья, что публика приняла молчание Мечиславского за рассчитанное и осыпала его аплодисментами.

...С начала сцены Остроухов, стоя у парусинной двери, смотрел в щель и, как будто его слышал Мечиславский, бормотал одобрительно: «Хорошо, живее, ниже возьми, не хватит голосу окончить монолог. Bravo!» Наконец он смолк и, прильнув головой к парусине, отрывисто дышал; губы его судорожно дрожали, и по морщинистым щекам текли ручьями слезы...

Не дали опустить занавеса, как публика стала вызывать Мечиславского и Любскую; режиссер, как бы не слышав, выпустил одного Мечиславского. Публика требовала Любскую. Режиссер опять хотел выпустить одного Мечиславского, который, к удивлению всех, назвал режиссера интриганом и не хотел идти без Любской. Нечего было делать: уже начавшая раздеваться Любская вышла с Мечиславским. Вызов повторился. Любская, раскланиваясь с публикой, сказала тихо Мечиславскому:

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Приходите пить чай.

И они разбежались по своим уборным. Любская разделась очень скоро, под страшные крики Орлеанской и слезы Саши. Ноготкова не раздевалась, а рвала от злости платье и, топая ногами, кричала на режиссера, зачем он ей не дал роль Любской.

– Да вы ведь сами не хотели ее взять, помилуйте!

– Так не смей повторять эту пьесу: я больна, слышите, я больна! Слава богу, что Карп Семеныч болен (так звали содержателя театра), а то вам бы досталось.

Режиссер махнул рукой и вышел от Ноготковой, ворча себе под нос.

– Велика штука Карп Семеныч! мне стоит открыть все его штуки Калинскому, так ему достанется.

Мечиславский чувствовал себя как-то странно; он как бы всё смутно понимал, шум и крики публики гудели еще в его ушах; ему хотелось смеяться; в то же время он чувствовал, что слезы дрожат на его ресницах. Пот катил градом с его лица; ему было душно, а от внутренней лихорадки руки и ноги его дрожали.

В уборной набралось множество народу, в том числе и Калинский, который благодарил Мечиславского от лица всех любителей театра. Мечиславскому пожимали руки, осыпали его похвалами. Многие делали ему предложение идти в кофейную театра, чтоб там покончить торжество, но Мечиславский от всего отказался.

– Оно и лучше; ты, брат, устал, дома выпьем чайку да покалякаем, – заметил Остроухов.

– Я... мне нужно зайти, ты захвати мой узел, – не очень свободно отвечал Мечиславский.

– А ты куда? – с удивлением спросил Остроухов, на что не получил ответа от своего друга; но он недолго мучился разгадкой, следя за Мечиславским, который тщательно смыл белилы и румяны с своего лица, долго повязывал галстух перед зеркалом, пробирал пробор с десять минут, и все-таки пробрал криво, потому что гребенка как-то подпрыгивала на его голове. И когда он поспешно выбежал из уборной от докучливых поклонников чужой славы, Остроухов улыбнулся и, надевая тубу, сказал:

– Значит, у ней есть сердце.

Когда Остроухов вернулся домой, ему как-то не захотелось пить одному чай; клокотавший самовар сердил его, – он закрыл его крышкой. Курить ему также не нравилось. Тускло горевшая свеча бесила его, и он раздвигал светильню, чтоб она ярче горела.

Он улегся было на свою кровать, но тотчас же вскочил и стал прохаживаться по комнате. Его страшно тревожила мысль: отчего он, не менее владевший талантом, не имел в своей жизни такого торжества? И он, как бы желая испытать свои силы, драпируясь в свой изодранный халат, с жаром и жестикуляцией прошел некоторые сцены из роли Мечиславского. В одном монологе он вдруг остановился и, с грустью покачав головой, тихо побрел до своей кровати и лег, уткнув голову в подушку. Мрачные мысли толпились в его уме. Счастливый его друг не выходил у него из головы; ему казалось, что он видит его сияющего от блаженства. Он вспомнил свою молодость, и ему казалось, что он не потерял еще способности страстно любить. И, постепенно впадая в дремоту, он погрузился в сладкие грезы: ему живо чудилось, что он молод, лежит в душистой траве, в саду; воздух чист и ароматен; ветерок нежно ласкает его лицо, на котором и следов нет морщин. Кругом гигантские деревья, с необыкновенно широкими листьями, с пестрой зеленью, тихо склоняясь по прихоти ветра, нежно что-то шептали. Повсюду, куда он ни посмотрит, везде являлись огромные влажные цветы и как бы томились своим благоуханием и красотой. Какие-то странные птицы, с золотыми перышками и все искрясь, порхают над его головой, нежно и сладко напевая. По траве прыгают и порхают какие-то блестящие мухи с огненными крылышками. Львы и другие красивые звери дружно играют между собой. Всё так радостно вокруг его. Вдруг всё засуетилось: птицы радостнее запели, звери заржали, и в каком-то голубоватом облаке явилась перед ним женщина. Он вглядывается и от радости задыхается: это его бывшая невеста – так

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a же молода, так же хороша. К ней ласкаются страшные звери, у которых сделались вдруг человеческие лица.

Он кидается к женщине; но она ловко взлетает на дерево и манит его к себе, качаясь на ветке, окруженная птицами, которые, щебеча, порхают вокруг нее. Он хочет влезть на дерево; но по мере того как он поднимается, дерево растет всё выше и выше, сад исчезает под его ногами, облака копошатся внизу; он едва различает воздушный образ своей невесты, как вдруг его кто-то берет за руку, и он быстро полетел в густые облака, которые становятся всё прозрачнее; наконец он ясно видит огромную залу и посреди возвышение; множество людей, богато одетых, при появлении его раболепно преклоняют колени; он смело идет к возвышению, на котором сидит опять его невеста, держа лавровый венок, он становится на колени и преклоняет голову. Надев его, он с ужасом глядит кругом: богатая зала исчезла и превратилась в сцену, вместо невесты его перед ним Орлеанская в костюме герцогини, – она злобно улыбается. Вокруг разряженные дамы, в которых он узнает актрис, в народе – фигурантов; все смеются и шепчутся. Он хочет бежать из залы – ему заслоняют дорогу; однако он после борьбы проталкивается, бежит по какой-то длинной сцене; за ним гонятся все с криками и смехом. Хохот Орлеанской покрывает всё... Вот он достигает дверей; но у них открывается люк, и он, желая перескочить, падает в него...

Глава XXI

Вечер у Любской

Любская возвратилась домой усталая и в тревожном состоянии духа. Она отдала горничной приказание подать чаю, когда придет Мечиславский. Это привело в негодование Елену Петровну; она зафыркала и кричала в кухне, что дня не останется жить, потому что Любская стала принимать Мечиславского. И когда тихо позвонили у двери, горничная не двинулась с места, бормоча презрительно:

– Померзни, померзни.

Заслышав звонок, Любская пришла в сильное волнение, лицо ее побледнело; глаза устремились к двери; но дверь, как бы томя ее, не раскрывалась, потому что горничная хотела поморозить Мечиславского, а он не решался звонить еще раз и терпеливо ждал. Кухарка, сжалась, впустила его; тогда горничная, выхватив у ней из рук свечку, крикнула:

– Не в свое дело не суйся!

– Дома?.. – робко спросил Мечиславский, снимая свою шинель.

– Идите.

И горничная грубо раскрыла дверь в темную комнату и, не посветив гостю, заперла ее за ним, а сама с сердцем толкнула ногою его шинель, оставленную на стуле.

Любская вышла к нему со свечой в руке, которая дрожала, обличая волнение Любской.

Они молча раскланялись. Любская пригласила гостя идти за ней. Они вошли в небольшую комнату, убранную очень просто; указав на стул гостю, Любская села на диван. Как хозяйка дома, так и гость равно находились в затруднительном положении, судя по их взглядам и краске, которая на мгновение покрыла их щеки, чтоб потом сильнее выказать их бледность. Любская первая прервала молчание, однако не словом, а звоном колокольчика, стоявшего на столе; на зов явилась горничная.

– Подай чаю!

Горничная, кинув презрительный взгляд на гостя, важно вышла.

Любская наконец сказала:

– Вы открыли нашу тайну.

– Как? кому? – пугливо воскликнул Мечиславский, взглянув ей в лицо в первый раз с той поры, как пришел.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Он знает всё, – с упреком отвечала Любская.

– Клянусь вам, я никому не заикался! – смело возразил Мечиславский.

Шумно появилась горничная с подносом и, небрежно поставив его на стол, гордо удалилась. Чай был без сахара, совсем холодный; горничная рассчитала рассердить Любскую и уже причитывала в своей голове грубые ответы; но напрасно: ни Любская, ни гость не дотронулись до чаю. Они снова молчали и видимо тяготились этим оба.

– Вы слышали, как кричала Орлеанская, что публика глупа, потому только, что не аплодировала ей? – спросила Любская.

– Да она, кажется, на всех сердится, – отвечал гость.

– Но вы сегодня играли удивительно: я бы вас не узнала по голосу, так он был силен и в то же время мягок. Вам надо обратить внимание на себя: вы будете хорошим актером. Будьте развязны, как сегодня. Я в первый раз еще видела актера, который, казалось, не говорил заученные слова, но как будто сам их изобретал, смотря по своему положению... Знаете ли... что ваша игра сделала на меня такое впечатление, что я решила ехать отсюда?

Последние слова Любская произнесла тихо.

Мечиславский вздрогнул и с ужасом глядел на Любскую, которая, потупив глаза, продолжала:

– Я хочу учиться, я хочу сама быть чем-нибудь. На провинциальном театре я далеко не пойду. К тому ж разного рода притеснения выводят меня из всякого терпения... Впрочем, я хотела бы знать ваше мнение: как вы думаете?

Любская нетерпеливо глядела на Мечиславского, но он, уткнув глаза в фуражку, ничего не отвечал; она продолжала:

– Сплетни мне надоели.

– Они везде одинаковы! – глухим голосом произнес Мечиславский.

– О нет! здесь они страшны! Мне противно входить в театр... Нет, я не могу, я не останусь здесь! – с горячностью и сквозь слезы говорила Любская.

Слова ее были прерваны страшным звоном в колокольчик.

– Кто бы это? – пугливо проговорила Любская и, заслышав шум в передней, кинулась к двери, ведущей в темную залу. Зала тускло осветилась при появлении горничной со свечой в руках; за ней шли двое мужчин. Любская слабо вскрикнула, захлопнула дверь и страшно побледнела.

– Кто там? – вскочив с места, спросил Мечиславский.

– Калининский и...

– Я уйду, примите их.

– Нет! пусть они вернутся домой, я их не приглашала. Я даже им запретила посещать мой дом.

Лицо Любской дышало гневом, и когда горничная вошла в комнату, нарочно распахнув дверь за собой, и громко произнесла: «Гости-с!», Любская с минуту не знала, что делать и что отвечать. Мечиславский привстал; но она, удержав его за руку, гордо сказала горничной:

– Проси! – и, обратись к Мечиславскому, прибавила задыхающимся голосом: – Вы увидите, как я их приму.

Калинский вошел первый, раскланявшись с Любской, взял за руку Дашкевича, стоявшего позади его, и сказал с любезнейшею улыбкой:

– Я взял всю ответственность на себя. Мы не могли удержать нашего восторга к

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a  
вашей игре и поспешили изъявить вам свою глубочайшую благодарность.

Любская выслушивала их стоя; глаза ее искрились, и насмешливо-презрительная улыбка дрожала на ее губах.

Калинский тотчас же обратился к Мечиславскому, пожал ему с чувством руку и продолжал:

– Вы гордость нашей сцены, мы оценим вполне ваш талант.

– Вы прекрасно играли сегодня! – крутя усы, прибавил Дашкевич, обращаясь к Любской, которая, измерив его глазами, отвернула голову, так что Дашкевич закашлялся.

Несмотря на то что Любская не приглашала их сесть и сама стояла, Калинский продолжал говорить, поминутно рассыпаясь в похвалах то Любской, то Мечиславскому, а Дашкевич расхаживал по комнате.

В эту минуту горничная внесла поднос с чаем и лукаво глядела на Любскую, которая от негодования медленно опустилась на свое место; гости с развязностью последовали ее примеру, с чашками чаю в руках.

– Не угодно ли сухариков? а сливочек? – лепетала горничная, закатывая свои пепельные глаза и как бы стараясь любезностью загладить холодность своей госпожи.

– Вы знаете, что я исполнил ваше приказание, – вполголоса сказал Калинский, придвигаясь к Любской.

– Благодарю вас! Вы сделали доброе дело, определив эту девочку, – громко отвечала Любская.

– Я рад, что угодил вам, зато подвергся гневу одной дамы, – лукаво улыбаясь, уже громче произнес Калинский.

– Да, она очень сердится на вас! Впрочем, ей поделом.

Дашкевич не докончил и запил свою фразу чаем, от которого поперхнулся, причем облился, вскочил и стал отираться платком. И всё это произошло от одного взгляда Любской, брошенного на него.

Мечиславский задыхался; его глаза горели гневом и медленно переходили от Калинского к Дашкевичу.

Любская, заметив это, подвинулась к нему ближе и сказала ласковым голосом:

– Я вам и не досказала всего анекдота.

– Мы, кажется, вам помешали своим приходом, – заметил Калинский.

Любская ничего не отвечала и начала говорить, как бы оканчивая начатый прежде рассказ.

Калинский встал и, кланяясь, с особенным ударением произнес:

– Мы боимся узнать, может быть, лишнее.

– О нет! у актрис не может быть тайн. Мне кажется, все знают, что они даже думают.

– Впрочем, в сию минуту я точно знаю, что вы думаете, – смеясь, сказал Калинский.

– Что ж! ничего нет проще, как угадать мои мысли, потому что я даже не стараюсь их скрывать.

Дашкевич, поклонясь, вышел в залу. Калинский, пожав руку Любской, прошептал нежно: «Жестокая!» – и, отвесив поклон, вышел из комнаты.

Любская схватила себя за голову и, сжимая ее, простонала:

– Боже мой, боже мой!

Мечиславский кинулся запереть дверь, чтоб уходящие не слышали рыданий Любской, которыми разразилась она.

– Я не смел; но один ваш одобрительный взгляд, и я бы вытолкал их из вашего дома!

– Нет! я ни за что не останусь здесь! – говорила Любская, сдерживая свои рыдания.

– Вам надо ехать, и как можно скорее! – заходив по комнате, отчаянным голосом сказал Мечиславский.

Любская вытерла слезы и, с участием посмотрев на Мечиславского, умоляющим голосом сказала:

– Помогите мне всё устроить. Я продам всё, заплачу долги и навсегда оставлю этот город. Я посвящу себя одной сцене. Я буду покойна, никого не стану принимать.

– С богом! – решительно произнес Мечиславский и быстро вышел из комнаты.

Он шел долго и всё прямо, не обращая внимания ни на что. Он вышел за город и остановился тогда только, как ноги его стали вязнуть в грязи; ветер крутил воротник его шинели; мелкий снег порошил в воздухе. Мечиславский долго стоял на одном месте, как бы соображая, где он. То было поле за городом. Он так устал, что, возвращаясь, должен был присесть у заставы на камень и просидел на нем до рассвета. Медленными шагами побрел он домой.

В то время Остроухое уже проснулся, но еще не мог успокоиться, взволнованный своими грезами. При шорохе дверей он поспешно закутал голову в дырявое одеяло, из-под которого мог делать свои наблюдения. Он ждал встретить Мечиславского с сияющим лицом и чуть не вскрикнул, увидав своего друга с бледным, даже посинелым лицом; волоса его на висках смокли, сапоги и шинель были в грязи. Остроухов онемел и не знал, что ему делать. Мечиславский, только что сбросив с себя шинель, кинулся на диван не раздеваясь. Остроухов откинул одеяло и сел на кровать. Он долго глядел на своего друга, который в свою очередь притаился спать, чтоб не отвечать на вопросы. Остроухов опять лег; и так два друга пролежали молча до самого утра, и когда свет осветил их утомленные лица, они пугливо переглянулись и, как бы сговорясь, повернулись друг к другу спиной.

## Глава XXII

### Театральный балок и его последствия

Горничная Любской сдержала слово не служить более у такой актрисы, которая принимает Мечиславского. В двенадцать часов на дворе стояли ломовые роспуски, на которые Сидоровна с извозчиком усердно таскала тяжелые сундуки, комоды и перины. Фигура горничной была замечательна в этот день, потому что даже ее пепельное лицо слегка подернулось краской; она отрывисто дышала и поминутно передергивала плечами, командуя Сидоровной и извозчиком и перебраниваясь с кухаркой, еще накануне задушевной своей приятельницей.

Для людей этого класса ничего нет оскорбительнее, как их выезд из дому без брани и шуму. Горничной не удалось покричать с своей барыней, потому что Любская предупредила ее и утром сама вынесла ей паспорт и деньги, сказав при свидетелях, чтоб она сейчас же оставила ее дом.

С секунду горничная стояла, как пораженная громом, закатив под лоб свои пепельные глаза, и, с плачем кинувшись за удалявшейся Любской, закричала:

– Что, я воровка, что ли... что вы меня гоните??

– Ты мне более не нужна! – покойно отвечала Любская.

– Я сама хотела вас оставить, – фыркая и вытирая слезы, сказала горничная и с наивностью прибавила: – Извольте осмотреть мои комоды: чего доброго, что

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
пропадет – скажете: я взяла; так чтоб знали уж, кто из гостей...

Любская приказала кухарке осмотреть сундуки и захлопнула за собой дверь, не желая дослушивать речь горничной. Горничная подняла спор с кухаркой; шум был страшный, так что прачка и Куприяныч выскочили из своего подвала и очень удивились ломовому извозчику, приведенному Сидоровной.

Когда всё было уложено на роспуски, горничная, с зеркалом под мышкой, явилась на дворе и крикнула извозчику, чтоб он ехал, бросая прощальные выходки кухарке, которая, высунувшись из форточки, тем жеотвечала ей.

– Прощайте, Олена Петровна; небось немало вывозите доброго-то! даром что жаловались на госпожу-то! – заметил насмешливо Куприяныч.

– Прощай, Кирилловна, – протягивая свои пепельные и дрожащие губы к прачке, сказала горничная и, презрительно посмотрев на Куприяныча, прибавила: – Хоть бы ты ему язык-то привязала.

– Ну а тебе так уж подлинно следует привязать его! – грубо отвечал Куприяныч, причем у него запрыгала серьга в ухе – всегдашний признак его гнева.

Горничная плюнула и, как рыцарь, стала в оборонительное положение, защитив свое лицо зеркалом. Прачка удержала поднятую руку своего мужа, чем воспользовалась горничная и шмыгнула под ворота. Прощальные приветствия были не очень лестны для отбившей: каждый произнес недоброе слово. Даже флегматическая Сидоровна, стоя на дворе и вытаскивая занозу из своей ладони, которая уподоблялась в крепости спине черепахи, бормотала:

– Хоть бы спасибо сказала за труды, экая злущая!

Прачка с мужем, узнав подробно историю отбытия горничной, удалились в подвал, продолжая честить Елену Петровну. Жизнь супругов со дня определения Кати текла ровнее; прачка не ожесточалась против котов своего мужа и даже иногда кормила серого, вспоминая, что Катя любила и ласкала его. Раздражительность прачки уменьшилась, когда Катя была наконец пристроена, за что прачка день и ночь благословляла Любскую.

Несмотря на эти благословения, над головою Любской и Мечиславского собиралась гроза. На другое утро после визита Калинского и Дашкевича не только за кулисами и между театрами, но и по всему городу ходила нелепая история о Любской и Мечиславском. Все о них толковали в театре, даже портные и ламповщики. Но эта история была только прелюдией к грозе: против них готовился умысел, в главе которого находились Дашкевич и Ноготкова. По этому-то случаю последняя давала у себя бал, на который были приглашены все молоденькие актрисы. Квартира Ноготковой преобразилась для этого дня. Из зала была вынесена лишняя мебель ради простора для танцев; спальня уничтожена и обращена в игорную комнату, где расставляли ломберные столы. Оркестр музыки был составлен из музыкантов театра, которые не имели права выходить из отведенной им крошечной комнаты. В назначенный час, именно в десять, еще никто не являлся из дам. Съезжались одни театралы и кандидаты в них. Ноготкова, отягченная браслетами, кольцами, с развязностью принимала гостей.

Наконец стали появляться дамы, наряженные в пух, хотя каждая утром говорила на репетиции, что ни за что не оденется по-бальному, а поедет в темном шелковом платье. Но вышло иначе: никто не явился в темном, а все в креповых платьях, в цветах; каждая, одевшись, сидела дома, выжидая, но ни одной не удалось приехать позже других, потому что и другие приняли те же меры.

Хозяйка принимала дам очень сухо, выговаривая, что они так поздно приехали.

– Да, несчастная, с чего она взяла, что мне весело ехать к ней.

– Да, страсти!

– Да, счастливая!

– Вот еще!

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Такие восклицания сыпались в кругу здоровавшихся актрис.

Начались танцы, так серьезно, как будто наложен был штраф на всех, кто улыбнется или заговорит.

Ноготкова хлопотала, чтоб подавали угощение. Лакеи были в белых перчатках и галстуках, в чулках и лакированных башмаках. Они, равно как и столовое серебро и другие украшения, не принадлежали Ноготковой, а были присланы каким-то богатым театралом. Ни один актер не был приглашен, исключая режиссера; но и тот, как можно было заметить по таинственным разговорам с хозяйкой, удостоился такой чести по особенным причинам.

Актриса, по фамилии Дубровина, явилась в первом часу, в сопровождении своего поклонника, и своим появлением произвела большое волнение в зале: все актрисы досадовали, зачем им не пришло в голову так же поздно явиться. Театралы в свою очередь перешептывались между собой.

Но какая нужда до толков: Дубровина торжествовала, что перехитрила своих подруг, которых утром уверяла, что ни за какие блага не поедет к Ноготковой.

Когда волнение, произведенное приездом Дубровиной, поутихло, в зале настала прежняя тишина. Дамы сидели, как наряженные куклы, не считая приличным делать своим кавалерам вопросы, даже и отвечая отрывисто, как будто сердясь. Не посвященные в тайны театралы и влюбленные дрожали, не смея говорить с предметом своего сердца, а заслуженные театралы также не пускались в любезности, опасаясь рассердить героиню своего сердца. Следовательно, всё было принужденно и скучно.

Позже всех явился Калинин; надо было удивляться его находчивости: он не только поговорил со всеми дамами, но даже некоторых из них заставил говорить, а не произносить одни бессмысленные восклицания, которые сделались в их кругу многозначительны до такой степени, что без них не раскрывала рта актриса.

Калинский, дружески пожимая руки мужчинам, достиг до гостиной, где втроем совещались режиссер, Дашкевич и Ноготкова. Завидев Калининского, Ноготкова не без волнения сказала:

– Завтра всё готово!

Калинский пожал руку Ноготковой, любезно погрозил ей пальцем и, обращаясь к Дашкевичу, сказал:

– Вот изобретательная женщина. Я уверен, что наказание будет ужасно. – И Калинин пожал руку Дашкевичу, проговорив протяжно: – Bonsoir. [2]

Режиссер низко и почтительно поклонился Калининскому, который и ему сказал какое-то приветствие, на что еще ниже поклонился режиссер. Они толковали между собой долго и много. Дашкевич в волнении крутил усы, режиссер с невероятною покорностью всё твердил:

– Я готов-с, я на всё готов-с.

Один Калинин наружно сохранял спокойствие и небрежно слушал Ноготкову, любуясь своими руками, украшенными колечками.

За ужином Калинин и другие мужчины много шумели, дамы по-прежнему молчали, ничего не ели и по временам перебрасывались шариками из хлеба. Режиссер ел страшно, как будто его несколько дней томили голодом.

Дашкевич провозгласил тост за неразрывность дружбы всех находящихся за столом, Калинин же – за здоровье хозяйки и всех прекрасных ее подруг. То была великая минута: безмолвные поклонники устремляли взоры на владычиц сердец своих и залпом выпивали вино.

Прощаясь с гостями, Ноготкова благодарила мужчин за посещение и повторяла всем: «Так завтра», а дамам, небрежно кивая головой, ласково говорила: «Вам ложу оставят».

Когда дамы разъехались, Ноготкова с некоторыми оставшимися гостями удалилась в



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a комнату, где играли в карты, и стук ими по столу сменил музыку в квартире. Дашкевич играл в доле с хозяйкой дома, которая осталась в таком выигрыше, что покрылись все расходы бала.

На другое утро кандидаты в театралы поднесли ей дорогую серебряную вазу.

Вечером почти все лица, присутствовавшие на балу, были в театре; актрисы сидели в ложах, а театралы в креслах. Не было только Калинского. Ноготкова играла в тот день вместе с Любской. Мечиславский был болен; но режиссер принудил его играть. Пьеса была нелюбима публикой, роль у Любской была маленькая. Сцены с Мечиславским шли очень дурно, потому что он поминутно кашлял; его совсем не было слышно: так тихо он говорил. Когда занавес опустился, стали страшно вызывать Ноготкову; раздались аплодисменты. Потом закричали Любскую и Мечиславского. Режиссер долго не выпускал их, чему все дивились. Дело в том, что он приказал заставить все кулисы и потом уже пошел в уборную, крича: «Госпожа Любская на сцену!»

– Я уж раздета! – отвечала Любская, удивляясь, что ее вызывают.

– Идите, а не то штраф!

Любская накинула шаль и кинулась из уборной. Хриплые голоса слышались в партере, крича: «Любскую и Мечиславского». Они взялись за руки и вышли из боковой кулисы на сцену, но лишь только они появились, послышались свистки и даже кто-то закричал: «Вон!» Занавес, как нарочно, не опускался. Любская, сначала с силою сжав руку Мечиславскому, бросила ее и кинулась со сцены, но кулисы все были заставлены; она металась по сцене под страшное шиканье, смех публики и слабые рукоплескания тех, кто не был посвящен в заговор и еще оставался в театре. Мечиславский с силою толкнул одну кулису и дал укрыться Любской. Сопровождаемая смехом Орлеанской и Ноготковой, Любская как безумная кинулась в уборную. Там она предалась такому отчаянию, что сбежались многие фигурантки; с ужасом смотрели они на Любскую, которая рыдала и ломала руки. Мечиславский, бледный как мертвец, стоял возле несчастной и, когда она пришла в себя, увез ее домой.

И сам он едва возвратился домой: так в голове его всё перемешалось, ноги подкашивались; он едва мог добраться до дивана и упал на него без чувств. Остроухов в испуге подошел к нему и с ужасом отскочил: Мечиславский лежал недвижим и бледен как мертвый. Остроухов думал было привести его в чувство, лил ему воду на голову, давал нюхать уксусу и наконец кинулся за доктором; он бегал по городу от одного к другому и, подхватив какого-то доктора, только что возвращавшегося домой, повез к себе. Ровно через два часа подали помощь Мечиславскому, который лежал всё в том же положении. Доктор покачал головой, пощупал пульс и спросил Остроухова:

– Вы его брат?

– Нет!

– И не родственник?

– Нет.

– Так я вам должен сказать, что он очень труден! – и преспокойно уселся писать рецепт.

Остроухов остолбенел и, взглянув на бледное и исхудалое лицо Мечиславского, в отчаянии схватил себя за голову и заходил по комнате.

– Извольте рецепт: через два часа по ложке, мушку на левый бок.

– Пропишите ему самое дорогое лекарство, – всё, что нужно; не жалеите денег! – давая деньги доктору, в волнении говорил Остроухов.

– Будьте покойны и надейтесь на бога! – произнес доктор и вышел из комнаты, но тотчас опять заглянул, сказав: – Завтра понаведемся.

Остроухов послал хозяйку квартиры, у которой нанимали они комнату, в аптеку, а сам сел возле Мечиславского и не сводил с бледного лица его своих глаз,

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a поминутно застилавшихся слезами. Он так сидел долго; наконец голова его повисла, и он задремал. Мрачность комнаты придала двум фигурам страшный, страдальческий колорит. Вошла хозяйка с лекарствами и нарушила тишину. Остроухов стал их распечатывать. Тогда только Мечиславский тяжело вздохнул и, открыв глаза, слабо закашлялся.

– Не хочешь ли ты чего-нибудь? – спросил Остроухов, подойдя к больному.

– Я... нет... мне ничего не хочется! – грустно, тихим голосом отвечал Мечиславский и вдруг закашлялся сильно, жалуясь на боль в боку, так что Остроухов поддерживал его голову. – Сходи, пожалуйста, завтра... к содержателю театра и попроси... дать мне вперед жалованье! – задыхаясь, проговорил с большим трудом Мечиславский.

– На что тебе? – с удивлением спросил Остроухов.

– Мне надо; пожалуйста! Я хочу, чтоб она дня не оставалась здесь...

Остроухов подумал, что больной начал бредить, и поднес ему лекарства.

– Разве я болен? – весь дрожа и приподнимаясь, с испугом спросил Мечиславский и, в изнеможении упав на подушки, он жалобно простонал: – Если он узнает... он не даст мне денег; ты скрой от него, скажи, что у меня даже кашель прошел.

– Успокойся, Федя: я уж знаю, что сказать, – растроганным голосом отвечал Остроухов.

– Не говори... не говори ему, для чего мне надо эти деньги.

Мечиславский замотал головой.

Остроухов подал ему ложку с лекарством и сказал;

– Выпей-ка: скорее выздоровеешь.

Больной дрожащей рукой схватил ложку и с жадностью проглотил ее. Силясь улыбнуться, он произнес:

– Я выздоровею?

Остроухов кивнул головой.

– Так дай мне еще! дай!

– Довольно!

– Когда же мне еще принять?

– Через два часа.

– Через два! – повторил с досадой больной и потребовал часы к себе, но закашлялся и долго лежал, ничего не говоря.

Остроухов, по болезни не присутствовавший в тот вечер в театре, не мог понять причины такого состояния своего друга. Правда, он кашлял и жаловался на боль в боку после своей ночной прогулки за город; но отчего болезнь вдруг так усилилась? и на что ему деньги, к которым он так был равнодушен прежде?

Всю ночь больной тревожился, поминутно будил дремавшего Остроухова, чтоб не пропустить часу, когда надо пить лекарство.

– Ты спишь? – спрашивал больной.

– Нет! а что? – отвечал с раскрытыми глазами Остроухов.

– Не пора ли лекарство?

– Ты недавно принимал.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Как это можно! уж я лежу, лежу, – и, изменив голос, он продолжал: – Знаешь ли что: мне кажется, я здоров, а только устал. Я завтра сам пойду просить о деньгах... Пусть меня заставляют играть всякий день и что хотят... Да, я всё, всё буду играть... «О чем шумите вы...» – как бы пробуя свой голос, произнес Мечиславский, но закашлялся; после этого он потребовал роль, и, как ни уговаривал его Остроухов успокоиться, больной принялся читать ее; но ему всё казалось темно, ослабевшая рука с ролью падала, глаза сами собой закрывались, и Мечиславский тяжело вздыхал при каждой попытке читать роль.

#### Глава XXIII

##### Содержатель театра

Рано утром Мечиславский разбудил Остроухова, посылая его скорее к содержателю театра. Остроухов заикнулся было, что еще очень рано; но больной страшно рассердился и так горько заплакал, жалуясь, что никто его не любит и что одна лень его друга придумывает такие отговорки. Остроухов стал одеваться, чтоб утешить больного, который следил за каждым его движением и торопил его. Когда Остроухов вышел из комнаты, больной свободнее вздохнул и закрыл глаза; он так лежал довольно долго; стук в двери заставил его пугливо приподнять голову, и он слабым голосом спросил:

– Кто там?

– Я... доктор! – высунув голову, отвечал вчерашний доктор.

– А, пожалуйста, войдите! – и лицо больного просияло.

Доктор вошел, потер руки и потом уже подошел к кровати, на которую переложили больного. Он пощупал пульс, сделал гримасу и спросил:

– Вы принимали лекарство?

– О, как же!

– Ну, где вы чувствуете сильнее всего боль?

– Я?.. голова! и здесь!

И больной указал на левый бок.

Доктор сел писать рецепт, а Мечиславский стал разглядывать его лицо, которое не отличалось большой нежностью. Больной несколько раз раскрывал рот, чтоб говорить, но не мог – от боли или страха; наконец он тихо прошептал:

– Доктор, доктор!

– Что вам угодно? – спросил доктор, не отнимая глаз от рецепта.

Больной молчал.

– Верно, чего-нибудь кисленького, пить или кушать?.. Нельзя, нельзя!

– О нет... я хочу знать только, опасно я болен... или только так...

Доктор подошел к кровати больного, который продолжал с большой расстановкой:

– Я еще не стар...

– Вы женаты?

Мечиславский покачал головой.

– У вас есть мать, отец, дети?

– Нет! но я...

Доктор задумался и в умоляющих глазах больного, устремленных на него, казалось, искал чего-то.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Вы, верно, сильно простудились? – спросил доктор.

Больной кивнул головой.

– Еще не огорчились ли вы чем?

Мечиславский сжал губы и простонал.

– Успокойтесь, берегите себя, забудьте всё и будьте только покойны.

– Я буду покоен, только скажите мне, скоро ли я встану? – в отчаянии лепетал больной.

Доктор взял его за пульс и сверял с часами. Мечиславский приподнял голову, прильнул запекшимися губами к руке доктора и раздирающим голосом сказал:

– Спасите, спасите меня!

Голова его упала на подушки, и он слабо заплакал. Доктор разорвал рецепт и стал писать другой, потирая себе лоб. Больной продолжал всхлипывать. Когда он замолк, доктор подошел к кровати, покачал головой и на цыпочках вышел из комнаты.

В это утро содержатель театра находился в сильном волнении: в городе ходили слухи о появлении новой труппы, которая намеревалась дать несколько представлений во время съездов на ярмарку. Богачей бывает в это время много, театры в большой моде – и вдруг, может быть, новая труппа отобьет у него всех любителей театра, а покровительство их давало ему средства иметь постоянный театр, не разъезжая по ярмаркам, как дельвал он прежде, с небольшим числом актеров.

Жизнь содержателя театра немногосложна. Он был дворовый человек одного богатейшего и предоброго помещика, имевшего свой театр. По смерти труппа его попала в распоряжение Карпу Семенычу. Карп Семеныч – так звали содержателя труппы – был смысленнее всех, несмотря на то что ровно не имел никакого дарования; он подбил некоторых актрис и актеров, захватил тайком костюмы и отправился на ближайшую ярмарку; здесь он дал несколько представлений в сарае, собрал много денег, из которых очень мало уделил актерам, хотя обещал делить с ними барыши поровну. Вышел спор, и труппа разделилась на две. Долго воевали между собой обе труппы, встречаясь в разных городах; наконец Карп Семеныч решился на страшную попытку, он собрал огромную труппу, дал представление в одном городе, где был его соперник, уничтожил своего врага и приобрел славу. Он тут только догадался, что гораздо выгоднее избрать город и иметь постоянный театр. Жребий пал на город NNN, в котором было много любителей театра. Они пожертвовали на сооружение здания и давали большие капиталы на обзаведение и содержание актеров. Через десять лет театр мог существовать своими доходами, и содержатель его имел уже значительный капитал.

Наружность Карпа Семеныча, казалось, не могла бы внушить доверия, каким он пользовался в жизни. Его рост был небольшой, узкие плечи, острый живот, лицо широкое, пухлое и лоснящееся. Маленькие карие глаза бегло копошились; нос широкий, даже несколько приплюснутый. Рот Карпа Семеныча был ужасный; жирная нижняя губа висела на двойном подбородке. К довершению красоты огромную его голову прикрывал чуть не детский черный парик, отчего его лоб был безобразно велик, а его жирный затылок двумя складками свешивался с галстуха, застегнутого стальной пряжкой.

– Что делать, что делать! – повторял содержатель театра, остановись против режиссера, который жался в углу, согнув спину, словно отягченный горестью своего хозяина. – И ты еще вздумал затевать ссоры? да я тебя...

– Я тут ни в чем не виноват-с. Если вам угодно принять мой совет...

– Ну что, говори, хитрец! Я ведь знаю тебя: ты горазд выдумать!.. Ну, говори, что придумал?

– Да выписать-с бы какую-нибудь столичную знаменитость.

Карп Семеныч ударил усердно себя в лоб, сказав:

– Ах я тетерев! – и, обратись к режиссеру, повелительно крикнул: – Строчи!

Режиссер исполнял и должность секретаря у своего хозяина, который владел очень дурно пером; зато слог его был превосходен. Вот образчики писем, какие он сочинял к столичным актерам:

№ 1

«Достопочтеннейший и добродетельнейший

Кузьма Петрович!

Я не в состоянии описать всех тех мук и страданий, какие я ощущаю в сию минуту. Труппа Антипова близко города нашего! Это известие чуть меня не отправило в царство Плутоново. Что мне делать несчастному?!

..Остается одно спасение: это просить вас приехать на это время в город. Всё, всё, что вы ни захотите, я на всё согласен.

Поспешите ответом, мой благодетель и спаситель, и проч.»

№ 2

«Милостивый государь,

достопочтенный и несравненный

Григорий Сидорыч!

Простите великодушно, что я до сих пор не отвечал вам на ваше предложение: тяжкая и продолжительная болезнь тому причиной. Смею умолять вас о драгоценнейшем вашем посещении на мой театр. Вы доставите мне счастье, а публике – восторг и блаженство. До кондиций со мной и не говорите. Я сам весь ваш, не говоря уже о пустом металле. Доставьте счастье тому, кто привык вас почитать и удивляться вашим высоким достоинствам и прославлять бесценное имя ваше.

Квартирку я вам приготовил... понравятся ли она только вам? При ней вы можете иметь прекрасный стол за сходную цену; хозяйка квартиры услужлива; хозяин же смирен... Они будут угождать вам; я их просил об этом чрезвычайно. Итак, спешите, спешите; всё в вашем распоряжении, даже мои разнородцы (так называл содержатель театра актеров) будут вам подвластны: журите их как вздумается... Здесь сходят с ума при одном вашем имени, и я одного только и жажду, чтоб вы прибыли к нам как можно скорее, потому что всюду только и слышишь: «Давай нам несравненного Григория Сидорыча!» Я не знаю, как и воздать благодарность за высокое блаженство, которое мне предстоит, узреть такого знаменитого и беспримерного гостя.

С чувством невыразимого высокопочитания и благодарности

честь имею пребыть

почитатель до могилы такого гения и проч.»

Остроухов прекратил диктовку, войдя с поклоном в комнату. Карп Семеныч встретил его такого рода приветствием:

– А что тебе нужно, гуляка?

– Я пришел просить вас не о себе! – грубо отвечал Остроухов, но тотчас спохватился и кротче прибавил:– Мечиславский просит...

– Верно, денег? – подхватил содержатель театра.

– Да-с, Карп Семеныч!

– На что ему деньги? а? чтоб гулять с тобой? а?

– Да он болен!.. то есть не так здоров...

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Остроухов совершенно потерялся; ему казалось странным: прежде слова содержателя театра, всегда равно грубые, не бесили его, а теперь он должен делать усилие, чтоб не отвечать ему такими же грубостями.

– На-ткось! что я дурак, что стану деньги больным раздавать!

– Он умирает! сжальтесь! – задыхаясь, произнес Остроухов.

– Ха-ха-ха! вот славно – человек умирает, а ему дай вперед денег... ха-ха-ха!.. да вы оба с ума спятили.

Остроухов, весь задрожав, пошел к двери, потом приостановился и произнес нетвердым голосом:

– Если он умрет, я возьму на себя его долг.

Содержатель топнул ногой и отвечал:

– Ах вы голяки, туда же! да я и тебе-то гроша не дам.

Остроухов низко поклонился и сказал с нежностью:

– Карп Семеныч, сжальтесь!

Содержатель театра закинул свою жирную голову назад и презрительно глядел на Остроухова, который потупил глаза и раболепно продолжал:

– Вы добрый человек... Карп Семеныч...

– Да, когда вам нужно, у вас Карп Семеныч делается только тогда добр, – произнес как бы про себя режиссер, но так удачно, что содержатель театра услышал. Он грозно нахмурил брови и решительно произнес:

– У меня нет жалости к таким, как ты.

Остроухов вспыхнул; глаза его засверкали, перебегая от широкого лоснящегося лица содержателя театра к злобному зеленому и испитому лицу режиссера, как бы избирая жертву. Но вдруг, махнув рукой, он кинулся из комнаты. Оставшиеся в ней свободно вздохнули, и содержатель театра нетвердым голосом сказал:

– Он, кажется, совсем рехнулся: его нельзя пускать! – и, обратясь к режиссеру, с сердцем крикнул: – Ну, строчи!

Выйдя на улицу, Остроухов не знал, что ему делать, как и где достать денег, чтоб утешить больного. Он вспомнил о Любской и пошел к ней.

Любская была больна и не вставала с постели. Она рассказала Остроухову подробно всё, как было накануне, и показала письмо от Калининского, в котором он спешил ее уведомить о гнусном заговоре, умолял ее не огорчаться и уверял, что готовит ей триумф.

Случайно или нет, письмо опоздало, и Любская прочла его только по возвращении из театра.

Остроухов, казалось, был подавлен всеми этими происшествиями. Он с ужасом сказал:

– Кажется, все сговорились его убить!

– Что такое? – тревожно спросила Любская.

– Мечиславский болен! – отвечал Остроухов.

– Я думаю, если бы кто был на моем месте, так понял бы...

Любская зарыдала.

– Не плачь! ты лучше скажи мне откровенно: принимаешь ты участие в Мечиславском?

Любская пугливо глядела на Остроухова.

– Говори!

– Я... я уважаю...

– Хочешь ли ты сделать что-нибудь для него?

Любская помертвела и воскликнула, дрожа:

– Чего он хочет от меня?

Остроухое строго взглянул на Любскую, которая потупила глаза.

– Не знаю, что вправе требовать он от тебя...

– Он не имеет права, клянусь! Если вы знаете всё...

Любская замолчала и глядела на Остроухова, который горько усмехнулся и сказал:

– Я ровно ничего не знаю и спрашиваю только небольшого одолжения; если не хочешь сделать для него, так хоть для меня!

– Скажите, я всё готова сделать, – нетерпеливо отвечала Любская.

Остроухов медленно начал:

– Он вчера заболел, и опасно...

– Я сама чуть не умерла от стыда.

– Я призвал доктора, целую ночь не спал, и ему пришла блажь к деньгам: раным-ранешенько послал меня к Карпу Семенычу. Ну он, разумеется, не дал!.. Так я боюсь прийти с пустыми руками: опять станет...

– Так нужны деньги? – поспешно вскакивая с постели, сказала Любская и кинулась к туалету, из ящика которого достала портфель, и в отчаяния воскликнула: – Боже мой, у меня только пятьдесят рублей!

Остроухов тяжело вздохнул.

Любская смотрела на него вопросительно; с минуту они оставались так; но вдруг Любская радостно вскрикнула: «ах!» – и стала шарить в ящиках. Собрав из них несколько футляров с вещами, она подала их Остроухову, говоря:

– Вот, заложите, продайте, сделайте всё, что знаете, только исполните его желание. Завтра я постараюсь достать еще денег.

– У кого? – печально спросил Остроухов, разглядывая браслеты и серьги.

Любская не отвечала: она как бы приискивала в голове человека, к кому бы могла прибегнуть, и наконец произнесла:

– У Калинского!

– Глупенькая! это слишком дорого будет тебе стоить. Нет, лучше пусть поплачет он; ты не знаешь, что каждое одолжение твое есть шаг... Нет, он еще сильнее огорчится, если узнает. Не надо; я вывернусь!

– Вот еще шаль! возьмите и ее...

– Спасибо.

И он вышел.

Остроухов избегал чуть не весь город с вещами Любской и выручил за них пустую сумму. Первым словом больного при входе Остроухова был вопрос о деньгах.

Остроухов кивнул головой.

– Дай, дай мне их сюда!

И больной протянул свои дрожащие руки. Остроухов подал ему двести рублей и сказал:

– На днях обещался еще дать.

– Боже мой, мне нужно еще, и скорее! – жалобно перебил его больной.

– Да на что тебе?

– Я... я снесу ей... они хотят ее погубить... Дай мне сюда весь мой гардероб... Где мои часы...

Глаза у больного засверкали, щеки запылали.

– Ляг, ляг, Федя: я тебе всё подам! – пугливо кидаясь к постели, говорил Остроухов. Он передал больному весь гардероб его. Мечиславский кашлял и не мог говорить, а только жестами показывал, какое платье он хочет.

– Дай мне ножик.

– На что тебе, Федя?

– Дай! боже мой! не расскажешь ему?

– Что ты хочешь делать?

– Я... я хочу спороть галун...

Остроухов нерешительно подал ножницы: больной схватил их и занялся отпариванием галуна от камзола. Казалось, слабость исчезла; он бодро сидел и всё что-то бормотал тихо. Остроухов побежал за доктором. Тогда больной вдруг вскочил с постели и стал шарить у себя в комод; он связал узел, положил в него часы, деньги, отпоротые галуны, пуговицы и, заслышав шум за дверью, как вор, пугливо кинулся на кровать с узлом, который спрятал под одеяло, и притворился спящим.

Доктор велел скорее класть ему льду на голову, поставить на затылок мушку. В продолжение этого времени больной то смеялся, то плакал, болтая несвязные фразы. К вечеру он как бы успокоился и лежал смирно.

Остроухов весь погрузился в разгадку, что за тайна была между Любской и Мечиславским, который никогда в не заикался ему, что знал ее прежде. Вдруг Остроухова озарила мысль: раз они порядком развеселились, и Мечиславский рассказал ему историю, вспоминая которую Остроухов пришел теперь к некоторым темным догадкам.

И мы, оставив ненадолго нить романа, перенесемся в прошедшее и прослушаем рассказ Мечиславского, сохраненный памятью Остроухова.

#### Глава XXIV Вербовщица

«...Ты помнишь, – говорил Мечиславский Остроухову, – когда я расстался с тобой, не поехав на ярмарку города К\*\*\*, я сошелся довольно близко с одним богатым купцом, который, во что бы то ни стало, пожелал свезти меня в Петербург, уверяя, что у меня огромный талант, для развития которого мне необходимо видеть столичных артистов. Я не соглашался, потому что не люблю никем одолжаться; тогда он употребил хитрость. Раз, когда мы порядочно покутили, он посадил меня в свой экипаж, и я очнулся, когда уже воротиться было поздно. Приехав в Петербург, я поселился у добрейшей немки, которая пускала жильцов в свою квартиру. Я уходил со двора рано утром, а возвращался ночью. Дела у меня было много. Надо было еще скупить разного старого хлама из костюмов, по поручению Однодушенкова, содержателя труппы в К\*\*\*, увидеть разные пьесы, списать их. К тому ж бильярд, столичные развлечения, обеды с моим покровителем... Одним словом, я по горло был занят. Раз я возвращался домой очень поздно. Это была вербная неделя. Как теперь



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
помню, ровно в два часа ночи иду я по своему коридору, чтоб войти к себе в комнату, как вдруг слышу смех, такой звучный, такой веселый; я остановился. Кто-то напевал – тра-ла, тра-ла. Я вспомнил, что у меня есть соседи, и заглянул в щелку их двери, неплотно притворенной. Я увидел комнату такую же, как моя, с такой же меблировкой. Один угол отгорожен был ширмой; «верно, кровать, как у меня», – подумал я. В другом клеенчатый диван. В простенке комод; на нем чуть не игрушечный туалет. Шкап простой для платьев; лежанка, как у меня, только с тою разницею, что у них стояли на ней самовар, кофейник, на подносе чашки, прикрытые салфеткой.

За круглым столом сидел старик лет шестидесяти, в преогромнейших креслах, столько же ветхих, как он сам. Старик был небольшого роста, худенький, закутан в ситцевый халат. На голове белый колпак, на котором покоились огромные очки, приподнятые с носу. Его редкие волосы, как лунь белые, ложились по плечам. Недалеко от него сидела девушка – девушка очень красивая собой. Особенно меня поразила игривость ее черт. Она держала в руках разряженную куклу, вертела ее перед старичком, беззаботно напевая и звучно смеясь. Старичок, как дитя, любовался куклой, кланялся и бормотал:

– Здравствуйте, сударыня, здравствуйте!

– Прощайте! – наклонив голову куклы, со смехом произнесла девушка и, бережно положив ее в сторону, принялась наряжать другую. Старичок в свою очередь занялся укладыванием восковой куклы в люлечку со мхом, сначала намазав ей спину клеем, который стоял перед ним в помадной синей банке. И, укладывая, он приговаривал:

– Ложись, плутишка, ложись.

Стол был завален лоскутками, куклами, искусственными цветами. Занятие девушки и старичка страшно удивило меня. Я сначала думал, что мои соседи не в здравом уме. Но глаза девушки полны были ума и спокойствия, и я, как бы пригвожденный, оставался у двери.

Девушка озабоченно наряжала свою куклу, старичок задумчиво глядел на нее и, как бы сам с собой рассуждая, сказал:

– Ну, как одной...

– Опять за старое! – строго перебила девушка.

Он пугливо принялся укладывать по порядку лоскутки и робко сказал:

– Разве я что сказал? я только хотел сказать, не лучше ли мне...

– Так я вам не позволю! – с горячностью перебила девушка и, гордо подняв голову, протяжно продолжала: – Я лучше их опять отдам!

– Ну, делай как знаешь! ведь ты у меня умница, – отвечал поспешно старичок.

Но, помолчав с минуту, он тихо произнес:

– А что скажут!

– Что могут сказать! Нас в Петербурге никто не знает. Мы можем умереть с голоду здесь – никто не побеспокоится; смешно же нам страшиться, что будут говорить о нас.

В голосе девушки было столько упрека, что я, которым в первый раз видел ее, я покраснел, как будто был в чем-нибудь виноват перед ней. Они замолкли. Я не мог оторвать глаз от головки девушки, которая так хорошо склонилась над своей куклой, бессмысленно тарачившей на нее глаза. Не знаю, долго ли я еще простоял бы у двери, если б она предательски не скрипнула. Я как шальной отскочил от нее, и девушка окликнула:

– Кто там?

Я притаил дыхание. Она быстро привстала; но старичок успокоил ее, сказав:

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Верно, кошка хозяйская бродит.

Точно, в эту минуту я походил на кошку: так тихо прокрался я к себе. Опасаясь зашуметь, я оставался на одном месте и весь превратился в слух. Была уже ночь, кругом всё спало; тишина такая, что я слышал почти дыхание моих соседей, от которых меня отделяла не капитальная стена, а дверь со щелями. Молитвы старика, его прощальные поцелуи с девушкой, крик, позевывание – я всё ясно слышал.

– Ты разбуди меня завтра, как пойдешь, – сказал старичок.

– Хорошо, хорошо, спите! – лукаво отвечала девушка и тихо запела, как бы убаюкивая старичка, который через несколько минут захрапел.

Мне так хотелось опять видеть девушку, что я, заметив щель у двери, ведущей к соседям, вскарабкался на комод, стоявший возле, и стал глядеть. Девушка очень проворно убирала куклы; брови ее слегка сдвинулись, что, однако, ей не мешало напевать песенку. Голос ее так был звучен, так приятен, что мне казалось, я слышу пение самой искусной певицы. Утро забрезжило, а девушка всё еще не оставляла своей работы. И я только по временам отдыхал – и снова глядел в щель. Однако глаза ее сделались меньше, пальцы не так проворно перебирали лоскутки, она вдергивала нитку в иглу продолжительнее, чем прежде, и уже не пела. Вдруг она стала дремать, голова ее упала на грудь, но куклу она всё еще держала в руках.

Свеча, догорев, затрещала и заставила девушку вздрогнуть. Она торопливо принялась за куклу, но ненадолго; медленно перебирала она складки ее платья, и как ни старалась открывать глаза, но они сами закрывались; девушка в изнеможении склонила голову на стол и заснула.

Я соскочил осторожно с комода; мне стало неловко в моей комнате; я боялся разбудить своих соседей. Но я так был утомлен, что тоже скоро заснул.

На другое утро, выходя со двора, я не мог не приостановиться у дверей моих соседей; в комнате была совершенная тишина. «Верно, спят», – подумал я и отправился разузнавать у моей хозяйки о моих соседях. Но я не много узнал; хозяйка сообщила такие сведения, о которых я сам догадывался: что они очень-очень бедные люди и что девушка живет своими трудами. Я невольно усмехнулся, вспомнив вчерашние ее занятия. Не знаю почему, мне стало жаль девушку, такую красивую и молодую, которая заключена в маленькой комнате и должна вечно трудиться. Особенно ее фраза, что «мы можем умереть с голоду и никто не побеспокоится о нас», резко впечатлелась в моей памяти. Однако я забыл о моих соседях: собственные дела призывали меня. Я долго ходил и ездил по своим делам; наконец, проходя мимо Гостиного двора, я попал в страшную сумятицу. Крик, ссора, брань, писк громких голосов, треск скамеек, которыми были вооружены спорящие, – страшный гвалт! Причина его состояла в том, что каждый желал занять повыгоднее место для верб. Меня это заняло, и я приостановился поглядеть. В ту самую минуту к моим ногам упал небольшой столик и разлетелся вдребезги при громких криках толстой бабы и хохоте толпы. Я не успел еще очнуться, как подбежала ко мне какая-то женщина, одетая очень бедно, но чисто. Шляпка и всё лицо ее были укутаны белым кисейным вуалем. Она поспешно стала подбирать стол; но так как у ней была еще корзина в руках, да и руки дрожали, то дело шло медленно – то ножка выпадала, то доска.

Я кинулся помочь и, подбирая части стола, подавал ей. И вдруг я почувствовал, что горячая слеза упала мне на руку. Мне стало так жаль, так жаль эту женщину, что я готов был поколотить толстую торговку, которая торжественно сидела на своем столе, покачивая ногами, я продолжала еще осыпать насмешками бедную женщину. Я обратился к последней и сказал:

– Позвольте, я вам донесу стол. Где вы хотите стать?

Она пугливо покачала головой и, поклонившись мне, отошла скорыми шагами. Я следил за нею, боясь, чтоб еще чего-нибудь не вышло. Но она выбрала место такое невыгодное что, верно, никто не стал бы его оспаривать, и стала складывать стол.

Воображение мое уже нарисовало всю печальную историю бедной женщины. Она, верно, мать семейства, ее ждут проголодавшиеся дети, может быть, умирающий муж. И, пошарив в кармане, я вынул двугривенный и пошел купить у ней что-нибудь для

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
почину. Она так была погружена в улаживание своего стола, что я должен был коснуться ее плеча. Мое прикосновение так ее испугало, что она, бросив всё, отскочила от меня на несколько шагов. Признаюсь, я сам испугался ее движения и поспешил сказать ей, что желаю купить куклу. Она проворно развязала корзинку и, вынув куклу, подала мне. Я отдал деньги и хотел идти, как она остановила меня и, отдавая назад пятак, сказала:

– Это много!

Голос ее был так свеж, что я невольно заглянул под шляпку; но лицо ее было закрыто вуалем, – только видна была нижняя его часть. Но этого было довольно: я увидел, что вербовщица была очень молода и не могла иметь большого семейства, что, однако, признаться, не уменьшило моего участия к ней, скорее удвоило его. Я забыл о своих делах и стал прохаживаться по вербам, наблюдая, что делает моя вербовщица. Покупателей у ней было мало; она потирала руки: видно было, что зябла. Этим она напомнила мне, что я в холодной шинели и что сырость очень ощутительна. Я пошел в трактир, помнится, стал играть на бильярде и забыл о вербовщице. Но вечером, подходя к дому, где была моя квартира, я завидел мою вербовщицу, которая очень скоро вошла в ворота. Я за ней. И каково же было мое удивление: она вошла на мою лестницу, потом в квартиру немки, где я жил. Тут только я догадался о странном занятии моих соседей. Сердце у меня сильно застучало. И когда я вошел в свою комнату, первым моим делом было взгромоздиться на комод и смотреть в щель двери.

Моя соседка была точно та самая вербовщица, в которой я так нечаянно принял участие. Она сняла с себя шляпку, неохотно отвечала на вопросы старика, который осыпал ее ими, и даже не упомянула о несчастье, случившемся с ней.

Как я провел этот день, не знаю, только поздно ночью я сошел с комода, потому что девушка стала ложиться спать и у меня не достало дерзости подсматривать более. На другое утро, лишь только я заслышал шорох в комнате соседей, как вскочил и в минуту оделся, нетерпеливо ожидая, когда скрипнет дверь у соседей. Наконец я услышал прощанье девушки, поцелуи, и она вышла из дому. Издали я шел за нею. Мне ужасно хотелось помочь ей нести стол или корзину. Но я не смел подойти. Она стала на прежнее свое место, разложила куклы и уселась на маленькую скамеечку, которую принесла с собой. Я следил за всеми покупателями, которые останавливались у ее стола, и не знаю, как и растолковать, что со мной делалось: если останавливался мужчина и долго покупал, кровь бросалась мне в голову; я невольно приближался к вербовщице, у которой лицо по-вчерашнему было закрыто. Я заметил, однако, что почти все, отходя от стола, долго оглядывались на вербовщицу. Я не выдержал и пошел купить у ней что-нибудь.

По всему было видно, что вербовщица узнала меня, потому что пугливо поправила свой вуаль. Я указал на одну куклу, с которою, я заметил, она особенно долго возилась, и спросил о цене:

– Два рубля! – отвечала девушка и, заметив маленький беспорядок в туалете куклы, проворно сняла перчатки и стала оправлять ее. Руки ее были белы и красивы, так что какие-то дамы, подошедшие к лотку, с удивлением осматривали и хвалили их; но вербовщица так была занята, что ничего не замечала. Завернув куклу, она подала ее мне. Не знаю как, но я коснулся ее пальцев. Она быстро надела свои перчатки. Как я ни медлил, однако должен был удалиться. Я давал деньги мальчишкам, чтоб они покупали вербы у моей вербовщицы.

Так прошла вербная неделя. В субботу в последний раз я купил у ней почти все остальные вербы. И, приходя домой, где я уже оставался целые дни, я играл куклами, как дитя. Они меня занимали. Я слышал, как девушка рассказывала старику свои похождения, но обо мне ни слова. Она весело пела, считала деньги, ею вырученные. И мне так было весело, так весело, как никогда не было в моей жизни... Нет, раз только, я помню, когда я был увлечен своей ролью, и вдруг до моего слуха долетели всхлипывания. Мне было так же весело тогда! Но за радостью, говорят, неизбежно следует печаль. Так по крайней мере всегда было в моей жизни.

Утром я сидел за перепиской одной драмы, как услышал стук молотка в дверь, откуда я глядел к соседям. Я вздрогнул; как молния блеснула в уме моем мысль: неужели они догадались, что я подглядываю, и заколачивают мою дверь? Мне стало так страшно, как будто меня живого положили в гроб и заколачивают крышку; каждый удар отзывался в моем сердце. Я слышал разговор соседей.

– Ну, как он дома? – говорил старичок.

– Помилуйте! да его не бывает дома до рассвета, – мне сама хозяйка говорила.

Я не вытерпел, вскарабкался на комод и чуть не упал с него. Щель была заколочена или завешена, но я ничего не видел: темно, темно! и мне казалось, будто у меня разлилась темная вода в глазах. Так мне стало скучно, что я не знал, куда деваться. Соседка моя никуда не выходила; она была весела, болтлива, даже меня смешила, рассказывая свои замечания насчет своих покупателей, когда она продавала вербы. Дни два я уже не видал моей соседки. Она никуда не выходила из дому, ложилась поздно, и по упрекам старичка видно было, что она всё работает. Я не вытерпел, взял перо, взгромоздился на комод и начал свою работу. Сердце у меня забилось от радости: щель была только завешена! Я успел было уже приготовить местечко своему глазу, как услышал крик моей соседки:

– Это что значит?

Я обмер и присел.

– Верно, гвоздь дурно прибила: она и упала, – отвечал старичок.

Я слышал, как моя соседка, став на стул, касалась двери, и я весь дрожал, как будто не двери, а меня самого касалось ее платье.

Я не знал, что мне придумать, чтоб увидеть мою соседку. Неделя тянулась мучительно долго. Я почти жил в коридоре, выжидая случая, когда она пройдет за чем-нибудь в кухню. Но, как назло, старичок занимался хозяйством; я стал с ним раскланиваться и, правду сказать, был и тем доволен. Я ждал нетерпеливо субботы, уверенный, что мои соседи пойдут к заутрене; и точно: с первой пушкой дверь скрипнула; давно готовый, я выглянул из двери своей. Девушка вела старичка. Я пошел за ними, стараясь, разумеется, чтоб они меня не видали. Они пришли в церковь. Девушка так заботилась и хлопотала около старичка, как будто мать около своего ребенка. Она велела ему подать стул и усадила его, а сама придвинулась близко к образу со множеством свечей, которые ярко освещали ее лицо. Господи! я только тут увидел, до чего она хороша. Черные ее большие глаза блестели необыкновенно; каждая ее черта дышала смелостью. Ее простенькое белое коленкорое платье с высоким лифом выказывало роскошные формы. Рюш, собранный около горла, оттенял нежный румянец лица. Старичок был одет по-праздничному. Вместо халата на нем был коричневый старомодный фрак, белый жилет и галстук; его седые волосы лежали на высоком черном бархатном воротнике фрака. Синие узкие панталоны обрисовывали его худые маленькие ноги. Он сидел понурился голову. И если бы не кресты, которые он делал очень часто, его можно было бы принять за окаменелого. Эти два лица так были увлекательны, что почти все заметили их в церкви. Мне казалось, что глаза девушки подернуты были слезами.

Когда церковь наполнилась радостным пением и все начали христосоваться, девушка обратилась к старичку и сказала не совсем твердым голосом:

– Христос воскрес!

– Воистину воскрес! – отвечал старичок дрожащим голосом.

И они с жаром обнялись. Девушка проворно поцеловала руку старичка. И они оба украдкой друг от друга вытерли катившиеся по щекам слезы.

Всё целовалось вокруг меня, а я стоял как оглашенный. Один только нищий, калека, дернув меня за фалду и протянув руку, сказал:

– Христос воскрес, барин!

Я и тому был рад: я похристосовался с ним, дал ему грош и поспешил домой; мне было слишком тяжело. Я растянулся на своей постели не раздеваясь и думал, думал... о чем? сам не знаю. Еще сильнее почувствовал я тоску, когда мои соседи возвратились домой. Они снова похристосовались. Девушка болтала, постукивая чашками. В комнате запахло кофеем. Всё это мне так живо напомнило мое семейство, мое детство, этот праздник, который я всегда встречал с моей матерью, которую так любил, хоть был очень еще мал, когда потерял ее.

Я не вытерпел и решился идти к соседям, но выждал, когда девушка уйдет за чем-нибудь в кухню, потому что при ней у меня не достало бы духу войти в комнату и найтись что-нибудь сказать старичку. Случай скоро представился; я воспользовался им. Старичок сидел за круглым столом, в своих креслах, только вместо лоскутков и кукол на столе, покрытом салфеткой, стояли кулич с цветами, пасха, яйца и барашек из масла. Старичок доставал миндаль из кулича и пожевывал его. Я долго стоял у полураскрытой двери и наконец постучался.

– Кто? войдите, милости просим, – приветливо сказал старичок.

Я вошел, но страшно сконфузился и стоял как дурак.

– Не с соседом ли имею счастье говорить? – привстав, спросил старичок.

Я нашелся сказать только: «Христос воскрес!»

Мы три раза поцеловались. Мне стало как бы вольнее, и я извинился, что так смело вошел. Но старичок так был ласков и так рад знакомству, что я успокоился. В ту минуту вошла девушка с кофейником в руках; увидев меня, сидящего на стуле, она остолбенела и вопросительно глядела на старичка, который поспешил сказать:

– Вот наш сосед, пришел поздравить нас с праздником.

По всему было заметно, что старичок был очень доволен моим вниманием; зато девушка очень холодно приняла мое приветствие:

– Христос воскрес!

Она кивнула мне головой и поставила кофейник на стол.

Старичок заметил с радушным доброжелательством:

– Что же ты не христосуешься?

Я протянул руку. За меня как будто кто другой действовал.

Девушка подставила мне непринужденно щеку, которая ярко вспыхнула, когда я едва коснулся ее дрожащими своими губами.

Девушка стала угощать нас кофеем. Старичок ел и пил с большим аппетитом и всё хвалил. Было уже почти светло, а мне не хотелось уходить. Я разговаривал со старичком о Москве, которую он знал хорошо и очень любил. Но я заметил, что девушка стала позевывать; глаза ее были утомлены. Я вспомнил ее труды в эту неделю, в продолжение которой она ложилась с рассветом, и поспешил уйти, прося позволения продолжать знакомство, на что получил радушное приглашение приходить когда угодно.

На другое утро я купил конфет и поднес моей соседке, которая приняла их холодно; зато старичок был ужасно доволен и, как малютка, занялся разбиранием их и любовался картинками.

С этого дня я всякий вечер посещал моих соседей. С каждым днем я находил более удовольствия быть у них. Есть уж такие женщины, как бы они ни были бедно одеты и как бы ни было бедно в комнате, – они сами собой всё украшают. Маленькая комнатка была всегда опрятна; старичок – в чистом колпаке. Салфетки их были толсты, но чисты. И как мне было смотреть без удивления на эту девушку, когда я знал, что всё держится ее трудами!

Я заметил, что девушка стала грустна; она редко принимала участие в нашем разговоре и всё о чем-то думала.

Когда я уходил от них, то слышал ворчание старика и ее слезы. Мне стало тяжело, я страшился мысли – не я ли виной их неприятностей. Может быть, он думает, что я имею дурные намерения. Но зачем же принимать меня так ласково, как он делал всегда? Все эти размышления натолкнули меня... на что бы ты думал?.. на мысль просить руки девушки. Я знал, что я могу опять поступить на сцену здешнего театра. Одним словом, в голове моей не было других мыслей, как о женитьбе.

Но я медлил, не знаю отчего; мне было страшно произнести даже слово перед ней. И я решился сначала переговорить со старичком. Я не долго ждал. Соседка моя ушла за чем-то со двора; я отправился к старичку. Я сначала всё ему рассказал, всю мою жизнь, мои средства. Старичок был тронут моею откровенностью и принял во мне большое участие. Но лишь только я произнес слово о женитьбе, как он пугливо велел мне замолчать и строго сказал: «Она не может, она не пойдет!» Я в такое пришел отчаяние, что стал говорить бог знает какие глупости. В то время девушка, вся впопыхах, вбежала в комнату, радостно крича: «Письмо, письмо!» Старичок закопошился тоже. Девушка, не замечая меня, сбросила свою шляпку и салоп и дрожащими руками стала срывать печать, а старичок нетерпеливо твердил:

– Читай скорее, скорее! Я говорил тебе, что он честный человек и жив, – прибавил он радостно.

Я понял, что я лишний, и вышел вон. Я бросился с отчаяния на диван. Сердце у меня ныло; я готов был плакать. Не прошло пяти минут, как я оставил моих соседей, в их комнате раздался пронзительный крик, который меня оледенил. В жилах моих застыла кровь. Я вскочил на ноги и не знал, что делать. Придя в себя, я побежал в комнату к соседям и остановился на пороге.

Старичок сидел в креслах, как я его оставил; только голова его скатилась на одну сторону, глаза были закрыты. Девушка стояла на коленях возле него; обняв старика она спрятала голову на его груди. Несколько минут я стоял, не зная, подойти ли. Но неподвижность лица старика меня поразила: я подошел к креслу – и с ужасом попятился. Старик не дышал! Я осторожно окликнул девушку; она пугливо вскочила на ноги, осмотрела вопросительно комнату и, остановив свои дикие глаза на старичке, тихо произнесла, погрозив мне:

– Тс!.. он спит, его не надо будить!

И спряталась за ширмы.

Я взял руку старичка, чтоб пощупать пульс: она была холодна как лед. Я кинулся к хозяйке. Почти весь дом сбежался в комнату, – всё ахало, суетилось около старичка; одна только девушка сидела за ширмами неподвижно, зажав уши и устремив глаза на письмо, лежавшее у ней на коленях.

Никакие пособия не возвратили старичка к жизни: удар был силен. К вечеру он уже лежал на столе, одетый в то самое платье, в чем он был у заутрени, накануне Пасхи. Девушка ни с кем не сказала ни слова; она ни на минуту не выпускала письма из рук и, казалось, была равнодушна ко всему, что ее окружало.

Я был убит смертью старика, а более всего страшным состоянием бедной девушки, у которой, я знал, больше родных, кроме старичка, не было. Я без ног был в этот день. Надо было всё устроить, чтоб похоронить старичка. Я знал, что у них не было денег, потому что последнее время моя соседка всё плакала и мало работала. У меня самого было не много, но я всё заказал как следует, как будто старичок мне был близкий родной. Возвратился я домой почти ночью. Проходя мимо комнаты соседей, я было не хотел войти в нее, боясь нарушить сон несчастной. Но всё-таки я заглянул в дверь. Креслы, еще занятые поутру, были пусты, старичок лежал на столе; его лицо смерть мало изменила: оно так же было кротко, как и живое. Девушка, как мне казалось, спала за ширмами. Тишина была кругом, – всё веяло смертью. Свечи, горевшие у стола покойника, придавали какую-то мертвенность всем предметам. Я осторожно вышел из комнаты, едва сдерживая рыдания, которые надрывали мне грудь. Не знаю, сколько времени я оставался у себя в комнате, в какой-то тяжелой полудремоте, как мне послышался говор в комнате покойника. Я тревожно вскочил и тихо подошел к двери. Девушка, бледная как мрамор, стояла у покойника и как бы с любопытством смотрела ему в лицо. Она по временам расправляла его седые волосы, целовала его охладевшие руки, сложенные на груди, – потом опять молча глядела на него. Ее взгляды так были страшны – не по отчаянию своему, а, напротив, по странному спокойствию. Я увел ее от покойника, оставил ее в своей комнате, а сам остался возле него.

Она не оказывала никакого сопротивления и всему повиновалась; казалось, она не понимала своего страшного положения.

На другой день, когда стали отпевать покойника, девушка как бы только в первый

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
раз догадалась, что старичок умер. Она дико закричала, стала рвать на себе волосы, говорить несвязные слова. Я страшился за ее рассудок. Рассказать вам невозможно страшной картины, как она прощалась на другой день со старичком. Без чувств почти ее оторвали от покойника.

Я поместил ее в своей комнате, а сам переселился в ту, где скончался старичок. Дни и ночи она плакала как сумасшедшая. Я пригласил доктора.

Я был в таком положении, что ни в чем не мог дать себе отчета: одно сознавал ясно, что жизнь моя, каждый мой час, все труды мои – всё принадлежит отныне бедной сироте. Мне казалось, что одно чувство отца руководило мной.

Первые дни она ни о чем не заботилась, потом стала входить в мелочи жизни, стала всё расспрашивать у хозяйки. Узнав, что я всё заплатил и хлопотал, девушка стала ласково обходиться со мной и всё твердила: «Боже мой! чем могу я заплатить вам?»

Я находился в страшном положении: мне нужно было возвращаться домой, а я не мог подумать без ужаса о разлуке с ней. Новое письмо, полученное на имя покойника, решило мою участь. Прочитав его, девушка стала плакать, ломать себе руки, твердя, что она погибла. Я стал ее расспрашивать, в чем дело; она дала мне прочесть письмо. Вот его содержание:

«Вероятно, вы уже знаете от самого Петруши о его женитьбе. Да, мои слова исполнились. Не прошло году, как он забыл свою невесту и свое слово любить ее одну. Впрочем, я не могу помнить прошедшее: оно равно тягостно для нас обоих. Я еду к вам; забудьте всё; я не хочу и не допущу, чтоб вы более страдали; урок был жесток. Сестра моя вскоре после вас скончалась. Петруша женат. Я совершенно один! Если вы не забыли всего, что я для вас сделал, то, верно, не откажетесь успокоить мои дни на старости».

Тайна объяснилась мне хотя немного; девушка была влюблена, их разлучили, жених забыл ее. Я должен сознаться, что с радостью прочел это письмо, после которого более не было ей надежды на любовь жениха. Я объявил ей не без затруднения, что если она хочет, то я женюсь на ней и увезу ее к своим родным. Я скрыл от нее, кто я: я боялся, чтобы она не испугалась моего звания. Я обманывал ее, страшась огорчить, сказав истину. Девушка пугливо глядела на меня, как бы не веря своим ушам, и наконец твердо сказала:

– Нет, этого нельзя: я вас не люблю, как должна будет любить вас жена.

Это меня так поразило, что я стал ей рассказывать мою страсть к ней, мое отчаяние, если она не выйдет за меня замуж. Я говорил не помню что, только она слушала меня с участием и наконец сказала:

– Чтоб доказать вам, что я вас не презираю, я выхожу за вас замуж; но знайте, что я вас не люблю. Мое положение заставляет на всё согласиться.

Показались бы страшны эти слова другому, но не мне: я дошел до такой степени, что, кроме обладания ею, ни о чем не помышлял.

Я бросился к привезшему меня купцу, чтобы он ссудил меня деньгами на свадьбу, и начал делать приготовления, обручась с ней в тот же день. Но свадьбе нашей не суждено было состояться. По праву жениха я как-то поцеловал ее и сам испугался бледности, какую покрылось лицо моей невесты. Она долго плакала – это меня рассердило, я сказал ей какую-то грубость и убежал из дому. Возвратись домой, я не знал, что делал. Мне было совестно на другое утро глядеть на мою невесту, которая без содрогания, кажется, не могла меня видеть. Чем ближе время приближалось к свадьбе, тем больше плакала она. И раз, застав ее в страшных рыданиях, я сорвал с своей руки кольцо и отдал ей, сказав, что не надену его, пока она сама не даст мне его...»

Вот всё, что хранила память Остроухова. Он помнил, что Мечиславский ничего более не сказал; да Остроухов тогда и не настаивал. Теперь, движимый участием к своему несчастному товарищу, напрасно он ломал голову, припоминая известные ему факты: тайна осталась тайною.

Часть пятая  
Глава XXV

Три сестры

Рассказав Остроухову встречу свою в Петербурге с вербовщицей (в которой читатель узнал Аню), Мечиславский имел свои причины умолчать о дальнейших приключениях Ани, тесно связанных с его собственными. Но читателю необходимо знать их прежде, чем мы приступим к последовательному продолжению рассказа.

Читатель уже знает, что Аня была несколько дней невестой Мечиславского, знает и то, по какому случаю он возвратил ей кольцо. Когда кольцо, а с ним и свобода были ей возвращены, будто камень свалился с ее сердца. Она не сомневалась, что всё между ними кончено. Очутившись снова в страшном положении, без копейки денег, Аня решила искать места гувернантки в провинции, желая только бежать из Петербурга, где угрожали ей скорые преследования Федора Андреича. Мечиславский узнал это намерение от хозяйки квартиры и предложил Ане ехать в провинцию с ним вместе. Предложение было сделано так искренно, что она не могла отказать ему. Обрадованный доверенностью Ани, Мечиславский страшно хлопотал, чтоб скорее устроить отъезд, вероятно боясь, чтоб она не раздумала: он не знал, что одного страха встретиться лицом к лицу с бывшим благодетелем своего дедушки было слишком достаточно, чтоб сделать решение Ани непоколебимым.

Через день они уже сидели в кибитке и выезжали из Петербурга, которого Аня совершенно не знала; кроме горьких воспоминаний, ничего не оставляла она в нем. Дорога была продолжительна, но не утомляла, а, напротив, развлекала Аню. Она чувствовала возвращенье сия, и мрачные мысли не так часто приходили ей в голову. Прошедшее отодвинулось от нее так далеко, как будто лет двадцать тому назад происходило всё случившееся с ней. Во сне еще она возвращалась иногда к нему и, просыпаясь, пугливо озиралась кругом, думая встретить суровое лицо Федора Андреича; но глаза Ани успокоивались на кротком лице молчаливого спутника. В дороге скоро привыкаешь ко всему, – в несколько дней Аня так привыкла к своему положению и к Мечиславскому, что несколько не поражалась его заботливостью. Впрочем, он так умел заботиться, что она даже не находила случаев благодарить его. Всё делалось им так просто, будто он был дедушкой Ани.

Аня знала, что он едет на ярмарку в город К\*\*\*, куда труппа его уже прибыла, дает свои представления и ждет его. Но она так мало имела понятия о различии сословий и значении их, что без всякого страха готовилась вступить в новый круг.

Настал конец путешествию; они въехали в небольшой город, околесили его весь и остановились у бесконечного забора в глухой улице. Когда они вошли в калитку, Аня подумала, что перед ней опять новая станция: двор был огромный, вдали под навесом стояли лошади и множество телег и кибиток. Они вошли в темные сени, где куры перепугали Аню, вылетая из-под ног. Мечиславский раскрыл дверь в какую-то кухню; Аня вошла за ним. Русская громадная печь тянулась прямо к окну; между им и печью было маленькое пространство, которое почти всё занимала старая толстая женщина, вооруженная обгорелым хватом, на который она, сложив свои руки, опиралась подбородком. Лицо толстой женщины поразило Аню. Оно было широко, черно, с крупными чертами; брови – густые, черные, с проседью; глаза – тускло-черные. Большая голова ее была повязана полинялым пестрым бумажным платком. Платье на ней было всё в заплатках; засученные рукава выказывали сожженные и перецарапанные локти. На груди покоился двойной подбородок, скрывавший совершенно горло. Дырявый передник туго стягивал ее талию. И эта фигура была освещена ярким пламенем топившейся печи, в которую она поминутно смотрела, хотя слезы текли у ней из глаз.

Старуха так была занята своей стряпней, что не заметила появления гостей. Когда Мечиславский сказал ей: «Здравствуйте, Акулина Саввишна!», она пугливо подняла голову и, как бы не веря глазам, вытерла их своей огромной ладонью и вскрикнула:

– Ах ты батюшки, Федор Лукич! ты ли это, родной?

– Как видите, Акулина Саввишна.

– Я ведь не спознала тебя, ах ты мой батюшка! Мы ведь уж думали, что ты померши.

– Не поминки ли по мне делаете?

– Эх-эх! такой же шутник! нет, по моем родном голубчике...

И старуха сделала кислую гримасу. Но вдруг она пугливо вскрикнула и чуть не



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
юркнула в печь с криком: «Ах, подгорел! батюшки мои, подгорел!»

В то же время из другой комнаты раздались звуки скрипки, наигрывающей казачка. Аня из любопытства заглянула в дверь, которая была раскрыта, и увидела следующую картину. По кривому полу небольшой комнаты, перед зеркалом, стоявшим на полу, выпрыгивала женщина казачка. Фигура ее была смешна до последней степени. Она была худощава, с талиею длины непомерной, с ногами толстыми и обутыми в красные полусапожки. Платье было подобрано кверху. На голове фуражка. Она танцевала под скрипку, на которой играл мужчина во фризовой шинели, сидевший между зеркалом и громадным комодом. Аня заглянула дальше и увидела еще женщину, сидящую на кровати, без башмаков, и курящую из огромного чубука. Она была с неубранной головой, в платье, страшно изношенном и похожем на халат. Черты лица ее, по своей резкости, напоминали толстую старуху; но она была худа, отчего лицо ее казалось непомерно длинно. К тому же оно было еще рябое и, однако ж, имело какой-то лоск. Рот был огромный, подбородок клинообразный, глаза без блеска, но черные как уголь; маленькие, густые как щетина, ресницы окаймляли их. Она курила и что-то громко читала; голос ее гармонировал со всей фигурой.

У окна мурлыкала третья женщина, похожая на сидевшую на кровати, только с такими жидкими волосами, что вся коса была зашпиlena двумя шпильками, торчавшими, как пики, на голове. Передние три волоска были в папильотках. Она имела, талию, кажется, еще худощавее прыгающей женщины, но была одета опрятнее; на коленях у ней были пришпилены подставные пукли, завивкою которых она занималась. Не было сомнения, что то были три сестры и дочери старухи, которая кричала:

– Лёна, Мавруша, Настя! Федор Лукич! Федор Лукич!

Три сестры с восклицаниями явились на кухню и стали здороваться с Мечиславским. Одна из них, заметив Аню, кинулась к ней, говоря:

– Это кто?

Аня так сконфузилась, что попятилась назад, не зная, что отвечать.

– Это моя двоюродная сестра; я привез ее из Петербурга и хочу, чтоб она у вас пожила некоторое время.

– А!.. сестра!.. – говорили сестры, и каждая измеряла Аню с ног до головы.

Тут Аня еще ближе рассмотрела их лица и убедилась, что нет ничего легче, как принять их одну за другую: так они были похожи между собою.

– Полюбите ее! – сказал Мечиславский.

Все три сестрицы кинулись к Ане и стали целовать ее. Старуха, вытирая губы, тоже подошла к ней и, низко наклонясь и поцеловав ее, сказала:

– Прошу любить да жаловать. Вот мои дочери. Это Лёна (указывая на сестру в красных полусапожках), а это Настя (с трубкой). А это Мавруша.

Дочери гордо поглядели на Аню и на старуху и попросили Аню войти в комнату, а сами они остались в кухне, – верно, расспрашивать Мечиславского об Ане.

Вошедши в комнату, Аня увидела мужчину во фризовой шинели, тихо игравшего на скрипке. Она поклонилась ему; но он не отвечал ей на поклон, хотя глаза его были устремлены на дверь.

Аня стала рассматривать комнату, пропитанную запахом курительного табаку, и нашла в ней ужасный беспорядок. Кровать, на которой недавно сидела Настя, была пересыпана табачным пеплом, а другая, стоявшая неподалеку, завалена подушками и периными и вместо одеяла покрыта двумя дырявыми ситцевыми капотами. Стены и потолок не отличались особенной чистотой, не говоря уже о поле. Мебели было немного: громадный комод с маленьким туалетом, напоминавший слона с сидящим на нем ребенком, старинный шкаф со стеклами, тоже оканчивавшийся комодом, два стола и несколько старых кресел, обитых кожей, от времени превратившейся в какую-то рыжую рогожу.

Платья, крахмаленные юбки висели по стенам, украшенным старыми модными

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a картинками, которые приколоты были булавками или прилеплены воском. Стекла у окон, так же как и зеркало, покрыты были пылью, а ервань паутиной.

Аня села на сундук, стоявший у двери, и слушала скрипку. Вдруг влетели сестры, страшно тараторя, и оступили ее, засыпая вопросами: «Это петербургское платье на вас?», другая кричала: «Почем?», третья, теребя ее за косу, спрашивала: «Своя?»

– Мавруша, погляди, какая гребенка! – сказала Настя и, без церемонии вынув из головы Ани гребенку, воткнула ее в свою косу, которую предварительно расчесала.

Но Мавруша не слушала ее, занятая не менее сестры: она вертела Ане ухо, говоря:

– Нет, Настенька, посмотри-ка, какие серьги!

– Петербургские? а? – спросила Лёна в красных полусапожках.

Аня кивнула головой, совершенно сконфуженная смелостью своих новых знакомок.

– Дайте мне сегодня надеть их, – сказала Лёна.

Аня вынула из ушей серьги и подала ей.

– А мне гребенку! – весело крикнула Настя и снова почесала ею свою голову.

– А мне-то что? – смотря тоскливо на Аню, спросила Мавруша.

Аня поспешила завернуть свою косу и заколоть роговым обломком, полученным в обмен гребенки, из страха, чтоб сестры и косы не попросили у ней надеть. И, желая отвлечь их от себя, Аня спросила о мужчине во фризовой шинели, который продолжал робко играть.

Лёна вместо ответа подскочила к нему и, выхватив у него из рук скрипку, причем едва не пострадали его зубы, бросила ее на комод и сказала:

– Ну, пошел на печь, Велисарий!

Мужчина во фризовой шинели торопливо встал и, простирая руки вперед, ощупью побрел к двери. Аня тут поняла, почему он не отвечал ей на поклон.

– Держи левей! – крикнула Настя, набивая себе трубку.

Слепой взял левее и стукнулся лбом о косяк. Сестры залились смехом, повторяя:

– Велисарий! Велисарий!

Чтоб прекратить смех, раздиравший Ане уши, она спросила их, кто он такой.

– Нищий! – отвечали сестры.

Сердце у Ани сжалось: она с ужасом подумала, как будет с ними жить.

Не прошло трех минут, как две сестры уже ссорились между собою, а третья – Настя, сидевшая на постели в облаке табачного дыму, поджигала ссорящихся.

Старуха, выглянув из двери, крикнула на них:

– Полно вам! посовеститесь чужого-то!

– Ну что не в свое дело-то суетесь!

И на старуху посыпались восклицания в том же роде. Она поспешно скрылась.

Из жаркого разговора сестер Аня ровно ничего не понимала, но краснела при каждом взрыве их смеха, догадываясь, что была его причиной. Старуха явилась с тарелкой блинов и стала потчевать ее, – достала из шкапа графинчик и рюмку и поднесла ей, упрашивая подкрепиться с дороги. Аня пугливо отказалась. Сестры продолжали ворчать на старуху.

– Ну, ну, раскаркались вороны! – ворчала старуха, ставя на место графин и рюмку, но уже пустую.

– Дайте-ка и нам блинов! – сказала Лёна, подходя к Ане, и, руками взяв блин у ней с тарелки, разом положила его в свой большой рот.

– Накрывайте на стол! – отвечала старуха.

– Мне некогда! – жуя, сказала Лёна.

– И мне тоже! – подхватила Настя, выпуская длинную струю дыма.

– Я не горничная! – обидчиво заметила Мавруша.

– Ну, по мне хоть без обеда будьте! – ворчала старуха, а между тем стала накрывать стол. Впрочем, ей не много было хлопот. Выдвинув на середину комнаты стол, она бросила на него несколько пар вилок и ложек, поставила два стакана, солонку, графинчик, – и через две минуты запах щей смешался в комнате с запахом табаку.

Сестры заняли первое место за столом. Старуха вернулась в сопровождении Мечиславского, который всё это время был в своей комнате наверху. Слепой также пришел к столу, и сестры посадили его между собою. Аня села против них с Маврушей; Мечиславский и старуха – на концах стола. Последняя обнесла Мечиславского, слепого и себя водкой и потом уже разлила щи по тарелкам.

– Что это какие холодные щи сегодня, – заметила Настя, подмигнув Ане, и, толкнув локтем слепого, сказала: – Ешь скорее.

Слепой взял ложку щей в рот и вдруг вскочил и весь побагровел.

Сестры покатались со смеху; Аня тоже не могла не улыбнуться, хоть ей и жаль было бедняка. Мечиславский искоса и сердито посмотрел на сестер.

– Маленькие, что ли? – заметила старуха, подавая кусок хлеба слепому, который, оправясь, сел на свое место и приготовился есть; но сидевшие возле сестры то брали у него хлеб, то ложку. Мавруша отодвинула его тарелку на середину стола; слепой тоскливо искал ложкой по столу, и, чуть касался тарелки соседок, они тотчас кричали на него.

Мечиславский, потеряв терпение, поставил на место тарелку слепому. Но это не подействовало на сестер: они украдкой от него продолжали мучить слепого.

– Не посолить ли? – спросила его Лёна.

– Не надо! не надо! – пугливо отвечал слепой, заслоняя руками тарелку, но Настя с другой стороны высыпала ему всю солонку.

Тяжелый вздох вырвался из груди слепого; он опустил руки, понурил голову и уже не пытался есть. Сестры, довольные результатом своих выходок, насмешливо поглядывали на него.

Щи и блины уничтожались сестрами весьма деятельно. Разговор за обедом шел о театре. После стола Мечиславский и слепой ушли, старуха начала в кухне убирать посуду. Аня осталась опять с сестрами. Настя, сев на кровать с трубкой, опять скрылась в облаке табачного дыма. Мавруша, привязав какую-то рыжую косу к спинке стула, стала ее заплетать. Лёна, достав из комода сверток серой бумаги, высыпала на колени каленые орехи и стала щелкать их.

Заплетая косу, Мавруша взяла с комода помадную банку и вышла из комнаты, говоря:

– Пойду-ка!

– Поди, поди, – выразительно заметила Настя, пуская ей вслед струю дыма.

– Уж твой табачище! – желчно сказала Лёна.

– Я думаю, от него никто не зеленеет, – отвечала Настя.

– Зато губы чернеют! – насмешливо перебила Лёна.

Настя сердито посмотрела на сестру и презрительно сказала:

– Ах ты, танцорка!

– А ты что, крикунья!

– Я не кривляюсь!

– Ну так орешь.

Ссора была прервана входом Мавруши, совершенно зеленой; она, шатаясь, едва дотащилась до стула и, качаясь, сидела. Рот ее был чем-то набит.

Аня было перепугалась, но Настя насмешливо спросила:

– Ну что, хорошо?

Мавруша ничего не говорила и мотала головой. Лёна, забрав скорлупу, вышла из комнаты, спрашивая Маврушу:

– Банка там?

Мавруша отвечала ей одним жестом.

Через пять минут Лёна возвратилась в комнату точно такая же бледная и, припав к перинам кровати, уткнула в них голову.

Настя, глядя на сестер, пожимала плечами и, обратясь к Ане, сказала:

– Этакие дуры: позеленеют как мертвецы, а всё рог чистят табаком.

Потом, набив свежую трубку, Настя предложила Ане покурить; Аня отказалась. Тогда Лёна и Мавруша схватили ее за руки и, жестами показывая на банку, едва внятно бормотали:

– Вычистите зубы.

Аня отказалась и от их угощения.

Когда пробило четыре часа, сестры закопошились и в комнате поднялся гвалт; они все разом желали открыть ящики у громадного комода. Через полчаса неутомимой ссоры они надели платки на голову, салопы, взяли по узлу под мышки и вышли из дому, раскланявшись с Аней. Аня думала, что они собрались в баню.

Не успели уйти сестры, как старуха подошла к шкапу.

– Не хотите ли кофейку? – спросила она. – Слава тебе господи, спровадила их; к ночи вернутся; пошли в киятор. Они невзрачные с лица у меня, зато уж какие добрые, какие мастерицы: что угодно представят. Вон Лёна: она на лихой лошади без седла ездит и не спознаешь ее, если по-мужски оденется. Нас все знают в городе. Вот уж годов пять, как они на кажинной ярманке представляют.

Старуха, рассказывая Ане их житье-бытье в городе, очень часто обращалась к шкапу. Аня стала замечать, что разговор ее не был последователен; от похвал дочерям она перешла к жалобам.

– Какое мое житье! Вот тридцать лет вдовствую. Мавруша грудная осталась. Своими трудами вскормила, – а какая благодарность?

И старуха, за неимением слез на глазах, вытирала нос своим передником.

Через несколько минут она принесла кофейник, весь черный, с длинной ручкой, и, поставив на стол, сказала:

– Я его еще до обеда сунула в печь. Узнали бы мои стрекозы, напали бы так... всё

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
говорят, что я бражничаю.

И, доставая из шкапа чашки, она опять стукнула пробкой графинчика. Лицо старухи стало принимать какое-то странное выражение; она силилась всё улыбаться, ходила пошатываясь. Аня сначала думала, что от неровного пола, но уверилась, что она, стоя на одном месте, качалась во все стороны, как корабль в море. Раз двадцать она делала ей один и тот же вопрос: «Маменька есть? аль сиротка, как и я?.. а батюшка жив?»

Они пили кофе, за которым старуха рассказывала ей о ценах провизии в городе и о том, что ее дочерей все знают, что они славно играют. Налив кружку кофе, старуха хотела понести ее; но рука у ней так дрожала, что кофе очутился бы на полу, если б Аня не поддержала кружки и не спросила куда отнести.

– На печь... как, бишь, его мои стрекозы зовут?.. Да! Висарий! к Висарию.

И старуха засмеялась и стала передразнивать, как слепой играет на скрыпке.

– Зови его сюда, скажи, что все ушли!!

И она размахнула руками и, притопывая, запела дребезжащим дискантом:

Во лузах, лузах...

Аня испугалась и кинулась в кухню, крича:

– Подите сюда, сойдите вниз!

– Кто там? что случилось? – спросил кроткий голос с печи.

– Сойдите, сойдите! – умоляющим голосом повторила Аня и в то же время прислушивалась к пению старухи, которая заливалась в другой комнате.

Слепой ловко спустился с печи и, тревожно поводя руками вперед, спросил:

– Что случилось?

Аня схватила его за руку и с ужасом отвечала:

– Мне страшно одной; пойдете!

– А-а! вы приезжая; по голосу вы должны быть молоды еще.

И слепой с грустью покачал головой.

Когда они вошли в комнату, то застали старуху опять у шкапа; завидя их, она закашлялась и стала передвигать в нем посуду, как бы приводя всё в порядок.

Аня посадила слепого у стола и дала ему кружку кофе, которую он поспешно выпил, как бы боясь, чтоб у него не отняли ее.

Старуха подсела к столу и, протирая глаза, сказала Ане:

– Ты не смотри на старуху... ну что делать! день-деньской наработаешься: ну, вестимо, что вечером захочется отдохнуть.

– Вы бы легли, Акулина Саввишна, – заметил слепой.

– Что-о-о? меня укладывать?!

И старуха грозно придвигалась к слепому; Аня невольно схватила его за рукав фризовой шинели и тащила в сторону.

– Не бойтесь! – шепнул ей слепой и ласково отвечал разгневанной старухе: – Полноте, Акулина Саввишна! даром что я слеп, а вижу, как вы с утра до ночи трудитесь.

Но гнев старухи не угас; стуча кулаком по столу, она кричала:

– Вот чужой человек, пусть скажет, я дурная мать, а? Я и выстирай, – продолжала она, с расстановкой считая по пальцам и загибая их, – я и выгладь, и постряпай, и убери.

Старуха грозно топнула ногой.

Аня перепугалась; слепой ласково заметил:

– Она добрая, это только так, в кураже говорит.

Старуха с сердцем бросила подушки с постели и проворчала:

– Ишь, на постель, говорят, не ложись! да я...

И, едва вскарабкавшись на постель, она продолжала ворчать:

– Стрекозы, трещотки! да погодите: я вас... я вас брошу, пойду в чужие люди жить!

Слова ее стали несвязны; наконец она заснула.

Аня и слепой сидели молча. Аня не могла оторвать глаз от старухи; ей всё казалось, что она видела сон, а не действительность перед ней.

Слепой наконец произнес: «Спит!» – и, обратись к Ане, спросил, надолго ли она приехала сюда.

– Не знаю, – отвечала она.

– Здесь вам будет трудненько ладить с сестрами; старуха-то еще добрая.

Лицо, голос слепого, манера говорить – всё располагало к нему Аню. Несмотря на его фризовую шинель, небритую бороду, она чувствовала себя с ним гораздо легче, чем с другими... может быть, и потому, что их положение в доме было одинаково.

– Давно ли вы потеряли глаза? – спросила она.

– Давно, очень давно. Мне кажется, что я даже начинаю забывать многие вещи, какую форму имеют они.

Боясь остаться одна со старухой, которая хоть и спала, но всё-таки пугала ее своим ворчаньем, Аня попросила слепого сидеть с ней. Она спрашивала его, как он очутился в этом доме, потому что, несмотря на всю бедность его платья, по лицу, голосу тотчас можно было видеть, что он не принадлежал к классу, в котором жил.

Аня разглядывала черты его лица: они ей кого-то напоминали; но кого? она никак не могла припомнить. Слепой был довольно худ, голубые глаза его, вечно устремленные вдаль, придавали его лицу тоскливо-тревожное выражение; даже небритая борода не делала его лица суровым. Фризовая его шинель с воротником подпоясана была красным кушаком; шея обмотана шерстяным вязаным шарфом неизвестного цвета. Худые смазные сапоги довершали его наряд.

Аня просидела с ним целый вечер, расспрашивая его о прежнем житье-бытье.

## Глава XXVI

### Дебют

Около одиннадцати часов раздался страшный стук в окно. Аня вскрикнула; но слепой успокоил ее, сказав, что вернулись сестры. Он закопошился, стал будить старуху, Аня пошла отворять дверь. Сестры с шумом вошли, спрашивая Аню, что она делала без них.

Аня отвечала, что спала, потому что слепого не было уже в комнате.

Настя, завидя сонную старуху, сидевшую на ее постели и протиравшую глаза, кинулась к ней и строго спросила:

– Зачем? я ведь сказала раз навсегда, чтоб вы не подходили к моей постели!

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Лёна, снимая салоп, заметила:

– Да просто запирать нашу комнату.

Мавруша, разбирая свой узел, распевала.

Старуха вскочила тревожно с кровати и кинулась к другой, с которой она в охапку схватила подушки, перину и стала бросать на пол, ворча:

– Ну, было тихо без вас, а вот и пошли! что я, съела, что ли!

И она стлала постель на полу, недалеко от кроватей.

– Кипяток готов? – спросила Лёна.

Старуха пугливо кинулась в кухню, в которой послышался треск лучины и запах дыму от самовара.

– Она ходила в шкаф без нас? – обратилась к Ане с вопросом Настя, набивая себе трубку и закуривая ее.

– Я не видала, – отвечала Аня.

– Где же вы сидели?

– Здесь.

– Ну так где же глаза-то были?

– Настя, оставь ее! – заметила Мавруша.

– Ну, ты, что суешься! – крикнула Лёна.

– Кричите, кричите, ведь наверх-то слышно, – отвечала Мавруша.

Самовар был готов, и сестры уселись за стол пить чай, который состоял из патоки и кипятку со сливками. Лица их поразили Аню своим странным цветом: они были белы, и яркий румянец играл на их худощавых щеках, что, однако ж, нисколько не украшало сестер; напротив, лица их навались Ане еще более страшными. По запаху кружек сестры догадывались, что старуха варила без них кофе, и решили, чтоб вперед запирать шкаф на ключ. Мавруша потчевала Аню чаем; но она не решалась пить его.

Старуха тем временем стлала постель; к кровати, с которой были сняты перины и подушки, приставила она несколько стульев и устроила довольно широкую кровать.

Сестры не удовлетворились чаем: они еще покушали блинов и потом уже стали укладываться в постели.

Настя, раздевшись, лежала на кровати и курила трубку.

– А где гостя ляжет? – спросила старуха у сестер, когда Аня вышла в кухню.

– А нам что за дело! – воскликнули сестры.

– Постыдитесь! ведь она, чай, не привыкла на полу-то валяться.

– Пусть привыкнет! – заметила Лёна, натягивая холстяной чепчик на голову.

Сестры рассмеялись.

Когда Аня возвратилась в комнату, Лёна сидела на кровати со стульями, снимала с себя башмаки и, выколачивая их, спросила ее:

– Вы на чем прежде спали?

Она не знала, что отвечать.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Вы спали когда-нибудь на полу? – спросила ее Мавруша, высунув свою голову, обтянутую в холщовый чепчик без всякой уборки, из-под ватного капота.

– Нет! – отвечала Аня.

– Ну так сегодня попробуйте! – заметила Лёна.

Старуха стала снимать со стены салоп – сестры в один голос закричали:

– Мой не трогать! и мой! и мой!

– Не ваш, не ваш! – ворчала старуха и, кряхтя, разостлала салоп на полу, возле перинки своей, на которую указав Ане, сказала:– Ляг, ляг, моя сиротинушка, возле старухи: нам теплее будет.

Аня была тронута добротой старухи, которая уступала ей свою постель, а сама ложилась на салоп; но в то же время Аня долго не решалась раздеваться; наконец она легла возле старухи, с которой была у ней общая подушка.

Всё скоро стихло в темной комнате. Аня далеко отодвинулась от старухи, которая во сне ворчала. В дороге Аня так привыкла к чистому воздуху, что долго не могла заснуть от душного воздуха в комнате, а особенно от табачного дыма. В голове ее прошедшее перепуталось с настоящим и с мыслями о неизвестном будущем; но усталость от длинной дороги взяла свое, и она заснула.

Утром Аня проснулась от говора сестер, и первое, что бросилось ей в глаза, которые она прикрыла рукой, была Настя с трубкой в зубах и в собственных юбках Ани. Лёна, с неубранными волосами, с сонным лицом, была одета в платье Ани и тужилась, желая его застегнуть. Мавруша, в своем чепчике, стоя на коленях на кровати и надев корсет Ани, прилежно шнуровала его.

– Не застегнешь! – поддразнила Настя сестру.

– Застегни, Мавруша, – говорила Лёна, совершенно побагровев.

– Убирайся! я сама хочу примерить корсет.

– Нужно очень тебе корсет на твои кости! – отвечала Лёна с сердцем.

– Тише вы... разбудите ее, – заметила Настя.

– Велика принцесса! – крикнула Лёна, и несчастное платье Ани затрещало в ее руках.

– Ну, разорви еще! – сказала Мавруша, вскочив на ноги на кровати и перевертывая корсет как следует.

– Что возьмет с меня, если я разорву! – отвечала Лёна.

– Нехорошо! – подхватила Мавруша и изо всей силы стала тянуть шнурки, которые наконец лопнули, при чем она вскрикнула пугливо: «ай!»

Сестры покатались со смеху. И сама Аня едва не расхохоталась: так забавна была фигура Мавруши с испуганным лицом. Заметив, что Аня шевелилась, сестры разоблачились из ее гардероба. Настя, подняв Анин башмак, сказала:

– Какая у ней нога-то – точно у ребенка, и какие затейливые повязки-то.

– А лицо-то у ней какое белое, – заметила Лёна.

– А коса-то, ужаси! – подхватила Мавруша, связывая шнурки у корсета Ани.

– Не врет ли он, что она его сестра? ну где ему иметь такую сестру! Она ведь точно барыня, – сказала Настя.

– Ведь он из купцов, и не из простых, – заметила Мавруша.

– Эка важность! знаем мы купчих-то: разве они такие! – с горячностью крикнула



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Лёна.

– Да ведь то петербургская, столичная! – перебила ее Мавруша.

Сестры замолкли; Аня сделала вид, будто сейчас только проснулась.

– Ну что, хорошо спать было на новом месте? – спросила ее Настя.

– А загадали ли вы? – перебила Лёна.

– Да я не знаю, как гадать, – отвечала Аня.

– Ложусь на новом месте, приснишь жених невесте! – скороговоркой сказала Мавруша.

Ане было совестно одеваться, потому что сестры не спускали с нее глаз. И Мавруша и Лёна предлагали ей почистить зубы табаком. Кофею было выпито сестрами ужасно много, после чего они все три ушли на пробу, оставив Аню в облаках табачного дыму.

Пришел Мечиславский, спрашивал Аню, хорошо ли ей, где она спала. Аня указала на кровать Насти, уверяла его, что ей весело и покойно. Но он плохо верил и объявил, что непременно сегодня же будет хлопотать о лучшем помещении Ани. Он еще сказал, что уже устроил всё насчет вступления своего в постоянный театр, в котором находился прежде.

Вечером он повел Аню в театр и поставил за кулисы. Здесь всё было ей дико, даже становилось иногда страшно, – особенно при первом появлении, когда все театральные сбегались смотреть на нее. Сестры стерегли ее и бранились, если кто из актеров приходил в ту кулису.

Ане очень понравилась пьеса, где играл Мечиславский; но сестры, все три, были ей ужасно смешны.

Когда Аня возвратилась домой, сестры желали знать, кто из них больше ей понравился. Она удовлетворила всех, сказав каждой, что она.

Аня стала каждый вечер ходить в театр. Сестры пожелали было обратить ее в горничную; но Федор Лукич запретил Ане и сказал сестрам, что она не жила еще в горничных. Неизвестно почему, Лёна ужасно рассердилась на него, бранилась с Аней несколько дней и всё повторяла: «Еще не жила в горничных, так будешь!»

В то время готовился бенефис Мечиславскому; он, бедный, ужасно хлопотал, возился с сестрами, проходя с ними роли. Лёна особенно злила его. Аня прочитывала тоже сестрам роли. Всякое утро слепой играл на скрипке англез, и Лёна выпрыгивала его с каким-то танцором, очень фамильярно обходившимся в доме.

За два дня до бенефиса Лёна, чтоб отмстить Мечиславскому, объявила, что она больна и не может играть в его бенефисе; а ее роли некому было передать. Мечиславский был в отчаянии, тем более что билеты были до половины разобраны, да притом перемены раз срок, так потом и не добьешься толку; и с другими актерами и актрисами могли легко случиться разные недуги. Аня тихонько от сестер предложила ему свои услуги; роль Лёны она знала наизусть, а вместо танцев могла бы пропеть какой-нибудь романс. Аня потому так смело решилась выходить на сцену, что к сестрам публика была снисходительна. Мечиславский долго не соглашался; но Аня так упрашивала его, что он с досадою согласился. Когда она прочла ему роль, он остался совершенно доволен, хвалил ее, говоря, что Аня могла бы быть хорошей актрисой.

За обедом сестры спросили Мечиславского, отложил ли он свой бенефис.

– Я не раньше как через неделю могу играть, – важно заметила Лёна, кушая с большим аппетитом на постели.

– Тогда будет поздно!

– Я не могу! слышите! – крикнула Лёна.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Да я вас и не прошу, как вам угодно, – холодно отвечал Мечиславский.

Остальные сестры были против Лёны, потому что им хотелось блеснуть в больших своих ролях, и они поспешно спросили:

– Так кто же будет играть ее роль-то?

– Вот желает! – указывая на Аню, отвечал Мечиславский.

Аня покраснела.

Сестры вытаращили на Аню свои страшные глаза; а Лёна, соскочив с постели, кинулась к ней и дерзко сказала:

– Что, вы думаете роли мои отбивать!

– Лёна, Лёна! – крикнули сестры и старуха; а Мечиславский, весь вспыхнув, вскочил со стула и, взяв Лёну за руку, отвел от Ани и тихо, но выразительно сказал:

– Прошу оставить ее в покое, – я сам придумал отдать ей роль, потому что вы отказались от нее.

Лёна заплакала, сестры стали усовещивать ее, она с ними перессорилась, так что обед не кончился.

Когда Аня явилась на репетицию, никто не хотел как следует репетировать, потому что всё шли толки о ней.

Аня занялась своим туалетом, сшила себе кисейную рубашку, черный бархатный корсаж и коротенькую красную юбку. И когда она примерила свой костюм, то нашла, что он лучше идет к ней, чем простое платье.

Мечиславский в день представления был в ужасном волнении за Аню; Аня же ровно ничего не боялась. Он сам нарумянил ее, и когда она вышла одетая на сцену, все актеры предрекали ей успех.

Ане надо было по роли выбегать на сцену: она смело подбежала к рампам, но как взглянула в партер, у нее зарябило в глазах. Стали аплодировать; Ане сделалось так страшно, что она чуть не расплакалась. Вышел Мечиславский на сцену и объявил, что по болезни Щекоткиной 2-й роль ее будет занимать девица Любская.

Раздались страшные аплодисменты, и Мечиславский велел Ане поклониться. Аня сделала реверанс; ей начали кричать «браво! браво!» Сердце Ани билось, руки дрожали; но она не оробела и играла развязно для первого дебюта.

Аня слышала множество похвал себе, долетавших до нее из кресел. И когда она пропела романс, после которого ей ужасно зааплодировали, она уж сама стала раскланиваться с публикой. Мечиславский из-за кулис кричал ей, чтоб она повторила. Аня снова начала романс; потом ей пришлось повторить его еще в третий раз, после чего она так устала, что едва говорила.

Когда Аня сошла со сцены, актрисы и актеры обступили ее, поздравляли с успехом.

Один только Мечиславский ничего не сказал ей и сердито смотрел на всех.

Послышались восклицания на сцене: «Семен Иваныч! Семен Иваныч!» И Аня осталась одна посреди сцены; толпа отошла от нее на некоторое расстояние. Через минуту к Ане начал приближаться – как ей показалось – кто-то вроде мальчика в сопровождении лакея-гиганта. Но когда они подошли ближе, Аня увидела свою ошибку. Вместо мальчика перед ней стоял старик, который весь трясся от старости. Лицо его было всё в складках. Маленький его рот скрывался в двух складках у щек. Прическа его состояла из двух длинных тощих прядей выкрашенных волос, зачесанных с затылка на лысую голову, крестообразно положенных наперед и с каждого бока заколотых дамской пучковой гребенкой. Глаза его были мутно-желтого цвета, но не лишенные блеску; спина его была сгорблена. Он одет был в черный фрак с высоким воротником; на ногах – плисовые высокие сапоги. Галстух, необыкновенно высокий, затягивал его горло, и огромные воротнички рубашки, туго накрахмаленные,

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a  
впиваясь в его дряблые щеки и затылок, казалось, поддерживали голову, чтоб она  
не упала на сторону.

Он подошел к Ане и, делая ей ручки, сказал:

– Мило! ай да... мило! А как тебя зовут?

Семен Иваныч взял ее за руку.

Аня покраснела и молчала; кто-то дернул ее за платье: то были Настя с Маврушей.

– Ишь какая ручка-то! – говорил Семен Иваныч.

Сестры смеялись. Ане стало ужасно неловко; она попятилась назад; но сестры толкнули ее на прежнее место.

– Куда, душенька? покажи-ка ножку свою.

– А косы-то! – сказала Настя, перекидывая их на грудь Ане.

– Славные, славные! – твердил старик.

Сестры, смеясь, заметили:

– Не бойтесь, свои, право свои.

Семен Иваныч погрозил им.

Аня выдернула свои косы из его рук и хотела идти.

– Ты меня стыдишься?

И он погладил Аню по плечу.

Подошел Мечиславский, которому Аня ужасно обрадовалась. Семен Иваныч гордо отвечал ему на его поклон и спросил:

– Откуда ты достал такую красавицу?

– Это моя сестра из Петербурга.

– Я ее не отпущу с тобой: пусть она здесь останется; ты можешь уехать с труппой. Я ее не пущу, не пущу!!

И Семен Иваныч закашлялся. Лакей поддерживал его под одну руку. Аня воспользовалась этою минутою и пошла от старика, который махал руками, верно желая, чтоб Аня еще осталась; но Аня убежала со сцены и спряталась за кулису.

В антрактах Семен Иваныч страшно надоедал Ане своими расспросами: кто был ее отец, где она воспитывалась, а больше всего бесил ее своими ласками и названием «крапивка», которое дал ей экспромтом. Он повторял поминутно: «Крапивка, молодая крапивка!»

По окончании спектакля Аню вызвали. Ни успех ее, ни полный сбор – ничто не развеселило Мечиславского. Он сам проводил Аню домой в кибитке, в которой они совершали свое путешествие, и просил, чтоб она закутала лицо, садясь в нее...

Сестры ужасно сердились на Аню, вероятно за успех; а Лёна так просто кричала, что она проучит по-своему ту, кто станет ее роли играть еще. Напрасна была угроза: Мечиславский, благодаря Аню за участие в его бенефисе, сказал, что он желал бы, чтоб она больше не играла на ярмарочном театре, потому что еще слишком молода и не так воспитана. Это огорчило Аню: сцена ей очень понравилась.

На другое утро сестры, даже Лёна, ушли на репетицию. Аня осталась со старухой одна. Старуха, стряпая, ворчала на дочерей: слепой пикирал на скрипке, которую Аня дала ему, как ушли сестры... Вдруг вбежал Мечиславский, страшно встревоженный, и сказал Ане поспешно: «Спрячьтесь!»

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Аня так испугалась, что забегала по комнате.

– Что случилось? что такое? – кричала старуха.

– Сюда идет! спрячьте ее! – отвечал Мечиславский старухе, которая, вытаращив глаза, сказала:

– Да куда я, батюшка, ее спрячу? разве в чулан.

– Нет, она может встретиться с ним! – в отчаянии говорил Мечиславский, тоскливо ища вокруг себя место, куда бы могла скрыться Аня.

– На печь, Федор Лукич! – вдруг сказал слепой.

– Скорей, скорей! – радостно воскликнул Мечиславский.

И посадил Аню к слепому на печь, а старухе сказал:

– Я вам куплю обновку: скажите, что она пошла гулять.

И он вздохнул свободно и, повторив старухе свое обещание, вышел из кухни. Сердце у Ани страшно стучало, и холодный пот выступал на лице. Она была уверена, что он прятал ее от бывшего ее благодетеля, Федора Андреича. И она чуть не вскрикнула, когда послышались голоса и шорох в сенях. Дверь раскрылась, и сестры с шумом вбежали, крича:

– Семен Иваныч идет! Семен Иваныч!

Аня радостно встрепенулась, и ей сделалось смешно и весело, когда она услышала голос Лёны, кричавшей старухе:

– Где же она? где же она?

– Наша гостья пошла гулять, – нерешительно отвечала старуха.

– Пожалуйте-с! пожалуйста-с! – говорила Настя у дверей.

Аня не могла утерпеть, чтоб не взглянуть с печи вниз. Семена Иваныча раздевали лакей и сестры, кроме Лёны, которая кричала на старуху, зачем она пустила Аню гулять.

– Да она, как вы ушли, и говорит мне: я пойду да погуляю, – я ей и говорю: походи погуляй.

Старуха видимо путалась, и если б сестры прикрикнули на нее, то она, верно, выдала бы Аню. Но сестры страшно растерялись известием, что Ани нет дома, и всё свое внимание сосредоточили на старике, который спрашивал:

– Да где же она? где крапивка-то?

Лёна объявила ему, что Аня ушла гулять. Семен Иваныч сделал строгий выговор сестрам, зачем они пускают Аню одну, потому что на ярмарку всякого народу приезжает, и прибавил строго:

– Смотрите, завтра приеду, чтоб была дома!

Когда Семен Иваныч и сестры ушли из дому, Аня сошла с печи и, одевшись, пошла тоже погулять. Мечиславский, догнав ее, объявил ей, что она более не должна и дня оставаться у старухи, и в волнении произнес:

– Если вы не боитесь ехать одна в город NNN, то, с богом, поезжайте! завтра рано утром всё будет готово. Я же приеду по окончании ярмарки. Я вам дам адреса любителей тамошнего театра; если вы желаете, то можете легко поступить на сцену. Так как меня там все уж знают, то вы не можете слыть за мою сестру, и потому, я думаю, всего лучше скрыть, что мы знакомы с вами.

Аня повиновалась с радостью распоряжению Мечиславского: она не могла не заметить, что сестры с каждым днем ненавидели ее более. С вечера все платья и

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
вещи Аня были собраны и лежали на печи у слепого, который один знал тайну: Аня  
должна была уехать тихонько.

Аня не могла заснуть от волнения и целую ночь думала, что еще ждет ее впереди. Когда утро забрезжило, Аня услышала кашель слепого: то был условный знак, что всё готово и ей пора выходить. Она бросила прощальный взгляд на суровые лица спящих сестер и на цыпочках прокралась в кухню. Слепой осторожно вывел ее в сени, где Аню ждал Мечиславский. Она простилась со слепым, который при этом расплакался и, сунув ей какое-то письмо, сказал:

– Ну вот я решился послать письмо, о котором вам говорил, – только из другого города, чтоб не догадались.

Они сели в кибитку далеко от дому. Мечиславский был мрачен и, прощаясь с Аней у заставы, так побледнел, что она перепугалась. Он просил ее быть осторожной в городе NNN, если она вступит на сцену; не дружить с кем из актрис и актеров, кроме Остроухова; и много, много он говорил ей о том, как вести себя в театральном кругу. Аня слушала его со вниманием и благодарностью; с той минуты, как он перестал быть ее женихом, она чувствовала гораздо сильнее все его жертвы и всю его доброту. Они простились без слез, очень скоро; но зато долго потом Аня была под тяжелым впечатлением. Подушки, запах кушанья в кибитке – всё это показало Ане, до чего Мечиславский был внимателен к ней. Но когда она стала считать деньги в портфеле, который он дал ей при прощанье, то насчитала в нем так много денег, что хотела вернуться и отдать ему половину их; но другое неожиданное открытие страшно поразило ее и отвлекло от этого намерения. Письмо, данное ей слепым, она кинула в ридикюль свой не посмотрев. Теперь, вынув его, чтоб положить вместе с деньгами, она прочла, кому оно было адресовано: оно было на имя Настасьи Андреевны, в деревню Федора Андреича... Аня распечатала его, уже отгадывая половину, в чем дело, и узнала, что слепой был отец Петруши... Еще в деревне Федора Андреича Аня часто слышала от прислуги, что Петруша был приемыш, что он очень похож на учителя-немца, который воспитывал Федора Андреича...

Прибыв в город NNN, Аня дебютировала на тамошнем театре под тем же именем девицы Любской, которое приняла, выступив в первый раз на сцену на ярмарочном театре в бенефис Мечиславского...

Остальное известно читателю, и теперь мы можем приступить к продолжению рассказа.

## Глава XXVII

Новое торжество Любской и болезнь Мечиславского  
После бенефиса Ноготковой, в котором Мечиславский и Любская претерпели страшное поражение, устроенное партией Ноготковой, Любская чрезвычайно выиграла во мнении местной публики. Как актрису публика очень любила ее и была возмущена несправедливостью Ноготковой и ее приверженцев. Их выходка произвела говор не только за кулисами, но и в целом городе. Калинин сильнее всех кричал против Ноготковой и ее поклонников. Он явно стал в главе защитников Любской. И скоро разнеслись слухи, что он готовит ей какое-то неслыханное торжество. Любская мало доверяла искренности своего защитника, но за неимением лучшего старалась казаться признательной, принимала Калининского и слушала терпеливо его нежные объяснения.

Она твердо решила оставить город, но желала сойти со сцены с торжеством, уничтожив своих врагов. Контракт с содержателем театра кончился; она была свободна и ждала только выздоровления Мечиславского, чтоб объявить ему о своем намерении, которое тщательно скрывала, делая потихоньку приготовления к отъезду.

К Мечиславскому она посылала каждый день разные легкие кушанья. Остроухов, верно не желая огорчить ее, каждый раз на вопрос Любской: лучше ли больному? – отвечал: «Всё так же». И, слишком занятая собственными делами, Любская думала, что дурного ничего нет.

Настал день, в который Любская должна была явиться на сцену в первый раз после страшного своего поражения. Ноготкова еще накануне слегла в постель, чтоб не играть в тот вечер, но поклонникам своим отдала строжайшее приказание немилосердно шикать Любской.

В то утро лицо Калининского было так озабочено, как будто он сам готовился

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
выступить на сцену. Цвет лица его был желтоват, руки без колец; он  
глубокомысленно писал записки, вкладывая их в пакеты вместе с театральными  
билетами, грудой лежавшими перед ним на столе.

Даже в лоснящемся, красном лице камердинера что-то было тревожное; несколько раз  
делал он совершенно не то, что приказывал ему барин.

– Да ты так всё перепутаешь! – заметил Калининский.

– Будьте покойны-с: ведь не в первый раз, – приторно улыбаясь, отвечал  
камердинер.

– Разнеси эти письма по адресам, – вставая, сказал Калининский и так выпрямился,  
что грудь его казалась гигантской.

– Слушаю-с! – отвечал камердинер, прибирая на столе бумаги.

Калинский, рассматривая себя в зеркало, уныло говорил:

– Что это как я захопотался, какой болезненный цвет лица у меня сегодня? шляпу!  
– закричал он громко. – Подана ли лошадь?

– Давно-с! – отвечал камердинер, подавая шляпу.

Калинский надел ее перед зеркалом и, отойдя на три шага назад, строго смотрел на  
себя.

– А... а!.. Да есть ли у тебя знакомые дамы? кого же ты посадишь в ложу? – вдруг  
спросил Калининский, обращаясь к своему камердинеру.

– Как же-с, есть!

– Кто же такие?

– Да бывшая горничная госпожи Любской и ее родственницы.

– Неужели у тебя нет другого знакомства? – с неудовольствием заметил Калининский.

– Как же-с, есть-с, но оно-с на взгляд не то будет. У Елены Петровны очень  
хорошие платья есть и наковки разные.

Калинский улыбнулся.

– Пожалуйста, вели им одеться поскромнее, – перебил он и продолжал повелительно:  
– Ты прячься за них, как будешь бросать букеты, да скажи всем твоим знакомым,  
кому роздал билеты, чтоб без толку не шумели, а аплодировали бы, когда в первых  
рядах начнут. При вызовах и когда она появится, могут кричать сколько угодно,  
стучать даже. А ты брось два или три букета, как только она покажется на сцену.  
Да смотри ловчее, чтоб между лампами не сел. Заезжай также в оранжерею к \*\*\* и  
скажи садовнику, что я знать не хочу, чтоб мне был огромный венок из роз.

– Слушаю-с.

Калинский пошел уже к двери, но остановился и сказал:

– Да еще пять билетов осталось, так раздай своим.

– У меня-с больше уж нет знакомых, всем дал, а вот не позволите ли Дмитрия и  
Василья...

– Я боюсь, чтоб они не наделали глупостей! – заметил Калининский.

– Нет-с, ведь они уж были раз в театре: смирно будут сидеть.

– Ну, пожалуй; только ты будешь за всё мне отвечать.

С этими словами Калининский вышел из дому. Он поехал к ювелиру взять браслет,  
заказанный для поднесения вечером Любской по подписке. Сумма составила очень

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
значительная, и браслет вышел удивительный. Взяв его, Калинин приехал к одному  
богатому молодому театралу, у которого условились они завтракать. Много было  
толков, как и в какое время поднести удобнее подарок, и наконец решили  
большинством голосов возложить эту важную обязанность на Калининского. Старый  
театрал принял ее с живейшей признательностью.

– Господа, надо сделать ее торжество на славу, – сказал он.

– А что? как? – спросили некоторые.

– Вот, видите ли, какая разница между молодым театралом и опытным. Я думаю,  
никто из вас не позаботился о букетах.

– В самом деле! Удивляюсь, как мне не пришло в голову! – в отчаянии воскликнул  
хозяин.

– Нет, как мне не пришло! Я двадцать тысяч истратил на цветы! – гордо сказал  
молодой человек с усиками.

– То есть всё свое состояние, – заметил кто-то вполголоса.

Но насмешливое замечание было услышано и чуть не произвело дурных последствий.  
Началась ссора и, может быть, кончилась бы плохо, если б Калинин не призвал на  
помощь своего красноречия: он объявил, что теснейшая дружба должна скреплять  
людей, связанных одной благородной целью, и провозгласил тост за примирение  
врагов: все перецеловались. Каждый поверял свои сердечные тайны другому, и никто  
не сердился, если встречал в друге соперника: напротив, в таких случаях объятия  
были пламеннее и всё заключалось восторженным восклицанием:

– Как я рад, что она и тебе также нравится!

– Господа! чтоб поправить непростительную вашу оплошность, я велю поставить у  
входа в креслы корзину с букетами: желающие могут бросать!

– Bravo, bravo!

И довольные юноши осушили бокалы за здоровье Калининского и объявили его своим  
«старостой». Калинин был тронут до слез. Давно уже он не играл первой роли на  
пирушках у молодежи, и этот день живо напомнил ему его молодость, богатство,  
победы; ему казалось, что с лица его исчезли морщины, что карман его полон  
деньгами и что его ждет блестящая будущность. Потрясенный душевными волнениями,  
старый театрал уехал домой, чтоб отдохнуть перед спектаклем.

Любская смело вышла из уборной под громом восклицаний, раздававшихся в кулисах:

– Да, счастливая!.. да, несчастная!

Последнее, вероятно, относилось к Ноготковой.

Деризубова кричала за кулисами:

– Посмотрим, посмотрим, как ее опять зашикают!

– Да, зашикают, – заметил Ляпушкин, увиваясь около Любской. – Не умрите только с  
досады!

И, глядя с умилением на Любскую, он вкрадчиво продолжал:

– Ах, какая вы красавица сегодня, маменька, ну, настоящая королева.  
Подрумянь-ка! – прибавил он, подставляя щеку, испещренную бородавками,  
горничной, которая сопровождала Любскую с румянами в руках. – Подцвети,  
подцвети, голубушка!

– Подите! разве мои румяны! – отвечала горничная.

– Маменька, позвольте! – жалобно сказал Ляпушкин.

– Даша, нарумянь его! – сказала, отходя, Любская.

Ляпушкин подставил горничной щеки и, гримасничая, говорил:

– Не жалея чужого добра. Да дай я подержу графинчик... что тут? лимонад, что ли?.. ловчее будет румянить!

И, взяв питье из рук горничной, Ляпушкин приложил графин к своим губам.

– Что вы? как можно! – вырывая графинчик, кричала горничная.

Но Ляпушкин крепко захватил губами его горлышко. Деризубова поминутно ходила мимо Любской и, дерзко поглядывая на нее, всё твердила:

– Посмотрим, как-то нынче улепетнешь.

Театр наполнился прежде поднятия занавеса; множество народу воротилось, за недостатком билетов; касса еще до обеда была заперта. Нет сомнения, что и без содействия Калининского Любская была бы принята хорошо. Впрочем, в провинции, где богатый класс невелик, букеты и подарки в торжествах актрис и актеров всегда принадлежат одному лицу.

При появлении Любской на сцене раздались рукоплескания; но, как ни были они громки, между ними всё-таки явственно слышался пронзительный свист. Тогда началась борьба и кончилась торжеством публики: аплодирующие победили свиставших! Букеты посыпались на Любскую. Калининский, забыв всякую осторожность, махал руками в ложу, где важно сидела Елена Петровна с другими подобными ей дамами. Лоснящееся лицо камердинера поминутно высывалось из-за их голов, и букеты летели на сцену. Вместо трех было брошено десять. С полчаса продолжались крики и аплодисменты. Любская так была потрясена ими, что вся дрожала, и когда Калининский передал ей через музыкантов браслет, после чего плавно упал к ногам торжествующей актрисы огромный венок из роз, – Любская кинулась поднять его, упала на колени, и слезы потекли из ее глаз. Она, рыдая, убежала со сцены; за кулисы ей сделалось дурно. Занавес опустили, – публика всё еще вызывала и, как разволновавшееся море, не скоро пришла в спокойное состояние.

Многие актрисы прослезилась, хлопоча около Любской, которая скоро пришла в себя и спешила подрумянить свое лицо.

Толпа собралась около нее; многие из актрис теребили букеты, другие рассматривали браслет, и восклицания: «Да, счастливая! Да, весело!! Да, страсти!!!» – сыпались градом.

Деризубова, вытирая слезы умиления, кричала Любской:

– На радости изволь угощать! не скупись, сударыня!

– Да, да! – вторили ей.

– Да вели же принести вина! – тараторила Деризубова, толкая горничную Любской.

– Вот славно! тра-ла, тра-ла! – плясал Ляпушкин.

– Готова ли? пора, пора! – кричал содержатель театра.

При появлении его толпа расступилась. Любская опять явилась на сцену и была встречена новыми рукоплесканиями. Свист и шиканье только сильнее разжигали публику. Враги Любской напоминали птичников, которые своим свистом поддразнивают жаворонков к пению.

В то самое время Мечиславский лежал без всякой надежды на выздоровление. Доктора давали лекарство более для виду, не находя средств прекратить воспаление. Больной уже три дня не приходил в память. Наконец он вдруг подозвал Остроухова и едва внятно прошептал ему:

– Отчего мне всё душно?

– Раскрыть дверь? – спросил Остроухов, обрадовавшись, что больной не бредит.



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Мечиславский замотал нетерпеливо головой и сказал тоскливо:

– Я чувствую... что я очень нездоров... так прошу тебя, исполни мою волю.

Остроухов давно был приготовлен докторами к потере друга; но, услышав от него самого подтверждение печальной истины, он страшно испугался и стал уверять больного, что опасности нет; ему самому казалось невероятным, невозможным, чтоб Мечиславский не выздоровел.

Больной терпеливо выслушал Остроухова и сказал:

– Ну, всё лучше распорядиться.

– Да полно, Федя.

– Я прошу тебя не тратиться на похороны.

– Боже мой! – раздирающим голосом воскликнул Остроухов.

Больной продолжал:

– Деньги, часы – всё, всё отдай ей.

– Кому? – поспешно спросил Остроухов.

– Любской... – прошептал больной.

– Не хочешь ли ты ее видеть?

– Нет! нет! мне и так страшно! – довольно громко сказал Мечиславский, и глаза его снова блеснули диким огнем – предвестником бреда.

Остроухов, близко склоняясь к лицу больного, смотрел ему в глаза, как бы стараясь прочесть в них что-то. Умиравший тоже смотрел на него. Они с минуту оставались в этом положении. Мечиславский обхватил слабой своей рукой шею Остроухова; Остроухов еще ближе нагнулся, думая, что больной желает что-нибудь сказать ему, но почувствовал пылающие губы больного на своей щеке. Больной пролепетал:

– Не оставь ее, она моя нев...

Остроухов, рыдая, припал на грудь больного, который начал метаться и стонать.

Старый актер кинулся из комнаты, заглушая свои рыдания, и в темной комнате дал волю своему горю. Но вдруг ему послышались чьи-то крики; он вошел в комнату и увидел Мечиславского в страшном состоянии: он сидел на кровати и отмахивался руками, крича:

– Прочь, прочь, пусти, я хочу ее видеть! пусти, пусти меня!

Остроухов не знал, что ему делать. Он клал лед на голову больному, но больной сбрасывал его, жалуясь, зачем ему кладут камни на голову. Он стал звать Любскую, плакал, что ее не хотят пустить к нему.

На Остроухова самого напал неопределенный страх; он кинулся из комнаты на улицу и побежал в театр. Его появление за кулисами произвело общее волнение. В халате, сверх которого накинута была шинель, с лицом, страшным от бессонных ночей и горя, он бросался из кулисы в кулису и, задыхаясь, повторял:

– Где Любская? где она?

– Она на сцене!.. да что случилось?.. что такое? – спрашивали его.

Но Остроухов никому не давал ответа и, завидев Любскую, сходящую со сцены, кинулся в ту кулису.

Лицо Любской выражало полнейшее счастье, когда она вошла в кулису, и вдруг оно побледнело, несмотря даже на румяны. Любская вопросительно смотрела на

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Остроухова. Испуганный ее бледностью, он молчал, не зная, как сказать ей, что Мечиславский умирает. Но Любская сама догадалась и с ужасом спросила:

– Что с ним? что случилось?

– Он зовет тебя! – глухим голосом отвечал Остроухов.

– Ах, боже мой! я не могу!.. Что ему, разве хуже?

– Да; он хочет тебя видеть.

– Госпожа Любская, вам выходить! – вбегая в кулису, закричал режиссер.

– Сейчас! сейчас! – торопливо отвечала Любская и умоляющим голосом произнесла, глядя на Остроухова: – Что мне делать!.. он, верно, очень болен... господи!

– Госпожа Любская! – кричал режиссер.

– Я приеду после спектакля! – побежав от Остроухова, сказала Любская, но вдруг повернулась опять к нему и торопливо крикнула: – А!.. возьмите у Даши ключ от моего туалета: там найдете кольцо. Отдайте ему и скажите, что я прислала...

– Госпожа Любская! – отчаянным голосом еще раз крикнул режиссер.

– Иду! иду!!

И Любская исчезла; через две минуты звучный ее голос раздавался на сцене.

Остроухов возвратился домой с кольцом. Он не знал, как подать его больному, который всё еще метался и жаловался, что его привязали к постели и не пускают к Любской.

– Она тебе прислала кольцо, – сказал Остроухов, подходя к больному.

Больной схватил его, долго разглядывал и, надев на свой исхудалый палец, прижал его к губам.

Через несколько минут он говорил Остроухову:

– Я счастлив: она не сердится на меня, когда я целую ее руку!

И Мечиславский судорожными поцелуями осыпал свою собственную руку, на которой было надето кольцо.

Остроухов сидел у изголовья больного и следил машинально за движениями его. Он так сам истомился, что не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой и ему казалось, что он лишился даже способности говорить.

А между тем в театре раздавались рукоплескания: Любскую вызвали еще по крайней мере десять раз; крики восторга, рукоплескания и букеты совершенно изгнали из головы счастливой актрисы, что ее ждет умирающий. И только войдя в уборную, она вспомнила о нем и, не передеваясь, поехала в квартиру несчастных друзей.

После блеска и шумных криков она вошла в тихую комнату, тускло освещенную; душный воздух, пропитанный лекарствами, захватил ее дыхание. А бедность, увеличенная долгим беспорядком, оковала ее. Она стояла в дверях, как бы страшась перешагнуть порог.

– Войдите! – хриплым голосом произнес Остроухов, сокрытый в мраке.

Любская робко подошла к больному и с ужасом отшатнулась назад. Цветы выпали у ней из рук, и она в отчаянии сказала:

– Неужели это он?!

– Ага, ты не узнала его! – заметил Остроухов, подымая с полу букеты, и язвительно прибавил: – Как раз, чтоб украсить гроб!

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a  
Суровый голос Остроухова, полный упрека, смутил Любскую, и, как будто ища защиты, она кинулась к больному и назвала его по имени.

– Теперь поздно! – резко заметил Остроухов.

Но больной открыл глаза и тяжело вздохнул. Любская дрожащим голосом спросила его, узнал ли он ее.

– Кто это? – тихо сказал Мечиславский.

– Любская!

– Неправда! – отвечал больной и закрыл глаза.

Любская с плачем упала на колени у постели.

– Ну, полно, что плакать без толку! всё кончено!

– Господи! неужели и он погибнет! – в отчаянии воскликнула Любская.

– Что же делать! никто не виноват в его смерти, – ласково отвечал Остроухов, сжалась над рыдавшей, которая с воплем произнесла:

– Не вините меня: я ни в чем не виновата!

– Перестань! не мне тебя обвинять. Я сам, может быть, на своем веку много зла сделал людям... Это у меня так сорвалось с языка.

И Остроухов сел в ногах больного и повесил голову на грудь.

Любская продолжала рыдать; больной застонал.

– Не беспокой его своими слезами хоть в последние минуты! – сказал Остроухов с прежней суровостью.

Любская стоном заглушила свои рыдания и, быстро сев у изголовья больного, с ужасом глядела на исхудалое и помертвелое лицо его. И когда больной затих, Любская гордо сказала:

– Если б вы знали мою жизнь, вы не говорили бы так со мной!

– Жизни твоей не знаю; но мне хорошо известно, что ты была обручена с ним.

Коротко и вполголоса рассказала Любская Остроухову первые годы своей жизни – как она воспитывалась у своего дедушки, пока не постигла их горькая нищета, как потом переселились они в деревню, как жили у Федора Андреича и почему оттуда удалились.

– Остальное вы, верно, знаете от него, – заключила Любская.

Остроухов заметно был поражен рассказом Любской; поглядев на больного, он печально сказал:

– Но он? он ведь не был виноват ни в чем перед вами!

– Я его никогда не винила. Если я не могла любить его, так единственно потому, что слишком еще живо рисовалось передо мной воображаемое счастье, которого я ждала в будущем. Я решалась пожертвовать собою, но сил у меня не хватало! И вот в чем я виновата!

– Да ты тогда сама еще так молода была, – заметил Остроухов.

– Теперь я много уже видела людей. Я скорее бы оценила его. Но тогда, погруженная в свое горе и возмущенная поступками со мною, вдруг я вижу человека, совершенно чуждого мне, который требует моей вечной любви. Если бы у меня были средства, я возвратила бы ему все его издержки и думала, что ничем не обязана ему. Но, оставшись нищей, в незнакомом огромном городе, чем я могла заплатить ему, как не согласиеш выйти за него замуж? Я даже боялась сначала, не вынуждено

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
ли его предложение моим положением: мне всё казалась невероятною любовь, родившаяся так скоро. Но его радость была так безумна... а права его как жениха испугали меня, и я... я получила непобедимое отвращение к нему!

Любская, как бы устыженная, закрыла свое лицо руками.

Остроухов, покачивая головой и смотря на неподвижное лицо больного, иронически сказал:

– Бедный! ты, верно, забыл, что ты ярмарочный актер. И туда же вздумал...

– Нет, вы слишком дурно обо мне думаете! – с жаром прервала его Любская и потом продолжала с грустью: – Тогда я так мало видала людей, что мысль сделаться женою актера не могла меня испугать.

– А теперь? – насмешливо спросил Остроухов.

– Теперь... я могу сказать, что не встречала в жизни человека благороднее его!

– Слышишь ли ты, Федя? – гордо сказал Остроухов.

– Клянусь вам, что уважение мое к нему не имеет границ. Теперь я готова была бы на всякую жертву для него.

– Немного поздно; но иначе и быть не могло: где чужому человеку, да еще девушке, воспитанной, как ты, вдруг понять актера, то есть человека, вечно нарумяненного, вечно противоречащего себе?

Так они тихо беседовали целую ночь.

## Глава XXVIII

### Старый знакомый

К утру Мечиславский стал метаться на постели в совершенном уже беспомоществе. Любская и Остроухов, подавленные горестью, молча следили борьбу жизни со смертью. К вечеру Мечиславский лежал уже на столе. Остроухов, в изорванном своем халате, сидел на диване, поджав ноги, и локтями упирался в колени, поддерживая руками свою голову. По лицу его разлито было такое отчаяние, такая грусть, что Любская, в слезах сидевшая возле него, поминутно окликала старика, утешала его, как умела.

По смерти Мечиславского нашли в его кровати узелок, в котором было собрано всё богатство его: деньги, часы, галуны, отпоротые от французского кафтана, и разные мелочи. Остроухов передал всё это Любской, исполняя желание покойника. На другой день весть о смерти Мечиславского разнеслась не только между актерами, но и по городу. И вдруг отыскался у него родственник, молодой купчик, который объявил, что не позволит никому вмешиваться в похороны, и взял всё на себя. Остроухов заметил было ему, что покойник желал, чтоб похороны его сделали как можно скромнее, на что купчик отвечал:

– Я не потерплю, чтоб купца Демьянова похоронили бог знает как!

Читатель, верно, вспомнит, что Мечиславский до вступления в актеры носил другую фамилию.

Ляпушкин первый проведал о смерти Мечиславского и утром прибежал поглядеть на покойника. Остроухова не было дома; один чтец сторожил покойника.

Ляпушкин не очень смело вошел в комнату; но, узнав, что Остроухова нет, он принялся деятельно обнюхивать комнату, расспрашивая чтеца, какой заказан гроб и в какую цену, успел заглянуть в ящики комода, попробовать варенье, стоявшее в нем, сунуть в карман баночку румян, заметив, что они уже не понадобятся покойнику. Выходя из комнаты, он столкнулся в дверях с Деризубовой, которая приветствовала его, по своему обыкновению, нежным вопросом: «Куда лезешь?» – и толкнула в грудь.

Ляпушкин, ухватясь за живот, сморщился и закричал:

– Ну что, матушка, у тебя за хватки! так вот и норовишь человека изуродовать.

– Вот еще какой стал неженка! небось вчера, как я тебя тузила в уборной, только кривлялся. – И Деризубова скорчив печальное лицо, приблизилась к покойнику и продолжала жалобно: – Ах ты, мой голубчик, как исхудал! измучили тебя злодеи!

– Не знаете, обед будет? – дернув ее за салоп, спросил Ляпушкин.

– Еще бы! неужто родня и этого для него не сделает! Ведь это последний долг моему голубчику.

И Деризубова начала отирать сухие свои глаза. Потом она уселась на диван, спустила салоп с плеч и обмахивалась платком.

– Невзрачно жили, – сказала она, оглядывая комнату, – а куда как важничали! Ни перед кем шеи не хотели гнуть.

– Не надо лихом поминать его! – заметил Ляпушкин.

– А ты, лизоблюд, туда же, учить стал!

Чтец начал читать псалтырь. Деризубова, как будто опомнясь, перекрестилась и сказала Ляпушкину:

– С тобой всякого греха возьмешь на душу!

– Чай, пора на пробу? – глядя на часы, отвечал Ляпушкин.

– Ахти, ведь и мне пора!

Деризубова и Ляпушкин вышли из комнаты.

После них много перебивало посетителей, и разные толки и заключения делали о покойнике.

Остроухов и Любская только по ночам сидели у гроба, чтоб избежать гостей. В день похорон не только в комнате, но даже и на лестнице была толпа народу. Деризубова выла на всю комнату, как будто самая близкая родственница покойного. Орлеанская читала наставительные сентенции, важно, печальным голосом, в которых язвила то Любскую, то Остроухова, превознося родного покойному купчика, который возложил мелочные хлопоты похорон на Ляпушкина, а сам исполнял только почетные, именно: первый подошел прощаться с покойником, первый подошел к гробу, когда нужно было нести его. За гробом хлынула толпа, которая, впрочем, скоро разместилась по каретам; остались только Остроухов, Любская да несколько служителей театра, любивших покойника.

У самой заставы гроб встретился с дорожной коляской, запряженной четверней. В коляске сидел небольшого роста мужчина, весь забрызганный грязью. Поравнявшись с шедшими за гробом, он вдруг быстро приподнялся на своем месте и крикнул ямщику: «Стой!» Но лошади остановлены были не ранее, как проехав гроб и поравнявшись с каретами. Он спросил у одного кучера:

– Чьи похороны?

– Актерские! актерские! – отвечали кучера в один голос.

Вопрошающий с минуту провожал глазами медленно удалявшийся гроб, как бы о чем-то думая, и наконец крикнул резко:

– Пошел!

Коляска умчалась.

Любская очень много плакала на похоронах. Остроухов же не выронил ни одной слезы. Он казался как бы посторонним на похоронах. Но когда опустили гроб в могилу, он упал на колени и таким раздирающим голосом произнес: «Федя!», что многие невольно схватили его за руки, опасаясь, чтоб он не упал в могилу. Остроухов опомнился и поспешил скрыться из толпы; сев на какую-то могилу, он держал свою голову в руках, как бы стараясь не слышать печального пения. Любская

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
кинулась к Остроухову и, склонив свою голову к его плечу, горько рыдала.

Стали расходиться, и каждый, проходя мимо, невольно останавливался перед Любской и Остроуховым, которые, как группа из мрамора, казались принадлежностью кладбища.

У одного Ляпушкина хватило духу подойти к ним с предложением идти покушать в комнату кладбищенского сторожа, где был заказан обед.

Остроухов ничего не отвечал, Любская мотала головой.

– Хоть чашечку бульонцу, – говорил Ляпушкин, – а вы хоть рюмочку водочки.

Но Остроухов, подняв голову, так посмотрел на радушного потчевателя, что Ляпушкин, не говоря ни слова, кинулся от него и стал других приглашать кушать.

Деризубова с похорон привезла целый ридикюль пирожного, булок, даже огарок восковой свечи; Ляпушкин же и денег.

Остроухов с Любской возвратились домой, молча посидели и разошлись. Как тот, так и другая не находили слов для разговора.

На другой день Любская встретила с Остроуховым на свежей могиле Мечиславского. Они оба плакали долго, но тихо. Когда они поехали домой, Любская сказала:

– Я еду отсюда.

– И хорошо делаешь!

– Не поедете ли вы со мною?

– Нет! я уж стар. Куда я поеду? что стану делать? Нет, поезжай одна; а я найму поближе квартирку да буду частенько заходить к нему в гости...

Никто даже при театре не знал о намерении Любской, кроме содержателя театра, который хранил его в тайне, желая услужить приятной нечаянностью Калинскому, которого он имел свои причины ненавидеть. Он радовался заранее досаде и щекотливому положению театрала, который уже везде расславил о своей короткой дружбе с Любской.

Поэтому на афише не было выставлено, что Любская играет в последний раз. Однако театр был набит битком, потому что в город в то время съехалось много помещиков и откупщиков на торги.

В крайней ложе сидело четверо мужчин, все уже пожилых лет. Сидящие наперед были очень внимательны к пьесе, зато сидящие сзади не обращали на сцену никакого внимания. Они горячо рассуждали, и в их разговоре поминутно слышалось: «Пять на пять, триста бочек» и так далее.

Любская произвела очень приятное впечатление на сидящих впереди. Они упрашивали взглянуть на нее своих товарищей; но один только согласился и привстал, другой же просто повернулся спиной к сцене, и его мрачная физиономия еще больше нахмурилась.

– Хорошенькая! – садясь на свое место, произнес сосед мрачного господина и прибавил: – Ну-с.

– Я вам ручаюсь, что оно очень выгодно будет, что видно сейчас. На сто шес...

Вдруг его лицо изменилось, и он быстро повернулся к сцене.

Любская в то время говорила.

Мрачный господин впился в нее своими суровыми глазами, и лицо его то покрывалось бледностью, то вспыхивало; руки его дрожали; он ими протер глаза.

– Дайте афишу! – нетвердым голосом сказал мрачный господин и громко, с каким-то странным негодованием произнес: – Любская!

Товарищи с удивлением глядели на него, пожимая плечами и подмигивая друг другу.

Когда занавес опустился, мрачный господин выскочил из ложи, не обращая внимания на вопросы сидящих в ложе.

Занавес долго не подымался. Публика, соскучась, стала аплодировать, наконец, стучать стульями; тогда вышел режиссер и объявил, что по внезапной болезни госпожи Любской такая-то пьеса не может продолжаться. Публика была очень недовольна, а Калинский озабоченно выбежал из кресел.

Мрачный господин не являлся более в ложу.

На другое утро, часов в десять, у дверей квартиры Любской стоял тот самый мрачный господин, который накануне скрылся из ложи. Он нетерпеливо звонил в колокольчик. Наконец дверь раскрылась, и Сидоровна, с веником в руке, грубо сказала:

– Ну чего так дергать! ведь чуть не оборвал!

– Госпожа Любская здесь живет? – перебил ее мрачный господин, силясь войти.

Сидоровна защищала дверь своим туловищем и пугливо говорила:

– Да что вы? куда вы?

– Я спрашиваю, дура, госпожу Любскую! – горячась, сказал мрачный господин и с силою толкнул Сидоровну в сторону, а сам пошел в двери залы.

– Да ее нет, право, нет! – кричала Сидоровна.

Мрачный господин пугливо посмотрел на Сидоровну и язвительно произнес:

– А! тебе так велено сказать мне!

И он с шумом раскрыл дверь в залу – и, как истукан, остановился, с ужасом оглядывая пустую комнату, на полу которой остались только признаки недавно вынесенной мебели.

– Она раным-ранехонько уехала, а мебель еще дня два как увезли в лавку, – сказала Сидоровна.

Мрачный господин обегал всю квартиру и, удостоверясь, что никого нет, понурил голову.

Сидоровна, ворча, стала мести сор, искоса поглядывая на гостя, который дал ей какую-то мелкую монету и сказал печальным голосом:

– Покажи, где была ее комната.

– А вот это зала, а это вот спальня, а... а...

Мрачный господин кинулся в спальню.

Сидоровна успела вымести всю залу, а мрачный господин всё еще оставался в спальне. Он сидел на окне, печально повесив голову.

О чем он думал, легко будет догадаться, если мы скажем читателю, что то был Федор Андреич.

Он столько времени разыскивал Аню, наконец уже бросил свои поиски, как вдруг неожиданно увидел ее на сцене и тотчас же опять потерял из виду...

Том второй

Часть шестая

Глава XXIX

Хозяйственный смотр

Славная деревенька Овинищи! Правда, невелика, но зато домики всё такие нарядные,

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
крытые не сплошь соломой, а чаще тесом, с резными воротами и зелеными ставнями. Любо поглядеть! При въезде в деревню отрадное, успокоительное чувство охватывает душу – так и повеет тишиной, скромным довольством и, в особенности, порядком. Тотчас видишь присутствие чьего-то зоркого, бдительного глаза и деятельной руки: хоть чрез деревню и проходит большая дорога, однако ж улица не сорна и не колыста; безобразных колодцев с очепами, наводящими уныние своим раздражающим душу скрипом, пугающими по ночам своею исполинскою тенью, и не видано в Овинпщах; ни одной избушки покачнувшейся, или подпертой кольями, или обставленной частоколом с паклей, набитой вплоть до бревенчатой стены ради тепла; ни одного окна выбитого, заткнутого той же паклей или заклеенного синей бумагой – избави бог! Да помещик Алексей Алексеич Кирсанов, да управляющий его Иван Софроныч Понизовкин, да староста их Епифан Епифанов... у! как переполошатся! На то барин и держит всякое заведение, знает всякие науки и художества, чтоб беду, какая случится, тотчас поправлять, и нужды не иметь до города, и чтоб проезжающий (а их много по тому тракту) не смел и подумать, едуци мимо: вот, дескать, в Овинищах каков порядок, – стекла на окнах выбиты; хорош должен быть порядок! «Нет, оборони бог! – говаривал Алексей Алексеич. – А надо, чтоб каждый проезжий остался в полном удовольствии и, воротившись домой, сказал: много проехал я и сел и деревень, а такой красивой деревни, как Овинищи, и не видывал».

– И скажут, – замечал Иван Софроныч.

Проезжающие играли важную роль в жизни обитателей Овинищ: казалось, и жили они не столько для себя, сколько для проезжающих. Выкрасит Алексей Алексеич крышу погребка красной краской и уж не сидится ему в комнате, похаживает по двору и спрашивает по временам у красильщика, оканчивающего свою работу:

– Смотрят?

– Смотрят, – отвечает красильщик, весь выпачканный краской, привстав и оглядев с крыши дорогу. – Вот теперь перемежилось, а то сколько их ехало – и всё смотрят.

– Ничего, крась, – скажет Алексей Алексеич и задумается; думает-думает и придумает.

– Иван Софроныч! а Иван Софроныч! – кричит он, оглядываясь кругом.

– Чего изволите? – раздается откуда-нибудь мягкий и почтительный голос.

Алексей Алексеич идет по голосу и, отыскав Ивана Софроныча где-нибудь в погребе или амбаре, говорит:

– А не подновить ли нам сараи и конюшни? (находящиеся, надо заметить, прямо против большой дороги).

– А подновить так и подновить, – отвечает Иван Софроныч, подумав.

– А не сделать ли так: разграфить сначала всю стену поштучно... ну, видывал паркетные полы?... и потом: одну штуку дернуть голубым, другую розовым, третью зеленым, четвертую...

– Желтым, – подсказывал Иван Софроныч.

– ...желтым, пятую малиновым. А что? небось не будет <не>хорошо? Да такой штуки, я думаю, и в столице нет.

– Нет, – утвердительно замечал Иван Софроныч, отмеривая овес. – Штука будет отменная: так озадачим инога, что до Переславля не опомнится!

– Дальше! – перебивал Кирсанов. – До самого Владимира!

– А немудрено, что и до Владимира.

И действительно, когда после долгих совещаний с красильщиком мысль Кирсанова приведена была в исполнение, эффект превзошел ожидания; проезжие видимо повергались в недоумение, какого рода назначение могло иметь подобное здание; одни принимали его за беседку, другие за оранжерею, – и удивлению их не было



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
конца, когда вдруг на ту пору выводили оттуда лошадь; близорукие полагали, что  
вся передняя стена сделана из китайских разноцветных стекол, о чем и  
рассказывали не без удивления по пути до самого Владимира, а иногда и далее.  
Словом, так или иначе, все поразились и смотрели и оглядывались, пока было  
что-нибудь видно. Слухи об этих толках доходили до наших приятелей от ямщиков  
соседней станции, приезжавших в Овинищи ковать лошадей, и наполняли сердца их  
неописанным счастьем. Расспросам, шуточкам, выведываньям не было конца, и ямщик,  
привезший хорошую весть, угощался водкою.

– Да у вас, вижу я, новость! – сказал однажды, заехав к ним, заседатель. – Как  
славно сараи выкрашены! Пестрота нынче вообще входит в моду, и ей придумали  
название: рококо!

Алексей Алексеич и Иван Софроныч промолчали, полные скромного торжества; но оба  
они заметили слово: рококо, и обоим оно чрезвычайно понравилось. И когда на  
другой день, выпив чаю и закулив трубки, вышли они на двор и остановились перед  
нововыкрашенным зданием:

– Рококо! – сказал Алексей Алексеич, любясь своей выдумкой.

– Рококо! – лаконически отвечал Иван Софроныч.

И оба тихо и счастливо улыбнулись.

И с той поры часто Алексей Алексеич, любясь дивным зданием или наслаждаясь  
эффектом его на проезжающих, вдруг улыбнется, оглянется и выразительно, протяжно  
произнесет:

– Рококо!

И в ту же минуту откуда-нибудь из амбара, чулана или погреба послышится в ответ  
ему такой же выразительный, мерный и счастливый голос:

– Рококо!

И он уже знает, как при этом улыбнется Иван Софроныч, и сам снова улыбается, как  
будто верный управляющий его находится перед ним.

В ту эпоху, когда мы знакомимся с Кирсановым и его управляющим, оба они были  
заняты чрезвычайно важным делом: происходил, по выражению Ивана Софроныча,  
«хозяйственный смотр».

Утром, часу в одиннадцатом, в жаркий летний день, Алексей Алексеич, в белом  
колпаке, защищавшем его седую голову от жаркого солнца, в зеленой распахнутой  
фуфайке, в серых брюках, обшитых снизу на ладонь кожей, – стоял перед своим  
небольшим деревянным домиком и усердно принимал и сортировал вещи, выкидываемые  
к ногам его из слухового окна невидимой рукой.

Алексею Алексеичу было уже лет шестьдесят, если не более, но старик был еще  
довольно бодр. Рост его был средний; волосы уже седые, но довольно густы; седые  
усы торчали кверху и придавали несколько суровый вид его красноватому  
добродушному лицу.

Посторонний наблюдатель, незнакомый с нравами и привычками хозяина, пришел бы в  
неописанное удивление, увидав такое обилие разнообразнейших вещей, в обозрение  
которых погружен был теперь Алексей Алексеич. Как будто двадцать семейств,  
одаренных самыми разнородными вкусами и потребностями, снесли сюда всё свое  
имущество, чтоб похвастать друг перед другом. Шубы, хомуты, седла, тазы, женские  
платья, валеные сапоги, пучки сушеных трав, картины, обломки железа и жести,  
детские игрушки, тетеревиные чучела и множество еще подобных вещей летело к  
ногам Кирсанова, который едва успевал отдавать приказания, что следовало  
выколотить, что проветрить, что вычистить, что просто выкинуть и так далее.

В то же время из растворенного сарая вывозили экипажи, зимние и летние,  
отличавшиеся необычайной ветхостью; из другого сарая, из амбаров выносилась  
сбруя, старая и новая. Из чуланов выносились сундуки с холстами и залежалым  
платьем.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Словом, выносилось, вывозилось и выбрасывалось всё, что только было в доме и в разных его закоулках.

Через весь двор, обнесенный сараями, амбарами и другими домашними службами, протянуты были веревки, отягченные всевозможными одеждами – малыми и большими, зимними и летними.

Дворовые люди, мальчишки и бабы, суетились по двору, перетаскивая вещи, выколачивая платья, тюфяки, перины, каретные подушки с таким рвением, что на дворе стоял постоянный гул, как будто били в набат, что, конечно, и казалось проезжающим мимо, к удовольствию наших друзей, которые нельзя сказать, чтоб не рассчитывали озадачить проезжающих выгрузкой всего своего имущества.

– Хорошенько, хорошенько! – командовал Кирсанов. – Эй, тетка! не ленись: выколачивай! Ну, приударь, приударь, дружней! Вишь, сколько пыли, – и откуда только она берется? А ты, Ферапонт, что зеваешь? Переверни-ка ее (шубу) теперь другой стороной к солнцу – пусть попрожарится!

В то же время он успевал подхватывать на лету вещи, летевшие из слухового окна. Кирсанов рассматривал их с любовью, над некоторыми задумывался; другие вызвали веселую улыбку на его губы, и он медленно покачивал головой. Пот лил с него градом.

– Уф, устал! – говорил Кирсанов, осмотрев старую медвежью шубу, под тяжестью которой могли бы подломиться плечи Ильи Муромца. – А славная шубенка! Ферапонт, бери-ка ее, да хорошенько!

Едва успел он разогнуть спину, как к ногам его полетели один за другим пучки сушеного зверобоя. Мгновенно окруженный тучей пыли, старик припрыгнул, сделал страшную гримасу и наконец разразился троекратным чиханьем.

– Желаю здравствовать вашему высокоблагородию! – раздался из слухового окна почтительный и озабоченный голос.

– Тьфу, проклятая трава! дрянь дрянью, а так в нос и лезет! – произнес Алексей Алексеич. – Это зелье, – продолжал он, обращаясь к слуховому окну, – я думаю, просто выкинуть, Иван Софроньч, а?

– Оборони бог-с выкидывать, – отвечал тот же почтительный голос сверху. – Полагаю, не имели бы такой мысли, если б изволили вспомнить, какую пользу она вам принесла, как весной вашему высокоблагородию грудь заложило.

– Новой засушим!

– Новая, может, еще с фальшем каким уродится...

– Умен ты у меня, Софроньч! – сказал Кирсанов. – Правда твоя: просто проветрить ее да и припрятать опять, – не пролежит места!

– А вот уж дрянь так дрянь, – сказал Иван Софроньч, всё еще невидимый, – заподлинно, с ней и сделать ничего лучше не придумаешь, как выкинуть. И на что вы изволили ее и купить-то? Даже мышь ее не берет. Лежит, лежит, а всё целехонька, пропадай она!

И вслед за тем к ногам Кирсанова полетела старая книга.

Кирсанов поднял ее, обдул, развернул. То был календарь 1796 года.

Прочитав заглавие, Алексей Алексеич залился продолжительным добродушным смехом.

– На что купил? – воскликнул он. – Эх, голова, голова! Велика голова, а мозгу мало... На что купил?... Да делай мы всё такие покупки, так еще куда ни шло!.. А вот скажи-ка, мудрая голова, какая зима стояла в 1795 году?

– А как мне знать?

– Ну вот то-то же! А я так знаю!

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Кирсанов отыскал страницу и прочел, какая зима стояла в 1795 году.

– Что, не будешь теперь спрашивать: на что купил? Не полезная небось вещь?

– Полезная, – отвечал Иван Софроныч пристыженным голосом.

– То-то же! Вот оно как: купить хорошую вещь, никогда оно не мешает; а чего и стоила-то? Я за нее, как теперь помню, двадцать шесть копеек дал, а еще в придачу взял бритву тульскую.

– Сточенную, – ввернул Иван Софроныч.

– ...и греческую грамматику.

– Да на что вам греческая грамматика?

– А так всё думалось: может, женюсь – дети пойдут; пригодится!

– Полагаю, много денег изволили перевести, собираясь жениться, – вот хоть бы тогда девяносто рублей за коляску ввалили – всё думали: может, женюсь, жена будет модница, так вот – ход славный, колеса знатные, только отделать. А вот жениться не женились, а деньги отдали.

– А что ж и в самом деле? Небось дорого дал? Ведь ход и точно славный – один чего стоит! кому не надо, сто рублей даст!

– Хорош; только к нему нужно до тысячи прибавить, чтоб коляска вышла!

– Эх, Иван Софроныч! – с досадой перебил старик. – Не ты бы говорил, не я бы слушал. Досадно вот, что я устоял, не женился, как ты, – так вот и сердисься, попрекаешь коляской!

– Осмелюсь вам доложить, грешить изволите, ваше высокоблагородие! женитьбой попрекнули! А кто подбивал! не сами небось? Не одна коляска – сколько платья было у вас женского тож накуплено! Я докладывал: «Эй, не извольте накупать, найдите прежде невесту». Так нет: «Бери, Софроныч: не пролежит места!» Да что и говорить! А вот как накупили да свалили всё в чулан, так сердце, бывало, переворачивается глядеть: лежит, гниет добро! Ничего, бывало, не изволите говорить, а ведь вижу, как оно болит у вас; а как сказали раз, да таким жалостным голосом: «Хоть бы ты, Софроныч, женился», так словно туману кто пустил в глаза. Мочи нет, жаль стало: что в самом деле гниет добро? Взял и женился... да только что же вышло?..

При этом воспоминании Иван Софроныч вздохнул, а Кирсанов добродушно улыбнулся.

– Стану я, говорит, – продолжал Иван Софроныч, подражая писклявому и раздражительному женскому голосу, – стану я, говорит, носить платье бог знает с кого: может, еще с покойницы; да нынче и моды такой нет! Вот и вышло, женился, а что проку?

Софроныч опять вздохнул. Кирсанов слушал, сдерживая смех, и наконец сказал таинственным голосом:

– Иван Софроныч, а Иван Софроныч! Федосья идет!

Иван Софроныч немедленно умолк, и слышно было, как он стремительно отшатнулся в глубину чердака.

Тогда Кирсанов громко захохотал.

– Полагаю, изволили пошутить, – заметил Иван Софроныч, приближаясь снова к слуховому окну.

И оба они усердно принялись за свою работу: один выкидывал вещи, а другой сортировал их и отдавал приказания. Жар усиливался. Кирсанов снял фуфайку и засучил рукава рубашки; но пот всё-таки лил с него градом.

– Иван Софроныч, а Иван Софроныч!

– Чего изволите?

– А что ты думаешь насчет чирика?

– А думаю, что чирик птица хорошая, певчая...

– И увеселительная? – спросил Кирсанов, лукаво прищуриваясь.

– Полагаю, что и увеселительная, – отвечал серьезно Иван Софронич.

– Да нет. А я вот о чем: не пора ли?

– Ни-ни-ни! – отвечал Иван Софронич. – Надо прежде дело покончить, а то как разморит жаром, так будет не до работы.

– Ну, будь по-твоему. Зато уж чирику сегодня... только держись!

– Посторонись! – скомандовал Иван Софронич.

И вслед за тем к ногам Кирсанова полетела с глухим перекатным звоном жестяная доска, на которой был намалеван часовой циферблат с гириями и маятником. Приплюснутый ею, зверобой пустил новую тучу пыли. Алексей Алексеич снова расчихался.

– Желаю здравствовать! – послышалось сверху.

– Тьфу ты пропасть! – воскликнул Алексей Алексеич. – Ба-ба-ба! – продолжал он, осматривая жестяную доску. – Вывеска часового мастера! Вот уж хоть убей не помню, чтоб у нас была такая вещь. И ведь вот утащи кто-нибудь, и не спохватился бы никогда!

– Как утащить! – возразил Иван Софронич. – На что же я у вашего высокоблагородия и хлеб ем, как не затем, чтоб всё было в сохранности!

– Да нет, ты мне скажи, откуда взялась у нас часовая вывеска? Уж не подкинул ли кто?

– Полагаю: изволили забыть, – отвечал почтительно Иван Софронич. – А она, осмелюсь вам доложить, точно у нас была... и она есть, – с гордостью заключил Иван Софронич. – В тысяча восемьсот девятнадцатом... нет, дай бог память! – в тысяча восемьсот семнадцатом году, когда были в городе, изволите помнить: увидали мы ее в лавке купца Калистрата Подоплека. Я еще тогда докладывал, что напрасно-де, Алексей Алексеич, изволите торговать ее, даром обижаетесь... да ваше высокоблагородие сказали: «Вот у Ферапонта сын наклонность к механике показывает, всё вытачивает кубари да разные штуки; может, часовым мастером будет».

– Да, да, да! – сказал Кирсанов. – Теперь вспомнил. Ведь дали-то мы за нее пустяки! дешевле пареной репы! Да тут жести одной на целковый будет!

– На целковый не на целковый, а гривенников на десять будет, – с важностью заметил Иван Софронич.

– Да написать-то ее что возьмут, да еще здесь так и не напишут – ведь работа-то московская! Помнишь, Иван Софронич, – продолжал Кирсанов, и лицо его одушевилось, – помнишь, еще какая уморительная штука тут вышла? Торговали-то мы ее у мальчугана, так еще, глупенька! Отдал чуть не даром. Мы уж и деньги заплатили, на извозчика ее хотели класть, – вдруг приходит хозяин, да как узнал, за сколько продана вывеска, так и накинулся на мальчику: «Такой-сякой ты, – говорит, – в убыток продаешь!», да и ну его тормозить. А мы поскорей на извозчика и давай бог ноги... чего доброго, еще отнял бы... Ха-ха-ха!

Кирсанов добродушно смеялся; сверху вторил ему такой же добродушный хохот.

– Дешево досталась, – сказал Иван Софронич, – а правду сказать: отними он тогда ее – всё лучше бы...

– лучше? да чем же лучше? Одно жаль – Ферাপонтов сын, как подрос, пристал: отдай да отдай его в сапожники! Ну, разумеется, и лежит. А всё же вещь хорошая, – понеси ее теперь продавать – кому не надо – дороже даст! Вот ты мастер упрекать, а кто купил лошадку? – заключил Кирсанов, покотив огромного деревянного коня. – Вот уж тут понеси продавать – барыши плохи!

– Кто купил? я! да зато я знал, что делал: вот у меня дочь.

– Ха-ха-ха! Еще бы сын... А то дочери в лошадку играть... Ну а пушку, а пушку?

– Пушку? – отвечал Иван Софроныч немного смущенным голосом. – Ну, насчет пушки проштыкнулся! Да и то еще, может, и не совсем проштыкнулся: вот если сын будет...

– Знаю, я знаю, чего тебе хочется! Ты, и лошадку-то покупал, небось об дочери думал? как же! да не будет сына!

– Ну, а как будет!

– Давай бог, давай бог, – посмеиваясь, заметил Кирсанов. – Были бы дети, а игрушки будут. Ну-ка, Иван Софроныч! пора, право, пора приступить к чижику! А! откуда, красавица? – воскликнул Алексей Алексеич, завидев бежавшую к нему хорошенькую девушку лет тринадцати.

Девушка остановилась, покрасневшая как маков цвет, и не могла ничего сказать: грудь у ней высоко подымалась, стянутая узким платицем, и маленькие розовые ноздри часто и широко раскрывались.

– что, много у нас доброго? – самодовольно спросил Алексей Алексеич, заметив любопытство, с которым живые черные глаза девушки перебежали по предметам.

– Много, – отвечала она.

– Много, Настенька, – порешил Алексей Алексеич, скрутив рукав своей рубашки так, что руке, помещенной в нем, оставалось очень мало простора. – Не только ты, посторонние люди заглядываются... кто ни едет, каждый смотрит и, верно, думает, что мы миллиончики. А пускай думает!

– А папенька здесь? – спросила девушка.

– А что?

– Маменька велела звать его.

– Сердится?

– Да, сердится! с самого утра сердится.

– Ого! – сказал Кирсанов и улыбнулся. – Иван Софроныч!

– Чего изволите?

– Радость, радость!

– А что такое?

– Поди сюда. Настя пришла, она скажет.

– Сейчас.

– Да ну же! что ты там копаешься! – нетерпеливо воскликнул Алексей Алексеич через минуту. – Скорее!

– Сейчас, сейчас! Ну, какая радость?

И в слуховом окне во весь рост показалась фигура еще бодрого, но совершенно лысого старика, одетого в старую женскую кацавейку из заячьего меха с кошачьими лапками, очевидно игравшую в свое время роль горностаевой.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Кирсанов расхохотался. Девушка сначала крепилась, но не выдержала и тоже звонко смеялась.

– Ну чему смеяться, дурочка? – заметил ей Иван Софронич. – Что ты думаешь, я там сложа руки, что ли, сидел?., умаялся! И в одной рубашке да не знал, куда деваться, почище твоей бани! Ну не показаться же было так!

– Да ты бы, Иван Софронич, уж лучше юбку надел, а то меховую телогрейку.

– Да уж нет там юбок, – серьезно отвечал Иван Софронич. – Все покидал. А чем не одеяние? – прибавил он, встряхивая полы кацавейки и радуясь, что неожиданно доставил удовольствие своему благодетелю. – Ну, что же ты скажешь, Настя?

– А вот жди: скажет она тебе радость, – воскликнул Алексей Алексеич и как ни крепился, а снова расхохотался.

– Полагаю, изволили пошутить. Видно, нет никакой радости, – догадливо заметил Иван Софронич.

– Ну, – сказал Кирсанов девушке, – ну, красавица!

– Маменька приказала вас домой позвать, – сказала Настя, обращаясь к отцу.

– Говорит: я больна, – подхватил Кирсанов, – каждую минуту может что-нибудь со мной случиться: пусть сидит безотлучно у постели... безотлучно, слышишь ли: безотлучно!

Лицо у Ивана Софронича вытянулось. Вместо радости он услышал в самом деле весть, хуже которой не мог и ожидать.

Кирсанов заметил его отчаяние, и вмиг стало ему не до шуток.

– Знаешь что, Настя! – сказал он, продолжая крутить свой рукав с такою силою, что локоть его готов был прорвать полотно и выскочить. – Побегу, скажи ей, что нет, мол, Ивана Софронича, – ушел в поле, что ли? куда-нибудь. И не знают, мол, скоро ли придет. А мы вот кончим дело да пройдемся по чижикую!

– Осмелюсь доложить, хорошо придумано, – сказал печально Иван Софронич. – Да ведь коли она догадается, так бедной девчонке придется плохо.

– Ничего, – сказала Настя. – Уж я как-нибудь.

– Ни-ни! не смей, – я сейчас приду! – строго и печально возразил отец.

– Не надо, не надо! – проговорила Настя и, прыгая, побежала, повторяя:– Не надо!

– Славная девочка! – сказал вслед ей Алексей Алексеич, раскручивая наконец рукав и освобождая свою руку, которая страшно покраснела и покрылась синими жилами.

Иван Софронич ничего не сказал, но провожал ее глазами с своего возвышения до тех пор, пока она не скрылась в дверях небольшого отдаленного здания, стоявшего у самой большой дороги, – и в глазах его много было любви и отеческой гордости.

Не прошло, однако ж, получаса, как Настя снова возвратилась и объявила, что Федосья Васильевна настоятельно зовет мужа, что она боится обморока и говорит, будто не проживет больше суток.

– Ну а по правде как? – спросил Кирсанов. – Ничего?

– Ничего, – отвечала Настя. – Только опять выступили на лице желтые пятна, как третьего дня. Пила она чай, уронила нечаянно чашку – рассердилась, да и чайник хлопнула о пол.

– Желтые пятна! – воскликнул Кирсанов. – Плохо! Бедный Иван Софронич! попадись он ей теперь, да она его добром не выпустит. Нет, мы не выдадим. Так ли?

– Так, – сказала Настя.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Хочешь? – спросил Алексей Алексеич и ловко подкатил к ней деревянного коня на колесах. – Садись, прокачу!

Девушка хотела сесть, но передумала, вскочила на лошадку и, стоя на ней в красивой позе, закричала:

– Ну, везите же!

Алексей Алексеич повез.

– Вишь, проказница! что выдумала! И как ловко стоит, точно на гладком полу! – ворчал про себя Иван Софроныч, любовавшийся потихоньку своей дочерью с той самой минуты, как только она появилась и заговорила.

– Ваше высокоблагородие! – закричал он, показавшись в слуховом окне. – Ваше высокоблагородие!

– Что?

– Да побойтесь бога! Вы, осмелюсь доложить, не маленькие. А ты, баловница, не стыдно? Долой! слышь, сейчас же долой с лошади!

Но ни дочь, ни Кирсанов не слушались его.

– Ну, ну, ну! – кричала Настя. – Не ленись, лошадка, приедешь домой, будешь отдыхать, корму дадут.

– А чижик будет?

– Будет!

– Долой, проказница! – повторил Иван Софроныч, топнув ногой. – Посмотри, их высокоблагородие умучились! Хороша крестница!

– Ну, теперь моя очередь! – сказала Настя, прыгнув с лошади. – Садитесь!

– А посмотрим, посмотрим! далеко ли уедешь со мной? – сказал Алексей Алексеич, сел и, обмахивая платком свое горячее лицо, прибавил: – Ну, по всем по трем, коренной не тронь!

Настя двинула лошадку.

– Bravo! – закричал Иван Софроныч, довольный силою своей дочери. – Ну вот умница, умница! Давно бы так! ну, еще, ну, дружней!

Колеса под лошадкой, сверх ожидания, оказались довольно прочны и катились легко. Настя, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, быстро бежала. Алексей Алексеич, в рубашке, в белом колпаке, важно сидел, размахивая руками и покрикивая: «Ну, с горки на горку – дадим на водку!» Иван Софроныч, совсем высунувшись из окна в своей кацавейке, в совершенном восторге восклицал: «Прибавь ходу, прибавь ходу! Знай не плошай, с кем едешь, не забывай! шевелись, копайся, вперед подавайся!..» Дворня в свою очередь, покинув работу, предалась созерцанию. Всё вместе представляло довольно оживленную и оригинальную картину. Как вдруг посреди общего увлечения раздался пискливый и озлобленный голос:

– Господи! да никак тут все с ума сошли!

Все разом глянули по направлению голоса и смолкли. На тропинке, протоптанной между домом и кухнею, против самого Ивана Софроныча, лишившегося употребления ног, стояла необыкновенно худощавая, высокая женщина, с тощим, земляного цвета лицом, покрытым желтыми пятнами, с сверкающими глазами, в костюме не без претензии на щегольство: голова старухи была украшена высоким старинным гребнем, от которого ко лбу нисходил пробор в четыре пальца ширины, без малейших признаков волос, замкнутый с обеих сторон жидкими пуклями, так что голова старухи походила на детские креслы с высокой спинкой и точеными ножками. В руках у ней был палевый полинялый зонтик, который она старалась держать с грацией.

– Бессовестный! – заговорила она, обращаясь прямо к Ивану Софронычу, и вдруг

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a  
закашлялась, причем высокая гребенка запрыгала у ней в волосах и бусы застучали  
на ее худой шее, как четки. – Бессовестный... кахи! каахи! каааахи! варвар! Жена  
умирает, жена зовет его, а он тут потешается! Глянь-ка, шутком каким нарядился.  
Да еще обманывает – в поле, видишь, ушел; и девчонку научил лгать... кахи! кахи!

– Не я, их высокоблагородие приказали ей..

– Их высокоблагородие! Нечего сказать, хороши и они тоже! Чем бы пример  
подавать, а вон гляди: в лошадки сам играть вздумал! Домой, озорница! –  
прокричала она, погрозив Насте зонтиком, и снова закашлялась: – Кахи! кахи!  
кахи! Будешь ты вперед обманывать!..

– Она ни в чем не виновата, – сказал Алексей Алексеич с необыкновенною  
кротостию. – Вы напрасно сердитесь, Федосья Васильевна; да и Иван Софронич тоже  
не виноват; он хотел к вам идти, да я его не пустил: день сегодня хорош, видите,  
вот мы и вздумали пересмотреть да проветрить доброе!

– День хорош! Да кто вам сказал, что сегодня день хорош? А вот погодите!.. кахи,  
кахи, кахи! накажет вас бог, что вы обижаете больную, несчастную женщину.  
Недаром у меня сегодня всё утро поясницу ломило. Уж ничего так не желаю и желать  
не буду – как одного; чтобы вдруг да хлынул дождичек сливный...

Алексей Алексеич поблел.

– Вы не шутя этого желаете? – спросил он и потянул в волнении кончик пружинки,  
торчавшей у него из прорванной подтяжки.

Иван Софронич тем временем, подняв голову, пугливо всматривался в небо.

– А то как же! – отвечала злая женщина. – Вот и будет вам ваше доброе!

– А что, жена, ты не выдумываешь: поясницу точно ломило? – с болезненным страхом  
спросил Иван Софронич свою хворую половину, которая давно уже всему околотку  
предсказывала погоду вернее всякого барометра.

– И еще как ломило! – с злобной радостью отвечала Федосья Васильевна. –  
Точь-в-точь как в тот день, когда у Захарова крышу снесло и пастуха Вавилу  
громом убило! кахи! кахи! Да еще, может, и посильней, – прибавила она,  
прокашлявшись.

Иван Софронич и Алексей Алексеич с ужасом переглянулись.

– Вот уж не поверю! – сказал Алексей Алексеич, растянув быстрым движением  
пружинку и судорожно наматывая на палец тонкую позеленевшую проволоку.

– Пугает баба! – проговорил в ответ ему Иван Софронич.

– Хорошо, будет тебе «пугает»! – возразила Федосья Васильевна, грозя зонтиком. –  
Вот промочит до нитки весь ваш хлам, так и будете знать. Да того ли еще вам  
надо! – продолжала она, ожесточаясь более и более. – Вишь, вытащили всё,  
чего-чего нет! нашли время! есть тут, чай, и такое, что гром небесный  
притягивает! Вот будет вам! кахи, кахи, кахи! (Гребенка припрыгнула, бусы  
подняли тревогу.) Пожаром погорите – ни кола ни двора не останется, – по миру с  
кошелем пойдете, да и меня пустите, сироту бесталанную, горемыку бесприютную..  
Кахи, кахи!

И она так закашлялась, что высокая гребенка выскочила из редкой косы и повисла в  
волосах. Через минуту кашель сменился громким истерическим плачем.

Прятели наши с трепетом слушали мрачную предсказательницу и по временам  
посматривали на небо. Но оно было ясно и чисто и ни одним облачком не  
подтверждало мрачных предсказаний злой женщины.

– Да врет же она, ваше высокоблагородие! – ободрительно произнес Иван Софронич.

– Не будет! – порешил Алексей Алексеич и быстро разматал проволоку, потому что  
оконечность его пальца налилась кровью и отвердела, как пробка.



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Они успокоились и пошли завтракать, оставив Федосью Васильевну в совершенном бессилии: гнев лишил ее даже голоса, она неподвижно стояла, прислонившись к крыльцу, и дико вращала свои желтые, пылавшие гневом глаза, по временам всхлипывая.

Жестокое предсказание, однако ж, не прошло даром. Едва приятели наши успели выпить по чижикю – название, которым обозначали они порцию горькой желудочной собственного изделия, – как прибежал ферапонт и доложил, что собирается гроза. Когда они вышли на двор, Федосьи Васильевны уже не было, зато над самыми своими головами увидали они сизую, зловещую тучу... Надо было видеть суматоху, какая поднялась в одну секунду по команде Алексея Алексеича! Крики, беготня, скрипение ржавых дверей, дребезг разбиваемых и ломаемых второпях вещей, отчаянные восклицания – всё смешалось в один нестройный гул и скоро слилось с мерным, крупным дождем, который, при полном сиянии солнца, не замедлил спрыснуть одеяние, мебель, тюфяки, сушеные травы и всё добро Алексея Алексеича. Весьма немногие вещи избавились поливки, да и то большею частью такие, которые могли бы спокойно остаться под дождем целые сутки.

– Напророчила! – бегая и суетясь, говорил по временам Алексей Алексеич.

– Напррррррррочила! – мрачно повторял Иван Соф-роныч.

И оба они усердно таскали то в комнаты, то в сарай вещи, попадавшие под руку; но в каком виде, в каком порядке! Тюфяки попадали в конюшню, хомуты – в спальню, книги – в передбанник. Алексей Алексеич собственноручно внес жестяную вывеску с часовым циферблатом в столовую и еще вытер ее своим халатом, а настоящие стенные часы пнул ногой и разбил вдребезги, причем боевая пружина в последний раз издала жалобный дребезжащий звук, как будто прося пощады; но Алексей Алексеич не пощадил часов и пнул их вторично, примолвив: «Эта дрянь только в глаза мечется да с толку сбивает...» Иван Софроныч носился с пучками сушеного зверобоя, с большим трудом втащил в амбар огромный сверток проволоки и равнодушно смотрел, как мокли и гибли безвозвратно шелковые платья, кружевные чепцы, шляпки с перьями и другие предметы женского туалета, купленные когда-то Кирсановым на случай женитьбы. К довершению беды какой-то дюжий Дормидон, прибежавший из деревни помочь барскому горю, в пылу усердия с такою силою рванул с веревки барскую шинель, что веревка лопнула и всё добро, висевшее на ней, повалилось в лужи дождя. И, наконец, едва успели предупредить еще другое, большее бедствие: почувствовав приближение грозы, некоторые из лошадей и других домашних животных, принадлежащих Алексею Алексеичу, с мычаньем и ржаньем кинулись из стада домой и едва были остановлены в воротах соединенными усилиями дворовых людей, случившихся тут крестьян и самого Кирсанова с верным его управляющим Иваном Софронычем.

– Напророчила! – говорил Алексей Алексеич.

– Напророчила! – подтверждал Иван Софроныч.

Больше они ничего не говорили в тот день...

Глава XXX

Сослуживцы

– Пожили! – говаривал иногда Алексей Алексеич, значительно подмигивая Ивану Софронычу.

– Пожили! – отвечал Иван Софроныч.

И оба умолкали, как будто одним словом всё было сказано, и тихо погружались в думу.

В самом деле, они славно пожили. Время их молодости и службы относилось к первым годам нынешнего столетия. Служили они верой и правдой, да уж и попроказили! Только слушай, как разговаряются да начнут рассказывать. В день не перескажешь анекдотов, в которых они сами были героями.

Длинная-длинная история.

Алексей Алексеевич Кирсанов был уже два года ротным командиром, когда в роту к нему перевели новопроизведенного прапорщика Ивана Понизовкина. Понизовкин

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a происходил из податного состояния и личною храбростью добыл себе офицерский чин. Явившись к Кирсанову, он с первого же раза понравился ему. Военная жизнь скоро сближает: не прошло недели, как уже Кирсанов не мог двух часов провести без своего нового подчиненного. С своей стороны, Понизовкин, при всей почтительности к начальнику, не мог сдержать добродушных излияний, к которым чрезвычайно склонна была его мягкая душа в веселые минуты, и не замедлил признаться Алексею Алексеичу, что он за него готов и в огонь и в воду. Когда кончилась кампания и Кирсанов за ранами должен был подать в отставку, такое горе взяло его при прощанье с Иваном Софронычем, что он расплакался как ребенок.

На Иване Софроныче также не было лица. Оба они были люди одинокие; у Кирсанова не было ни отца, ни матери, ни сестры, ни братьев, а у Ивана Софроныча тоже, и притом – ни кола ни двора! Промаявшись с полгода в деревне своей один-одинехонек, Кирсанов не выдержал и отправил к Ивану Софронычу предложение: выйти в отставку и поселиться у него в качестве управляющего. День, когда наконец прибыл Иван Софроныч в провинцию, был счастливейшим днем в жизни Алексея Алексеича. С той поры они не разлучались.

Много лет прожили они в деревне, много, по выражению Алексея Алексеича, пропустили чижиков, и с каждым днем становились всё необходимее друг другу. Какая-то тайна, относившаяся к их прежней жизни, связывала их еще более. Раза два в пятнадцать лет ездили они в Петербург, разыскивали там что-то, но возвращались, по-видимому не достигнув цели, и привозили только множество разнородных вещей, обыкновенно подержанных, купленных по случаю и чрезвычайно дешево. В деревне, первые дни по возвращении, они только и делали, что пересматривали свои покупки, а иногда и приступали к переделке некоторых. Вообще время свое коротали они сельскими занятиями, охотой, а главное – рассказами о прошлой своей жизни, богатой деятельностью, опасностями, забавными случаями и проказами, в которых выражалась их прежняя удаль. И после таких-то воспоминаний, наговорившись вдоволь и приумолкнув, они обыкновенно изредка повторяли:

– Пожили!

– Пожили!

И в лицах их сияло спокойствие и довольство.

Если уж сильно приступала к ним скука, они отправлялись в ближайший город, и тут-то производились те многочисленные и разнообразные закупки, по милости которых Алексей Алексеич не без основания называл свой дом полной чашею.

Любимым и единственным занятием их в городе было бродить по лавкам, по рынкам и покупать. Но покупать не как другие покупают: спросил цену, поторговался – отдал деньги ивзял вещь, – нет!

– Да с таким порядком в год разоришься, – говорил Алексей Алексеич.

– Дома не скажешься, – замечал Иван Софроныч.

– Нет, коли покупать, так у нас поучиться, – говорили они оба.

И действительно, искусство их покупать дешево превосходило всякое вероятие. Никто так не умел, по их собственному выражению, «пустить продавцу туману в глаза», как они. Они славились своим искусством, гордились им и с наслаждением рассказывали, что однажды из-за них купец подрался в лавке с своим приказчиком. Правда, не спрашивайте, что покупать? Поедут они в город купить сахару, чаю, ситцу, суконца, а привезут хомутов, черкесскую шапку, пару шестиствольных пистолетов, короб французского черносливу, шахматную доску с точеными из слоновой кости конями и пешками.

– Да на что им шахматная доска? – спросит человек, знающий, что оба они в шахматы шагу ступить не умеют.

– Дешево, – говорит Алексей Алексеич.

– Дешевле пареной репы, – прибавляет Иван Софроныч.

– Да понеси продавать: кому не надо – больше даст, – говорит Алексей Алексеич.

- С руками оторвут, – прибавляет Иван Софроныч.
- Ну так что же не продали?
- Не пролежит места, – говорит Алексей Алексеич.
- Не нам, так детям пригодится, – прибавляет Иван Софроныч.

И вследствие такой логики не было вещи, которой не купили бы они, будь только дешево, или хоть не поторговали. Идет ли солдат с бритвами, везут ли старую двуспальную кровать, торчит ли между старым хламом упраздненная вывеска, эстампы ли какие завидят они на прилавке, несет ли баба рукавицы, – до всего было дело нашим приятелям, всё торговали и покупали они.

– Эй, тетка! продажные, что ли? – спрашивал Алексей Алексеич, увидав бабу с рукавицами.

- Продажные, батюшка, – отвечала баба, останавливаясь.
- А что просишь?
- Да девять гривенок, батюшка.
- Девять гривен! – с ужасом восклицал Алексей Алексеич.
- Девять гривен! – повторял с таким же ужасом Иван Софроныч.

И оба они взглядывали на старуху как на помешанную.

– А то как же, кормильцы? – говорила она. – Ужели не стоят? Да ты погляди, какой товар-то!

И старуха принималась выхвалять рукавицы. Покупатели молча и терпеливо выслушивали длинную похвальную речь.

– Так, так, – лишь изредка иронически замечал Иван Софроныч.

Алексей же Алексеич, вертя своей тростью и стараясь как можно глубже вонзить ее в землю, казалось, погружен был в посторонние мысли, и когда старуха наконец умолк<a>ла, он вдруг совершенно неожиданно спрашивал ее:

– А что, тетка, есть на тебе крест?

Старуха широко раскрывала изумленные глаза, крестилась и произносила:

- Что ты, батюшка? ужели без креста? Православная – да без креста!
- Ну так как же. И не стыдно! Девять гривен просишь за штуку, которая и половины не стоит!
- Что ты, кормилец! Уж и половину. Да тут одного товару на полтину.
- На полтину! – с ужасом восклицал Алексей Алексеич.
- На полтину! – с таким же ужасом повторял Иван Софроныч.

И оба они опять посмотрели на старуху как на безумную и помолчали.

– Да что ты, тетка, нас за дураков, что ли, считаешь? – говорил Иван Софроныч обиженным голосом.

– Как за дураков... что ты, батюшка? А ты вот сам разочти. Жаль, счетцев нет: не на чем выложить!

– Ну, выложим, изволь, выложим! – говорил Алексей Алексеич, доставая из кармана маленькие счета, без которых никогда не выходил со двора, когда бывал в городе.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Начинали выкладывать. Старуха толковала свое, покупатели – свое.

– Ну вот видишь: кожа столько-то, варежки столько-то, работа столько-то, и выходит всего тридцать пять копеек!

– Нет, уж меньше семи гривен, как угодно, взять не могу, – говорила сбитая с толку баба.

– Семь гривен! семь гривен! – с ужасом восклицали один за другим покупатели.

– Да приходи ко мне, – говорил Иван Софронич, – да я тебе по сороку копеек сколько хочешь таких точно продам.

– А коли свои есть, так неча и говорить.

И старуха идет.

– Тридцать пять взяла?

– Своей цены не даете!

– Ну, сорок?

Баба не отвечала и быстро удалялась.

– Да ты хочешь продать? – вскрикивал Алексей Алексеич.

– Как не хотеть!

Баба останавливалась.

– Ну так говори делом.

– Чего говорить, коли своей цены не даете!

– Как не даем? Ведь выкладывали.

– Да как выкладывали – по-своему всё.

– Ну, выложим, изволь, опять выложим, по-твоему.

Начиналось снова выкладывание.

– Варежки: девять копеек...

– Двенадцать, – перебивала старуха.

– Девять, – говорил Алексей Алексеич, страшно стуча костяшками.

– Девять, девять, – подтверждал Иван Софронич.

– Тесемка: три.

– Четыре!

– Кожа, работа... Ну и выходит тридцать восемь копеек.

– Как тридцать восемь! что ты, батюшка?

– Ну, сорок, сорок! Барыша пять... Ну, взяла сорок пять?

– Нет уж, меньше шести гривен взять не могу.

– Такой упрямой старухи я еще не видывал! – сердито восклицал Алексей Алексеич, смешивая костяшки. – Нет, что с ней слова терять. Видно, не хочет продать.

– Не хочет! – лаконически подтверждал Иван Софронич.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a  
– Как не хотеть? Вот что выдумали, прости господи! – возражала обиженная старуха.

– Ну, так сколько же?

– Да нет, не хочет, не хочет! – восклицал Иван Софроныч, поддразнивая бабу.

– А видно, вы, вижу я, купить не хотите, – сердясь, возражала она.

– Ну, взяла сорок пять?

– Да не будет с ней толку! – замечал Иван Софроныч.

– Будет, Иван Софроныч, будет.

– Не будет.

– Так вот же будет, прибавлю ей пятак. Ну, дам полтину – бери деньги!

– Полтину! – восклицал Иван Софроныч. – Да что у вас денег куры не клюют, что ли? И охота с ней связываться?.. Не видите разве – баба белены объелась!

– А ты не обижай ее, Иван Софроныч, пусть она сама увидит, пусть увидит. Ну, выкладывали? Ладно даю, ведь ладно, – взяла полтину?

– Да, возьмет она, дожидайтесь!

Наконец торговка, осыпая Ивана Софроныча свирепыми взглядами, изъявляла согласие.

– Приведись на меня, не взял бы, даром не взял бы! – говорил Иван Софроныч. – И товар дрянной, и работа рыночная!

– Товар дрянной! – говорила старуха. – Да ты такого товару, чай, и не нашивал. Уж кабы не для его милости...

Алексей Алексеич вручал ей полтину, и она удалялась, ворча.

– Ну, задели штуку! – говорил Алексей Алексеич, вытирая пот со лба.

– Задели! – повторял самодовольно Иван Софроныч. – Штука отличная, самим не стыдно носить...

– А сшиты как! Вишь, словно железные!

И оба они пускались выхвалять покупку свою с таким же жаром, как прежде хулили ее.

– Да один товар вдвое стоит, – говорил Алексей Алексеич.

– Что говорить, даром взяли, – отвечал Иван Софроныч. – Нечего сказать, обработали!

– Обработали!

И потом, воротившись домой, они лукаво посмеивались и, любуясь своим приобретением и дивясь его дешевизне, повторяли:

– Туману, просто туману пустили ей в глаза!

Так покупали наши приятели. Справедливость требует заметить, что Иван Софроныч сначала вооружался против некоторых покупок, доказывая их бесполезность.

– Дешево, точно дешево, – говаривал он в раздумье, рассматривая, например, огромный скат проволоки в триста аршин, приобретенный Алексеем Алексеичем за рубль тридцать копеек ассигнациями. – Да что нам в проволоке! Век проживем – не понадобится!

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Ну, продадим, – отвечал Алексей Алексеич, толкая ногой проволоку, которая с шипеньем и звоном покатила по двору. – Ведь кому не надо – больше даст. Стоит свезти в город!

В город, однако ж, новоприобретенные вещи, оказавшиеся ненужными, не отвозились, а оставались в Овинищах, под непосредственным смотрением Ивана Софроньча, который и сам, наконец, увлекся страстью своего хозяина и не мог видеть чужой вещи без того, чтоб хоть не пощелкать языком. Оно так и должно было случиться со всяким, кто приходил в соприкосновение с Алексеем Алексеичем. Кирсанов был человек чрезвычайно пылкий, увлекающийся; за мыслью немедленно следовало у него применение, за желанием – исполнение, и одумывался он уже тогда, когда было поздно. Натура его была в высшей степени деятельна; он принадлежал к числу тех людей, у которых руки уж так устроены, что не могут быть ни одной секунды в спокойном положении, – если нечего делать, то они хоть мнут ими кусочек хлеба или воску, отвертывают машинально пуговицы у собственного сюртука или что-нибудь подобное. Алексей Алексеич так часто и дельвал. Живость его доходила до невероятной степени. Если он вздумает обрезать ногти, то непременно дорезется до того, что прихватит самого мяса. Если вздумает починить что-нибудь, то сначала починит, и хорошо, а потом станет еще хитрить, как бы еще лучше сделать, и совсем испортит.

Таким образом, благодаря постоянному стремлению к деятельности произошло, что в течение пятнадцати лет весь дом Алексея Алексеича, со всеми его сараями, амбарами, флигелями и чердаками, превратился в складочный магазин всего подержанного, старого, изломанного, вышедшего из моды и употребления – словом, всего, что только по каким-нибудь причинам вывозилось на рынки ближайшего города. Нельзя сказать, однако ж, чтоб владельцы не принимали некоторых мер к сбыту своих приобретений; иное они продавали, иное выменивали, иное даже дарили. А Иван Софроньч не выезжал из дому без того, чтобы не набрать с собой во все карманы разных мелких вещиц – колец, табакерок, часов, гитарных струн, представляя, таким образом, свою особую ходячую лавочку. Стоило при нем заикнуться о какой-нибудь вещи, как он тотчас подходил к знакомому и даже незнакомому и предлагал ее по самой умеренной цене, показывал, расхваливал, рассказывая тут же ее историю. Но все эти меры оказывались, однако ж, далеко не достаточными, вещей всё-таки не убывало, потому что вместо каждой какой-нибудь сбытой появлялось две или три новоприобретенные. Несколько раз Алексей Алексеич пробовал даже делать из своих вещей то самое употребление, которое предполагал сделать, покупая их. Нанимались кузнец, шорник, обойщик, на отдаленном от барского дома флигеле появлялась самодельная вывеска: «Экипажное заведение». Все старые экипажи, колеса, дроги вытаскивались и выкатывались из сараев.

– Подновим, переделаем и возьмем в городе вчетверо! – говорил Алексей Алексеич.

И вот кузнец жег без милосердия уголья в кузнице, раздувая их исполинскими мехами, шорник диктовал длинный реестр нужных материалов, каждый день дополняя его, обойщик распевал песенки в ожидании работы... Но работа шла медленно и скоро совсем останавливалась.

– Не под силу хватили! – говорил наконец Алексей Алексеич, раскрывая и закрывая пустой кошелек. – В кошельке ни гроша, хоть выжми (и он сжимал в ладони кошелек), а нужно еще двои рессоры купить новые, да сукна тридцать аршин, да басону...

– Не минешь подождать до будущего года, – замечал Иван Софроньч.

– А что, Иван Софроньч, – говорил вдруг Алексей Алексеич, – я всё думаю: ведь дело верное?

– Верное.

– За тарантас триста дадут?

– Дадут триста, коли не больше.

– И за коляску пятьсот?

– Пятьсот.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Алексей Алексеич робко взглядывал на Ивана Софроныча и вполголоса говорил:

– Возьмем?

В лице Ивана Софроныча мгновенно появлялся испуг.

– Что вы, батюшка, Алексей Алексеич, вас ли я слышу?

– Выручим, так положим..

– А что скажет Александр Фомич? – замечал Иван Софроныч.

– Что скажет? – несмело возражал Алексей Алексеич. – Что скажет? Мертвые не говорят, Иван Софроныч.

– Не говорят, так и можно делать, стало быть, что вздумается! – голосом, близким к негодованию, возражал Иван Софроныч. – Батюшка Алексей Алексеич, – прибавлял он кротким, упрасивающим голосом. – Ну, не живет Александр Фомич; ну, Ваня жив.

– Ваня, Ваня! – с нежностью повторял Алексей Алексеич. – Жив Ваня? А бог один знает, жив ли еще Ваня!

– Жив, ваше высокоблагородие, жив; коли не знаем, что умер, значит, жив. Милости божией не постигнешь и не измеряешь, и судьбы его неисповедимы.

– Тссс!.. – говорил Алексей Алексеич, заслышав шаги в прихожей.

Оба в одну минуту умолкали и потом уже не возобновляли таинственного разговора долго, долго; разве опять начнут выгодное дело, да денег не хватит. Алексей Алексеич ходит день-два сам не свой, посматривает на Ивана Софроныча, тоскует, что дело гибнет выгодное, да вдруг и шепнет Ивану Софронычу тихо, несмело:

– А, была не была – возьмем!

Но, встретив те же суровые возражения со стороны Ивана Софроныча, покраснеет и робко приумолкнет. А потом в откровенную минуту благодарит Ивана Софроныча, что он спас его от искушенья, от тяжкого греха; и оба они после таких объяснений дружно и тихо говорят о своей старой жизни, о походах, о сражениях. Всего чаще в их разговорах упоминается Аустерлицкая битва, и, начиная говорить о ней, оба они понижают голос, который становится как-то нежнее, тоскливее, и ничего невозможно расслышать в их тихой беседе, кроме некоторых слов, таинственно произносимых: Аустерлиц... Александр Фомич... Ваня... клятва...

– А не махнуть ли нам в Петербург? – говорил в заключение Алексей Алексеич.

– Полагаю, собратья тяжеленько будет, – отвечал Иван Софроныч со вздохом. – Много и так теперь понесли изъяну... Да и что? ездили раз, и другой ездили... а как божьего соизволения нет, так хоть всё ездите – толку не будет!

– Ну так до будущей весны, – порешал Алексей Алексеич.

Весна приходила; но путешествие опять почему-нибудь откладывалось. Много лет прошло таким образом; приятели наши ограничились тем, что выписали наконец газету, где много помещалось всяких известий, а в особенности таких, которые отчетливо показывали, кто именно и в каких чинах прибыл в столицу и кто отправился в Динабург или другой город. Статья о приезжающих и отъезжающих с особенным интересом первая прочитывалась нашими приятелями, – может быть, потому, что сами они никуда не выезжали, а больше сидели в Овиницах. Фамилии при чтении, которое всегда происходило вслух, произносились с особенной ясностью, и над некоторыми друзья наши задумывались. Вообще все статьи и известия, где много упоминалось фамилий, заслуживали особенное их внимание. От таких статей прямо переходили они к публикациям о продаже разного старья, которое так любит сбывать через газеты петербургский житель, и глаза их разгорались...

– Обогащаться, просто в один год можно было бы обогащаться! – восклицал Алексей Алексеич. – Ведь что здесь? и умеешь покупать, да купить нечего! Уж попади я туда!..

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a И, однако ж, было истинным счастьем, что они не попадали в Петербург или попадали редко. Маленькое состояние Кирсанова и так уже было сильно расстроено дешевыми покупками в уездном городе и страстью озадачивать, делать всё или хотя начинать в широких размерах, превышающих средства, а главное – гордым стремлением обходиться домашними средствами, не иметь ни в чем нужды до города. Страсть к широким размерам губила наших друзей. Нужно раз в месяц подковать тройку чалых – строилась кузница, нанимался кузнец. Понадобилось полудить посуду – Алексей Алексеич порядил гуртом на неделю пять человек бродячих лудильщиков, которые в тот же день и сделали всё нужное. Алексей Алексеич бродил в тоске, придумывая, чем занять своих «лудителей» в остальные пять дней, и кончил тем, что приказал им вылудить триста аршин проволоки, которая ни в обыкновенном, ни в луженом виде не могла никогда им понадобиться, а была куплена потому, что дешево.

Так жили наши приятели, пока не случилась катастрофа, к описанию которой мы теперь переходим.

### Глава XXXI «Железная»

В числе экипажей, отделкой которых занимался в последнее время Алексей Алексеич, были старинные фельдъегерские дрожки, с крыльями, рессорные. Алексей Алексеич приобрел их в последнюю поездку в Петербург и приехал в них в Овинищи. Главным их достоинством, по словам его, была необычайная прочность рессор. Около полугода возился он с ними: перекрасил их, подновил, приделал к ним верх, и дрожки получили название коляски, к которому владелец прибавлял эпитет «железная».

Когда железная коляска была совсем готова, Алексей Алексеич долго любовался ею и наконец объявил, что он всё продаст, а с «железной» не расстанется. На ту пору пригласил их соседний помещик, праздновавший именины. Алексей Алексеич не любил ездить в гости, особенно потому, что не всегда мог брать с собой Ивана Софроныча; но тут он не выдержал: приказал закладывать «железную», собрался очень скоро и поехал.

Через полчаса печальное зрелище представилось глазам Ивана Софроныча, бродившего по двору со связкой огромных ключей.

Три мужика и лакей несли на носилках Алексея Алексеича, а за ними тащилась, перегнувшись на один бок, «железная», в самом жалком положении. Как описать ужас Ивана Софроныча, когда он увидел своего друга и благодетеля, бледного как полотно, с признаками глубокого страдания в лице, с закрытыми глазами.

– Вот тебе и «железная»! – мог только сказать Алексей Алексеич, открыв на минуту глаза, и лишился чувств.

Оказалось, что «железная» далеко не была так прочна, как предполагалось. В версте от Овинищ была река, через которую пролегал мост, не слишком прочный и не слишком хорошо устроенный. Едва лошади спустились с оврага и начали подниматься в гору, не чуждую рытвин, причем кучер подстегнул их, чтоб дружной вывезли, как «железная», высоко припрыгнув на рытвине, вдруг с быстротою молнии осела на один бок и кузов потащился почти по земле: лопнула рессора! Алексей Алексеич выпал и ударился об какой-то суковатый пень, торчавший среди иглистой пакли и всяких сучьев, которыми была загачена узкая речонка. Ушиб пришелся как раз по левому бедру Алексея Алексеича, где у него уже двадцать лет сидела пуля, и Алексей Алексеич мучительно простонал.

Иван Софроныч всю ночь не смыкал глаз у постели своего благодетеля, с которым сделался жар, к утру усилившийся до бреда. Часу в двенадцатом прибыл доктор, привез микстуру, осмотрел больного. Старая рана раскрылась и мучительно болела. Усилиями доктора и неусыпными попечениями Ивана Софроныча воспаление было остановлено, больной пришел в память, но чувствовал чрезвычайную слабость; ждали – слабость не проходила, рана не закрывалась. Алексей Алексеич видимо клонился к разрушению. Он был уже в таких летах, в которых трудно переживается сильное органическое потрясение, и сам чувствовал, что конец его близится.

Не то с Иваном Софронычем: он думал положительно, что благодетель его поправится, находил, что ему с каждым днем лучше, тогда как в самом деле становилось всё хуже, и уверял больного в скором выздоровлении; да и не могло



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
быть иначе: потерять Алексея Алексеича, остаться одному на том пути, который они проходили столько лет вместе, казалось Ивану Софронуичу невероятным; живя столько же для своего благодетеля, сколько для себя, и еще более для него, он не мог отделить мысли о себе от мысли об Алексее Алексеиче, и для него смерть Алексея Алексеича значила и сво<ю> собственн<ую> смерть. Даже прежде, как случалось ему попадать на мысль о смерти, он не думал, не говорил: умру, а обыкновенно: умрем, что и значило, «когда бог по душу пошлет, мы с Алексеем Алексеичем скажем: умирать так умирать, покаемся в прегрешениях да и ляжем в могилу». Эта мысль утвердилась в нем еще и потому, что на ближнем кладбище у них давно уже отмечено было местечко, как раз для двоих. Когда ему случалось думать о дочери, он тоже обыкновенно говаривал в раздумье: «Хорошо тебе теперь жить, Настенька, а вот что будет, как мы умрем», – и никогда с другой стороны не брал он вопроса о смерти. Оттого Иван Софронуич был даже довольно спокоен, и только страдания благодетеля сокрушали его.

– Плохо! – говаривал Алексей Алексеич. – Плохо, Софронуич! Уходила, ох! уходила «железная»!

– Ну, где же плохо! – возражал Иван Софронуич. – Вчера скушали только три ложечки бульону, а сегодня семь.

(Добрый Иван Софронуич не подозревал, что больной ел через силу, зная, что возвращение аппетита почиталось Иваном Софронуичем несомненным признаком выздоровления.)

– Да, да, и цвет лица лучше. Одно – ходить не можете, – дело понятное; коли нога болит, так известно, с больной ногой далеко не уйдешь...

– Да и сидеть тоже трудно, так все косточки ломит, – так повернуть – больно, и так – больно...

– Трудно сидеть? Да оттого трудно, что кресло нехорошо. А вот постойте: сделаем мы такое кресло, что как раз будет вам словно в люльке.

И целые две недели Иван Софронуич придумывал кресло, в котором ноге больного было бы покойно. Старая страсть пробудилась в больном, и он тоже принял участие в сочинении кресла, давая советы, делая замечания. Но когда наконец кресло было готово, он так ослаб, перемещаясь в него, что целый день не открывал глаз и не мог сказать слова.

Печально и медленно шло время. Любимым занятием больного было рассматривать свои многочисленные покупки, с которыми соединялись воспоминания о лучших минутах последних лет его жизни. В хорошую погоду кресло с чрезвычайной осторожностью вывозилось во двор, для чего придуманы были Иваном Софронуичем особые подмостки, приставлявшиеся к крыльцу; выносились вещи по требованию Алексея Алексеича; вывозились экипажи. Припоминалась история каждой покупки, и как торговали, и сколько дали, и что случилось при покупке; забавная история с часовой вывеской, по поводу которой подрался купец с приказчиком, была повторена несколько раз, и всегда с новым удовольствием; свешены были триста аршин проволоки, подверженной, по известному случаю, полуде, и разочтено, что в ней одного железа на шесть рублей. Подвергнута была новому осмотру табакерка подозрительного вида, предварительно потихоньку вычищенная Иваном Софронуичем, и единогласно решено, что она настоящая серебряная.

– И где у него глаза были, когда он продавал! – говорил Алексей Алексеич с довольной улыбкой. – Подумаешь, у слепого купили!

– У слепого не у слепого, – с гордостью отвечал Иван Софронуич. – А как, бывало, туману пустим в глаза, так тут не рад, да отдашь!

– А может, краденая, – заметил флегматически кучер Вавило, держа перед господином скат луженой проволоки, который блестел на солнце точь-в-точь как осматриваемая табакерка.

Но деятельная натура Алексея Алексеича требовала разнообразия. Пересматривать старые вещи ему надоело; иногда он говаривал:

– Скучно хворать! ничего нет новенького... Знаешь, Иван Софронуич, хоть бы ты

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
съездил в город, купил что-нибудь, теперь время такое: может попасть даром хорошая вещь. И так уж сколько не были в городе: много, я думаю, прозевали хорошего!

Иван Софроныч ехал, возвращался с чрезвычайной скоростью и привозил целый короб разнородных покупок.

Несмотря на всевозможные развлечения, мысль о смерти всё чаще и чаще посещала больного. Наконец он решительно объявил Ивану Софронычу, что не доживет до будущей весны, что пора подумать о том, как придется жить Ивану Софронычу.

– Да не умрете же вы, Алексей Алексеич! – с досадой возразил Иван Софроныч. – Скучно вас слушать. А еще солдатом изволили быть.

– Да ведь и солдат не вечен, Иван Софроныч. Мне уже шестьдесят три года... да и нога, нога! (Он морщился.) Ну, Иван Софроныч, ну, голубчик, положим, жить я буду, а если... ну, поговорим, потешь старика, поговорим; болен, привередлив стал... что ты станешь с ним делать? хочет вот говорить о своей смерти, да и кончено! Надо уступить... Ну, уступи, уступи!

И в голосе больного столько было нежности и просьбы, что Иван Софроныч готов был разрыдаться. Подавив слезы, он сказал:

– Ну, поговорим, коли вашему высокоблагородию угодно...

– Если я умру...

– Да коли вы умрете, так и я не жилец! – возразил Иван Софроныч. – Значит, и разговору конец: сказка вся – и сказывать нельзя. А теперь осмелюсь доложить вашему высокоблагородию: у коренной саврасой подсед сделался... Что прикажете?..

– Уксусу, Иван Софроныч, уксусу с пенником... А ты вот говори: я умру; ну что ж? все умирают. Иван Софроныч, мне не двадцать лет, пожил, да и жить не хочется, умру.

– И я умру – вот сказка и...

– А дочь, Иван Софроныч? у тебя дочь есть, для дочери надо жить, – прервал Алексей Алексеич. – И... для Вани! – прибавил он тихо. – А ты вот отопри конторку: вынь ящик да и подай сюда.

Он дал ему ключ. Иван Софроныч исполнил его желание.

– Вот, – сказал торжественно Алексей Алексеич, доставая небольшой сверток бумаг. – Вот они! Двадцать лет хранил; теперь сам не могу хранить, так передаю Понизовкину и знаю, что в надежные руки передаю, – надежнее моих: я, грешен, не раз блажная мысль приходила в голову... да, спасибо, был около человек, золотой человек, великая душа, а имя тому человеку Понизовкин; так и скажу Александру Фомичу, если господь бог удостоит грешную душу царствия небесного, где он теперь, праведник, обитает. Нагнись, Софроныч... в его руках он был, – прибавил старик, приподнимая пакет, – его память святую чествуем...

Понизовкин, не говоря ни слова и сурово глядя в сторону, стал на колени перед Алексеем Алексеичем; больной благоговейно поцеловал пакет и отдал его Ивану Софронычу.

– Чем заслужил я такую доверенность вашего высокоблагородия? – с чувством сказал Понизовкин, почтительно принимая пакет. – Коли жив буду, коли уж придет беда такая, что переживу отца и благодетеля своего, исполню...

– Не клянись, Софроныч. Я знаю тебя! Ты его не забудешь... ты не обидишь его... А ты как останешься, Понизовкин? – продолжал больной. – Поедешь, разумеется, в Петербург. Поезжай! Я, грешный человек, обленился под старость, засиделся в Овинищах... Побывай я там еще раз-другой, может, всё бы давно благополучно кончилось... Ну а ты не в меня: ты чужую заботу пуще своей ценишь... Да как ты поедешь? да чем поедешь? да как жить будешь? Эх, Софроныч! много я покуролесил да бросил даром денег. И пришлось теперь, что не с чем кровного своего в дальнюю дорогу отпустить.

– Ваше высокоблагородие! много изволили со мной пожить, а не изволите знать солдата Понизовкина. Понизовкин во веки веков солдатской чести своей не продаст. И так поет и болит душа, что не умел и не могу отслужить щедрых милостей ваших, да и принимал их не по корысти, а господу богу угодно было так, что либо жить Понизовкину с вашим высокоблагородием, либо...

– Не говори, Софронич... не ты, я твой должник... Не живи ты со мной... Сам знаешь, человек я хворый, раненый, одинокий...

– Нет, ваше высокоблагородие, вы меня и не обижайте – ничего не возьму! и так много доволен... кто дал пристанище Понизовкину? кто кормил его? кто, словно брата родного, уважал и чествовал его?..

– Ну, Понизовкин, полно! Господь разберет, кто из нас у кого в долгу, – сказал Алексей Алексеич торжественным голосом.

Оба они старались подавить слезы, блиставшие в их глазах, и несколько минут молчали.

– А я так думаю, – сказал больной, – что нечего нам с тобой считаться. Пожили – и конец! Ведь пожили, Софронич?

– Пожили, ваше высокоблагородие, пожили... дай бог всякому так пожить! да и поживем еще, – отвечал Понизовкин. – Не знаю только, что вам пришло в голову...

– А и в самом деле! – сказал с неожиданной веселостью Алексей Алексеич. – И сам не придумаю, с чего мне пришли в голову такие черные мысли? бог даст и поживем еще. Знаешь, Софронич, какая до тебя просьба?

– Извольте приказать, ваше высокоблагородие.

– Поезжай ты в город и купи там тарантас... новый, а лучше подержанный, только немного... мы его здесь обделаем... да такой, чтобы, знаешь, если зимой придется ехать, так чтоб полозья можно было пригнать...

– Осмелюсь спросить, что изволили придумать?

– А может, надумаю ехать в Петербург либо в Москву полечиться... всё лучше, как будет готов...

Через день в Овинищи привезли тарантас, подержанный, но удобный и поместительный. Больной приказал подвезти себя к нему, осмотрел каждый винтик, просил Ивана Софронича сесть и покачаться. Затем пошли переделки и поправки. Алексей Алексеич оживился; тарантас, по-видимому, сильно занимал его: он чрезвычайно хлопотал о красоте, поместительности и – главное – о прочности его. Когда всё было готово, он приказал запрячь в него тройку и нарочно ехать по самой дурной дороге, чтоб увериться, выдержит ли дрога, оси, колеса. Проба повторялась несколько дней. Кучер Вавило каждый раз докладывал, что «прочнее тарантаса свет не производил».

– А лошади смирно идут? – спросил Алексей Алексеич.

– Смирно, только коренная, лысая, немного пошаливает.

– А что?

– Да задом раза два ударила.

– Ай-ай! не годится! попробуй в корень чубарую, а лысую с левой руки.

Попробовали: оказалось, что чубарая отлично идет в корню, а лысая не бьет с левой руки. Но Алексей Алексеич не успокоился, пока не уверился собственными глазами, приказав кучеру ездить мимо своего дома и наблюдая.

– А не мало ли карманов у тарантаса? – спросил он. – Ведь в дороге чем укладистее, тем лучше.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Сочли. Алексей Алексеич нашел, что карманов мало. И тотчас под его личным надзором нашито было еще множество кожаных карманов, баульчиков, кобур, и всё пригнали к тарантасу.

– Ну, теперь хоть на тысячу верст! – весело говорил Алексей Алексеич, когда наконец тарантас совершенно покончили, – Игрушка, просто игрушка!

«Хорошо-то хорошо, да кто поедет на нем? – думал про себя кучер Вавило. – Вишь, у барина щеки словно гороховая скорлупа вылуценная!»

– А что, Иван Софроныч, я давно не видал моего вицмундира, – сказал однажды Алексей Алексеич. – Вели-ка его принести... кажется, еще хорош? А всё осмотреть да почистить не мешает. Да и портного вели позвать.

– А надень-ка, Иван Софроныч, – сказал Алексей Алексеич, осмотрев вицмундир. – На человеке виднее.

Иван Софроныч надел.

– Широко, – сказал Алексей Алексеич.

– На меня широко, да ваше высокоблагородие поплотнее...

– Был, – прервал его Алексей Алексеич, – а теперь как раз по твоей мерке надо переделать.

– Помилуйте! – возразил Иван Софроныч. – Да неужто уж ваше высокоблагородие так и остаться думаете? Вот начните только ходить, увидите, как раздобреете!

Но больной требовал, чтоб вицмундир был непременно переделан по мерке Ивана Софроныча. И каждый день требовал он какую-нибудь вещь: то шапку зимнюю, а потом летнюю, то сапоги меховые, осматривал всё и приказывал чинить. Сам же, когда боль несколько утихала, принимался писать. Но рука его не могла держать перо более пяти минут, и последнее его письмо дорого ему стоило.

– А вот-с мундир не прикажете ли подать? – сказал ему однажды портной. – Вы его давно не изволили надевать: может, тоже понадобится переделать.

Алексей Алексеич печально улыбнулся.

– Мундир? – сказал он. – Мундир оставить так; не стоит с ним возиться... время терять. Мундиру немного носки придется, да и носка нетрудная... лежал и будет лежать... да и не беда, широко ли, узенько ли будет, – все равно! – тихо промолвил больной и задумался.

– А что шуба медвежья? – спросил он через несколько минут. – Лежит?

– Лежит.

– Полно ей лежать. Переделать ее, перекроить... По Ивану Софронычу: мне тяжело будет примеривать.

Переделали и шубу.

Прошло несколько дней. Алексей Алексеич так ослаб, что уже не мог сидеть в кресле; его переложили на кровать. Жизнь видимо гасла в старике. Доктор, приезжавший почти ежедневно, объявил, что ему недолго жить.

«Шутишь, брат!» – подумал Иван Софроныч; но сердце в нем мучительно дрогнуло. Он начинал верить очевидному несчастью.

Вечером Иван Софроныч сидел у постели больного; больной находился в забытьи и только по временам стонал.

– Иван Софроныч! – прошептал он вдруг.

– Что угодно вашему высокоблагородию?

– Дай руку.

Иван Софроныч подал.

– Что тебе, нехорошо?

– Нет, ничего, Алексей Алексеич, – бодро отвечал Понизовкин. – Полагаю, вот вашему высокоблагородию так не совсем хорошо; да бог милостив...

– Нет, знаю: тебе хуже моего, хуже. Не горюй! не жалея меня... Ты веришь в бога, Софроныч?

– Верю во единого бога-отца...

– Ну так верь богу: мне легко умирать. Прощай, товарищ... верный товарищ... старый сослуживец... честный солдат...

Больной говорил с большими паузами.

– Прощай, брат! – прибавил он, судорожно пожав руку Понизовкина.

Софроныч упал на колени перед кроватью и оставался с наклоненным лицом; слезы текли градом по его бледному лицу, которого напряженная суровость показывала страшное усилие сдержать их.

Несколько минут длилось молчание.

– А помнишь Данциг? – тихо сказал больной.

– Помню, – еще тише отвечал Иван Софроныч. – Ваше высокоблагородие там взяли знамя...

– Да, я взял его, я!.. – с неожиданной живостью гордо прошептал больной. – Пуль двадцать разом около головы свистнуло, только одна задела... Не трус был я?

Иван Софроныч не расслышал.

– Славное было дело... А Фомича помнишь?

– Помню, – прошептал Понизовкин.

– Ну... не забудешь и Ваню...

Наступило молчание.

– Софроныч!

– Здесь.

– Пожили? – тихо прошептал больной.

– Пожили, ваше высокоблагородие!

И опять наступило молчание.

– А плох же я стал! – сказал вдруг больной с большим усилием. – Память пропала: писал, писал и чуть не забыл, Софроныч!

– Что прикажете?

– Под голову положил я записку: возьми! в ней вся моя воля, а форменное завещание, как следует, в Приказе. Смотри, всё сделай, как написано. Взял?

– Взял.

– Покажи.

Иван Софроныч поднес к глазам больного исписанный листок.

– Она. Положи в карман.

Иван Софроныч положил.

– Не потеряй... исполни... да не взыщи: куда как нацарапано; да ты разберешь: привык.

Больной погрузился в забытие; мысли его путались; по временам он произносил слова, которые не вязались между собою. Так прошел час.

– Софроныч! – прошептал больной.

– Я.

– Нагнись... ближе! Прощай, поцелуй старого солдата.

Они поцеловались.

– Дай руку. Пожили? – прошептал с усилием больной.

– Пожили! – отвечал Иван Софроныч, сдерживая слезы. – Пожили, ваше высокоблагородие!

– Ну, надо и умирать.

Больной забылся и лежал тихо и неподвижно. Через полчаса он снова пришел в память, но уже почти не мог говорить. Софроныч едва расслышал его шепот:

– Настя... дочь твоя... не видал... люблю...

Софроныч понял, что умирающий желает видеть Настю, и побежал за нею.

Флигель, в котором помещался Иван Софроныч с семейством, отстоял от барского дома в полуверсте, потому что строился он собственно с другим назначением: предполагалось когда-то устроить тут нечто вроде харчевни или постоянного двора, где проезжающие обозы могли бы иметь ночлег, сено, овес и пищу. От этого и форму имел он странную: был узок с большой дороги, но уходил на значительное расстояние в поле, расстилавшееся за ним; придумано было, даже для него особенное название, которое и до сей поры красовалось на прибитой к нему вывеске собственного изделия Алексея Алексеича; по голубому полю, выгоревшему теперь от солнца, крупными буквами было написано: «Остановись и Подкрепись» – название, под которым и известен был флигель во всем околотке.

Иван Софроныч вышел на крыльцо, обогнул домашние службы и быстро пошел по узенькой тропинке, протоптанной к флигелю его собственными ногами в течение многих лет, параллельно с большою дорогою. Ночь была тихая; глубокое темно-голубое небо, усеянное множеством звезд, висело над землей как будто выше обыкновенного. Из саду, с полей неслись неугомонные крики кузнечиков, звонко раздававшиеся в чистом, ароматном воздухе.

Смутно было в душе и в мыслях Ивана Софроныча; неясно сознавал он происходившее с ним; только последние впечатления были в нем живы: он помнил, что благодетель его пожелал видеть Настю, и бежал во всю стариковскую прыть, чтоб скорее исполнить его желание.

Скоро достиг он флигеля, откуда тускло светился огонек, но не остановился и не думал о подкреплении, а опрометью вбежал в дверь.

Отворив ее, Иван Софроныч поражен был совершенно неожиданным зрелищем: жилище его приведено было в такой странный беспорядок, как будто по соседству происходил пожар, вынуждавший соседей немедленно собрать в кучу всё свое имущество, чтоб вытащить его в безопасное место при первом приближении пламени к дому.

При внимательнейшем рассмотрении, впрочем, в самом этом беспорядке замечался некоторый порядок. В одной груде свалено было белье; в другой – подсвечники, самовары, посуда, сапожные щетки; в третьей Иван Софроныч узнал принадлежности

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
собственного одеяния, собранные с такою тщательностью, как будто собиравший имел намерение без слов упрекнуть его в расточительности; в четвертой, с большим порядком и тщательностью сложено было женское платье, и тут же, на доске для глаженья, стояло до десяти картонных болванов, которые при тусклом свете нагоревшей свечи казались шерентой окаменелых карликов с глупыми и удивленными глазами. На них-то прежде всего упал взгляд Ивана Софроныча; он вздрогнул и потерянным, недоумевающим взглядом окидывал комнату в течение минуты.

– Что остолбенел? – заговорила Федосья Васильевна, укладывая в раскрытый сундук чепцы и кофточки, которые своею чистотою выказывали еще резче недостатки ее туалета: весь он состоял из одной истасканной кацавейки и папильоток, в которые собраны были все ее жидкие, короткие волосы, отчего голова ее походила на куст репейника. – Небось удивился? – продолжала она. – Укладываюсь, батюшка, укладываюсь! Ведь... благодетель-то твой не сегодня завтра ноги протянет: приедут наследники... думаешь, так и позволят тебе тут проживать! Выгонят, батюшка, выгонят! Я давно говорила, что толку не будет. Уж и так жили, да только время теряли. Что ж? теперь дожидаться, чтоб еще выгнали? Нет уж, лучше самим убраться поскорей от сраму!

Нельзя сказать, какое впечатление произвела эта речь на Ивана Софроныча: он ничего не сказал, даже не махнул рукой, как обыкновенно дельвал, когда супруга его пускалась в длинные разглагольствия. Молча подошел он к дочери, занятой также укладкой чепцов и кофточек, взял ее за руку и сказал:

– Пойдем!

Это слово было сказано таким голосом, что Федосья Васильевна невольно подняла голову и посмотрела на Ивана Софроныча.

– Господи! какое у него лицо! – воскликнула она. – Что это ты, батюшка, никак совсем рехнулся! Сам пропадаешь бог знает где да еще и ее тащишь от матери!

– Пойдем! – повторил Иван Софроныч тем же голосом и пошел с Настей к двери.

Настя молча повиновалась, испуганная его странным голосом и лицом.

– Постой! скажи хоть куда? Что, она мне не дочь, что ли? Вот до чего дожила: даже и в родной дочери власти не имею.. Настя!

Но Настя была уже за порогом, увлеченная Иваном Софронычем, который повторял ей:

– Скорее, скорее!

– Сумасшедшие! – воскликнула Федосья Васильевна, выбегая за ними. – Да куда же вы? к нему, что ли? Так хоть платье другое надела бы да волосы причесала. Настя! Настя!

Сердитый голос Федосьи Васильевны звонко раздавался в чистом вечернем воздухе; но еще звонче раздавались в ответ ему шаги отца и дочери, которые, взявшись за руки, быстро бежали к дому.

Луна освещала бегущих по тропинке и падала искоса на изумленное лицо Федосьи Васильевны, стоящей на крыльце своего флигеля.

– Сумасшедшие! – повторила Федосья Васильевна, глядя за бегущими. – И старик-то мой – что это с ним сделалось? Бежит, словно мальчишка какой. Откуда прыть берется!

– Да вы так устанете, батюшка, – сказала Настя, едва поспевая за Иваном Софронычем. – Что случилось?

– Узнаешь, узнаешь! – отвечал Иван Софроныч. – Только ты будь умница. Не беспокой чем его высокоблагородия!

Добежав до крыльца, Иван Софроныч остановился, перевел дух и опять подтвердил Насте, чтоб она не беспокоила чем-нибудь больного.

Они вошли в дом, и первое, что поразило Ивана Софроныча, было довольно сильное

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
храпенье, раздававшееся в комнате, смежной со спальней больного.

Иван Софронич быстро, но осторожно подкрался к спящему, тихонько разбудил его и сказал плачущим голосом:

– Бога ты не боишься, Савелий: барин так болен, а ты не только что заснул, да еще беспокоишь его – храпишь, словно год не сыпал.

– Виноват, – четвертую ночь глаз не смыкал! и самому невдомек, как вдруг склонило; я и не думал, что сплю! – отвечал Савелий, любимый камердинер Алексея Алексеича.

Затем Иван Софронич, ведя за собой Настю, осторожно вошел в комнату больного. В ней царствовала глубокая тишина.

Иван Софронич остановился, Настя тоже; Иван Софронич пристально смотрел в лицо больного, тускло освещенное нагорелой свечой, готовый при малейшем его движении подойти и доложить, что он исполнил его приказание.

Прошло, однако же, несколько минут, а больной не подавал голоса, даже не шевелился.

– Надо подождать, – шепнул Иван Софронич дочери, – когда сам очнется да спросит. Он и всё со мной сам заговаривал.

И они ждали с полчаса.

– Что ж он не говорит? – тихо спросила Настя.

– Ну, не говорит! известно: слаб, – забылся, так и не говорит; может, к лучшему, – сурово отвечал Иван Софронич.

Прошло еще полчаса. При каждом движении Насти Иван Софронич тихо произносил «тсс!..», и Настя не смела пошевелиться. Но, держась всё в одном положении, она страшно устала.

– Да он даже не шевелится, батюшка! – тихо заметила она.

– Ах дура ты, дура! – с досадой сказал Иван Софронич. – Да кабы ты видела, как болел его высокоблагородие. Ведь ему, голубчику, и пошевелиться в труд...

И он замолчал, сделав снова дочери знак, чтоб она не говорила и не шевелилась.

Сам же он с той самой минуты, как она пришла, стоял всё в одном положении – неподвижно. Правая нога его стояла на полу, левая, несколько выдвинутая вперед, – на ковре, лежавшем у постели; он был в подержанном вицмундире своего полка, без эполет, застегнутом наглухо; бледное лицо его, вставленное в рамку седых всклокоченных бакенбард, выражало чуткое, сосредоточенное внимание; глаза были постоянно устремлены на больного. Настя стояла подле него, несколько сзади, и тоже внимательно и грустно смотрела на больного.

Прошло еще несколько времени тихого ожидания. Из соседней комнаты снова послышалось громкое храпенье Савелья. В лице Ивана Софронича мелькнуло выражение досады и упрека. Он, однако ж, не пошевелился.

– Слышите, как храпит Савелий, – тихо сказала Настя.

– Тс!.. слышу! Эх, Савелий, Савелий! не ожидал я от него этого! – прошептал Иван Софронич.

И опять оба они хранили глубокое молчание, которое можно было сравнить только с спокойствием и неподвижностью больного, лежавшего всё в том же положении.

Настя с трепетом прислушивалась к жужжанью мухи, которая билась об стекло с какой-то безумной суетливостью; смотрела на свечу и на черное пятно, окруженное светом, отражавшимся на низком потолке, и поминутно мелькавшее. Тоскливость овладевала ею более и более.



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Долго ли мы будем так ждать? – спросила она, чувствуя смертельную ломоту во всем теле.

– А вот когда очнутся его высокоблагородие да спросят, – отвечал Иван Софроныч, – тогда и перестанем.

– Да спросят ли они? – простодушно возразила Настя.

Смущение, гнев, ужас выразились в лице Ивана Софроныча. Он с таким негодованием посмотрел на свою дочь, что Настя вся задрожала и, будто уличенная в преступлении, пугливо прошептала:

– Папенька! я так только сказала.

– Так! – возразил Иван Софроныч с каким-то судорожным беспокойством. – И так не надо говорить пустяков. И кто тебя просит говорить! – продолжал он с гневом. – Молода еще, глупа еще, чтоб соваться не в свое дело...

– Тише, папенька! он, кажется, шевелится, – сказала Настя, которой в самом деле показалось, что больной пошевелился.

– Шевелится! Ну, видишь – пошевелился! – с живостью подхватил Иван Софроныч, и глаза его впились в больного.

Больной, однако ж, лежал по-прежнему неподвижно, и как ни всматривался Иван Софроныч в лицо и во всю фигуру его, не мог открыть признака движения.

– Ты точно слышала, как он пошевелился? – спросил Иван Софроныч Настю.

– Кажется, – отвечала Настя.

Иван Софроныч рассердился.

– Дура! – прошептал он. – Ведь слышала, что пошевелился? слышала?..

Он ждал ответа. Настя кивнула головой.

– Так чего ж тут: кажется! нечего и говорить: кажется!

Он стал снова всматриваться в больного, и новое, сейчас только сделанное открытие поразило его: как он ни прислушивался, он не мог услышать дыхания больного. Это открытие вызвало на лице Ивана Софроныча выражение минутного ужаса, которое потом сменилось выражением досады, вероятно относившейся к Савелию, которого храпенье постепенно усиливалось.

– Слышишь, как он дышит? – спросил Ивая Софроныч дочь свою.

– Слышу, – отвечала запуганная Настя.

Иван Софроныч вздохнул свободнее.

Между тем другие мысли теснились в голове девушки, которая вся трепетала, проникнутая смутным ужасом. Полумрак комнаты, неподвижное, бледное лицо больного, глубокая тишина, нарушаемая только досадным храпением Савелья, – всё пугало ее и настраивало к унылым мыслям. Всматриваясь в лицо больного, она постепенно поражалась более и более его неподвижностью, безжизненной бледностью и тем строгим, пугающим выражением, которое сообщает лицу смертью. Чем более она всматривалась в лицо больного, тем более находила она в нем сходство с холодным, суровым, неподвижным лицом своей бабушки – единственного существа, которого смерть случилось ей видеть. И чем более думала она о своей бабушке, припоминая ее лежащую в гробу и потом отпеваемую в церкви, тем страшнее и страшнее становилось ей и тем неотвязнее преследовала ее мысль, что Алексей Алексеич также уж умер и даже холоден, как и бабушка. И воображению Насти он уже представлялся в тех самых положениях, в каких она видела свою покойную бабушку в последние дни, до той минуты, как положили ее в могилу и стали засыпать землей. Настя дрожала, и когда наконец страшная мысль совершенно овладела ребенком, она не могла более противиться ужасу и, невольно оборотившись к отцу без прежней осторожности, громко произнесла:

– Папенька! да ведь он умер.

Невозможно описать ощущения, отразившегося в лице Ивана Софроныча при восклицании дочери, ни того судорожного негодования, с которым он обернулся к Насте. Казалось, он готов был ударить ее, и только страх нарушить покой благодетеля остановил его руку.

– Молчать! – прошептал он голосом, полным подавляющего негодования. – Да ты что, доктор, что ли? У матери выучилась вздор молотить. Молода еще, глупа еще! Вот нашлась умница! стариков учить вздумала! и что ты понимаешь? и кто тебе сказал? и где ты могла выучиться?

– Я видела мертвую бабушку. Она была точно...

– Бабушка! шутка ли, велика птица твоя бабушка! Тс!..

Слова дочери проникли в сердце Ивана Софроныча, как ни мало он, казалось, верил им. Ужас сделался постоянным выражением его лица, и в глазах его, устремленных на Алексея Алексеича, отражалось глубокое недоумение, – страшный вопрос, разрешения которого боялся сам Иван Софроныч.

Он и дочь, бледная и трепещущая, стояли в прежнем положении, храня глубокое молчание, когда в соседней комнате послышались тихие шаги. По шарканью башмаков можно было догадаться, что они принадлежали женщине. Тихо обернувшись к двери, Иван Софроныч увидел свою жену.

Соскучась по муже и дочери и удивленная долгим их отсутствием, она вздумала сама проведать, что они делают, и явилась, приодевшись предварительно и убрав свою голову. К чести ее должно заметить, что она никогда не показывалась в люди, как сидела дома, но всегда принарядившись, даже с излишней щепетильностью.

– Тсс!.. – сказал ей Иван Софроныч, положив палец на губы.

Она тихо подошла к нему и спросила:

– Что у вас тут такое? спит, что ли?

– Тс!.. спит! – отвечал Иван Софроныч. – Его высокоблагородие всё были в жару, а вот успокоились. Теперь, я думаю, скоро очнутся. Надо подождать.

Федосья Васильевна присоединилась к ним и стала всматриваться в больного.

– Софроныч! – сказала она. – Да ты никак с ума сошел? Ведь он просто умер.. уж, чай, и похолодел!

Иван Софроныч помертвел.

– И ты туда же? – грозно прошептал он. – Эх, язык, бабий язык! – Он силился улыбнуться, а между тем холодный пот выступил у него на лбу. – Недаром говорится: волос долог, да ум короток... Ха-ха! И кто тебя просил сюда!

Пока он говорил, Федосья Васильевна продолжала всматриваться в больного, наконец подошла к нему, пощупала рукой и воскликнула:

– Ну так и есть: холоднехонек! Ах ты, батюшка, благодетель наш!

И она зарыдала.

– Прочь! не беспокоить его высокоблагородие! – страшным голосом закричал Иван Софроныч, бросаясь к постели, чтоб оттащить жену.

– Батюшка! – закричала Настя, бросаясь тоже к постели. – Умер! умер!

Федосья Васильевна, поймав руку мужа, приложила ее к лицу покойника: оно было холодно как лед.

Иван Софроныч мучительно вскрикнул.

В комнате настала прежняя тишина.

Не вдруг, однако ж, поверил Иван Софроныч страшной истине: очнувшись через минуту, он стал всматриваться в покойника, ощупывал его, прислушивался к дыханию, – принес зеркало, приложил его ко рту больного – дыхания не было.

Когда наконец не было сомнения в ужасной истине, Иван Софроныч разразился таким воплем, такими рыданиями, что невольно вздрогнули все присутствующие. Долго рыдал Иван Софроныч над своим другом, благодетелем, командиром и однокашником (так называл он покойника, целуя и обливая слезами его холодное лицо). Наконец он очнулся, привстал с постели, и первый предмет, попавшийся ему в глаза, была Настя: потрясенная страшным событием и рыданиями отца, Настя, бледная и дрожащая, стояла на коленях перед образом, где тускло теплилась лампада, и молилась, клала земные поклоны, горько рыдая.

– Молись, – сказал Иван Софроныч, – молись, сиротка! умер такой человек, какого и не будет, сколько ни простоит свет. Царство небесное праведнику!

И сам он упал на колени подле дочери и стал молиться, горькими рыданиями сопровождая земные поклоны.

Все присутствующие тоже молились рыдая.

Даже Федосья Васильевна прослезилась непритворными слезами. Притворные – было у ней дело обыкновенное.

## Глава XXXII

### Завещание

История молодости Ивана Софроныча относится к давнопрошедшему времени.

«Родился я в селе \*\*\*, С-<й> губернии, того же уезда. До осьмнадцати лет жил в отцовском доме, пахал землю, помогал отцу в работах. По девятнадцатому году взяли меня в барский двор: парень был я видный и к тому ж грамотный, меня хотели приставить камердинером к старому барину, пообтесавши да пообразовавши. Ну и приставили. Да не прошло полугода, как со стариком приключился паралич, – умер и всех нас, дворовых, по завещанию, пустил на волю, да еще – царство ему небесное! – с наградением. Дали мне, парню молодому, триста рублей денег да всю одежду мою и пустили на все четыре стороны. Дело было глупое, неопытное; я и позамотайся, праздность полюбил, бражничать стал, хмелем зашибаться.

Хмель до добра не доводит: однажды, под веселую руку, я сошелся с волостным головой – и, слово за слово, продался в солдаты за волю. Брало меня потом раздумье, да голова не давал мне никогда одуматься: пей сколько душе угодно; пиво, мед, водка с утра до вечера! Я жил в селе словно гость, – красная рубаха, синий армяк, шляпа поярковая; к кому из мужиков не придешь, всякий рад, как родному, особливо, понимаете, у которых сыновья молодые дюжие парни. На руках носить рады! Девки тож знатные: не то чтобы в сарафанах да босиком, – нет! село богатейшее, городу не уступит; по праздникам все разоденутся по-немецки, платья ситцевые, с перехватцем, понимаете, оно и красиво, и смотреть хорошо. Просто словно не деревенские. Бывал я в Питере, и сами изволили бывать, в рассуждении вечера на Невском проспекте – ничего подобного! А как станут в круг да как запоют – что твоя малина: так по сердцу огонь и заходит... И все ко мне так и ластятся: «Иван Софроныч! без тебя нам и песни-то не поются; стань, кавалер, побалагурь, спой с нами!» Да возьмут меня, да одна к себе, другая к себе, клянусь честью! Заложим, бывало, саней пар десять, с колокольчиками, с бубенчиками, – едем, песни поем!.. Веселое было житье, да прошло – наступили слезовые времена: голова съездил в город да и привез недобрую весточку – прием начался... Словно обухом в голову треснуло: ни веселье-то на разум нейдет, ни вино-то не пьется, даже на красавиц взглянуть не хочется... Заплакал я да и проревел целый день; мужики было меня поить: «Полно, батюшка Иван Софроныч, такой-сякой! что те приключилось?» куда! я с руками и ногами: «Не хочу вина! не надо вина – погубило оно буйную голову!» Да и опять в слезы: крепко не захотелось из такого житья да на службу. Пришел голова, я бух ему в ноги: «Батюшка, отец родной; не надо мне твоей тысячи; пять лет тебе сам прослужу; только откупи». – «Полно, Иван Софроныч, что на тебя пришло? Уж и бумаги ведь ты подписал, и начальство про тебя знает: дело вкруте, – где нам за тебя некрута другого найти? не глумися!» Так говорил голова, а меня так злость и брала...

Смолчал я, выпил вина, прикинулся, будто и ничего, а сам и думаю, как бы дожидаться вечера. Пришел вечер – легли спать; я слез с печи, схватил топор да и драла из избы. «Была не была! отрублю палец, – думал себе. – Не станут долго думать – крикнут: затылок! – и баста!.. Только как отрубить? больно, чай, будет, страшно...» Руки чуть шевелятся, словно деревянные, ноги подгибаются; то опущу топор ближе к пальцу, то отдерну опять, а сам так и дрожу, будто сверху льют на меня холодную воду ушатами. Прошло, чай, больше часу, а я всё стоял да маялся: в правой руке топор, левая на полене... Вдруг слышу шум в воротах: видно, дядя Степан домой идет, – как бы не увидал. Я спрятался, а потом вошел в избу, положил на место топор и лег: не спится! В голове так и стучит, сердце бьется. Думал, думал да и надумал. Старуха у нас в околотке жила – колдуньей ее звали; пошел я к ней: «Вот тебе десять рублей, пособи горю!» Дала порошок какого-то: велела сделать порез на пальце, вот тут, на сгибе, и каждый день посыпать тем порошком. Палец скрючилось в три дуги, люблю поглядеть: не разгибается! день-два не присыплю – опять здоров, а как присыплю – словно деревянный, а уж как занывает, хоть плачь. Вот и пришел оный день, – явился я в прием; посмотрели, пообсудили да и прокричали: «Затылок!» Я так обрадовался, что ног под собой не слышу... да, видно, уж господу богу было угодно, чтоб не даром я век свой загубил, чтоб государю да отечеству пользу принес! Его святое соизволение! Обрадовался я, а доктор подошел, так через четверть часа, да и говорит: «Ты, плут, не растравил ли чем рану, признайся: теперь уж всё равно в солдаты не годен, а не скажешь, так рука пропадет. Говори, пока помочь можно, присыпал чем-нибудь?» – «Виноват, ваше высокоблагородие! – отвечал я спроста. – Был грех: немножко!..» Доктор как закричит: «Лоб!» Тут я спохватился, что плохо сделал, да было уже поздно... да оно и лучше вышло; и я теперь тому доктору, словно отцу родному, благодарен. Ну куда бы годился я, кабы не попал в службу, – так бы и зашатался, замаялся! Уж как кончилось всё, так стало гораздо мне веселее. Паренья был не то чтоб совсем погибший, а только блажной, и голова была на плечах – не корчага. Смекал дело. Начал я помышлять, как бы жить получше, да постепеннее, да внимание начальства приобрести... был я молодец бравый с виду, повел себя трезво, исправно, – так через год и попал в число солдат, выбранных в гвардию. Осьмнадцать лет служил я, сперва рядовым, потом ундером, видел всего – худого и доброго, был в сражениях, ранен не один раз, да, наконец, и сделал такое дело, что, как вспомню, душа радуется, что храбрости, да разуму, да удали хватило. Представили к офицерскому чину да и прикомандировали к вашему высокоблагородию...»

Так рассказывал и пересказывал сам Иван Софроныч свою историю благодетелю и командиру своему, Алексею Алексеичу, когда они подружились и мирно проживали в Овинищах. История остальной жизни Ивана Софроныча тесно связана с жизнью самого Кирсанова.

Главнейшим событием в ней была женитьба.

Иван Софроныч однажды ходил за грибами; в лесу встретил он несколько горничных девушек и неподалеку от них какую-то особу с палевым зонтиком, за которую бежали четыре черные моськи, до такой степени жирные, что, принимая в соображение стоявшие тогда жары, Иван Софроныч тотчас сделал заключение, что которая-нибудь из них непременно сбесится. Особа с черными моськами и палевым зонтиком показалась Ивану Софронычу весьма красивою, – правда, не первой молодости; но ведь и ему самому было уже за сорок! Кроме того, он счел ее весьма важною дамою, – вероятно, потому, что она корзинку свою наполняла мухоморами и другими грибами, негодными к употреблению, и притом с такою охотою, как будто ей за каждого мухомора обещано было по такой же кучке червонцев. Завидев Ивана Софроныча, черные моськи принялись страшно лаять. Особа с палевым зонтиком поспешила на выручку, разогнала их с большим жаром и, кивая головой и зонтиком Ивану Софронычу, несколько раз повторила: «Извините, извините!» Иван Софроныч был тронут такою любезностию и, чтобы чем-нибудь выразить свою признательность, набрал целую горсть мухоморов и поднес их особе с палевым зонтиком, говоря:

– Вот еще, сударыня, если смею помочь...

– Благодарю! – сказала дама, с восторгом принимая грибы в свою огромную корзину.  
– Я съем их за ваше здоровье!

– Не стоит благодарности! – отвечал Иван Софроныч, несколько удивленный намерением дамы.

Моськи снова с лаем окружили его, и дама с прежнею заботливостью начала

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
удерживать и разгонять их.

– Проклятые собачонки! – сказала она. – Просто невозможно сладить с ними, точно бешеные!

– Бешеные? – повторил Иван Софроныч. – Вы думаете, сударыня, что они бешеные?

– О нет! – отвечала дама. – А вы разве заметили что-нибудь?

Иван Софроныч сознался в своих подозрениях.

– Вы меня пугаете! – сказала дама.

– Помилуйте! – произнес Иван Софроныч и замолчал.

Красноречие его совершенно истощилось; оставалось уйти, но уйти ему не хотелось: дама с палевым зонтиком сильно нравилась Ивану Софронычу. Наконец Иван Софроныч собрался с мыслями и сказал, что знает верное средство лечить бешенство, причем кстати рассказал, как третьего года вылечил бешеного быка, который целую версту преследовал мальчика в красной рубашке...

Но тут дама так вскрикнула, что Иван Софроныч замолчал и снова начал ломать свою голову, досадуя, что не находит в ней материалов к поддержанию разговора. Правда, предмет, которого они коснулись, далеко еще не был исчерпан. Случаи бешенства в то время повторялись в их стороне беспрестанно. Но после первого опыта о бешеном быке, имевшего такие плачевные последствия, Иван Софроныч не решался рассказать ничего подобного. Наконец счастливая мысль озарила его.

Не мастер был Иван Софроныч любезничать с дамами! Как образчик его любезности приводится здесь небольшой анекдот, который он обыкновенно рассказывал в таких случаях.

– А слышали ли вы, сударыня, – сказал он, когда уже ничего не оставалось более, как уйти или немедленно начать говорить, – слышали ли вы, сударыня, какое происшествие случилось в Ратневом лесу?

– Нет.

– Четыре крестьянские девки пошли, сударыня, собирать грибы; вдруг им попадается медведь.

– Медведь!

– Не бойтесь! – поспешно сказал Иван Софроныч. – Случай забавный, но не страшный... Три девицы разбежались, а четвертую медведь как ударит своей лапой.

– Ай! – воскликнула дама и поднесла к носу флакон.

Моськи полаяли, она их усмирила.

– То есть не ударил, а только дотронулся до нее лапой, – продолжал Иван Софроныч, стараясь всячески смягчить свой рассказ, – А она, натурально, перепугалась и упала без чувств. Медведь взял ее и осторожно перенес в свою берлогу.

Дама ужаснулась.

– Не бойтесь, сударыня: право, не будет ничего страшного...

– А! понимаю, видно, не медведь, – с улыбкой сказала дама.

– Нет, сударыня, медведь и был настоящий медведь, только медведь необыкновенный. Как очнулась девушка, его в берлоге не было; вдруг слышит она, приходит он, подошел и протягивает к ней...

– Когти? – вздрогнув, воскликнула дама.

– ...протягивает к ней лапу, а в лапе дубовые листья, а в листьях брусника...

– Брусника?!

– Да, сударыня, брусника, настоящая брусника, крупная, спелая, ягодка к ягодке. Он попотчевал ее брусникой, и когда она взяла и стала есть, вдруг пришли охотники, – продолжал Иван Софроньч, думая совершенно успокоить свою слушательницу, – ворвались в берлогу и убили...

– Убили! – воскликнула дама с ужасом. – Убили такого прекрасного медведя!

– Да, сударыня! – отвечал Иван Софроньч, совершенно спутанный испугом дамы, которая с таким жаром нюхала свой спирт, что глаза у ней покрылись слезами и ноздри начало подергивать кверху. – Убили его и освободили девушку.

– Но за что же они его убили? – с горестию воскликнула дама. – Может быть, он совсем был не медведь, а так, переодетый мужчина!

– Переодетый мужчина! – возразил удивленный Иван Софроньч. – В нашей стороне, сударыня, и не слыхано, чтоб люди переодевались медведями, даже о святках.

– Ах, вы не знаете, до чего может довести любовь!

– Справедливо, сударыня. Но только тот медведь был настоящий медведь: я сам ел его мясо...

– И вы не стыдитесь признаться в такой бесчеловечности! – воскликнула дама, пятась и оглядывая его с таким ужасом, как будто он мог съесть и ее.

Иван Софроньч ясно увидел, что ему, с анекдотами своими, всего лучше скорей убраться домой, и осмелился только заметить в свое оправдание, что копченая медвежина чрезвычайно вкусна.

– Вы сами, сударыня, то же скажете, если попробуете.

– Я! – оскорбленным голосом воскликнула дама, отскакивая еще далее. – Я?... С чего вы взяли!

Иван Софроньч махнул рукой, как человек, убедившийся, что хуже и страшнее его невозможно срезаться, и молча стал раскланиваться.

К его счастью или несчастью, в то время подошли горничные с своими корзинами.

– Много набрали? – спросила их дама с палевым зонтиком.

Они показали ей свои корзины.

– Ну, немного, – сказала она. – Я одна набрала больше вашего, и какие славные грибы: большие, и все такие красные!

И она показала им своих мухоморов.

Горничные покатались со смеху.

– Ах, барышня, барышня! вот и видно, что вы не деревенского воспитания! да ведь вы набрали мухоморов... их не едят, да и есть ужаси как вредно...

Дама перепугалась и поспешно начала нюхать свой спирт. Толкнув корзинку так, что мухоморы рассыпались у ног Ивана Софроньча, и обратив к нему недовольное лицо, она презрительно сказала:

– На что же вы мне их дали?..

– Я полагал, сударыня... – начал Иван Софроньч, но собачонки в то время так к нему приступили, что он не договорил, отбиваясь руками и ногами.

Дама уже не защищала его. Иван Софроньч увидел, что всё потеряно для него, и удалился, внутренне проклиная свои анекдоты и свою недогадливость.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Собачонки долго провожали его свирепым лаем.

Весь этот день Иван Софроныч ходил не в духе и наконец к вечеру сознался во всем Алексею Алексеичу.

Наведены были справки: оказалось, что особа, встреченная Иваном Софронычем, была приживалка, состоявшая при богатой помещице, прибывшей провести лето в свои имения. И тут в первый раз пришла Алексею Алексеичу мысль, которую он не замедлил передать Ивану Соф-ронычу, заметив со вздохом, что много даром гниет разных женских нарядов, купленных ими в разное время. Эти наряды, можно сказать, главным образом решили участь Ивана Софроныча. Дело обработалось через деревенскую сваху, входящую в дом богатой помещицы. Федосье Васильевне было уже за тридцать, и склонить ее к супружеству не стоило большого труда. Сама помещица приняла участие в устройстве своей воспитанницы; она была посаженной матерью, Алексей Алексеич – посаженным отцом. Свадьба была веселая и оживила несколько однообразную жизнь обитателей Овинищ. В первые дни как Иван Софроныч, так и Алексей Алексеич были довольны Федосьей Васильевной и, оставаясь одни, частенько повторяли с самодовольствием:

– Задели!

– Задели!

Что и значило: «приобрели славную хозяйку, которой нам не доставало». Но скоро сварливый, раздражительный и в высшей степени тяжелый характер Федосьи Васильевны начал обнаруживаться.

Детство и молодость свою провела она в Петербурге, подле богатой барыни, где богатство, роскошь, балы, поклонники – всё, что беспрестанно видела она и чего не суждено было ей испытать, – развили в ней огромные претензии, страшную требовательность, склонность к нарядам, на которых она была помешана; деревенская жизнь казалась ей тюрьмой.

Приятель, однако ж, долго не сознавались друг другу, что дело плохо; наконец поговорили откровенно, произнесли оба, но уже не тем тоном:

– Задели!

– Задели!

И решились очистить отдельное строение под фирмой: «Остановись и Подкрепись», куда и была переведена Федосья Васильевна с новорожденной дочерью. Федосья Васильевна с того дня сделалась еще раздражительнее, хотя вывеска нового жилища и советовала ей «остановиться». И с той поры время шло в постоянной борьбе: Федосья Васильевна требовала, чтоб Иван Софроныч чаще находился при ней, даже не раз объявляла решительное намерение увезти его в Петербург, а приятели наши устраивали так, что Иван Софроныч почти с утра до вечера находился при Алексее Алексеиче: о поездке же в Петербург они и не думали. Так шли дела до самой смерти Кирсанова, которая повергла бедного Ивана Софроныча в глубокое отчаяние...

Печальны были, похороны Алексея Алексеича; не один Иван Софроныч рыдал, отдавая последний долг покойнику: плакала вся дворня и вся вотчина, любившая доброго барина, как родного отца. Похоронив своего благодетеля, Иван Софроныч слег: силы старика, истощенные душевными страданиями и многочисленными хлопотами, не выдержали; у него сделалась изнурительная лихорадка. Во всё время болезни Настя не отходила от постели своего отца, который частенько говорил ей, что ему не встать, да и вставать нет надобности, вследствие чего он даже отказывался принимать лекарство.

– Батюшка! батюшка! – рыдая, говорила Настя. – А я с кем останусь?

Слова эти тронули сердце Ивана Софроныча. В первый раз серьезно подумал он о будущем дочери, о страшном положении девушки, ничего не имеющей, лишенной даже средств к образованию. Настя была существо доброе и нежное, бесконечно любившее своего отца, – может быть, потому, что с детства она была свидетельницей частых семейных сцен, которые обыкновенно обрушивались на голову невинного Ивана Софроныча. Настя привыкла сожалеть о нем, внутренне всегда принимала его сторону, и скоро его доброта и терпение привязали к нему сердце

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
дочери. Иван Софронич также любил свою дочь; но он как-то мало думал о ней; чувство его разделено было между ею и другим существом, которому исключительно была посвящена заботливость Ивана Софронича, поглощавшая всю его деятельность, всё время. Теперь это существо не нуждалось уже ни в чьей заботливости, и Настя одна, во всей беззащитности своей молодости, неопытности и бедности, стояла перед ним грустная, заплаканная и молила пожалеть о ней.

Иван Софронич стал аккуратно принимать лекарство, не упоминал более о желании своем умереть и очень строго приказывал Насте беречься и не проводить ночи без сна у его изголовья. Наконец силы старика начали понемногу поправляться; но тут встретила его новая буря, которую он, а в особенности дочь его с ужасом предвидели. Как только начал он похаживать по комнате, на него накинута с огромным запасом давно копившейся желчи Федосья Васильевна. Упреки посыпались градом и заключались обыкновенно тем, что более ничего не остается, как ехать в Петербург и пасть к ногам прежней ее благодетельницы. «Потому что твой-то благодетель (язвительно замечала Федосья Васильевна) как жил, так и умер: жил – ничего не давал, да и умер – ничего не оставил!..»

– Жил, так я сам не хотел брать, а умер, так уж не его воля, – кротко возражал Иван Софронич. – Есть наследники... да и чего нам еще...

– Наследники! – подхватывала жена. – А вот жди, того и гляди, вон погонят наследники... Вишь, их наехало!

Действительно, наследников наехало довольно. Близких родственников у Алексея Алексеича не было, но тем более оказалось дальних, которых покойник и в глаза не видал. Почти все они явились налицо, несмотря на то что имение покойника было весьма незначительно; тихий домик Алексея Алексеича оживился странной деятельностью. Некоторые из наследников прибыли с детьми и женами своими, которые хотели непременно принять личное участие в дележе. Неизвестно почему, между наследниками распространился слух, будто после покойного остался значительный капитал, и Иван Софронич был предметом всеобщего ужаса.

\* \* \*

Мы пропускаем описание наследников, так как они входят в наш рассказ мимоходом, и передадим всю последующую сцену как можно короче.

\* \* \*

В день вскрытия духовной все наследники, их жены и дети, а также и прислуга покойного, собрались в большой зале, наполненной сундуками, распространявшими удушливый затхлый запах, штуками толстого холста, образовавшими курганы; шубы и всякого рода платье, сбруя, инструменты, даже порожние бутылки и лекарственные склянки – всё было тут. Дома нельзя было узнать. Всюду торчали кровати разных величин; пыль не стиралась, полов не мели; дом походил на вдову, оплакивающую своего супруга и немывую, нечесаную со дня его кончины. Дворня суетилась, таскала сундуки и всякую рухлядь, немилосердно колотила стекло.

Наконец настал роковой час. Дрожа всеми членами, наследники уселись вокруг большого стола и вопросительно переглядывались, как бы желая прочесть в глазах друг друга свою участь.

Супруги наследников, окруженные детьми, сидели тут же.

Прислуга комнатная стояла около стены, также принимая живое участие в духовной. Окна, двери унизаны были головами остальной дворни. Все были в напряженном состоянии, все хранили молчание; дыхание, казалось, прекратилось. Но величественная тишина, воцарившаяся в комнате, далека была спокойствия: она походила на ту тишину в природе, которая предвещает бурю.

Душеприказчиками были два чиновника из уездного города. Когда они сорвали печать, трепет пробежал по зале; все превратилось в слух. Вдруг музыка заиграла в кармане главного наследника. Все с ужасом обратилось к неподвижному обладателю часов; пробило одиннадцать часов утра. Все снова устремили свои взоры на душеприказчиков, державших духовную в руках.

Началось чтение с аккомпанементом часов, которые как бы каждое слово подтверждали своим мерным боем.



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Родовое имение, обремененное долгами, покойник оставлял законным наследникам, предоставляя им делиться по усмотрению; им же предоставлял он и всё свое движимое, кроме...

Движение общего испуга прервало чтение душеприказчика.

– Кроме, – продолжал он, переждав, – кроме ниже поименованного...

\* \* \*

Всё волновалось и шумело; один Иван Софроныч, с большим и печальным лицом, безмолвно стоял в стороне, поддерживаемый Настей, одетой в черное платье. Федосья Васильевна, также вся в черном, сидела особо от всех и не совсем приветливо посматривала на волновавшихся дам.

Когда наконец волнение поутихло, душеприказчик продолжал чтение:

«Завещаю и прошу наследников моих свято исполнить нижеследующую волю мою, отдав по принадлежности всё нижеписанное:

1) Тарантас, заново отделанный, прочный и поместительный. При нем: запасных осей – две, зимний ход, на случай, если б пришлось ехать зимой; фартух кожаный новый; сундук под сиденьем, сундук в ногах, сундук наружный (должно привинтить сзади, для чего при сундуке имеются петли и пригнаны винты) – все три сундука новые кожаные; при них имеются замки; карманов внутри тарантаса – восемь; <кобур> около козел – продолговатых три; у крыльев – две (застегиваются пряжечками). Примечание: во внутренние карманы можно класть мелкие вещи, наиболее нужные в дороге; в кобурах у крыльев – бутылки; в длинных карманах – всякие мелочи и съестное.

2) Дорожный ящик, в нем же и погребец со всеми принадлежностями; складных ножей и вилок на трех, ложек три; чайник, чашки, ложечки; при них фунт чаю; тут же бритвенный прибор: бритвенница серебряная 84-й пробы, две пары бритв правленых. Примечание. Мыла не положено; мыла душистого греческого три куска спросить у кучера Вавилы и класть особо, чтобы чай не пропах.

3) Три молодые доброезжие лошади: чалая, чубарая и называемая Богатырь; в корень должно запрягать чубарую, потому что чалая в корню стала дурачиться; а следует запрягать ее с левой руки, чтоб она всегда была на глазах и под кнутом у кучера; Богатыря же справа – лошадь добрая, только следует наблюдать, чтоб не затягивал, немного слабоузда.

4) Заказаны мной в городе В\*\*\*, у модной мастерицы Каролины Буше: 1) салоп летний, драдедамовый, 2) два салопы зимних на лисьем меху, для чего дана ей от меня лисья подержанная шуба, лучшего меху; задатку дано 110 руб. завещаю остальные деньги доплатить, оные вещи взять и отдать по принадлежности.

5) Шуба медвежья, крытая коричневым сукном.

6) Сертук форменный, жилет и рейтузы – всё почти новое.

7) Трои сапоги кожаные; сапоги валеные, обшитые кожей.

8) Табакерка серебряная.

9) Шапка летняя форменная.

10) Шапка зимняя из крымских барашков с ушами и с подзатыльником из клеенки. Примечание. В дурную погоду следует спускать подзатыльник сверх воротника, отчего ни дождь, ни снег не попадут за шею, а будут стекать по подзатыльнику, не причиняя никакого вреда, что я сам неоднократно испытал.

Все вышеисчисленное отказываю другу и сослуживцу моему отставному подпоручику Ивану Софронову Понизовкину, а вышепоказанные салопы его жене и дочери.

А завещаю я ему, Понизовкину, показанные вещи за честность, за прямоту, за любовь ко мне да за верную службу, а кольми паче за то, что он спасал грешную душу мою от искушения и отводил от тяжелого греха, о чем он, Понизовкин, сам довольно знает».

Здесь чтение было прервано громким рыданием Ивана Софроныча. Заботливость благодетеля, не кончившаяся и за гробом, растравила еще свежую рану в сердце старика: он рыдал как ребенок и несвязно лепетал: «Голубчик ты мой... и чем я заслужил?.., и охота было думать... будто и бог знает что сделал я?..»

Наследники торопили душеприказчиков, горя нетерпением узнать, кому покойник отказал свои деньги. Но напрасны были их ожидания: завещание оканчивалось следующими словами:

«Сверх того, завещаю кучера Вавилу отпустить на волю, с тем чтобы он находился при следовании Понизовкана с семейством в С.-Петербург, до прибытия на место и до устройства его в оном, – берег бы его, находился в его повиновении и всячески заботился о нем, о чем дано мною оному Вавиле подробное наставление».

Больше ничего не было в завещании.

\* \* \*

Часть седьмая  
Глава XXXIII  
Новые лица

В одной из больших петербургских улиц, отдаленной от центра города, стоял старинный дом, как крепость окруженный каменной стеной. Ворота его вечно были заперты, и сквозь заржавленную решетку их уличные мальчишки бросали камешками в алебастровых львов, поставленных у подъезда. В среднем этаже окна были громадной величины; зато верхние и нижние казались щелками.

Службы дома были загорожены каменной стеной, в которой была калитка, всегда запертая на замок, так что никто не имел через нее сообщения с домом и двором. У служб были свои ворота, выходившие на другую улицу, а с домом имели сообщение через сад.

Пустынность двора и мрачность дома невольно обращали на себя внимание проходящих, которые с любопытством останавливались у ворот и тщетно ждали увидеть какой-нибудь признак жизни на дворе.

Однако, несмотря на наружную пустынную, дом был наполнен народом. Но главный фасад его выходил в сад, и притом очень обширный для города. В этом саду всё было подчищено, подстрижено, так что кусты, деревья, трава – ничто не имело своего первобытного образа. В саду не только не слышалось запаха цветов, но даже признака их не замечалось. От самого дома далеко тянулась широкая аллея, усыпанная красным песком и установленная мраморными бюстами и каменными скамейками; она вела к пруду с плотом и паромом и на другой стороне продолжалась еще несколько сажен, оканчиваясь пригорком с беседкой в китайском вкусе. Сад был густ, и по сторонам главной аллеи находилось множество скрытых аллей.

Зала, выходящая на террасу в сад, была узка и необыкновенно длинна, так что имела вид коридора. Окна в ней начинались от самого пола, были широки и круглы и состояли из мелких стекол. Зала была убрана роскошно, в старинном вкусе. Зеркала в простенках начинались от полу и доходили до потолка; они были штучные, отделанные в бронзу. Столики у зеркал были мраморные. Стулья, креслы и двери были выкрашены белой краской под лак, с фигурной бронзовой отделкой. Кроме столов да стульев, другой мебели не было в комнате, и потому большое бархатное кресло, вроде вольтеровского, резко бросалось в глаза: оно стояло на самой середине комнаты между стульями и против самой двери, ведущей на террасу. У кресла стоял<и> малахитовый столик и скамейка, вышитая детской рукой.

В эту-то залу сошлись почтенные приживалки к утреннему чаю старой и богатой вдовы, владельницы дома. Приживалки были почти одних лет все, то есть не моложе тридцати пяти и не старше сорока. Они все имели что-то общее между собою, как во взгляде и умильно-приторной, угодливой улыбке, так и в голосе и в движениях.

Одеты они были бедно, но чисто. Прически их напоминали страшную старину, и без исключения у всех пробы были косые: это делало их лица еще неприятнее. Они все сидели в уголку, кроме одной, сидевшей у стола, за самоваром, с более свободными движениями и взглядами. Эта особа имела лицо широкое, злое, нос малый, а рот огромный; уши безобразные, которые ежеминутно передергивались, как телеграф.

Роста она была ниже среднего; фигуру имела плоскую; походка почтенной приживалки более походила на припрыгиванье, чем на обыкновенную походку. Цвет лица у ней был красноватый, а горло резко отделялось своим сходством с горлом индейки: оно имело способность краснеть, если владельница его чем-нибудь была недовольна; а так как это случалось поминутно, то горло приживалки непрерывно меняло свой цвет, то краснея, то бледнея. Впрочем, и лицо ее также не сохраняло постоянно одного колорита: оно нередко покрывалось пятнами; а что до ушей, то они так и прыгали, не уступая в быстром изменении своего цвета горлу. Одета она была лучше всех; на ее плечи накинута была шелковая кацавейка столь же странной формы, как и сама приживалка.

– Что это как долго не выходит сегодня Наталья Кирилловна, – заметила она неопределенно, не адресуясь в особенности ни к кому из сидевших в комнате.

– Может быть, опочивала ночь дурно! – отвечала одна из четырех приживалок, высокая ростом и весьма худая, с мутными глазами, болезненным цветом лица и с огромными зубами. К украшению этой особы служил еще довольно большой и непривлекательный зоб; она непрерывно мотала головой, напоминая алебастровых зайчиков с проволочными шеями, что носят на лотках по улицам.

– Вот было бы хорошо, если бы она слышала всё – радостно сказала Ольга Петровна (так звали главную приживалку, сидевшую у стола).

– И-и-и, что вы, Ольга Петровна, сохрани боже! – пугливо воскликнула приживалка с зобом и сильнее замотала головой.

– Не дай бог! как можно! – произнесли остальные.

Дверь раскрылась: вошла девочка, по росту лет десяти, но на лицо ей смело можно было дать пятнадцать, несмотря на детски веселую улыбку на ее тонких губах, – улыбку несколько натянутую. Она была худа; резкие черты ее лица были довольно правильны, но не имели приятности. Лоб у нее был крут, брови густые, черные, нос большой, щеки бледные и впалые, подбородок острый. Глаза, большие, черные и необыкновенно быстрые, скрашивали всё лицо. Девочка, как и приживалки, имела косой пробор, и маленькую ее голову стягивала сеточка с кисточками, которые болтались на ее виске.

Платье на ней было ситцевое, очень поношенное; зеленый камлотовый передник с лификом дополнял ее туалет. Худые руки и шея были открыты.

– Еще бы попозже! – такими словами встретила ее Ольга Петровна, на которую девочка бросила презрительный взгляд. – Где вы были? а? бегали, проказничали где-нибудь? – краснея, шепотом говорила Ольга Петровна.

Девочка улыбалась, смотря на приживалок, занимавшихся работой: кто штопал, кто вязал чулки.

– Погоди, погоди! – дрожащим голосом продолжала Ольга Петровна. – Я всё, всё расскажу Наталье Кирилловне, все твои проказы... Ишь что вздумала – покровительствовать?! Погоди!

И уши Ольги Петровны еще красноречивее выражали ее гнев, чем слова; но девочка, казалось, созерцала их порывистые движения равнодушно. Наконец она вдруг, совсем неожиданно, залилась слезами.

Приживалки замахали чулками, как будто думая утереть ими слезы девочки, которая всё громче рыдала.

– Ну, опять Наталья Кирилловна рассердится! чего она плачет? – сиплым голосом заметила приживалка с зобом.

– Не ваше дело: я буду отвечать! я!! – громко сказала Ольга Петровна, дрожа как в лихорадке.

– Барыня, барыня идет! – сказал лакей, торопливо раскрывая обе половинки дверей настезь.

Эти слова произвели магическое действие на всех. Девочка поспешно вытерла слезы.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Чулки исчезли из рук приживалок, вставших со стульев. Одни уши Ольги Петровны не могли успокоиться.

В залу вошла женщина высокого роста, лицо которой было скрыто под густой фальбарой чепчика и под огромным зеленым зонтиком, низко надвинутым на глаза. Одета она была в атласный капот изумрудного цвета, с коротенькой талией, опушенный соболями. Она шла медленно и бодро, пристукивая палкой с набалдашником, усыпанным драгоценными камнями. На низкие поклоны приживалок она едва кивнула головой и одной только Ольге Петровне сказала протяжно и резко: «Здравствуйте!» Когда она уселась в бархатные креслы, девочка в сеточке взяла палку из ее рук, с чувством поцеловав в то же время рукав ее капота и подвинув скамейку к ее ногам.

– Хорошо ли вы почивали, Наталья Кирилловна? – после некоторого молчания спросила Ольга Петровна, придавая своему лицу как можно более мягкости.

– Нехорошо! – тем же резким голосом отвечала Наталья Кирилловна, барабаня своей сморщенной рукой, унизанной перстнями, по малахитовому столу.

Лица у приживалок вытянулись, и они выразительно переглядывались.

Девочка искоса следила за движениями пальцев Натальи Кирилловны.

– Чем-нибудь... – начала было Ольга Петровна и остановилась, потому что Наталья Кирилловна тоже начала говорить.

– Я видела сон, будто бы у меня в саду вырос цветок.

– Ах, это к благополучию дома-с! – сиплым голосом заметила приживалка с зобом, умильно смотря на всех своими мутными глазами.

– Да что это вы перебиваете! дайте мне сказать! – сердито сказала Наталья Кирилловна, отчего голова у приживалки с зобом замоталась страшно и сама она закашлялась.

Ольга Петровна бросила на нее презрительный взгляд; остальные приживалки пожимали плечами.

Наталья Кирилловна, верно уж забыв о своем сне, вглядывалась в сад, приложив руку к глазам под зонтик.

– Кажется, кусты что-то высоки! – сказала она.

– Вчера неделя, как Семен стриг-с! – отвечала девочка в сетке, стоя у кресла.

В это время Ольга Петровна, передергивая ушами и припрыгивая, поднесла чашку чаю к Наталье Кирилловне и, ставя на столик, язвительно сказала девочке:

– Вы, кажется, с гостями вашими всё забыли.

Наталья Кирилловна быстро повернула голову к девочке, отчего та вся вспыхнула и поспешно сказала:

– Я только что...

– Еще бы, чай простыл! – перебила ее Ольга Петровна.

– Вы сегодня скорее налили, – отвечала девочка.

– Молчи! – грозно сказала Наталья Кирилловна девочке и, обратись к Ольге Петровне, сухо продолжала: – Вы напрасно беспокоились; велели бы лакею подать, если уж она забывает свои обязанности.

Слезы выступили на глазах у девушки, которая сердито встретила торжествующий взгляд Ольги Петровны.

В это утро Наталья Кирилловна была не в духе: пальцы ее быстро барабанили по столу; а это было самое ясное доказательство для домашних, что быть буре.

Но пора сказать несколько слов о Наталье Кирилловне. По воспитанию и привычкам своим она принадлежала еще к прошлому столетию, так богатому эксцентричностью всякого рода. Ее дом был известен как приют вдов и сирот. Ее странности и тяжелый характер отдалили от нее почти всех из общества, к которому она принадлежала, и только люди, нуждавшиеся в ней, поддерживали с ней знакомство. В самом деле, причудам ее не было конца. Например, она не любила желтого цвета, и вследствие этого не только никто в доме не смел его носить, но даже гости, приезжавшие к ней, не должны были иметь ничего желтого в своем туалете, и швейцар получал строгий выговор, если осмеливался принять даму, в costume у которой было что-нибудь желтое. Она также не любила никаких цветов, и в саду ее даже с деревьев и кустов состригалось всё, что могло дать цвет. К животным она чувствовала сильное отвращение, и строжайше запрещено было иметь в доме ее кому бы то ни было собак, а в особенности кошек, которых немедленно вешали.

Уже лет десять, как она не переступала через порог своего дома, потому что причуды ее приняли обширные размеры и странные формы. Она сердилась, если кто ехал по улице скоро, кричала, увидев собаку, воображая, что она должна быть непременно бешеная, и приказывала убивать ее своим лакеям, которые обыкновенно ехали за ней верхом. Наталья Кирилловна была единственная дочь богатых родителей, не слышавших в ней души. Все в доме преклонялись перед капризами девочки. Отец умер, и Наталья Кирилловна девяти лет осталась на руках своей матери, также полной разных эксцентричностей.

Ни богатство, ни замечательная красота не могли скоро доставить мужа избалованной девушке: она требовала, чтоб муж соединял в себе и знатность рода, и вес в обществе, и богатство. Итак, Наталья Кирилловна только на тридцатом году вышла замуж, – правда, за человека с большим весом, но только ничего не имевшего. Этот муж, однако ж, скоро умер, оставив много долгов. Детей у Натальи Кирилловны не было; да она и не очень желала их. Спустя несколько лет умер двоюродный брат Натальи Кирилловны, оставив на ее попечение единственного четырехлетнего сына, которому предстояло наследовать огромнейшие богатства.

Наталья Кирилловна в первый год редко видела своего племянника. Но мало-помалу она начала сбрасывать с себя холодность и равнодушие к этому мальчику, чувства более нежные проникли в сердце этой женщины, никогда до той поры не испытывшей любви к кому-нибудь. Все в доме покорилось прихотям ребенка. Наталья Кирилловна уничтожила перед желаниями своего племянника, который был живой, умный и необыкновенно красивый мальчик.

Трудно описать отчаяние Натальи Кирилловны, когда ее племянник немного захворал. Дни и ночи она сидела у его кровати; и те, кто знали ее с детства, в первый раз заметили следы слез на ее холодном лице.

Тяжело было для домашних выздоровление и без того капризного ребенка. Наталья Кирилловна, боясь его слез, предупреждала взгляды его. Детская была завалена игрушками, на покупку которых истрачена была значительная сумма. Но это мало развлекало ребенка: он капризничал и в один вечер начал кричать и плакать, что ему скучно. Никто не мог его развеселить. Множество приживалок, набранных в дом для присмотра за дворней и для выдумывания игр ребенку, истощили запас терпения и не знали, что говорить, потому что ребенок не давал им разинуть рта, крича: «Не хочу слушать, скучно! скучно!» Приживалки, дети всей дворни собрались в детскую и принялись танцевать перед капризным мальчиком; но и это было безуспешно. Наталья Кирилловна терялась, придумывая, чем бы развлечь ребенка, и вдруг сама пустилась танцевать, припевая и постукивая своей палкой.

Всё, что было в комнате, с ужасом глядело на неловкие телодвижения Натальи Кирилловны, которую привыкли видеть с вечно гордой осанкой. И теперь – эта женщина плясала перед ребенком, который один из всех присутствующих улыбался. Заметив это, Наталья Кирилловна начала вертеться сильнее и громче припевать. Ребенок залился смехом и забил в ладоши. Но недолго могла утешать Наталья Кирилловна своего племянника: с ней сделалось дурно, и ее в изнеможении отвели в спальню и уложили в постель.

По окончании болезни племянника Наталья Кирилловна поехала со всем домом в Киев. Там она нашла дальнего родственника своего отца; у этого родственника был сын Гриша, который понравился избалованному мальчику. Племянник Натальи Кирилловны ни за что не хотел расстаться с Гришей, и Наталья Кирилловна изъявила желание

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
взять Гришу на воспитание. Отец, как ни любил сына и как ему ни была тяжела  
разлука с ним, для его будущности решился на предложение. Гриша сделался  
компаньоном богатого и избалованного мальчика. Впрочем, жизнь Гриши была хороша:  
его товарищ, несмотря на всю свою избалованность, имел доброе сердце и Гриша  
одной грустной миной своей делал всё, что ему хотелось, через любимца Натальи  
Кирилловны.

Учителя, гувернеры должны были равно заниматься как племянником Натальи  
Кирилловны, так и Гришей, которого приживалки и гувернеры не любили за его  
влияние на любимца Натальи Кирилловны: Гриша часто ходатайствовал через своего  
друга за кого-нибудь из притесняемых в доме.

Когда Гриша стал подрастать, ему показалось тяжело и обидно находиться в вечной  
зависимости от своего товарища. Но изменить отношения было невозможно при  
ветреном и взбалмошном характере Павленьки (так звали любимого племянника  
Натальи Кирилловны).

Гриша часто был жестоко оскорбляем своим товарищем, который даже и не  
подозревал, что поступает дурно. Это отдалило от него Гришу тем скорее, что у  
избалованного мальчика появились друзья из одного с ним круга, также  
избалованные. И когда из мальчика Гриша сделался молодым человеком, то дружеские  
отношения его к Павленьке прекратились, чего, впрочем, последний не замечал,  
потому что они по-прежнему говорили друг другу «ты» и наружно были очень дружны.

Племянник Натальи Кирилловны кончил учение, а с тем вместе остановилось и учение  
Гриши, который чувствовал, что приобретенные им знания ничтожны для человека,  
которому трудами следует зарабатывать себе хлеб.

Павленька стал выезжать в свет, а Гриша по-прежнему сидел в своей комнате за  
книгами и часто с грустью склонял голову и долго сидел так, думая, что его  
ожидает в будущем и чем наконец кончится его бездействие.

Приживалки не дремали: они успели поселить разные подозрения в Наталье  
Кирилловне насчет праздности, зависти и других дурных качеств в Грише, и Гриша  
начал замечать явное нерасположение своей благодетельницы. Он стал просить ее,  
чтоб она определила его на службу, что он скучает праздностью. Наталья  
Кирилловна сделала ему сцену, где при всех домашних назвала его нищим и, как бы  
в насмешку, дала ему занятие – учить ее воспитанниц и вести книгу расходов по ее  
туалету. Она превратила Гришу в своего домашнего секретаря. Делать ему было  
нечего: надо было покориться. Отец его давно умер, Гриша не имел никакой ученой  
степени и ни гроша денег! Один из гувернеров, выдававший себя за эмигрировавшего  
французского графа, научил Наталью Кирилловну отпустить своего воспитанника  
путешествовать. Наталья Кирилловна согласилась с радостью, потому что около того  
времени до нее дошли слухи, что Павленька влюблен в какую-то актрису. Гриша  
питал надежду ехать с другом своего детства; но гувернер, боясь иметь свидетеля  
в дорожных проказах своего воспитанника, так всё уладил, что Гриша не только не  
был взят, но даже замешан в сплетни насчет подозреваемой актрисы. Это погубило  
Гришу во мнении Натальи Кирилловны и окончательно охладило дружеские в детстве  
отношения его к племяннику своей благодетельницы.

С отъездом Павленьки Наталья Кирилловна начала скучать; всё, что напоминало его,  
она приказала перенести в свою спальню; одна из воспитанниц, которой он оказывал  
более внимания, сделалась неотлучной тенью ее и должна была каждый вечер  
что-нибудь рассказывать ей об отсутствующем.

Воспитанницу эту звала Наталья Кирилловна Зиной. Она была дочь некогда бывшего  
дворецкого, который давно умер. Матери Зины тоже не было в живых.

Зина не могла не обратить на себя внимание своей благодетельницы; так складно  
говорила эта девочка, так умела занять праздное воображение Натальи Кирилловны  
сплетнями и мелочными бурями маленького мира, в котором жила. Зина знала всё,  
что делается в доме; она сочиняла иногда домашние анекдоты для своей  
благодетельницы и смешила ее. В девичьих, в лакейских, в комнатах приживалок –  
езде Зина поспевала высмотреть, подслушать, что ей было нужно для ее вечерних  
импровизаций. Часто Зина изнывала от напряженных усилий своего воображения, сидя  
на скамейке у кровати Натальи Кирилловны, в комнате, освещенной одной свечой под  
зеленым колпаком, решительно не зная, что говорить.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– что с тобой, матушка? ты, кажется, сегодня двух слов не умеешь связать! –  
говаривала тогда Наталья Кирилловна. – Ну что мне интересного слушать о твоей  
девичьей? Не знаешь ничего, так сочини что-нибудь сама! – строго замечала  
Наталья Кирилловна.

И Зина пускалась в импровизацию. Однако любовь благодетельницы не спасала Зину от неприятных сцен, к которым прибегала Наталья Кирилловна, вероятно томимая однообразием.

По наущению приживалок, в особенности Ольги Петровны, которая, вероятно, в беспредельной преданности к своей благодетельнице не могла равнодушно видеть в ней расположения к кому-нибудь, Наталья Кирилловна приказывала иногда собрать узелок с бельем и платьем Зины, вручала его ей и говорила грустно:

– Иди, иди из моего дома!

Девочка горько плакала, целовала колени старухи, прося пощады; приживалки тащили ее за руки из комнаты, и часто Зина на коленях и обливаясь слезами ползала за Натальей Кирилловной, умоляя о прощении. И долго еще Зина рыдала, сидя в девичьей... Впрочем, надо заметить, что впоследствии, сделавшись постарше, она плакала только перед глазами Натальи Кирилловны, а выходя в девичью, очень покойно вытирала слезы и весело разговаривала с горничными, зная, что не пройдет двух часов, как за ней придет какая-нибудь из приживалок и скажет, чтоб она шла вновь просить прощенья у своей благодетельницы, которая уже скучала без Зины и нетерпеливо ждала ее.

С каждым годом влияние Зины на Наталью Кирилловну становилось заметнее. Оно, разумеется, дорого стоило Зине.

Она целые дни просиживала на скамейке у ног своей благодетельницы, в комнате, пропитанной запахом выхухоля, очень любимого Натальей Кирилловной.

Детских игр она не знала; каждую минуту она страшилась разгневать ее. Зину ничему не учили; да и некогда было ей учиться. Если Наталья Кирилловна держала диету, Зина должна была тоже держать диету. Первую ложку всякого лекарства должна была проглотить Зина и верно определить его вкус и запах.

Может быть, поэтому Зина мало росла: хотя ей было уже пятнадцать лет, но она была еще как дитя. Да и Наталья Кирилловна никак не хотела звать ее именем, данным ей при крещении, и считала ее лета не со дня рождения, а со вступления к ней, убавляя таким образом у Зины пять лет.

Зины стали побаиваться в доме не на шутку. Приживалки стали ей льстить, кроме Ольги Петровны; но Зина не боялась ее, надеясь на свое знание характера Натальи Кирилловны и на свою ловкость вывернуться из всяких сетей, какой бы хитрой рукой они ни были сотканы.

Гриша пользовался расположением Зины; она часто отставивала его от нападения приживалок, в особенности от Ольги Петровны, которая сначала была к нему расположена, а потом вдруг почувствовала против него озлобление.

Зина знала, когда он выходил из дому, в котором часу возвращался, и между ними были дружеские отношения. Одним словом, в доме у Натальи Кирилловны, несмотря на наружное спокойствие и согласие, кипели вражда и зависть и все житейские страсти. Праздность процветала и никого не удивляла в доме. Приживалки целые дни возились с кофеем или чаем, вероятно чувствуя потребность поминутно промачивать горло, пересохшее от болтовни и сплетен.

#### Глава XXXIV

##### Старые знакомые

К концу чаю явился Гриша. Он был высок ростом, хорошо сложен; в его лице было много доброты, а в больших голубых глазах много ума. Одет он был довольно бедно.

– что это ты, батюшка, так поздно явился к чаю? – резко спросила его Наталья Кирилловна, когда он поцеловал ее руку.

– Я кончил письмо по вашему приказанию, – отвечал Гриша, подавая Наталье Кирилловне пакет.

Она взяла его, повертела в руках и, положив на стол, сказала:

– Ну это хорошо! а всё-таки пораньше мог прийти!

Гриша раскланялся с приживалками и стал у чайного стола. Ольга Петровна, передернув ушами, сказала очень громко:

– Что это как табаком пахнет?

И она вытянула свою красную шею кверху и стала нюхать воздух.

– Поди-ка сюда! – сказала Наталья Кирилловна Грише, который смело подошел к ней.

– Уж не вздумал ли ты курить опять табак? а? – продолжала Наталья Кирилловна, закидывая голову назад, чтоб поглядеть в лицо Грише из-под своего зеленого зонтика. – Что ты такой бледный? – прибавила она.

– Немудрено! Он по ночам изволит сидеть; а что делает – глупости читает! – дрожащим голосом сказала Ольга Петровна.

– Господи! можно ли так молодому человеку глаза портить! – сиплым голосом подхватила приживалка с зубом, поматывая медленно головой.

Но, к удивлению всех, Наталья Кирилловна не обратила внимания на слова приживалок и, ухватясь одной рукой за плечо Зины, а другой опираясь на палку, встала с кресел и пошла прохаживаться по зале, что она аккуратно делала всякий день после чаю. Она заглянула в сад, зевнула, снова села в креслы и капризным голосом сказала, обращаясь к приживалкам:

– Что вы сегодня, точно вороны, насупились!

Приживалки встрепнулись и все вдруг заговорили, принужденно смеясь.

Наталья Кирилловна слушала их болтовню, морщась, и наконец нетерпеливо сказала:

– Какой вздор вы говорите! ничего не поймешь.

Приживалки замолкли.

– Сколько градусов тепла сегодня? – спросила Наталья Кирилловна после минутного молчания.

Всё, что было в зале, кинулось к окну и жарко заспорило между собой. Одна говорила: шестнадцать, другая – с половиной, третья – с четвертью.

Зина, стоя за креслами, сказала:

– Сегодня барометр опустился.

– То-то я дурно спала! – заметила Наталья Кирилловна.

– А не изволили слышать шуму на дворе? – спросила вдруг Ольга Петровна, злобно взглянув на Зину.

Этот вопрос, казалось, оковал ужасом всех присутствующих, и глаза их тоскливо обратились на Наталью Кирилловну.

– Да, да, я как будто слышала скрип ворот; а что?

– А вот извольте спросить у Лукьяна, – радостно отвечала Ольга Петровна.

– Позови Лукьяна! – повелительно сказала Наталья Кирилловна Зине и продолжала: – И как можно ночью отворять ворота? и для кого?

Лукьян явился с низким поклоном. Он был лет пятидесяти, небольшого роста, с лысиной, с умильно-почтительной улыбкой и не без злости и хитрости в глазах; худоцав и одет с необыкновенною чистотою. Его галстух, жилет и чулки были белы



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
как снег. После поклона он мерным и мягким голосом сказал:

- Всё в доме благополучно-с.
- А что за шум был ночью? – спросила Наталья Кирилловна.
- Сторожевой поймал кошку! – не запинаясь, отвечал Лукьян.
- Повесить ее, повесить! – с жаром перебила Наталья Кирилловна.
- Исполнено-с.

На лицах приживалок изобразился испуг. Зина радостно улыбалась, поглядывая на них.

Шея у Ольги Петровны, как и лицо, побагровела, уши задергались, и она, задыхаясь, разинула рот; но Зина, следившая за ней, вкрадчиво сказала Наталье Кирилловне:

- А перед вашим чаем гости приехали к нам.
- Что? какие гости? – протяжно спросила Наталья Кирилловна.
- И ты смеешь так лгать! – не вытерпев, вскрикнула Ольга Петровна, грозя Зине, которая слегка побледнела и умоляющими глазами смотрела на Лукьяна.
- Что? кто солгал мне? кто? – подняв голову, грозно спросила Наталья Кирилловна.
- Разве можно так обманывать свою благодетельницу! – в негодовании воскликнула Ольга Петровна.

Наталья Кирилловна с силою стукнула палкой об пол и грозно спросила Зину:

- Что всё это значит?

Зина стояла с потупленными глазами; но вдруг она подняла их, смело окинула взором всех присутствующих и сказала:

- Я, право, не знаю, за что Ольга Петровна такие страшные вещи говорит про меня.
- Так, значит, я лгу? Ах, наглая девчонка! – в негодовании возразила Ольга Петровна.

Зина залилась горькими слезами.

- Перестать! – сердито сказала Наталья Кирилловна.

И, обращаясь ко всем, она произнесла в недоумении:

- Я ровно ничего тут не понимаю!
- Федосья Васильевна приехала-с! – в один голос сказали приживалки.
- А когда? а когда? что, небось утром? – обращаясь к Лукьяну, говорила Ольга Петровна.
- Никак нет-с: ночью, – отвечал Лукьян.
- Видите! вот, вот она всё так лжет! – дрожа от радости, сказала Ольга Петровна, обращаясь к Наталье Кирилловне, которая забарабанила быстро пальцами по столу.
- Вы что-то сегодня очень сердиты и такие глупости говорите, что, право, скучно слушать, – встав с кресел и выпрямившись, громко сказала Наталья Кирилловна. – Ну кто посмеет солгать мне?..
- Да как можно! избави боже! да видано ли? да слыхано ли? – раздались в ответ восклицания приживалок.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Тогда Наталья Кирилловна обратилась к Лукьяну и повелительно сказала:

- Говори, какой шум был ночью на дворе?
- Кошку ловили-с! – поспешно отвечал Лукьян.
- И ты тоже смеешь! – выходя из себя, говорила Ольга Петровна.
- Если угодно, я вам убитую кошку покажу: такая рыжая, – улыбаясь, сказал Лукьян.

Ольга Петровна всплеснула руками и, с ужасом вскрикнув: «Батюшки! мой Васька!», выбежала из комнаты.

Наталья Кирилловна внимательно следила за Лукьяном и Ольгой Петровной, и когда последняя убежала, она пожала плечами и спросила:

- Что такое с ней?

У всех вдов дрожал на губах ответ, не слишком благоприятный их общему врагу; но Наталья Кирилловна остановила приживалок вопросом:

- Уж не овдовела ли Федосья?
- Никак нет-с, с мужем и дочерью малолетнею прибыла. Не угодно ли дать какие-нибудь приказания насчет их?
- Ах, как Федосья плачет, – заметила Зина.
- О чем?
- Да не знаю, только всё говорит: «Я дура, что не послушалась свою благодетельницу».

– Ага, опомнилась! верно, у того нечем их кормить стало! – самодовольно сказала Наталья Кирилловна, вообще полагавшая, что только она одна может устроить участь ребенка и приютить бедную вдову. Она отдала Лукьяну приказание привести Федосью с семейством в залу.

Зина тем временем подробно рассказала ей историю смерти Алексея Алексеича и, тихо опустясь на колени перед Натальей Кирилловной, умоляющим голосом сказала:

- Мамаша, благодетельница! призрите еще сироту!

Наталья Кирилловна благосклонно сказала:

- Может, страшилище какое, деревенщина; да притом у ней есть мать и отец: какая же она сирота!

В эту минуту воротилась в залу Ольга Петровна; бросив гневный взгляд на веселое лицо Зины, она побагровела, уши у ней зарумянились и запрыгали; она подошла к креслам Натальи Кирилловны и сказала:

- Я уверена, что она просит вас о Федосье?
- Да; ну так что же? – отвечала протяжно Наталья Кирилловна.
- Как же она смеет просить вас о такой женщине, которая против воли вашей поступила?
- Это хорошая черта ее характера – просить за наказанных, это долг христианский всякого человека, Ольга Петровна.
- Помилуйте! да она как вас расстроила тогда своим упрямством, а теперь притащила с собою этого солдата и дочь солдатскую!
- Ольга Петровна, помните пословицу: кто старое...

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– А-а-а! Я вижу, без меня успели вас настроить против меня.

И Ольга Петровна, заплавав, вышла из зала.

– Верно, Ольга Петровна левой ногой сегодня с постели встала! – весело сказала Наталья Кирилловна.

– Да, кажись, она правой-то никогда не встает, – заметила приживалка с мутными глазами и стала смеяться.

Дверь растворилась, и наша знакомая обывательница Овиниц, Федосья Васильевна, вошла в залу с подносом в руках, на котором лежал большой хлеб, соль, а кругом уложены были яйца. Иван Софроныч шел сзади своей супруги, держа в одной руке несколько связок сушеных грибов, а другой ведя за руку Настю, одетую в русский сарафан, что очень шло к ней; она держала в руках туго набитый мешочек с сушеной малиной.

Федосья Васильевна, подойдя к Наталье Кирилловне, поставила на стол поднос, а сама упала в ноги и заплакала.

Иван Софроныч и его дочь робко оглядывались и всё кланялись Наталье Кирилловне, важно сидевшей на своих бархатных креслах.

Федосья, подняв голову, воздела руки к потолку и слезливо-торжественно сказала:

– Господи, благодарю! удостоил ты меня, грешную, увидеть всемирную благодетельницу нашу.

И она чмокнула платье Натальи Кирилловны, которая сказала гордо, но довольно милостиво:

– Ну, здравствуй, здравствуй! Это дочь твоя? – прибавила она, оглядывая с ног до головы Настю.

– Да-с, благодетельница вы наша, это дочь моя! уж вы ее извините: она у меня сущая деревенщина. Прими от нас, родная, нашу хлеб-соль; чем богаты, тем и рады нашу голубушку угостить. – И, обратись к мужу и дочери, она продолжала повелительно: – Ну, Софроныч, поцелуй ручку у нашей благодетельницы. Ведь вот, вот она, благодетельница-то наша, а никто другой. – И, взяв из рук грибы, она мягким голосом прибавила: – Сам собирал; я ему говорю: ну на что нашей голубушке твои грибы! да она золотые их может иметь. А он говорит: из золота ей не в диковину, а вот от полноты души старого солдата – дело другое!

Затем, схватив Настю за плечи, она нагнула ей голову и жалобно продолжала:

– Не оставьте мою дочь; она вас любит больше матери и отца. Всякий день только и слов, что о вас. А уж радостей-то, радостей-то было, как ей сказали, что едем, мол, к нашей благодетельнице просить ее защиты... Подай мешок-то! Это вот малина сушеная, – каждую ягодку обдувала. Чистая-расчистая!

К удивлению всех, Наталья Кирилловна погладила Настю по голове и, взяв ее густую косу, сказала:

– Какие славные у ней волосы.

Видно, что Настя произвела приятное впечатление на Наталью Кирилловну.

Федосья Васильевна между тем отирала слезы.

– Отчего же ты плачешь? – спросила ее Наталья Кирилловна.

– Ах, матушка, наша вы благодетельница, ну как мне не плакать, как я погляжу на Зиновью Михайловну и на мою сиротку!

– Что же, какая разница? – спросила Наталья Кирилловна.

– Да как же, матушка: та барышня, а моя-то, моя-то!

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
И Федосья зарыдала.

– Чего же ты хочешь? – лукаво спросила Наталья Кирилловна.

Федосья упала в ноги и увлекла за собой дочь, оробевшую от неожиданного толчка матери. Федосья жалобно сказала:

– Возьми ты, возьми ее от нас, недостойных, и будь ей матерью и благодетельницей, как и всем нам.

– Ну полно! встань! – повелительно произнесла Наталья Кирилловна и, обращаясь к Насте, сказала: – А хочешь ли ты у меня жить?

– Да-с, – отвечала Настя, заранее приготовленная матерью к такому ответу.

– Сделай книксен! – дернув дочь за сарафан, сказала Федосья, и Настя грациозно исполнила ее приказание.

– Видишь, а с мужиками жила! – заметила Наталья Кирилловна Зине, и, обратись к Федосье, она резко и значительно произнесла: – Я беру твою дочь к себе.

– Благодетельница вы наша! – радостно воскликнула Федосья.

А Иван Софроныч отвесил низкий поклон.

– Только с условием, – продолжала Наталья Кирилловна, – чтоб ни ты, ни он – никто не вмешивался в ее воспитание... слышите!

Федосья всё кланялась, а на губах Ивана Софроныча как будто что-то шевелилось; но он вздрогнул при резком слове «Слышите!» и ничего не сказал.

– Теперь у тебя есть сестра и подруга! – сказала Наталья Кирилловна Зине, которая быстро кинулась к Насте и, крепко прижав ее к себе и поцеловав, сказала с чувством:

– Я буду тебя любить, сестрица! – И, кинувшись целовать руки у Натальи Кирилловны, она радостно бормотала: – Благодарю вас за сестрицу! мы будем стараться обе утешать вас.

Наталья Кирилловна тронулась этими словами и, погладив по щеке Зину, сказала ласково:

– Помни пословицу, что ласковый теленок две матки сосет!

Иван Софроныч едва крепился, чтоб не зарыдать: ему так стало жаль своей Насти, как будто он навек расставался с ней.

– Ну, простись же с отцом и матерью, – сказала Насте Наталья Кирилловна.

Настя побледнела, и глаза ее с любовью остановились на отце, как бы спрашивая его согласия.

Федосья перекрестила дочь и сказала, указывая на Наталью Кирилловну:

– Смотри, люби, почитай, слушайся ее: она теперь твоя мать.

Настя кинулась к отцу, который, приподняв ее, прильнул своими дрожащими губами к розовой щеке дочери... и в зале послышались тихие всхлипывания.

Федосья вырвала Настю из объятий отца, но он снова привлек дочь к груди своей и повелительно сказал:

– Оставь нас: дай нам хоть проститься как следует! – и, обратись к Наталье Кирилловне, он в сильном волнении продолжал: – Осмелюсь вам доложить, не обижайте ее, любите, как дочь, а иначе я, право, не отдам... не отдам ее!

Иван Софроныч крепко прижал дочь к себе, и они оба зарыдали.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Ах ты, господи! Я так и знала, он всё испортит! – щипля своего мужа, шептала Федосья и, обращаясь к Наталье Кирилловне, умильно продолжала: – Извините его, – ведь солдат: никакого обращения не знает.

– Вели ему выйти; и о чем он плачет? – мрачно сказала Наталья Кирилловна.

Иван Софроныч вышел с дочерью в другую комнату, где никого не было, и, посадив на колени свою Настю, он взял ее лицо в свои дрожащие руки и долго так глядел на нее, целуя ее изредка в глаза, полные слез. Настя стала плакать, жалобно говоря:

– Я не хочу здесь оставаться. Я уйду с вами.

Иван Софроныч тоскливым голосом сказал:

– Не плачь: мать на меня рассердится, будет бранить меня. Я тебя не спущу с своих глаз; а может, тебя счастье ожидает...

Слезы не дали ему договорить.

Настя перестала плакать, зная характер своей матери, и сквозь слезы сказала:

– Ну я не буду плакать; только вы приходите всякий день ко мне.

– Хорошо, хорошо, дурочка! – приглаживая волосы своей дочери, грустно говорил Иван Софроныч.

Явилась Федосья.

– Ну что разнюнился! – сказала она мужу. – А ты смотри, слушайся у меня всех в доме, целуй чаще ручку у своей благодетельницы, угождай Зиновье Михайловне.

Настя в то время глядела на отца, который, повесив голову, сидел неподвижно, и вдруг, вырвавшись из рук матери, она с плачем кинулась на шею к нему.

Иван Софроныч обнял дочь.

– Ах ты варвар, варвар! так-то ты держишь слово? дразнишь ребенка! ведь он мал – глуп!

Федосья задышалась от злости.

– Полно, полно, прощай, Настя! на вот тебе яблочко, а вот кукла твоя! – всхлипывая, говорил Иван Софроныч и отдал дочери яблоко и куклу.

Настя очень обрадовалась своей любимой кукле и протянула губы к отцу, чтоб поблагодарить его.

– Ну, с богом, будь счастлива! – крестя дочь и дрожа всем телом, сказал Иван Софроныч.

И он простирали руки к дочери, которую увлекла Федосья в залу.

Когда Настя скрылась, Иван Софроныч подошел к окну, безмолвно стал барабанить в стекло, и слезы ручьями текли на его мундир, который он так берег.

А Настя в то время уже плясала русскую перед Натальей Кирилловной по приказанию своей матери.

#### Глава XXXV

##### Буря в стакане воды

Настя долго плакала, оставшись посреди некрасивых приживалок, которые обступили ее и хором уговаривали не плакать, угрожая гневом хозяйки дома. Строгий и монотонный порядок, господствовавший в доме, был дик для Насти после свободной деревенской жизни. Зина с первого же дня подружилась с своей новой «сестрицей», и благодаря ей Настя познакомилась с характерами живущих в доме. Они бегали по ночам тихонько в сад, потому что днем Наталья Кирилловна ни минуты не давала свободы своим воспитанницам.

Настя в скором времени так подчинилась влиянию Зины, что терялась без нее; она не знала, что отвечать на вопросы Натальи Кирилловны, если не видела блестящих глаз Зины, в которых, казалось, она почерпала смелость и находчивость. Наталье Кирилловне понравились танцы Насти, и почти каждое утро после чаю Настя должна была плясать перед ней по-русски под скрипку рослого и угрюмого Терентия.

С Насти не сняли сарафана, а напротив – сшили ей праздничный.

Федосье Васильевне не много стоило труда вновь приобрести расположение причудливой хозяйки благодаря богатому запасу новых сплетней и лести. Она упросила Наталью Кирилловну, чтоб ее дочь учили чему-нибудь. Гриша сделался учителем Насти и скоро полюбил ее за прилежание и прямоту характера – качество, довольно редкое в доме его тетки. Зина мало училась; во время уроков она пересказывала капризы своей благодетельницы, пересмеивала приживалок, передразнивая их лезть, их ссоры между собой, и часто так удачно, что Гриша, несмотря на серьезность свою, смеялся до слез.

Наталья Кирилловна тоже мешала Зине учиться; соскучившись, она отрывала ее от урока, говоря: «Ты разве не можешь бросить свои глупые книги; видишь ведь, что я сегодня больна!» И Зина бросала урок и старалась развлечь ее.

Настя мало-помалу привыкла к этому новому образу жизни. Одно ее огорчало: Иван Софроныч поссорился с женой и с той поры Наталья Кирилловна запретила Насте видаться с ним.

Зина, любившая везде играть роль покровительницы, взялась пособить горю: она придумала тайные свидания отца с дочерью в комнате Гриши. И когда все ложились спать, она тихонько с Настей выбегала в сад к окнам Гриши, к которому часто ходил Иван Софроныч. Гриша сошелся со старичком и полюбил его.

Сообщничество Насти как бы одушевило Зину: она гораздо стала резвее, – придумала ночные прогулки, катанье на пруду; казалось, она только в том и находила наслаждение, что было сопряжено с таинственностью, страхом и опасностью навлечь гнев Натальи Кирилловны. Она выдумала особенный язык, понятный лишь Грише да Насте: он состоял из жестов и выразительных взглядов; вещи тоже играли в нем роль: например, если Зина за ужином просила Гришу налить ей стакан воды, Гриша понимал, что она будет с Настей у пруда, когда все лягут спать.

Ольга Петровна вздумала ниспровергнуть Зину и заменить ее у Натальи Кирилловны Настей, не опасной по своему характеру. Следя за Зиной, она скоро заметила ее выразительные улыбки и жесты, обращаемые к Грише, который в свою очередь отвечал ей такими же улыбками и жестами. Но, зная характер Зины, которая умела сухою выйти из воды в самых опасных случаях, Ольга Петровна не вдруг решилась действовать. Она подсматривала за ними в щели, подслушивала у дверей и окон. И наконец однажды, поздно вечером, стоя в саду под окном Гриши и слушая его разговор с Иваном Софронычем, она узнала, что они поджидают Настю с Зиной. Сердце у Ольги Петровны сильно билось от радости, и она спряталась в кусты, насторожив свои подвижные уши. Тихий смех и легкие шаги скоро послышались вблизи. Настя и Зина весело подбежали к окну, стукнули в него: оно раскрылось, и Иван Софроныч принял на руки Настю и внес в комнату. Пока отец беседовал с дочерью, Зина и Гриша, как сторожа, сидели на окне и весело болтали между собой, не подозревая, что невдалеке скрывается их лютей враг, мучимый нерешительностью, что ему делать, – бежать ли и разбудить Наталью Кирилловну или позвать людей. Но, боясь находчивости Зины, Ольга Петровна решилась действовать вернейшим и скорейшим путем. Она кинулась стремительно к Зине и, схватив ее за руку, задыхаясь, сказала:

– А, наконец-то попалась! ну, вывернись теперь, посмотрим!..

Зина так испугалась, что упала на колени и, целуя руки Ольги Петровны, молила ее о прощении и обливалась горькими слезами. Но Ольга Петровна не тронулась ни унижением, ни слезами своей жертвы: она тащила ее за собой, грозя, что станет кричать, разбудит Наталью Кирилловну и весь дом, если Зина будет сопротивляться. Зина, трепещущая от страха, не сопротивлялась более. Она быстро сообразила, что в ночь можно будет придумать что-нибудь в оправдание своего поступка, и уже почти решилась свалить всё на Настю, зная ее пугливый характер. И так, она молча и покорно пошла за своим врагом, но вдруг на половине дороги вскрикнула пугливо:

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Ах, лягушка, лягушка!

Ольга Петровна сильно боялась лягушек: услышав страшное известие, она взвизгнула и, выпустив руку Зины, сделала скачок в сторону. Зина тотчас же пустилась бежать от нее. Быстрота, с какой бегала Зина, была замечательна; ни Гриша, ни Настя никогда не могли ее поймать, нечего и говорить о старой перепуганной Ольге Петровне. Зина была уже у калитки и запирала ее, когда Ольга Петровна только опомнилась. Гнев старой девы был так силен, что она горько заплакала и дала себе торжественную клятву погубить Зину. А Зина лежала уже в постели в то время, как сторож отворил Ольге Петровне калитку.

На другое утро Ольга Петровна всё рассказала Наталье Кирилловне. Стали делать расспросы, Зина смело запиралась, уверяя, что она спала и ничего не знает.

Настя и Гриша молчали, видя, что им нет средств оправдаться. Федосья, желая смягчить гнев Натальи Кирилловны к своей дочери, рассказала некоторые проказы Зины; но Зина всё-таки продолжала запираться. Привели Ивана Софроньча, который не менее своей дочери был испуган. Разгневанная Наталья Кирилловна объявила ему, чтоб нога его не была в ее доме, а не то она выгонит и Настю.

Настя с плачем кинулась к Наталье Кирилловне и всё рассказала подробно. Гриша и Иван Софроньч подтвердили, что Зина точно участвовала в ночном свидании. Зина помертвела; глаза ее быстро перебежали от Гриши к Насте, от Натальи Кирилловны к Ольге Петровне которая то и дело твердила:

– Она была с ними! она солгала!!

Наталья Кирилловна так рассердилась и огорчилась поступком своей любимицы, что слегла в постель. Зина отдана была на исправление под надзор Ольги Петровны, а Настя заняла место своей подруги. Первые дни страшно было посмотреть на Зину: она ничего не ела и всё плакала. Ольга Петровна придумывала всякого рода унижения для своей жертвы и в случае сопротивления шла жаловаться Наталье Кирилловне, которая наконец дала ей право наказывать Зину по собственному усмотрению. Зина безусловно покорилась своему врагу, увидав его превосходство, и искренно созналась в своих дурных поступках, причем говорила:

– Мне на вас наговаривали и упрасивали, чтоб я что-нибудь дурное сделала против вас. А я, по глупости, и послушалась. Простите, простите!

Она так смирилась, так угождала Ольге Петровне, что ненависть старой приживалки начала быстро таять, как снег от весеннего солнца. Каждый вечер Зина находила случай чем-нибудь похвалить старой деве и на кого-нибудь насплетничать. Даже Настя не была пощажена. Зина наговорила на нее страшных вещей Ольге Петровне, угадав, что злость старой девы требовала постоянной пищи. Внимательность Зины стала трогать Ольгу Петровну, – всё, что любила она, Зина тоже любила и холила: она возилась с рыжим котом, как с ребенком, затыкала щелки в окнах и дверях ватой, зная, что Ольга Петровна боится сквозного ветра, и наконец довела своего врага до того, что Ольга Петровна стала ходатайствовать за Зину у Натальи Кирилловны, давно скучавшей по своей болтливой и находчивой воспитаннице. Настя нравилась ей только как хорошенькая девочка; но она давно уже решила, что новая ее воспитанница глупа, – потому что не умеет сочинить ничего интересного ни про девичью, ни про другие комнаты, что в них говорится и делается. Зина знала от горничной всё, что делала и говорила Наталья Кирилловна, и часто повторяла Ольге Петровне:

– Ах! я была бы рада, если бы меня навсегда оставили с вами!

Но этого не случилось.

Наталья Кирилловна назначила день, в который Зина должна была явиться к ней выслушать наставление и затем прощение.

Зина явилась в залу тихим шагом, с поникшей головой, слабая и бледная (два дня перед тем она нарочно морила себя голодом), и, став на колени перед своей благодетельницей, отчаянно сказала:

– Лучше уморите меня с голоду, только простите!

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Наталья Кирилловна хотя и была тронута бледностью Зины, но долго еще не произносила прощенья, читая мораль над склоненной головой воспитанницы, и когда наконец она произнесла слово прощенья, Зина радостно вскрикнула и упала без чувств на пол.

Этот обморок окончательно примирил благодетельницу с любимой воспитанницей, которая нисколько не проиграла, не выдав долго Наталью Кирилловну, а напротив – выиграла, потому что в период удаления Зины капризная старуха удостоверилась, что никто, кроме Зины, не в состоянии так развлекать ее.

Зина хорошо отплатила Ольге Петровне за ее ходатайство: она таких вещей насказала про нее Наталье Кирилловне и так славно умела зацепить самолюбие старухи, что навсегда поселила в ней неприязненное чувство к старой деве.

Огорченная холодностью Натальи Кирилловны, Ольга Петровна еще сильнее стала притеснять тех, кого могла.

Настя каждый день получала от нее выговор.

Приживалки, чтоб подольститься к Ольге Петровне, тоже преследовали Настю. Зина только наружно сохраняла к ней прежнюю дружбу, а сама была главной двигательницей всех преследований, обрушившихся на голову бедной девочки. Зина много имела причин не любить Настю. Настя была лучше ее лицом, умела уже хорошо читать и писать и часто своей откровенностью и наивностью брала верх над хитростями Зины, – так что Зине становилась вдруг неловко. Федосья Васильевна знала много проделок Зины, и потому Зина боялась явно вредить Насте. Года шли. Настя и Зина из девочек превратились во взрослых девиц. Настя хорошела с каждым днем, за что Зина окончательно почувствовала к ней ненависть. От Зины не могло укрыться предпочтение, которое Гриша оказывал Насте; Зина старалась всеми средствами унижать Настю в его глазах, чтоб выказаться самой. Она пробовала их ссорить; но Настя не была злопамятна и скоро мирилась с Гришей.

Влияние Зины в доме стало резко обозначаться. Ее тон со всеми был повелительный и только в присутствии Натальи Кирилловны смягчался. Она давно уже гадала о женихах, которые, по словам льстивых приживалок, легионами бежали к ней.

Зина знала всех соседей около дома и со многими молодыми людьми раскланивалась, переглядывалась, как с коротко знакомыми. Она страстно любила общество и за неимением его бежала в девичью, в застольную, где шла нескончаемая беседа.

Настя не разделяла удовольствий Зины, которая часто звала ее соней. Раз Настя сидела за книгой. Прибежала Зина от Натальи Кирилловны и, вырвав у своей подруги книгу, сказала:

– Ну что тебе за охота учиться? ведь мы теперь не дети. Лучше пойдем в сад: посмотрим через забор, – может быть, опять эти офицеры проедут.

И Зина тянула Настю за руку. Настя защищалась, говоря:

– Оставь: я боюсь, я не хочу!

– А-а-а! это потому, что Гриша сердился! – воскликнула Зина.

– А разве он не прав? ну, если бы они перелезли через забор?

И на лице Насти изобразился такой испуг, что Зина, закричав: «У-у-у! лезут! лезут!», начала смеяться.

Настя пожимала плечами, глядя на смелость своей подруги, которая вдруг обиделась и гордо сказала:

– Ну что ты так важно на меня смотришь? А знаешь ли, почему Гриша рассердился, зачем мы смотрели через забор?

– Почему?

– Неужели не догадываешься?



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
И лицо Зины приняло лукавое и самодовольное выражение; она протяжно произнесла:

– Из ревности! Ты понимаешь: ему досадно, если я говорю с кем-нибудь другим или гляжу на кого-нибудь другого. Ты только замечай. Например, отчего он к тебе так строг, а мне никогда слова не скажет, хоть у него не учусь, шалю в классе.

– Так, значит, он тебя больше любит? – обидчиво спросила Настя.

– Вот, матушка, когда заметила! Да он мне проходу не дает: всё просит у меня ручку поцеловать; я смеюсь, посылаю его попросить у тебя руку, а он мне говорит: «Я ни за что не поцелую у нее руки: она такая соня».

Настя вся вспыхнула и стала спорить с Зиной, уверяя, что она лжет; но Зина столько насажала фактов в подтверждение своих слов, что Настя расплакалась, а Зина прыгала по комнате и пела. Оскорбленная Настя два дня не говорила с Гришей. Зина была ужасно весела в эти дни. Но ссора не была продолжительна. Грише не много стоило труда выведать причину гнева Насти, которая, не замечая, сама всё высказала. Гриша очень серьезно просил Зину вперед не говорить никаких глупостей о нем. Зина всё повернула в шутку, уверяя, что она всё выдумала, с тем чтоб посмотреть, как Настя обидится.

– Ах, Гришенька, – с наивностью перебила Зина, – она вас очень любит, и я ее за то люблю.

Зина говорила чистую ложь. Раз случилось, что Настя проиграла пари Грише; он имел право просить ее о чем захочет.

– Я знаю, я знаю, что вы ей велите сделать! – выразительно улыбаясь, говорила Зина.

– Ну, что? – спросил Гриша.

– Надеть сарафан: вы уверяете, что он к ней идет.

– Ошиблись: я попрошу, чтоб она позволила мне поцеловать ее руку.

Настя ни за что не соглашалась. Зина с жаром доказывала, что она делает дурно, потому что, проиграв, должно платить. Гриша должен был употребить хитрость, чтоб получить свое пари.

Через день Зина, на тех же условиях, проиграла пари Грише и, как будто с испугом, сказала ему:

– Ради бога только не целуйте моей руки!

И она стала в оборонительное положение.

Но Гриша и не думал: он успокоил ее и просил Зину идти к Наталье Кирилловне и выпросить позволение покататься. Зина вся вспыхнула, бросила злобный взгляд на Настю и гордо отвечала:

– Я держала пари с вами, а это ее желание, я знаю.

– Что вам за дело! вы проиграли и должны исполнить, – заметил Гриша.

– Зачем же вы меня заставляли вчера исполнить мой проигрыш? – спросила Настя с упреком.

Зина так рассердилась пренебрежением Гриши, что ядовито отвечала своей подруге:

– Потому что я видела, как вам хотелось, чтоб поцеловали вашу руку.

Настя горько заплакала. Гриша поссорился с Зиной и назло ей стал оказывать Насте гораздо более внимания и обходиться с ней не как прежде, запросто и по-дружески, но с необыкновенной предупредительностью. Эта предупредительность приняла большие размеры вследствие смерти Федосьи Васильевны, о которой Настя много плакала; в последнее время болезни своей матери она не отходила от нее, и больная, умирая, ни о чем более не думала, как о своей дочери; она всех

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
поодиночке упрашивала не оставлять ее Настю, – не только Зину, у которой она целовала руки, но даже горничную, ходившую за ней, умоляла беречь ее Настю. Гришу она также призывала к себе, благодарила за любовь, попечение о Насте и просила защищать ее в доме от притеснений.

Этим временем Зина опять подружилась с Настей и Гришей; но между тем она часто прибегала в комнату к Ольге Петровне, возмущенная будто бы обращением своей подруги с Гришей.

Ольга Петровна сделалась тенью Насти. Она начала доказывать бесполезность классов, говоря, что, кроме шалостей, в них ничего нет хорошего. Ольга Петровна довела даже до сведения Натальи Кирилловны о кокетстве Насти, и Насте был сделан строгий выговор. Бедная девушка горько плакала, Гриша бесился, Зина утешала их и советовала Насте делать всё назло Ольге Петровне. По наущению Зины, Грише запрещено было принимать Ивана Софроныча у себя. Наталья Кирилловна доказывала, что ее родственнику не след иметь знакомство с такими людьми. Гриша тайком ходил к Ивану Софронычу и носил вести от дочери к отцу, и наоборот. Так как говорить Насте с Гришей было запрещено, то между ними, разумеется, началась переписка. Зина была их посредником. Каждый день Ольга Петровна выдумывала новую нелепость на Настю, которая наконец впала в отчаяние и целые дни не переставала плакать. Раз, жестоко оскорбленная приживалками и Ольгой Петровной, Настя как сумасшедшая прибежала к себе в комнату и написала отцу письмо, умоляя его заступиться за нее. Она была так далека всякого кокетства с Гришей, что долго не догадывалась о причине претерпеваемых ею гонений. Настя обратилась к Зине за советом, как бы передать Грише письмо, чтоб он как можно скорее отнес его к Ивану Софронычу.

Зина долго отговаривалась, будто из страха, наконец решилась передать письмо.

– Когда же ты ему передашь? – спросила Настя.

– Ах, боже мой! когда найду поудобней случай; ведь у Ольги Петровны, ты знаешь, кошачьи глаза; она знает каждый наш шаг.

Настя, полная искренней благодарности, рассказала Зине свои планы, которые состояли в том, что, выведенная из терпения, девушка решилась бежать из дому, если отец ее не возьмет.

– Да ты трусиха! ну где тебе! – восклицала Зина и затем рассказывала ужасы, которые все в доме будто бы думают и говорят про Настю.

Бедная девушка бледнела и краснела от негодования и, рыдая, говорила:

– Господи, кому я сделала столько зла, чтоб выдумывать на меня такие вещи!

– Что попусту плакать! ты решишь только, – я с Гришей всё устрою, а потом выпрошу прощенье у Натальи Кирилловны; она наконец увидит, как солоно нам было от этих старых ворон.

Настя колебалась.

– Ну ты хоть напиши Грише, что хочешь бежать; посмотри, что и он согласится бежать с тобою. А к отцу не стоит писать, – только его испугаешь.

И Зина разорвала письмо к Ивану Софронычу и чуть не силою заставила Настю писать к Грише, что она решилась бежать из дому. Написав, Настя колебалась отдать ей эту записку; но Зина выхватила ее и, выбежав из комнаты, сказала:

– Я не ожидала, чтоб ты была такая глупая!

Зина уже давно тайно беседовала с Ольгой Петровной; на этот раз они долго советовались. Когда все собрались в столовую, уши у Ольги Петровны делали телеграфические знаки непрерывно, шея превратилась в шею индейки, глаза блистали, как у кошки, подстерегающей мышь. Она находилась в сильном волнении и поминутно подергивала за ленты свой ридикюль и фыркала.

Сели за стол, и лишь только Гриша взялся за салфетку, как Зина кашлянула, что было между ними условным знаком, что она желает сообщить ему что-нибудь, – Гриша взглянул на Зину, и в ту же минуту Ольга Петровна, сидевшая возле него, схватила

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a письмо с тарелки и, подняв его кверху, воскликнула:

– Что это?

Гриша вздрогнул и хотел его вырвать; но Ольга Петровна пронзительно взвизгнула.

Настя помертвела, узнав свою записку.

Наталья Кирилловна пришла в сильный гнев, объявив, что ее дом не трактир, и приказала подать к себе письмо; его поднесли к ней на тарелке и положили возле нее, и затем она приказала подавать суп.

Гробовое молчание воцарилось в столовой; обед тянулся ужасно медленно для Насти и Гриши, которые ничего не ели. Зина следовала их примеру.

– Ты, глупенькая, что не ешь? – ласково спрашивала Наталья Кирилловна Зину, которая, тяжело вздыхая, принималась кушать.

Настя от ужаса и стыда сидела неподвижно, дико глядя на всех, как бы желая найти хоть в ком-нибудь участие к своему положению; но, кроме презрительных улыбок, она ничего не встречала на чужих лицах. Гриша, бледный, сидел понурился голову. Наталья Кирилловна, казалось, ожила: она барабанила с силою по столу, повертывала свою голову довольно быстро то к Грише, то к Насте, которую приказала обносить, сказав лакею: «Мимо, мимо!»

Гриша при этих словах вскочил из-за стола, смотря на Настю, которая, закрыв лицо, припала головой к столу. Наталья Кирилловна строго сказала Грише:

– Что это, милостивый государь! как вы смеете вскакивать из-за стола, когда я сижу?

– Я... вас хотел...

– Садитесь! – перебила его Наталья Кирилловна.

– Я не могу и про... – начал было Гриша; но, встретив пугливый взгляд Насти, как бы молящий не оставлять ее одну, Гриша сел на свое место и, гордо подняв голову, дерзко смотрел в глаза всем приживалкам, которые, потупляя свои в тарелки, язвительно усмехались. При всей своей жадности Ольга Петровна ела мало и ни разу не взглянула на Гришу и, как бы боясь его, отодвинула свой стул от него. Но Гриша не обращал внимания на свою соседку: он взорами поощрял убитую отчаянием и страхом Настю, на которую даже лакеи поглядывали с улыбкой. Приживалки и все ожидали сцены после стола; но Наталья Кирилловна обманула ожидание всех; она, принимая благодарность за обед, при одном приближении Насти с презрением сказала:

– Не подходи! – И, обратись к дворецкому и указывая на трепещущую Настю, продолжала: – Тиковое платье! вынести ее кровать в девичью да дать ей вместо пера чулки штопать. А вы, милая Ольга Петровна, присмотрите за всем.

И Наталья Кирилловна, опираясь на плечо Зины, важно вышла из комнаты. За ней понесли на тарелке письмо. Зина, удаляясь, бросила Грише печальный взгляд, как бы желая им сказать, что она приготовилась на жертву.

Лишь только удалилась Наталья Кирилловна, приживалкам как будто привесили языки. Они заахали, затараторили.

Приживалка с мутными глазами, мотая головой, сиплым голосом своим говорила:

– Господи! какие нынче девушки бесстыжие!

– Хорошо, что мать-то умерла! – восклицала другая.

– Да, нагоревалась бы наша Федосья Васильевна, – вот бы и увидела, что знай сверчок свой шесток, – говорила первая, мотая головой и глядя своими мутными глазами на бледную Настю.

– Убила бы ее, право, убила бы! – хором провозгласили приживалки и, провожая ее

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a до девичьей, клялись друг перед другом, что таких ужасов в доме еще не было с основания его.

Настю привели в девичью, и началась церемония: расчесали волосы Насти на две косы и вплели в них мочалку, надели на нее тиковое платье с коротенькими рукавами. Приживалки суетились, ссорились; горничные смеялись и ахали. Настя, молча, как автомат, повиновалась всему. Когда кончился туалет, Ольга Петровна сказала:

– Посмотрите, да это платье гораздо лучше идет к ней! настоящая горничная!.. ха-ха-ха!

– Поздравляем с новой товаркой вас, девушки! – подхватили другие приживалки.

Настя была выведена этими выходками из бесчувственного положения и стала горько плакать.

Уши у Ольги Петровны запрыгали, лицо покрылось пятнами, и такая страшная улыбка появилась на ее лице, что ее можно было сравнить разве с улыбкой Мефистофеля, когда он смотрел на плачущую Гретхен.

Наталья Кирилловна полудремала, убаюканная рассказами Зины, которая никогда ничего неприятного не говорила ей после обеда, даже если сама Наталья Кирилловна приказывала.

– Что вам угодно, – говорила она, – но я не могу сказать теперь ничего: это вредно для вашего желудка!

Зина и на этот раз отказалась отвечать на вопросы своей благодетельницы, которая, грозя Зине пальцем, ласково говорила:

– Смотри, не заодно ли ты с ними?

– Ах! сохрани меня боже, такого сраму наделать и так огорчить вас!

– Хорошо, кабы все так думали, – говорила себе под нос Наталья Кирилловна, стараясь заснуть; но ей хотелось самой скорее начать сцену, которая во весь вечер могла бы ее занять.

– Читай же! спать не могу, – сказала Наталья Кирилловна, приподнимаясь с постели.

– Ах, не рано ли? не принять ли вам успокоительных капель? – возражала Зина.

– Читай, читай скорее! – повелительно перебила Наталья Кирилловна и уселась в креслы.

Зина робким голосом прочла письмо.

Наталья Кирилловна вспылила страшно; она надавала Насте разных эпитетов и грозилась ее наказать, как наказывают маленьких детей.

– Бежать из моего дому! каково?! Послать сейчас же за отцом ее. Я ему покажу, до чего он баловством довел свою дочь. Бежать! да куда же она, дура, хотела бежать?

– Не знаю-с!.. верно, Гришенька..

– Говори! ты, верно, знаешь, что-нибудь.

Зина потупила глаза и робко произнесла:

– Я, право, часто ей выговаривала, но.. мне самой было стыдно.

– Говори складней! – крикнула Наталья Кирилловна.

Зина плавно сочинила на Настю целую историю: будто бы Настя намекала ей, что она, если захочет, будет своя в доме, а не воспитанница.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Наталья Кирилловна, как бы пораженная какой-то ужасной мыслью, потребовала, чтоб письмо Насти было прочтено во второй раз. Зина, желая нанести своей подруге окончательный удар, прибавила от себя фразу, которая так взбесила Наталью Кирилловну, что она вскочила с своих кресел и стала ходить по комнате, делая страшные угрозы.

– А-а-а! Нет, много слишком возмечтала! я ее заставлю мыть полы в доме. А ты! ты что глядела? а? ты жила в одной комнате с ней? а?

Зина никак не ожидала, чтоб Наталья Кирилловна возмутилась до такой степени.

Старуха приказала позвать Ивана Софроныча и готовилась объявить при нем наказание его дочери.

Приживалки горели от нетерпения узнать, чем кончится история, и спорили о том, какое наказание определит Наталья Кирилловна.

– Я бы на ее месте за такое поведение просто-запросто положила бы да... – говорила Ольга Петровна.

– Будь она у нашей матушки, она так и сделала бы. Уж вот как строга была! Бывали и мы молоды, а ничего такого не случилось! – говорила приживалка с зобом, мотая головой.

– А вот я как была молода, так на мужчин боялась глядеть, – подхватила другая.

– Ну да, кажется, в прежние времена девушки стыдливее были, – заметила третья.

Иван Софроныч радостно бежал на призыв, думая, что, верно, Наталья Кирилловна сняла с него оковы и позволила ему повидаться с дочерью.

Все собрались в залу, выходящую на террасу. Наталья Кирилловна сидела на своем кресле, строга и угрюмая. Зина, слегка бледная, стояла возле и тревожно глядела на всех. Гриша мрачно стоял у окна: он знал характер своей тетки и страшился за бедную Настю.

Иван Софроныч вошел в залу, раскланиваясь со всеми. Его поразило выражение лиц Гриши и Зины. Лицо Зины давно уже служило термометром, безошибочно определявшим состояние духа хозяйки. Наталья Кирилловна, не отвечая на поклон Ивана Софроныча, приказала привести Настю.

Иван Софроныч сконфузился; ему стало что-то неловко; на кого он ни глядел из приживалок, все как-то странно улыбались.

Ольга Петровна ввела Настю в залу. Увидев отца, Настя кинулась к нему; но он отступил назад, воскликнув:

– Настенька! Настя!

Иван Софроныч с ног до головы осматривал наряд дочери, которая отчаянно зарыдала.

– Настя, что это значит? – весь дрожа, спросил Иван Софроныч.

– Что это значит! а то, что она так будет ходить, пока не исправится, – сказала Наталья Кирилловна.

– Что ты сделала? – воскликнул Иван Софроныч.

– Я не знаю! – рыдая, отвечала Настя.

– Боже мой! Ах, скажите, какая дерзость! она еще запирается! – воскликнули приживалки.

Ольга Петровна, давно жаждавшая говорить, передернув ушами, сказала:

– Если бы у нее был хороший отец да не потакал бы ей, он бы не стал и говорить с такой дочерью.

– Что ты сделала? говори! – запальчиво повторил вопрос свой Иван Софроныч.

– Я не знаю, за что на меня надели это платье! – громко отвечала Настя.

– За что? а я вот ему покажу! – возвысив голос, сказала Наталья Кирилловна, и, обратись к Зине, она прибавила: – Подай письмо старому баловнику!

Зина объявила, что оно осталось в спальне, сначала обшарив карманы своего передника.

– Ну, пошла, принеси! – сердито отвечала Наталья Кирилловна и обратилась к Ивану Софронычу, на лице которого показались крупные капли поту; он так переминался, как будто ему трудно было стоять на ногах: – Я призвала тебя полюбоваться на твою дочь. Она стоила бы, чтоб ее выгнали из дому, потому что она не только Зине, но и горничным моим может подать дурной пример.

– Скажите, ради бога, скажите скорее, что могла сделать моя Настя? – умоляющим голосом произнес Иван Софроныч.

Зина в ту минуту вошла в залу и объявила, что письма не нашла.

Наталья Кирилловна вспыхнула, выслала ее искать его и, обращаясь к Ивану Софронычу, допрашивавшему свою дочь, что она сделала, грозно крикнула, оскорбленная недоверчивостью его:

– Она негодная девчонка, – довольно с тебя!

– Она моя дочь, и я хочу знать, в чем ее обвиняют, – с неожиданной смелостью возразил Иван Софроныч.

– Как? я наказала твою дочь, а ты вздумал у меня требовать отчета?.. Да я не такое еще придумаю ей наказание.

Настя вскрикнула и кинулась к отцу. Гриша тоже подошел к Ивану Софронычу, который сел на стул и, помолчав с минуту, тихо сказал:

– Господи! скажут ли мне всю правду?

– Расскажите ему всё, что дочь его делала у меня в доме! – произнесла Наталья Кирилловна, и приживалки радостно объявили отцу, что его дочь вешалась на шею Грише и хотела бежать из дому.

Иван Софроныч, как бы пораженный громом, зажал уши и, схватив Настю за руку, в отчаянии сказал:

– Настя, неужели всё это правда? скажи.

– Это чистая ложь! – громко и твердо произнес Гриша.

Наталья Кирилловна вскочила со стула, выпрямилась и с минуту не могла ничего сказать. Иван Софроныч тем временем жал руку Грише и твердил:

– Спасибо: вы сняли камень у меня с груди.

– А, вы заодно! – воскликнула Наталья Кирилловна. – Так вот почему ты прикидывался, что не понимаешь, что я тебе говорю! Да как ты смел вбить себе в голову такие дерзкие мысли?

Наталья Кирилловна пришла в сильный гнев.

– Что я такое сделал, матушка? она дочь моя... неужели...

– Молчать! твоя дочь дура, а ты старая лисица! Но со мной плохо хитрить. Я никогда не позволю вам поймать его в свои сети! – И она указала на Гришу и повелительно продолжала: – Чтоб нога твоя не была у этого интригана!

Иван Софроныч только тут понял, в чем дело. Он придвинул свою дочь к себе,

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a приподнял ее склоненную голову и, поглядев ей в глаза, покойно сказал:

– Это всё вздор! мы ни в чем не виноваты! – Голос его возвысился, и он продолжал: – Посмотри прямо на всех: пусть они видят, что мы невинны, – и пойдем отсюда.

И он повел Настю к двери.

Наталья Кирилловна не ожидала такого результата. Никто еще из ее дому не уходил добровольно. Она воскликнула:

– Куда ты ее ведешь?

– Из вашего дому, – кланяясь, отвечал Иван Софроныч. – Ей оставаться здесь не след. Я вам отдал дочь свою ребенком. Если бы, чего боже сохрани, она испортилась, то вы, сударыня-матушка, как вторая ее мать, всему были бы виноваты и должны были бы дать ответ богу за нее. Пойдем, Настя, пойдем; отец твой найдет, чем прокормить тебя.

– Остановите его! – грозно сказала Наталья Кирилловна, не признавая ничьих распоряжений у себя в доме.

Приживалки кинулись к двери. Наталья Кирилловна продолжала:

– А, голубчик! ты думаешь меня провести: ты потому свою дочь уводишь, чтоб тебе удобнее было заманивать моего племянника. Но я...

Наталья Кирилловна была прервана восклицанием Гриши, который полным негодования голосом сказал:

– Тетушка, не оскорбляйте его!

Иван Софроныч, дрожа всем телом и запинаясь, однако, громко произнес:

– Григорий Михайлыч! в доказательство вашей тетушке, что мы с дочерью не имеем ровно никаких видов на вас, прошу покорнейше избавить меня от ваших посещений. Поберегите и так невинно пострадавшую девушку. Да, Настя, знай: ты лишишься отца, если ослушаешься...

Настя кинулась на грудь к отцу, который, глядя ее по голове, говорил, обращаясь к Наталье Кирилловне:

– Прощайте. Дай бог, чтоб никто более не нуждался отдавать свое детище в чужой дом!

С этими словами Иван Софроныч с Настей оставили залу, где все были поражены словами и голосом старика.

Наталья Кирилловна слегла в постель. Зина в этот день приняла очень много лекарств, потому что ее благодетельнице не нравился вкус их, то соленый, то сладкий, и она поминутно требовала новых лекарств, то в порошках, то в пилюлях, которые, по заведенному порядку, Зина должна была сначала пробовать.

#### Глава XXXVI

##### Племянник из-за границы

Разлука с Настей имела на Гришу сильное влияние. Он сделался мрачен, молчалив; везде ему было скучно, ничем не мог он заняться, и бедная девушка не выходила у него из головы. Он слишком хорошо знал ничтожные средства отца, но помочь горю ничем не мог, да и Иван Софроныч упорно стоял на том, что Гриша нанесет ему страшное оскорбление и посягнет на его честь, если будет принимать какие-то ни было меры для свидания с Настей.

Все удовольствия Гриши сосредоточились в прогулках мимо дома Насти, с которой он раскланивался; но и это недолго продолжалось. Он получил письмо от Насти, которая самым сухим и вежливым тоном просила его прекратить прогулки, потому что они оскорбляют ее.

Гриша наконец обиделся мерами, какие принимал против него Иван Софроныч: старик

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a в один месяц переменял три квартиры, чтоб Гриша потерял след, и вообще действовал против Гриши так, как будто против отъявленного соблазнителья. Гриша решился оставить Настю и старика в покое и стал думать о своем незавидном положении. Ему хотелось оставить праздную жизнь; он решился начать служить. Но по этому поводу у него завязалась борьба с Натальей Кирилловной, которая требовала, чтоб Гриша находился при ней и покорялся ее капризам. Гриша противился, не хотел являться на глаза тетки и упорством своим наконец заставил старуху поколебаться. Она торжественно явилась сама к Грише в комнату, в сопровождении приживалок, и, удалив всех, исключая Зины, начала объяснение с племянником, который обезоружил ее своим спокойным и решительным тоном, объявив, что он желает распорядиться собой и своим временем, как ему заблагорассудится. Наталья Кирилловна с ухода Насти была как будто несколько помешана на том, что все имеют намерение последовать ее примеру, и часто, рассердясь на Зину, говаривала: «Ну, что? и ты тоже уйдешь от меня?»

Гриша ревностно принялся служить. Он скучал постоянно о Насте, но старался объяснять свою апатию другими причинами и принуждал себя быть любезным с Зиной, которая оказывала ему всевозможные услуги и посвящала его во все свои тайны. Она часто вздыхала довольно выразительно; но Гриша был так рассеян, что не замечал этих вздохов.

Ольга Петровна вскоре после ухода Насти поняла, что была игрушкой Зины; но власть Зины так была уже упрочена, что дерзко было бы помышлять ниспровергнуть ее. Ольга Петровна решилась оставаться наружно в хороших отношениях с любимицей хозяйки, как ни трудно было ей удерживаться от едкого слова или взгляда.

Зина слишком хорошо всё понимала; и странно было смотреть на них, когда они друг перед другом вежливыми словами и приветливыми улыбками старались замаскировать свои настоящие чувства.

Остальные приживалки трепетали перед Зиной, льстили ей более, чем самой Наталье Кирилловне, и каждая старалась оказать ей какую-нибудь услугу, чтоб заслужить ее расположение. Впрочем, весь дом боялся ее: прислуга знала, что участь каждой и каждого часто зависела от одного ее слова.

Прошел год, в продолжение которого характер Натальи Кирилловны изменился: хладнокровное упорство ее смягчилось, хотя она стала ужасно раздражительна, что помогло Зине еще более упрочить свою власть в доме. Одно слово в такие минуты могло решать участь домашних. Зина одна знала причину такой перемены. Племянник, живший за границей, так мотал, к тому ж управляющие так обкрадывали Наталью Кирилловну, опекуншу всего имения племянника, что требовалось огромной суммы, чтоб привести дела в порядок. Наталья Кирилловна тайно продала все свои брильянты, заняла под залог своего имения значительную сумму денег и, послав их племяннику, требовала, чтоб он немедленно ехал к ней для устройства дел. Но племянник, получив деньги, веселился, откладывая день на день свой отъезд. Наталья Кирилловна сначала сердилась, потом пришла в отчаяние, когда племянник вновь потребовал денег для выезда своего из-за границы. Вновь сделали заем и послали деньги.

Гриша узнал от Зины обо всем. Она ему тихонько показала разные условия и обязательства, сделанные Натальей Кирилловной с <кредиторами> через посредство своего управляющего, который уже нажил себе сотни тысяч от управления их имением. Гриша написал обо всем бывшему своему товарищу детства и умолял его немедленно возвратиться и позаботиться о своих делах. Ответ на письмо Гриши был дружеский и полный отчаяния: причина вся состояла в том, что ему не выслали желанной суммы и он должен был, может быть в первый раз в жизни, отказать себе в какой-нибудь прихоти. Наконец бывший Павленька, а теперь Павел Сергеич, назначил день своего приезда.

Наталья Кирилловна от радости всё забыла. Начались приготовления в доме. Калитка, соединявшая задний двор с главным, отворилась. Траву щипали между камнями, мыли окна, разоряли гнезда птиц, уже несколько лет имевших спокойный приют в карнизах. Чистили замки, выколачивали мебель, ковры. Дворня всё делала весело, ожидая нетерпеливо барина, который своими прихотями сделал многих счастливыми по их положению.

Для Зины сшили новое платье, а приживалкам были розданы обновки из гардероба их благодетельницы. Музыканты, давно не бравшие в руки инструментов, сыгрались.



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Многие из них были исключены из этого звания по уважительным причинам: они даже забыли, как должно держать инструмент в руках.

Гриша был завален счетами дворецкого, у которого лицо приняло такое масляное, умиленно-благодарное выражение, как будто все его приготовления делались единственно с одной целью – доставить ему удобный случай погреть хорошенько свои руки. В это время Зина не имела ни минуты спокойствия: все приказания хозяйки дома шли через нее. Разнородные выговоры и гнев прежде всего обрушивались опять-таки на Зину, которая с примерным терпением всё сносила. Для благодетельницы всегда была готова веселая улыбка на губах Зины. Может быть, потому она так терпеливо всё выносила, что сама слишком интересовалась приездом племянника своей благодетельницы. Еще ребенком он произвел на Зину сильное впечатление. Пылкое воображение Зины, как ни было обуздываемо неравенством положений, однако уносило ее далеко-далеко. Она отыскала через приживалок старую, безобразную грузинку, которая приготовляла разные умывания для лица, рук и шеи и помаду для сообщения блеска волосам. И Зина, не довольствуясь благоприятными предсказаниями приживалок, гадавших засаленными картами, тайно разъезжала с грузинкой по всем гадалщицам, всё гадая о чем-то.

Наконец настал день приезда Павла Сергеевича Тавровского. Наталья Кирилловна с самого утра начала ждать. Всё было готово для его принятия. От заставы до дома были расставлены верховые, которые заранее должны были предупредить о въезде дорогого гостя. Все родные и давно забытые знакомые были приглашены на этот вечер на бал, блеском которого Наталья Кирилловна желала показать, что слухи, начинавшие ходить по городу о расстройстве их дел, были ложны.

Павел Сергеич не приезжал. Уже дом ярко загорелся сотнями свеч. Железные ворота стояли настежь, кареты с грохотом въезжали под арки подъезда. Гости толпились в залах и гуляли по саду, великолепно иллюминированному. Уличная публика толпилась на дворе и унизывала забор сада, глаза на гостей и на разноцветные шкалики. Музыканты, посаженные в беседке, играли разные бальные танцы.

Наталья Кирилловна, вся в бархате и кружевах, томилась ожиданием. Она перестала уже занимать гостей; вместо конфеток и фруктов ей поминутно подносили лекарства. Зина бегала и суетилась около раздраженной старухи, которой, наконец, от ожидания сделалось дурно; ее отвели в спальню. Гости, соскучась ждать, разъехались. Огни погасли, и заржавленные ворота с жалобным писком вновь закрылись. Всё уже в доме погрузилось в сон, утомленное дневной беготней; одна Зина бодрствовала, хотя должна была бы прежде всех лечь спать, потому что всех больше хлопотала и утомилась.

Еще в бальном наряде, она сидела перед столом и что-то писала; сложив письмо, она раскрыла окно и, внимательно поглядев в темноту, тихо произнесла:

– Петр!

– Я здесь! – раздался голос снизу.

Зина завязала письмо в носовой платок, бросила его в окно и через минуту спросила:

– Нашел?

– Да! – ответил тот же голос.

– Смотри, в собственные руки!

– Будьте покойны: я сам отдам; только уж вы всё устройте.

– Я обещала, так исполню, – гордо произнесла Зина, и, закрыв окно, она запрыгала по комнате, произнеся выразительно: – Дождусь ли я завтрашнего дня?

И она у зеркала стала делать реверансы, то с самой серьезной миной, то с улыбкой. Долго билась Зина, чтоб увидеть свое лицо с потупленными глазами, повертывая в руках маленькое зеркало, – наконец с досадой бросила его, сняла бальное платье, надела ночной туалет и уселась за туалетный столик, окружив себя стекляшками, коробочками и баночками.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Стук в доску сторожа в саду, казалось, испугал Зину; она поспешно убрала батарею баночек и, бросив на себя последний взгляд в зеркало, проговорила:

– Пожалуй, завтра глаза будут сонные.

И она легла в постель, но долго еще ворочалась, тревожимая неприятными ощущениями, которые испытала на бале; надевая свое новое платье, она ожидала, что произведет эффект, а на нее никто из гостей не обратил даже внимания. Миниатюрная Зина не могла произвести большого эффекта в бальном наряде, который требует прежде всего, чтоб женщина была высока ростом и с пышными плечами. Зина была лишена того и другого; рост ее особенно терял потому, что она вечно стояла подле Натальи Кирилловны, которая имела мужской рост.

И последней мыслью Зины в эту ночь было, что по ее положению в обществе ей должно отложить всякую надежду на удовольствия такого рода.

В комнате, убранной с некоторой роскошью, за карточным столом расположилась, сидя и стоя, довольно большая компания мужчин, судя по их туалету и разговору принадлежащих к людям богатым и светским. Между ними резко отличался один господин лет тридцати, замечательной красоты, которая невольно бросалась в глаза. Всё в его фигуре было гармония. Он, казалось, был главным лицом: острил, ставил огромные куши на карту, пил вино и говорил тонкие любезности хозяйке дома, которая также участвовала в игре. Она была уже не первой молодости, но сохранила еще весь блеск красоты. В ее выразительном лице поражала вас смелость взгляда, которая могла смутить всякого. Черты ее лица дышали необыкновенной силой воли. Голос ее то был резок, то вдруг смягчался; она говорила очень умно, – но что-то едкое преобладало в ее словах. Она, казалось, считала долгом каждому сказать что-нибудь обидное. Посреди этой компании обрисовывалась мрачная фигура очень пожилого человека, одетого бедно и небрежно. На его желтом лице было разлито какое-то тупое уныние. Он был из числа зрителей и жадно следил за хозяйкой, которая очень быстро тасовала и метала карты.

Лица играющих мало-помалу стали изменяться; куши увеличивались. Краска вспыхивала по временам на лице банкюмета. Вдруг воцарилась тишина. Господин замечательной красоты горячился и увеличивал куши; наконец он поставил весьма значительный куш. Все не без трепета следили за выпадавшими картами, исключая самого понтера.

– Убита! – резко произнесла хозяйка, придвигая к себе деньги.

Глаза ее, казалось, сделались больше. Она, тасуя карты и смеясь, сказала, обращаясь к проигравшему:

– Ваш дебют нехорош у нас; будьте осторожнее!

– Я надеюсь, что ваши советы относятся к одним только картам! – весело отвечал проигравший.

– Я вас так давно не видала, что не решилась бы давать других.

– А в память нашего старого знакомства?

– Старость имеет слабую память, – отвечала язвительно хозяйка и, обратись к другим, прибавила:– Новая талия!

Пожилый и мрачный господин робко поставил свою карту и, запинаясь, сказал хозяйке...

– Вы позволите? я хочу попробовать...

– Ставьте, только не сорвите банка! – отвечала хозяйка, пристально взглянув на поставленные им деньги.

Некоторые засмеялись, другие только удостоили насмешливым взглядом пожилого господина, ничего не замечавшего, кроме падавших карт. Болезненный вздох вырвался у него из груди, когда его карта была убита. Он обратился тогда к молодому белокурому господину с наглым выражением лица и тихо, дрожащим голосом сказал:

– Дайте мне взаймы, хоть в память моих одолжений, сделанных вам в старину.

Белокурый господин дерзко отвечал:

– А кто за вас поручится, что вы заплатите мне?

– Тише, ради бога, тише, – пугливо шептал старик, бросая тревожные взгляды на хозяйку.

– Если хозяйка дома ручается, то я готов!

– Не надо!.. – тоскливо воскликнул пожилой мужчина.

Но белокурый господин, смеясь, громко сказал:

– Вы платите за него нынче и карточные долги?

– Нет, я только плачу за его квартиру и стол, – отвечала хозяйка.

На желтом лице пожилого мужчины как бы вспыхнула краска. Он бросил злобный взгляд вокруг себя и, сев вдали от стола, повесил голову на грудь. Поза его была так полна тоски, что невольно возбуждала участие. Гости продолжали играть, когда красивый господин окликнул пожилого человека и сказал:

– Что же вы не принимаете участия в игре?

– Я... у меня нет денег, – мрачно ответил пожилой мужчина.

– Господа! я отвечаю за какой бы то ни было его проигрыш. Идите сюда: ставьте карту.

– Что такое? нет! я не позволю! – сказала хозяйка.

– Отчего? разве вам не всё равно – проигрывать мне, другим или ему?

– Я имею свои причины! – насмешливо объявила хозяйка дома.

В это время вошедший лакей сказал ей что-то на ухо; она, окончив талию, передала карты другому и вышла из комнаты.

Пожилой мужчина радостно кинулся к столу и поставил карту.

Хозяйка скоро возвратилась и, отозвав красивого господина к окну, молча отдала ему записку; он прочел в ней следующее:

«О вашем приезде знают. Я боюсь неприятностей для вас. Поспешите увидеть вашу родственницу: она от ожидания слегла в постель и очень сердита на вас».

– Это что за добрый гений завелся у тетушки? – улыбаясь, сказал господин.

– Я знаю его, – отвечала хозяйка.

– Это каким образом?

– Я видела эту девушку, когда она была ребенком. Первое время вашего отъезда я старалась узнать, где вы и как живете, – и через горничных виделась с этой девочкой, которая всё знала.

– А, так вы разведывали обо мне? это мне лестно! – кланяясь, перебил ее господин.

– Да, только мое присматриванье имело не такую причину, о какой вы думаете: я хотела знать, что мне оставалось делать.

– Ну и вы решились меня забыть?

– Настолько, насколько вы меня забыли.

– Таинственная записка доказывает, как я вас забыл. Целый день сижу у вас. А кто принес записку?

– Ваш Петр; он сказал мне, что ему отдала какая-то девушка.

– Боже! сколько таинственности из пустяков!

– Однако эти пустяки устроили ваш отъезд и много доставили мне неприятностей и слез.

– Не забудьте, сколько тому лет прошло! и неужели вы теперь стали бы плакать?

– О нет, ручаюсь вам, я способна теперь только других заставлять плакать.

– Сколько в вас перемен! Вы для меня совершенно новое лицо.

– Если я изменилась в хорошую сторону, то вы можете гордиться: я считаю вас моим наставником.

Разговор был прерван гостями, приглашавшими их продолжать игру.

Наталья Кирилловна еще спала, а уже в доме ее происходила страшная суета по случаю приезда Тавровского. После долгих объятий племянника с теткой последняя подала сигнал приживалкам, чтоб они в свою очередь поздоровались с приезжим.

С писком, со слезами кинулись на племянника приживалки, стараясь непременно поцеловать его руку, которую он прятал.

– Ах, наша радость! солнце! благодетель, красавец, картинка! драгоценный! – такими восклицаниями осыпали его приживалки.

Ольга Петровна, подергивая ушами, сделала красноречивое приветствие, сохраняя всю важность главной приживалки в доме.

Наталья Кирилловна обратилась к своей любимице и строго сказала:

– Зина, а ты что не здороваешься? поди поцелуй руку у Павла Сергеича. Ты узнал?  
– прибавила она, обращаясь к племяннику: – Это ведь дочь твоего дядьки.

Зина побледнела и, выступив немного, сделала почтительный реверанс.

– Я руку приказываю тебе поцеловать ему! Что ж ты? – грозно заметила Наталья Кирилловна.

– Тетушка! – с упреком воскликнул Павел Сергеич, и, взяв дрожащую руку Зины, он поцеловал ее.

Зина вся вспыхнула; приживалки зашептались. Наталья Кирилловна обиделась и сказала племяннику:

– Что это? ты целуешь у ней руки!

– Так позвольте, я поцелую ее, как целовал ребенком.

И Павел Сергеич нагнулся поцеловать Зину, которая уклонилась и, сделав реверанс, лукаво улыбнулась.

Ольга Петровна задыхалась, смотря на Зину, удостоенную такой чести от Павла Сергеича, и потом тихонько говорила в девичьей:

– Ну, мойте свои руки: может быть, Павел Сергеич и у вас поцелует руку!

– Хи! хи! Мы барышни, что ли! – восклицали горничные.

– Да ведь поцеловал же у этой интриганки! И какой он стал нехороший!

Но неудовольствие Ольги Петровны на Павла Сергеича не имело последствий; сама же  
Страница 212

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
она старалась заговаривать с ним и услуживать ему. Впрочем, всё глядело в глаза приезжему, и чуть не до драки доходило между приживалками, если он просил подать что-нибудь за столом.

Наталья Кирилловна, привыкшая к грубым формам, в которых домашние подносили ей лесть, оставалась довольна внимательностью приживалок к племяннику и говорила ему:

– Видишь, как они тебя любят!

И она сделала только выговор Грише, будто бы он сухо встретил своего родственника, хотя оба они, и Павел Сергеич и Гриша, встретились очень дружески. Зина очень понравилась Павлу Сергеичу, тем более что это было единственное молодое, небезобразное лицо между старыми девами, населявшими дом. Он часто за обедом обращался к ней с услугами и заговаривал. Но Зина едва отвечала ему, и раз, встретив Павла Сергеича в пустой зале, Зина робко сказала ему:

– Ради бога, будьте осторожнее!

– Как? – спросил удивленный Павел Сергеич.

Зина, озираясь, боязливо отвечала шепотом:

– Со мной!

– Отчего?

– Я после скажу...

И Зина хотела уйти, но Павел Сергеич удерживал ее за руку. Зина, вся задрожав, умоляющим голосом сказала:

– Ах, пустите меня!

– Сейчас! только скажите мне, что значат ваши слова?

Павел Сергеич заинтересовался таинственностью слов Зины, которая, вырвав свою руку, побежала от него, скороговоркой сказав:

– Вечером, в беседке.

После ужина, когда Наталья Кирилловна улеглась спать, Зина побежала в сад, и прямо в беседку. Она была в сильном волнении, ходила взад и вперед по беседке, бросалась на диван, вздыхала тяжело, – но, заслышав шаги, встрепенулась, кинулась к раскрытому окну и приняла грациозную позу. Зина делала вид, что не слышала, как вошел Павел Сергеич в беседку, и когда он уже подошел к ней близко, она пугливо вскрикнула.

– Чего вы испугались? – спросил Павел Сергеич, смотря Зине в глаза, блиставшие в полумраке светлой весенней ночи.

Зина, помолчав, сказала с наивной улыбкой:

– Не правда ли, я страшно неосторожна? но для спокойствия дома я готова решиться на всё...

И она вдруг изменила свой голос и с ужасом спросила:

– Ну а если кто узнает в доме, что я была здесь?

– Никто не посмеет вам ничего сделать, если вы мне позволите быть вашим защитником!

И Павел Сергеич взял Зину за руку, которую она с чувством пожалала, сказав:

– О, я теперь не так боюсь вас...

И Зина, не окончив фразы, потупила глаза.

Посидев молча, Павел Сергеич спросил Зину:

- Что же, вы мне хотели сказать причину, – почему вы лишаете меня удовольствия говорить с вами?
- Даже глядеть на меня, – подхватила с наивностью Зина.
- Это слишком! – смеясь, заметил Павел Сергеич.
- Нисколько! вы забыли, верно, характер вашей тетушки и не знаете, как погибла в этом доме одна девушка, бедная, как и я, от интриг и наговоров.
- Что же насказали о ней тетушке?
- Я уж и не знаю каких ужасов на нее не взводили. А вся ее вина была в том, что она немного говорила и смеялась с Гришенькой; а тетушке вашей насказали, будто бы она завлекает его, чтоб он женился на ней.

Павел Сергеич улыбнулся и сказал:

- Ну, будьте покойны: тетушка не поверит никому, если вздумают взводить такие нелепости на меня.
- Да мне-то нисколько не легче будет. Гришенька остался у тетушки, а несчастной уже нет в доме. Она должна была идти к отцу, который ровно ничего не имеет.
- А хороша была она? и Гриша был влюблен в нее?
- Не спрашивайте меня: я ничего не знаю.
- Так вы боитесь старых сплетниц?
- Неужели вы не видите почему? – с ужасом воскликнула Зина.
- Причина очень недостаточная для того, чтоб я лишился удовольствия говорить с вами; но, если вы прикажете, я исполню это, только позвольте мне хоть глядеть на вас.

И Павел Сергеич устремил свои пронизательные глаза на Зину, которая потупилась и весело сказала:

- Я довольна и тем, что вы согласились со мной не говорить; а то, может быть, само собой придет.
- Вы меня оскорбляете! Неужели вы думаете, что я профан какой-нибудь! Нет, такие глаза, как ваши, не скоро забываются.
- Зачем вы смеетесь надо мной? – вскочив с места, оскорбленным голосом сказала Зина.

Павел Сергеич долго не мог уверить Зину, что он сказал серьезно.

- Прощайте! мы в последний раз говорили с вами! – сказала Зина.
- О нет! я умру с тоски, если вы запретите мне хоть несколько минут видеть вас здесь.
- Боже мой! вы хотите, чтоб я и завтра сюда пришла! – воскликнула Зина с удивлением.
- Да, теперь моя очередь с вами переговорить насчет одной дамы.
- Об Ольге Петровне? – перебила его Зина.
- О нет! о даме, не живущей здесь.
- Я никого не знаю.

- Увидим.
- Прощайте!
- До завтра?
- Не знаю...

И Зина выбежала из беседки.

Дружба Павла Сергеича к Зине возбудила страшные толки между приживалками.

– Помните, девушки, недаром Зинушка всё в барыни играла маленькая. Вот теперь под руку идет с Павлом Сергеичем и катается с ним в экипаже, – говорила приживалка с зобом, мотая головой.

– Да уж, видно, такова уродилась: в игольное ушко влезет!

### Глава XXXVII

Иван Софроныч получил место

Тихий и угрюмый дом Натальи Кирилловны шумно оживился с приездом Тавровского. Особая и лучшая часть дома была отдана в его распоряжение. Тавровский издержал огромную сумму на меблировку своей квартиры и удивил всех необыкновенным вкусом, с которым убрал ее. Наталья Кирилловна сначала ужаснулась при виде страшных счетов, по которым пришлось ей уплачивать мебельщикам, обойщикам, всяким мастерам; но когда наконец всё было кончено и Павел Сергеич пригласил ее на новоселье, – старуха растаяла; тонкий вкус, гармония, изящество и оригинальность господствовали в убранстве комнат. После скромного семейного новоселья Тавровский сделал обед и собрал всё, что было тогда в Петербурге молодого, блестящего и богатого. Все были в восторге от хозяина, и в самом деле трудно было встретить человека, в котором так блистательно соединялись бы прекрасные внешние качества с блестящим умом, утонченною светскостию, остроумием и образованностию. Тавровский соединял в себе столько блестящих сторон, что самое точное описание его характера покажется самым невероятным. С какой стороны ни взглянули бы на него, он являлся решительно первым между всеми окружающими его. Красота его была поразительна. Он был высок ростом и необыкновенно строен; лицо его, не будучи образцом правильности, соединяло в себе столько красоты, ума, привлекательного добродушия, что всякое красивое лицо рядом с ним становилось незаметным; одними глазами его можно было любоваться по нескольку часов: так они были выразительны, столько в них было наивности, насмешливости, нежности и грации. С нежным, по-видимому, сложением соединял он страшную физическую силу. Руки его были малы и нежны, как у женщины, но в то же время он мог разогнуть ими подкову. Начиналась ли дружеская пирушка, он был решительно первый на ней: пил больше всех, и вино, по-видимому, не имело на него никакого действия; он мог пить и тогда, когда уже его приятели едва держались на ногах; свобода, допускаемая на приятельских пирушках, была, по-видимому, его сферой; он не уступал никому в резкости выражений, и между тем вы могли заметить, что он не утратил еще способности покраснеть иногда от легкой двусмысленной выходки. Попадал ли он в круг так называемой светской молодежи, он тотчас с двух слов впадал в тон общества, овладевал разговором, и все заслушивались его; он знал породы лошадей, их пороки и достоинства, как будто готовился посвятить себя коннозаводству; у него было много редкого оружия всех родов; он хранил в своей памяти много анекдотов и случаев из собственной жизни, богатой приключениями и проказами, – всем этим умел он пользоваться с удивительной ловкостию и тактом. Ум его был жив и остер, и не было случая, где бы он потерялся и не нашелся. Как он учился, много ли он знал – это было вопросом для самих его приятелей. Но если ему случалось провести вечер в компании, которая меряет людей на свой педантический аршин, – он выходил оттуда полным победителем, очаровав тяжеловесных педантов своим знанием, уменьем взглянуть на всё с новой стороны и удивив их еще более легкостию и живостию формы, в которую умел облекать самые сухие, самые отвлеченные умозрения. Женщины сходили от него с ума, и он был ими избалован. Ко всем блестящим качествам своего ума и наружности он присоединял прекрасный голос и знал музыку. Из заграничной его жизни сохранился анекдот, который дает понятие о том, как он иногда пользовался своим голосом. В каком-то маленьком итальянском городке он сошелся от скуки с артистами тамошнего театра и часто проводил время в их кругу. Раз, после хорошего обеда, на котором присутствовали и первые сюжеты труппы, Тавровский с приятелями отправился в

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a театр. Они шумно заняли места в первом ряду. Опера шла довольно благополучно, пока не появился первый тенор, занимавший первую роль. Он также присутствовал на обеде, но не рассчитал своих средств и выпил более, чем следовало. При появлении его на сцену приятели переглянулись. Первый тенор вошел на какое-то возвышение, но едва начал свою арию, как голос у него оборвался... он не мог продолжать. Тавровский поднялся со своего места, подхватил арию и пропел ее при общих рукоплесканиях публики. Таких выходов много сохранилось в памяти людей, знавших Тавровского. Все они свидетельствуют о необыкновенной находчивости его ума, смелого и оригинального.

Читателю еще часто придется в последующих частях романа встречаться с Тавровским. Здесь не место вдаваться в подробное описание его многостороннего характера, который должен развиваться постепенно, сам собой. Следует рассказать только события, предшествовавшие отъезду Тавровского из Петербурга. Это случилось с небольшим через год по возвращении его из-за границы. В этот год Тавровский истратил в Петербурге до миллиона и задолжал почти столько же; он вел жизнь праздную, рассеянную и шумную, давал праздники, проказничал, был записным театралом, проигрывал страшные суммы. Лошади и экипажи его были лучшие в городе, и он поминутно то дарил, то проигрывал их, а себе заводил еще лучшие. Игра не была его исключительной страстью: он мог не играть вовсе целый год и даже ни разу не вспомнить о картах, но если уже попадал за зеленый стол, то играл страстно, безрассудно, забывал всё, кроме карт. За картами он изумлял своею горячностью, страшными кушами, но еще более необыкновенной физической крепостью. Казалось, он мог вовсе не спать. В то время как люди, с которыми он играл, менялись, он один готов был сидеть сколько угодно, пересидев самых отчаянных банкетов, которые, играя с ним, уходили спать поочередно. Два миллиона, прожитые в год, доставили ему в Петербурге общую популярность: у одних он слыл за мота и чуть не помешанного, у других – за отличнейшего малого, приятного собеседника и надежного товарища; у всех вообще – за прекрасного, но взбалмошного человека. А ему просто было скучно; такая полоса была тогда, как он сам иногда обозначал некоторые периоды своей жизни; он был до того избалован людьми и счастьем, что ему никогда и в голову не приходило спрашивать: зачем он делает то или другое? и хорошо ли это? и не лучше ли не делать или сделать иначе? И он никогда не задавал себе таких вопросов, и никогда не жалел о том, что сделано. Он так же легко делал и хорошее, как дурное; только он никогда не искал ни того, ни другого. Немало было людей, где-нибудь потихоньку благословлявших его имя, потому что если ему случалось сделать добро, то он никогда не делал его вполнину, и человек, которому посчастливилось возбудить его сострадательность, уже на всю остальную жизнь не нуждался более ни в чьем участии. Эти благородные порывы, которые почти всегда делались известными – не через самого Тавровского, который через минуту забывал о них, а потому, что они всегда отличались оригинальностью, – мирили с ним тех, кого возмущала его расточительность. Все же прочие, знавшие его, отзывались о нем с восторгом, потому что, проматываясь, он если и делал вред, то одному себе. Выходки его всегда были забавны и оригинальны. Когда популярность его возросла в Петербурге до такой степени, что о нем начали говорить тотчас после погоды и дневных новостей, один актер – тогдашний комик и любимец публики – вздумал копировать его: он оделся точь-в-точь как Тавровский, усвоил его манеры, походку и явился на сцену. Тавровский всех более аплодировал актеру, громко хвалил его, и на другой день актер получил посылку с коротенькой запиской: «Милостивый государь! вы сыграли свою роль превосходно, благодарю вас; одну только неверность заметил я: на вас были стеклянные запонки, а Тавровский не носит никаких, кроме брильянтовых, которые и прошу вас принять в знак моего уважения к вашему таланту. Тавровский».

Таков был Тавровский; все удивлялись ему, все подчинялись неотразимому влиянию его ума, любезности, привлекательности, и самые кредиторы его сознавались, что, придя к нему с решительным намерением вытребовать свои деньги, они чувствовали, поговорив с ним полчаса, желание предложить ему еще в долг денег.

Хотя состояние Тавровского было огромное, однако ж два миллиона, прожитые в один год, вместе с долгами, сделанными им за границей, ужаснули Наталью Кирилловну. Много раз пробовала она остановить расточительность племянника; но убеждения и просьбы старухи были бесполезны. Других, более решительных мер она употребить не могла, потому что имение было его, да у нее и не достало бы сил, потому что она без ума любила своего племянника. Он так мило извинялся в своих издержках и шалостях, так красноречиво давал слово исправиться и так убедительно умел просить денег, что она решительно не находила в своей голове возражений. Видя,



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
однако ж, что дела клонятся к опасному концу, она решилась хоть отделить свое имение от имения племянника, – на тот случай, что если он промотается, то ему останется еще ее часть. Поэтому, сложив с себя опеку, она требовала, чтоб Тавровский сам вступил в управление своим имением и ехал бы на год или на полтора в деревню для поправления дел. В этом ей удалось наконец убедить Тавровского, которому начинала уже надоедать разгульная городская жизнь.

Богатые имения его находились в двух губерниях. В одно Тавровский ехал сам. В другое нужно было послать опытного управляющего. Гриша убедил Тавровского взять Ивана Софроныча.

По приглашению франта камердинера, Иван Софроныч, тщательно выбрившись и надев свой поношенный вицмундир, явился к Тавровскому.

А Гриша тем временем побегал в Коломну, отыскал маленькую квартиру Понизовкина и робко постучался. Ему отперла Настя.

Она обрадовалась и перепугалась, увидев Гришу, и, не пуская его за порог, с упреком сказала ему:

– Зачем вы пришли? Разве не сами вы дали слово, что никогда...

– Знаю, – отвечал Гриша. – Но я пришел проститься с тобой, Настя. Пусти же!

Настя побледнела, но не пустила его в комнату.

– Разве вы едете? – спросила она. – Куда?

– Не я, а вы поедете, – отвечал Гриша.

– Мы?

Гриша со слезами рассказал ей всё. Настя так была тронута его великодушным ходатайством, что шире раскрыла дверь и впустила Гришу в комнату. Тут они простились, поплакали и поклялись вечно любить друг друга.

– Дай мне что-нибудь на память, – сказал Гриша.

Настя отрезала ему такой пучок своих чудесных волос, какого не соберешь со всей головы иной петербургской красавицы, и счастливый юноша, целуя его, прижимая к сердцу, побегал домой.

Понизовкин понравился Тавровскому своею откровенностью и добродушием, и дело между ними в тот же день сладилось. Понизовкину выдана была изрядная сумма на подъем, и через неделю Иван Софроныч с Настей сидели уже в покойной кибитке и отправлялись в дальнюю губернию, где снова ждали Ивана Софроныча спокойствие, довольство и деревня, которую он так любил.

Несмотря на неожиданный и счастливый оборот обстоятельств после бедной и трудной жизни в Петербурге, Иван Софроныч был довольно печален.

– Ох, тяжелая, тяжелая ноша! – шептал он по временам, щупая свой боковой карман, значительно оттопырившийся. – Опять везу тебя в деревню; опять будешь лежать бесполезно, и бог весть, когда придется исполнить завет Александра Фомича и благодетеля моего Алексея Алексеича... царство им небесное!

Настя тоже была печальна, и они ехали молча.

Спустя месяц отправился в деревню и Тавровский. В доме Натальи Кирилловны снова водворилась тишина; мрачность и запустение опять постепенно вступили в права свои на дворе, и в саду, и вокруг всего дома, а внутри его закипела по-прежнему мелкая, копотливая жизнь, полная интриг, сплетней, грубой лести и мелкой зависти. Перспектива скуки, однообразия, горьких, кислых и соленых лекарств, раздражительных капризов и выговоров снова открылась перед Зиной, и Зина не дремала...

Часть восьмая  
Глава XXXVIII

Одно из великих летних наслаждений – отдохнуть в жаркий день после продолжительной ходьбы под тенью ветвистого дерева, которое ревниво бережет влажность земли около себя, как бы заботясь о жертвах безжалостного солнца. Подобное наслаждение, казалось, испытывал красивый господин, лежавший в полудремоте под большим деревом в густом лесу. Туалет его был в страшном беспорядке. Ворот тонкой рубашки был расстегнут и выказывал мощную грудь и удивительно красивое горло – редкость в мужчине. Жилет едва виднелся; сюртучок из темной летней материи весь был в паутине; светлые панталоны на четверть мокры и покрыты болотной тиной; тонкие сапоги тусклы и тоже мокры. Густые волосы молодого человека, слегка влажные у висков и лба, были все откинута назад. Фуражка с маленьким козырьком валялась на траве, и шведские перчатки были далеко отброшены. Галстук висел на сучке. Маленькое ружье, стоявшее у дерева, доказывало, что щеголеватый господин запасся им единственно из предосторожности, потому что других принадлежностей охоты незаметно было ни около него, ни в его туалете, который шел скорее для прогулки по расчищенному парку, чем по дикому лесу. Долго лежал он, полный приятной неги, изредка лениво обмахивая свое раскаленное жаром лицо платком и отгоняя насекомых, которые тучами кружились над его головой. В лесу господствовала глубокая тишина, среди которой жужжание мухи казалось уже чем-то шумным. И тем резче и поразительнее после этой величественной тишины подействовали на молодого человека дикие крики, внезапно раздавшиеся в лесу и показавшиеся ему воплями погибавшего. Он проворно вскочил на ноги, надел фуражку и, схватив ружье, кинулся смело в ту сторону, откуда слышались крики. Эти крики раздавались всё ближе и ближе, и наконец между ними послышался звонкий, веселый смех.

Щеголеватый господин прошел в кустарник и нетерпеливо ждал, что предстанет его глазам. В глубине леса, между деревьями, мелькало что-то пестрое и несло прямо к небольшой равнине, за кустами которой был он скрыт.

С визгом и криком вбежали на площадку две женские фигуры: как дикие козы, они прыгали, бегали, догоняя друг друга и размахивая длинными сучьями, которыми каждая была вооружена и от которых листья разлетались во все стороны. Странность их туалета так поразила скрытого наблюдателя, что он не вдруг мог понять, что такое он видит. Пестрые ситцевые платья обрисовывали стройные и гибкие их талии; руки, шея были открыты; на плечи накинута были куски белого полотна, узлом завязанного у горла; на этих лоскутках, как змеи, резко отделялись черные их косы. Лица и плечи были закрыты широкими листьями репейника, которые около головы образовывали что-то вроде полей пастушеской шляпы, – вероятно, для защиты лица от солнца.

Эти странные фигуры после нескольких минут беготни бросились, тяжело дыша и смеясь, на траву, как бы только для того, чтоб снова и с большей быстротой начать бегать.

Щеголеватый господин из своей засады никак не мог хорошо разглядеть их лиц; однако он подметил в те минуты, когда на бегу листья на их голове подымались от лица и снова припадали, как бы поддразнивая его любопытство, что они смуглы, с огненными глазами; а по быстроте движений и их ловкости он ясно мог заключить, что они еще очень молоды.

Наконец одна из них, утомленная, упала на траву, что-то сказав на странном языке. Подруга последовала ее примеру, но не для того, чтоб отдохнуть: она стала кататься по траве быстро, как шар, брошенный по скату горы. Наконец она вдруг неожиданно остановилась при повороте на спину, закинула руки за голову, отведя сначала листья от своего лица, и, шурясь, стала глядеть на небо. То была молодая худощавая цыганка с чертами лица правильными и резкими. Ее смуглота была с лоском и с таким ярким румянцем, как будто в нем было что-то кровавое. Брови сходились на ее высоком лбу, густые ресницы придавали ее и без того черным глазам страшно дикий блеск. Губы были тонки, так что довольно большие зубы постоянно были на виду, и легкая черная тень на верхней губе придавала им страшную резкость. Курчавые ее волосы были сине-матового цвета, а заплетенные две косы крутились, как змеи. Подруга ее резко отличалась нежностью своей кожи, хотя тоже смуглой. У ней не было этого кровавого румянца и той лоснящейся смуглоты, ни тех матово-сизых курчавых волос. Казалось, тип цыганский смягчился в ней в самую лучшую его сторону. Глаза у ней были черны, но длинные мягкие ресницы смягчали их блеск; брови не сходились, как у первой, а нежно были проведены. Волосы были длинны и слегка вились только около лба и на висках. Она была среднего роста; формы ее были более округлены. Движения и смех – всё было в

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
ней мягче, чем у худощавой цыганки. Она отбросила от своего лица завялые листья и, накинув на голову кусок полотна, приняла полулежачую позу и как бы о чем-то думала, разглядывая траву и лениво перебрасываясь словами с лежавшей на спине цыганкой.

Щеголеватый господин не мог оторвать глаз от диких красавиц. Он затруднялся, которой цыганке отдать преимущество, и пожелал оставить свою засаду, но лишь только сделал первое движение, как чуткие уши дикарок слышали его, и в одну секунду они были на ногах и, держа друг друга за руку и готовясь бежать, однако, глядели туда, где скрывался щеголеватый господин. Любезно кивая им головой, он решил выйти из своей засады. Завидя незнакомца, цыганки прижались ближе друг к другу и с любопытством, смело смотрели на щеголеватого господина, который снял им фуражку и делал дружеские жесты. Дикарки смотрели на него, и худощавая цыганка резко спросила его довольно чисто по-русски:

– Зачем ты здесь прятался?

Он обрадовался, узнав, что цыганки говорят по-русски, и сказал им:

– Вы меня перепугали: я думал, что кто-нибудь попался в лапы медведя.

– Здесь нет медведя!.. А ты зачем пришел сюда? разве не знаешь, что стрелять в этом лесу запрещено? Твое ружье отнимут, – гордо говорила худощавая цыганка.

– Неужели так скуп здешний барин? ведь он, говорит стар: где ему по лесам таскаться! Да вы-то как не боитесь одни в таком лесу гулять?

– Чего нам бояться! мы не заблудимся.

– Так скажите-ка, как мне выбраться из лесу поскорее? я устал... и не проводите ли вы меня?

Цыганка худощавая засмеялась и сказала:

– Как пришел, так и уйди.

– Ого, какая злая!.. Ну а ты что всё молчишь? ты, верно, не знаешь по-русски? – спросил щеголеватый господин другую цыганку, которая всё время с любопытством разглядывала его. – Погадай-ка мне – какое мое счастье?

И он протянул ей свою руку. Цыганка гордо отвернула голову, что-то сказала по-цыгански своей подруге и, отойдя в сторону, прислонилась к дереву.

– Какая гордая! – любясь ею, сказал щеголеватый господин и, обратись к худощавой цыганке, продолжал: – Ну погадай хоть ты... А как тебя зовут?

– Стеша! – отвечала цыганка.

– Ну погадай-ка, Стеша.

Стеша взяла его руку и, смеясь, стала ему гадать с разными цыганскими прибаутками.

Подруга ее улыбалась, слушая болтовню Стешы.

– Славно! так я буду богат! хорошо! Ну, как же мне тебя поблагодарить?..

Цыганка отскочила от него и, садясь, сказала:

– Не смей подходить.

– Это отчего?.. Ну давай бегать: посмотрим, догоню ли?..

– Догони! – крикнула цыганка и пустилась бежать.

Щеголеватый господин после долгой беготни догнал цыганку, которая стала вырываться у него из рук.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Люба, помоги, помоги мне! – говорила она.

Цыганка, стоявшая у дерева, кинулась на помощь своей подруге; но лишь только она подошла, как щеголеватый господин оставил Стешу и бросился к Любе с ласковым движеньем. Люба отшатнулась назад, грозно взглянув на незнакомца, в лицо которого Стеша бросала травой, землей, сучьями – всем, что попадало ей под руку.

– Перестань! – защищая глаза, кричал щеголеватый господин.

Но Стеша кинула горсть сырой земли ему в лицо. Он пустился бежать за ней и, догнав, силился овладеть ее руками, которыми она рвала его волосы и царапала лицо. Наконец она устала, и вместо смеха послышался жалобный стон.

Подруга ее, тоскливо следившая за борьбой, вдруг улыбнулась; тихонько подкравшись к незнакомцу, она вынула из кармана своего платья небольшой складной ножик, ловко перерезала тесьму от ружья, висевшего у него за плечами, и завладела им. Он кинулся за похитительницей, но худошавая цыганка бросилась ему под ноги: он, потеряв равновесие, растянулся по траве. По лесу раздался торжествующий смех, повторяемый эхом; и цыганки пустились бежать.

На лице щеголеватого господина показалась досада. Вставая, он стал было очищать себя, но усмехнулся и пустился догонять похитительницу ружья. Он было догнал ее, но тотчас отскочил, потому что она прицелилась в него и таким решительным и грозным голосом сказала:

– Не подходи: я выстрелю!

– Ты ранишь себя, оставь ружье! – закричал щеголеватый господин, видя, что она взвела курок.

– Оставь нас, не догоняй!.. – отвечала похитительница ружья.

– Оставь ты ружье; я не сделаю ни шагу за вами.

– Обманешь, он обманет! – подхватила худошавая цыганка.

– Я отдам тебе ружье, только влезай на дерево, – объявила владетельница ружья.

– Это зачем? – спросил удивленный господин.

– Для того, чтоб мы успели убежать подальше от тебя, если ты вздумаешь догонять нас.

Щеголеватый господин призадумался и, сняв с себя сюртучок и бросив фуражку, начал карабкаться на дерево. Он с ловкостью взбирался на него, поощряемый криками цыганок: «Выше, выше!», и они, прыгая около дерева, заливались детским смехом.

Взобравшись на самую верхушку, он крикнул цыганкам:

– Это что за дом там, на горе?

– Не твой! – смеясь, отвечала худошавая цыганка.

– Ах, какой вид чудесный отсюда!.. А вот и озеро, да это целое море... у-у-у! и конца ему нет! – кричал с верхушки щеголеватый господин.

Цыганки этим временем шептались между собою, и вдруг похитительница ружья выстрелила на воздух, а худошавая цыганка всыпала в дуло горсть сырой земли. И они со смехом пустились бежать, бросив ружье.

Щеголеватый господин проворно слез с дерева; но их уже не было и следов. Взяв ружье и увидев, что оно набито землей, он ворчал себе под нос:

– Дурак я, ведь это не девушки, а какие-то бесенята.

С минуту он стоял в недоумении, наконец снова стал взбираться на дерево, говоря:

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Погодите, дикарки: я ведь отсюда увижу, куда вы убежали.

Через две-три минуты он снова был на земле и, схватив ружье, пустился бежать. Ему не нужно было долго бежать. Лес шел скатом к громадному озеру, и на берегу его он увидел отдыхающих цыганок; они, верно, не подозревали погони, потому что покойно сидели спиной к лесу. Щеголеватый господин, как змея, стал спускаться, прячась за деревья; но цыганки, верно, почувствовали чье-нибудь приближение, повернули головы и очутились на ногах. Они без боязни ждали приближения незнакомца, и худощавая цыганка крикнула ему:

– Ты не прячься: мы тебя видим и не боимся.

Щеголеватый господин пошел прямо к ним и строго сказал:

– Зачем вы испортили мое ружье, а? Знаете ли, что, если бы вы не были такие хорошенькие, вам досталось бы от меня.

Худощавая цыганка дерзко заметила:

– Мы и без тебя знаем, что мы хорошенькие; да если бы были и дурные, то ты не посмел бы с нами ничего сделать.

– Ну что вы храбритесь? откуда вы?

– Из озера, – смеясь, отвечала худощавая цыганка.

– Стеша, перестань! – заметила ее подруга и хотела идти.

– Куда вы хотите идти? Ну так и я пойду с вами, потому что теперь, по вашей милости, я и дороги не найду.

– Не смей идти за нами! – с горячностью сказала худощавая цыганка. – Тебе так и надо, заблудись здесь, – раз попавши к озеру, не уйдешь от него!

– Ну, полно страшать-то меня этим озером: я ведь не мужик, что испугаюсь его. Да вы-то сами как попали сюда? Ведь тут, куда ни взгляни, всё болото, и с той и с другой стороны.

– Прилетели! – смеясь, отвечала подруга Стеша.

– Ну так дайте мне ваших крылышков отлететь домой. Я же так устал.

И щеголеватый господин сел на траву.

– Пойдем домой, – сказала подруга Стеша.

– Куда же вы хотите идти?

Но цыганки кинулись к озеру, прямо в осоку, и скрылись.

– Они, кажется, правду сказали, что из озера вышли! – ворчал господин и побежал за ними.

Шум и треск осоки и плеск весла об воду пояснили ему всё. Он было хотел идти по берегу, по направлению шума высокой осоки, где плыла лодка, но топкое болото помешало ему. Ноги его глубоко вязли, и щеголеватый господин повернул назад и, дойдя опять к скату леса, взобрался на раздвоенное молнией дерево и стал искать лодку глазами. Но никаких следов не было. Кругом было тихо. Огромное озеро как зеркало было гладко; полуденное солнце играло широко на воде. Плеск рыб иногда нарушал гладкость воды, надолго оставляя круг, который, расширяясь бесконечно и как бы утомясь, исчезал.

Беззаботное красивое лицо щеголеватого господина по мере созерцания озера стало чем-то омрачаться; он, как бы сделав усилие над собой, тяжело вздохнул, потрянул головой и проговорил:

– Как хорошо и в то же время грустно здесь. Недаром это озеро называется Мертвым. И только одни дети, у которых еще нет никаких упреков, могут быть здесь

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
веселы, как эти дикарки.

И он снова впал в задумчивость. Вдруг осока вдали зашелестила, и лодка выскользнула на гладкую поверхность воды. Худощавая цыганка гребла и пела, а ее подруга стояла на веслах.

Над ее головой надувался, как белое полотно, парус.

Щеголеватый господин, любясь ею, кивал дружески головой и махал платком на прощанье. Лодка неслась быстро, оставляя за собой на воде резкий след, как будто мощные руки управляли веслами.

Лодка стала уменьшаться, фигура стоявшей цыганки слилась, только надувшееся полотно над головой ее резко отделялось. Скоро лодка совершенно исчезла за осоками, но голос худощавой цыганки был еще явственно слышен; наконец и он затих; тогда озеро снова приняло свою величественную тишину и как бы опять навеяло грусть на щеголеватого господина.

Глава XXXIX

На другое утро, в тот же самый час, как накануне, на берегу озера, у ската горы, спал щеголеватый господин. Туалет его на этот раз был гораздо удобнее и проще.

Вокруг была та же величественно-печальная тишина, нарушаемая тем же плеском рыб в озере, и так же ослепительно играло солнце на поверхности вод.

Привязанная к дереву лошадь, вся в мыле, зорко озиралась кругом и как бы в остервенении стучала зубами о мундштук.

Вдали, около берега, в осоке, показалось легкое колебание, оно приближалось, и шелест травы замер вблизи от спящего. Лошадь поводила ушами и смотрела на осоку, из-за которой через несколько минут показались две смуглые головки молодых цыганок, которые, разводя руками осоку, осторожно двигали лодку к самому берегу и, улыбаясь, глядели на спящего.

– Я тебе говорила, что он здесь, – шепотом говорила худощавая цыганка.

Подруга ее, приложив палец к губам, произнесла: «тс!»

– Он спит.

– Да может проснуться.

– Посмотри, Люба, как лошадь страшно глядит на нас, – говорила худощавая цыганка.

На что Люба отвечала:

– Да, хорошенькая лошадь.

– Лучше твоей!

– Ну так и есть! вот выдумала! – обидчиво сказала Люба.

Худощавая цыганка засмеялась, зажав себе рот.

И лодка скрылась в осоке. Но через минуту она снова показалась на том же месте, и цыганки делали выразительные жесты друг другу. Веселости своей, казалось, худощавая цыганка никак не могла победить, и подруга ее серьезно сказала:

– Ты уж его разбудишь.

– Ну так что же? чего нам его бояться?

– Нехорошо: он подумает, что мы для него приехали.

– Ах! отвяжем его лошадь: пусть она убежит в лес, – говорила худощавая цыганка.

– И, нет! зачем! он, может быть, ее любит, а лошадь не ружье, – наставительно

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
сказала Люба.

– Да потому, что ты то сама сделала, – с упреком заметила худощавая цыганка.

– Ну, что за глупости! Возьми всё у меня из вещей, только не трогай мою Стрелку. И если бы кто ее пустил к озеру одну, уж я бы!..

И лицо говорившей приняло грозное выражение.

– Поплакала бы – вот и всё! – заметила ее подруга. И, забирая в руку осоки и двигая лодку, она сказала:

– Выйдем на берег!

– Нет! – решительно отвечала Люба.

С минуту цыганки ничего не говорили и смотрели на спящего.

– А знаешь ли, Стеша, не оставить ли ему наше молоко? – спросила Люба.

– Это зачем? Я лучше его в озеро вылью, – отвечала Стеша.

– А он, может быть, устал, есть хочет. Проснется, найдет молоко и хлеб, то-то будет ломать себе голову, как оно тут очутилось. Поставим.

И лицо Любы покрылось краской.

– Я лягушку пущу ему туда: пусть свежее молоко будет, – смеясь, сказала худощавая цыганка.

– Стеша! – сердито заметила ее подруга и надулась.

Стеша ласково сказала после минутного молчания:

– Ну, коли хочешь, так я поставлю.

– Пойдем вместе.

И они осторожно вышли на берег. Люба несла кувшин с молоком и кусок хлеба. Они тихо крались и невдалеке от спящего поставили молоко. Сделав это, они не убежали, а внимательно глядели на спящего, который в самом деле мог бы поразить всякого своей красотой. Спящий вдруг вскочил на ноги и прямо кинулся к озеру, говоря:

– Ага! попались, попались теперь!

Цыганки, дрожа от страху и бледнея, с ужасом смотрели, как он с необыкновенной легкостью вытащил лодку на берег и потом, возвращаясь к ним, язвительно сказал:

– Ну, мои пленницы.

Худощавая цыганка с криком пустилась бежать в лес; но подруга ее осталась на том же месте. Испуг исчез с ее лица; она гордо смотрела на приближение щеголеватого господина, который был поражен такой переменной в ней и сказал:

– Ты не так труслива, как твоя приятельница.

– Спусти лодку в воду! – повелительно сказала девушка.

– Ого! да ты не как моя пленница говоришь со мной, а как будто я твой слуга.

– Спусти лодку! – горячась, повторила девушка.

– Не хочу! – смеясь, отвечал щеголеватый господин.

Девушка что-то положила себе в рот и пронзительно свистнула.

Щеголеватый господин зажал уши, а лошадь заржала.

– Это что? – спросил щеголеватый господин.

Девушка указала ему вдаль, откуда послышался такой же свист, только слабее, на что девушка еще два раза свистнула.

Щеголеватый господин недоверчиво огляделся кругом и потом спросил цыганку:

– Кого ты зовешь?

– Брата.

– Зачем?

– Чтоб он втащил лодку опять в озеро.

– Да я бы это и без него мог сделать; я пошутил с вами только... Ты ведь вчера испортила мое ружье?

– Я боялась, что ты застрелишь нас, – улыбаясь, отвечала девушка.

И, маня свою подругу, она прибавила:

– Стеша, иди сюда, не бойся!

Худошавая цыганка подошла к говорящим и, как бы спрятавшись за свою подругу, положила голову ей на плечо и лукаво смотрела на щеголеватого господина, который с минуту видимо любовался девушками. Лица их, так близкие в эту минуту одно к другому, представляли совершенную противоположность характеров.

– Вы не сестры? – спросил щеголеватый господин.

– Нет, сестры, – отвечала Стеша.

И, обвинив талию подруги своими худошавыми руками, она сильнее прижалась своей темно-красной щечкой к нежной щеке Любы.

Щеголеватый господин и девушки продолжали глядеть друг на друга. Как вдруг худошавая цыганка, протянув руку к озеру, сказала радостно своей подруге:

– Смотри, вон, вон он едет.

Щеголеватый господин повернул голову и увидел на озере небольшую точку. Он сказал:

– Это ваш брат? а большой он?

– С тебя! – смеясь, отвечала худошавая цыганка и, подсев к молоку, стала завтракать.

Щеголеватый господин вполголоса сказал Любе, которая, как бы устав стоять, опустилась на траву.

– Ты ведь принесла мне это молоко? У тебя доброе сердце: ты...

– А у тебя злое! – с грустью перебила его Люба.

– Это отчего ты так думаешь?

– Зачем же ты притворился спящим?

– Чтоб ты вышла на берег! – едва слышно проговорил щеголеватый господин.

Девушка сконфузилась и быстро отвернула от него голову.

– Тебя зовут Любой? да за что же ты сердись? – продолжал вполголоса щеголеватый господин, стараясь заглянуть в лицо девушки, которое пылало, как он мог заметить по одной щеке.



– Вон брат едет! – сказала она, не повертывая головы.

– Сколько тебе лет, Люба?

– Я не знаю! – улыбаясь отвечала девушка.

– Кто же знает? она?

И щеголеватый господин указал на Стешу, которая, кажется, старалась скорее всё выпить и съесть и, смеясь, сказала:

– Сейчас! ты есть хочешь?

– Нет, я хочу знать, сколько ей лет? – отвечал щеголеватый господин, указывая на Любу.

– Ей шестнад... двадцать, сорок, – громко засмеясь, проговорила худощавая цыганка, перешептываясь с своей подружкой, которая грозила ей.

Щеголеватый господин обидчиво сказал:

– Ну хорошо, хорошо... я всё разузнаю об вас.

– Узнавай! об нас нигде никто ничего не скажет, – отвечала худощавая цыганка.

– Почему?

– Оттого, что мы не здешние.

– Откуда же вы?

– Издалека-далека!

– Стеша, вон Иша едет, – перебила Люба и, встав, начала махать платком, который она сняла с плеч.

– Ах, какие у тебя беленькие и хорошенькие плечи и как твоя шея загорела! – воскликнул щеголеватый господин.

Девушка вспыхнула, проворно завернулась в платок и руками стала манить сидящего в лодке, которая быстро неслась к тому месту, где они стояли. На берег вышел цыган лет двадцати, высокий и стройный. Несмотря на свою матовую бледность, тонкие усы и мрачность взгляда, он имел поразительное сходство с худощавой цыганкой, зато ровно ничего общего не было в нем с ее подружкой.

Костюм цыгана состоял из белой рубашки, ворот которой был расстегнут, а рукава засучены выше локтя. Суконные темные панталоны, тоже поднятые на четверть, открывали босые его ноги. Густые слегка вьющиеся волосы стояли все кверху, как бы заменяя шапку. Он, казалось, был поражен присутствием щеголеватого господина и вопросительно смотрел на всех.

Щеголеватый господин приподнял немного фуражку, на что цыган кивнул небрежно головой.

Худощавая цыганка подскочила к нему, с жаром стала говорить по-цыгански и указала на лодку. Цыган мрачно окинул щеголеватого господина с ног до головы и, втащив лодку в воду, искоса поглядывал на щеголеватого господина. Усевшись на траву, он углубился в распутывание леса от удочки, которую он вынул из кармана. Худощавая цыганка, как бы поддразнивая щеголеватого господина, стоя в лодке, покачивалась из стороны в сторону. А подруга ее кормила хлебом лошадь.

Глаза щеголеватого господина перебегали от одного лица на другое. В этом положении прошло несколько минут. Щеголеватый господин вынул из кармана сигары и, закурив одну, предложил цыгану, который с радостью взял сигару и, закуривши, пробормотал:

– Я их очень люблю.

– Это твои сестры? – садясь возле него, спросил щеголеватый господин.

Цыган, с наслаждением затягиваясь сигарой, как трубкой, кивнул головой.

– Она вот на вас не похожа? – заметил щеголеватый господин, указывая на девушку, кормившую его лошадь.

Но цыган ничего не отвечал; он, казалось, весь погрузился в сигару. Затянувшись и выпустив дым, он провожал его такими глазами, как будто сожалел о нем и снова хотел втянуть его в рот.

Щеголеватый господин, видя, что сосед его так занялся, встал, подошел к лошади и сказал девушке:

– Смотри, чтоб не укусила.

– Нет, она добрая! – лаская лошадь, сказала девушка, и, обратясь к цыгану, она прибавила: – Иша, посмотри-ка, какая лошадка.

Цыган подошел и, оглядывая ее с ног до головы, спросил:

– Дорогая?

– Как видишь, дешева не может быть, – отвечал щеголеватый господин, трепля по красивой шее лошадь. – Если умеешь ездить на этом седле, так попробуй ее.

Цыган поспешно докурил сигару, не выпуская, а глотая дым, и очутился на лошади, которую девушки отвязали.

– О, да ты славный конюх! – заметил щеголеватый господин, подавая поводья цыгану и крича на лошадь свою, которая как бы сердилась, что на нее посадили такого седока, и не двигалась с места.

Цыганка и щеголеватый господин стали поодаль, смотря на цыгана, который заставлял лошадь идти; но она по-прежнему вертелась на одном месте.

– Ты дай ей шпоры! с левой!.., так!.. легче поводья, смотри, чтоб не сбросила тебя! – кричал щеголеватый господин, следя за цыганом, который, как бы обидясь его замечанием, ударил своими босыми ногами в бока лошади. Она взвилась на дыбы и бросилась в сторону, – цыган очутился на земле, лошадь остановилась и сердито била копытом об землю.

Цыганка сначала вскрикнула, но, увидев цыгана, вскочившего на ноги, засмеялась. Однако ж цыган недолго был на ногах: страшно побледнев, он снова упал на землю. Девушка с плачем кинулась к нему. Цыган лежал как мертвый.

– Он убит, он убит! – ломая руки, кричали девушки.

– Полноте! это ему от сигар дурно: они очень крепкие, – сказал щеголеватый господин.

И, взяв цыгана на руки, как самую легкую ношу, он принес его к воде, где смочил ему голову и лицо, и, глядя на него, весело сказал перепуганным и плачущим девушкам:

– Смотрите: вот он вздохнул.

Цыган, точно, открыл глаза и с удивлением остановил их на щеголеватом господине. И, как бы опомнясь, он вырвался из его рук и, злобно глядя на него, сказал:

– Зачем ты подсмеялся надо мной?

– С чего ты взял? Я не ожидал, что ты был так слаб.

– Нет, ты знал, что твоя лошадь сбрасывает, – задыхаясь, сказал цыган.

– Да тут не лошадь, а сигары виноваты. Ведь я не знал, что ты от крепкого табаку

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
падаешь в обморок, – отвечал щеголеватый господин.

– Он, верно, ничего не ел с утра, – заметила худощавая цыганка.

– Он всегда так: коли ловит рыбу или охотится, то в рот ничего не возьмет, – подхватила ее подруга и с чувством продолжала, обращаясь к цыгану: – Он тебя на руках принес оттуда сюда.

Это, казалось, сильно обидело цыгана, и он сказал:

– Я бы хотел посмотреть, как бы он теперь до меня дотронулся.

– Вот как! Ну что горячишься? Разве я не могу сладить с тобой? – насмешливо сказал щеголеватый господин.

– Ну, попробуй! давай бороться: кто кого сильнее?

И цыган расправлял руки. Худощавая цыганка весело вскрикнула; но на лице ее подруги показалась досада, и она тихо шепнула щеголеватому господину:

– Не борись с ним: он уронит тебя.

– Посмотрим! – отвечал щеголеватый господин и, сбросив с себя сюртучок, улыбаясь, сказал: – Я готов, только с условием: никаких хитростей, а сила против силы; и кто упадет, не должен обижаться.

Цыган только улыбнулся, и они очутились в объятиях друг друга и не двигались с места. Девушки тревожно следили за борьбой, которая продолжалась долго. Лица борющихся побагровели; пот катился с них крупными каплями; они тяжело дышали. Ни одного слова не было произнесено ни ими, ни зрительницами. Наконец цыган был пригнут к земле, и щеголеватый господин так глядел на него, как будто у его ног лежал враг, победа над которым дает ему бессмертную славу. Худощавая цыганка залилась смехом, а подруга ее с удивлением смотрела на оживленное борьбой лицо победителя.

Цыган встал с земли с потупленными глазами. Худощавая цыганка каталась на траве от смеху и закричала ему:

– Как ты грохнулся! Ну-ка, хвастайся теперь своей силой!

– Стеша, перестань! – заметила с упреком ее подруга. Но худощавая цыганка, как бы охваченная непреодолимым весельем, оглашала лес звонким хохотом, и лес так же шумно вторил ей; прыгая перед цыганом, она строгала палец о палец и делала ему носы. Цыган, озлобленный своей неудачей, кинулся к Стеше. Она пустилась бежать; но цыган догнал ее и, схватив за руку, завертел и толкнул так, что она упала на землю. Исполнив всё это с изумительной быстротой, бледный, дико озираясь, остановился он над своей жертвой. Стеша стонала, обливаясь слезами, держась за голову, которою ударились об дерево.

Всё это сделалось так быстро, что ни подруга Стеша, ни щеголеватый господин не могли опомниться и защитить девушку от цыгана, раздраженного ее насмешками. И только тогда, как Стеша была уже повержена на землю, они кинулись к ней. А мрачный цыган медленно отошел от нее.

Щеголеватый господин осмотрел голову цыганки: она слегка была ранена. Он, намочив свой носовой платок, обвязал ее голову и, грозя цыгану, сказал:

– Я тебя, дикий зверь, проучу так обходиться с ними!

Раздраженный дикарь вздрогнул, заскрежетал зубами и, сжав кулаки, кинулся на него, но был сильным и хладнокровным ударом отброшен назад.

Худощавая цыганка сквозь слезы, но всё-таки засмеялась и крикнула:

– Хорошенько его!

Но в ту же минуту взгляд ее упал на цыгана, – она страшно вскрикнула и закрыла лицо руками. Подруга ее повернула голову на крик и кинулась к щеголеватому

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
господину. Став близко к нему, она смело ждала цыгана, который с ножом в руке бежал к своему противнику. Но шаги его постепенно уменьшались, и наконец он остановился, потупив глаза, после того как они встретились с глазами девушки, которая полным гнева и презрения голосом сказала ему:

– Подай нож!

– Зачем они меня обижают? – отчаянным голосом отвечал цыган.

Девушка ничего не отвечала и повторила:

– Подай нож! Уж сколько раз я тебе говорила, чтоб ты не смел его носить с собой.  
– И, подойдя к цыгану, она взяла нож из его рук и, с ловкостью бросив его далеко в озеро, сказала:– Я хочу домой! Иди в мою лодку.

Цыган, бросив мрачный взгляд на щеголеватого господина, медленно пошел к лодке, а девушка, обратись к щеголеватому господину, тихо сказала:

– Не ходи сюда больше: он сердится.

– Спасибо тебе, моя спасительница; я никогда не забуду твоей смелости, – и, понизив голос, он продолжал: – Я завтра очень рано буду здесь; приходи... одна только.

– Зачем одна я приду?

– Потому что твоя компания или очень смешлива, или очень мрачна.

– Нет, я больше никогда не приду сюда ни одна и ни с кем, – отвечала девушка.

– Мне будет очень скучно. Я сегодня для тебя приехал, – печально сказал щеголеватый господин.

Девушка вся вспыхнула, быстро повернула голову и нетвердым голосом прошептала: «Прощай!» Щеголеватый господин остановил ее за руку и тихим, гармоническим голосом сказал:

– Скажи, скажи, Люба, ты придешь?

Девушка, вздрогнув, вырвала руку и побежала к лодке, где ее ждали цыган с сестрой, которые продолжали ссориться между собой.

Лодка быстро выехала из осоки на гладкую поверхность озера, и Люба, сидя в ней, дружески кивала головой оставшемуся на берегу. Цыган правил лодкой, Стеша гребла. Лодка шла неровно, потому что голова гребца тоже поминутно поворачивалась к берегу. Щеголеватый господин, стоя на берегу, делал прощальные жесты и долго следил за лодкой. Когда лица сидящих в ней стали сливаться, он запел какой-то романс на итальянском языке. Голос его был силен, метода пения – необыкновенно приятная.

Лодка остановилась и потом быстро понеслась снова к берегу. Певец снова мог различать лица сидящих в ней. Люба встала; худошавая цыганка, вынув весла, повернулась совершенно к берегу. Голова цыгана выглядывала из-за плеча Любы, и он тихо правил веслом. Когда певец заключил свое пение энергической нотой, сидящие в лодке стали посылать ему выразительные жесты, и лодка медленно продолжала прежний свой путь.

#### Глава XL

На другой день, рано утром, лодка уже была на озере. В ней сидела одна Люба, которая с трудом правила двумя веслами, поминутно отдыхая и часто поглядывая на свои покрасневшие и даже слегка припухшие руки. Подъехав к скату горы, девушка долго смотрела на берег; в ее лице появилось тоскливое выражение; она скрылась с своей лодкой в осоку.

Через час послышался конский топот из лесу, и щеголеватый господин, осторожно спускаясь по скату, что-то напевал, глядя на озеро. Осока зашевелилась, и смуглая головка выглянула.

– А-а-а! это ты! – радостно воскликнул щеголеватый господин, быстро соскочил с лошади и кинулся к девушке, которая пугливо спряталась.

– Ну полно, выходи из лодки! – говорил нетерпеливо щеголеватый господин.

Девушка раздвинула осоку и, улыбаясь, выглянув, сказала:

– я приехала слушать тебя.

– Ну выходи: я спою тебе.

– Нет, я буду слушать в лодке.

– Отчего же ты не хочешь выйти на берег?

– Так!

– Почему же ты боишься меня?

– Чего мне бояться! пой же.

– Не хочу: выходи!

– Я не выйду, я сказала, что не выйду! – разгорячась, говорила девушка.

– Так я петь не буду! – с досадою отвечал щеголеватый господин.

– Прощай!

И девушка стала отъезжать от берега.

– А если так, то я вплавь догоню тебя, – сказал щеголеватый господин.

И, сняв с себя сюртук, он подбежал к самой воде.

– Ради бога, не делай этого: ты утонешь! – умоляющим голосом воскликнула девушка и остановила свою лодку.

– Почему ты думаешь, что я утону? я плаваю хорошо; да и ты опять спасешь меня.

– Ах нет! ты не знаешь, сколько погибло в этом озере, и никто, кроме вот того, кого ты видел вчера, – моего брата, – никто из здешних жителей ни за что не пойдет в воду.

– А я, я готов броситься в это страшное озеро, чтоб хоть ближе посмотреть на тебя.

И щеголеватый господин сделал движение вперед, как бы готовясь исполнить свое намерение.

– Стой, нет! я лучше выйду! – поспешно закричала девушка.

И лодка подъехала к берегу, где ждал щеголеватый господин, протянув свои руки, чтоб высадить ее; но девушка отказалась от его помощи, говоря:

– Я сама; оставь меня.

Она ловко прыгнула на берег и осталась на том же месте.

– Ну что же, пойдем сядем! – сказал щеголеватый господин, оглядывая девушку, и воскликнул: – Боже, какая ты сегодня нарядная! и как идет к тебе белое платье!

Наряд девушки весь состоял из белого платья, кисейной пелеринки и длинных распущенных кос, на которых у головы было приколото по розе.

– Ну что же ты стоишь? неужели в самом деле ты боишься меня? – обидчиво спросил щеголеватый господин.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Я... нет... мне страшно! – чуть не плача, отвечала девушка.

– Отчего же тебе страшно! – мягким голосом спросил щеголеватый господин и, взяв девушку за руку, прибавил: – В самом деле, у тебя руки как лед!

Девушка, вспыхнув, вырвала свою руку и строго сказала:

– Ну пой же!

– Я тогда только могу петь, если увижу на твоём личике такую же улыбку, как вчера, – отвечал щеголеватый господин.

Девушка улыбнулась, и он, упав перед ней на колени, пропел страстный речитатив по-итальянски. Сначала девушка в испуге отскочила, но потом весело сказала:

– Вчерашнюю, вчерашнюю.

– Ты сядь и не бойся меня; я спою тебе всё, что ты хочешь.

И щеголеватый господин указал девушке место возле себя.

После минутного размышления она робко опустилась на траву и, не подымая глаз, сказала:

– Кто ты такой?

– Я... я странствующий певец.

Девушка поглядела пристально на щеголеватого господина и, покачивая головой, сказала:

– Я видала их: они не похожи на тебя.

– Да ты, верно, видала актеров; я, точно, на них не похож. Но ты скажи мне, кто ты такая? не может быть, чтобы ты была сестра твоих вчерашних...

– Ну пой же! – с упреком перебила его девушка.

– Право, не могу: сядь ближе! – воскликнул щеголеватый господин.

Девушка придвинулась слегка.

Опять раздались звуки, полные гармонии, и удивительно, как были они выразительны в утреннем воздухе, посреди величественной тишины мрачной природы!

Девушка напряженно слушала пение; даже слезы выступили у нее на глазах. Она полна была восторга. И когда певец замолк, она, как бы утомленная, сильно вздохнула и с чувством сказала:

– Я бы целый день слушала, – и ласкающим голосом прибавила: – Выучи меня петь так же, как ты поешь.

Щеголеватый господин улыбнулся, любясь девушкой, которая, вскочив, побежала к берегу.

– Куда же ты? куда? – кинувшись за ней, спросил ее щеголеватый господин.

– Я выну гитару из лодки, – отвечала девушка.

Через минуту щеголеватый господин настраивал гитару. И, как бы одушеваясь ею, он запел стройным голосом, не спуская глаз с девушки, которая то улыбалась, то хмурила брови. Глаза у нее горели, грудь высоко подымалась. Она, казалось, не могла оторвать своих глаз от лица поющего.

– Красивая и милая моя дикарка! честию клянусь, я в жизнь свою не встречал женщины, у которой в глазах было бы столько детства и в то же время страсти! – поющим, нежным голосом проговорил щеголеватый господин, и девушка не успела очнуться, как губы певца очутились на смуглой и горячей ее щеке. Девушка

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
вспыхнула, потом побледнела и, закрыв лицо руками, горько заплакала.

Щеголеватый господин был сконфужен кротким гневом оскорбленной девушки и молил у нее прощенья.

Девушка, отняв руки от лица и подавляя слезы, с грустью сказала:

– Я больше не приду сюда.

– Ну прости меня, я виноват; я теперь только понял, что я сделал; даю тебе честное и благородное слово, никогда ничего подобного не сделаю, – с жаром говорил щеголеватый господин.

Девушка, тяжело вздохнув, недоверчиво покачала головой и, встав, молча взяла свою гитару; потом, кивнув ему головой, она тихо пошла к лодке.

– Люба! – воскликнул растроганным голосом щеголеватый господин.

Девушка повернула голову и улыбнулась. Певец стоял на коленях и, сложив руки на груди, сказал:

– Если ты меня не простишь, я простою целый день так, я брошусь с горя в озеро.

Девушка побледнела как полотно, так что щеголеватый господин сам испугался и покорно глядел на нее; окинув озеро кругом, она таинственно произнесла:

– Не надо никогда этого говорить.

– Чего ты испугалась? – с участием спросил щеголеватый господин и, улыбаясь, прибавил: – Я пошутил только.

– Не надо так шутить здесь! – строго сказала девушка, и, кивнув ему головой, она прибавила: – Я завтра, может быть, увижу тебя.

– Где? здесь? – радостно спросил щеголеватый господин.

– Нет! – садясь в лодку, отвечала девушка.

– Где же?

– Не скажу!

– Значит, ты меня обманешь?

– Я никого не обманываю и тебя тоже не буду!

Сказав это, девушка отъехала от берега, а щеголеватый господин запел.

Девушка, погрозив ему, стала грести, но скоро остановилась и слушала его, и когда он кончил петь, она кивнула дружески ему головой, закричала: «Прощай!» – и стала грести; но щеголеватый господин опять запел. Лодка снова остановилась, и так лодка не скоро скрылась от глаз певца, который уныло возвратился к скату горы. Когда лодка совершенно исчезла, певец, растянувшись на траве, стал смотреть на небо и что-то думал. Он долго так лежал; наконец глаза его закрылись, и он крепко заснул. Он пробудился от легкого щекотания по щеке. То была ветка от сучка, которым кто-то махал над ним. Он привстал и увидел сидящую в головах его худощавую цыганку.

– А-а-а! – произнес щеголеватый господин, протирая глаза.

Цыганка улыбнулась и сказала:

– Я давно здесь... и как ты спишь крепко!

– А разве не надо спать здесь? – спросил щеголеватый господин, и, оглядываясь кругом, как бы ища кого-то, он прибавил: – Ты одна?

– Одна; а что?

Щеголеватый господин не отвечал.

– Хочешь есть? – спросила цыганка после некоторого молчания.

– Ты разве привезла с собой что-нибудь?

– Да!

И цыганка принесла узел, в котором были яйца, молоко и хлеб, и разложила их на траве.

Щеголеватый господин взял за плечо цыганку, которая с силой толкнула его в грудь и резко сказала:

– Не трогай меня, а не то я всё брошу в озеро.

– Не сердись; дай мне поесть: я очень проголодался.

И они, болтая, стали есть. После завтрака цыганка весело сказала:

– А ты и завтра приедешь сюда?

– А что?

– Я бы тоже принесла завтрак.

– Спасибо! Хорошо, я приду и завтра.

Цыганка стала смеяться.

– Чему ты смеешься?

– Мне весело! – отвечала цыганка.

– Ну сделай так, чтоб и мне было весело, как тебе.

– Да как же я это сделаю?

– Давай бегать, и если я догоню..

– Не хочу! – вскакивая, перебила цыганка и пустилась бежать.

Щеголеватый господин за ней.

И они стали бегать. Цыганка ловко пряталась за деревья и наконец обманом успела достичь берега и кинулась в лодку и с невероятной быстротой выехала из осоки и торжествующим голосом сказала:

– Ну, теперь поймай меня.

Щеголеватый господин подбежал к берегу, погрозил ей и сказал:

– Ты думаешь, что увернулась от меня, а тут-то я еще скорее тебя поймаю.

– Не посмеешь: озеро страшное!

– А смотри! – крикнул щеголеватый господин.

И он очутился в воде и поплыл за лодкой, на которой с силою гребла цыганка. Они отплыли далеко от берега; плывущий сказал:

– Однако я устал!

– Так плыви скорее назад! – пугливо отвечала цыганка и сама стала грести к берегу.

– Я забыл снять сюртук, а то бы сколько хочешь проплыл.



Когда они вышли на берег, щеголеватый господин, встряхивая с себя воду, сказал:

– У-у-у! какая холодная вода! и точно: я заметил, что в озере есть омуты, так и тянут книзу.

– И сколько их, да еще у самых берегов! А кто не знает этого озера, доплывет к берегу и думает, что земля, – встанет, да провалится. Здесь да у дома только можно подойти к озеру, а то всё болото, – ораторствовала цыганка, пока выкупавшийся выжимал свой сюртук.

– Однако я озяб, – сказал он, – поеду скорее верхом, так согреюсь.

И щеголеватый господин свистнул. Лошадь, щипавшая траву невдалеке, прискакала к нему.

– Так ты едешь? – с расстановкой спросила цыганка.

– Да; а что?

– Так... а завтра? – спросила цыганка после некоторого молчания.

– Приеду, приеду; а ты будешь?

– Да!

– Ну, прощай!

И щеголеватый господин сел на лошадь и поскакал в лес, сказав:

– До завтра.

Цыганка пробежала несколько времени за лошадью, как бы желая что-то сказать уезжавшему, но вдруг остановилась и, озираясь кругом, тихим шагом возвратилась на то место, где они сидели; медленно опустилась на траву, она склонила голову на грудь и впала в глубокую задумчивость, вертя в руках батистовый платок, который она то складывала, то разворачивала. Цыганка так была погружена в какие-то размышления, что не замечала, как солнце жгло ее шею, руки и голову.

Пронзительный свист с озера вывел ее из задумчивости. Она улыбнулась, взглянула на солнце и, сев в лодку, быстро понеслась по озеру, громко распевая какую-то унылую песню. Другая лодка, выехавшая из осоки, догнала ее; в ней был цыган с рыбными снарядами.

– Где ты была? – спросил он ее.

– В лесу.

– Одна?

– Да!

– А его не было сегодня?

– Нет!

– Я так узнал, кто он такой!

– Кто, кто? – с живостью спросила цыганка.

– Здешний барин, недавно приехал только.

Цыганка засмеялась.

– Не веришь? ей-богу! – говорил цыган.

И лодки разъехались. Цыганы весело заливались, распевая удалую цыганскую песню.

Глава XLI

Летнее утро еще дышало упоительной свежестью, как в небольшой беседке, стоявшей в огромном саду, вдали от богатого барского дома, владетель его лениво потягивался на кушетке, на которой была накинута тигровая кожа. Беседка была убрана роскошно, несмотря на соединение в ней спальни, кабинета и уборной. Стены и потолок ее были обтянуты шелковой полосатой материей, белой с зеленым; на полу ковер с цветами, так хорошо сделанными, как будто они росли на зеленом лугу. Мягкие кресла, стол, шифоньерки, бюро – одним словом, каждая игрушка дышала роскошью, удобством и вкусом. На лице лежавшего отпечатлелись следы жизни, полной довольства в эту минуту. Он о чем-то думал, беспрестанно улыбаясь. Его размышления были прерваны приходом лакея, которому скорее следовало бы взять хлыстик в руки, чем поднос с чаем, который он поставил на круглый стол, стоявший посреди комнаты, под огромной висячей лампой на потолке, и заваленный книгами, красками и карандашами для рисования.

Лежавший на кушетке господин встал и, выправляя свои члены, подошел к столу; увидев несколько писем, лежавших на серебряном маленьком подносе, он сделал недовольную гримасу и пробормотал:

– Странно, какое неприятное впечатление на меня производят маленькие воспоминания о городе.

И он нехотя стал распечатывать и пробегать письма; после нескольких он свободно вздохнул, будто окончив большой труд, и принялся пить чай, сказав лакею, прибиравшему комнату:

– Ты уж письма-то из-за границы не подавай мне, а прямо бросай в камин.

– Слушаюсь; а не прикажете ли послать на почту сегодня? – спросил лакей.

– Помилуй! я сейчас только ведь прочел, – как бы пугливо возразил барин.

– Да эти-с давнишние, вы только не читали их, – улыбаясь, отвечал лакей, и через минуту он спросил: – Дворецкого послать?

– Ты ужасно мне надоел! – сказал барин и, встав, вышел в сад и любовался утром.

Этот господин был Павел Сергеич Тавровский; объехав свои имения в разных губерниях, он поселился в одной из самых живописных своих усадеб и, казалось, вполне наслаждался сельской жизнью, забыв о всех столичных удовольствиях. Он целые дни бродил по лесам или скакал верхом, осматривая свои владения, и удивлялся, как много свободного времени, а между тем не скучно, сон крепок, аппетит, как никогда, исправен. Встав рано утром и вдыхая в себя воздух, он рассуждал сам с собой:

«Я бы, кажется, полетел, если бы мне дали крылья: так мне легко здесь!»

В его руках стали появляться книга, карандаш, который он брал с собой, чтоб снимать виды; но, усевшись, он задумывался и улыбался, глядя на часы. Одним словом, Павел Сергеич совершенно был счастлив новым образом своей жизни, о которой он прежде не имел никакого понятия. Он задавал себе вопросы, почему ему не скучно здесь одному, в то время как в городе минуты он не мог быть один. Занятия его в деревне были так противоречащи одни другим, что камердинер считал его иногда за помешанного. И, раздевая своего барина после прогулок, он иногда говорил:

– Господи, что за место! негде погулять! всё платье испорчено.

– Платье можно новое сшить, зато здесь легко на душе и сладко спится, – отвечал Павел Сергеич на замечание своего камердинера.

Но в это утро, казалось, спокойствие его оставило. Он с дурным расположением возвратился с утренней прогулки и остальную часть дня провел в каком-то тоскливом волнении. Он то рисовал, то читал, то стрелял из окна комнаты в летавших птичек; но всё это ему скоро надоело, и он придумывал себе разные развлечения.

Камердинер торжествовал. Он считал дурное расположение Павла Сергеича за кризис

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
болезни, которая должна была пройти, и снова жизнь его делается полна  
деятельности, хотя в сущности пустой. Радость оживила унылое лицо камердинера,  
когда Павел Сергеич приказал заложить коляску и поехал с визитом к ближайшему из  
своих соседей.

Дом, в который он приехал, не мог ему доставить много развлечения. Владелец его  
был человек холостой и хворый. Он вел жизнь однообразную и постоянно лечился от  
подагры в ногах.

Комната, в которой сидел хозяин дома, не отличалась ни вкусом, ни роскошью, даже  
не было в ней удобства; но живописный вид из стеклянных раскрытых дверей террасы  
выкупал всё. Сад был огромный и спускался к огромному озеру, которое виднелось  
на большое пространство в прихотливых изгибах. Сад был запущен, беседки и  
скамейки покривились, всё имело мрачный колорит, как наружность самого хозяина,  
исключая небольшой клумбы простых цветов, у которой валялись небольшая лопата,  
грабли, лейка, приметны были детские следки, отпечатавшиеся по песку дорожки.  
При появлении Павла Сергеича в комнату, хозяин дома, морщась, спустил ноги со  
скамейки и, слегка привстав, приветствовал гостя, которого посадил возле себя в  
креслы.

Хозяину дома было лет шестьдесят пять. Он был тучен, но с болезненным цветом  
лица. Черты его лица были бы красивы, но резкая противоположность седых волос с  
крашеными черными усами, но блеск черных глаз из<под>насупившихся век и из-под  
седых бровей с первого взгляда действовали неприятно на всех. Одет он был в  
венгерку со шнурками, глухо застегнутую на все крючки. А ноги его были обуты в  
канатные туфли. Павел Сергеич застал его за занятием: он дрессировал легавую  
собаку, на шее которой был надет ошейник с гвоздями, с веревкой, за которую он  
держал ее.

Урок собаки был окончен благодаря прибытию гостя.

Вблизи от кресел были собраны все принадлежности к чаю, и самовар клокотал, как  
бы недовольный невниманием сидящих в комнате. Ручьи, полившиеся из него, как бы  
о чем-то напомнили старику; он позвонил в колокольчик, стоявший на маленьком  
столике.

Вошел лакей, которому он сделал вопрос:

- Пришла?
- Никак нет-с.
- Так пошли искать.

В это время на террасе послышался говор, и звучный смех, и крики курицы;  
лежавшие собаки забили хвостами. В комнату вбежала молодая девушка, силясь  
удержать курицу, тоскливо бившуюся у ней в руках. Она, смеясь, подскочила к  
старика, хотела что-то сказать, как вдруг, завидя Тавровского, выпустила курицу  
из рук, которая, застуча лапами, побежала по полу.

– Вот моя дочь, – сказал старик, указывая на девушку, которая стояла потупив  
глаза; лицо ее пылало.

Тавровский молча поклонился; но лицо его сияло, он не спускал глаз с девушки,  
которая избегала встретиться с ним и занялась самоваром. Когда девушка подавала чашки  
с чаем старику и гостю, руки у нее слегла дрожали; но когда отец произнес ее  
имя, она вздрогнула и выбежала из комнаты, на что, однако, отец не обратил  
никакого внимания.

Девушка была Люба, которая в Тавровском узнала певца у озера.

Забывая в комнате курица взлетела на стул, стоящий у стола, потом на стол и с  
криком соскочила на пол, уронив крылом чашку.

Старик позвонил и раздраженным голосом приказал лакею взять курицу; но курица не  
давалась ему в руки и, крича, бегала по комнате, пряталась под стул Тавровского  
или под кресло старика, который, выйдя из себя, разбранил лакея, сказав:

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Позови Степаниду.

Через две минуты в комнату явилась худощавая цыганка. Она смело подошла к самому стулу Тавровского и, лукаво улыбаясь, стала вызывать курицу.

– Где взяли? – спросил сердито старик.

– У них на дворе, – улыбаясь, отвечала цыганка, указывая на Тавровского.

– Это куда вы нынче бегаете! – возразил старик, но замолк, потому что цыганка перебила его, сказав:

– Да это не я, а барышня.

Удаляясь из комнаты с курицей, она бросила выразительный взгляд на Тавровского, который, сконфуженный, глядел на старика; но тот спокойно сидел, как будто всё, что он видел и слышал, было очень обыкновенно.

Напрасно Тавровский, сидя у старика, продолжал поджидать Любу; она не пришла даже к ужину, за что старик ужасно рассердился и ничего не ел. Между тем соседняя дверь поскрипывала, и Тавровский заметил в щели блеск чьих-то глаз.

Садясь в коляску, Тавровский слышал смех откуда-то сверху; но ночь была темна, и он не мог ничего видеть. Выхав из ворот, он почувствовал в ногах какую-то корзину, и в ней что-то шевелилось. Он ощупал ее: там была курица. Приехав домой, он перенес корзину в беседку и, развязав ее, узнал курицу, что была у Любы в руках.

Тавровский выдернул несколько перьев из крыла у курицы и, передав ее своему камердинеру, строго сказал:

– Чтоб она ходила по саду, и устрой ей возле клетку. И смотреть, чтоб она не пропала.

Камердинер пугливо глядел на Тавровского, который, ложась, спросил его:

– Не было ли без меня кого-нибудь на дворе?

– Никого-с!.. да! цыган приходил с двумя цыганками...

– Ну? – с любопытством перебил его Тавровский.

Камердинер подробно описал цыганок и пересказал толки дворни, которая уверяет, что это дети помещика-соседа.

– Все? – спросил Тавровский.

– Говорят одни, что все, а другие, что только одна, – отвечал камердинер, пытливо глядя на улыбающееся лицо своего барина, который с улыбкой и заснул в эту ночь.

## Глава XLII

Много лет тому назад, в один летний день, по степной дороге скакала сломя голову тройка отличных лошадей, запряженных в небольшую телегу. Лихой ямщик ухарски свистал и поводил кнутом по воздуху, едва держась на облучке. Плечистый мужчина средних лет, с лицом суровым, зорко следил за пристяжными.

Всё, что ни встречалось по дороге, сворачивало в сторону и с наслаждением следило глазами за телегой, которая промчалась несколько верст без малейшей остановки. Лошади, все в мыле, стали слабеть, зато ямщик сильнее прежнего посвистывал, прищелкивал и махал кнутом.

Солнце садилось и ослепительным своим блеском осветило степь, которая расстилалась на большое пространство кругом. В это самое время по глубокому песку едва тащилась длинная телега вроде роспусков, прикрытая рогожей. Возле тощей клячи шел молодой цыган, почти в лохмотьях. Загорелые руки и ноги его были обнажены. Дырявая рубашка выказывала его грудь. Он шел задумчиво, как вдруг крики и жесты ямщика, мчавшегося на тройке, нами описанной, смутили цыгана. Он

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a начал бить свою клячу, которая, вместо того чтоб ускорить шаг, совсем остановилась, и пока она успела собрать свои силы и повернуть в сторону, колеса зацепились, и тройка стала. У пристяжной лошади из ноги ручьем текла кровь.

Ямщик и барин в минуту соскочили с телеги и кинулись к лошади; на их лицах изобразился испуг. Барин гневно обратился к цыгану... Кляча дрогнула, рогожа быстро откинулась, и женщина, лежавшая в телеге, привстала, слегка приподняв белый кусок холста, покрывавший ее голову и плечи. Барин от неожиданного появления женщины остановился и глядел на цыганку, которая, бросив на него огненный и смелый взгляд, улыбнулась, выказав тем свои удивительно белые зубы, потом закуталась в полотно и снова легла в телегу.

Барин подошел к цыганке, откинул ее покрывало и долго смотрел на нее. Цыганка была в самом цвете лет. Лицо ее было смугло, но кожа так прозрачна, что видны были некоторые жилки на ее подбородке. Румянец был нежный. Черты не столько правильны, как оригинальны. Глаза горели таким огнем, что казалось, из них сыпались искры. Черные вьющиеся волосы в беспорядке падали на ее полуобнаженные плечи. Что более всего поражало в ней – это гордая и надменная улыбка. Она не изменила своего положения и без робости глядела на барина, который спросил у цыгана, стоявшего невдалеке от телеги:

– Куда едешь?

– В табор, – отвечал цыган не очень чистым языком.

– Откуда?

– Из города.

– Зачем ездил?

Цыган замялся, но, оправясь, быстро отвечал:

– Гриб возил.

– А зачем она ездила?

Цыган опять замялся и молчал.

– Я тебя спрашиваю! – крикнул барин.

Цыганка величественно привстала. Красота ее сделалась еще блистательнее. Белое полотно упало с плеч. Длинные, волнистые, как смоль черные волосы рассыпались по плечам. Через одно из них был перекинут кровавого цвета шерстяной платок, который завязывался узлом на боку и тем обнажал руки цыганки.

Барин, указывая на цыганку, спросил:

– Что, она сестра, что ли, тебе?

– Невеста! – с гордостью произнес цыган и, подойдя к телеге, что-то сказал по-цыгански, отчего цыганка громко засмеялась, весело вскочила на ноги и с диким криком зазвенела над своей головой засаленными бубнами, которые она взяла на телеге. Спрыгнув ловко на землю, она стала напевать и стучать в бубны, а цыган – плясать.

Посреди бесконечной равнины, на жгучем песку, и позлащенные заходящим солнцем, цыган и цыганка необыкновенно были хороши. Когда пот полил градом с плясавшего цыгана, он остановился. Цыганка, ударив о бубны, испустила крик, закружилась и, неожиданно остановясь перед барином, протянула ему бубны. Грудь ее высоко подымалась, ноздри расширялись от дыхания, глаза ярко горели; барин бросил в бубны часть денег, что были у него в кармане.

Цыганка радостно вскрикнула, вся задрожала и кинулась к цыгану, который, присев на землю и собрав деньги в горсть, тоже весь дрожа, стал считать их. Цыганка стала на колени перед ним и следила за его движениями.

Барин глядел на цыганку и, мигнув ямщику, который стоял у тройки и тоже

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
любовался ею, сказал:

- Что, какова? даром что цыганка!
- Лихая! – произнес ямщик, тряхнув головой.

Барин приказал снять ковер с телеги и разостлать его у края дороги. Закурив трубку, висевшую у него на пуговице венгерки с кистями, он лег и приказал цыганке петь. Голос у цыганки был небольшой, но полный жизни и приятности. Сначала она пела грустные песни; но барину они не понравились; он приказал ей спеть что-нибудь повеселее. Цыганка исполнила его желание и так увлекла своих слушателей, что они хором подтягивали ей и поводили плечами.

Стало смеркаться. Цыган собирался ехать. Барин сделал им предложение – ехать к нему, чтоб вечером снова петь песни.

- Нельзя: табор ждет, – отвечал цыган.
- Ну пусть его ждет!
- Нельзя! – решительно произнес цыган, и, указывая на цыганку, он продолжал: – Завтра начнем свадьбу нашу.

Барин задумался.

Цыган оправлял свою лошадь, пока цыганка усаживалась в телегу, которая со скрипом двинулась. Барин крикнул:

- Стой!

Цыган удержал лошадь. Барин, поманив к себе цыгана и переговорив с ним что-то, указал на свою тройку, которую цыган осмотрел и пересчитал лошадям зубы. Он остановился в раздумье перед ними; но, бросив взгляд на цыганку, которая преспокойно лежала в телеге, закинув руки назад, и напевала вполголоса, он замотал головой и пошел от тройки.

Барин плюнул вслед цыгану и проворчал:

- Цыганское отродье!

И он занес было ногу, чтобы сесть в телегу, но услышал жаркий спор цыгана с цыганкой; последняя страшно горячилась.

- Что, что такое случилось? – подходя к цыганке, спросил барин.

Цыган ворчал себе под нос, а цыганка продолжала ему говорить, грозно кивая головой.

- Ну что такое болтаешь там по-своему; говори по-русски! – ласково сказал барин.
- Я бранила его, а табор задаст ему, как узнает, что он не хотел ехать к тебе.
- Надо у табора спроситься.
- А далеко ваш табор?
- За горой.
- В Ухтомском лесу? – радостно спросил барин.

Цыганка кивнула головой.

Барин провел рукой по усам и повелительно крикнул цыгану: «Пошел за мной!», сел на тройку и поехал вперед, поминутно поворачивая голову назад – едет ли за ним телега цыгана.

Надо было проехать несколько верст, чтоб наконец увидеть какую-нибудь зелень. Было уже совершенно темно, как ехавшие завидели лес, который казался островом

В опушке леса было разложено несколько костров огня, которые издали виднелись, резко рисуя на тени песку группы, собравшиеся около них. Ржание лошадей возвестило табору о приближении тройки. Всё поднялось на ноги и пошло навстречу приехавшим. При виде тройки они стали расспрашивать цыгана и цыганку, которые с жаром им что-то говорили.

Барин соскочил с телеги у самого огня, где сидело несколько стариков, которые встали и дали место гостю. Весь табор сбегался смотреть на гостя; удовлетворив любопытство, цыганы кинулись к телеге цыгана, из которой цыганка выбрасывала разный хлам, даже битые бутылки, тряпки, в числе которых были и новые сарафаны и рубашки. Куры с свернутыми шеями были также в этом хламе. Старики, безобразные, всё пересмотрели, перещупали и, забив всё в мешок, увлекли за собой. Приехавшая цыганка уселась у огня между своими подругами и стала с ними петь песни.

Табор поуспокоился и разделился на группы. В одной стороне пели хором цыганки молодые, в другой, у костра, играли в засаленные карты цыганы, окруженные зрителями. Старухи хлопотали около поросенка, жарившегося на двух палках, воткнутых в песок. Другие усердно щипали кур, привезенных цыганкой. Голые ребятишки играли у костра, валяясь по песку; многие из них, сидя на корточках, жадно глядели на жарившегося поросенка.

Старики сидели поодаль огня, предоставив почетное место гостю, который разговаривал с начальником табора. Окончив разговор, гость был окружен цыганками, и началось пение.

До самого рассвета в таборе раздавался гул песен и плясок. Гость горстями бросал деньги. Когда он готовился уезжать, табор собрался в кучу. Начальник цыган что-то сказал им. Они все радостно закивали головами, женщины стали охорашивать цыганку, которая оставалась холодна к окружающему. Молодого цыгана не было видно в таборе: он в нескольких верстах объезжал одну из лошадей гостя, окруженного молодыми цыганками.

Гость сел в телегу, запряженную уже только парой, и ждал, пока окончится прощанье цыганки с ее табором. Ее провожали все с радостными лицами. Одна только безобразная старуха (то была ее бабушка), припав к ее груди, плакала, нашептывала какую-то траву и прятала ее на грудь. Молодая цыганка совершенно была равнодушна и твердым шагом подошла к телеге, села в нее, гордо поклонясь всему табору, который радостными криками возвестил ее отъезд. Телега помчалась. Не проехали они версты, как позади ехавших раздались дикие крики. Цыганка, побледнев, быстро повернула голову и сделала движение броситься из телеги. Барин удержал ее, и, оглянувшись назад он тоже изменился в лице. За телегой гнался с отчаянным и угрожающим видом цыган, ездивший с ней в город. Он дико кричал что-то. За ним гнался весь табор.

– Скачи во весь дух! – крикнул барин и грозил бежавшему, который в быстроте своего бега мог сравниться с лошадью.

Цыганка напряженно следила за цыганом, который уже почти догнал телегу и стал было ловить ее, как цыганка, сорвав с себя платок, бросила ему на голову, что приостановило его бег, а телега еще быстрее понеслась. Барин был в восторге от выдумки цыганки, которая равнодушно смотрела, как догнали цыгана и как его, связав, повели в табор.

Господин, ехавший с цыганкой, был известен всему краю, где жил, не одними своими богатствами, но и своей странною жизнью. А разгульный и крутой его характер немало делал шуму. К нему стекались соседи всей окрестности; дом походил на дворец. Очень часто для какого-нибудь праздника пристраивали флигель, что давало странную наружность всему дому. Некоторые гости так заживались у Куратова, что жены с детьми приезжали навещать своих мужей.

До сорока лет так жил Куратов. Вино, бессонные ночи, охота наконец подействовали на его здоровье, которое казалось несокрушимым. Он впал в апатию, даже доходившую до отчаяния. Общество сделалось ему невыносимо. Он ездил на охоту один и оставался в лесу по целым дням. Только изредка, как бы вспоминая былое время, он делал пиры. Но часто посреди самого разгула Куратов приказывал подать верховую лошадь и скакал за тридцать верст, в другую деревню, от веселого смеха

Усадьба, в которую он удалялся в такие минуты, гармонировала с его мрачным расположением. Нельзя было придумать ничего грандиознее и вместе с тем печальнее выбранного им местоположения. Дом стоял у подножия горы, и его фасад был обращен к озеру с бесконечными извилинами, которые пропадали в густом лесу. Кругом озера, с трех сторон, как бы служа оградой, были горы; покрытые редким еловым кустарником и деревьями, они придавали этому месту вид крепости, в которой была заключена вечно гладкая как зеркало поверхность воды. Огромные деревья, склоняясь к воде, бросали на нее страшные тени, а рукава озера, бесконечно извиваясь, вдали блистали кое-где между густым лесом.

Какое-то уныние разливалось кругом озера, которое даже в бурю было покойно. Ветер, бушующий на горах, завывая, как бы страшился нарушить спокойствие озера; одни только верхушки деревьев медленно покачивались и наполняли воздух странным гулом. Мрачный и раскидистый ельник стоял неподвижно, простирая свои длинные сучья к озеру, как бы стараясь защитить его от солнца. Осока, страшной высоты тростник окаймляли озеро, а изумрудный мох в виде травы предательски укрывался между кустарниками ельника.

Ни дичь, ни звери, ни огромное количество рыб не пленяли жителей. Деревня была расположена на горе, позади барского дома. С незапамятных времен было тут предание, что озеро и лес, его окружающий, населены злыми духами. Одна страшная необходимость в дровах или в срубке дерева отваживала мужиков спускаться в лес к озеру. Ни разу не возвращались домой без новых подтверждений о страшных слухах, ходивших в деревне об озере. Огромную щуку, забредшую на берег озера, чтоб погреться на солнце, принимали за злого духа, и мужик, бросив свою неконченную работу, бежал как безумный домой рассказать о злом духе в виде огромной рыбы. Пропавшие у мужика корова, лошадь – всё приписывалось озеру.

К подтверждению суеверия жителей деревни много способствовали без вести пропавшие люди, бывшие в лесу около озера. Вероятно, они погибали в страшных болотах; но никто не сомневался, что погибшие были жертвой злых духов, а не своей неосторожности.

Мрачное и спокойное озеро было иногда свидетелем и страшных преступлений. Вот одно из таких происшествий.

Жил в деревне мужик, работающий и трезвый; но, по странному стечению обстоятельств, ему как-то всё не удавалось. Дом его раза два сгорел, и с ним всё его имущество, в то время как другие избы спаслись. Хлеб его то градом побивало, то от засухи пропадал. Хозяйка ему попала хилая; детей не было, следовательно и помощников не было. После второго пожара, в котором погибли его последние деньги, накопленные, чтоб завестись скотом, мужик загоревал и стал прибегать к вину. В доме настала бедность. Мужик в нетрезвые минуты упрекал свою хозяйку что она всему несчастью его причиной. Так жил мужик с год и наконец дошел до крайней нищеты: часто его хозяйке старому слепому ее отцу и матери нечего было есть. Мужик стал пропадать по нескольку дней. Хозяйка его работала что было у ней сил и, не имея денег купить дров, часто ходила сама к озеру, чтоб набрать прутьев.

Раз, под вечер, собирая хворост, она ужасно спешила; по ее болезненному лицу катился пот от усталости и страху. Она вздрагивала даже от хрустения прута, на который наступала. Как вдруг она завидела своего мужа. Она было обрадовалась ему, потому что три дня его не видала; но его мрачное лицо испугало ее, и она стала плакать и упрекать его.

– О чем воешь? – еще суровее спросил мужик свою хозяйку.

– Ох! горькая моя долюшка! хоть бы в могилу я слегла: авось легче было бы мне, горемычной! – вопила хозяйка.

И потом стала бранить мужика, который видимо находился в каком-то ожесточенном расположении. Упреки и слезы хозяйки привели его в ярость; он грозно крикнул: «Замолчи!» – и, дико глядя вокруг, стал пособлять жене собирать хворост. Но вдруг мужик оставил работу и начал вглядываться вдаль. Над болотом у озера показался пар. Мужик вздрогнул и отвернулся. Но потом опять взоры его устремились к болоту, и он быстро пошел к нему.



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Помоги лучше донести хворост! – с упреком сказала хозяйка мужику, который, ничего не отвечая, шел дальше.

Вдруг мужик дико закричал и по пояс очутился в болоте.

Хозяйка кинулась к нему.

– Дай-ка мне руку, родимая! – жалобно завопил он.

Хозяйка протянула ему свои исхудалые руки, за которые мужик притянул ее к себе, и она не успела опомниться, как была по пояс в болоте. Ужас оковал ее язык; но зато в ее слабых руках оказалась невероятная сила: она уцепилась за руки мужика, который насилу высвободил их и, упираясь в ее плечи, сам выскочил из болота, а его хозяйка совершенно исчезла.

Мужик, бледный, с дикими глазами и весь дрожа, отскочил от места преступления и судорожно отряхивал и счищал с своего тулупа болотную зеленую тину. Густой пар как бы поспешил покрыть всё болото и озеро. Стало смеркаться, а мужик всё еще стоял неподвижно на том же месте, не спуская глаз с места своего преступления. Тишина была подавляющая вокруг озера. Вдруг большая птица, тяжело хлопая крыльями, пролетела медленно над головой мужика и дико каркнула, как бы возвестив весь лес о совершившемся преступлении. Мужик бросился бежать. Ему казалось, что весь лес пришел в движение. Деревья закачались, засохшие листья судорожно завертелись под ногами преступника, лягушки дико заквакали, каждая маленькая травка шептала ему: «Ты убийца, ты убийца!» Густой пар, поднявшись с болота, казалось, несся быстро к нему. Мужик, проклиная себя, пустился бежать еще сильнее. Тогда ему чудилось, что лес наполнился визгом, деревья с силою наклонялись друг к другу, заграждая ему дорогу. Преступник чуть живой выбрался из лесу. Долго он бродил около деревни, не решаясь идти домой. Уже поздно вечером он подошел к своей скромной избе. Дворовая собака завывала и спряталась от него. Войдя в избу, освещенную одной лучиной, преступник увидел старуху, мать своей хозяйки, стоящую на коленях перед иконой и шепчущую имя своей дочери. Слепой и глухой старик, отец погибшей, сидел на скамейке, которая служила ему и постелью. Он печально повесил свою дряхлую и седую голову на полуобнаженную костлявую грудь и тоже повторял молитву за старухой.

Приход их зятя прервал молитвы. Они было обрадовались ему; но он так грубо обошелся с ними, что они не смели ему сказать, что его хозяйки еще не было дома. Он сам спросил:

– Где хозяйка?

Старуха с плачем рассказала, что ее дочь еще засветло ушла собирать хворост к озеру и до сих пор не возвращалась.

И старуха завывала, приговаривая:

– О-о-ох, сердечко мое, моя горлица! где-то ты? Уж не погибла ли ты в этом омуте?..

(Так называли озеро в деревне.)

Убийца притворился, что он не верит старухе, и стал бранить свою хозяйку, упрекая старуху, что у ней дочь дурная и, верно, гуляет с кем-нибудь.

Побранив всех, мужик лег на печь. Слезы и молитвы старухи не давали ему покоя. Он ворочался с боку на бок, пока всё не затихло в избе. Но недолго он лежал покойно: ему послышались крики лягушек вдаль; вот они всё ближе и ближе; лягушки, квакая оглушительно, окружили его избу. Дверь распахнулась, и он увидел свою хозяйку, покрытую зеленой тиной и болотными травами. Убийца лишился чувств. На другой день вся деревня сожалела об убийце, убежденная, что жена его сделалась жертвой нечистого, потому что нашли ясные приметы ее гибели: куча хворосту недалеко от болота, а на том месте, где она погибла, платок с ее головы.

Убийца скоро женился на вдове своего соседа и стал жить богато. Но как-то раз ему случилось слушать странные рассказы про озеро. Он много выпил – то было в кабаке, – и сам не понял, как он рассказал свое преступление. Его хотели

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a связать, но он вырвался и убежал. После его не могли нигде сыскать; одну рукавицу только нашли у озера.

Этот случай суеверные жители перетолковали по-своему и еще больше стали бояться озера, говоря, что не только там можно погибнуть, но даже оно побуждает к преступлению. С тех пор никто не решался даже приближаться к нему.

В ту самую эпоху, когда суеверные рассказы об озере дошли до крайней степени, Куратов пленился величественной мрачностью озера и, смеясь над преданиями жителей, выстроил на подножье горы огромный дом; желая искоренить предрассудки крестьян, он задавал богатые пиры на озере. Смоленные зажженные бочки спускались по гладкой воде; музыка гремела на лодках, разъезжая по озеру. Вино текло рекою; собравшиеся крестьяне пели хорами, девки и парни ходили хороводами. Но всё как-то эти пиры были мрачны, пение было уныло, на всех лицах было какое-то беспокойство. Хотя на местах опасных около берегов озера стояли предостерегательные шесты, однако это не предупреждало несчастий. Отуманенный вином мужик заходил в болото и проваливался в окошко. Все эти случаи лишали Куратова возможности искоренить предрассудки и отвращение к озеру. Ни пиры, ни подарки не пленяли крестьян, и в праздничные дни никто не являлся, дворня одна веселилась; и раз музыканты, подгуляв не в меру и поспорив в лодке, неосторожными движениями перепрокинули ее, и как все были нетрезвые, то камнем и пошли ко дну. Одна только лодка с несколькими инструментами тихо возвратилась к берегу.

Шалаши для рыбаков были разбросаны по берегам, но никто не решался в них поселиться, несмотря на выгоду.

Но всё это только раздражало Куратова, и он во что бы то ни стало был намерен оживить озеро. От его дома тянулась как лента дорожка прямо к озеру, у берега которого стояла беседка с плотом и множество лодок. По возможности, опасные места у берегов озера были огорожены. Он построил разные беседки, где часто по вечерам пил чай.

Может быть, ему бы и удалось искоренить суеверие крестьян, если бы он сам и его страшная смерть не были причиной к усилению страшных рассказов об озере.

Характер Куратова был мрачен и непоколебим. Он еще не знал случая в своей жизни, где бы он, сказав «Да!», переменял свое решение. Жена его была женщина кроткая и, несмотря на свои пожилые лета, дрожала от одного взгляда мужа. Она разделяла с крестьянами весь страх и всё отвращение к озеру, и только железная воля ее мужа заставляла ее жить близ такого места.

В один летний вечер, часов в девять, на столе кипел самовар: поджидали Куратова с охоты. Прошел час; самовар несколько раз был подогреваем. Жена Куратова с беспокойством ходила из комнаты в комнату, прислушиваясь к малейшему шуму. Сидя на балконе, выходящем к озеру, она почувствовала какую-то страшную тоску. Вечер был тих, а теплый ветерок доносил до ее слуха унылые кваканья лягушек. Луна то показывалась из-за туч, то на минуту освещала озеро, то опять скрывалась, оставляя всё в мраке. Вдруг она вздрогнула и, встав, стала вслушиваться. Слабые и протяжные звуки слышались вдали. Они то умолкали, то опять возвышались над кваканьем лягушек, – наконец замолкли. Тревожимая каким-то предчувствием, жена Куратова послала дворню искать своего господина. Сама, стоя на балконе, она с биением сердца следила за факелами дворни, рассыпавшейся около озера.

Ночь прошла в розысках. К утру только, возобновив их опять, завидели фуражку Куратова. Его вытащили и принесли в дом. Вдова Куратова с единственным своим сыном бросила дом, и гибель Куратова еще более усилила ужас, возбуждаемый озером, которое давно уже окрестные жители называли Мертвым озером. С тех пор никто не жил в доме.

В позднейшее время потомок Куратова (с которым мы познакомились в начале главы), в припадках своей хандры, любил охотиться в лесах около озера. Бездна зверей и птиц заставляла его иногда останавливаться для ночлега в доме, в котором он провел детские годы. И когда он увез цыганку, страх, чтоб ее не похитили, и ревность подали ему мысль поселиться в заброшенном доме. Куратов любил цыганку, как только ему позволяла его дикая и мрачная натура. Но любовь его выражалась в ревности и в вечных подозрениях, что он обманут ею. Когда у цыганки родилась дочь, Куратов, видя страстную любовь к ней матери, успокоился; ревность его

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
прошла, и, казалось, любовь стала мало-помалу вместе с ней проходить. Так прошло несколько лет. Как вдруг Куратов стал задумываться, и мысль о женитьбе овладела им.

В страхе за свою дочь цыганка прибегнула к самым искусным заговорщикам своего племени. Но ничто не помогало. Куратов не скрывал своего намерения.

Цыганка безумно любила свою дочь, которая была живой портрет матери. Только цвет лица Любы был гораздо блее и черты мягче. С того дня, как Куратов задумал жениться, мать ни на минуту не отпускала дочери от себя и со слезами твердила ей: «Я хочу, чтоб ты была счастлива; что я могу сделать для того, я на всё готова».

Куратов несколько дней не был дома. Возвратясь к обеду, который, по обыкновению, накрыт был на три прибора, для цыганки и ее дочери, Куратов приказал снять все приборы и оставить только один, для себя.

Цыганка, узнав об этом, как безумная вбежала в столовую и, бледная как смерть, задыхаясь от волнения, спросила:

– Мне и моей дочери, кажется, нет места за столом?

Куратов, казалось, смутился, но, верно желая покончить разом всё, твердо произнес:

– Нет!

И он потупил глаза в тарелку.

Цыганка, как бы пораженная громом, с минуту стояла в нерешительности и вдруг крикнула:

– Если ты унижал мать, – ты не сделаешь того же с дочерью!

Сказав это, она выбежала в сад через дверь террасы и пустилась бежать.

Куратов знал характер цыганки. Он с ужасом бросился ее догонять, крича на помощь людей. Но цыганка, казалось, летела. Добежав до плота, она приостановилась, дала приблизиться Куратову и закричала так сильно, что все вздрогнули:

– Не забудь, что смерть моя падет на тебя, если ты оставишь мою дочь!

С этими словами она бросилась в воду.

Куратов дико закричал: «Спасите, спасите ее!» – и прислонился к дереву. С минуту он стоял неподвижно, закрыв глаза. Столпившаяся к плоту дворня в нерешимости глядела на воду и друг на друга.

– Вон, вон она! – раздались крики в толпе.

Куратов как бы очнулся. Он в отчаянии закричал: «Лодку, лодку!» – и сам кинулся ее отвязывать. Несколько лодок в минуту было на озере, но цыганки не было видно, – поверхность озера была гладка и спокойна, как и прежде. Куратов назначил страшную сумму тому, кто кинется в озеро. Нашлись смельчаки: перекрестясь, бросались они в воду, туда, где показалась цыганка, но в ту же минуту возвращались. Видимо, страх отнимал всякую возможность оставаться долго в воде.

Уже смерклось, а Куратов в каком-то безумном отчаянии плавал по озеру, то наградами, то угрозами понуждая бросаться в воду и искать цыганку. В его голосе слышались слезы. Он звал по имени цыганку, как будто думая вызвать ее со дна озера, которое освещено было тысячами факелов и кострами, разложенными на берегу, чтоб греться бросавшимся в озеро. Шепот людей, которые как будто боялись заглушить голос Куратова, величавое спокойствие природы – всё было унынья и ужаса...

Всю ночь продолжались поиски. Куратов желал во что бы то ни стало вытащить тело цыганки. Сам он сидел у пылающего костра; его фигура была страшна в эту минуту. Суровое лицо его подавлено было отчаянием, бледность, растрепанные густые

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a  
волосы, стоящие дыбом, дикие глаза, устремленные на озеро, в котором он всё  
чего-то искал...

Под утро Куратов как бы впал в бесчувственность, устремив усталые глаза на чуть  
тлеющий костер. Он уже не замечал, что лодки стояли неподвижно в тростниках;  
утомленные люди дремали в них. Другие, разъезжая по озеру, лениво ударяли  
веслами, проезжая мимо Куратова.

Утренний густой туман медленно подымался от воды, как бы щадя осветить светом то  
место, где погибла цыганка. Сам Куратов, утомленный, отвернулся от озера и, сжав  
свою голову в руках, локтями которых он упирался в колени, как окаменелый  
оставался в этом положении.

Вдруг он вздрогнул, поднял голову и стал глядеть напряженно вдаль к дому, от  
которого с горы, как бы несомая туманом, бежала детская фигура. По мере ее  
приближения волнение Куратова усиливалось.

– Где моя мать? – едва слышно проговорила девочка. – Отдай мне, отдай мне ее!

Куратов склонил голову перед девочкой и как бы молил ее о пощаде.

Девочка, призывая свою мать, горько рыдала. Куратов долго вслушивался в слезы  
ребенка и вдруг встал, взял дочь за руку и повел в дом.

К обеду на столе стояло два прибора. Куратов сидел мрачный за столом.

С этого дня дочь цыганки присутствовала каждый день при обеде и ужине Куратова.  
Кормилица из цыганок заменила ей мать. Сам Куратов ни о чем не заботился, что  
касалось его дочери, и только иногда, казалось, вспоминал об ее существовании,  
когда прибор за столом был не занят ею. Единственное участие оказал он к своей  
дочери – это взяв в дом учителя, дряхлого старика, некогда бывшего страстным и  
искусным охотником. Дочь училась мало, – разве только тогда принималась за  
уроки, когда уставала резвиться и гулять; но в этом она была неумолима.

В дом была взята дочь кормилицы, единственная подруга, какую имела дочь  
Куратова, подрастая быстро в жизни, полной свободы.

Смерть ее второй матери, казалось, скрепила дружбу еще сильнее между дочерью  
Куратова и детьми кормилицы. Они звали друг друга «ты», делили всё, что имели;  
игры и прогулки были общие. И только в присутствии Куратова видна была разница  
их положения в доме. Куратов, несмотря на всё свое равнодушие, строго взыскивал  
с живущих в доме за неуважение к своей дочери, которая не скучала ни равнодушием  
отца, ни однообразно, уединенною жизнью. Мрачное озеро, леса были для нее  
источниками беспрерывных удовольствий и развлечений. И эта дикая жизнь не имела  
никакого влияния на нежность характера Любы, – нежность, которая проявлялась не  
только в каждом ее поступке, но даже в каждом слове и взгляде. В доме все  
считали Любу наследницею всего имения Куратова, исключая самой Любы, которая  
никогда не помышляла о своем положении.

Часть девятая

Глава XLIII

Люба

Выше рассказаны обстоятельства и события, объясняющие характер Любы,  
образовавшийся под влиянием условий, совершенно противоположных тем, в которых  
развивался и жил Тавровский. Эта противоположность, может быть, была главной  
основой их сближения; встреча с таким человеком, как Тавровский, не могла не  
произвести впечатления на Любу. С своей стороны и Тавровский был поражен Любою.  
Простодушная доверчивость, ненапрянутая наивность и грация, не испорченная  
расчетливым кокетством, которое он так привык видеть в женщинах, даже  
простенькое платье Любы, ее детские занятия и веселая болтовня – всё в глазах  
человека, утомленного роскошью и рутиной городской жизни, имело необыкновенную  
новизну и привлекательность. Павел Сергеич был принят на короткую ногу в доме  
угрюмого старика, который, как бы вспомнив свою прошлую жизнь, стал задавать  
обеда, созывал соседей. Карты и вино появились в доме.

Тавровский продолжал видаться с Любой у ската горы, куда она приезжала со своими  
товарищами. После нескольких прогулок Люба уже не дичилась его. Да и Павел  
Сергеич так умел примениться к характеру девушки, что, видя его бегающего с

Любой вперегонку и потом в ту же ночь сидящего за карточным столом с Куратовым, никто бы не узнал в нем того же самого человека. Но Люба, к счастью, не видала его в такие минуты. Не имея сама еще прошлого, она не мучилась любопытством разгадать прошлое Павла Сергеича. Ей достаточно было заметить в нем один раз проблеск благородства души, чтоб твердо верить в его душевные достоинства. Недоверчивость к людям была еще чувством, не понятным девушке, воспитанной среди природы и не имевшей никаких столкновений с людьми. Если же в некоторых случаях недоверчивость и проявлялась в ней, то скорее как инстинкт, чем как следствие опытности. Например, Павлу Сергеичу много стоило труда уговорить Любу ездить одной на прогулки, потому что свита ее не очень была ему приятна. Цыган с своими мрачными и пытливыми взглядами уничтожал в Тавровском веселое расположение духа, а Стеша подслушивала его разговор с Любой и потом выкидывала с Павлом Сергеичем не очень нежные шутки. Вообще ему не нравилось слишком фамильярное обращение цыган с Любой, которая иногда сама краснела от слов и выходок Стеши и смущалась от взглядов ее брата. Несколько уже дней Павел Сергеич приезжал к скату горы, в полной надежде найти Любу одну, но ошибался. Стеша, казалось, сделалась ее тенью. Наконец Тавровский, после одной грубой выходки Стеши, объявил, что он не может выносить присутствия Стеши и ее брата. Строгий голос Павла Сергеича так подействовал на Любу, что она, несмотря на всю кротость своего характера, поссорилась с цыганкой и цыганом. Первая не уступила ей ни в одном слове, зато цыган не сделал ни одного возражения против желания Любы: он только страшно изменился в лице и исчез из дому. Пользуясь этим, Люба уехала одна к скату горы. Сердце ее болезненно сжималось при мысли, что она поступила несправедливо; но весла всё-таки действовали дружно, и щеки девушки, раскрасневшиеся от движения, зарделись еще ярче, когда она завидела черную точку на скате горы. В это время она более уже ни о чем не думала, как только о том, чтоб лодка плыла быстрее.

Тавровский давно уже был у ската горы. Красивое его лицо приняло такое торжествующее выражение, когда лодка подъехала к берегу, что Люба с минуту не решалась выйти на берег. Павел Сергеич прыгнул к ней в лодку и с жаром сказал:

– Как благодарить мне вас за вашу доверчивость ко мне!

Люба не поняла его благодарности и чуть не со слезами рассказала свою ссору дома.

Павел Сергеич старался всеми силами уверить Любу, что она поступила хорошо; но Люба тревожилась.

– Вы разве хотите остаться в лодке? – спросил Павел Сергеич, любясь девушкой, окруженной со всех сторон осокою.

– О нет! они, верно, ищут меня! – пугливо сказала Люба и спешила выйти на берег.

Павел Сергеич поднял Любу; она было взяла его под руку, но тотчас оставила его руку и сказала:

– Куда же мы пойдем? ведь всё равно лодку увидят.

– Она в осоке. Пойдемте.

И он снова взял руку Любы и продолжал говорить, как будто не замечая, что Люба пыталась освободить свою руку.

– Пойдемте на то место, где я вас в первый раз увидел. Я каждый раз захожу на эту площадку и думаю о вас.

Люба вся вспыхнула, потупила глаза, но не двигалась с места.

– Чего же вы боитесь? в первый день нашего знакомства вы были такая смелая.

– Тогда была Стеша... – поспешно начала Люба и, окончательно потерявшись, склонила голову на грудь, которая сильно подымалась.

– Но вы меня не знали, тогда, – а теперь? чего же вы боитесь?

И он почти против воли повел Любу за собой.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Тавровский замечал, что с Любой надо говорить и обращаться, как с ребенком: тогда она не дичилась его; и точно: лишь только голос его сделался прост, а взгляды обыкновенны, Люба, доверчиво опираясь на его руку, пошла за ним. Она сделалась весела, болтлива, совершенно позабыв и свое горе, и неловкость, которую чувствовала за минуту в присутствии Павла Сергеича. Тавровский, казалось, сам превратился в ребенка: он усердно гонялся с Любой по лесу за коньками и бабочками. Поймав, они разглядывали их радужные крылышки. Держа на ладони бабочку, Люба так была занята ею, что не чувствовала горячего дыхания на своей разгоревшейся щечке. Тавровский, казалось, завидовал насекомому, тоже разглядывая его. Люба, подняв голову, столкнулась с его головой; он стал извиняться.

– Я, кажется, вас ушибла? – говорила Люба, потирая свой лоб.

– Нет. Я вас ушиб.

– Вам больно! вы покраснели!

– О нет, мне больнее, когда вы забываете окружающих, любясь бабочкой.

– Ах, где она? я ее уронила! – вскрикнула Люба и, опустившись на колени, начала ловить прыгавшую по траве бабочку.

– Вот она! – кинув фуражку на бабочку, сказал Павел Сергеич. Став на колени и тихо поднимая фуражку, он прибавил: – Дайте скорее булавку.

Люба подала булавку и занялась приглаживанием пелеринки, которая от ветра рвалась с ее плеч.

– Вот она; любуйтесь! теперь она не улетит, – сказал Павел Сергеич и подал Любе фуражку, к которой была приколота бабочка.

Люба с ужасом вскрикнула.

Павел Сергеич пугливо осмотрелся кругом, думая, что Люба завидела какого-нибудь зверя; но она хлопотала около бабочки; вынув из нее булавку, она с грустью глядела на ее страдания и попытки лететь и сквозь слезы сказала:

– Что вы сделали: она теперь уж не полетит!

– Вы меня испугали! Я думал, бог знает что вы увидели, – смеясь, отвечал Тавровский.

– И вам не жаль? посмотрите, сколько пыли уже слетело с ее крылышек!

– Не беспокойтесь: она сейчас полетит.

Люба с грустью продолжала глядеть на бабочку; но вдруг лицо ее озарилось улыбкой; закинув свою головку, она радостно следила за поднимающейся на воздух бабочкой.

Павел Сергеич, стоя почти на коленях, следил не за полетом бабочки, а за Любой, которая наконец совершенно закинула головку назад, щурилась и улыбалась, провожая глазами бабочку вверх.

– Ну, теперь вы не сердитесь на меня? – спросил он.

– Нет! – покойно отвечала Люба, закрывая глаза ладонью от солнца.

– Ну а если б она умерла?

Люба взглянула на Павла Сергеича и медленно отвечала:

– Я бы очень рассердилась на вас.

– За что же? она и так скоро бы умерла, как только настала бы осень: холод...

Люба задумалась, но потом поспешно сказала:

– Неужели вы не знаете, что к холоду бабочка превращается в куколку?

– Да я вообще ничего не знаю из естественной истории.

– Хотите, я вам подарю? у меня она есть, с картинками.

– Хорошо. Дайте вашу ручку поцеловать за это.

Люба быстро встала; Павел Сергеич последовал ее примеру.

– Если не хотите дать поцеловать вашей ручки, то хоть опируйтесь ею на мою.

И они пошли под руку.

– Знаете ли что: так как мы будем на том месте, где я вас видел в первый раз, то, чтоб живее его вспомнить, говорите со мной, как тогда говорили.

Люба не скоро поняла, чего хотел Тавровский, и никак не соглашалась говорить ему «ты». За спорами она не заметила, как они подошли к площадке, которая вдаль вся пестрела роскошными цветами; ароматный запах их разносился по лесу.

– Что это как чудесно пахнет? – с недоумением спросила Люба, впивая в себя воздух.

– Цветы близко, – улыбаясь, отвечал Тавровский.

– Какие цветы – здесь, в лесу? – засмеявшись, сказала Люба, но вдруг, радостно вскрикнув, кинулась бежать к площадке.

Не скоро могла она прийти в себя от удивления и восторга, очутясь в роскошнейшем цветнике. Бегая и оглядываясь кругом, она твердила:

– Это то место, это оно!

Павел Сергеич наслаждался удивлением простодушной девушки. Подойдя к ней, он указал на небольшую беседку, сделанную из кустов роз, и сказал:

– Узнаете ли вы то место, где вы лежали? Я давно желал вас привести сюда одну, потому что оно для меня очень дорого.

Люба ничего не отвечала, так что нельзя было узнать, поняла ли она смысл слов Павла Сергеича. В каком-то упоении она стала бегать по цветнику, нюхать то один цветок, то другой, спрашивала Павла Сергеича о названии некоторых. Вдруг она остановилась и, смотря ему в глаза, спросила робко:

– Это всё для меня?

– Для кого же? – с упреком спросил он.

Люба задумалась и снова пустилась бегать по цветнику, срывала цветы и плела венки.

Павел Сергеич, сидя в беседке, любовался радостью девушки и мысленно сравнивал ее с другими женщинами, которых встречал в жизни. То расчет денежный, то самолюбие, казалось ему, двигали ими, и он решил, что единственно такая женщина, как Люба, способна сделать его счастливым. Он рассуждал так: «Я слишком много дурного видел в женщинах и потому не испытывал тех чувств, какие питаю к этой девушке. Это ребенок, которого, может быть, я не полюблю никогда страстной любовью». Вот о чем только думал Павел Сергеич; о будущности, тем более о чужой, он не имел привычки рассуждать.

В эту минуту Люба, с пылающими щеками и взглядом, полным восторга, вбежала в беседку и села возле Павла Сергеича. Счастье, казалось, мешало ей говорить; она глядела на Тавровского и тихо смеялась. Сняв с головы только что сделанный ею венок, она надела его на голову Павла Сергеича и любовалась им. Они несколько времени ничего не говорили, смотря друг другу в глаза.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Ну что же, будете вы говорить со мной, как в первый день, когда я вас увидел здесь? – подавая Любе венок, спросил Тавровский.

Люба, улыбнувшись, кивнула головой.

Павел Сергеич, наклонясь близко, шепнул ей на ухо:

– Люба!

Люба, вздрогнув, схватилась за ухо рукой, до которой тотчас коснулись горячие губы Павла Сергеича.

Люба отняла руку от уха, у которого вновь почувствовала дыхание, и снова она содрогнулась от звука собственного имени, тихо произнесенного.

Люба как бы потерялась. Она хотела встать; но Тавровский удержал ее слегка, и Люба, сев опять, вдруг смело взглянула ему в лицо... и почти шепотом, дрожащим голосом сказала:

– Ты меня любишь?

Павел Сергеич, склонив голову к ее плечу, восторженным голосом отвечал:

– Люба, одну тебя люблю из всех женщин!

– Я давно уж люблю тебя; но боялась сказать, мне было стыдно.

– Люба, ты сведешь меня с ума! перестань! – воскликнул Павел Сергеич и, подняв голову, смотрел прямо в глаза Любы, которая доверчиво скрыла свое пылающее лицо к нему на грудь.

Таеровский бережно отвел голову Любы, встал и начал ходить по цветнику. Люба в свою очередь следила за ним из беседки, но ни о чем не думала. Мысли все перепутались у ней в голове; сердце билось с такой силой, что ей казалось, будто она слышит даже удары его. Руки ее машинально перебирали еще не успевшие завянуть цветы в венке. Но она пугливо пошла навстречу Павлу Сергеичу: лицо его так было непохоже на то, каким она привыкла его видеть.

– Вы хотите идти отсюда? – сухо спросил Павел Сергеич Любу.

Она робко отвечала:

– Да.

Павел Сергеич подал ей руку, и они молча вышли из цветника.

Головка Любы поминутно оборачивалась назад, и она бросала грустные взгляды то на Павла Сергеича, шедшего с потупленными глазами и нахмуренными бровями, то на удалявшиеся цветы.

Как вдруг Люба пугливо шепнула:

– Она здесь!

Тавровский вздрогнул и быстро повернул голову. Стеша шла вдали. На ее голове был тоже венок. Она, как бы не замечая их, скрылась за деревьями. Люба хотела остановить свою подругу, но Павел Сергеич не допустил ее, сказав:

– Не делайте этого: мне ужасно не нравится ее дерзость.

– Она шутит.

– Таких шуток не надо позволять ей, – строго заметил Павел Сергеич.

Молчаливые оба, они прибыли к скату горы. Стеша поджидала их, а ее брат стоял в лодке у берега с веслом в руке.

Люба очень сконфузилась; ей живо вспомнилось мрачное лицо цыгана при их недавней



Стеша настойчиво сказала ей:

– Садись в лодку.

Люба хотела было идти; но Павел Сергеич остановил ее и сказал:

– Что вы делаете? к чему вы их так слушаетесь?

– Да он будет сердиться! – сквозь слезы отвечала Люба.

– Что же будет вам неприятнее: рассердить его или...

– Я приду завтра... – шепотом перебила его Люба.

– Одна?

– Да.

И Люба, кивая дружески головой Павлу Сергеичу, шла в лодку к цыгану, который быстро отчалил от берега и стал грести с необыкновенной силой.

Стеша, оставшись на берегу, насмешливо глядела на Павла Сергеича, который пошел в лес, когда уже лодка едва стала заметна на воде.

– Разве ты ее любишь? – обежав Павла Сергеича и заслоняя ему дорогу, спросила Стеша.

– А тебе что за дело? – сухо отвечал Павел Сергеич. – И кто тебе сказал это?

– Я сама знаю!

– Так ты очень глупа.

Стеша вздрогнула: кровавый румянец разлился еще сильнее по ее щекам, и она презрительно поглядела на Павла Сергеича и язвительно сказала, указывая в лес:

– Она уж больше не придет туда; там ей не из чего будет делать венки-то! – И Стеша побежала к берегу, села в лодку и, бросив платок к Павлу Сергеичу, крикнула: – Возьми еще платок, чтоб вытирать слезы, когда будешь ее поджидать.

Тавровский погрозил Стеше пальцем. Она отвечала ему принужденным смехом.

Павел Сергеич был очень поражен, заметив свой вензель на платке: он совершенно забыл, что в первый день знакомства с девушками обвязал этим платком ушибленную голову Стешы.

Лодка скрылась с озера; только венчик, бывший на голове Стешы, одиноко и тихо качался на воде, как бы в раздумье, куда ему плыть.

Павел Сергеич страшно рассердился, возвратясь в цветник: все цветы в нем были помяты, беседка испорчена; он долго оставался в ней, то припоминая слова и взгляды Любы, то возмущаясь дерзостью Стешы...

С этого дня Люба более уже не ездила к скату горы. Стеша насаждала Куратову, будто Люба, катаясь одна, чуть не утонула. Куратов принял строгие меры, чтоб дочь его не каталась одна по озеру. Эти препятствия не охладили Тавровского, а напротив, подстрекали его настойчивый характер. Он выдумывал разнообразные хитрости, чтоб хоть минуту побыть наедине с Любой. Один взгляд Любы, брошенный ему украдкой, или случайное прикосновение ее руки сильно действовали на него. Он столько раз был любим, что самонадеянность сделала его равнодушным к женщинам и в то же время недоверчивым: ему не раз случалось открывать расчет там, где он предполагал чувство. Как старику лестно внимание молодой женщины, так и Тавровскому льстила любовь невинной и почти дикой девушки, исполненной чистой и поэтической детской любви. Она не думала о будущем, мысль о замужестве не входила в расчеты; при ней не было ни расчетливой тетки, ни заботливой матери, которая научила бы ее, как действовать, чтоб не упустить выгодной партии.

Куратов по-прежнему не обращал внимания на свою дочь и решительно не подозревал настоящей цели знакомства с ним Тавровского.

Павел Сергеич задавал у себя в деревне пиры, на которые приглашал Куратова и Любу. Фейерверки, иллюминации и разные другие увеселения были новостью для девушки, жившей в лесу. Люба в первый раз видела общество. Она дичилась его; но внимание хозяина и ее красота делали ее первой везде. Любе стоило только победить свою робость, чтоб говорить со всеми и приводить всех в восторг. Она в несколько уроков, данных Павлом Сергеичем, грациозно вальсировала. И соседи, знавшие воспитание, какое давал Куратов своей дочери, не могли надивиться, где это она выучилась всему. Девушке, не испорченной никакими нанятыми наставницами, ни строгою заботливостью, чтоб она походила на жеманную куклу, ни обществом многочисленной свиты горничных, легко перенять слишком простые условия порядочного круга.

Приближался день рождения Любы. Павел Сергеич в этот день назначил у себя в деревне праздник и пригласил множество гостей, а в том числе Куратова и его дочь.

В доме его совершались страшные приготовления. Ломались стены в комнатах: прилаживали сцену и партер. Тавровский готовил Любе сюрприз, так как она еще не имела понятия ни о каких сценических представлениях.

#### Глава XLIV

##### Старые знакомые

В городишке Н, в худшей из его двух улиц, стоял одноэтажный каменный дом, до того старый, что штукатурка местами отвалилась и виднелся кирпич, отчего дом напоминал больного. Окна были испещрены прихотливыми изгибами замазки, которая скрепляла множество зеленоватых стеклушек, заменявших цельные стекла. Одно стекло было разбито, и из него торчала засаленная подушка. Из раскрытого окна этого дома слышались звуки шарманки, визг собак, плач детей и крикливые голоса женщин.

День был летний и жаркий; на улице глухая тишина; редкие пешеходы непременно останавливались у дома, прислушиваясь к разнообразным крикам, и пытались заглянуть в запыленные и изувеченные зеленоватые стекла. Уличные мальчишки карабкались к раскрытому окну, занавешенному до половины дырявым большим шерстяным платком, стараясь заглянуть в комнату, но пугливо бросались на землю от жилистого кулака, являвшегося из-под платка и сопровождаемого грозною бранью на нечистом русском языке.

Комната, раздражавшая любопытство каждого, кто шел мимо, заключала в себе довольно странную коллекцию зверей и людей. Внутренность ее – стены и потолок – были подвержены такой же болезни, какую страдала наружность дома. Комната имела широкий размер; она была длинна и узка, как будто тот, кто строил ее, желал сделать коридор, а не комнату. Дырявые бумажные ширмы расставлены были по разным направлениям окон и стен. Несколько кроватей беззастенчиво красовались в простенках. Комната разделялась на две главные части легкой перегородкой, сколоченной из досок; середина ее была занята мелкими владениями. В первой половине комнаты, захватывавшей два окна, происходила следующая сцена. Играла шарманка, оглашая комнату пронзительными звуками. Слепой старик, весь в лохмотьях, вертел не без усилия ручкой шарманки. Она была огромная и помещалась на подножке, к которому было привязано штук десять мелких собачонок в разных фантастических нарядах: они жались друг к другу, жалобно взвизгивая каждый раз, как их собратка по ремеслу, прыгавшая на задних лапках, в красном платье и шляпке с петушиными перьями, получала удары прутом от высокой женщины, ходившей кругом с бубнами в руках и страшно кричавшей на бедное животное, и без того уже заробевшее. Наставница собак имела соответственную занятию строгость и непоколебимость в выражении своего длинного лица с серыми глазами, далеко расставленными друг от друга, и таким носом, что половину его смело могла уступить другому; большой рот с кривыми зубами напоминал пасть какого-то плотоядного животного. Белокурые и с проседью волосы были скрыты под тюлевым чепчиком, завязки которого перетягивали костлявый подбородок, украшенный редкими длинными желтоватыми волосами, преимущественно с одной стороны. Верхняя губа слегка была покрыта тоже волосами.

Длинная, плоская, но широкая фигура ее была облечена в ситцевую пеструю юбку и

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
камлотовый малиновый спензер, у которого рукава были с буфами на плечах. Наряд  
ее довершал черный передник с карманами, из которых торчали какие-то палочки,  
игрушечная мельница и другие подобные принадлежности собачьих представлений.

Обезьяна, в красном распашном капоте и фуражке на голове, озабоченно прыгала со  
стула на пол и обратно, попискивая и стараясь освободить свое горло от веревки,  
которую была привязана к ножке стула. Грязный белый пудель в чепраке, сидя возле  
слепого, зорко поводил глазами за каждым движением прута наставницы собак.

У соседнего окна, которое было раскрыто и завешено дырявым платком, происходило  
другого рода учение.

Главное лицо представлял здесь итальянец пожилых лет, с лицом, не отличавшимся  
кротостью и привлекательностью, атлетического сложения, которое резко  
выказывалось от грязного белого трико, натянутого на нем. Красные коротенькие  
панталоны с блестками прикрывали его живот. Ноги его были обуты в грязно-желтые  
сапоги. Итальянец своими жилистыми и огромными кистями, резко отделявшимися от  
белого трико, плохо натянутого на его руках, устанавливал на свою голову,  
обросшую стоящими дыбом, как щетина, волосами, мальчика лет шести в таком же  
грязном трико и дырявых башмаках. Ребенок, дрожа, искал эквилибру, но не мог  
найти, – может быть, потому, что жилистые ручищи итальянца поминутно щипали  
тощие икры ребенка. Итальянец кричал на него:

– Стой, модита, держись!

И если ребенок терял баланс и летел с головы наставника, итальянец ловко ловил  
его на лету за руку или ногу, отчего кости у ребенка хрустели и он вскрикивал;  
итальянец устанавливал его вновь, еще сильнее браня и пощипывая.

Подле этой группы мальчик, почти таких же лет и в таком же наряде, как стоявший  
на голове итальянца, то силился удержаться на голове, то кувырчался, падал,  
стучался и снова повторял одни и те же штуки, поглядывая робко на итальянца,  
который, подхватив упавшего опять с его головы ученика, подбросил его выше и  
отпустил назад. Ученик, пронзительно взвизгнув, упал к передним копытам вороной  
маленькой лошаденки в желтом чепраке и с перьями на голове, лежавшей у стены.  
Лошадь пугливо вскочила и заржала; собаки залаяли, потом завизжали от ударов  
своей наставницы. Шарманка издала унылый звук и замолкла; игравший зажал уши. С  
минуту крик и гам был страшный в комнате. Женские лица выглянули из-за ширм, и  
посыпались выговоры итальянцу за кроткое обращение его с детьми.

– Что ты их не высечешь хорошенько перед уроком? Стояли бы в струнку! – крикнула  
заспанная женщина лет двадцати с подозрительным румянцем и белизной в лице.

Трех зубов у нее недоставало наперед, огромный шрам шел по всей щеке. Белокурые  
остриженные волосы были завернуты в пукли и зашпилены огромными шпильками. Одета  
она была в коротенькое ситцевое платье с открытыми лифом и рукавами; полные ноги  
ее были обуты в розовое трико и танцорские башмаки.

Позевывая и потягиваясь, она поджала ноги под свою коротенькую юбку и снова  
расположилась заснуть. Но в эту самую минуту вбежала в комнату старая худошавая  
женщина, бедно одетая; на голове ее повязан был платок; по ее мокрому переднику  
и рукам в мыле легко можно было угадать ее занятие. Она кинулась к упавшему  
мальчику, которого итальянец уже держал на воздухе за волосы, а наставница собак  
хлестала розгой.

– Ну, полноте: я ведь сколько раз вам говорила, чтоб их не бить! – вырывая  
мальчика из рук итальянца, кричала худошавая женщина.

– Как же хочешь их учить? – спросила наставница собак.

– Его надо бить: умней будет! – подхватил итальянец.

– Возьми розги, а уж руками не дерись, и так на что они похожи! – выходя из  
себя, кричала женщина так громко, как будто слушатели ее стояли за полверсты от  
нее.

– Балуй, балуй их, скоро они так выучатся! – заметила женщина со шрамом на щеке.

– Да помилуйте, Юлия Ивановна! вон какой желвак опять вскочил, – рассматривая лоб у плакавшего ребенка, отвечала более тихим голосом худощавая женщина, повязанная платком.

– Экая важность! меня так учили не так: сколько раз голову-то проламывали; а небось...

– То-то такая отважная и вышла! – раздался чей-то хриплый голос из-за ширмы, стоявшей вблизи от кровати той, которую худощавая женщина, защищавшая детей, называла Юлией Ивановной.

Смех раздался за легкой перегородкой. Юлия Ивановна вскочила с постели и, приняв грозную позу, выразительно сказала:

– Я вам задам, пересмешницы, а тебе, старому, зажму рот!

– Юлия, Юлия! – кричала наставница собак и прибавила по-немецки: – Оставь русских мужичек.

Юлия залилась смехом, повторяя фразу, сказанную наставницей собак.

Дверь в легкой перегородке раскрылась, – выскочили три женские фигуры, в один голос крича:

– Фиглярка, скакунья, стрекоза!

Особы, выскочившие из-за перегородки, уже известны нашим читателям. Это три сестры, девицы Щекоткины: Настя, Мавруша и Лёна.

Время мало имело на них влияния; только у Мавруши еще реже стала ее микроскопическая коса, Настя потучнела, а у Лёны зубы еще более почернели.

Две партии уже приготовились было в атаку, перестреливаясь бранью; к Юлии присоединилась наставница собак; но в ту минуту появился старик в халате, с чубуком в руке, и, махая им между враждебными партиями, сказал повелительно:

– Опять! да будете ли вы вести себя как следует? Я вот перескажу всё Петровскому: он вас уймет!

Женщины попятились назад, и наставница собак сказала с надменностью:

– Я и смотреть не хочу на него.

– Да я ему в глаза скажу, что он обманщик: чего-чего не сулил нам! как сманивал! а? а теперь вот сколько времени сидим на одном месте!

– Хорош содержатель труппы: костюмы-то все заложил! – презрительно заметила Настя.

– Как можно без денег набирать труппу! – вздохнув, сказала Мавруша.

– В тюрьму его самого-то посадят скоро; да, право, мы дуры, что сидим здесь, – подхватила Лёна.

– Эх раскудахталась! скорее он дурак, что такую рухлядь таскает с собой, – насмешливо сказал старик в халате.

Юлия громко засмеялась, и наставница собак басом вторила ей. Сестры бросили злобные взгляды на Юлию и старика и, проворчав себе под нос не очень лестные эпитеты им обоим, скрылись за перегородкой, откуда долго еще слышалось их недовольное ворчанье.

Юлия каталась по постели, продолжая смеяться.

Старик скрылся за ширмы; заглянув туда, худощавая женщина сказала:

– Дай-ка мне, родной, мази-то, что намеднись давал. Опять лоб разбил себе, – прибавила она, указывая на мальчика, которого держала за руку и с лица которого

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
исчезли уже слезы.

– Вот дура старая, дура; ну что ты их ломать-то даешь! – отвечал старик, лежа на постели, над которой на гвоздиках висели парики, бороды и костюмы.

Простой деревянный стол со шкапом да стул составляли всё имущество его.

– Да как же, батюшка! ведь, бог даст, свой кусок будут иметь, – обиженным голосом заметила худоцавая женщина.

– Разве нет другого ремесла, кроме кривлянья? – спросил старик с упреком.

– Да что же мне делать! ведь я чуть жива сама-то, а надо четыре души накормить. Сами знаете мои года. Да еще хоть бы муж был не лежебок! Какие здесь господа живут! где достанешь работы?.. Куда же я денусь с ними?

И худоцавая женщина заплакала.

– Полно, Кирилловна; теперь уж слезами не поможешь. К чему было дочь-то прочить в актрисы? – сказал старик.

– Так, по-вашему, мне ее было у корыта поставить? – с сердцем спросила Кирилловна.

(Читатель потрудится вспомнить прачку города NNN, имевшую такое страстное желание сделать свою дочь актрисой; это была она. Эта несчастная женщина забрала себе в голову, что сценическое поприще самое выгодное, и теперь, недавно схоронив свою дочь, пустила на это же поприще двух ее малюток – своих внуков.)

– А разве лучше ей было бродить по ярмаркам с детьми?

– Всё-таки не у корыта стояла! – вытирая слезы, отвечала Кирилловна.

– Экое бабье упрямство! – проворчал старик,

– Мази-то?

– Возьми в шкапу!

– Щец прислать? – уходя от старика, спросила Кирилловна.

– Селедочки кабы! – отвечал старик.

Кирилловна крикнула детям, чтоб они шли обедать, а сама остановилась мимоходом у кровати Юлии, на которой были разложены накрахмаленные юбки, коротенькие, с блестками, плисовые корсажи, мятые цветы, бусы.

Юлия сидела на корточках у большого сундука, выдвинутого из-под кровати, поставленной, как нарочно, у самого окна, в котором одно стекло было выбито и заткнуто подушкой. Бумажные ширмы о трех половинках были отягчены салопами и платьями. Маленький стол, покрытый салфеткой, стоял в простенке; на нем – маленькое зеркальце, алебастровый зайчик, щетка и другие принадлежности туалета. На огромном крючке, вбитом в стену, вероятно для большого зеркала, висела соломенная старомодная шляпа с перьями и цветами и испытывавшая немало проливных дождей и пыли.

Юлия, не обращая внимания на присутствие Кирилловны, продолжала рыться в сундуке.

Кирилловна, постояв молча и бросая завистливые взгляды в сундук, наконец сказала со вздохом:

– Будь-ка жива моя дочь, то ли бы еще у ней было! – Юлия с презрением посмотрела на Кирилловну, которая поспешно продолжала. – Ей-богу, Юлия Ивановна, хоть верьте, хоть не верьте, а моя Катя была красавица!

– То-то дети на шее у тебя и остались! – заметила Юлия и вслух стала считать по-немецки несколько пар чулок, сложенных вместе.

– Купленные? – спросила опять Кирилловна.

– Нет, дареные! – с гордостью отвечала Юлия. И, вынув синюю лекарственную коробочку из бокового ящика сундука, она открыла ее и, показывая Кирилловне, прибавила: – Вот и эти серьги тоже.

На вате лежали длинные и большие серьги с разноцветными камнями.

– В сорочке, видно, родилась! – с грустью заметила Кирилловна и, пощупав юбку, прибавила: – А ведь отсырела, а уж какой густой крахмал я варила.

– Еще бы! на гнилом полу стоит сундук-то.

Их разговор был покрываем звуками шарманки, визгом собак, прыгавших на задних лапках перед их наставницей, и криками итальянца, голос которого заглушал всё:

– А скажи-ка, маленька лошадка, сколько в году месяцев?

Этот и подобные вопросы относились к вороной маленькой лошадке с перьями.

Но весь гул, крик и визг разом утихли при появлении в комнату молодого мужчины, довольно красивого, но не отличавшегося особенно умным выражением лица, которое сияло радостью. Он торжествующим голосом закричал:

– Остроухов! Остроухов! радость!

Старик в халате выглянул из-за своих ширм.

Перемена в Остроухове, с тех пор как мы с ним расстались, была значительная. Морщины его как будто все налились. Волосы почти были седые, спина согнулась. Голос был хрипл и сиповат.

– Живее, на ноги все! – говорил молодой человек.

– Да что, Петровский, что такое с тобой? – проворчал Остроухов.

– Да вот, видишь, бегу выкупать костюмы.

И Петровский, вынув из кармана деньги, поднял их кверху, потрясая ими в воздухе и простодушно заливаясь смехом, до того искренним, что Остроухов усмехнулся тоже.

На деньги, как вороны, слетелись со всех углов особы, находящиеся в комнате. Даже и слепой побрел было ощупью, но, споткнувшись о стул, остался около него и жадно прислушивался к крикам говорящих.

– А какая цена за представление? – кричала Лёна.

– Недаром я видела во сне сегодня, что наша покойница такие пышные хлебы вынимала из печи, – говорила Мавруша Насте, которая отвечала:

– А я – будто мне какой-то господин с усами подал табаку. Я...

И Настя остановилась, перебитая Петровским, который кричал:

– Всё забирайте: дорога не на мой счет.

– А собак? – басом спросила их наставница.

– Всё нужно!

– Да к кому это ты нас поведешь? – спросил Остроухов.

– В имение к графу Тавровскому.

Лицо Остроухова всё передернулось, и он поспешно спросил:

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Он молод? не женат? ты его видел?

– Нет! Камердинер его со мной рядился. Он говорит, что барин его холостой и молодой.

– Неужели это он? – погрузаясь как бы в раздумье, ворчал Остроухов.

– Смотрите, роли, какие есть, все пройдите; репетиций некогда много делать! – обращаясь к сестрам, заметил Петровский.

– Это надо было бы вот ему сказать, – обидчиво заметила Лёна, указывая на Остроухова, который что-то медленно шевелил губами, стоя понурился голову.

Петровский ударил Остроухова по плечу, отчего старик вздрогнул и поглядел на него как-то странно. Петровский сказал:

– Ну, брат, уважь мою просьбу: покрепись – ведь сколько времени была воля!

– Да ему столько же надо еще времени, чтоб выспаться, – заметила Лёна.

И общий смех прикрыл ее слова.

Остроухов, казалось, не понял, что был предметом смеха.

Петровский, скрывшись с ним за ширмами, с жаром говорил ему о выгодных условиях, заключенных с Тавровским.

– Кирилловна, не жалея крахмалу-то. Крепче накрахмаль юбки! – говорили сестры.

– Трико, мне трико приготовь! – кричала Юлия, напевая какой-то вальс.

Всё говорило, шумело, спорило в комнате, на лицах всех было одушевление; апатия, царствовавшая за минуту, исчезла.

– Господа, господа! – кричал Петровский, выходя из-за ширм Остроухова.

В комнате всё замолкло.

– Я пойду к нашим, а вы собирайтесь: завтра, как жар спадет, мы и двинемся! – повелительно говорил Петровский, как вождь своему войску, и, не без торжественности надев шляпу, вышел из комнаты.

Оставшиеся разбрелись по своим углам. Итальянец принялся снова за установление детей на свою щетинистую голову, наставница собак – за пуделя, на которого была поставлена обезьяна. Шарманка гудела в комнате, прикрывая крики учителей. Юлия, распевая и держась за спинку кровати, делала батманы и антраша. Прачка, обложенная грязным бельем, считала его.

Вошли двое молодых мужчин, одетые в трико, как итальянец, с длинными волосами, которые придерживались обручиками, перевитыми лентами. Один из них имел поразительное сходство с наставницей собак. Только нос его был еще огромнее и приплюснут. Впрочем, занятие его, может быть, много способствовало этому. Он устанавливал на своем широком носу стул, потом палку, наверху которой помещалось чугунное ядро. Кроме того, он играл пудовыми гириями, как мячиком. Товарищ его был худ до невероятности, со впалыми глазами и грудью, и смуглота его представляла резкий контраст с желтоватым лицом и волосами силача. Господин со впалой грудью, расставив ноги широко и подняв голову кверху, играл искусно множеством медных шариков с погремушками; то же самое он делал с ножами и вилками.

Потом господа в трико все соединились, и из них составлялись пирамиды. Детей устанавливали на голове и заставляли их дрожащими руками делать ручки и посылать на воздух поцелуи.

Сестры, за своей перегородкой, находились тоже в хлопотах.

Угол, занимаемый ими, был довольно велик; но в нем всё так было грязно и разбросано, что места не было ступить, чтоб не задеть чего-нибудь. Мебели

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a решительно не было никакой; сундуки заменяли им столы, кровати и стулья. Посреди полу была разложена вата, приготовленная для стегания. Настя, с неизменным чубуком во рту, поджав ноги как турок, сидела на сундуке, на котором лежали две подушки; она бормотала скоро, заглядывая по временам в тетрадь, которую держала в руках.

Мавруша укладывала платье в сундук. Лёна, сидя на полу, натягивала на свои ноги желтые сапожки.

– Лёна, не жись; они и зимой-то тебе со слезами влезали, а уж в жар, известно, нога опухает, – говорила Мавруша.

Но Лёна не слушалась советов своей сестры; натянула сапоги и, прихрамывая, стала прохаживаться по комнате.

– Что, жмут? – насмешливо спросила Настя между чтением.

– Посмотрим-ка, как ты свое платье стянешь? – небось расплылась! – тем же ироническим голосом отвечала Лёна.

– Небось от твоей стряпни?

– Ну так что же сама не стряпашь, коли не нравится! – сердито отвечала Лёна.

– Еще бы понравился вчерашний пирог: весь развалился... ха-ха-ха!

И Настя громко засмеялась.

Лицо Лёны приняло грозное выражение, вероятно от боли, производимой узкими сапожками. Мавруша, кинувшись между сестрами, настоятельно сказала:

– Ах, сестрицы, ведь сегодня память нашей матушки, а умирая, она только и просила, чтоб мы жили в дружестве и согласии.

– Экая важность! – крикнула Лёна, сев на пол, и, страшно морщась, стала снимать сапожки.

– Уживись с ней! – проворчала Настя и снова принялась читать роль.

– Экие проклятые: как занули! верно, завтра дождь будет! – потирая свои ноги, говорила Лёна.

– Ты бы их размочила да и сняла тихонько, – заметила Мавруша, продолжая укладываться.

– Бывало, покойница в бане булавкой так снимала мозоли, что только что щекотно.

– Пожалела наконец и о ней! – заметила с упреком Настя.

– Небось ей мало от тебя доставалось! – запальчиво отвечала Лёна.

– Сестрицы! – воскликнула Мавруша, и, верно желая отвлечь сестер от предмета их разговора, она продолжала: – Я, право, не знаю, к чему он скакунов-то с собой тащит!

– Вот уж, я думаю, Юлька-то будет кривляться! – заметила Лёна.

С минуту сестры вели разговор довольно дружелюбно, – может быть, потому, что мнения их сошлись. Они рассуждали о недостатках Юлии. Наконец в комнате настала тишина. Лёна, вычистив табаком зубы, лежала бледная на сундуке, а Мавруша выщипывала седые волосы у Насти, которая сладко дремала.

Шарманка более не играла, собаки не визжали. Остроухов и слепой сидели вместе за ширмами; у каждого в руке были рюмочки, обратившиеся в стаканчики, и они толковали о предстоящей поездке. Всё движение из комнаты перенеслось на грязный двор, в котором был отгорожен круг из барочных досок: в нем скакала на старой кривой лошади Юлия, принимая различные позы и драпируясь в грязный кусок крепа. Господин в трико, со впалой грудью, с бичом в руке, поощрял ударами лошадь.



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Товарищ его, с широким носом, подбрасывал детей ногами, лежа на ковре, разостланном на дворе. Наставница собак занималась шитьем нового костюма своим питомцам, разговаривая то с Юлией, то с Фрицем, как она звала господина с широким носом.

Итальянец возился с вороной лошадей и страшно кричал:

– А скажи, маленька лошадка, сколько тебе годов? – Лошадка проводила копытом четыре раза по земле. – Четыриста? Нет? Четыри месяцев?.. Нет?.., четыре дней? нет?.. А-а-а, че-ты-ри годов? а-а-а?..

И итальянец заставлял маленькую лошадку свою кивать головой в знак согласия, что ей четыре года.

Зрителей было довольно: всё, что жило в доме, смотрело из окон, а щель под воротами была вся унизана головами уличных ребятишек, в которых с наслаждением бросали камнями дети в трико во время роздыхов своих.

Глава XLV

Праздник

Приезд кочующей труппы произвел сильное волнение во всей деревне.

Всё сбегалось смотреть, как волтижеры въезжали и входили в барский двор.

Юлия ехала в деревянной колеснице, управляя тремя лошадейми, разукрашенными перьями. Сама она была одета в какое-то газовое платье с блестками, с крылышками назади. Голова была убрана измятыми цветами. Юлия держала в руке золотую палочку, которою размахивала в воздухе. Фриц и его товарищ ехали, в костюмах очень пестрых, верхом; дети бежали возле них, кувиркаясь и цепляясь за хвост лошади. Наставница собак вела пуделя, на котором сидела обезьяна в гусарской курточке с саблей наголо. Другие собачонки бежали сзади, попарно, связанные веревками. Итальянец вел свою маленькую лошадку. Слепой играл на шарманке, весь согнувшись под ее тяжестью.

Сестры-артистки и другие актрисы и актеры труппы Петровского прибыли позже в кибитках и старых экипажах Тавровского.

Остроухову, как опытному актеру, Петровский всегда поручал устроить и приладить всё. Эти занятия, казалось, оживили старика. Спина его выпрямилась, глаза блестели, голос сделался чище; и часто, выхватив топор из рук неопытного плотника, Остроухов сам прилаживал дерево или лазил по кулисам, развешивая лампы.

Павел Сергеич присутствовал очень часто на сцене и однажды чуть не был ушибен дверью, которую тащил Остроухов, делая репетицию плотникам.

– Посторонись! – крикнул ему Остроухов, с усилием таща дверь.

Тавровский отскочил в сторону, но потом снова кинулся к кулисе и, приняв ее из рук Остроухова, поставил на место, спросив:

– Тут ей стоять?

– Здесь! – отвечал Остроухов, вытирая пот с лица рукавом своей рубашки и пристально глядя на Павла Сергеича, который спросил его:

– Ты бутафор или декоратор труппы?

– Всё что угодно. «Сам и пашет, сам орет и оброк с крестьян берет», – кланяясь, отвечал Остроухов и прибавил: – Не имею ли чести говорить с самим господином Тавровским?

– Да! как же вы меня узнали? а ваша фамилия?

– Остроухов.

– Остроухов... – протяжно повторил Тавровский, как бы припоминая что-то.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Вы могли слышать обо мне только от одного лица, – заметил Остроухов  
нерешительным голосом.

– От кого? – быстро спросил Тавровский.

– Любская... – медленно произнес Остроухов.

– Я знаю ее! – отвечал поспешно Тавровский.

– Позвольте узнать, где она теперь, счастлива ли?..

Тавровский ничего не отвечал на вопрос Остроухова и, глядя пытливо на него, спросил:

– Вы родственник ей?

– Нет! – со вздохом отвечал Остроухов и с жаром прибавил: – Я принимаю в ней...

– А-а-а! вы, верно, были влюблены...

– Я слишком стар и беден был и тогда, чтоб быть соперником...

Тавровский усмехнулся и перебил его:

– Вы, как я вижу, знаете все тайны Любской.

– В то время как я знал ее, она была самая несчастная...

– Ну, будьте покойны: она теперь не может жаловаться на свою судьбу.

В голосе Тавровского заметна была ирония; но ее мог подметить только тот, кто коротко знал его. Остроухов же с чувством схватил было его руку и хотел пожать, но, опомнясь, выпустил и пробормотал:

– Извините... радость... я ее люблю, как родную дочь.

Тавровский протянул руку Остроухову и с любезностью сказал:

– Я очень рад познакомиться с вами, господин Остроухов.

И они пожали друг другу руки.

Тавровский тотчас переменял разговор, начал расспрашивать о состоянии трупы и чрез несколько минут, как бы вспомнив о чем-то, поспешно пошел со сцены. Остроухов долго стоял на одном месте, посреди гама и шума, происходившего вокруг него...

Настал день рождения Любы, которая с отцом и другими соседями приехала с вечера к Тавровскому.

С самого раннего утра начались сюрпризы для Любы. Комната, смежная с тою, где она спала, в ночь была уставлена потихоньку любимыми ее цветами. Попугай сидел в золоченой клетке, маленькая левретка лежала на ковре. Люба проснулась от следующей фразы:

– Любочка, пора вставать. Люба, bonjour [3]!

Люба соскочила с постели и кинулась к двери; она тихонько заглянула в нее, желая знать, кто там мог ее навивать, и остановилась, удивленная превращением комнаты. Лай левретки вывел ее из этого положения, и она пустилась бегать по комнате, желая поймать собачку, которая, как нарочно, чтобы продлить эту сцену, увертывалась от рук Любы. Попугай, хлопая крыльями и крича пронзительно, произносил очень чисто: «Люба, Люба!»

Люба, в ночном туалете, с лицом, хранившим еще следы сладкого сна, озаренным удивлением и радостью, окруженная цветами и освещенная ярко лучами раннего утреннего солнца, – была очень эффектна.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Стеша тихонько выглядывала из щелки противоположной двери. И когда Люба стала осыпать поцелуями левретку, подруга ее вошла в комнату и насмешливо глядела на Любу, которая весело обратилась к ней и стала рассказывать свое пробуждение.

Стеша невнимательно слушала, смотря на левретку, старавшуюся укусить необутые ножки Любы, и недовольным голосом перебила ее:

– Уж теперь ты глядеть не захочешь на нас!

– Стеша! – обиженно заметила Люба.

– Разумеется, ты гордая стала.

Люба повернулась спиной к Стеше, которая с презрением сказала:

– Сердись: я тебя никогда не буду бояться. Слышишь, никогда! даром что он учит тебя важничать со мной.

– Ты вздор болтаешь, Стеша!

– И ты думаешь, что он тебя любит? много?

– Разумеется!

– Да он всем говорит, что любит!

Люба, вспыхнув и топнув ногой, с сердцем сказала:

– я тебе, Стеша, уж раз навсегда сказала, чтоб ты ничего не смела говорить о нем!

– я хочу и буду говорить: он тебя обманет, как и других!

Люба засмеялась и с уверенностью отвечала:

– Он любит меня одну, и я не боюсь ничего, что ты ни болтаешь.

– Если он тебя любит, отчего же он не женится на тебе, а?

– Как?! – в недоумении спросила Люба, как бы пораженная чем-то.

– Ну как! известно, как женятся все, кто не хочет обманывать. Все женятся. А он разве тебе говорил, что женится на тебе? – язвительно улыбаясь, говорила Стеша, глядя на пугливое выражение невинной девушки, которая тихо бормотала:

– Нет, он никогда мне не говорил...

– То-то и есть!.. И он даже скоро уедет отсюда! – торжествующим голосом и протяжно сказала Стеша.

Люба побледнела. Стеша, смеясь, выбежала из комнаты.

Недолго испуг и сомнение терзали доверчивую девушку, тем более что Стеша так часто и много говорила дурного о Тавровском. Люба опять стала бегать с левреткой под крик попугая, который уже был выпущен на волю. Но вдруг, как бы о чем-то вспомнив, Люба поспешно оделась, вышла в сад и бегом пустилась по его аллеям. Запыхавшись, она прибежала к той беседке, которую занимал Павел Сергеич, и, отворив ее небольшим ключом, бывшим у ней в руках, вошла и быстро захлопнула за собой дверь. В беседке всё было, как прежде; полумрак от жалюзи и запах цветов придавали комнате что-то таинственное. Верно, Любе это не понравилось, потому что она подняла жалюзи, – и яркий свет ворвался в беседку. Люба только тогда заметила бесчисленное множество сюрпризов, приготовленных ей. Огромная коллекция бабочек и колибри, вместе с книгами об естественной истории, стояли на столе. Удочки, рыбные снаряды – ничто не было забыто, чем только Люба занималась или интересовалась. Упав в кресло и закинув голову, Люба долго оставалась в этом утомленном от счастья положении. Легкие шаги в саду заставили ее встрепенуться, и она, открыв дверь, кинулась навстречу Павлу Сергеичу, который принял Любу в объятия, приподнял и поцеловал в лоб, поздравив ее с днем рождения. Люба хотела

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
что-то сказать, но не могла; слезы выступили у ней на глазах, и она, сложив руки на своей груди, высоко поднимавшейся от волнения, с такою нежною благодарностью глядела на Павла Сергеича, что он с грустью сказал:

– Я не стою одного такого взгляда твоего, Люба. Я счастлив, что мог угодить тебе этими пустяками.

Люба со смехом рассказала свое пробуждение и, верно вспомнив слова Стеша, слегка смутилась и, взяв за руку Павла Сергеича и смотря ему в глаза, робко сказала:

– Ты меня не станешь обманывать?

– Я убежден, что это опять следствие болтовни дерзкой твоей горничной. Ты так сама чиста, что никакие подозрения не могут зародиться в твоей головке. Люба, прошу, даже умоляю тебя, для твоего спокойствия, удалить эту дикарку. Она своими дикими чувствами способна наделать кучу неприятностей.

– Я не знаю, что с ней сделалось! она прежде была такая добрая, так любила меня...

– Люба, она взбалмошная девушка. Ревность...

– Как?! кого она ревнует? – быстро спросила Люба.

– Тебя! – улыбаясь, отвечал Павел Сергеич и наставительно прибавил: – Пожалуйста, берегись ее, держи себя дальше от ее бесед. Ты дитя еще, а она уже женщина, к тому же дикая. Ну, что она тебе насаждала сегодня?

Люба, вспомнив слова Стеша, что Павел Сергеич уедет, пугливо передала их.

– Это слишком! – разгорячась, воскликнул Павел Сергеич. – Нет, она будет отравлять наше счастье!

– Так ты не уедешь? нет? – повторяла Люба умоляющим голосом.

– Ты скажи от меня ей, что она дурная девушка и лгунья, – едва сдерживая свой гнев, говорил Павел Сергеич.

Это испугало Любу, и она, побледнев, смотрела на него. В первый раз, с тех пор как она познакомилась, Люба видела Тавровского в таком гневе. Заметив, что произвел дурное впечатление на Любу, он кротко сказал:

– Эти два лица, кажется, поклялись меня преследовать.

– Илья о тебе никогда ничего не говорит, – перебила его Люба.

– Всё равно: не говорит, так думает.

– О нет, он добрый.

– То есть умеет скрывать свои чувства и обуздывать себя: не так, как его сестра. Впрочем, оставим их. Я пришел для тебя и хочу глядеть на тебя, говорить о тебе.

И долго еще говорил Павел Сергеич в этом роде. Люба со вниманием слушала его.

Они расстались не скоро, потому что слишком были заняты рассматриванием коллекции бабочек, отыскивали в книге их названия, болтали о посторонних вещах. Павел Сергеич, однако, первый вспомнил, что время уйти.

Люба застала Стешу в своей комнате, играющую с левреткой.

– Оставь ее! ты лгунья! – сказала сердито Люба.

Стеша не верила своим ушам: в первый раз подруга ее детства назвала ее так.

– Да, ты лгунья! и не смей трогать ничего, что он мне подарил, – продолжала Люба и, подозвав к себе собачку, стала осыпать ее поцелуями.

Стеша оставалась на своем месте; дико поводя глазами в стиснув зубы, она

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
сказала:

– Так я лгунья?

– Да! это и он велел тебе сказать.

Стеша, не помня себя от гнева, подскочила к попугаю, спокойно сидевшему на клетке, и бросила его на пол. Люба кинулась на помощь. Стеша в это время ударила ногой собачку, которая страшно завизжала. В заключение Стеша побросала на пол цветы и мяла их ногами, повторяя:

– Вот, смотри, как я боюсь дотронуться до его подарков!

Глаза Стеша горели страшным огнем, когда она, остановившись посреди комнаты, искала еще чего-нибудь, на чем могла бы выместить свой дикий гнев.

Люба, бледная как полотно, с полуоткрытыми губами, дрожа от ужаса, глядела на свою подругу, которая как бы вздрогнула и зажала уши от визга собаки. Через минуту Люба, тяжело вздохнув, оглядела комнату и, останавливая свои спокойные глаза на Стеше, повелительно сказала ей:

– Поди прочь отсюда!

В лице и во всей фигуре Любы было столько силы и гордости, что Стеша, закрыв лицо, горько заплакала.

– Иди! я не хочу больше тебя видеть! ты злая, ты страшная! уходи скорее!

– Люба! – умоляющим голосом произнесла Стеша.

– Не смей меня так звать теперь: я больше тебе не сестра! и не смей входить ко мне! – горячась, говорила Люба.

Стеша гордо подняла голову и, удаляясь, сказала:

– А-а-а! это он тебе велел меня выгнать?

Люба, презрительно глядя на Стешу, молчала.

– Я уйду, и ты меня больше никогда не увидишь.

– Мне всё равно, я даже не могу говорить с тобой, уходи скорее!

И Люба с отвращением отвернулась от Стеша, которая выбежала из комнаты.

Целое утро прошло в разнообразных развлечениях. Не только Люба и другие гости, но даже вся деревня и дворня предавались неопisanному восторгу. Не говоря о вине, которое лилось рекой, о пирогах, пряниках и орехах, которыми были уставлены огромные столы, – Тавровский сам поминутно входил в толпу крестьян, обнимался с ними, чокался. Собачьи комедии, волтижированье и другие фокусы до того удивляли мужиков и баб, не исключая самых почтенных стариков, что невозможно было оставаться равнодушным зрителем: их простодушный смех был так увлекателен, что Тавровский и сам смеялся до слез над кривляньем итальянца, который в интермедиях разговаривал с толпой и выкидывал разные фокусы.

За несколько часов до представления на сцене и в комнатах, где одевались актрисы и актеры, была страшная суматоха и крики.

Несчастный содержатель кочующей труппы, одетый сам в испанский костюм, бегал из одного угла в другой, из одной комнаты в другую.

– Да как же я выйду? платье на четверть не сходится! – кричала Настя, поворачиваясь спиной к Петровскому, который отвечал:

– Наденешь мантию; на что же и держим мантии? никто и не заметит!

– Мне покрывало, скорее покрывало! – подбегая к содержателю, кричала другая актриса.

– Посмотрите, ради бога, какие грязные сапоги-то! – говорил басом толстый актер, силясь взглянуть на свои ноги, в чем огромный живот препятствовал ему. – Какой же я буду дож?

– Где же взять! – отвечал Петровский.

И вслед за тем закричал:

– Эй, книгу на стол сюда дайте, книгу!

– Зачем же вы брались давать трагедию? ну поставили бы водевиль какой-нибудь, – заметила полновесная актриса в бархатном платье и диадеме на голове.

– Да перестань! Я знать ничего не хочу, одевайтесь во что есть, и конец! – топнув ногой, грозно закричал содержатель труппы.

И все, ворча, отошли от него.

Остроухов, тоже в costume, был занят не менее Петровского: он румянил, наклеивал усы, бороды и бакенбарды целой толпе одетых воинов.

Наконец заиграл оркестр по сигналу Остроухова, топнувшего ногой об пол.

Сюжет трагедии был основан на любви двух молодых людей. Любовников разлучают; они клянутся вечно любить, страдают, плачут. Суровые сердца смягчаются, и влюбленных благословляют.

В первый раз в жизни Люба видела игру актеров, и как они ни были посредственны, но на Любу произвели сильное впечатление. С биением сердца следила она за каждым словом и движением актрис и актеров. Когда же разлучили влюбленных, Люба предалась такому искреннему отчаянию, что должна была уйти на несколько минут, чтоб дать свободу своим слезам. Трагедия окончилась свадьбой, на которой танцевали разнохарактерные танцы, а Лёна – своего неизменного казачка.

Любу очень поразило равнодушие Павла Сергеича к несчастиям влюбленных и сладкий сон отца, который просыпался только в антрактах, чтоб освежить себя после сытного обеда прохладительными напитками, которые разносили гостям.

Только что спустился занавес, Тавровский пошел на сцену благодарить актрис и актеров. Он каждому нашел сказать что-нибудь любезное. Обращаясь к Остроухову, он сказал:

– Вам я приношу двойную благодарность.

– Я рад, что вам понравилась игра наша. Чем богаты, тем и рады! – кланяясь, отвечал Остроухов.

– Очень, очень я доволен всем и никак не ожидал, чтоб столько талантов скрывалось так близко от меня, в этом городишке.

– Что делать? все, кого вы видите здесь, более или менее заблудшие овцы. Некогда и она была в такой же труппе... а что, хорошая она актриса?

– Очень хороша, – с иронией отвечал Тавровский.

– То-то, я ей предсказывал, что она будет хорошая актриса, если...

– И вы угадали! – перебил Остроухова Тавровский и затем обратился к Лёне, еще дышавшей, после казачка, подобно кузнечным мехам. Белилы и румяны остались пятнами на ее смуглых щеках. Пот, подобно весенним ручьям, образовавшимся от снегов, катился по лицу.

– Очень мило вы протанцевали, главное – смело!

– Она уж двадцать лет танцует казачка, – заметила Мавруша, закатывая глаза под лоб.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a  
– Только давностью и можно объяснить такую ловкость, – отвечал серьезно Тавровский и, обращаясь ко всем, громко прибавил: – Господа, прошу вас всех отужинать у меня.

И под общий восторг он сошел со сцены.

В зале, великолепно освещенной, играла уже музыка на хорах; гости танцевали. Вальсируя с Любой, Павел Сергеич вздрогнул, заметив черные, блестящие глаза Стеша, устремленные на него из окна, выходящего в сад.

Посадив Любу на стул, он кинулся к окну и сказал:

– Что ты здесь делаешь?

– Разве мне нельзя глядеть, как танцуют?

– Нет... что ты сегодня сделала с своей барышней?..

– Я не ее горничная, – перебила Стеша.

– Что же ты думаешь о себе? тебя она избаловала; но ты всё-таки горничная, и я, на ее месте, велел бы выгнать тебя из дому.

– Я и так уйду! Я вижу, что вам этого хочется.

– И прекрасно сделаешь!

Тавровский отошел от окна, несмотря на слова, произнесенные Стешей умоляющим голосом:

– Вернитесь: я вам скажу...

Но Тавровский не вернулся. фейерверк был спущен, сад иллюминирован; музыка играла в нескольких местах. Гости разбрелись по саду. Тавровский шел с Любой под руку и обратил внимание на ее печальное лицо.

– Ты чем-то огорчена? не видала ли ее? – пугливо спросил Павел Сергеич.

– Я ее не видала с утра, – робко сказала Люба, – но...

– Говори, что тебя беспокоит?

– Отчего же... ты на мне не женишься?

Павел Сергеич остановился и, глядя в глаза Любы, улыбаясь, сказал:

– А ты хотела бы за меня выйти?

– Как же! я тебя очень люблю! а кто любит, тот женится...

– Это откуда ты таких рассуждений набралась?

– Стеша...

– А, понимаю!

– И в пьесе – они любили и женились.

– Так, значит, пьеса тебя навела на эту мысль?

– Да! но мой отец не будет сердиться: он всё делает, что я ни попрошу.

– Ну, дитя мое, ты подожди еще просить его об этом, – пожимая руку Любе, весело отвечал Павел Сергеич.

В продолжение прогулки он, шутя, спрашивал ее:

– Так ты хочешь выйти за меня замуж?

Отужинав с гостями, Тавровский отправился в отдаленный флигель, где ужинала труппа Петровского вместе с некоторыми любителями из гостей. Среди шумного разговора Тавровский не был замечен; он подошел к актрисам помоложе и получше и разговаривал с ними; как вдруг его кто-то дернул за платье. Он повернулся и увидел перед собой Остроухова с бокалом в руке. На его усталом лице еще были следы белил и румян, и он хриплым голосом сказал:

– Павел Сергеич, а Павел Сергеич, за ваше здоровье!

– Благодарю!

– Господа, здоровье хозяина! Ура! – закричал Остроухов.

Все встали и с шумом провозгласили тост. Один только содержатель труппы, сидя в углу, пел басом:

Мы живем среди полей...

И страшно вскрикивал, схватывая себя за виски:

Жизнь для нас копейка!

Тавровский также взял бокал и произнес:

– Господа, за процветание и славу талантов, находящихся здесь!

Каждый и каждая поспешили отблагодарить хозяина скромной улыбкой.

– Вот вельможа так вельможа! не чета нашему Семену Иванычу! – заметила Лёна, на лице которой играл яркий румянец; ни смуглоты, ни желтизны не было и признаков, так же как и на лицах ее сестер.

– Красавчик! – с чувством произнесла Мавруша, у которой вместо тощей косички лежала на голове пышная коса, мелко заплетенная в виде корзинки.

Настя тоже хотела изъяснить свое мнение; но рот ее был занят: она только промычала что-то.

– Смотри, смотри Юльку-то! вишь, как коверкается! Ах, он подошел к ней! – шепотом произнесла Лёна.

– К чему было ее приводить к ужину? ведь он пригласил актеров и актрис, а не комедианток. Пусть бы в лакейской и ела: ведь для них да для мужиков ломалась утром.

– Ай! – воскликнула Лёна.

Тавровский в эту минуту чокнулся с Юлией.

– Ну, вот подымет нос! – заметила с грустью Мавруша.

– А вот подошел к нашей франтихе... дура, да отвечай! – с сердцем шептала Лёна.

– Сестрица, смотри-ка, наш-то как надоедает ему.

– Его бы спать положили... Право, никто из них не умеет с вельможами говорить, – наконец проглотив, сказала Настя.

Остроухов, точно, ходил за Тавровским и что-то ему бормотал. Наконец Тавровский сказал ему:

– Господин Остроухов, право, мне некогда!

– Нельзя, важное дело! я должен, я обязан! она...

– Позвольте вам заметить, что здесь не место и не время вести серьезные разговоры. Я хозяин и не могу исключительно принадлежать одному вам.



– Павел Сергеич! – умоляющим голосом воскликнул Остроухов, тоскливо глядя вслед Тавровскому, который, еще несколько времени поболтав с актерами и актрисами, ушел в свою спальню отдохнуть от дневных хлопот. Он только что хотел раздеваться, как услышал шум в соседней комнате. Раскрыв дверь, он увидел Остроухова, который чуть не боролся с его камердинером. Увидав Тавровского, он с радостью воскликнул:

– А-а-а! Павел Сергеич! прикажите вашему лакею быть повежливее с человеком, носившим за несколько часов тому назад такое историческое имя и перед которым...

И Остроухов почти силою вошел в спальню; остановись и покачиваясь, он стал потирать лоб, как бы приводя в порядок мысли.

Тавровский с жалостью глядел на Остроухова, который, подняв голову и осмотревшись кругом, сказал:

– Ну, здесь могу я говорить о ней.

Тавровский затворил дверь.

– Вы, говорят, женитесь?

– Кто вам это сказал? – сердито спросил Тавровский.

– Все, решительно все говорят об этом.

– И решительно все ошибаются! – утвердительно отвечал Тавровский.

Остроухов, покачавшись, сказал растроганным голосом:

– Павел Сергеич! удостойте вашей откровенностью кочующего актера. Верьте, он свято сохранит...

– Скажите мне, пожалуйста, наконец, чего хотите вы от меня? – выходя из терпения, спросил Тавровский.

– Чего я хочу? – отрывисто отвечал Остроухов.

– Ну да, что вам угодно?

– Знает ли она, что вы женитесь?

Тавровский пожал плечами.

– Она знает, или вы скрываете, а? За что вы хотите...

– Вы говорите вздор! Замолчите: мне это надоело! – сердито воскликнул Тавровский.

Остроухов вздрогнул, выпрямился, и опухшие глаза его устремились на лицо Тавровского, которому он глухо сказал:

– Ну что же, прикажите своим лакеям вытолкнуть меня. Я актер: вы даже не согласитесь выйти на дуэль со мной; я погибший человек, – а как легко презирать таких людей.

– Вы слишком дурного мнения обо мне, – устыдясь своего гнева, отвечал Тавровский.

– Мое мнение?! да мое мнение что такое для всех, – тем более для того, кто нанял меня сегодня, чтоб я его забавлял?

– Перестаньте, пожалуйста!

– Нет, оставьте меня, я всё скажу; я поклялся быть защитником ее. Я...

И Остроухов остановился, весь задрожал и сквозь зубы продолжал:

– Не улыбайтесь, не улыбайтесь! Каков бы я ни был, я еще могу разгадать людей и их взгляды. Да, я требую от вас одного слова... Знает ли она, что вы...

Лицо Остроухова всё пылало, и он задышался.

Тавровский гордо сказал:

– Вы слишком во зло употребляете мою деликатность! Прошу вас выйти вон.

Остроухов хотел поклониться, попятился назад и упал в кресло. Он уперся руками в свои раздвинутые колени и, понурился, тихо заплакал, повторяя несвязно:

– Бедная, бедная женщина!

Тавровский, позвонив, велел подать воды плакавшему Остроухову; но камердинер принес вина.

– я тебе велел подать воды? – сердито сказал Тавровский.

– Это-с для них лучше! – отвечал камердинер и, наливая стакан вина, продолжал: – Выпейте-ка!

Тавровский вышел из спальни.

– Пей; ну, чокнемся! – говорил камердинер, поднося вино Остроухову.

Старик осушил стакан и, упав на грудь камердинеру, повторял писклявым голосом:

– Бедная, бедная женщина!

– Ну что болтать! выпьем-ка за здоровье кого любим! – отвечал камердинер, освободясь из объятий Остроухова.

Через четверть часа камердинер тихонько вел из комнаты Остроухова, облокотившегося на его плечо и декламирующего стихи из «Эдипа»:

О дочь несчастная преступного отца!

Глава XLVI

Разлука

Дня три еще все гости оставались в имении Тавровского; волтижированье, фейерверки, танцы и спектакли продолжались. Посреди этих развлечений Люба не обратила внимания, что Стеши более не видать. Когда же стала она собираться домой, Стеши нигде не нашли. Люба надеялась найти ее дома и очень удивилась, узнав, что и там ее не было. Рассказав всё брату бежавшей, который тотчас отправился искать сестру, Люба была уверена, что он приведет ее домой. Но цыган возвратился один и необыкновенно печальный. На все вопросы Любы он отвечал: «Ты ее больше никогда не увидишь». Но где она и как и чем она будет жить, цыган не говорил. Люба предлагала свои ценные вещи и деньги, какие у ней были, чтоб он отдал своей сестре. «Ей и так хорошо!» – отказавшись, говорил цыган. Бегство Стеши произвело на Любу неприятное впечатление. Хоть и мало были ей знакомы нужда, люди и свет, но всё-таки ее пугала мысль, как Стеша будет жить без родных, без денег, не зная никакой работы. Люба боялась, не она ли причиной. Исключая ее и брата бежавшей, все думали, что Стеша погибла в озере.

Через несколько дней после бегства Стеши Люба с испугом заметила незнакомое лицо, глядевшее на нее через решетку сада. Что-то страдальческое было во всей фигуре старика, стоявшего у решетки. Черный старомодный, изношенный фрак, коротенькие брюки, явно не на него сшитые, запыленные сапоги, белый галстук, круглая старая шляпа – весь туалет старика изобличал человека нуждающегося. Усталое лицо, всклокоченные волосы и давно небритая борода заставили Любу предположить, что он желает какой-нибудь помощи. Люба подошла к решетке и, просунув руку свою, сказала ласково:

– Возьмите, пожалуйста.

– Что это? – попятясь назад, пробормотал старик, глядя с удивлением на деньги в руке Любы, которая очень сконфузилась и сказала:

– Что же вам угодно? вы ищете кого-нибудь?

– Не беспокойтесь; я скоро уйду; я вот только отдохну.

И старик, кряхтя, хотел сесть на карниз решетки.

– Войдите, войдите сюда! – сказала Люба, обежав сад, выглядывая в калитку и маня старика.

Старик подошел к ней и, поклонясь, сказал:

– Благодарю-с; я, знаете, пришел узнать, то есть я желал бы...

И старик остановился. Он видимо был смущен; припухшие его веки то приподнимались, то опускались; он смотрел как-то странно на Любу, которая хотела идти; он остановил ее вопросом:

– Вы знаете вашего соседа Тавровского?

Люба вся вспыхнула и, ответив, что знает, ожидала продолжения; но старик молчал. Наконец, покачивая головой и глядя прямо на Любу, он пробормотал тихо:

– Жаль, жаль и ее!

И вдруг он быстро спросил:

– Я могу видеть вашего батюшку?

– Вы разве его знаете?

– Мне нужно ему сказать два слова.

Люба позвала цыгана и передала ему желание незнакомого старика. Цыган повел его к Куратову, который только что встал. Со сна лицо Куратова не было привлекательно, так что вошедший старик не очень смело произнес, кланяясь:

– Честь имею рекомендоваться: я-с актер, фамилия моя Остроухов.

– Ну, что же ты можешь важное сказать мне? Я ведь до комедиантов не охотник, – перебил его Куратов не очень приветливым голосом.

– Я актер! – с комическим достоинством заметил Остроухов.

– Да слышал! Что же такое, говори?

– У вас есть дочь, – сказал нерешительно Остроухов.

– Э-э-э, брат!! я не желаю видеть у себя в деревне вашей комедии, – опять перебил его Куратов.

– Я совсем не затем пришел! – с досадою отвечал Остроухов.

– Что же тебе надо? – нахмурив брови, спросил Куратов.

– Ваш сосед женится.

– Кто? Тавровский?

– Да-с!

– Ну так мне-то что? – спокойно спросил Куратов.

Остроухов смутился и молчал. Куратов подозрительно разглядывал его. Остроухов, тяжело вздохнув, сказал:

– Да я потому говорю, что ведь он женится на вашей дочери.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Куратов вздрогнул, с минуту глядел странно на Остроухова и поспешно спросил:

– Да ты кто? от кого?

– Я из труппы Петровского, бывал на театрах...

– Кто тебя прислал ко мне? – сердясь, крикнул Куратов.

– Да я... сам пришел.

– Зачем же пришел?? а? и кто тебе сказал, что Тавровский женится на моей...

И Куратов, не договорив фразы, вопросительно смотрел на Остроухова, который, как бы в оправдание себе, отвечал:

– Да все соседи говорят! даже...

– Если и так, что же тебе за дело? и зачем ты пришел сюда?

– Я пришел сказать... что... есть женщина, которую...

Куратов грозно осмотрел с ног до головы Остроухова и с презрением сказал:

– Верно, какая-нибудь комедиантка? небось дочь твоя!

– Нет, она мне не дочь, – актриса, точно; но всё-таки, если вы любите свою дочь, так подумайте, что человек, бросивший одну...

– Пошел вон! – крикнул Куратов так, что собака, лежавшая у ног его, вскочила и заворчала. Остроухов пугливо кинулся к двери, но, оправясь, остановился и дрожащим голосом сказал:

– Я пожалел сказать всё вашей дочери: она еще так молода...

– Ты, кажется, помешан!.. уходи скорее! а не то я велю тебя выпроводить из околицы так, что другой раз не придет тебе охота вмешиваться в дела, в которых тебя не спрашивают!

– Я думал, что вы как отец...

– Иди, иди, меня не надуешь! верно, думал выманить что-нибудь! – грозя пальцем Остроухову, говорил Куратов.

Остроухов хотел было что-то возразить, но махнул рукой, проворчав:

– В самом деле, я помешанный! ну кто меня станет слушать?

Эти слова были произнесены с такою грустью, что Куратов спросил мягче:

– Что ты там бормочешь?

– Прощайте-с; желаю, чтоб дочь ваша была счастлива, – сказал Остроухов и вышел из двери.

Куратов вспылил и, указывая лежавшей собаке на Остроухова, произнес:

– Пиль его!

Собака с лаем кинулась за дверь. Послышался крик Остроухова и лай собаки.

Куратов усмехался и ласково звал собаку, ворча:

– Поделом, в другой раз не надувай! вишь, с чем пришел!

Через несколько времени Остроухов шел с цыганом из околицы. Его черный фрак и панталоны в нескольких местах были разорваны, рука обернута платком, а другою Остроухов размахивал, что-то говоря с жаром.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Куратов был поражен словами Остроухова. Он никак не ожидал, что его дочери предстоит такая блестящая партия. Он стал следить за Тавровским и убедился, что дочь точно нравится ему. Это обстоятельство очень подействовало на равнодушие отца: он приказал своей дочери занять лучшие комнаты в доме, дал денег для выписки из столицы нарядов. Праздник за праздником задавал Куратов; но напрасно: сосед его не просил руки Любы. Тавровскому мысль о женитьбе не приходила и в голову.

Раз Люба, ее отец и Тавровский сидели за чаем; зашла речь о свадьбе их общего соседа. Люба вдруг спросила Тавровского:

– А когда же наша свадьба? – и ужасно сконфузилась, увидев лицо отца, который мрачно глядел на смущенного Тавровского. Однако последний скоро оправился и, обратись к Любе, сказал, указывая на Куратова:

– Вот от кого будет зависеть всё.

Куратов молчал.

Павел Сергеич продолжал:

– Ваша дочь еще так молода, что я боюсь, не каприз ли это только, и потому до сих пор умалчивал о своем намерении.

Куратов посмотрел на дочь, сидевшую с потупленными глазами, и сказал:

– Ей уже минуло семнадцать лет. Я скажу вам откровенно, что ваше внимание ей должно быть очень лестно. Но у вас есть родственники...

– Да, я должен вас предупредить, что свадьба не может быть скоро, потому что мне необходимо ехать в Петербург: моя тетка больна и требует моего присутствия.

Люба, за минуту обрадованная согласием отца, зарыдала и выбежала из комнаты.

Куратов с грустью смотрел вслед дочери и, обратись потом к Тавровскому, нерешительным голосом сказал:

– А знаете ли вы тайну ее рождения? Я не буду вас обманывать, я всё открою вам, и тогда от вас будет зависеть сдержать слово. Впрочем, вы уже не так молоды, чтоб заранее не обдумывать своих поступков.

Куратов очень ошибался в будущем своем зяте. Он именно был таков, что никогда не давал себе труда думать как о серьезных вещах, так и о пустяках. Предложение его было вынуждено наивностью Любы; да притом Тавровского не пугали никакие обстоятельства. Он имел характер очень решительный.

– Я не желаю знать ничего. Я полюбил вашу дочь и надеюсь, что моя любовь не сделает ее несчастною, – сказал Тавровский.

– Всё, что я имею движимого и недвижимого, принадлежит ей, – перебил его Куратов.

– О деньгах, вы знаете, я не хлопочу; одно беспокоит меня: это ее слишком наивное воспитание.

– Я понимаю, всё понимаю: я увезу ее в Москву, и она в год или два...

– Ее детские понятия и поступки могут удивить людей с предрассудками.

– О, будьте покойны: я тогда вам отдам свою дочь, когда она сумеет носить как следует вашу фамилию.

Будущий тесть и зять расстались дружелюбно: Куратов – полный гордости, что приобрел такого блестящего зятя, а Тавровский – удивленный своим неожиданным сватовством.

Но не прошло двух дней, как он уже уговаривал Куратова поспешить свадьбой, и если бы не пост, то Люба сделалась бы его женой.

Около того времени Наталья Кирилловна письмо за письмом присылала к своему племяннику, требуя его к себе немедленно. Зина тоже заклинала его ехать в Петербург, описывая яркими красками неожиданную болезнь его тетки, которая будто была уже на краю гроба.

Может быть, Тавровский остался бы глух ко всему: так он был занят Любой. Но Люба вдруг и очень круто совершенно изменила свое обращение с ним и объявила ему, что выйти замуж за него скоро не может.

Это обстоятельство так поразило Павла Сергеича, слишком уверенного в беспредельной любви своей невесты, что он в первый раз в жизни потерялся и страшно огорчился. Все подозрения его пали на цыгана, тем более что он узнал о знакомстве его с Остроуховым и о свидании последнего с Куратовым.

Тавровский в первую минуту негодования придумал множество планов, как наказать дерзкого цыгана, но ограничился только тем, что предложил цыгану ехать с ним в Петербург.

Цыган отказался.

– Что же ты думаешь делать с собой? Роль твоя здесь незавидна и еще будет неприятнее, когда Любовь Алексеевна выйдет замуж и уедет в столицу, – говорил Тавровский, подавляя свой гнев.

– Я поеду за ней.

– Да знаешь ли, на каких условиях она возьмет тебя? Она теперь не дитя: ей можно будет держать тебя не иначе как лакеем.

Цыган вздрогнул и, подумав, отвечал со вздохом:

– Ну так что ж? если она захочет, я буду лакеем у ней.

– Да не у ней только, – а у всех.

– У всех – никогда! – гордо отвечал цыган.

Долго доказывал Тавровский цыгану невыгоды его положения в доме Куратова и выгоды поездки с ним в Петербург, где Тавровский обещал пристроить его в какую-нибудь купеческую контору.

Цыган стоял на своем, что ни за какие блага не оставит питомицу своей матери.

– Ты упрям! – с сердцем сказал Тавровский и, грозя ему, прибавил: – Со мной не хитри: я тотчас всё разгадал; одно мое слово ее отцу – и тебя не будет при ней.

Цыган так смутился, что не мог говорить; на его лице выражались то мольба, то злоба.

Тавровский наслаждался, казалось, этим и насмешливо глядел на цыгана, который наконец с упреком сказал:

– Что я вам сделал? за что вы хотите и меня выгнать от нее? Сестра моя через вас бежала.

– Твоя сестра, как и ты, слишком дерзкие вещи забрали себе в голову, и если бы это узнал твой барин...

– У меня нет барина, – перебил цыган.

– Однако ты ешь его хлеб, и он только по доброте держит тебя без работы.

– Я не даром ем его хлеб: я работаю в его конторе.

– Ну, значит, он барин твой, – язвительно улыбаясь, отвечал Тавровский.

– Ну что же? идите, наговорите ему на меня; я знаю, что вы будете в его глазах

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
всегда правы, а я – виноват.

– Зачем же ты сам делаешь то, что находишь дурным в других? Ты видел этого старика, выжившего из ума от вина, и всё, что он наболтал тебе, ты передал ей?

Цыган кивнул головой.

– Зачем же ты это сделал?

– Я люблю ее.

– Да это я и без тебя знаю.

– Я не хочу, чтоб она узнала, когда будет поздно...

– А ты думаешь, ей легче понять? ты своими глупостями сделал то, что она стала бояться меня.

– Она перестанет бояться вас, если узнает, что всё это неправда.

– Послушай: ты меня выводишь из терпения. Неужели ты думаешь, я стану заботиться о подобных тебе людях? Мне не хочется <огорчить> ее. А то я легко бы справился с тобой и навсегда отучил бы тебя от охоты сравнивать себя с людьми, не равными тебе.

И Тавровский выразительно раза два махнул в воздухе хлыстом, который он держал в руке.

Цыган побледнел как полотно и, помолчав с минуту, глухим голосом отвечал:

– Делайте мне какие угодно угрозы: я ничего не боюсь. Если неправда, что вы обещались жениться уже на другой, то я...

– Ты! ты! да как ты смеешь вмешиваться в мои дела? – разгорячась, крикнул Тавровский, махая хлыстом по воздуху. – Пошел в переднюю: вот где твое место!

– Зачем же было звать меня и так долго говорить со мной! – отвечал цыган и быстро вышел из комнаты.

Тавровский кинулся за ним с поднятым хлыстом, но остановился, проговорив:

– Нет, надо с ним иначе действовать!

Тавровский был взбешен, что такое ничтожное лицо оскорбило так сильно его самолюбие. Он решился упросить Любу, чтоб она удалила цыгана.

В день своего отъезда он простился официально с невестой своей в доме Куратова; последний подал ему кольцо, очень дорогое, как знак обручения с Любой, которая поехала одна к скату горы по просьбе своего жениха. Люба не могла скрыть своих слез, встретив Павла Сергеича на том месте, где так часто она сидела, полная тихих и сладких ощущений. Наконец она отерла слезы и сказала:

– Я больше не буду плакать.

– Плачь, если только эти слезы могут возратить мне твою доверчивость. Да, Люба, я очень дорожил ею: она для меня была высоким доказательством, что я порядочный человек. Скажи, употребил ли я ее во зло?.. Рассказать тебе прошлую жизнь мою я давно собирался; но я боялся, что ты многое не в силах понять: зачем же мне было понапрасну возмущать твое спокойствие?

– Так правда, что ты уже обещался жениться на другой и...

– Вот видишь, друг мой, как это было. Я был очень молод, не имел еще права располагать собой. Я встретил актрису, очень умную женщину; но не мог же я жениться на ней?

– Отчего, если ты ее любил?

– Мои родные не допустили...

– Значит, твои родные не захотят, чтоб ты женился и на мне, потому что я дочь цыганки.

– Будь покойна: они не узнают тайны вашего дома.

– А если?..

– Я теперь не мальчик и имею право делать что мне вздумается.

– Если так, то я выйду за тебя замуж, но не прежде, как узнаю, что та, на которой ты обещал жениться, не хочет за тебя замуж.

– Люба, ты приводишь меня в отчаяние своими детскими понятиями о вещах. Ну какая женщина, не только актриса, не захочет выйти замуж за человека с моим богатством и именем?

– Если бы я тебя не любила, я не пошла бы за тебя замуж.

– Ты! но таких, как ты, нет, может быть, нигде. Да, Люба, я первую тебя полюбил – всё прежнее были одни капризы праздной жизни. Я сначала думал, что любовь моя есть что-то вроде братского чувства к тебе; но теперь я вижу, что любовь моя гораздо сильнее и что страсть мою мне много стоило труда сдерживать; потушить ее я не могу ничем.

Тавровский говорил с таким увлечением, что голос его, и без того необыкновенно мягкий, так был гармоничен, что Люба слушала его, как пение. Обвив талию своей невесты и приложив ее голову к своему плечу, он продолжал вкрадчивым голосом:

– Если ты любишь меня, то я попрошу одного доказательства.

– Я всё готова сделать для тебя! – отвечала Люба таким голосом, что Павел Сергеич с жаром поцеловал ее.

– Тебе одной, кажется, суждено сделать из меня порядочного человека, – сказал он. – Да, одно твое слово, сказанное таким голосом, выше самых пылких уверений других женщин. Я уеду спокойно, что никто другой не отымет тебя у меня.

– Ты всегда знал, что я никого больше не люблю. Скажи, чего же ты хочешь – какого доказательства?

– Люба! – странным голосом сказал Тавровский, так, что она вздрогнула. Он продолжал: – Ты слишком добра и наивна, ты не видишь того, что другая на твоём месте давно бы отгадала.

– Что такое? я тебя не понимаю! – с удивлением спросила Люба.

– Впрочем, распространяться я не хочу: боюсь тебя обидеть.

– Как это обидеть меня?

– Да, есть вещи, которые должны всякую порядочную женщину возмутить. Я умолчу обо всем и попрошу только одного как доказательства твоей любви, – именно: удалить от себя как можно скорее молочного твоего брата.

Люба побледнела и, вырвавшись из рук Павла Сергеича, смотрела на него с ужасом.

– Ты испугалась, кажется, моей просьбы; но другая бы давно сама его выгнала, – обидчиво заметил Павел Сергеич.

– Как! выгнать его? за что? я уж и так много обидела его, выгнав его сестру, – с упреком сказала Люба.

– Всё равно: если бы ты не сделала этого, я бы не позволил ей быть при тебе! – запальчиво сказал Павел Сергеич и продолжал горячась: – Да знаешь ли, как дерзка она была?..



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Он замялся: ему не хотелось раскрывать Любе глаза на многие вещи, – может быть, из страха, чтоб она не разгадала его характера. И с большею кротостью Тавровский продолжал:

– Я должен сказать тебе теперь, чтоб успокоить твою совесть. Она... она просто влюбилась и страшно ревновала...

– В кого? – перебила Люба.

– В меня... и ревновала тебя! – отвечал Павел Сергеич и прибавил: – Значит, ты тут ни в чем не виновата.

– Она любила... – как бы рассуждая сама с собой, говорила Люба и с грустью прибавила, взглянув в глаза Тавровскому: – Бедная Стеша!

– Так ты еще жалеешь ее? – с заметною досадою спросил Тавровский.

– А ты? разве тебе не жаль ее? ты говоришь, она тебя любила? – как бы с ужасом спросила Люба.

– Друг мой! ты слишком наивна. Дерзкая любовь какой-нибудь цыганки...

Люба глядела такими глазами на Павла Сергеич», что он сконфузился и, не окончив фразы, начал другую:

– Впрочем, оставим ее в покое; она далеко от тебя. Я прошу тебя удалить и ее брата.

– За что же... и его? – холодно спросила Люба.

– Положись на мою опытность и любовь к тебе: если я прошу этого, значит, так надо.

– Нет, я этого не сделаю, – подумав, отвечала решительно Люба.

Павел Сергеич в негодовании вскочил с своего места и, как бы не помня сам себя, смеялся, пожимал плечами, повторяя с гневом:

– Это просто забавно! это уж ни на что не похоже! – И, быстро обретясь к удивленной Любе, он с сердцем сказал:– Ты не согласна на мою просьбу; а знаешь ли, что этот мальчишка, твой лакей...

– Он мне брат! – с упреком заметила Люба.

– Всё же он лакей для других! Да этот дикарь забил себе в голову... разве ты не видишь, что он любит тебя не...

– Да, я знаю, он очень любит меня! – с уверенностью перебила его Люба.

Тавровский пожал плечами и, смотря на Любу как бы с сожалением, сказал:

– Ты для меня загадка! такая наивность, мне кажется, уже слишком странна в девушке. Знаешь ли, что я потому требую его удаления...

– Почему? – быстро спросила Люба.

– Он... влюблен в тебя, – с отвращением произнес Павел Сергеич.

Люба смутилась страшно, но потом тотчас же засмеялась.

– Так ты мне не веришь? – обидчиво спросил Тавровский.

– Мы с ним играли вместе: вот как он меня любит.

Павел Сергеич так был увлечен досадою, что долго и подробно раскрывал перед Любой все мелочи ревнующей любви. С трудом и не скоро он мог убедить наивную девушку в необходимости удаления цыгана и в таких красках описал последствия, если он останется, что Люба дрожала вся. Она дала слово своему жениху, что цыган

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
будет удален к его приезду.

Для Любы столько новых чувств раскрылось, что прощание с женихом совершилось скоро и не было ей тягостно, – она спешила остаться одна.

Проводив своего жениха до леса, Люба воротилась и села на то же место, где они сидели вместе. Устремив глаза, влажные от слез, на гладкую поверхность озера, она долго оставалась в этом положении. Глазам ее непрерывно являлись три лица: Стеша в слезах и лохмотьях, ее брат с угрожающим лицом и Павел Сергеич – с какой-то красивой женщиной. Эти лица как бы выходили из озера и снова исчезали в нем. Люба припомнила всё до малейшей подробности: свою встречу с Павлом Сергеичем, их знакомство, последний разговор, даже взгляд, брошенный на нее Тавровским, когда они простились. Она так была погружена в раздумье, что не заметила курчавой головы, выглядывавшей из высокой травы недалеке от нее, и не слышала едва заметного шелеста, как будто кто полз в траве.

Когда стало садиться солнце, Люба, позлащенная им, отвела усталые глаза от озера, устремила их на солнце и снова впала в прежнюю задумчивость. Грусть разлита была в каждой черте ее лица, и слезы струились по бледным щекам.

Шорох в лесу заставил Любу вскочить на ноги; радость вдруг озарила ее лицо, даже жилы забились на ее висках: она глядела в лес, в котором показалась фигура цыгана.

Тяжело вздохнув, Люба молча пошла к лодке; цыган последовал за ней. Лодка отчалила. Цыган греб; Люба смотрела пристально на него.

– Илья! – строго сказала Люба.

Цыган вздрогнул. Каждое слово, тихо сказанное, резко раздавалось на воде и вторилось эхом.

– Ты любишь меня? – продолжала Люба.

– Ты знаешь.

– Ты скажешь мне всю правду?

– Я никогда не лгал тебе!

– Ты желаешь ли, чтоб я вышла замуж за него?

– Если он любит тебя, то я очень желаю.

Люба задумалась и сказала:

– Если я выйду замуж, что ты будешь делать с собой?

– Не знаю.

– Хочешь, я пошлю тебя учиться?

– А, так он успел тебя упросить! – с ужасом воскликнул цыган.

И руки его судорожно сжали весла; он сделал ими такой взмах, что они сломались пополам; отбросив их от себя, он ухватился за голову и уткнул ее в колени.

Люба вскочила с своего места и, бледная, с гордо поднятой головой, стояла неподвижно. Лодка несколько минут плыла еще быстрее, потом всё тише и тише.

– Илья! – повелительно произнесла Люба.

Цыган поднял голову и рыдающим голосом сказал:

– Ты и меня выгоняешь?

– Зачем бросил весла?

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Цыган с удивлением осмотрелся кругом и, увидя плывущие разломанные весла, пугливо взглянул на Любу, которая с упреком сказала ему:

– Как мы теперь попадем домой? нас прибьет к берегу далеко от дому; а там все перепугаются, куда мы пропали.

– Люба, Люба! не отсылай меня от себя! – отчаянным голосом произнес цыган.

– Дай мне слово, что ты даже не будешь иметь ни одной дурной мысли против него?

– Разве я что-нибудь сделал ему дурного? Я рассказал тебе то, что ты должна была знать.

Люба, помолчав и тяжело вздохнув, сказала:

– Илья, ты знаешь, как я люблю его, и ничто меня не заставит забыть его. Но я даю слово, что сама не пойду за него, если узнаю, что он обманул кого-нибудь.

Радость озарила лицо цыгана; зато Люба стала грустна. Они плыли тихо. Цыган не спускал глаз с Любы и вдруг сказал:

– Если ты желаешь, чтоб я оставил тебя, я это сделаю!

Люба посмотрела на него и отвечала:

– Нет! ты мне уж дал слово, и я ничего не боюсь.

Не скоро они прибыли домой, где все были в тревоге, потому что Куратов никогда не был покоен, если узнавал, что его дочь поехала по озеру.

Часть десятая

Глава XLVII

Письмо

С того времени как мы покинули дом Натальи Кирилловны, там совершилось много тревог. Деятельность Зины была так обширна, что на ее крутом лбу появилось несколько морщин. Она заметно худела, и никакие мази и притиранья не могли уничтожить желтизну ее лица. Каждое утро Зина, давась, кушала густое тесто, составленное приживалкой с зобом, которая при этом ораторствовала:

– Вы только кушайте: ни одной косточки не будет видно. Я когда гостила у Зюзиных, так у них дочь как скелет была, а я ее в какую-нибудь неделю исправила: пышка стала! Она теперь со всем семейством уехала в Яковку... Какая прекрасная деревня! Правда, небольшая, зато их семейство огромное. И они так всё присовокупляют там. Меня звали погостить. Такие ласковые ко мне, так меня любят! Право, не знаю, а меня все любят... Скушайте еще ложечку!..

Но Зина напрасно хлопотала и мучилась: тревожное состояние духа уничтожало действие лекарств.

Имение Натальи Кирилловны с каждым годом более расстроивалось. Люба своего племянника, она очень часто уплачивала его долги. Зина стала бояться за свою будущность в случае смерти благодетельницы и часто в сердцах говаривала приживалкам:

– Небось какую-нибудь дрянью откажет, а как понукает мной!

Зина не ошибалась. Наталья Кирилловна давно уже написала духовную, в которой не забыла Зину; но сумма была незначительная. Зина узнала, что в случае своей смерти старуха отказывала Грише деревню, довольно большую. Зина долго гадала в карты на бубнового короля, и приживалки хором говорили:

– Ах, матушка, как он о вас думает! у-у-у, свадьба! поздравляю: свадьба скоро!

Эти слова заставили Зину прибегнуть к хитрости; так как у ней не было матери, которая могла бы приискать ей жениха, то Зина сама должна была расставлять сети.

В одно утро она в слезах прибежала в комнату Гриши, всё еще не получившего никакого места, по милости его тетки, собиравшейся писать ему рекомендательное

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
письмо к одному важному лицу.

- Ах, Гришенька! как мне совестно! что мне делать? – сказала Зина в отчаянии.
- Да что случилось?
- Страшно и совестно сказать вам! – воскликнула Зина и шепотом продолжала: – Представьте... ваша тетушка... она...
- Что она сделала? – поспешно спросил Гриша.
- Она... отказала всё свое имение.
- Павлу Сергеичу?
- Нет.
- Кому же?
- Мне! – едва слышно произнесла Зина и с негодованием продолжала: – Это ужасно! я чувствую, как должны вы меня ненавидеть; но вы знаете ее...
- Я знаю, что тетушка против меня давно вооружена; но Павел Сергеич... – в недоумении говорил Гриша, в самом деле пораженный таким открытием.
- Если тетушка вас не любит, так всё по милости Ольги Петровны. Ах, если бы вы знали, сколько слез и неприятностей я терплю за вас! А я не могу, чтоб не защитить человека, которого я лю...

– Благодарю вас! но вы только вооружаете против себя ее.

– Я на всё готова: я так вас люблю! – Зина потупила глаза, как бы испугавшись своей откровенности, но тотчас вправилась и продолжала: – Когда она меня заставила прочесть духовную свою, я просто расплакалась. Ну, сами посудите, вы ее племянник, а она всё имение отдает мне. Да еще говорит: «Отдам при жизни половину». Я ей, однако, сказала, о чем плачу, и она говорит мне: «Глупенькая, ну кого я обидела? у Павла Сергеича и без меня много, а Гриша может и жениться».

И Зина пристально и выразительно глядела на Гришу, который с потупленными глазами слушал ее.

Молчание длилось несколько минут. Гриша догадался из разговора, что тетка желает, чтоб он женился на ее любимой воспитаннице. Зина так была внимательна к нему в последнее время, что он не мог бояться равнодушия или сопротивления с ее стороны. К тому же положение его так было тягостно, что он, может быть, решился бы жениться на Зине, если бы не воспоминание о Насте, кроткое личико которой вдруг представилось ему. Он поднял голову и, посмотрев на лукавые, блестящие глаза Зины, сказал:

– Тетушка вас, кажется, хочет выдать замуж?

– О, я ни за кого не пойду! я люблю...

Зина, покраснев, замолчала.

Положение Гриши становилось очень неловко, и он, желая разъяснить всё, с рыцарским благородством сказал:

– Зиновья Михайловна, я считаю обязанностью быть с вами откровенным: я люблю...

Волнение так было сильно в Зине, что она не могла удержать лихорадочного смеха.

Гриша испугался и поспешно сказал:

– я люблю Настеньку и...

Зина громко засмеялась; но ни глаза, ни другие черты ее лица не гармонировали с притворной веселостью; она долго доказывала свое неловкое положение – быть

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a наследницей огромного состояния, в то время как ближайшие родственники останутся в бедности.

Гриша так был равнодушен к земным благам, что роскошные описания своей будущей жизни, если она выйдет замуж, Зина произнесла совершенно напрасно.

– Если уж я выйду замуж любя, – говорила она, – то всё отдам мужу: пусть его распорядится, как знает. Да женщине как-то нейдет управлять именьями. Ну вот ваша тетюшка: ну что хорошего? только всё сердится, а всё-таки ее обкрадывают!

С этого дня жизнь Гриши стала невыносима в доме тетки, которая оскорбляла его на каждом шагу. Даже ни один лакей его не слушался. И раз какой-то рослый Дормидон отвечал ему на какое-то приказание так грубо, что Гриша вспылал и назвал его дураком.

Наталья Кирилловна страшно рассердилась:

– Как ты смеешь моих людей бранить? ты что о себе думаешь! Ты воображаешь, что я тебе откажу что-нибудь. Вон из-за стола!

Долго и много говорила разгневанная старуха еще после ухода своего племянника, и из слов ее можно было заключить, что она была возмущена его единственным будто бы желанием, чтоб она скорее умерла и ему досталось наследство.

– Кто же это вам сказал, что он такие страшные мысли имеет? – заметила Ольга Петровна.

– Да вот эта чуть живая прибежала ко мне: плачет, дрожит. Насилу заставила сказать! – указывая на Зину, говорила Наталья Кирилловна.

Гриша наконец решительно убедился, что ему нечего более делать, как оставить дом тетки. Но Наталья Кирилловна предупредила своего племянника и с торжественностью изгнала из своего дома Гришу, даже не дав ему ничего из белья и платья.

Зина, обливаясь слезами, прощалась с Гришей и уверяла его в своей неизменной преданности.

Наталья Кирилловна, выгнав из дому Гришу, чувствовала некоторый укор совести и, верно бы, простила его, если б не Зина, которая задумала приобрести часть наследства Гриши. Чтоб выведать, сколько именно отказала ей старуха в своей духовной и, если можно, заставить ее прибавить, Зина придумала следующее средство. Она объявила Наталье Кирилловне, будто какой-то доктор, видевший ее у одной знакомой, влюбился в нее и, уехав по службе в провинцию, написал теперь ей письмо, в котором просит ее руки. Зина показала письмо Наталье Кирилловне, которая долго думала, наконец сказала:

– Ну, что же делать, выходи, тебе надо же пристроиться!

Зина писала сама письма от мнимого жениха, в которых он страшно распространялся о щедрости и доброте Натальи Кирилловны. Чтоб не открылся обман, Зина приняла самые надежные меры. Письма от Петра, камердинера, которые она получала довольно часто и в которых описывались подробно действия Павла Сергеича, распечатывались очень осторожно ручками Зины: в конверт вкладывалось письмо от мнимого жениха, запечатывалось вновь, и Зина подавала его Наталье Кирилловне, которая обыкновенно сама срывала печать со всех писем и заставляла читать Зину. Точно так же Зина читала ей и ответы свои на письма жениха. Чтоб выведать о количестве приданого, назначенного ей благодетельницей, Зина написала следующее письмо своему мнимому жениху:

«Я сирота, призренная из благороднейшей и знатной фамилии особой. Благодетельница моя так для меня много сделала, что я, кроме ее благословения, ничего не могу ожидать...» и так далее.

Прочитав это письмо Наталье Кирилловне, Зина объясняла его тем, что ее жених, может быть, рассчитывает на большое приданое.

Наталья Кирилловна осталась очень довольна предусмотрительностью своей питомицы и велела написать жениху, что она дает ей двадцать пять тысяч и приданое,

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
приличное ее званию.

Ответ от жениха на это письмо был следующий:

«Милостивая государыня Зиновья Михайловна!

О добродетелях вашей примерной благодетельницы почти всем известно. Я если осмелился просить вашей руки, то согласие ее на это есть уже для меня великая честь!.. Иметь жену из такого дома и знать, что она воспитывалась под надзором такой высокой особы, есть уже такое блаженство для всякого смертного, которого не купить никакими деньгами. Упросите вашу благодетельницу всё так устроить, что если я буду иметь счастье снискать ее расположение, то немедля сыграть свадьбу, потому что я должен быть на месте службы... Вас я оставляю при вашей бывшей благодетельнице, которая, верно, не лишит нас своей милости и впредь...» и так далее.

Зина была объявлена в доме невестой. Толкам не было конца между приживалками. Зина так увлеклась вымышленным своим женихом, что красноречиво описывала приживалкам лицо, рост, даже манеры его, любовь к нему начальников, уважение и страх подчиненных. Переписка продолжалась; сроки приезда жениха менялись. Наталья Кирилловна стала сердиться, что он не едет; приживалки тоже подсмеивались. Зина испугалась сама своей выдумки. Да и она так свыклась с мыслью, что она невеста, что вдали умирает от любви к ней человек, – как она хвасталась перед приживалками, – что не знала, как теперь выпутаться. Впрочем, в такие критические минуты Зину посещало всегда вдохновение. Почтальон принес письмо с черною печатью. Зина вложила в конверт свое письмо; оно было писано совсем посторонней рукой. Это письмо извещало ее о внезапной смерти ее жениха и писано было родственницей умершего.

Зина, в слезах, бледная, прочла письмо Наталье Кирилловне и, рыдая, упала к ней в ноги, говоря:

– Я опять сирота! я несчастная!

Слезы Зины так были непритворны, что, казалось, она в самом деле убита была смертью хотя и вымышленного, но так страстно любившего ее человека.

Дня три Зина оставалась в постели. В комнате у ней появился небольшой картонный черный ящик в виде гроба, обвязанный черным крепом. То было хранилище писем ее мнимого жениха.

Понемногу, однако ж, печаль Зины начала утихать. Выезжая иногда одна по поручению Натальи Кирилловны, Зина завела много знакомств, которые скрывала от Натальи Кирилловны. Ольга Петровна не раз пыталась уличить Зину; но попытки ее были напрасны, и она дорого платилась за это.

Остальные приживалки боялись Зины как огня, и, сидя в зале, они часто рассуждали между собой о страшном влиянии Зины в доме.

– Уж коли родственника ей удалось выжить из дому, так нашу сестру и подавно! Как же нам не угождать ей? – мотая головой, сиплым голосом протяжно говорила приживалка с зобом и мутными глазами.

Ольга Петровна, фыркая и передергивая ушами и ртом, запальчиво замечала:

– Вы, пожалуйста, меня не сравнивайте с собой. Я – не вы: я не стану на часах стоять у ее дверей!

– Известно, вам легко это говорить: у вас деньги; а мы, мы бедные девушки. Наш батюшка хоть и имел средства тоже кое-что оставить нам... Когда он управлял имением князя, то...

– Его оттуда выгнали! – язвительно перебила Ольга Петровна.

– Злые языки! а он был всеми любим; да! и уважаем. Я сама помню, как его обласкали одни вельможи. Он, видите, раз шел в Москве и видит: у пруда стоит девушка в рубище и очами измеряет глубину. Батюшка наш подошел к ней и говорит: «Для чего ты измеряешь очами глубину?» Девушка в рубище взглянула на него и

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a говорит:

«Почтенный старец, я измеряю потому очами глубину, что я дурная дочь». И она хотела броситься в пучину. Но батюшка наш удержал ее и, увидя, что у нее белые руки, повел ее домой. Он узнал, что она дочь вельможей, и привел ее к маменьке и папеньке. Они ужасно обрадовались, так обласкали нашего батюшку: «Вы, говорят, спасли нашу честь, вот вам двадцать пять рублей». Вот как нашего батюшку уважали! – мотая головой, как алебастровый зайчик, тарантила приживалка.

– Эта девушка влюбилась в повара своей маменьки, – подхватила другая приживалка, сестра говорившей.

– Повар пошел в солдаты, дослужился до больших чинов. Она вышла за него замуж, и вельможи у них обедывали! – надменно перебила приживалка с мутными глазами и, едва успев перевести дух, продолжала: – А уж нашу матушку как все уважали! Она умела всем угодить. Умнейшая была женщина! Сколько она нашего батюшку учила! да упрям был: не слушался. Как он служил в таможене, драгоценные камни принимал. Ну что бы по камешку прятать? Матушка ему говаривала: «Курица по зернышку клюет, да сыта бывает», а он свое: «Курица, говорит, их глотает, а я, говорит, детей пушу по миру...»

– Эх! не всё равно – пустил же! – со вздохом замечала сестра приживалки с мутными глазами.

– Зато честное имя оставил вам, – сказала толстая вдова.

– Да на это и чашки кофею не купишь, – иронически отвечала, мотая головой, приживалка.

Все вообще приживалки походили на органы в трактирах, которые стоило завести раз, чтоб они целый вечер гудели, от веселых песенок переходя к целым ариям.

Зина редко сидела в кругу их: если она была свободна, то охотнее сидела в девичьей, вела дружеские разговоры, и это ей не мешало через час наговорить на своих собеседниц Наталье Кирилловне. Зину боялась вся прислуга, потому что ее стоило раз рассердить, чтоб она вредила, как только представится случай.

Из донесений Петра, камердинера, она знала о каждом шаге Павла Сергеича, и когда дело приняло серьезный оборот, Зина явилась с лекарствами к Наталье Кирилловне и с участием сказала:

– Не примете ли вы капель? нет, впрочем, пилюли лучше.

– Да что такое? зачем?

– Примите: я вам скажу радость.

– Говори, что такое?

– Ради бога, примите сперва: это неожиданная радость для вас, – умоляющим голосом говорила Зина, поднося лекарство к губам Натальи Кирилловны.

Она, отклонив его рукой, сказала:

– Эти капли от огорчений я принимаю.

– Радость так велика, что, я боюсь, она потрясет вас. Павел Серге...

– Что? едет, приехал? – привставая, вскрикнула Наталья Кирилловна.

– Нет, нет! – перебила ее Зина и с таинственностью прибавила: – Он женится!

Наталья Кирилловна выпрямилась, как всегда дельвала в важных случаях своей жизни, и грозно глядела на Зину, которая, будто не замечая ничего, продолжала:

– Петр писал своей тетке; она мне прибежала сказать.

– Ты дура! только пугаешь меня и передаешь болтовню передней и баб. Есть ли

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
смысл у тебя: мой племянник женится, не спросясь моего согласия! Ты стала ужасная дура.

Наталья Кирилловна была очень разгневана. Мучимая, однако ж, любопытством узнать подробнее слухи о женитьбе Павла Сергеича, после некоторого молчания она проговорила, как бы рассуждая сама с собой:

– Женится в глуши, без моего согласия?!

– Она, говорят, молоденькая, хорошенькая, только жаль, что черна, – отвечала Зина невинным голосом.

– Как черна? что такое? я ничего не понимаю? – сердясь, возразила Наталья Кирилловна.

– Да как же-с: она дочь цыганки. Ее, говорят, там усыновил один барин; он сосед...

Наталья Кирилловна, вся дрожа, вскочила со стула и, грозя Зине палкой, грозно сказала:

– Смотри, если это всё одни только сказки! Я тебя научу разбирать, что можно и чего не должно мне говорить.

– Ах, боже мой, я, кажется, вас огорчила! – как бы в отчаянии воскликнула Зина и пророчно подала всё нужное для письма.

Наталья Кирилловна сама села писать к своему племяннику. Она почти отвыкла писать, а волнение мешало ей держать перо в руках, и она, тоскливо озираясь кругом, произнесла имя Гриши.

Зина вздрогнула; подбежав к старухе со стаканом воды, она нежно сказала:

– Выпейте, успокойтесь; я вижу, как я глупа! но могла ли я думать!

– Молчи! – повелительно сказала Наталья Кирилловна и после долгих попыток едва могла написать несколько строк своему племяннику, которого она требовала немедленно в Петербург.

(С того дня и начались беспрестанные послания к Тавровскому.)

К вечеру весь дом знал о женитьбе Павла Сергеича, и приживалки как пчелы жужжали между собой, делая разные предположения, на ком и как женится племянник их благодетельницы? По болезни Натальи Кирилловны они догадывались, что женитьба Павла Сергеича ей не нравится, и у них родились толки и споры: будут ли они вместе жить? и скоро ли свадьба? Зина снова сидела на скамейке у кровати Натальи Кирилловны в комнате, жарко натопленной и тускло освещенной одной свечой с зеленым колпаком. Трудно было Зине развлекать больную, и она часто, выбежав за чем-нибудь из спальни, бранила старуху и делала выразительные жесты, оборачиваясь к комнате ее. Но сладкая улыбка покорности слетала на ее лицо, когда она только что дотрогивалась до ручки двери.

Прочим приживалкам на полчаса в день позволялось входить к больной. Они смыкались в группу и, казалось, вырастали, потому что стояли на цыпочках и по очереди целовали кончик одеяла в ногах у Натальи Кирилловны, которая болезненным голосом говорила им:

– Ну что, рады, что у вас будет новая барыня? а? да нет, сначала похороните меня, а там веселитесь!

Приживалки всхлипывали, и каждая давала клятву умереть прежде. Соскучась их хныканьем, Наталья Кирилловна замечала:

– Полноте хныкать: я еще не умерла!

И приживалки быстро от слез переходили к веселости. Приживалка с мутными глазами была всегда запевалой; она первая сказала своим сиплым голосом:

– Я-то, дура, думала, что наш красавец на мне женится, хе-хе-хе! И вот уж бы я



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a  
вас каким крепким кофеем угостила на другой день свадьбы! Какая бы стала  
франтиха!

И приживалка делала разные жесты руками и своими узкими глазками, стараясь  
рассмешить больную.

Прочие приживалки громко смеялись. Но как их горесть, так и веселость скоро  
надоедали Наталье Кирилловне, и она прогоняла их.

По приезде Павла Сергеича долго и много толковала Наталья Кирилловна о  
невозможности его женитьбы; но настойчивость ее племянника заставила ее  
согласиться. Однако она требовала отложить свадьбу на год и более, надеясь на  
непостоянство характера своего племянника.

#### Глава XLVIII

##### Дурные вести

Прошло более полугода с возвращения Тавровского в Петербург.

Утром, часу в одиннадцатом, бодрый старик лет под шестьдесят тихо позвонил у  
двери великолепной квартиры в С\*\* улице. Ему отворил человек лет тридцати в  
утреннем костюме – в халате с шелковыми кистями, в красной феске и шитых золотом  
туфлях – и, встретив его с распростертыми объятиями, приветствовал следующими  
словами:

– А, Иван Софроныч! добро пожаловать!

– Здравствуй, Петруша! – ласково отвечал старик и трижды поцеловал господина в  
халате и феске.

Иван Софроныч, с тех пор как мы расстались с ним, значительно переменялся.  
Деревенская жизнь, полная здоровой деятельности, видимо пошла ему впрок: он  
пополнил, во всех движениях его видна была крепость и сила, он смотрел весело, и  
по изрядно отдувшемуся карману его форменного сюртука заметно было, что он не с  
пустыми руками прибыл к своему доверителю после двухлетнего управления его  
имениями.

– Да что это Петруша? Ты, никак, только еще встал? – продолжал Иван Софроныч,  
оглядывая утренний наряд избалованного камердинера, который перед его приходом  
только что расположился делать свой туалет. – И как ты чудно нарядился!

– Здесь не деревня, Иван Софроныч, – с важностью отвечал камердинер. – Конечно,  
в деревне другие порядки, а в столице нельзя, – у нас еще и утро не начиналось...

Иван Софроныч достал из кармана старинные часы в форме луковицы – подарок  
незабвенного Алексея Алексеича – и, поглядев на них, сказал, покачивая головою:

– В одиннадцать-то часов! Вон гляди, без четверти одиннадцать.

И он поднес часы к глазам камердинера.

– А по-вашему небось теперь обедать? – с презрением возразил камердинер. –  
Ха-ха-ха! Вы к барину? – спросил он.

– К барину.

– Ну так раньше двенадцати вряд ли. Да еще коли примет.

– Ну, меня-то, я думаю, примет, – с довольной улыбкой заметил Иван Софроныч,  
ударив рукой по своему правому карману.

– А вот увидим: каков встанет. А куда пожалуйста сюда, Иван Софроныч,  
отдохните; кофейку не угодно ли? А я покамест оденусь.

И он ввел Ивана Софроныча в боковую комнату, которая в уменьшенном и  
карикатурном виде представляла копию с уборной его барина: в ней также был стол,  
загроможденный баночками, флакончиками, зеркалами, гребенками, головными и  
зубными щетками и т. д.; кровать была отгорожена ширмами; у окна стояло  
старинное треснувшее трюмо. Даже стены не были пусты: Петр украсил их картинками

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
из модных журналов и разных иллюстраций, получаемых его баринном.

– Ефиоп, ефиопина! – протяжным голосом закричал Петр, садясь перед туалетным столиком и указывая другой стул гостю. – Одеваться!

Из-за ширмы выбежало маленькое существо, поразившее Ивана Софроныча как цветом, так и видом своей фигуры: то был негр самой чистой породы, с черным лоснящимся лицом, целым лесом курчавых волос и оскаленными зубами. Тавровский достал его за границей.

– Что, хорош молодец? – спросил Петр, видя недоумение Ивана Софроныча.

– Да откуда вы такого достали?

– Купили. Он, понимаете, привезен с другого конца света. Ефиопией, что ли, называется; да! Это не то что Арапия: Арапия ближе, – оговорился Петр, – и народ там не такой черноты; а в Ефиопии все люди такие черные, других и нет, – оттого и прозвище ему: ефиоп! Первейшей африканской породы! Барину здесь какие деньги давали – не отдает! И уж не поверите, сколько было с ним хлопот, как мы его сюда везли! Достали мы его еще малым мальчишкой; ничего не понимает, не говорит, всё в лес глядит, – даже ел мало; и всё ему жарко. Умора! А как поехали, так вот был смех: как станция, остановимся – ему сейчас и кажется, что совсем приехали, – начнет раскладываться, и уж как дивится, когда опять поедет! А то еще была смешная история: как въехали мы в Россию, вдруг и выпали снежок. Он, видно, спал в то время, а как проснулся да увидал, что всё бело кругом, обрадовался, заболтал по-своему, руками машет, – ну, радости такие, что и батюшки! Не выдержал, соскочил с козел и ну подбирать снег... да как хватил руками, так вдруг словно обжегся, кинул, заплакал и опять сел; стал опять такой печальный и всё потихоньку плачет; насилу могли добиться, чего? А ему, видите, и заберись в голову, что не снег, а хлопчатая бумага лежит, какая у них там в полях родится, – вот и обрадовался: думал, домой в Ефиопию свою его привезли... ха-ха-ха! А как попробовал руками, так и в слезы. Туды же, плакать умеет, черномазая порода!

Петр долго еще описывал чудные свойства «ефиопа» и свои усилия привить к дикому сыну природы необходимое в столице «образование». Должно полагать, однако ж, что труды его наконец увенчались успехом и он наслаждался теперь плодами их, судя по тому, что Петр постоянно ничего не делал, тогда как несчастный дикарь с утра до ночи предавался подметанью и чищенью, снискивая хлеб свой буквально в поте своего черного лица.

– А сапоги перечистил? – спросил с важностью Петр у черного помощника.

– Перечистил, – отвечал мальчик довольно чисто по-русски.

– И платье готово?

– Готово; только фрак да жилеты...

– Фрак не тронь! где тебе еще фраки чистить? – с важностью сказал Петр. – И до жилетов, я уж говорил, не дотрогивайся. – У меня, Иван Софроныч, – продолжал он, – обращаясь к гостю, – такой порядок: фраки и жилеты всегда сам чищу.

– Хорошее дело, – сказал Иван Софроныч.

– С нежной вещью и обращенье нужно нежное, – порешил Петр. – Эй, ефиопина! попроси Матрену Ивановну кофейку сварить. Да щипцы тащи.

Мальчик ушел.

– ...Что, Иван Софроныч, деревня как?

– Ничего, Петруша; все тебе кланяются.

– Здорова матушка?

– Здорова, да уж больно стара стала; всё только и грезит, как бы тебя увидеть, Петруша. Вот бы ты побывал у нее. Да вот она и письмецо прислала.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Иван Софроныч достал письмо и подал Петру.

– Экое ведь необразование! – с негодованием воскликнул Петр, прочитав письмо. – Что вздумала? Видишь ты: «Иван Софроныч скоро назад поедет, так ты бы, Петруша, отпросился с ним побывать». Ха! ха! ха! Ну можно ли вообразить такую вещь...

– Что ж, Петруша, она стара; видеть тебя хочет, так вот и написала.

– Деревенщина она! – возразил Петр. – Шутка ли, что забрала в голову? Мне барина оставить? Да как же барин без меня? Да она просто с ума сошла. Уж я же ей напишу...

– Ну, не огорчай ее. Ведь она любя...

– Любя?.. Да ведь она должна знать, что коли я барину нужен, так как же мне, забившись в такую глушь... да и отпустит ли еще? да и я поеду ли еще, спросила бы. Вот уж подлинно деревенщина! Медведи там у них, что ли, живут, никаких порядков не знают. Что выдумала! Ха! ха!

И негодование камердинера возрастало более и более.

– Да еще они жалуются, – сказал Иван Софроныч, – какие ты им подарки прислал. Матери, слышно, прислал складной футлярчик с пружинкой. «Не знаю, – говорит старуха, – что и делать с ним! раскроешь – словно опахало модное, с перегородочками, а сложишь – словно блин!..»

Петр расхохотался.

– Блин! Вот уж подлинно наказание мне с ними, Иван Софроныч! – сказал он голосом, заискивающим участия. – Хочешь, чтоб всё получше было, как у добрых людей водится, которые понимают образование, а выходит просто стыдно слышать. Блин! Я ей послал вещь хорошую, ценную и модную, а она говорит – блин!

И он грустно опустил голову и задумчиво прибавил:

– Просто срам с ними!

– Да что же ты ей послал, Петруша?

– Портмонней, – отвечал Петр.

– Как?

– Портмонней – ну, в чем деньги носят. Вот такую штучку, – прибавил Петр и подал Ивану Софронычу свой кожаный тисненый золотом портмоне, раскрыв его сначала своими неуклюжими, толстыми пальцами, которые, впрочем, были украшены ногтями непомерной длины.

Искоса посмотрев ногти камердинера, которые тот принялся чистить и обтачивать стальной пилочкой, Иван Софроныч сказал, с любопытством оглядывая портмоне:

– Грешный человек! я и сам в первый раз вижу такую вещь.

Петр пожал плечами.

– Не знаю, – сказал он. – А у нас так ни в чем больше и не носят денег. Вещь хорошая, модная.

– Так, да ты бы послушал, что старуха говорит. «Прислал, – говорит, – сынок механику такую мудреную: пишет, что туда деньги кладут; а какие у меня деньги? коли случится меди гривна-другая, так я и в платок завяжу, – а бывает, дадут гривенник либо четвертак в лавочку сходить, так я и во рту донесу...»

Петр сделал презрительную гримасу.

– Ты бы ей, Петруша, лучше ситцу послал либо платок.

– Нет уж, покорно благодарим! – возразил Петр. – Мы не вчера из деревни! Нас

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
учить не приходится... А вот я ей напишу! да уж вперед гостинцев моих она не  
дожидайся!

– А ты не сердись, Петруша, – ну где же ей всё знать? – сказал кротко Иван Софроныч.

– Должна знать! А не знает, так молчи! Не умничай! Невежество, необразование, политики никакой нет – так всё и напишу...

Иван Софроныч стал уговаривать его не огорчать старуху; но Петр твердил свое:

– Надо же им показать, что значит образование, столица, столичные порядки!

И он пришел в такое раздражение, что готов был тотчас писать грозное письмо. Но пришел негр: принес кофе и щипцы; камердинер принялся пить кофе, а мальчику приказал завивать себя, причем в лице черного слуги выразилось отчаяние: нет сомнения, что он охотно отдал бы Петру свои густые прекрасно вьющиеся волосы, лишь бы избавиться тяжелой обязанности завивать жидкую куафюру камердинера.

– Ну а что, Иван Софроныч, – спросил Петр через минуту, – наши там: Сидор, Пахом, Силантей? Чай, просто в мужиков обратились, мохом обросли? Деревня так и подлинно деревня. А не знавали ли там Татьяну Сывороткину?.. Тише ты, ефиопина! волосы подпалишь! Чему вас там учили в вашей Арапии? щипцов нагреть не умеет! Вишь, как раскалил, – ну-ка тронь руками, тронь...

И Петр протягивал к нему щипцы. Негр жалобно промычал и попятился.

– Ну, оставь его, Петруша, – заметил Иван Софроныч. – Обожжется!

– Ничего! – отвечал Петр. – Они там по горячему песку босые ходят... Им нипочем...

– Молод еще, – заметил Иван Софроныч. – Надо его и пожалеть...

– Молод – не беда, – возразил камердинер, – глуп – вот несчастье! А не прикажете ли сигарочку, Иван Софроныч? – спросил он, заметив, что управляющий допил свой кофе.

– Нет, сигарочки не курю, а вот кабы трубочку?

– Трубочку? – с презрением сказал Петр. – Ну нет, трубок не держим; да и кто теперь трубки курит? А вот папироски есть. Подай им папироски.

Черный подал.

– А я вот, кроме сигар, ничего не курю, – сказал Петр и, приказав подать себе сигары, которые лежали в двух шагах от него, закурил.

– Так Татьяну Сывороткину не знали? – спросил он.

– Знал, – отвечал Иван Софроныч, закуривая папироску. – Она тоже тебя вспоминает; кланяться велела. Славная девушка! – заключил старик.

– Хороша! Да что? – возразил Петр. – Образования нет!

– Сохнет, сердечная, – продолжал Иван Софроныч. – Всё такая печальная да молчаливая.

– Сохнет? знаем! – значительно перебил Петр.

– Замуж ни за кого не хочет, – сказал Иван Софроныч. – И Силантий сватался, и управляющий соседнего барина, немец, молодой такой, уж вот как высох, руку свою предлагал... отказала!

– Отказала! – самодовольно повторил Петр. – Вот как!..

– И приказный из города сватался... Не пошла!

– Не пошла! – повторил Петр.

– Вот, – сказал Иван Софроныч. – И она тоже говорила: кабы ты приехал...

– И она тоже? Да они, никак, там все с ума сошли!

– Все тебя там ждут...

– Ждут? Ну пускай ждут! – сказал Петр. – Знать всё знаем, а помочь не можем! – прибавил он и свистнул.

И, став перед зеркалом, Петр принялся повязывать розовым платочком свою толстую шею; раз пять перевязывал он бант, пока остался им доволен; во всё это время черный слуга, стоя за ним, подобострастно повторял все его движения, поднимался на цыпочки, нагибал голову то влево, то вправо и успокоился не ранее, как увидав, что операция кончилась благополучно. Повязав платок, камердинер снова свистнул и глубокомысленно произнес:

– Далеко кулику до Петрова дня!

Затем Петр уже довольно скоро довершил свой туалет, надев жилет и сюртук: то и другое, очевидно, не более пяти раз было надето барином и потом перешло в достояние камердинера.

Одевшись, Петр закурил новую сигару и закричал:

– Ефиоп!

Черный слуга вошел.

– Газеты принесли?

– Не знаю.

– Не знаешь! А спросить нет догадки! Беги, узнай! У нас газеты носят с черной лестницы, – пояснил Петр Ивану Софронычу.

Через минуту прибежал мальчик с кипой газет и афиш.

– Вот теперь и почитать можно! – сказал Петр, разваливаясь в кресле. – Не прикажете ли? немецкую или французскую?

– Нет, мне русскую, коли есть, – отвечал Иван Софроныч.

– Есть и русская.

Он подал листок Ивану Софронычу, а сам принялся глубокомысленно читать афишу, потом пошевелил и листы газет, сохраняя важную осанку человека занятого и вникающего; пока он читал, у него несколько раз гасла сигара, и по знаку его негр подавал ему каждый раз горящую спичку.

Наконец около двенадцати часов раздался звонок из внутренних комнат. Иван Софроныч вздрогнул и вскочил, как потрясенный электрическим ударом; но Петр встал спокойно и медленно и, собирая газеты, сказал:

– Рано сегодня! Станет спрашивать, что в газетах... а я и не успел прочесть. – Что в вашей? – спросил он, взяв листок у Ивана Софроныча.

– Да ничего, – отвечал Иван Софроныч. – Всё такой вздор пишут.

– Да о чем?

– Да всё погоду бранят: говорят, что нехороша; да лавку Бакалейщикова хвалят: говорят, очень хороша.

– Славная газета! – сказал Петр. – Хоть никогда не читай, а как спросит, что в ней – говори: ничего, либо: лавку хвалят, – никогда не ошибешься...

– Да, конечно, – заметил Иван Софроныч, – для вашего брата – лакейства, –

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
выходит, хороша, а господам, я думаю, скучно: совсем читать нечего в ней!

– Нет, и им нравится; вот мой барин, прошлого году, два месяца, не поверите, чем занимался: как только тут похвалят балыки ли, семгу, устрицы, вино ли, – он тотчас посылает купить...

– И что же? – спросил Иван Софроныч.

– Да всякий раз выбрасывали!

Иван Софроныч искоса посмотрел на газету, которая была предметом разговора.

– Зачем же покупать? – сказал он.

– Да уж я пробовал спрашивать. Я, говорит, хочу убедиться, точно ли всё то никуда не годится, что здесь хвалят.

– Ну?

– Ну и уверился. Теперь и название ей свое дал... как бишь? да! «Опытный предостерегатель»! А вынеси-ка, говорит, «Опытного предостерегателя» в прихожую... право! так всегда и называет ее!

Звонок раздался во второй раз.

– Ну, с богом, Петруша! – сказал Иван Софроныч. – Так доложи ему, голубчику, что, дескать, управляющий вашей милости, Иван Софроныч Понизовкин, прибыл из Софоновки с отчетом и оброчными суммами и желает представиться.

Петр ушел, а Иван Софроныч начал приводить в порядок перед зеркалом свою физиономию, ожидая, что его сейчас позовут. Но Петр воротился и выразительно произнес:

– Отказано!

– Что так? – сказал удивленный Иван Софроныч. – Да отчего же?

– Не в духе, – лаконически отвечал камердинер. – Сначала не понял даже, – прибавил он. – Какой, говорит, Понизовкин?.. Управляющий, говорю, что в Софоновку изволили послать. А! – говорит. Ну, пусть в другое время придет – теперь не время заниматься такими мелочами!

– Мелочами? так и сказал, Петруша?

– Так и сказал: мелочами!

– Да какие же тут мелочи? Сам ты посуди, Петруша, – возразил Иван Софроныч, горячась, как будто перед ним стоял сам владелец имения, – полторы тысячи душ, фабрика бумажная, два года никаких доходов не собирали; всё привел в порядок, долги уплатил, фабрику увеличил; до двадцати пяти тысяч будет давать; сенокосы какие; а земля, земля-матушка! да только живи да благословляй бога... и, слышишь ты: всё мелочи!!! Да что же у него не мелочи, скажи, Петруша?

– Так, Иван Софроныч, да, понимаете: не оттого, а уж такой характер – месяц весел, и год целый весел, да вдруг как схватит его сплин... оно, понимаете, по-французски так называется, а по-нашему выходит – вроде черной немочи, – так день, два, неделю иной раз лежит, ничего не говорит, никого не велит пускать... почти в рот крохи не берет; разве вдруг спросит бутылку клеко, – выпьет и опять ляжет и еще сердитее смотрит...

– Так! – сказал Иван Софроныч. – Да отчего же такая болезнь происходит?

– А господь знает! Случается, приволокнется – ну, неудачи, что ли? Вот и слег... либо дуэль какая...

– Дуэль! – с ужасом воскликнул Понизовкин. – Разве он и дуэли имеет?

Камердинер захохотал.

– А то небось нет? Да как мы за границей жили, так, верите ли, месяца не проходило, чтоб не было дуэли. Бывало, придет домой и говорит: собирайся, через час едем! Уж и знаю – значит, недаром! И всё, понимаете, одна выходит притчина...

Петр лукаво усмехнулся и подмигнул.

– Господи боже мой! – произнес Иван Софроныч. – Да как он еще жив остался!

– Да ему всё нипочем. Раз десять ранен был – мигом поправится и марш опять дальше. Да то ли еще? Семнадцать раз ногу ломал – срстется, и пошел опять, словно ни в чем не бывало!

– Подлинно чудно! – сказал Иван Софроныч. – Ну, и теперь, стало, что-нибудь такое? – спросил он.

– Нет, дуэли не было. А вот что: сказать правду, так я знаю притчину.

– Что такое? – с живостью спросил Иван Софроныч.

– Боюсь! не любит, когда я о нем рассказываю.

– Ну да я никому, а может, пособить сумею.

– Вряд ли; дело-то, видите, такое...

– А что?

– Да уж сказать разве: проигрался!

– Проигрался!

– Да. И денег у нас совсем нет, – чем платить?

– Ну, еще не беда. Я привез деньги – расплатится. А много проиграл, слышно?

– Да тысяч сто, должно быть.

– Сто тысяч! – воскликнул с ужасом Иван Софроныч. – Ну, не будет столько. Да как же его, сердечного, угораздило? Ведь большая сумма, большая сумма сто тысяч!

Раздался звонок.

– Ну, прощайте, Иван Софроныч! заходите!

Камердинер ушел к барину, а Иван Софроныч спустился с лестницы и, медленно пробираясь по тротуару, предался соболезнованию о проигрыше Тавровского. Иван Софроныч был так устроен природою, что чужое горе часто трогало его больше собственного, а если он кому-нибудь служил, то уж предавался ему душой и телом. Поэтому проигрыш Тавровского сильно озадачил его, и старик изыскивал в голове своей способы, как бы помочь беде. Ничего, однако ж, придумать он не мог. Тоска напала на него страшная, и он не знал, что делать. Не получив аудиенции у Тавровского, Иван Софроныч вздумал наконец навестить двух его родственников, которых имения находились поблизости имений Тавровского. Ивану Софронычу поручено было собрать и привезти в Петербург сведения о состоянии их. Здесь было больше удачи; старый князь, двоюродный дядя Тавровского, тотчас принял Ивана Софроныча и посадил; но тут ждал бедного старика новый удар. Между разговором князь спросил:

– А что Павел Сергеич? Видели его?

– Сейчас был у них, но не видал: сегодня не принимают.

– Бедный Павел Сергеич! – заметил князь. – Ему не до того: проигрался!

– Слышал, слышал, ваше сиятельство! – отвечал Иван Софроныч. – Скажите, какое несчастье! и, говорят, значительную сумму проиграл – тысяч сто!

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a – Сто тысяч! (князь усмехнулся). Хорошо, если б только сто тысяч! Да сто тысяч было еще на прошлой неделе, а теперь, говорят, уж полтора ста с лишком.

– Полтора ста тысяч! – воскликнул с неподдельным ужасом Иван Софронич. – Нет, вы изволите шутить, ваша сиятельство!

И он долго не хотел верить.

Понурился, сошел Иван Софронич с лестницы и отправился к другому родственнику. Там опять разговор зашел о Тавровском и его проигрыше, и сердце бедного старика было поражено новым ужасом: родственник объявил, что знает наверное, будто Тавровский в течение прошлой недели и в начале нынешней проиграл с лишком двести тысяч!

Не в духе воротился домой Иван Софронич.

#### Глава XLIX

##### Торжество Ивана Софронича

Целую ночь Иван Софронич думал о проигрыше Тавровского и о том, каким бы образом поправить дело. Много передумал он, часто и глубоко вздыхал, пока наступил одиннадцатый час. Тогда Иван Софронич оделся и через полчаса снова звонил у квартиры Тавровского. Тавровский принял его, но всё еще был не в духе; лежа на диване лицом к стене, выслушал он донесения Ивана Софронича о состоянии села Софоновки и о различных мерах благоустройства, предпринятых им, и остался совершенно равнодушен, как будто дело шло о чужом имении. Иван Софронич не терял духа, рассчитывая на статью о доходах, которые удалось ему значительно увеличить. Но когда и статья о доходах прошла без малейшего признака участия и одобрения со стороны Тавровского, Иван Софронич потерялся. Минут десять стоял он, не говоря ни слова. Тавровский тоже молчал, погруженный в свои мысли.

– Что еще? – наконец спросил последний, очевидно с целью прекратить аудиенцию.

– Ведомость о состоянии Софоновки и находящейся при оном селе фабрики. Тож приходо-расходная ведомость, – проговорил Иван Софронич унылым голосом.

– Потрудитесь положить, – сказал Тавровский, не поворачивая головы и указывая рукой на столик подле себя.

Иван Софронич положил и прибавил тем же плачевным голосом:

– Деньги сорок две тысячи пятьсот восемьдесят четыре рубля шестьдесят семь копеек ассигнациями.

– И деньги тут положите.

Иван Софронич расстегнул сюртук, вынул из жилетного кармана ножичек и, распоров боковой карман сюртука, зашитый для предосторожности, достал полновесный бумажник и начал укладывать стол пачками ассигнаций, предварительно пересчитывая каждую; потом он таким же порядком распорол левый карман своих рейтуз и достал оттуда несколько свертков, в которых оказалось золото; разложив их симметрически по кучкам, Иван Софронич дополнил сумму серебром и медью, достав то и другое из особых кошельков, хранившихся в разных карманах его одеяния. Исполнив всю эту работу, которая продолжалась довольно долго и во время которой Иван Софронич по временам искоса поглядывал на Тавровского, старик сказал:

– Изволите пересчитать?

– Не нужно: я вам верю, – сказал Тавровский. – Вы честный человек и хороший управляющий! – прибавил он, сделав движение головой, подобное поклону.

Иван Софронич понял, что он только из деликатности не прибавил: «Идите», но не трогался с места. Ему смертельно жаль было Тавровского. «Как мучится, как убивается, сердечный!» – думал Иван Софронич, и, нет сомнения, честный старик готов был бог знает чем пожертвовать, лишь бы возратить ему спокойствие и веселость. Иван Софронич стоял понурился голову. Молчание продолжалось несколько минут.

– Да, – сказал Тавровский, как будто только заметив, что Иван Софронич еще не



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
ушел, – сколько вы привезли денег – сорок тысяч с чем?

– Сорок две тысячи пятьсот восемьдесят четыре рубля шестьдесят семь копеек, – поспешно сказал Иван Софроныч.

– Так сорок тысяч оставьте, а остальные возьмите в награду за ваше усердие и честность.

Слезы подступили к сердцу управляющего.

– Не того жду я, – сказал он. – Я много доволен вашей милостью, а если позволите старику слово сказать...

– В другое время, Иван Софроныч, – благосклонно отвечал Тавровский.

– Нет уж, теперь, батюшка, теперь, коли милость будет! – воскликнул Иван Софроныч, приближаясь к Тавровскому, и продолжал с возрастающим жаром: – Сердце болит, глядя, как вы убиваться изволите, – а из чего? Ведь уж, осмелюсь доложить, дело сделано; горевать поздно, а лучше подумать, как пособить горю.

– Какому горю? – равнодушно спросил Тавровский.

– А как же, батюшка, я ведь знаю. Не рассердитесь глупому слову старика: поприиграться изволили, слышно?

– Кто вам сказал? – спросил Тавровский, всё еще не приподнимаясь с дивана и не поворачивая головы, но уже несколько живее.

– Как же, батюшка? Мне и князь Горбатов говорил, и Александр Екимыч говорил.

– Что ж они говорили?

– Да князь сказал, что полтора ста тысяч изволили проиграть, а Александр Екимыч так божились, будто даже двести!

– Так лгут же они оба! – резко воскликнул Тавровский, вскакивая с дивана и останавливаясь перед Иваном Софронычем. – Не полтора ста и не двести тысяч, а триста пятьдесят!

– Как, вы изволили проиграть триста пятьдесят тысяч?

– Да, и через неделю должен заплатить.

– Через неделю?

– Я дал честное слово.

– Изволили дать честное слово, так, конечно, следует заплатить через неделю. Да как справиться? Много недостает еще?

– Да полчаса тому назад, – отвечал, улыбаясь, Тавровский, – доставало ровно трехсот пятидесяти тысяч, а теперь недостает немного меньше.

Иван Софроныч подивился и отчасти огорчился, что Тавровский может шутить в таких обстоятельствах и таким делом.

– Как же вы думаете быть? – спросил он.

– Продадим или отдадим Софоново, – отвечал равнодушно Тавровский.

– Как, Софоново продавать? – воскликнул с необыкновенным жаром Иван Софроныч. – Нет уж, извините! Софоново продать невозможно!

– Отчего же?

– Да оттого... оттого, что я... что я... я не позволю... не допущу!

Тавровский посмотрел на него с удивлением. Глаза старика блистали, лицо горело;

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
весь он был полон страстного одушевления.

– Что вы хотите сказать? – спросил Тавровский.

– Продать Софоново?! – воскликнул Иван Софроныч. – Софоново продать! Павел Сергеич! осмелюсь спросить: изволили вы бывать в Софонове?

– Раз был.

– Что же?

– Ничего, вид недурен.

– А земля, земля?

– И земля, говорят, хорошая.

– Говорят, хорошая! – повторил Иван Софроныч с досадой. – Говорят! Не хорошая, а клад, сокровище! Положишь труда крупицу, а она, матушка, воздаст четвертями да целыми закромами! Что хлеба родится, какого хочешь: пшеницы ли, ржи, ячменю, гречихи! Какие сенокосы! а рыбные уголья? Да если б ваша милость и с тетушкой-княгиней и со всеми родичами изволили жить там, так во весь круглый год ниже единой плотицы прикупить не приведется! А лес, лес какой? и на самом Днепре-голубчике! Я думаю, три века растет, если не больше; есть такие деревищи, что сто богатырей во сто дней с места не сдвинут; выдолби, проруби окна, и дом готов... А мельницы какие у нас? а фабрика?... И такое сокровище продать... продать? – повторял Иван Софроныч нетвердым голосом, и Тавровский не без удивления заметил слезу, покотившуюся по разгоревшейся его щеке, – Да зачем же изволили и посылать туда старика? – заключил Понизовкин плачущим голосом.

– Что делать, любезный мой Иван Софроныч! – сказал Тавровский. – Во всяком случае вы можете быть уверены, что место управляющего в другом моем имении, куда я сам ездил, будет ваше.

– Батюшка Павел Сергеич, что вы изволили подумать? Вы мало еще изволите знать старика! Видит бог, вас берегу. Софоновка – клад, золотое дно; помяните мое слово, через пять лет она будет давать двести тысяч дохода, и продавать ее не следует!

– Я бы рад, да как же быть?

– Да уж как хотите, а не извольте продавать.

– А вот если отыграюсь, – с улыбкой отвечал Тавровский, – так не продам.

– Отыграетесь? В самом деле, – воскликнул с живостью Иван Софроныч, – ведь можно еще отыграть? Так чего и торопиться продажей!

– Можно и отыграть, Иван Софроныч, а можно и еще проиграть, – заметил Тавровский.

– Да! – сказал, спохватившись, старик и, подумав, спросил Тавровского: – А вы хорошо изволите играть?

– То есть счастливо ли? – отвечал Тавровский. – А бог знает! Нужно, однако ж, признаться, что в первый раз играю в такой степени несчастливо. В последнее время в Баден-Бадее я был в выигрыше до полутора миллиона.

– Да, видно, проиграли опять? – спросил Иван Софроныч.

– Нет, прожил... в один месяц, – прибавил Тавровский с улыбкой. – А часть, правда, и проиграл. С той поры я долго не играл и вот теперь плачусь за тогдашний выигрыш.

– А кто у вас выиграл нынче? – спросил Иван Софроныч.

– Брусилов.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Не знавал, – заметил Иван Софроныч. – Честный человек?

– То и убийственно, что честнейший и совсем играть не умеет. Он страшно богат, – играет, как и я же, потому что скуууу-чно... – Тавровский произнес последнее слово протяжно, зевнул и потом прибавил:– Он обещал быть у меня сегодня вечером; посмотрим, может быть, и отыграюсь.

– Не рассердитесь, – сказал Иван Софроныч.

– Что прикажете?

– Позвольте мне уже прийти посмотреть.

Тавровский рассмеялся.

– Хорошо, приходите; только берегитесь, Иван Софроныч!

– Я играть не буду, – сказал старик, – а так, полюбопытствовать.

– Ну, не ручайтесь! А кстати: возьмите же свои деньги!

Уже без всяких отговорок Иван Софроныч взял назначенные ему Тавровским две тысячи пятьсот восемьдесят четыре рубля шестьдесят семь копеек и уложил в карман. Затем он откланялся и удалился. А Тавровский принялся зевать, зевать бесконечно.

С того времени как мы расстались с Тавровским, в нем произошла значительная перемена. Отложив свою свадьбу, по настоянию Натальи Кирилловны, на неопределенное время и поселившись в Петербурге, он скоро предался снова своему прежнему образу жизни. Благодатное впечатление кроткого, простого, как сама природа, существа, которое научило его сердце биться давно пережитыми юношескими ощущениями и находить радости в тихой деревенской жизни с природой, книгами и любовью, изгладило в нем довольно скоро. Сначала его интересовали письма Любы, и он охотно и аккуратно отвечал ей, – потом стал писать реже. Письма его делались всё короче. Люба, как бы почувствовав перемену в нем, тоже стала писать не так часто, и наконец всё прошедшее начало представляться Тавровскому в смутном тумане. И кончил он тем, что начал вести самую рассеянную и пустую жизнь и наконец, как мы уже знаем, проигрался. Как ни был значителен его проигрыш, ему, однако ж, жаль было не денег. В нем жила безотчетная, но неотразимая уверенность в свое счастье, и ему даже и в голову не приходило, что он может лишиться состояния. Но его бесило торжество соперника. Он не привык уступать никому ни в чем. Страсть к игре не была в нем постоянной страстью; но когда она приходила к нему, он предавался ей исключительно и необузданно. Все другие желания и страсти умирала. Он жил только, когда играл, а остальное время лежал, зевал, хандрил, никого не принимал и ни к кому не ездил. В таком именно кризисе находился он, когда Иван Софроныч прибыл к нему с отчетами. Кризис продолжался уже вторую неделю и, по замечанию камердинера, должен был скоро кончиться. Петр замечал, что у его барина такие кризисы никогда не продолжают более двух недель.

Наступил вечер. В десять часов явился Иван Софроныч и смиренно поместился в уголку ярко освещенной залы Тавровского. В половине одиннадцатого прибыл господин Брусилов.

Многие заметили, что судьба посылает счастье именно тем, кто всего менее в нем нуждается. Кто всего чаще выигрывает лотерейные выигрыши: кареты, серебряные сервизы и участки земли и всё сколько-нибудь ценное?.. богачи, люди, имеющие сами миллионы, разъезжающие в отличных экипажах, кушающие с дорогих сервизов, имеющие богатые дачи! Кому везет в картах? опять всего чаще тем же богачам! Нужны ли еще примеры? нужны ли доказательства? Каждый в собственной жизни, вероятно, встречал их довольно.

Господин Брусилов принадлежал именно к числу таких счастливых. Так как в нашем рассказе принадлежит ему незначительная роль, то мы не коснемся ни его характера, ни общественного положения и скажем только несколько необходимых слов. Отец оставил ему миллион; в то время господину Брусилову едва минуло совершеннолетие; в тридцать лет он женился и взял за женой тоже до миллиона, в течение пяти следующих лет имел несчастье потерять нескольких родственников, и к

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a тридцати пяти годам состояние его удвоилось. Одним словом, к сорока годам он был одним из богатейших людей в Петербурге. Господин Брусилов никогда не вызывался играть, но, если ему предлагали, не отказывался, и никто еще не помнит, чтоб он проиграл значительный куш, но все готовы рассказать множество случаев, в которых были свидетелями его огромных выигрышей, причем непременно прибавят, что он безмерно и непроходимо глуп, – обстоятельство, которое можно объяснить завистью. Как бы то ни было, Тавровский любил играть с Брусиловым, и действительно, с ним было приятно играть: ни тени торжества и радости при выигрыше – судорожной радости, которую так отвратительно иногда бывает видеть (не одним проигрывающим) в некоторых слабонервных любимцах счастья; ни малейшего упадка духа при перемене счастья, – напротив, чем значительнее проигрыш, тем приятнее улыбка, тем вежливее слово, тем веселее шутка играющего! Отчаянье, вскрикивание, рванье волос и карт – такие явления были совершенно вне характера Брусилова; людям, обнаруживающим что-нибудь подобное, он советовал купить мешок орехов и перенести игорный стол в детскую, если был с ними короток; а если был мало знаком, то вежливо спрашивал их фамилии и переставал играть. На другой день эти фамилии стояли в его записной книге в числе лиц, с которыми не должно играть.

Тавровский сам представлял в игре образец силы характера и умения владеть собой; он знал по опыту, как трудно иногда сохранить наружное хладнокровие, и потому не мог не уважать твердости Брусилова. Но Брусилов имел перед ним огромное преимущество: он играл несравненно счастливее, а при счастье легче владел собой.

Приехав к Тавровскому с тем, чтоб дать ему так называемый «реванш», Брусилов объявил, что не может оставаться долее двенадцати часов, потому что должен ехать на бал. (Он был во фраке и белых перчатках.) Игра началась немедленно.

Тавровскому не было счастья. Он разделил деньги, привезенные Иваном Софронычем, пополам и думал играть ими два вечера. Но через полчаса двадцати тысяч как не бывало, и Тавровский принялся за остальные. Иван Софроныч принимал судорожное участие в игре, сопровождал глазами каждую карту и не раз вскрикивал, когда Тавровский проигрывал большой куш. Но страдательное участие его не приносило пользы Тавровскому. Видя лихорадочное состояние Ивана Софроныча, Брусилов шутя замечал Тавровскому:

– Ваш почтенный управляющий принимает такое горячее участие в игре, что, право, я хочу проиграть, чтоб сделать ему удовольствие.

– Покорнейше вас благодарю! – воскликнул Иван Софроныч. – Не осудите старика!

– Немудрено, – отвечал Тавровский. – Ему очень нравится имение, которым я хочу заплатить вам мой проигрыш!

– А хорошее имение? – спросил Брусилов у Ивана Софроныча.

– Нет, – отвечал Иван Софроныч, начиная хитрить. – Много денег нужно положить, чтоб привести его в настоящее положение.

Тавровский невольно улыбнулся.

– Ничего, Иван Софроныч, не унывайте! – сказал Тавровский. – Вот если Матвей Александрыч даст мне шесть карт, так Софоновка останется еще за нами! – И он поставил карту, написал под ней куш и сказал: – Темная!

Иван Софроныч не выдержал и заглянул под карту. Лицо его покрылось смертельной бледностью: под картой стояла цифра, равнявшаяся всей сумме, остававшейся еще у Тавровского.

Пробило половина двенадцатого.

– Что, видно, решительная? – сказал Брусилов, увидав испуганное лицо управляющего. – И прекрасно! Мне скоро пора.

Брусилов дал четыре карты Тавровскому; но пятая была убита.

Тавровский поставил тот же куш. Брусилов убил его сразу.

– Баста! – сказал Тавровский. – Сегодня довольно!

– В самую пору, – заметил Брусилов и, сосчитав деньги, положил их в карман. Потом он встал, натянул перчатки и стал прощаться.

Иван Софроныч сидел как обваренный кипятком. Он машинально следил за движениями Брусилова, наконец расстегнул сюртук, достал бумажник и, вынув оттуда пачку ассигнаций, сказал умоляющим голосом:

– Батюшка Матвей Александрыч! не осудите старика, о чем попрошу вас. Вы изволили выиграть всё у моего барина; вот у меня наберется тысячи две, а может и побольше: не откажите пометать еще!

– Вы хотите играть? – с улыбкой сказал Брусилов, возвращаясь к столу.

– Хочется попробовать счастья; не погнушайтесь: конечно, я человек простой...

– Помилуйте, – прервал Брусилов. – Очень рад; готов в другой раз сколько вам угодно. Но вы знаете, что я должен ехать.

– Что вам стоит – долго ли взять две тысячи? – возразил Иван Софроныч. – Вы были так добры, что изволили давеча сказать, что проиграть готовы, чтоб потешить старика. Так хоть не откажитесь сыграть!

Голос Ивана Софроныча был так убедителен, что Брусилов, подумав немного, сказал:

– Ну извольте, для вас, одну талию.

Не садясь и не снимая перчаток, он взял карты и приготовился метать.

Иван Софроныч выдернул наудачу карту и поставил две тысячи пятьсот восемьдесят четыре рубля шестьдесят семь копеек – ровно всё, что подарил ему утром Тавровский.

– Если вы проиграете, я вам возвращу, – сказал ему удивленный Тавровский.

– Дана, – в то же время сказал Брусилов.

Иван Софроныч, как будто движимый вдохновением, быстро выдернул и загнул другую карту. И та была ему дана. Тавровский пособил своему управляющему загнуть третью карту, которая также была дана.

Иван Софроныч торжественно крикнул. Брусилов снял перчатки, но всё еще не садился.

– А много ли имею? – спросил Иван Софроныч, рассчитывая.

– Вы имеете теперь семь кушей от двух тысяч пятисот рублей, – сказал Тавровский. – Ставьте на пятнадцать кушей!

– Деятнадцать тысяч девяносто два рубля тридцать четыре копейки, – сосчитал Иван Софроныч. – Ну-с, теперь и вам можно играть, – сказал он, подвигая карты к Тавровскому.

– Нет, Иван Софроныч! что чужими деньгами играть! да и надоело! гораздо интересней смотреть, особенно вашу игру.

– Куда мне? я и играть не умею! – возразил Иван Софроныч.

– Поскорее, господа, – нетерпеливо сказал Брусилов, – последняя талия.

– Я вас поучу. Ну, Иван Софроныч!

И Тавровский загнул карту на 15 кушей.

– Не та! – сказал Иван Софроныч с каким-то судорожным испугом. – Вот!

И он вытащил другую карту и бросил ее к Тавровскому.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Тавровский загнул ее и с любопытством ждал талии, держа в руках свою карту, забракованную Иваном Софроничем: его интересовало, что она скажет.

Эта карта (девятка) была убита по второму абцугу, причем Иван Софронич вскрикнул: так напугала его близкая возможность разом всё снова проиграть; а между тем судьба собственной его карты была еще неизвестна.

– Будет дана! – сказал Брусилов спокойно.

И точно, прокинув еще несколько карт, он дал ее.

– Да вы чудеса делаете, Иван Софронич! – сказал Тавровский. – Вы в пять минут отыграли весь мой сегодняшний проигрыш!

– С новичками такие вещи бывают сплошь да рядом, – заметил Брусилов и посмотрел на часы. – У нас есть еще пять минут, – сказал он, всё еще стоя.

Но когда и следующая карта, поставленная Иваном Софроничем на половину выигрыша, была дана, Брусилов сел. Игра продолжалась еще полчаса. Иван Софронич возвратил сорок тысяч, проигранные Тавровский в тот вечер, и выиграл еще семьдесят тысяч. Брусилов кончил игру и хотел заплатить чистыми деньгами; но Иван Софронич отказался, объявив, что ему приятнее будет получить вексель Тавровского. Увидав вексель Тавровского, старик возгорелся желанием воротить все их в тот же вечер; он начал просить Брусилова еще поиграть; но Тавровский сказал ему, что такие вещи не водятся, что удерживать кого-нибудь – значит накликать беду на свою голову и что Брусилов и то уж сделал ему беспримерное снисхождение тем, что, раз перестав, согласился снова играть.

Брусилов обещал приехать завтра вечером.

Счастье продолжало благоприятствовать Ивану Софроничу: в следующий вечер он отыграл еще около ста тысяч. Через день Брусилов прислал записку, что не совсем здоров и быть у Тавровского не может, «а если вам угодно, – писал он, – то приезжайте ко мне да захватите с собой и вашего дядьку». (Так шутя прозвал он Ивана Софронича.) Таким образом, Иван Софронич имел случай быть в великолепном доме Брусилова и немало подивился затеям роскоши, которыми окружил себя прихотливый богач. Здесь он очутился в обществе людей образованных и богатых, которые, шутя и зевая, проигрывали или выигрывали значительные суммы, что, по-видимому, служило им не более как приятным возбуждением нервов. Всем чрезвычайно понравилось добродушие старика; гости шутили с ним и со смехом рассказывали друг другу, что Тавровский, сознав свою невинность и неопытность, обзавелся дядькой, без которого никуда не ездит.

В этот вечер решилась судьба Софоновки: Иван Софронич отыграл деньги, проигранные Тавровский Брусилову, и тут же разорвал векселя, переданные ему Брусиловым.

Все поздравляли Тавровского и объявили в один голос, что каждый из них желал бы иметь такого дядьку до глубокой старости. И тут же многими лицами сделаны были Ивану Софроничу шутливые предложения перейти к ним в дядьки за двойную цену. Иван Софронич, в сильной радости, смеялся, благодарил, отшучивался по-своему и вообще доставил много удовольствия компании своею наивностью, забавными ухватками и честной, правдивой речью. За ужином подпоили его (старика немного было нужно, чтоб потерять голову: он уж и так был пьян от радости), Иван Софронич расходился, описывал свои молодые годы, походную жизнь, свое житье в Овинищах (причем старик прослезился, вспомнив Алексея Алексеича), – словом, как явление совершенно новое в кругу, где все лица пригляделись более или менее друг к другу, обычные разговоры прислушались и надоели, Иван Софронич всех занял и много способствовал к оживлению ужина. Многие, в том числе и Брусилов, приглашали его к себе. Но всех больше в этот вечер был удивлен Тавровский, до того времени не знавший своего управляющего. Тавровский увидел, что Иван Софронич успел уже привязаться к нему и решительно не понимал за что: он не знал, что сердце Ивана Софронича так уж было устроено самою природою, что Ивану Софроничу довольно было прожить безбедно и спокойно год в селе Софоновке, чтоб навсегда остаться преданным его владельцу.

– Ну, Иван Софронич, – сказал Тавровский, когда они возвратились домой, – как же мы с вами рассчитаемся? Теперь я ваш должник.

– Вы? помилуйте, батюшка Павел Сергеич, да каким же образом? – возразил Иван Софроныч.

– Софоновку вы отыграли?

– Точно, я. Да чьими деньгами?

– Своими... то есть теми, которые я вам подарил.

– Подарили? – повторил Иван Софроныч. – Да какие же тут подарки, когда жалованье платится по условию! Нет, батюшка, деньги были ваши.

– Нет, Иван Софроныч, – горячо возразил Тавровский, – моя воля была их вам не дать.

– Да моей воли не было взять.

– Да ведь вы уж взяли.

– Взять взял, а помнить помнил, чьи они. А взял потому, что попробовать счастья хотел – Софоновку отыграть, коли вам не посчастливится! Вот и отыграл! – с торжеством прибавил Иван Софроныч.

– И получите половину, – сказал Тавровский. – Мой долг отдать вам по крайней мере половину: вы рискнули двумя тысячами, может быть единственными...

– Да говорю вам, что они не мои были! – резко перебил Иван Софроныч, вспыхнув. – Ну а если б и мои, так разве вы не помните, когда я стал играть: не вы ли изволили сами сказать, что заплатите мне, если я проиграю?

Тавровский вспомнил, что действительно говорил что-то подобное.

– Ну так статочное ли дело! разве я жидовин какой, что, выигравши, буду брать, когда, проигравши, не сам бы платил. Рассудите сами, батюшка!

Тавровский стал уговаривать его взять хоть сорок тысяч, привезенные им. Иван Софроныч наконец согласился, вспомнив о дочери. В порыве щедрости Тавровский тут же хотел их отдать ему. Но Иван Софроныч не взял.

– Помилуйте! – сказал Иван Софроныч. – Успеет еще. А теперь у вас у самих только и есть.

– Ну как хотите!

Прощаясь с Иваном Софронычем, Тавровский предложил ему свою коляску – доехать домой; но Иван Софроныч предпочел пройтись пешком. Он шел, пошатываясь, размахивая руками, и всю дорогу пел одно слово: Софоновка! Со-фо-но-вка! Софоновкка! Добравшись наконец до своей квартиры, он разбудил Настю и сказал ей:

– Настенька! знаешь ли, какая радость?

– Что, батюшка?

– Я выиграл триста пятьдесят тысяч! – громко и торжественно произнес Иван Софроныч.

– Что? – повторила Настя, широко раскрывая свои сонные глаза.

– Что? – невольно вскрикнул в то же время бледный господин, изготовлявший в соседней квартире «партию свадебных билетов» по заказу одного счастливого, желавшего ознаменовать свое вступление в брак приличным пиршеством; вскочив со всех ног, он кинулся к двери, которая вела в соседнюю квартиру, но была теперь заколочена, и приложил ухо к щели.

– Я выиграл триста пятьдесят тысяч! – громко повторил Иван Софроныч.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a – Господи! есть же такие счастливцы! – произнес бледный господин, неизвестно почему побледнев в одну секунду более обыкновенного и дрожа как в лихорадке.

После расспросов Насти и несвязных ответов Ивана Софроныча в квартире соседа всё замолкло, а молодого человека всё еще была лихорадка. Он думал о том, что вот человек в один вечер выиграл триста пятьдесят тысяч, а ты никогда их не будешь иметь, хоть семьдесят семь лет пиши свадебные приглашения и «изготовь» их столько, что хватило бы пережениться всему человечеству. Между тем время шло; он взглянул в окно: было уже утро, и он с новым жаром принялся готовить приглашения, которых обязался поставить ровно семьдесят экземпляров к девяти часам наступающего дня. Но дело шло уже не так, как прежде. Час тому назад он писал легко и скоро. Уже сорок девять раз начинал и благополучно оканчивал он своим четким и красивым почерком вожделенное известие о том, что «Стратилат Гурьевич Попершихин, вступая в брак с дочерью Панфила Вавиловича Василевского, Лукерью Панфиловною, покорнейше просит сего февраля...» и проч.; уже более половины партии было готово, и рука так привыкла к своему делу, что голова могла думать что ей угодно, и что бы ни думала голова, рука пишет да пишет, и непременно напишет то, что следует, как будто и написать ничего больше нельзя человеческими буквами, кроме вожделенного известия о бракосочетании Стратилата Гурьевича с Лукерьей Панфиловной. Теперь не то. Молодой человек беспрестанно с досадой отбрасывает испорченные листки, рука его дрожит, а в голове такой разлад, такая кутерьма, какая могла бы разве произойти в двух почтенных семействах, готовых породниться, если б Стратилат Гурьевич вздумал вдруг отказаться от руки Лукерьи Панфиловны.

И всё наделало известие Ивана Софроныча!

Выбившись наконец из сил, молодой человек бросил свою работу, не дописав партии, и лег спать, с намерением, проснувшись, тотчас отправиться посмотреть хоть в щелку на счастливца, выигравшего вчера триста пятьдесят тысяч. Он спал спокойно и видел во сне не Стратилата Гурьевича и Лукерью Панфиловну, принимающих поздравления своих знакомых (как обыкновенно случилось с ним после усердной подготовки свадебной партии), но самого себя, в брачном костюме, под венцом, с красавицей, папенька которой подает ему триста пятьдесят тысяч... Он ставит их на карту: карта убита; папенька превращается в чудовище с оскаленными зубами и адски хохочет; а вместо красавицы подле него стоит толстый купец, заказавший ему свадебные билеты, и требует назад свой двугривенный, данный ему в задаток, потому что билеты опоздали и теперь уж даром не нужны.

## Глава I

### Посещение

Несколько дней Иван Софроныч провел весело. Он ходил с своей Настей в театр, водил ее в Кунсткамеру и на Биржу, несколько раз ездил с ней в окрестности Петербурга. Между тем он делал приготовления к обратному отъезду в Софоновку и желал только отпраздновать в Петербурге рождение своей дочери. Накануне этого дня Иван Софроныч разменял пятьсот рублей на пяточки и гривеннички, собираясь подарить их в рождение своей дочери: Настя очень любила пяточки и гривеннички и в Софоновке собирала и копила их. С этой ношей Иван Софроныч по дороге зашел к Тавровскому, чтоб проститься с ним и принять окончательные приказания по имению.

– Что это у вас? – спросил Тавровский, увидев в руках его туго набитый холстинный мешочек.

Иван Софроныч развязал мешочек и, достав горсть новеньких блестящих монет, показал Тавровскому.

У Тавровского глаза заблестали.

Он взял мешочек, долго любовался монетами, пересыпая их, и наконец спросил:

– На что вам столько мелочи?

Иван Софроныч объяснил, что желает подарить их дочери.

– А! у вас есть дочь?

– Да, – с гордостью сказал Иван Софроныч.



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– и большая?

– Да уж осьмнадцатый год пошел.

– Знаете, Иван Софронич, сыграемте на них, – сказал Тавровский. – Мне ужасно хочется их выиграть у вас.

– Некогда, – сказал старик.

– Нет, пожалуйста!

Иван Софронич отказывался; но Тавровский просил так убедительно, глаза его так прильнули к блестящим монетам, что у Ивана Софронича не достало духу отказать.

– Если уж вам угодно, так, пожалуй, извольте выиграть.

Тавровский обрадовался как ребенок согласию старика и тотчас велел поставить стол и карты.

Началась игра. Сначала счастье благоприятствовало Тавровскому. Он поминутно выигрывал и загребал к себе пяточки и гривеннички с такою жадностью, как будто то были груды золота. Иван Софронич никогда не видал в нем такого увлечения и дивился мысленно причудливости богатого шалуна. Через полчаса все деньги Ивана Софронича перешли к Тавровскому. У Ивана Софронича остался один гривенник. Он призадумался. Ему немного жаль стало денег, которые назначались в подарок дочери.

– Нет счастья! Ну-ка, Петруша, – сказал Иван Софронич, обращаясь к камердинеру, стоявшему у стола, – стасуй да сними на счастье: авось выиграю!

Петр стасовал колоду, снял и подал Ивану Софроничу.

Иван Софронич стал ставить по очереди, и счастье переменялось: Тавровский не мог убить у него ни одной карты, а Иван Софронич увеличивал куши и поминутно пригребал к себе обратно свое серебро. Тавровский провожал жадными глазами каждую кучку, и по мере проигрыша желание овладеть серебряными монетами возрастало в нем. Когда наконец Иван Софронич снова перевел их все в свой холстинный мешочек, Тавровский пришел в отчаяние: он проклинал свое счастье, рвал и бросал карты и так горячился, что Петр, привыкший в самой серьезной игре видеть своего барина молчаливым и спокойным, не знал, что и подумать.

– Ну, помечите вы, – сказал Тавровский и, начав понтировать, поставил карту ва-банк.

Карта была убита. Тавровский удвоил куш. Иван Софронич опять убил.

Игра делалась довольно серьезною. Тавровский постоянно увеличивал куши, а Иван Софронич постоянно их выигрывал. Скоро игра сделалась огромною. Иван Софронич уже не рад был, что начал ее; видя горячность Тавровского и постоянно возрастающие куши, он несколько раз отказывался их бить. Но Тавровский просил, настаивал, и Иван Софронич с неизменным своим счастьем поминутно приписывал новые суммы к своему выигрышу, которыми исписан был уже весь стол. Негде было писать больше. Иван Софронич счел. Оказалось до трехсот тысяч.

– Ставьте ва-банк! – сказал Иван Софронич, желая поскорее кончить игру, которая начинала принимать тягостный характер.

Тавровский поставил – и карта его была убита!

Игра продолжалась. Весь бледный, молча закусив губы, Тавровский дрожавшими руками ставил карту за картой, и почти каждая подвергалась той же участи. Холодный пот выступил на лбу Тавровского, голос его сделался как-то беззвучен, глаза перебежали по столу, исписанному огромными кушами, которые он проиграл Ивану Софроничу.

– Ну, Иван Софронич! – сказал Тавровский с улыбкой, которая при всем его умении скрывать свои ощущения показалась управляющему болезненною. – Знаете ли, ведь если вы убьете у меня еще две-три карты, так не вам у меня, а мне у вас придется

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
быть управляющим?

И вслед за тем Иван Софроныч убил не одну и не две, а десять карт у Тавровского.

Должно заметить, что Ивана Софроныча более занимало страдательное положение Тавровского, которого несчастью он сам дивился, чем собственный выигрыш. Он даже хорошенько не знал, сколько в выигрыше, и записывал машинально, понуждаемый поминутно нетерпеливыми восклицаниями Тавровского:

– Ну, Иван Софроныч, скорее, скорее!

И под влиянием болезненного и нетерпеливого голоса Тавровского, Иван Софроныч быстро записывал, тасовал, еще быстрее бросал карты; а счастье делало свое дело, и сумма выигрыша постоянно возрастала!

Опять весь стол был исписан; негде было записывать. Иван Софроныч молча положил картах, взял мел и хотел сосчитать.

В лице Тавровского выразился страшный испуг.

– Бастуете? – спросил он. – Еще одну карту – последнюю карту!

Голос его был таков, что Иван Софроныч немедленно схватил колоду, стасовал и приготовился метать.

– Ва-банк! – сказал Тавровский.

Иван Софроныч принялся метать – и дал карту Тавровскому.

Тавровский провел рукою по глазам и испустил долгий, протяжный вздох, как будто дыханию его, долго теснимому, наконец дана была свобода. В то же время и почти такой же вздох вылетел из груди Ивана Софроныча, и лицо его выразило смесь недоумения, испуга и подавляющего впечатления еще неясной, но сильно встревожившей ум мысли. Он сидел неподвижно и широко раскрытыми глазами смотрел в лицо Тавровскому, который наконец сказал, взяв щеточку:

– Квиты!

И он хотел стереть со стола.

– Позвольте! – быстро сказал Иван Софроныч, снова тяжело переводя дыхание и потирая лоб. – Позвольте счесть, сколько я был в выигрыше!

Они оба начали считать – и насчитали около осьми миллионов!

Окончив счет, Иван Софроныч побледнел и долго не мог ничего сказать. Но еще более побледнел Тавровский.

С минуту оба они молча смотрели в лицо друг другу; наконец Иван Софроныч взял карты и слабым голосом, почти шепотом сказал:

– Не хотите ли еще сыграть?

– Нет, Иван Софроныч, – быстро сказал Тавровский. – В другой раз, пожалуй. А сегодня довольно сильных ощущений!

– И правда! Что я, старый дурак, никак с ума сошел! – сказал Иван Софроныч, в минуту овладев собой и победив мысль, забредшую ему мимоходом в голову. – Поиграли, и довольно!

Оба они ничего не имели друг против друга, но им как-то было неловко оставаться вместе, и Иван Софроныч поспешил уйти, а Тавровский не думал его удерживать. Каждому из них хотелось побыть несколько времени наедине с самим собой после слишком сильных ощущений, вынесенных в течение нескольких часов.

В прихожей остановил Ивана Софроныча камердинер.

– Вот, готово! – сказал он, подавая старику письмо. – Уж я же ее отделал! Не

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
хотите ли прочесть? Сами скажете – хорошо!

И он раскрыл письмо и стал читать его Ивану Софроньчу. Старик был озадачен крайнею грубостию и презрительным тоном письма, исполненного выходок лакейского негодования против деревенской простоты и необразованности. Ивану Софроньчу стало жаль бедной старухи, и он убеждал Петра не посылать письма. Петр долго не соглашался, наконец уступил просьбам управляющего и, разорвав грозное послание, написал новое, в три строки. Оно состояло в следующем: «Любезная матушка! Я написал было вам достойный ответ на ваше письмо, но по просьбе Ивана Софроньча не послал его».

И как ни доказывал ему Иван Софроньч, что лучше ничего не писать, Петр требовал, чтоб второе послание непременно было отдано его матери...

Расставшись с Петром, Иван Софроньч тихо побрел домой и думал, что за странный человек Тавровский. «Кажется, и умен, и образован, и свет видел, и понимает всё так, что и нашему брату, старику, иной раз так не рассудить дела, и деньгам цену знает, а делает иногда такие вещи, что и малому ребенку непростительно! Ну что, хоть бы сегодня, увидал мелочь – глаза загорелись; очень нужны ему мои пяточки и гривеннички, когда самому тысячи ничо чем! Пристал – играй да играй! Вот и доигрался было... ух! страшно вспомнить!» К чести Ивана Софроньча должно сказать, что сожаление о выигранных и тотчас же проигранных деньгах если и было в его сердце, то очень недолго, – и именно в ту минуту, когда мысль, что он полчаса был обладателем огромного богатства, достигла его сознания. Но и тут его более поразила странность факта, который совершился так быстро и мог иметь такое огромное влияние на целую жизнь двух человек, так противоположно поставленных в обществе!

В свою очередь Тавровский не мог не удивляться Ивану Софроньчу и мысленно не отдать справедливости бесконечному благородству и высокой, целомудренной простоте его сердца. Размышления его были прерваны приходом камердинера, которому он приказал узнать, где остановился Иван Софроньч.

Иван Софроньч первые дни по приезде в Петербург жил в номерах где-то в Ямской. Но потом он приискал в Коломне небольшую квартирку с мебелью, которая обходилась ему дешевле и была удобнее. Она состояла из двух маленьких комнат в нижнем этаже огромного дома и выходила окнами на улицу.

В день рождения Насти старик с дочерью поднялся довольно рано. Настя оделась в национальный костюм, который она иногда надевала в воспоминание об Алексее Алексеевиче, любимшем видеть ее в сарафане.

Может быть, потому же Иван Софроньч находил, что никакие немецкие платья не идут так его дочери, как русский сарафан и кисейная рубашка. И в самом деле, Настя в этом костюме представляла тип русской красавицы, полной, румяной, с загорелым лицом, пышными плечами и роскошным станом. Недоставало только открытого, веселого и бойкого взгляда: Настя была постоянно грустна; старик отчасти знал, отчего грустит она, но показывал вид, будто не замечает ничего: он был добр, но упрям и горд и, раз сказав, что дочь его не будет в родстве с Натальей Кирилловной, считал бесчестным даже мысль о возможности изменить свое решение. Надев самый лучший свой вицмундир, украшенный несколькими медалями, Иван Софроньч под руку с дочерью отправился в ближайшую церковь; отец и дочь усердно молились и невольно привлекли общее внимание: отец – своей почтенной и выразительной наружностью, полной простоты и достоинства; дочь – своею красотою, резко выдававшюся среди бледных, поблекших лиц других женщин, и своим оригинальным нарядом. Отслушав обедню, Иван Софроньч проводил дочь до квартиры, а сам отправился неподалеку навестить одного нужного человека, с которым не успел повидаться. Настя пришла домой, засучила рукава своей белой рубашки, открыв, таким образом, выше локтя свои полные смуглые руки, которыми можно было залюбоваться, взяла кофейник и отправилась в кухню, общую с хозяйкой, варить кофе. Поставив кофейник на плиту, она воротилась в комнату, накрыла чистой салфеткой небольшой столик, поставила чашки, сахарницу, сливки, большой крендель, принесенный хозяйской прислужницей, и задумчиво села перед столом в ожидании Ивана Софроньча.

Стук экипажа и резкий звук бича, раздавшиеся на улице, вывели ее из задумчивости. Она взглянула в окно и увидела экипаж, который так поразил ее своей красивой и странной формой, что любопытная Настя быстро открыла окно и до

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
половины высунулась, чтоб лучше рассмотреть его. То был прекрасный фаэтон, запряженный двумя бойкими серыми лошадьми, которыми правил красивый высокий господин, вооруженный длинным бичом; черный негр, с оскаленными зубами, в белом галстуке, красном жилете, синей куртке и сапогах с отворотами, помещался в заднем сиденье и чудовищно скалил зубы, как будто поддразнивая любопытных прохожих, жадно осматривавших его. Форма экипажа, красота и ловкость его владельца, а особенно уродливый жокей приковали всё внимание Насте, которая имела довольно времени полюбоваться интересным зрелищем, потому что экипаж ехал прямо к их дому и наконец остановился перед воротами его. Господин ловко выскочил из экипажа и передал бич и вожжи груму, которого назвал Жоржем. Затем он обратился к стоявшим у ворот мужикам, мастеровым и разным зевакам с вопросом:

– Здесь ли живет Понизовкин?

Никто не дал ответа; все переминались, искоса оглядывая красивого господина, его экипаж и грума, стоявшего с бичом, в грозной позе. Красивый господин повторил свой вопрос.

– Здесь! – невольно сказала Настя и вдруг вся покраснела, перепугалась и быстро отскочила в глубину комнаты.

Красивый господин поднял голову, но никого не видал.

– Здесь? – вопросительно повторил он.

Настя не решилась отвечать.

– Кто же сказал: здесь? – спросил красивый господин в недоумении. – Да где же у вас дворник?

– Барышня сказала! – отозвался мальчик в полосатом халате. – Никак, они тут и живут, – прибавил он, указывая на раскрытое окно.

– Здесь, здесь! – утвердительно повторили в один голос стоявшие у ворот.

Настя, ни жива ни мертва, стояла, прислонившись к стене, когда у дверей послышался звонок. Она отперла двери дрожащей рукой и встретила гостя словами:

– Батюшки нет дома.

– А далеко он ушел? Долго не придет?

– Нет, он сейчас будет, – отвечала Настя.

– Мне очень нужно его видеть... Я могу подождать?

– Как вам угодно.

Следом за Настей гость вошел в комнату; только теперь увидав Настю, он с минуту казался пораженным и ничего не говорил. Настя еще более потерялась.

– Извините, – заговорил наконец гость. – В темной прихожей я совсем не мог разглядеть, с кем имею удовольствие говорить. Так вот какая дочь у Ивана Софроныча! – прибавил он, продолжая оглядывать Настю смелым и удивленным взором. – Ведь я не ошибаюсь, вы дочь Ивана Софроныча?

– Да.

– Сегодня ваше рождение?

– Так точно.

– Я приехал поздравить вас.

Настя поблагодарила наклоном головы.

– Я ужасно рад, что приехал. И знаете почему?

– Я обогатился одним открытием. Так вот по каким дням рождаются красавицы! – продолжал гость, пожирая глазами девушку, которая покраснела как пион. – Извините, но я не могу не объявить вам прямо, что вы удивительная красавица. Признаюсь, я видел много женщин в своей жизни – и торжественно отдаю предпочтение русской красавице... и русскому национальному костюму, – прибавил он, – по крайней мере, когда наденет его такая красавица, как вы... – Настя не знала, что говорить, куда смотреть, куда девать свои руки. Гость продолжал с возрастающей любезностью и свободой: – И знаете ли? я нисколько не шучу! клянусь вам всеми женщинами, которых я знал в своей жизни, что не видал никого прекраснее вас! Как идет к вам сарафан! И как мило вы сделали, что открыли ваши прекрасные ручки! Они так хороши, что в самом деле совестно их скрывать. Знаете ли, они так хороши, так хороши, что мне приходит охота попросить у вас позволения поцеловать ваш локоток!

Настя с испугом отскочила и стала поспешно опускать рукав.

– Не хотите? но я вас прошу! – сказал гость умоляющим и настойчивым голосом, сделав движение к ней.

Настя отскочила к самому окошку и торопливо спускала другой рукав.

– Ну, я вижу, вы так строги, что мне придется обойтись без всякого позволения, – сказал гость.

И, быстро подскочив к Насте, он нагнулся...

Между тем, возвращаясь домой, Иван Софронич издала узнал фаэтон Тавровского и черного грума, с которым имел удовольствие познакомиться у Петра Прохорыча. Он удвоил шаги и не без удивления приметил двух или трех зевак, глазевших в открытое окно, также подняв голову; и вдруг его лицо покрылось смертельной бледностью. Бегом вбежал он на небольшую лестницу, вошел в дверь, которую позабыла запереть Настя, и очутился, лицом к лицу перед Тавровским.

Настя, увидав отца, кинулась к нему с заплаканными глазами и припала лицом к его груди.

Грозное лицо Ивана Софронича, который с гневом и недоумением оглядывал своего гостя, тяжело переводя дыхание, удивило Тавровского.

– Зачем вы пожаловали сюда? – проговорил Иван Софронич тихо, но таким строгим голосом, что Тавровский смутился. – Дочь моя и так уж довольно потерпела по милости вашего семейства. Ваша тетушка преследовала ее в своем доме, ваш родственник вздумал удостоить ее своим вниманием, и нас обвинили в интригах. Бог видит, как справедливы были подозрения! Моя Настя сама никогда не согласится вступить в такой брак, если б ваша тетушка пришла упрасивать ее!

Тавровскому показалось, что Настя вздрогнула при последних словах старика.

– И теперь вы, – продолжал Познизовкин, возвышая голос, – вы хотите довершить несчастье бедной девушки, посягая...

– Потихе! – возразил Тавровский, более удивленный, чем рассерженный гневной выходкой своего управляющего: привыкнув действовать по влечению минутной прихоти и вообще не слишком разборчиво обходиться с простыми людьми, он видел в своем поступке не более как шутку и совсем не ожидал, чтоб дело могло принять такой оборот. – Потихе, – сказал он, – выслушайте прежде, в чем дело. Ваша дочь напрасно встревожилась, и вы тоже. Я слишком хорошо знаю приличия, чтоб оскорбить их. Я позволил себе не более того, что позволительно во всяком кругу...

– Мне дела нет до того, что позволяете вы себе в вашем кругу! – запальчиво возразил Иван Софронич. – Вы пришли в мой дом и оскорбили мою дочь...

– Чем? – перебил Тавровский. – Я ничего не сделал, да и то, что хотел сделать, не более как самая невинная шутка...

– Шутка! хороша шутка! – перебил управляющий. – Вы приходите в первый раз в дом

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a  
честного человека и оскорбляете его дочь и делаете целую улицу свидетелем своего  
поступка, – прибавил Иван Софроныч, указывая на окно, в которое продолжали  
глазеть любопытные.

– Полноте, полноте, почтенный Иван Софроныч, – заметил Тавровский. – Ваша горячность ослепляет вас. Что несколько дураков глазели в окно, так уж вы вообразили бог знает что.

– Дураков? Нет, это не дураки: это народ; они будут говорить, будут судить. Все знают, кто вы, знают, что я ваш управляющий; и вы так обходитесь с моей дочерью? Что же подумают обо мне? Что подумают о ней? – прибавил старик со слезами. – Это низко, это бесчестно! – заключил он громким, полным негодования голосом.

– Батюшка! батюшка! что вы говорите! – воскликнула Настя, прижимаясь к отцу.

– Замолчи, сумасшедший! – в то же время воскликнул Тавровский, в лице которого появились признаки сильного гнева. – Как смеешь ты говорить мне такие дерзости? Говорю тебе, что я никого не хотел оскорбить и никого не оскорбил. Я пришел сюда совсем с другим намерением, – продолжал он, поднося руку к карману.

– Не хотели ли вы выкупить свой поступок деньгами? – грозно спросил Иван Софроныч, кидаясь к Тавровскому, который невольно отскочил: губы его судорожно стиснулись, глаза засверкали.

– Глупый старик! – сказал он презрительно. – С тобой невозможно говорить теперь. Я вовсе не хочу доставлять глупого зрелища глупым зрителям, которых ты делаешь свидетелями своего сумасбродства, – и уйду. Буду говорить с тобой, когда ты образумишься. Прощайте, – прибавил он другим голосом, кланяясь Насте. – Если вы иначе поняли мою невинную шутку, то я тысячу раз прошу у вас извинения, но, клянусь, я не хотел сделать ничего дурного и обидного кому-нибудь!

Он ушел, и скоро послышался стук его фаэтона по мостовой и звук бича, резко свиставшего в воздухе.

Иван Софроныч поцеловал в лоб дочь свою и, посадив ее, сказал:

– Успокойся, Настенька, не плачь. Будь умна. Теперь, больше чем когда-нибудь, нам нужны твердость и благоразумие. Приготовься опять мыкать горе. Мы опять не имеем ни жалованья, ни приюта, ни покровителя. Я не могу более остаться у него управляющим. Нам осталась одна надежда – на бога. Да будет же его святая воля!

Старик перекрестился и прижал к груди плачущую дочь свою.

Тихо и печально прошел день рождения Насти.

Том третий  
Часть одиннадцатая  
Глава LI

Табачная и сигарочная фабрика Августа Штукенберга  
В Петербурге, в тех кружках, где особенно любят потолковать о том, кто как живет, наживает и проживает, некоторое время предметом толков был один разбогатевший табачный и сигарочный фабрикант, выстроивший дом в лучшей части города, каменный, трехэтажный, облепленный до второго этажа вывесками, посреди которых бросалась в глаза большая вывеска: «Табачная и сигарочная фабрика Августа Штукенберга». В эту самую эпоху и в этот именно дом нам приходится перенести действие нашего романа.

Дом Штукенберга снаружи ничем особенно не отличался; но при входе в ворота нельзя было не заметить во всем строгого порядка и необыкновенной опрятности. Под воротами, направо, вошедший читал вывеску: «Домовая контора» – и возле нее находил отставного солдата, который давал на вопросы ответы – тут же – или приглашал в контору. На дворе, направо, были нумерованные квартиры, налево – кладовые, конюшни и сарай. Между кладовыми была одна с надписью: «Пожарная», в которой хранились пожарные трубы для принятия скорейших мер в первые минуты пожара; впрочем, дом был застрахован. Двор оканчивался воротами, сквозь которые виднелась длинная перспектива другого двора, также чисто выметенного, и в конце его деревянный флигель с часами вверху.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
На первом дворе жили сам хозяин и жильцы, помещалось несколько магазинов; на втором все помещения заняты были фабрикой и мастерскими.

Фабрика собственно помещалась в особом здании и была разделена на четыре отделения. Из них в первом до пятидесяти женщин сидели рядом за гудами листового табаку и приготавливали его для сигар, обрывая листья от стебля; во втором – табак крошился и набивался в картузы; в третьем и четвертом, которые находились во втором этаже, над первыми двумя, производилось изготовление сигар. Каждое из последних двух отделений занимало по большой светлой комнате в десять окон и было устроено и обставлено одинаково: посреди комнаты, во всю длину ее, стоял стол, за которым с обеих сторон сидело человек более ста мастеровых, в красных и голубых шапках с кистями, предохранявших волосы от едкой табачной пыли и придававших вообще очень красивый и веселый вид мастерской, особенно когда в ней раздадутся песни. Между мастеровыми, живущими на жалованье, рассажены были мальчики, отданные в ученье по контракту; они обвертывали в табачные листья стебли и мелкие обрывки по равным количествам и свертки передавали мастеровым, которые окончательно превращали их в сигары.

У стены, противоположной окнам, на лавках, стояли корзины с табаком, приготовленным женщинами внизу, и весы, к которым мальчики по временам подходили, подставляли фартук и получали от приказчика, весом, новую порцию табаку, – мера, показывавшая экономическую предусмотрительность хозяина: она не позволяла мальчикам портить или терять материал. На стене, прямо против входа в комнату, висел образ; поодаль от него, в рамках, – постановления, относящиеся до мастерского класса.

Кроме здания фабрики, на дворе было еще два строения: одно – в котором помещались баня и прачечная; другое – в котором жили мастеровые. Последнее заключало в себе столовую, спальню, кухню и лазаретную комнату.

Всё это настроил и устроил фабрикант без копейки долга, на чистые деньги, нажитые своим счастливым ремеслом. Сигарную фабрику свою Август Иваныч завел лет двадцать тому назад, когда их в Петербурге было немного. Сам он был деятельнейшим работником и возбуждал собственным примером деятельность мастеровых, которых сначала было у него не больше пятнадцати. Ровно в пять часов вставал он с постели, и за ним все поднимались на ноги и принимались за работу. Требования на его сигары всегда почти превышали производительность; но Август Иваныч не спешил и не увеличивал число часов, однажды назначенных для работы, и ни в чем не изменял раз заведенного порядка. Немедленно по открытии своего заведения Август Иваныч женился на Шарлотте Христофоровне, – нельзя сказать, чтобы по любви, нельзя сказать, чтобы и по расчету, а вернее: любви тут было ровно настолько, насколько было расчета. В таком счастливом супружестве Шарлотта Христофоровна ежегодно дарила Августу Иваныча ребенком, так что через десять лет фамилия сигарочника состояла из одиннадцати человек; было бы двенадцать, но один из детей умер, к прискорбию родителей. Содержание такого семейства, казалось, требовало больших расходов на стол, одежду, прислугу; но Шарлотта Христофоровна в деятельности и аккуратности по своей хозяйственной части нисколько не уступала своему супругу, а в отношении экономии даже превосходила его. Она вставала также в пять часов, брала с собой работницу или одного из фабричных мальчиков и сама отправлялась на рынок закупать всё нужное для семейства и для фабрики. Кушанье готовила тоже сама, с помощью только одной русской работницы, отличавшейся необыкновенным терпением, крепостию мышц и проворством, которое подстрекалось больше ласкою Шарлотты Христофоровны, чем жалованьем, далеко не достигавшим до желаемой цифры; впрочем, желания работницы, может быть, были неограниченны, как и вообще желания человеческие. В детской, во время стряпни, надзор предоставлялся няньке и девице, знающей шить и кроить по мерке; но хозяйка не раз успевала – таки заглянуть и туда, пользуясь некоторыми антрактами из своих кухонных занятий. Одежда детей почти ничего не стоила, кроме собственных трудов Шарлотты Христофоровны и трудов девицы, знающей шить и кроить по мерке; весь материал брался из годового гардероба поношенных платьев родителей, и прикупать ничего не приходилось, потому что если число детей и увеличивалось с каждым годом, то, с другой стороны, родители их с каждым годом значительно толстели и объем их костюмов увеличивался через год как раз настолько, чтобы сшить одну лишнюю пару лишнему ребенку; так что из серого сюртука Августа Иваныча, ежегодно возобновляемого, через десять лет супружества выходило ровно четыре куцых курточки для четырех сыновей, а из платья Шарлотты Христофоровны – пять коротеньких платьиц для дочерей. Возобновление поношенных материалов производилось в мастерской родителя Шарлотты Христофоровны – скорняка,

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
красильщика и пятновыводчика, который получал плату за это сигарами для  
собственного употребления. Жил Август Иванов вообще скуповато; впрочем, по  
воскресеньям у него нередко бывали гости; некоторые приходили к обеду, и из  
приготовленных блюд ни одно не пряталось от гостей. Только сигары предлагались  
гостям не из лучших, но лучших Август Иванов и сам не курил, по крайней мере при  
гостях. В большие праздники бралась ложа в немецком театре и нанимался  
поместительный экипаж... Короче; образ жизни Августа Иваныча действительно  
способен был возбудить зависть в некоторых кружках, но не представлял, к  
сожалению, удобства для подражания. Нет никакого сомнения, что процветание  
домашней, хозяйственной части фабриканта и его фабричных дел было плодом  
бережливости, аккуратности и деятельности – качеств, давно уже всеми  
утвержденных за немцами; но из описанного видно также, что всему этому немало  
способствовало и счастливое сочетание посторонних обстоятельств. Только  
правильное устройство фабрики в новом доме, наружность которой мы описали выше,  
должно отнести единственно к уменью Августа Иваныча распорядиться нажитыми  
средствами. Внутренний порядок фабрики соответствовал наружному ее виду. В  
определенный час и минуту мастерские вставали, садились за работу, шли  
завтракать, обедать, ужинать, ложились спать. На дворе, в свободные часы, играли  
в бабки, чехарду и другие русские игры, которые если иногда переходили в драку,  
то зло прекращалось в самом начале дядькой из отставных унтер-офицеров, который  
наблюдал за порядком на дворе и в доме мастеровых: он вместе с ними жил и знал  
ближайшим образом характер каждого из них. Со двора отпускались как мальчишки,  
так и наемные мастера в будни только в случае действительной надобности, а в  
праздники – до известного часу, и за промедление делались денежные штрафы. За  
пьянство и буйство немедленно отказывалось от места, а с мальчишек строго  
взыскивалось. Женщины, работавшие внизу, на ночь расходились по своим квартирам,  
и на фабрике оставался только мужской пол. Вообще хозяин строго наблюдал за  
нравственностью мастеровых и рассчитывал на этом свою и их собственную пользу.  
Один здоровый и благообразный вид мастеровых свидетельствовал уже о пользе  
строгих мер хозяина. Лицо с заспанными или подбитыми глазами редко встречалось в  
мастерских Августа Штукенберга, даже после больших праздников когда половина  
мастерских других фабрик вовсе не являлась на свою фабрику, ни с целыми, ни с  
подбитыми глазами. Условия, с которыми мастера отпускались со  
двора, заставляли их иной раз отказаться от публичных гульбищ и проводить  
праздники дома в полезных занятиях или в удовольствиях дешевых и безвредных.  
Таким образом, мастера Штукенберга легко уплачивали свой оброк и имели деньги  
на черный день. Сверх того, удаление от публичных гульбищ и развлечений вне дома  
поселило в них охоту к грамоте, которой они незаметно выучивались один от  
другого, и редкий мастер Штукенберга был неграмотный. Август  
Иванов и тут наблюдал, чтоб книги, которые они читали, были священные или  
нравственные, но одобрял, впрочем, также и песни и сказки.

Собственные дела Августа Иваныча шли как нельзя лучше. Сигар на его фабрике  
вырабатывалось до пятидесяти тысяч штук в день и в сбыте никогда не было  
остановки. В некоторых местах России образовались для его сигар складочные  
места, – образовались сами собой, временем и известностью, без хлопот со стороны  
хозяина, который отпускал товар не иначе как на чистые деньги. Потерь у Августа  
Иваныча никогда не было, а прибыль росла с каждым годом, и, несмотря на то что  
на фабрике было около трехсот работников, кроме приходящих женщин, хозяин  
продолжал принимать мальчишек в ученье когда угодно и сколько угодно. Увеличивая  
более и более действия своей фабрики, Август Иванов знал наперед, что число  
курильщиков его сигар непременно увеличится настолько, насколько он усилит  
производство. «Прежде редкий курил, а теперь редкий не курит!» – говорил в  
подобных случаях счастливый фабрикант и прибавлял, что недалеко то время, когда  
на человека некурящего будут указывать пальцем.

Дело было летом. Август Иванов сидел утром в своем кабинете и читал письмо,  
пуская дым сигары через нос. Указательный палец его правой руки был украшен  
брильянтовым перстнем, а манишка запонками; всё это означало субботу и  
предстоявший семейный вечер в клубе, куда он выезжал единственно для старшей  
дочери, которая готовилась быть невестой. Фабрикант был видный и красивый  
мужчина лет пятидесяти, высокого роста и солидной полноты. Несмотря на свои  
лета, свежестию румяного лица и густотою темно-русых волос он недалеко отстал от  
висевшего тут портрета, снятого с него в молодости; особенно глаза с серыми  
зрачками посреди чистых белков сохранили вполне свою ясность. Вообще физиономия  
его не носила ни малейших следов забот и волнений жизни, а скорее  
свидетельствовала, что счастливый постоянно хорошо кушал, еще лучше спал и  
всегда находился в спокойном расположении духа. В эту минуту, однако ж, лицо его



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
выражало некоторое напряжение. Причиной было содержание письма, которое он читал, или, вернее, перечитывал, потому что прочитано оно было еще вчера утром, тотчас по получении, но ответ отложен до следующего дня; он, может быть, был бы отложен и далее, по важности его, но аккуратный Август Иванович не откладывал никаких ответов далее первой субботы. В письме фабриканту, после предварительной переписки, уступался наконец за сорок тысяч дом в городе ВВ со всем обзаведением табачной фабрики и товаром. Что покупка была очень выгодна и необходима, это Август Иванович давно уже решил: в этом доме он предположил основать отделение своей фирмы и предоставить его в независимое распоряжение будущему зятю; лучшего приданого для милой Амалии нельзя было придумать. Но осторожный Август Иванович задумался над вопросом: как устроить всё это, то есть отдать деньги и принять дом со всеми принадлежностями и товаром? Наконец, однако ж, он написал ответ и решительно обратился к сидевшему в углу кабинета за работой молодому человеку лет двадцати пяти, который, впрочем, с виду казался пятнадцатилетним мальчиком по своей тоненькой фигурке и нежному лицу, немного бледноватому.

– Генрих! – сказал ему Август Иванович, подавая написанное письмо. – Прочитай это!

Генрих поспешно подошел и, взяв письмо, стал читать по-немецки: «На предложение ваше, г. Каратулин, я согласен. Деньги сорок тысяч рублей посылаю с моим конторщиком и воспитанником Генрихом Кнаббе...»

– Это со мной? – спросил Генрих и, казалось, несколько струсил.

– О да, конечно! Ты это сделаешь хорошо! – с уверенностью сказал Август Иванович, опустив руку на плечо Генриха, который принялся благодарить за доверие и обещал постараться исполнить всё как нельзя лучше.

– О да, конечно! ты это сделаешь! – снова сказал хозяин и начал делать подробное наставление насчет осмотрительности при приеме дома и товара, пересчитал весь ассортимент разных табаков и исчислил все их хорошие и дурные свойства. – Но, мой Генрих! – заключил он. – О, конечно!.. ты сам всё знаешь.

Генрих отвечал утвердительно, и тотчас же была написана и послана публикация, в которой приглашался попутчик до ВВ, на половинных издержках.

– Ну, теперь оставляй работу и пошли завтракать, – сказал наконец Август Иванович, взглянув на часы. – А потом иди купить себе чемодан.

Август Иванович хорошо говорил по-русски, только правильное употребление некоторых глаголов ему не удавалось. Генрих же, выросший в Петербурге больше между русскими, напротив, по-немецки говорил плохо.

В небольшой зеленой комнате за столом, накрытым белой скатертью, сидело семейство фабриканта: с краю – Шарлотта Христофоровна, в чепчике, туго накрахмаленном и свежем, как ее полное лицо, покрытое легким румянцем; за нею – мамзель Штукенберг-старшая, Амалия, – живая копия с портрета матери, который находился в кабинете, рядом с портретом Августа Ивановича; далее – половинный комплект детей, обвязанных салфетками, и, наконец, мамзель Саша: так звали девушку, знающую кроить и шить по мерке.

– Генрих должен поехать! – сказал решительно Август Иванович, входя в столовую в сопровождении Генриха.

– Но он прежде возьмет свой завтрак, – возразила Шарлотта Христофоровна.

– О нет! поехать совсем из Петербурга! – пояснил Август Иванович.

Лицо Саши побледнело. Лицо Шарлотты Христофоровны выразило удивление; она вопросительно смотрела на супруга.

– О да, конечно! – снова произнес Август Иванович, разрешая недоумение Шарлотты Христофоровны. – Он исполнит это! Так ли, Генрих?

– Будьте спокойны, Август Иванович! – отвечал с уверенностью Генрих, между тем как Шарлотта Христофоровна восклицанием «ах да!» показала, что она поняла наконец, о какой поездке говорится. – Так это будет Генрих? – прибавила она с улыбкой, подавая Генриху бутерброд и кофе.

– О да, конечно! – отвечал Август Иваныч. – Наш Генрих, Генрих Кнаббе!.. не Кнаббе (не мальчик)... хе-хе... а молодой человек... умный молодой человек Генрих Кнаббе!.. Не так ли, милая Мальхен?

Мамзель Амалия отвечала утвердительно.

– О да, конечно! – заключил Август Иваныч и потянулся за третьим бутербродом к Шарлотте Христофоровне.

Генрих благодарил всех за доброе мнение о нем и взглянул на Сашу, которая с самого начала разговора стояла как окаменелая, держа в руках бутерброд и кофе, и смотрела на Генриха с недоумением и беспокойством.

– Я возвращусь... – поспешно сказал Генрих, весело глядя на Сашу, – возвращусь как можно скорее... – И, обратись к Августу Иванычу и Шарлотте Христофоровне, с большим чувством он кончил свою фразу так: – Возвращусь с тем, чтобы услышать снова от вас всё, что теперь слышу лестное и приятное для меня.

На это Август Иваныч отвечал своим многозначительным:

– О да, конечно!

И Саша с повеселевшим лицом ушла в детскую.

Через несколько минут Генрих с озабоченным видом шел к своему другу Гарелину поговорить и посоветоваться о важном поручении Августа Иваныча.

## Глава LII

Генрих Кнаббе и девица, знающая шить и кроить по мерке Генрих в самом деле рад был случаю показать на чем-нибудь свою преданность к Августу Иванычу, зная и глубоко чувствуя, что он воспитал его, совершенно безродного, хотя и до этих пор Август Иваныч не мог сомневаться в усердии и добрых качествах своего воспитанника. Генриху не было еще и семи лет, как он посажен был в мастерскую и начал делать сигары. Потом, едва он успел показать в этом свое проворство и старательность, Август Иваныч взял его к себе в кабинет в конторщики, потому что письма, счета и другие конторские занятия день ото дня увеличивались вместе с ходом его торговли, и Генрих был ему самым усердным помощником. До шестнадцатилетнего возраста Генрих ходил в серой куртке, носил детские манжеты и совершал свои прогулки по праздникам не далее Адмиралтейского бульвара и Летнего сада и то в сопровождении одного приказчика, к которому Август Иваныч имел большое доверие за его скромный образ жизни и особенно за бережливость, доходившую до скупости. В самом деле, Гарелин (так звали приказчика, о котором мы говорим и к которому спешил теперь Генрих за советами) вел, в бытность свою на фабрике у Августа Иваныча, почти затворническую жизнь, вовсе ненатуральную в его лета; никому не случалось видеть, чтоб он когда-нибудь от души повеселился, сшил себе лишнюю обновку или чем-нибудь потешил себя. Кончив занятия на фабрике, он шел в свою комнату и там занимался чтением и рисованием. Постоянно угрюмый вид его и уединение заставляли предполагать в нем или злого человека, или человека, снесаемого каким-то тайным горем. Но симпатичная натура Генриха инстинктивно угадывала последнее, и, может быть, поэтому Генрих крепко подружился с Гарелиным и проводил с ним всё свободное время у него в комнате, за чтением и растиранием красок, или в прогулках. Во время прогулок с бульвара Гарелин часто проходил на Английскую набережную, останавливался против здания Академии художеств и долго стоял, задумавшись, потом молча и еще угрюмее возвращался домой. Генриху он тоже ничего не говорил о своей печали, – может быть, потому, что считал его, заодно с Августом Иванычем, ребенком. Через два года, в продолжение которых всё жалование его копилось у Августа Иваныча почти нетронутым, Гарелин, взяв деньги, оставил свое место, также не объявляя никому о причине, но пригласил, однако, Генриха не забывать его.

Неизвестно, долго ли еще Генриху пришлось бы одеваться и жить дитятей, если бы одно обстоятельство не изменило взгляда Августа Иваныча на своего воспитанника. Генрих, с тех пор как лишился общества Гарелина, начал сильно скучать, но не решался отпрашиваться у Августа Иваныча со двора, боясь, что это ему не понравится. Немного мечтательный, он развил в себе эту склонность чтением некоторых романов, стал особенно тосковать по природе, завидовать свободной

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
жизни приказчиков в праздники, и вот наконец всё это выразилось у него чистосердечно и довольно оригинальным образом. В жаркий летний вечер Генрих сидел в кабинете с Августом Ивановичем и оканчивал счеты; но мысли его были давно уже заняты не тем, и мечтатель на начатом счете вдруг бойко начал писать смету расходов на разные принадлежности костюма... Надо заметить, что за несколько месяцев перед этим Август Иванович обещал положить ему жалованье... Цены по смете полагались, впрочем, слишком скромные, за которые можно было получить предполагаемые вещи разве только в толкучем рынке. За сметой явилась довольно хорошо удавшаяся нога на высоком каблуке, обтянутая в приходившуюся на ее долю часть панталон, и под ногою надпись: «Показать Магелойму», – имя портного, которому приказчики фабрики заказывали свои обновки. Потом воображение Генриха представляло ему светлое голубое небо, Неву, над Невою нырявших в воздухе чаек, за Невою – старые домики, стоявшие на берегу Петербургской стороны, в домиках – мирную и приятную жизнь беспечно-счастливых обитателей; перевозчики, спующие по Неве, превращались в идиллических рыбаков. Далее воображение рисовало уже картины американской природы, вычитанные им из романов Купера. Рука Генриха между тем продолжала чертить бессознательно, и за сметой и ногою на высоком каблуке явилась лодка, похожая на гичку Гарелина; потом берег с толстыми деревьями. Август Иванович остановил его на каком-то, должно быть американском, растении невероятной формы, – остановил и, взяв счет из-под его руки, с удивлением и страхом пристально посмотрел на своего конторщика, который с смущением и не меньшим страхом бормотал свои извинения. Убедившись, однако, что конторщик не сошел с ума, Август Иванович успокоился и только пожурил его слегка за рассеянность, небывалую в жизни аккуратного и деятельного Генриха. На другой день Август Иванович сказал ему:

– Генрих! ты имеешь жалованье!.. о да, конечно!.. Пятьсот рублей. Шей свое платье и иди гулять.

Когда наконец предметы мечтаний принес портной Магелойм и мало-помалу собрались в комнате Генриха все нужные вещи, ценою, впрочем, далеко превосходившие предварительное исчисление, – дождавшись первого воскресенья, Генрих вышел за ворота первый раз в жизни один и решительным франтом. Но с первых же шагов Генрих показал, что ему не бывать гордым магазинным львом, проникнутым сознанием красот своего костюма. Дойдя до соседнего дома, у которого строился забор, он поравнялся с девочкой лет пятнадцати, очень бедно одетой. Девочка стояла на панели и, придерживая одной рукой поставленную на тумбу огромную корзину с набранными у забора щепками, другой рукой сделала какой-то нерешительный жест проходившему мимо служивому; но служивый ничего не заметил.

– Поднять, что ли, вам? – сказал Генрих и взялся за корзину, совершенно забыв о своем щегольском костюме.

– Да-с! – отвечала девочка, вспыхнув от этой неожиданности.

И они принялись поднимать корзину, между тем как вблизи от них двое молодых магазинщиков, зевавших в дверях магазина, потешались от души над этой сценой.

– Смотри, смотри! – говорил один. – Подымает!

– Подымает и есть! – заметил другой. – Вот умора!

– И в перчатках!

– В новых перчатках! Гляди: снова поставили на тумбу!

Корзина в самом деле была опять опущена на тумбу, потому что между Генрихом и девочкой завязался разговор, когда глаза их встретились.

– Ах, это, кажется, вы, Александра...

Уменьшительным «Сашенька» Генрих не решился ее назвать, а отчество он забыл.

Девочка с минуту всматривалась в Генриха и вдруг радостно произнесла:

– Генрих!

– Узнали, узнали! – заговорил весело Генрих. – Где вы живете? Ну а жив ли ваш

– Не знаю, – отвечала девочка печально, – я живу с тетенькой; она говорит, что, может, жив, а может, и нет, – и всё сердится, что денег не присылает; даром, говорит, хлеб ешь...

Девочка заплакала. Генрих взял ее за руку и, задумавшись, смотрел то на корзину, то на одежду и загоревшее худое лицо девочки; потом он спросил:

– А шить вы умеете?

– Умею, – отвечала девочка, отирая слезы передником и снова улыбаясь, – да не умею кроить, а то бы...

– Ничего, – перебил Генрих, – по мерке можно. Я достал бы вам. И место приискал бы... Хотите? – спросил он решительно, желая успокоить девочку, а впрочем, у него вовсе не было в виду ни мерок, ни места.

Девочка благодарила и согласилась с радостью.

Затем Генрих, расспросив, где она живет, помог поднять ей корзину на голову, и они простились. Девочка пошла, едва переступая под тяжестью, а Генрих смотрел ей вслеп, пока она не скрылась за углом; он припоминал ее грустное детство, ее безродность, подобную его собственной, только более беззащитную, – и жаль ему было бедной девочки.

Знакомство его с нею началось, когда Генриху было лет десять, а Саше лет пять. В доме, где прежде помещалась фабрика Августа Иваныча, жила одна старушка, бабушка Саши. Генрих начал ходить к ней, познакомившись и подружившись прежде с Сашей в детском садике, устроенном посреди двора. Старушка квартирничала, то есть снимала квартиру и отдавала в ней комнаты внаем. Комнаты были небогатые, жильцы тоже. Но добрая старушка не для одной своей внучки была бабушка, но также и для жильцов, о которых не менее заботилась: тепло ли им, не угарно ли, – и хоть страх как стара была, а всё хлопотала, не нужно ли прибрать что-нибудь в комнате, приготовить чай или постель кому-нибудь. Сходит ли со двора, никак не может, возвратясь, не принести своей внучке пряников, ягод или других лакомств и не попотчевать кстати и жильцов, а в воскресенье непременно принесет просвиру и, разделив всем по кусочку, скажет: бог милости прислал! Когда же кто-нибудь из жильцов делался болен, она не отходила от его кровати и бог знает откуда брала силы просиживать возле иногда целую ночь. Поэтому, когда старушки не стало, каждый из жильцов вспоминал о ней с умилением, встречая на пути своей жизни чаще жестокосердие и холодный эгоизм людей; от этого же, начиная короткую историю детства Саши, мы не могли не остановиться на минутку перед этой старушкой... Саша была девочка нежная, чувствительная, со всеми лепетала и всем улыбалась, премило суживая свои голубые глазки и показывая ряд красивых зубков. Лепетала она смешно, а смеялась так, что пролила бы веселость и в самую мрачную душу своим мягким голосом, который беззаботно звенел и разливался трелью. Резвушка знала, что ее нельзя не любить, нельзя слушать ее лепетанье и не смеяться вместе с нею и беспокойно приставала ко всякому серьезному гостю, пока тот не развеселится и не покажет, что он смеется, следовательно, ее любит. Успокоенная с этой стороны Саша принималась за кошку, если она тут случалась, или за куклу, и выпытывала, любит ли она ее и крепко ли, усаживала за жестяной чайный прибор, расставив его на подножной скамейке, допрашивала, как она поживает, отвечала за нее понемножку, потчевала чаем, просила быть как дома. Потом Саша начинала прыгать так весело, что с нею никак не могли не прыгать и посуда в шкапу и самовар на покачнувшейся этажерке. «Да перестанешь ли ты, вертушка!» – раздается голос бабушки; но вертушка смотрит на бабушку – бабушка улыбается, хоть и грозит ей вязальной спицей, – оглядывает гостей – и гости улыбаются, смотрит на шкаф с посудой, на сияющий самовар – все и всё ей улыбается, следовательно, все ее любят, и весело доброму ребенку!..

Отца и матери она не видала никогда, но узнала от бабушки, что они есть у нее, – узнала в то время, когда едва только запала в беззаботную головку неясная мысль о том, что они должны быть, а набрела она на эту мысль однажды утром, читая за бабушкой свою обыкновенную молитву. Прочитав «Богородицу», бабушка продолжает:

– Помилуй, господи, папеньку!

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Девочка повторяет.

– А где же, бабушка, папенька? – спрашивает она вдруг, к удивлению старушки.

– Он далеко, – отвечает бабушка, – он приедет, гостинцев привезет. Молись же, душенька, – прибавляет она, вздохнув, – помяни, господи, маменьку!

Ребенок опять повторяет и опять спрашивает:

– А маменька где?

– Она высоко, душенька; там, на небе... Молись же, молись, – снова уговаривала бабушка, между тем как внучка пристально всматривалась в небо. – Ее нельзя видеть, не увидит никто... Помяни, господи, маменьку!

Но девочка рассеянно повторяла молитву и продолжала смотреть на небо.

– Отчего же нельзя видеть? – беспокойно приставала она к бабушке в этот день.

За вечерней молитвой – те же вопросы, те же ответы. Чтобы утешить ребенка, бабушка описала наружность матери. С мыслию о матери девочка заснула и видела ее во сне: она ей улыбалась.

– У меня есть папаша и мамаша! – рассказывала на другой день Саша. – Папаша приедет, гостинцев привезет!

Саша крепко любила бабушку; и старушка только пообещает уйти тоже высоко, оставить ее, девочка в ту же минуту переставала досаждать ей шалостями, подбегала к ней, обнимала крепко, путая при этом случав вязальные спицы, называла ее красавицей, голубчиком; и старушка мирилась, усаживала ее возле себя и обещала не уходить высоко. Наконец, однако ж, бабушка обманула свою внучку: отправившись к св. Сергию, по обещанию, старушка не возвращалась. А Саша ждет. Проходит день, два, неделя.

– Где же бабушка? – спрашивает она тоскливо у тетеньки.

– Придет завтра, – отвечает тетенька.

И девочка опять ждет.

Проходит еще несколько дней.

– Помилуй, господи, бабушку! – говорит Саша уж одна, без подсказыванья старушки. – Что же бабушка? – прибавляет она грустно, но, не получив ответа, продолжает: – Помилуй, господи, бабушку...

– Помяни, господи, – поправляет ее тетенька.

Но девочка возразила, что бабушка учила: помилуй, господи, бабушку, а помяни, господи, маменьку, – маменька высоко.

– Бабушка тоже высоко, там! – отвечает тетенька, указывая на небо.

– Ушла?

– Ушла... Молись же, молись, – ничего: у тебя есть папаша; приедет, гостинцев привезет, – утешала ее тетенька.

Но девочка горько плакала: рассердилась на нее бабушка и ушла... эх, бабушка!

Однако ж Саше удалось наконец увидеть и бабушку во сне; бабушка ей улыбалась, она не сердится на нее. «Голубчик бабушка!» – воскликнула Саша и в радости посылала поцелуи в небо.

После бабушки тетенька сделалась полной хозяйкой и наследницей. При тетеньке Саша меньше болтала и смеялась, еще меньше прыгала; улыбка не вызывала улыбки на холодном и суровом лице тетеньки, которая не понимала, что значат эти заглядыванья девочки ей в глаза то с той, то с другой стороны; тетенька не

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
целовала ее, как бабушка, и уже не тем тоном кричала ей: «Да перестанешь ли ты, вертушка!», когда она резвилась. «Но вот приедет папенька: папенька лучше», – думает про себя Саша.

Проходит около года. Папенька приезжает.

– Кто это, тетенька? – спрашивает Саша, проснувшись утром и увидев какого-то незнакомого мужчину, который спал на диване лицом к стене.

– Одевайся скорее, – говорит тетенька, – это брат приехал, твой папаша.

– Ах, папаша, папаша!

И девочка весело засуетилась на постели.

– Гостинцы? – спросила потом она, указывая на корзинку, которая лежала на чемодане, у дивана.

– Тс! будь умница, оденься, умойся, потом и разбудишь его.

В минуту Саша была готова.

– Папаша! – начинает она робко будить своего отца.

Папаша не шевелился.

– Папенька! – сказала она погромче, стараясь заглянуть ему в лицо.

Но папенька продолжал спать.

– Дяденька! – снова кричит дитя, усомнившись, вероятно, в действительной принадлежности ему имени отца.

Но и «дяденька» не пошевелился. Саша что-то думала.

– Братец моей тетеньки! – крикнула она наконец и робко отскочила от дивана.

Спящий зашевелился и, промывав что-то, повернулся на другой бок. Потом он открыл глаза и, оглядывая комнату, остановил их на дочери, тревожно ожидавшей, что скажет ей братец тетеньки.

– А, это ты... шалунья?.. – заговорил он охриплым голосом. – Ишь какая!.. Ну, поди, поди сюда.

Саша подбежала и, припав к нему, положила свои руки на его плечи. Родитель, лежа, чмокнул ее в лоб, и девочка слабо вскрикнула, почувствовав, может быть, нежность первого поцелуя отца, а может быть, и щетины его небритой бороды.

– Здравствуй, здравствуй! – продолжал отец, привстав и отводя ее рукой от себя. – Так вот ты какая... ну хорошо. Ступай же к тете, а мне дай одеться.

Девочка вышла, потирая себе лоб, а приезжий начал раскладывать свою поклажу. Саша между тем наблюдала за ним из-за двери, посматривая на соблазнительную корзинку с мнимыми гостинцами. Бедняжка обманулась. В корзинке была фляжка с ромом, из которой приезжий тотчас же и употребил несколько глотков, потом были остатки поросенка, кусок сайки; но гостинцев не было. В чемодане оказались одна перемена платья и белья, несколько колод карт, трое карманных часов, четыре серебряные ложки; были и другие вещи, более или менее нужные и ценные, но не имевшие в глазах ребенка никакой цены. А гостинцев не было.

Небрежность отца к своей дочери происходила, впрочем, не от недостатка любви к ней, но от излишней заботливости упрочить свое и ее благосостояние; в постоянном стремлении к этой цели ему было не до гостинцев. За чаем он с участием спрашивал свою сестру о последних минутах жены, умершей шесть лет тому назад, что не мешало ему, однако ж, беспрестанно подливать себе рому в чай из дорожной фляжки. Делая вопросы, он в то же время вовсе не расположен был слушать ответы. Только что сестра, рассказывая о покойнице, коснулась какого-то проигрыша и продажи всего имущества покойницы, он тотчас остановил ее.

– Ну, полно же! – возразил он, бросив в досаде чайную ложку в стакан. – Сказал: отыграюсь – и отыграюсь! – и назвал сестру глупой женщиной, отчего та замолчала, приняв раболепный вид. – Ишь, дался вам мой проигрыш! – продолжал он, глотнув из стакана и откашливаясь. – А дело просто: умерла, как умирают, вот в всё! А то, вишь, проигрыш убил! Отчего ж он меня не убил? а я, ты думаешь, так и забыл всё. Нет, не было еще такого дня!

И, выпив залпом из стакана всё, что заключалось в нем, приезжий встал из-за стола и заходил по тесной комнате, задевая ногами за стулья.

– Поглядим, чем это кончится! – бормотал он про себя, сверкая красными, злыми глазами.

Наконец приезжий, успокоившись понемногу, выразил свою заботливость о дочери и бросил сестре на стол несколько ассигнаций. Заходила даже речь о будущей судьбе дочери, о ее воспитании, и хоть в эту минуту он не мог дать для этого денег, но изъявил надежду на будущее, сказал, что он в Петербург попал мимоходом, что он теперь на пути к одному выгодному месту на золотых приисках. Не прошло недели, как заботливый отец снова возился около чемодана, укладываясь в дальнюю дорогу, причем обнаружил к этой возке большой навык.

С тех пор Саша не видала своего отца, а тетеньке ее он писал сначала раз или два в год и высылал деньги на содержание дочери, не упоминая, впрочем, ни слова о роде своих занятий, а потом вовсе прекратил и переписку и высылку денег. Тетенька терялась в догадках и то мечтала что братец ее страшно разбогател на своем выгодном месте и по возвращении немедленно выстроит ей свой уголок, то вдруг ей представлялось, что он давно уже не существует на свете, – и тогда она принималась жалобно выть о своей судьбе и грызть свою племянницу, попрекая ее хлебом. Наконец она стала постоянно держаться той мысли, что братец ее или спился, или умер, и озлобленность ее распространилась даже на жильцов, которым она старалась наворчать при всякой услуге, следовавшей от нее по условию. Это было именно около того времени, когда произошла описанная нами встреча Генриха с Сашей у забора.

Генрих во весь тот день придумывал, как бы пособить скорее горю девочки. У Августа Иваныча, правда, число членов семейства доходило в то время до десяти, и швея была бы не лишняя в его доме, но скуповатость Августа Иваныча не давала надежды на успех. Притом же Генрих не был спокоен насчет обещанных мерок или выкроек. Но судьба помогла Генриху. Дня через два в газетах явилась публикация, в которой предлагалась девица, знающая шить и кроить по мерке, без всяких условий насчет платы. Август Иваныч, читая эту публикацию в кабинете, повторил вслух: без всяких условий насчет платы – и, обратись к Генриху, продиктовал ему адрес этой девицы и велел послать за нею. Обрадованный Генрих признался, что публикация была сделана им самим, и рассказал историю Саши и свою встречу с нею. Август Иваныч остался очень доволен своим добрым воспитанником, и через несколько дней Саша явилась в доме богатого фабриканта в новеньком ситцевом платье и, как записная швея, с маленькою шкатулкой в руках, хорошо известною Генриху, который накануне подарил ее Саше, предсказав при этом случае, что будущая швея вместо игольников, наперстков и ножниц в самом непродолжительном времени наполнит ее деньгами. Впрочем, Генрих и сам плохо верил своему предсказанию, а говорил это только для того, чтобы скорее заставить тетеньку согласиться отпустить на место Сашу, которая заменяла ей во многих случаях работницу. С этой же целью Генрих, угадав слабую сторону тетеньки, проговорился даже, что Саша поступит в богатое и очень, очень щедрое семейство, – ложь, которую да простит ему читатель, уважив ее благонамеренность.

Прошло два года, но в шкатулке швеи не прибавилось ничего, а пустое место занималось, как и в день поступления Саши к Августу Иванычу, маленьким кипарисовым образом – благословением матери, клочком серебряных волос бабушки, завернутых в черный флер, и поминаньем в бархатном переплете. В поминанье прибавилось одно имя – имя тетеньки, которой не суждено было дожидаться от брата своего уголка. В поминальные дни Саша, встав утром и помолясь богу в своей крошечной треугольной комнатке, садилась к шкатулке, целовала образок матери, прикладывала к губам седой локон бабушки, потом брала поминанье и, отпросившись у Шарлотты Христофоровны, шла в ближайшую церковь служить панихиду. Только в день именин отца она всегда затруднялась и не знала, что служить по нем: панихиду или молебен, – однако ж, служила молебен.

Что касается до Генриха, денежные обстоятельства его, с того дня, в который Август Иванович сказал ему, что он «имеет жалованье», сделались едва ли не хуже. Жалованье только открыло ему кое-где кредит, которым он и пользовался, рассчитывая уже не на жалованье, а на вероятную прибавку. Короче, если при любви должен быть расчет, и расчет с обеих сторон, то Генрих и Саша, обладавшие равными средствами, казалось, были вполне достойны друг друга. Наружность и характеры их были в таком же равновесии. Лицо Саши, правда, не было особенно привлекательно и выразительно, посторонний нашел бы даже, что оно выражало доброе здоровье и больше ничего; зато лицо худощавого и бледноватого Генриха выражало всё, кроме доброго здоровья; и наружности их, таким образом, квивались недостатками и уравнивались достоинствами. Характером Саша в доброте и признательности тоже не уступала Генриху, к которому всегда была внимательна и ласкова. В туалетной шкатулке Генриха хранилось немало вещиц, подаренных Сашей в его именины...

Между тем Генрих приближался к узкому и кривому переулку, в котором жил приятель его Гарелин, бывший приказчик, а ныне живописец, как говорила и вывеска его, мелькавшая издали над воротами дома. Генрих сильно размахивал руками и широко шагал на своих жиденьких ногах, сгибая колени, из чего ясно видно было, что воображение его работало не меньше рук и ног. Поручение Августа Ивановича возбудило в нем много надежд, которые волновали его более и более, по мере того как он живет и живет представлял себе все обольстительные подробности своего возвращения из деловой поездки, совершенное удовольствие Августа Ивановича, Шарлотты Христофоровны и всего дома фабриканта; за удовольствием Августа Ивановича следовало хорошее жалованье, за жалованьем... Но вот он наконец приблизился к дому с вывеской: «Живописец».

#### Глава LIII

##### Загородная прогулка

Весело вошел Генрих в комнату живописца. Здесь кроме Гарелина находилось еще трое молодых людей, отчасти знакомых и Генриху, а именно: ученик Гарелина, «вывесочный живописец», обещавший сделаться со временем портретным живописцем, гравер и не избравший еще рода занятий сын ложного мастера (мастера, который делает и приделывает ложи к ружьям. Читатель найдет, может быть, не совсем правильным прилагательное ложный от ложи, но мы берем его прямо с вывески, изготовленной упомянутым вывесочным живописцем). Компания стояла посреди комнаты с надетыми фуражками, а вывесочный живописец в шинели, несмотря на жаркий день; сын ложного мастера держал на плече ружье.

– Вот кстати! – сказал Гарелин вошедшему Генриху. – Мы собрались на Расплёс (так называется место, где начинается взморье). Едем вместе!

Генрих рассказал о предстоявшей ему поездке из Петербурга по делу Августа Ивановича, прибавив, что пришел посоветоваться.

– Ну что ж! всё это не уйдет, а сегодня проведешь время с нами на воздухе. Дорогой поговорим и о деле. Едем!

– Я отправляюсь, господа, вперед по-прежнему, – сказал вывесочный живописец и вышел.

Не нужно было много уговаривать Генриха, которому всегда нравились поездки с Гарелиным на острова. Он согласился, и компания вышла из комнаты.

– Bravo, Генрих! – говорил Гарелин. – Смотри-ка, вернешься с хорошим жалованьем. Поручение важное!

– Важное поручение! – повторил гравер.

– На сорок тысяч – не шутка! – заметил сын ложного мастера.

Продолжая, таким образом, разговор, приятели дошли до моста и сошли по спуску на плот, где вывесочный живописец укладывал уже в гичке закупленную дорогой провизию. Плотовщик, под надзором которого хранилась гичка, принес весла; приятели уселись по местам, и легкая гичка понеслась по направлению к Неве.

Через полчаса они подъезжали к Круглому острову, густо покрытому высоким



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a кустарником. На острове этом собиралось, особенно в субботу на воскресенье, много бедняков, которые имели тут даровую дачу, а иные проводили в шалашах по несколько дней сряду, – ловили рыбу, варили уху и привозили домой рыбы на целую семью, а на возвратном пути ловили щепки, дрова и всё, что плыло им навстречу из пригодного в хозяйстве. Остров с одной стороны огибала Бабья речка, куда съезжались женщины с окрестных дач купаться, отчего она и получила свое название; с другой – широко расстилалось взморье. В воздухе было тепло и тихо, издали доносился вечерний звон. По берегу мелькали местами огни; по временам кое-где слышалась песня или раздавался выстрел в кустах. На Бабьей речке раздавались крики нескольких женских голосов, вероятно встревоженных открытием нескромного наблюдателя из-за кустов.

Прятели наши, вытащив гичку на берег, расположились на небольшой площадке, окруженной кустарником. Сын ложного мастера, едва дошел до привала, немедленно растянулся навзничь и запел какую-то песню из всех сил, так что вывескной живописец, человек серьезный и спокойного характера, заметил:

– Эк его!

Генрих с вывескным живописцем стали раскладывать огонь; гравер вынимал из корзинки посуду и расстановливал ее на доске, которая в гичке служила скамейкой, а теперь заменила стол. Гарелин между тем взял ружье сына ложного мастера и скрылся в кустах, где тотчас же раздался выстрел.

– Ишь, обрадовался! – заметил гравер, кивая на сына ложного мастера, который продолжал голосить. – Что выбрался из города, так и кричать надо!

– А может быть, и надо, – отвечал вывескной живописец. – Знавал я в детстве одного медведя; медведь был вскормлен в городе и смирный как теленок, а как пришлось вожатому вести его лесом, так заревел благим матом и стал порываться в лес: натура-то медвежья заговорила!

Но шутка не достигла до слуха ложного мастера, который не унимался и кричал, наконец, уже каким-то нечеловеческим голосом.

В кустах между тем раздавался выстрел за выстрелом, хотя стрелять было решительно не в кого, особенно в эту пору дня. Но Гарелину, очевидно, нравились одни выстрелы, без всякой определенной цели. Неизвестно после которого выстрела перед ним вдруг показалась из-за кустов сгорбленная фигурка с красным носом и красными глазами, в черном замазленном сюртуке и клеенчатой фуражке с трещинами.

– Милостивый государь! – заговорил незнакомец охриплым голосом и показывая пальцем на свой нос. – Вы попали мне в лицо!

Опухшее лицо незнакомца, и особенно нос, в самом деле были усеяны черными точками; но неизвестно, что они означали: угри или порошины, попавшие от выстрела, а потому Гарелин молча всматривался в лицо незнакомца, который повторил, горячась:

– Вы попали мне в лицо, говорю я! – И, сделав шаг вперед, он прибавил решительно: – Пожалуйте ваше ружье!

Гарелин прицелился ему в лоб. Ружье, впрочем, было не заряжено.

– Как! – возопил незнакомец, уклоняясь от дула. – Вы стрелять в меня! Покушение на жизнь! Хорошо, вы ответите, милостивый государь, прошу следовать за мной или отдайте ваше ружье!

– Прошу оставить меня и убираться прочь! – сказал Гарелин, опуская ружье.

– Нет, не пойду!

– А вот посмотрим! – возразил решительно Гарелин и снова прицелился в незнакомца.

Караул! – крикнул тот и юркнул в кусты, за которыми раздался хохот приятелей Гарелина, сидевших в кружок около шипевшей яичницы. – А вы что, господа! – обратился к ним незнакомец. – Человека убить хотят, а вы ни с места, да еще

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
хочете; он, видно, вашей шайки, а?

– Ваше здоровье! – отвечал ему гравер, который держал в эту минуту рюмку водки и выпил.

– Покорно благодарю! – вдруг сказал незнакомец, внезапно переменяв обиженный тон на дружественный.

Хохот повторился.

– Вот это по-нашему, – продолжал он, потирая руки и посматривая умильно на штоф с водкой, – это по-братски! Вижу, что славные ребята. С места не встать, если язнал, что он из ваших! ей-ей не знал! А теперь вот выпью за его здоровье, право, выпью!

И фигурка засуетилась около штофа, повторяя:

– Налейте-ка, братцы, налейте!

– А ружье-то славное! – заметил сын ложного мастера. – Лепажевское!

– Опалил, злодей, ей-богу, пыжом опалил! Ну да – мир! кто старое помянет...

И, не договорив фразы, он с жадностью выпил залпом рюмку водки, которую подал ему гравер.

– Кто старое помянет, тому глаз вон! – прохрипел потом незнакомец, откашливаясь и махая дружески рукой Гарелину, который в то время присоединился к компании.

– Да уж если не удалось, так что ж делать: надо помириться! – сказал сын ложного мастера. – А ружье-то славное!

– Не за каждым кустом попадетсЯ такое! – прибавил гравер.

– Не смейтесь, дети, над стариком! – жалобно произнес незнакомец и попросил налить ему еще рюмочку, сняв фуражку, причем голова его представила несколько лысин, как будто они образовались вследствие потасовки, а не от влияния времени; в одной из лысин, повыше лба, виден был шрам.

Гарелин пристально начал всматриваться в незнакомца и, казалось, что-то припоминал, между тем как тот упрасивал:

– Еще рюмочку, братцы!

– Нет, ты скажи прежде, случалось ли тебе нападать здесь на такие ружья? – сказал сын ложного мастера, взяв ружье, из которого стрелял Гарелин.

– Да где же нападать, братцы, я ведь совсем не того... И в Петербурге-то недавно, да и опять уеду скоро, в ВВ уеду, откуда и приехал... Только поджидаю вот одного человека...

– Не его ли? – перебил сын ложного мастера, указывая на Генриха. – Он тоже едет в ВВ, да еще сорок тысяч везет... Вот тебе и попутчик! – прибавил он, обратись к Генриху.

При словах «сорок тысяч» глаза незнакомца быстро окинули Генриха.

– Именно! – заметил гравер. – Чем ждАть, пока явится попутчик по газетам.

– Не смейтесь, дети! – снова проговорил жалобно незнакомец. – Езжал и я с добрыми людьми!

– Видим, видим, что человек бывалый, – отвечал сын ложного мастера, – рассказывай же, где бывал.

– Да где я не бывал!

– И в Сибири небось был.

– Был, ей-богу, и в Сибири был, дети! То есть не думайте, как был: на золотых приисках, и место было хорошее... да вот года два как воротился...

– Для того чтоб подсовываться здесь под выстрелы и обирать ружья! – перебил сын ложного мастера.

– Да перестань ты попрекать его ружьем! – вступился вывесочной живописец. – Ружье да ружье! а старик, может, и не думал промышлять ружьями... ведь не думал? – спросил он у него.

– Истинно и не думал! – отвечал тот, приложив руку к груди.

– А! ну так ты думал, что по тебе здесь соскучились, – заметил иронически сын ложного мастера.

– Что ж, может быть, и было кому соскучиться, – произнес незнакомец, качая головой в раздумье. – Эх, братцы, горько вспоминать! – вдруг заговорил он с чувством, ударив себя в грудь. – Ведь у меня дочь здесь была... ехал я к ней с деньгами, да не довез... и ее не отыскал; да и ладно, что не отыскал (он махнул рукой)... а всё-таки взглянул бы теперь на нее хоть издали!.. Налейте, родные, еще рюмочку.

– Ты бы поискал ее хорошенько, – сказал сын ложного мастера, – да не здесь, не в кустах, а в городе.

Но ответа на это не последовало от незнакомца, который, проглотив еще рюмку, с наслаждением обсасывал губы и, казалось, не чувствовал уже ничего, кроме приятного ощущения, произведенного действием третьей рюмки, выпитой натошак.

Генрих хотел было спросить незнакомца, как звали его дочь, вспомнив историю детства Саши, но удержался, как бы боясь открыть в нем ее отца.

Затем налили себе по рюмке вывесочной живописец и сын ложного мастера, который воскликнул:

– Да здравствует фабрикант Штукенберг и его сигары! Генрих! желаю всяких благ от его щедрот!

– Желаю успеха в поездке! – прибавил вывесочной живописец.

И, осушив рюмки, приятели принялись за яичницу, забыв о незнакомце, который, сверкая красными глазами, старался не проронить ни одного слова из разговора приятелей.

Гарелин продолжал всматриваться в лицо незнакомца и наконец спросил его:

– А сколько лет тому как ты ехал на прииски?

– Десять, ровно десять, благодетель мой! – отвечал он скороговоркой, видимо обрадовавшись возможности продолжать разговор. – Много воды утекло! – прибавил он, настроиваясь на печальный тон.

– И много водки выпито! – перебил сын ложного мастера. – Оставь его, Гарелин: яичница остынет!

Но Гарелин продолжал:

– А этот шрам, что у тебя на голове, – ушибся, что ли?

– Нет, родной, не ушибся...

И незнакомец начал рассказывать о жестоком поступке с ним какого-то буйного молодого человека, с которым он встретился в трактире, на пути к золотым приискам, между тем как сын ложного мастера поминутно прерывал рассказчика обращениями к Гарелину:

– Охота же тебе слушать! наскажет он, пожалуй, с три короба! Ему, вишь, еще

Несмотря на это, эффект трогательного рассказа, казалось, был несомненный: внимание Гарелина увеличивалось с каждым словом; голос рассказчика, размоченный водкой, уже не хрипел, а только дрожал приличным рассказу образом, как у опытного актера в роли благородного отца. Но вдруг, в самую чувствительную минуту, когда рассказчик указал пальцем на свой шрам, Гарелин яростно вскрикнул, стиснув зубы:

– Пррочь! пошел прочь!

И он искал глазами, чем бы швырнуть в рассказчика, который что-то бормотал, озадаченный таким странным действием своей истории на слушателя. Наконец Гарелин схватил стакан, и незнакомец скрылся в кустах.

Приятели не узнали своего всегда спокойного товарища, который в эту минуту был страшно зол и бледен.

– Что с тобой, Гарелин? – спросили они в один голос.

– Что он тебе сделал? – с упреком сказал Генрих, которому стало жаль старика.

– Ничего не сделал! Он надоед мне – вот и всё.

– Ты бы хоть попробовал яичницы-то! – приглашал его сын ложного мастера.

Но Гарелин просил оставить его и пролежал всё время, не трогаясь с места.

На возвратном пути, однако ж, он первый заговорил о незнакомце.

– Тебе странно, – сказал он Генриху, – что я обошелся так с человеком, без того убитым, как видно по всему. Знаю, что глупо; но ты, может быть, сделал бы то же на моем месте. Слушай, что было со мной лет десять тому назад. Я ехал в Петербург, чтобы учиться здесь живописи. Нужно заметить, что страсть к рисованию была у меня, еще когда я начал ходить в школу; часто во время классов я уходил на гору, за мельницу, и оттуда снимал виды; но почти всякий раз отец, рано или поздно, узнавал о каждом таком случае, и никогда это мне не проходило даром: отец готовил меня в сидельцы для своей лавки (он торговал красным товаром), а не в живописцы. Потом, сделавшись сидельцем, я продолжал чертить на каждом клочке бумаги, в каждую свободную минуту, и слушал беспрестанные упреки отца за мое бездельничество: так называл он мою склонность к рисованию. Положение мое было тяжкое, и когда отец умер, мне хоть и жаль было его, – я его любил, – однако в то же время я рад был, что сделался свободен... может быть, за эту радость бог и наказал меня. Мне было тогда двадцать три года; но я надеялся наквитать упущенное время. Похоронив отца, – я тотчас же продал всё, что осталось после него, с тем чтобы на вырученные деньги закабалить себя в мастерской одного из лучших художников до тех пор, пока сам не сделаюсь художником. С этой надеждой я ехал в Петербург. На половине пути я остановился в трактире, прозябнув под дождем, который лил целый день. В трактире этом была не занята всего одна комната, похожая на каморку, и в той продувал сквозной ветер невесть откуда. Только что я снял шинель и велел затопить печку, дверь соседней комнаты отворилась и красивый господин с усами, немногим постарее меня, очень любезно предложил мне поместиться вместе с ним. Я принял предложение с благодарностью. В комнате у него было тепло, чисто и просторно. На одном столе стоял погребец и была собрана закуска, на другом шипел самовар, стояла бутылка с ромом и два недопитые стакана, – словом, картина была самая приятная после дня, проведенного в дороге под дождем. Господин с усами отрекомендовался мне Винтушевичем, золотопромышленником, едущим в Сибирь. После я узнал, что это был просто плут. «А вот мой товарищ!» – сказал он и указал в угол, позади меня, где сидел на диване сегодняшний бродяга; он называл его по фамилии, да я забыл... кажется, Отрывкин, что ли...

– Отрыгин, может быть? – перебил Генрих.

– Может быть. А что? – спросил его Гарелин.

– Нет, я так!.. – смешавшись, отвечал Генрих, который убедился окончательно, что бродяга был отец Саши, но не желал открывать этого никому.

Гарелин продолжал:

– Мы стали закусывать и пить чай. За закуской товарищ Винтушевича упрашивал меня выпить вина, а за чаем – подлить рому, но я отговаривался, что ничего не пью. Наконец Винтушевич велел подать бутылку шампанского, от которого отказываться мне было совестно, хотя до тех пор, при строгости покойного отца, я вовсе не имел понятия ни о каком вине. После двух-трех бокалов я сделался весел до того, что не знал ничего в мире добрее и любезнее моих милых собеседников. Они рассказывали мне о Петербурге; я с жадностью расспрашивал о художниках и рассказал всё, зачем и с чем еду в Петербург. Потом мы стали играть в карты для препровождения времени, которого было еще много до ночи. Не стану рассказывать весь ход игры; всё это до сих пор мне самому непонятно, и я приписываю именно наказанию божию. Не более как в час я проиграл почти половину тех денег, которые вез с собой. Досада, раскаяние меня мучили страшно. Я отказался продолжать игру.

– Жаль! – сказал Винтушевич. – Мне вовсе не хотелось бы быть в выигрыше. Право, совестно, что завлек вас.

Я сказал, что никто в этом не виноват, кроме меня.

– Сыграйте еще! – заметил его товарищ. – Нельзя же быть постоянному несчастью: отыграетесь!

«В самом деле!» – подумал я, поставил еще какой-то порядочный куш и еще раз проиграл. Я весь дрожал от злости и досады. Почему-то мне даже представилось, что успехи мои в живописи будут также несчастливы. К этому проклятый бродяга назвал еще меня пачкуном, когда я решительно отказался играть и отошел от стола. В бешенстве я схватил стакан и пустил в него. Он застонал и повалился со стула; кровь лила из его головы. Меня связали, как иступленного. Явился доктор и нашел, что рана опасна. Кончилось тем, что я тут же расплатился за рану и остался с деньгами, которых едва хватило доехать до Петербурга. Далее нечего рассказывать. Я поступил в приказчики к Штукенбергу, и ты видел, Генрих, как я скряжничал, чтоб скопить что-нибудь и успокоить свою совесть.

– Ну что ж, зато ведь всё же ты живописец теперь! – сказал в утешение Генрих, который о Гарелине как о живописце был самого высокого мнения.

– Да, то есть маляр! или пачкун, как назвал меня сегодняшней бродяга лет десять тому назад, – отвечал Гарелин грустно, но спокойно, как человек, давно уже привыкший к этой мысли.

Приятели молча доехали до плота у моста и разошлись всякий своей дорогой.

На другой день, рано утром, знакомая фигура в черном засаленном сюртуке и в клеенчатой фуражке с трещинами вертелась у ворот гостиницы для приезжающих, посматривая в нетерпении на тарантас, стоявший на дворе. Увидев мальчишку, который бежал с сухарями к парадной лестнице, старик спросил:

– Кто приехал в тарантасе?

– А кто его знает! – отвечал мальчишка. – Вчера приехал. Кажись, Биту... Винту...

– Винтушевич, Винтушевич! – радостно прохрипел спрашивавший. – Встал он?

– А тебе на что? – спросил мальчик, оглядывая подозрительную фигуру.

– Дело есть! самонужнейшее дело!..

– Ну так подождешь! еще не вставал! – отвечал мальчик и скрылся в дверях.

Глава LIV

Попутчик

Винтушевич, однако, давно уже не спал, – может быть, потому, что накануне выпался в тарантасе, где его насилу растолкали, когда тарантас остановился на дворе гостиницы. Мальчик, принесший сухари, застал его перед зеркалом, за бритьем, между тем как человек его – средних лет, немного повыше карлика, с рыжими волосами и лицом, густо усеянным веснушками, – суетился около самовара,

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
беспреданно повторяя: «Слушаю-с!» – в ответ на приказания Винтушевича  
готовиться снова в путь к вечеру. Винтушевич очень спешил и вследствие этого,  
подозвав вошедшего мальчика, совершенно неожиданно дал ему пальцем щелчка в лоб.

– Пошел – и пропал! – проговорил он сквозь зубы, продолжая бриться и делать неизбежные гримасы.

Мальчик отскочил назад и, тряхнув головой, сказал:

– Там спрашивает кто-то-с...

– Меня? – перебил его Винтушевич, отняв бритву от подбородка и уставив глаза в зеркало.

– Точно так-с!.. никак...

– Кто такой? – снова перебил Винтушевич, и лицо его выразило беспокойство.

– Не могу знать!

Винтушевич в нетерпении повернулся со стулом к мальчику лицом.

– Да как то есть спрашивал? по фамилии, что ли? говори! – сказал он, озлившись.

– Да-с, спрашивал и по фамилии... – бормотал тот, оробев.

– А ты как ему отвечал, а? – продолжал допрашивать его Винтушевич, нетерпение которого возрастало с каждым словом, – и, не дав ему приготовиться для ответа, он вскочил со стула и в два шага очутился перед испуганным мальчиком. – Ну что ж ты молчишь! – закричал он, потрясая бритвой над его головой.

– Да я ничего не отвечал! – проговорил поспешно мальчик, попятившись назад от Винтушевича, который снова закричал:

– Пошел вон! Прохор, – сказал он своему камердинеру, когда мальчик вышел, – поди узнай, кто там спрашивает! Да осторожней... понимаешь? – прибавил он. – Посторонним образом...

– Слушаю-с – отвечал плутоватый камердинер и вышел.

Приняв меру осторожности, Винтушевич снова сел бриться. Осторожность в самом деле была не лишняя, потому что в числе бывших знакомых его в Петербурге были некоторые лица, визит которых не доставил бы ему большого удовольствия. Винтушевич рассчитывал, что в памяти этих лиц, несмотря на долгое отсутствие его из Петербурга, не могли не сохраниться некоторые данные из его биографии. Вот в чем, между прочим, заключались эти данные. Знакомство Винтушевича в Петербурге началось с его тетушки, – так по крайней мере он называл свою покровительницу, которой отрекомендовался, впрочем, просто родственником ее, приехавшим из провинции испытать свои силы на сценическом поприще или вообще по части наук и искусств (Винтушевич выражался как-то неопределенно); причем он просил «поддержать его, как не чуждую ей отрасль одной из артистических фамилий, известных в ее далеком отечестве». фраза эта, при всей своей неясности, польстила самолюбию женщины, которая причисляла себя к артистическому кругу, а квартиру свою называла «артистическим домом» – на том основании, что некогда у нее собирались молодые таланты обоего пола и богатые любители искусств. К тому же родственник был красивый молодой человек, чего не могла не заметить его покровительница, которая была еще не стара, но находилась в той переходной поре жизни, когда старость представлялась уже ей неизбежностью и заставляла иногда подумать о заблуждениях молодости, прожитой весело и роскошно, и когда она, однако ж, не в силах еще была совершенно отказать от визитов, модных платьев и претензий на внимание мужчин. По временам она впадала в меланхолию, запиралась у себя в спальне и читала поучительные книги. Лицо ее было бледно и постоянно выражало утомление. Домашние обстоятельства ее были запутаны, несмотря на значительную помощь, которую каждый год оказывал ей какой-то, вероятно известный ей, благодетель. Впрочем, по-прежнему она жила в одной из лучших улиц, только повыше одним этажом; по-прежнему на одном окне красовался в золотой клетке попугай, который летом в отворенное окно громко кричал, как бы стараясь маскировать таким образом настоящее печальное положение отживающего

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a «артистического дома», известного многим свидетелям лучшей поры жизни его хозяйки. Вне дома домашние обстоятельства маскировались крупными брильянтами, блестевшими на бледно-желтых пальцах и в такого же цвета ушах этой женщины, – женщины в грустной поре весело прожитой жизни... Вслед за льстивой фразой Винтушевич мрачно проговорил:

– Я прошу у вас средств, чтобы идти к своей цели. До сих пор целью моей жизни было бороться с критическими обстоятельствами!

Неизвестно, бескорыстное ли желание помочь молодому человеку, тщеславие ли или другое какое чувство пробудилось в покровительнице талантов, только в судьбе Винтушевича она приняла живое участие и предложила ему даже небольшую комнатку в своей девственной квартире, не потребовав при этом более ясных доказательств родства его с нею. Винтушевич облобызал руки своей покровительницы с истинной родственной нежностью и поселился у нее в предложенной комнатке. Вскоре же тетушка назначила в своем «артистическом доме» нечто вроде домашнего спектакля, на который съехались все ее знакомые. Дебют будущего артиста был неудачен; но зато с этого вечера начались его новые знакомства и увеличивались с каждым днем. Красивый Винтушевич оказался, сверх того, очень любезным и услужливым, чем особенно нравился дамам. Многие из них надавали ему разных комиссий, на которые, впрочем, он всегда вызывался сам, лишь только в разговоре случалось ему слышать от одной, что у нее испортился браслет, от другой, что она желала бы выменять старую брошку на новую без придачи, от третьей, что у нее валяются часики: позапылились и остановились, а часики хорошенькие и очень можно бы носить. Винтушевич тотчас выпрашивал все такие вещи, уверяя наперед, что обмен или поправка их ничего не будут стоить. Кроме того, Винтушевич говорил по-французски и немного по-немецки, делал несколько фокусов картами, изумляя проворством рук, умел жужжать мухой, петь петухом или лаять собакой, играл и никогда не проигрывал, хотя нередко ошибался, ошибался двусмысленно, как иным казалось. У тетушки Винтушевич пользовался заботливостью самой нежной родственницы. В комнате ее слышались всхлипывания и упреки всякий раз, как он возвращался после слишком продолжительного отсутствия. Впрочем, они скоро мирились, причем Винтушевичу редко не удавалось выпросить денег. Если же не удавалось, он долго не настаивал, но вдруг восклицал: «Ба! счастливая мысль!», точь-в-точь как это делается на сцене, и, взяв шляпу, уходил приводить эту мысль в исполнение. Следует отдать справедливость, что, несмотря на отсутствие сценического таланта, Винтушевич очень удачно лицедействовал в жизни, когда желал достать денег. В подобных случаях он в замечательной степени обладал даже даром импровизации, действуя по первому внушению счастливой мысли, которая всегда почти впору являлась ему на выручку, – так что борьба с теми затруднительными обстоятельствами, о которых он упоминал при поступлении в дом тетушки, вероятно, ничего ему не стоила.

Прошло месяца три со времени благополучного водворения в доме покровительницы. Винтушевич вдруг куда-то пропал и некоторое время не показывался ни в одном из знакомых домов. Наконец он явился утром к одному скромному и доверчивому молодому человеку, который иногда встречался с ним у своих знакомых.

– Добродетельнейший из смертных! давай пять целковых! – воскликнул он, едва успев войти.

– Нашел у кого занять, – отвечал молодой человек, осматривая новый костюм свой.

– До вечера только, – прибавил Винтушевич, – а там сколько хочешь бери у меня.

– Да, право, нет, – уверял его молодой человек. – Сам я задумался, где бы достать: нужны сегодня перчатки и еще расходы кое-какие...

Это было в день именин одной их общей знакомой, у которой быть молодой человек считал неперменным долгом.

– Так нет? – сказал Винтушевич, кружась по комнате и взъерошивая волосы. – Верю... верю... – бормотал он и вдруг, остановившись перед молодым человеком, воскликнул, по своему обыкновению: – Ба! счастливая мысль! Давай мне твое платье, и через час мы оба будем с деньгами!

В пять минут Винтушевич одет был в новенькую пару молодого человека и вдобавок прицепил к жилету его золотые часы.

– Прощай! – сказал он, уходя. – Жди меня и ни о чем не хлопочи!

Но молодой человек прождал весь день, весь вечер и всю ночь и наконец дождался утра, а не Винтушевича, который с тех пор окончательно скрылся, к общему сожалению всех своих знакомых, потому что все они, вспоминая о нем, вспоминали в то же время о своих деньгах, занятых Винтушевичем у кого на несколько дней, у кого на несколько часов, в количествах, соответствовавших более или менее счастливой мысли, какая озаряла его в минуту займа. Сожаление дам о потере любезного и услужливого Винтушевича также равнялось сожалению о тех вещах, которые он обобрал у них для поправки или обмена. Некоторые собирались спросить о Винтушевиче у его тетушки; но она давно что-то не выезжала никуда, а после, когда стала выезжать, то на ней уже не было прежних брильянтов.

Камердинер Винтушевича доложил, что человек, спрашивающий его, был какой-то старик, и описал костюм его и физиономию.

– Письмо, говорит, есть и дело нужное. Должно быть, попрошайка-с! – прибавил он спокойно.

Винтушевич углубился в размышление, продолжая сидеть против зеркала, хотя операция бритья была кончена.

– Позови! – сказал он наконец решительно и еще пристальнее начал что-то высматривать в зеркале, в котором через минуту отразился красный нос и красные глаза вошедшего посетителя.

Винтушевич вскочил и, быстро обернувшись к нему, спросил в недоумении и досаде:

– Ты как узнал, что я здесь? Что тебе нужно? какое письмо?

Посетитель молча подошел к Винтушевичу и, подав письмо, сказал:

– Велено отдать... вам или кто случится в городе из знакомых...

– Из знакомых? – заметил Винтушевич, презрительно взглянув на посетителя. – Лучше не нашли, с кем бы послать, кроме тебя! Пьяница! – прибавил он, срывая конверт.

– Пусть пьяница. Да я никого не выдам, – проговорил посетитель, голос которого хрипел и прерывался кашлем.

– Не выдам! Ты думаешь, я забыл твою последнюю штуку! – снова заметил Винтушевич, читая письмо.

– Что ж! ведь я и сам потерял всё, что было тогда, – грустно отвечал посетитель. – Эх, батюшка, полно сердиться! Дело-то начинается славное! – прибавил он таинственно, кивнув головой на письмо, и разразился кашлем, который захватил ему дух.

– Ну что ж! – сказал Винтушевич, бросая письмо на стол. – Меня приглашают на ярмарку. Я и без того ехал туда.

– А насчет сигарочника-то... – возразил посетитель.

– Ну да! – перебил Винтушевич в досаде на то, что посетителю известно содержание письма. – Мало ли что!.. – забормотал он, кружась по комнате, – Мало ли кто едет отсюда с деньгами, да попробуй!.. Будто легко!..

– Везет-то человек молодой, – проговорил посетитель, – Генрихом зовут: я видел его вчера в веселой компании.

– Пьет? – отрывочно спросил Винтушевич, продолжая кружиться.

– Нет, там не пил...

– Ничего?



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Ничего. Один меня, кажись, узнал, – дополнил посетитель после минутного молчания, – тот, что, помните, пустил в меня...

– Ничего не помню! – перебил Винтушевич, между тем как посетитель указывал на свой шрам. – И не заикайся мне о том, что было! Или я тебя выгоню!

– Я только так, чтобы не испортить дела...

– Да ты уж испортил его! – закричал в досаде Винтушевич. – Сам же говоришь, что этот, как его... этот глупый мальчишка ничего не пьет. А тут вдобавок другой еще узнал тебя: расскажет тому и напугает некстати!

– Попутчика ищет через газеты... – продолжал посетитель, терпеливо пропуская замечания Винтушевича, который между тем взъерошивал свои черные курчавые волосы и кружился всё шибче и шибче.

Наконец в лице Винтушевича ясно обозначилось присутствие счастливой мысли.

– Ну ладно, убирайся! – заключил он, видимо успокоенный. – Хорошо, ступай!

Но посетитель не шел.

– А насчет пропитания, – проговорил он, – там написано...

– То есть насчет пропивания! – перебил Винтушевич, почувствовавший даже расположение к шутке, и, подойдя к столу, на котором стояла шкатулка, достал из нее бумажник, хранившийся между несколькими разноцветными париками, накладными усами, бакенбардами и картами.

– Возьми и убирайся! – сказал он, подавая ассигнацию посетителю, который докладывал между тем, что он будет на ярмарке недельки через две, и просил кланяться от него какому-то благодетелю Исаку Абрамычу.

– Марш, марш! – отвечал Винтушевич, указав на дверь; и посетитель вышел, сжимая в кулаке полученную ассигнацию.

Минут в пять Винтушевич очутился прилично и скромно одетым почтенным человеком, в длинноволосом коричневом парике, с бакенбардами такого же цвета и в длиннополом сюртуке, тоже коричневом. На левой руке его висел кисет с табаком, а в правой он держал дорожную пенковую трубку с коротеньким плетеным чубуком в виде змеи, извивавшейся кольцами. Головку этой змеи он сжимал в зубах и курил, опираясь перед зеркалом окончательно.

– Ну что ж там, скоро ли? – сказал он в нетерпении своему камердинеру, который в то время с силою напирал коленком в чемодан, затягивая ремни.

– Сейчас, сударь, сейчас! – отвечал камердинер не своим голосом и побагровев от натуги. – Степан жалится, сударь, что, дескать, лошадей совсем измучили; погодили бы, говорит, хоть до вечера.

– А вот я ему дам рассуждать! – возразил Винтушевич.

– Исаак Абрамыч, говорит, взыщет и с меня, – продолжал камердинер.

– Важная штука Исаак Абрамыч! – заметил Винтушевич. – Колотил я его не раз!.. Живей, живей! – прибавил он камердинеру. – А теперь продам и выкуплю со всем его жидовским племенем!

И, отойдя от зеркала, Винтушевич заходил по комнате скорыми шагами, под влиянием счастливой мысли, а человек его зашевелился гораздо проворнее под влиянием последних слов Винтушевича, которые, очевидно, подействовали на него сильнее, чем слова «живей, живей!»

Еще через пять минут Винтушевич выехал в своем тарантасе из ворот гостиницы и остановился у дома сигарочного фабриканта Штукенберга не позже той минуты, как ассигнация его, выданная посетителю, достигла до буфета ближайшего трактира.

Август Иваныч с семейством своим сбирался в церковь, когда раздался звонок у

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
дверей; он только что успел одеться в своем кабинете при помощи одного из  
фабричных мальчиков, который исполнял должность лакея, получая, впрочем, за все  
сверхконтрактные занятия некоторые лакомые кусочки от хозяйского стола. Мальчик  
вышел отворить дверь и, возвратясь, доложил:

– Помещик-с. Говорит: желаю говорить с хозяином о деле. Из Нижегородской губернии.

– Ага! – сказал Август Иванович значительно, вспомнив, что путь Генриху предстоял именно в ту губернию. – Пусть идет!

– Честь имею рекомендоваться! – сказал Винтушевич протяжно, входя в кабинет без обычной своей развязности. – Извините великодушно, что обеспокоил! – продолжал он, между тем как Август Иванович подставлял ему стул, говоря:

– Покорнейше прошу!.. о, ничего!

– У меня, извольте видеть, – начал объяснять Винтушевич, – есть много мальчиков, которых желал бы отдать в ученье, и отдать не кому другому, как вам, почтенному и знаменитому фабриканту, имя которого... поверьте, я говорю от души...

– Можно, можно. Присылайте! – отвечал Август Иванович, кашлянув несколько раз от удовольствия, потому что Винтушевич льстил с замечательным простодушием.

Винтушевич благодарил и спросил, сколько мальчиков прислать.

– О, сколько-с хотите! – отвечал фабрикант и весело прибавил: – Дела идут вперед, хе-хе!

– Еще бы, батюшка! – заметил Винтушевич. – Сигары ваши курят по всей безграничной России.

Август Иванович покашлял и продолжал:

– Открываю новое отделение фирмы в городе ВВ, в Нижегородской губернии, – пояснил он, приступая к своему делу, – ожидаю туда попутчика для своего конторщ...

Винтушевич не дал договорить.

– Вот случай! – воскликнул он радостно. – А я еду один-одинешенек!.. да вот, взгляните...

И с этим словом он взял фабриканта под руку и подошел с ним к отворенному окну, выходящему на балкон, против которого стоял тарантас.

– Эй, Прохор! – крикнул он с балкона своему камердинеру, дремавшему на козлах, рядом с кучером. – Что дремлешь! слетишь с козел! – предостерег его Винтушевич, когда тот откинулся от плеча кучера, служившего ему подушкой. – Эк печет! – заметил потом Винтушевич фабриканту, кивнув на солнце, и они возвратились в кабинет. – Так вот, батюшка! чего лучше: сейчас и едем.

– На половинных издержках... – проговорил Август Иванович.

– И, боже сохрани! что за издержки! Вы доставите мне удовольствие, несказанное удовольствие! – воскликнул Винтушевич, взяв за руку фабриканта, который тоже выражал большое удовольствие своим известным покашливанием. – Велите готовиться, – продолжал Винтушевич, – прописать паспорт на выезд... Мой прописан и всё готово – сесть да ехать! – прибавил он между прочим.

Август Иванович благодарил и искал глазами Генриха.

В дверях показалась Саша – девица, знающая шить и кроить по мерке, и доложила, что Шарлотта Христофоровна готова и ждет, чтоб идти вместе в церковь.

– Я остаюсь! – отвечал решительно фабрикант и велел позвать Генриха.

Но Генрих в эту минуту явился сам, таща на плече новенький чемодан: он не успел купить его вчера и потому отправился покупать, как только проснулся.

– Ага! – встретил его Август Иванов. – Иди, Генрих, простись там (он махнул рукой на спальню Шарлотты Христофоровны) и будь готов. Ты едешь вот с добрым господином...

– Прошу любить да жаловать! – вступил в речь Винтушевич, между тем как Август Иванов, подойдя ближе к Генриху, сказал тихо:

– Прекрасный человек!.. спешите немедленно!..

– Сейчас! – отвечал оторопевший Генрих и, бросив чемодан у дверей своей комнаты, побежал к Шарлотте Христофоровне.

– Ничего, я подожду, подожду! – кричал ему вслед Винтушевич.

Затем Август Иванов отдал приказание прописать паспорт Генриха и получить, если можно, обратно деньги, заплаченные вчера за публикацию о попутчике, которая не была еще напечатана. Потом фабрикант усадил своего гостя и подал ему сигару, вынув ее из ящика, который стоял на окне.

– Вашей фабрики? – спросил Винтушевич, принимая сигару, и, получив утвердительный ответ, продолжал: – Я это спрашиваю потому, что никаких других не курю, кроме ваших.

Август Иванов снова покашлял и взял свечку из рук принесшего ее мальчика, сам подал гостю огня закурить сигару, после чего свечка тотчас же была погашена.

Затем фабрикант начал речь о мальчиках, о которых Винтушевич почти забыл. Он рассказал по пунктам все условия, на каких они принимаются в ученье, – сказал даже, на какой бумаге написать контракты. Винтушевич слушал внимательно и соглашался на все условия, вполне сознавая их необходимость и даже благодетельные последствия для своих вымышленных мальчиков. Далее фабрикант рассказал весь порядок содержания мальчиков на фабрике, между тем как Винтушевич восклицал: «Бесподобно! удивительно!» – и просто завидовал будущей судьбе воображаемых мальчиков в столь благоустроенном заведении. Покашляв, Август Иванов предложил в заключение осмотреть его фабрику. Винтушевич не отказался, и они вышли. Спускаясь по лестнице, Винтушевич бросил и загасил сигару.

– О, напрасно! – заметил Август Иванов, внутренне, однако ж, очень довольный осторожностью гостя.

– Как можно! как можно! – возразил гость, придавив еще раз сигару каблуком.

– Застрахован! – заметил Август Иванов и, смеясь, махнул рукой.

– Еще бы! такой великолепный дом!..

– О да-с, конечно! – перебил фабрикант. – Двенадцатого марта тысяча \*\*\* года пополудни, в три часа и двадцать семь минут!

– И минут! – воскликнул Винтушевич. – Вот как!

– И двадцать семь минут! – повторил фабрикант с твердостью, которая ручалась, что он точно так же не ошибся бы сказать время страхования даже тогда, если б его вдруг, среди ночи, сонного растолкали и поразили известием, что дом его охватило пламенем со всех сторон.

На дворе, увидев кладовую с надписью: «Пожарная», Винтушевич всплеснул руками с простодушным удивлением провинциала, на что Август Иванов снова покашлял; а в мастерских гость объявил решительное желание сесть за работу вместе с мастерами, которых, впрочем, там не было ни одного по случаю воскресенья. Далее фабрикант повел своего гостя в помещения мастеровых и во все принадлежащие к фабрике службы.

Между тем в комнатке Генриха происходили приготовления к отъезду. Отъезд Генриха сильно занял все умы в доме Августа Иванова, где много лет всё шло так однообразно, без всяких перемен и приключений. При этом обнаружилось, что у доброго Генриха было немало друзей кроме Саши. Его внезапный отъезд особенно

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a поразил работницу в кухне – помощницу Шарлотты Христофоровны по части стряпни, – поразил до того, что она (непостижимо!) решила выйти из кухни и в первый раз прошла по спальне отсутствующей Шарлотты Христофоровны, потом прокралась по зеленой столовой, проникла в кабинет Августа Иваныча и просунула голову в дверь комнатки Генриха.

– Желанный ты наш! едешь? – проговорила она жалостно.

– Еду, еду, Марфуша! прощай! – отвечал Генрих, роясь проворно в комод.

После чего Марфуше тотчас почудилось, что Август Иваныч, откуда ни возьмись, очутился позади ее, изумленный до остолбенения ее появлением в кабинете, и она опрометью бросилась бежать обратно.

Но в бескорыстной привязанности работницы еще можно было усомниться, потому что Генрих раза три в год писал ей письма к братьям в разные губернии, всегда одинакового, впрочем, содержания, и не раз отправлял эти письма по почте, не требуя от нее ни копейки. Привязанность мамки была неопровержимее. Эта женщина, вообще довольно злая и называвшая Генриха не иначе как жидконогим, принесла ему веревочку: вот тебе, дескать, понадобится что-нибудь перевязать, – и потом она с некоторым сожалением принялась твердить ребенку, которого держала на руках:

– Уезжает, вишь, уезжает молодец-то наш!

Только что мамка возвратилась в детскую, в комнатку Генриха застенчиво и робко вошла Саша с предложением помочь ему укладывать вещи.

– Не нужно, не нужно, Саша! – возразил Генрих.

Но Саша настаивала. Тронутый ее печальным видом, Генрих взял ее за руки и, отводя от комода, нежно сказал:

– Спасибо, душенька!

Саша вспыхнула, услышав это имя от Генриха в первый раз.

– Скажи, – продолжал Генрих, – тебе скучно, что я уезжаю, да?

Саша молчала; но лицо ее быстро покрылось бледностью, и вдруг две крупные горячие слезы упали на руки Генриха. В свою очередь Генрих побледнел.

– Ты не приедешь! – насилу проговорила Саша и, вырвав свои руки из рук Генриха, закрыла ими лицо, едва сдерживая рыдания.

Всё это было бы ребячеством, если бы не было тут грустного предчувствия.

– Ради бога, перестань! – воскликнул Генрих, дрожавший от тоски, пробужденной привязанностью и опасением девушки. – Клянусь тебе, приеду! – утешал он ее. – Да еще попрошу прибавку тебе и себе, и заживем! А там, может быть, явится отец твой! – прибавил он с веселым видом, пробуя и эту обычную струну, всегда благодетельно действовавшую на Сашу в минуты грусти.

Но предчувствие было сильнее надежд, и Саша продолжала плакать. Голос Винтушевича, раздавшийся на лестнице, заставил ее поспешно выйти из комнаты. Генрих снова засуетился около чехомодана.

– И купчую совершим и всё устроим! – говорил за дверьми Винтушевич. – Будьте спокойны, добродетельнейший Август Иваныч! Если с ним едет человек преданнейший вам... человек, который... я говорю от души... то вы должны быть спокойны, если б даже покупали пятьдесят домов в пятидесяти местах.

Последние слова он договорил уже в столовой, где готов был завтрак в ожидании Шарлотты Христофоровны. Август Иваныч предложил гостю закусить; но Винтушевич отговорился, что ему еще рано и что позавтракает на первой станции. В это время вошла Саша, чтобы взглянуть на попутчика Генриха.

– Какая у вас красавица эта девушка! – добродушно сказал Винтушевич.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– О да-с, конечно! – отвечал Август Иваныч и в шутку прибавил: – Совсем потеряла  
родителя!

Затем фабрикант попросил своего гостя подождать его тут с минуту и пошел к себе  
в кабинет, где тотчас же началось щелканье на счетах.

– Как зовут вас, милая? позвольте спросить! – заговорил Винтушевич, оставшись  
один с Сашей.

Саша сказала свое имя.

– А по бабушке?

– Максимовна.

– Александра Максимовна! Скажите, пожалуйста; у меня двоюродная сестра  
Александра Максимовна! – воскликнул Винтушевич, очевидно лицедействуя за  
какого-то простяка в какой-то пьесе. – А фамилия ваша? позвольте узнать? –  
продолжал он, чтобы говорить что-нибудь.

– Отрыгина, – отвечала Саша.

Здесь Винтушевичу было бы более кстати сделать восклицание, потому что он узнал  
в Саше дочь своего утреннего посетителя, бывшего товарища его по золотым  
промыслам в особенном смысле. Но он повторил только машинально:

– Отры... гина... – И прибавил, кланяясь: – Прошу любить да жаловать!

Наконец вышел из кабинета Генрих с оттопыренным боковым карманом в сопровождении  
Августа Иваныча и мальчика, который нес на голове чемодан; отъезжающие начали  
прощаться, причем Винтушевич убедительно просил фабриканта не побрезговать его  
хлебом-солью в проезд когда-нибудь мимо его поместья. Когда отъезжающие стали  
спускаться по лестнице, Август Иваныч и Саша вышли на балкон проводить их  
глазами.

Винтушевич первый взобрался в тарантас, принял от мальчика и уложил чемодан  
Генриха, между тем как его камердинер с кучером, сомкнувшись плечами и головами,  
спали мертвым сном.

– Сюда! сюда! любезный Генрих, – сказал Винтушевич, подавая ему руку, – славное,  
спокойное место!.. Я тебе дам спать! – прикрикнул он на камердинера, который  
наконец проснулся и растолкал кучера локтем.

– Ну, прощайте еще раз, почтеннейший! – сказал Винтушевич, посмотрев на балкон,  
где Август Иваныч кивал ему, покашливая, а Саша печально смотрела на Генриха. –  
Ба! счастливая мысль! – воскликнул Винтушевич уже с обычной наглостью. –  
Слушайте, знаменитейший фабрикант! – закричал он Августу Иванычу. – Если б мне  
пришлось вам строить памятник, я именно поставил бы вас на балконе вашего дома,  
а на пьедестале вместо надписи поместил бы вашу вывеску: «Табачная и сигарочная  
фабрика Августа Штукенберга»!.. Ну, пошел! – крикнул он кучеру.

Кучер стегнул по лошадям, и тарантас двинулся, между тем как Август Иваныч,  
кивая и покашливая, говорил:

– Славный человек! хороший господин! – И, обратись к Саше, прибавил: – О да,  
конечно!

## Глава LV

### Обмен и размен

Не доехав несколько станций до ВВ, цели своей поездки, Генрих остановился с  
своим попутчиком для ночлега на постоялом дворе в одном местечке, известном,  
впрочем, более иных городов по своей значительной ярмарке, продолжающейся по  
несколько недель ежегодно. Ярмарка в это время была в полном разгаре, и  
помещения все были заняты; но Винтушевич, оставив Генриха в тарантасе, пошел  
переговорить с содержателем, и через несколько минут их провели в особый  
полусгнивший флигель по двору, который, несмотря на позднюю пору, оживлен был  
суетней и говором людей разных сословий, толпившихся в тесных промежутках между  
кибитками, телегами и выпяженными лошадьми. Пройдя по темной и грязной лестнице

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a с расшатавшимися ступеньками и такими же перилами, приезжие вошли в комнату, тесную и неопрятную.

– Ну, делать нечего, любезнейший спутник мой! – сказал Винтушевич Генриху. – Мы не можем похвастать помещением.

И Винтушевич не без удовольствия заметил унылый вид Генриха, выразивший неприятное впечатление, произведенное на него комнатой.

– Да ведь нам не жить в ней, – продолжал он. – Оставим здесь наши чемоданы и всё лишнее – и марш в общую залу, а там увидите, как весело! Будет что и закусить!

Но Генрих решительно отказался от общей залы и закуски; Винтушевич ушел один, приказав своему камердинеру приготовить постели и пожелав Генриху доброй ночи.

Постель Генриха скоро была готова, потому что принести и бросить на пол сена, которое кучами было навалено в сенях, накрыть потом сено простыней и бросить подушку было делом одной минуты; но Генрих не торопился в постель. Он отворил окно, выходящее на двор, и лег на него, подложив подушку. Под окнами стоял какой-то шалаш, наскоро сколоченный, где ревел благим матом ребенок, прерываемый звонким женским голосом. Скоро из шалаша кто-то вышел и пробирался в полумраке, между выпряженными лошадьми и телегами, по направлению к крыльцу. С крыльца в то же время раздался хриплый голос.

– Наконец и ты здесь!

– Здесь, здесь, – отвечал другой голос, по которому Генрих узнал своего попутчика.

– Сидим и играем, – продолжал первый голос – Игра шла между своими... – включил он с некоторою досадою. – Входит наш Исак Абрамыч и говорит: приехали...

– Ну, идем, идем! – перебил Винтушевич.

И они отворили дверь, из которой минутно вырвался гам, пока они проходили в нее.

– Опять игра! – невольно проговорил Генрих, отходя от окна, и с заметным беспокойством ощупал боковой карман, в котором хранились деньги.

Беспокойство и разные подозрения насчет своего попутчика начали овладевать им мало-помалу с самой минуты отъезда из Петербурга. Сначала Генрих долго размышлял о сцене с Сашей, происходившей у него в комнате перед отъездом, долго видел ее перед собой плачущую и встревоженную; затем он глубоко вздохнул, как человек, вдруг ощутивший в себе тихое спокойствие и самодовольствие после долгих непонятных волнений.

– Не вздыхайте, молодой человек! – заметил с участием Винтушевич. – Я понимаю ваш вздох... да и кто бы его не понял!.. Девицы-красавицы... ох-ох-ох! Всяк из нас был молод!.. Но терпение и надежда! смелость и решительность!

Винтушевич не смотрел в лицо Генриху и говорил в каком-то самозабвении, отрывисто и скоро, так что Генриху не нужно было трудиться отвечать что-нибудь или требовать пояснений на некоторые восклицания, для него непонятные, но понятные, впрочем, для самого Винтушевича, который, очевидно, действовал по внушению счастливой мысли.

Сделав еще несколько восклицаний в том же роде, вдохновенный Винтушевич рассказал в коротких, но сильных словах историю своей любви, увенчавшейся счастливой развязкой благодаря выигрышу в карты.

– Замечательно, – продолжал он в размышлении, – новичок всегда берет на первую карту, и берет тем вернее чем больше ставит куш! Так случилось и со мной. После игра была переменчива и часто несчастлива, а первый раз взял! Почти всякий из моих знакомых испытал это и в своей игре. Словом: я поставил бы теперь всё что есть на первую карту, если б первая карта могла быть другой раз в жизни!

Генрих между тем употреблял все усилия, чтобы укрыться от искусительного голоса рассказчика, и внимательно вслушивался в топот лошадиных копыт и стук тарантаса;

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
но каждое слово, как будто волшебством каким-нибудь, не только не пропадало в его слухе, но, казалось, повторялось по нескольку раз в воздухе, так что Генриху сделалось страшно, и он робко взглянул на Винтушевича, – взглянул и вздрогнул, встретив взгляд его, страшно наглый и сопровождаемый улыбкой.

– Вам, я думаю, тоже поздно испытывать счастье первой карты, – заговорил снова Винтушевич, смотря куда-то неопределенно вдаль. – Вы, конечно, играете, и давным-давно!

– Нет, не играю! – резко перебил его Генрих и с негодованием рассказал последствия несчастной игры друга своего Гарелина. – После всего этого, – сказал он в заключение решительно, – я уверен, что не буду никогда ни пить, ни играть! – И, помолчав немного, прибавил, как бы защищаясь от покушений своего попутчика завлечь его в игру: – Пусть первая карта останется в моей жизни не испытана.

– И прекрасно, молодой человек! – воскликнул Винтушевич. – Иначе предстояло бы больше опасности капиталу добродетельного Августа Иваныча.

Генриху показалось, что эпитет «добродетельного» попутчик произнес насмешливо, и подозрения его усилились. Однако ж не раз после этого подозрения рассеивались, и попутчик казался Генриху честным и почтенным человеком, так что ему становилось совестно за себя. Винтушевич делал самые подробные наставления, как удобнее и лучше распорядиться Генриху, чтоб скорее и успешнее кончить дело Августа Иваныча и возвратиться в Петербург; раз упомянул даже номер статьи закона, относившегося в покупке недвижимостей. А подъезжая к местечку, в котором нужно было ночевать, Винтушевич очень досадовал, что не может проехать мимо, не остановившись, и трогательно описывал радость своего семейства, ожидавшего его с нетерпением.

Припоминая противоречия в характере своего попутчика, Генрих долго не мог заснуть. Он дождался, таким образом, возвращения Винтушевича, который тихо вошел в комнату и осторожно опустился на свою постель, устроенную точно так же, как и постель Генриха, причем Генриху показалось, что попутчик его лег полураздетый, – новая тема для новых предположений. Однако ж под утро Генрих заснул и проспал почти до полудня. Проснувшись, он прежде всего ощупал карман сюртука, который накануне положил себе под подушку, и, удостоверившись, что в кармане было всё цело, оглядел потом комнату: в ней не оказалось ни попутчика, ни его чемодана. Генрих крикнул в окно, чтоб прислали кого-нибудь дать ему умыться, и сам начал торопливо одеваться. Через несколько минут дверь отворилась, и в комнату вошел незнакомый человек средних лет, прилично одетый, и отрекомендовался доверенным от господина Каратулина (имя продавца фабрики), уведомив притом, что попутчик уехал, так как в его услугах не было более надобности. Хриповатый голос доверенного напомнил Генриху лицо, встретившее вчера вечером Винтушевича на крыльце; по, кроме голоса, ничто более не подтверждало этого сходства, и Генрих обрадовался, что наконец избавился от своего двусмысленного попутчика. Однако ж он спросил доверенного:

– Как же вы узнали, что я здесь?

– Еще бы! – отвечал доверенный. – Вот уж сколько дней сряду я обхожу здесь все гостиницы и постоялые дворы – наведываться, не приехали ли вы... ведь ваша фамилия Кнаббе?... Ну так он мне и сказал! – продолжал доверенный, получив утвердительный ответ от Генриха. – Боюсь, говорит, не замешкались бы где-нибудь; а мне было кстати сюда ехать, так вот он и просил меня встретить вас и привезти к нему немедленно. Делишки-то, видите ли, у него сильно позапутаны, так и торопится поскорее получить деньги.

– Так едемте скорее, – сказал Генрих.

– То-то, что нельзя раньше вечера, – возразил доверенный, – нужно мне, видите ли, побывать в двух-трех местах. А мы вот, буде вам угодно, пройдемся вместе по ярмарке, я зайду куда надо, а после пообедаем да под вечерок и отправимся в путь благословясь.

Генрих согласился. Он вышел с своим новым знакомцем и запер свою комнату на ключ, объявив, сверх того, содержателю, известному Исаку Абрамычу, что у него там хранится чемодан: так чтобы цело было всё.

Пройдя несколько шагов от постоялого двора, доверенный спросил у Генриха:

– А где у вас деньги?

Генрих показал на боковой карман.

– Хорошо, – продолжал доверенный, – а всё ненадежно: случится проходить в толпе – вырежут. Бывали случаи! – прибавил он, махнув рукой. – Мошенников что красного товару на ярмарке; нужно держать ухо востро.

– Так я спрячу в чемодан! – сказал Генрих и повернулся назад.

– Э нет, батюшка! – возразил доверенный.

– Что же мне делать? – спросил Генрих, остановившись в испуге, между тем как доверенный продолжал:

– Это из огня да в полымя; вы думаете, этот еврей так и будет стеречь ваш чемодан? Ему что? известно: многолюдство!

– Но что ж мне делать? – повторил Генрих с нетерпением.

– А вот что, – отвечал доверенный, снимая свою шляпу, и, подав ее Генриху, сказал: – Наденьте-ка!

Не понимая, к чему всё это, Генрих снял фуражку и надел шляпу.

– Впору? – спросил доверенный.

– Впору, – отвечал Генрих.

– Теперь глядите сюда! – таинственно продолжал доверенный, сняв шляпу с головы Генриха и показывая ему ее внутренность.

Генрих стал смотреть. Вдруг дно шляпы быстро отскочило кверху, и за небольшим промежутком Генрих увидел другое дно.

– Тысячи сберегал! – говорил доверенный, с торжеством посмотрев в глаза Генриху, который смеялся, очень довольный замысловатым устройством тайника в шляпе. – Не поручусь, – продолжал он, – ни за кого и ни за что, а за шляпу мою ручаюсь: в самых опасных местах сберегала мне всё, что ни клал в нее. Давайте-ка сюда, батюшка, вашу казну!

Генрих вынул пакет с ассигнациями и положил в шляпу между двумя днами, после чего внутреннее дно тотчас захлопнулось к удовольствию Генриха.

Затем Генрих надел шляпу доверенного, а доверенный фуражку Генриха, и они отправились к ярмарке. Генрих, обеспеченный замысловатой шляпой, предался совершенно новому зрелищу, какое представляла ему ярмарка, и не заметил, как прошло несколько часов, пока доверенный выходил, куда ему было нужно. Наконец они проголодались и зашли в трактир, нарочно устроенный на время ярмарки, в самом центре ее, и снаружи походивший на огромный сарай.

Внутренность трактира озадачила Генриха своим гамом и толкотней. В густом табачном дыму, которым наполнена была огромная зала во всю величину сарая, толпились группами более сотни самых разнохарактерных людей в разнохарактерных одеждах. Разговор шел вдруг в несколько голосов и на нескольких языках. Около стен, за столами, покрытыми грязными скатертями, сидели такие же группы народа и по временам хохотом в несколько голосов совершенно покрывали говор групп, стоявших в разных местах залы, за недостатком стульев. Всё это освещалось сквозь узкие окна слабыми лучами заходящего солнца.

Генрих с доверенным едва отыскивали один незанятый стол.

– Что прикажете-с? – спросил служитель, махнув полотенцем по столу.

Доверенный потребовал лучший обед и усердно угощал Генриха, как своего гостя. К концу обеда вошел человек низенького роста, с черными, коротко обстриженными волосами, в коричневом фраке с светлыми пуговицами и желтом галстухе. Это был



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a фокусник, занимавшийся, впрочем, также продажей цепочек, перстней, зрительных трубок и фальшивых брильянтов – за фальшивые же. Фокусник прошел около всех столов, осматривая гостей своими светящимися черными глазами, говорившими о его еврейском происхождении, и через пять минут около него собралась кучка зрителей, которым он начал показывать свои вещицы, забавляя в то же время фокусами.

– Господа! наичистейший брильянт! – громко кричал фокусник. – Большой величины! цена целковый!

К кучке присоединился и Генрих взглянуть на дешевый брильянт, который ярко мелькал перед глазами зрителей, сжатый между большим и указательным пальцем в искусно дрожавшей руке фокусника. Генрих вынул целковый и приобрел эту драгоценность, неизвестно для какой цели. В придачу фокусник показал ему одну из своих штук, кинув на воздух платок, который в ту же минуту исчез неизвестно куда.

– Небось и чужие платки у тебя так же пропадают! – спросил один из торговцев, стоявших в кучке.

– Можно! всякий платок можно! – отвечал с уверенностью фокусник, не поняв оскорбительного намека, отчего вокруг него тотчас раздался хохот.

Когда Генрих возвратился на свое место, со стола было всё собрано и доверенного уже не было за столом. В зале тоже его не оказалось. Генрих схватился шляпы – на месте лежала его фуражка. Генрих побледнел, но молчал, как бы боясь удостовериться в страшной догадке, мелькнувшей в уме его в эту минуту. Наконец он подозвал служителя и робко спросил:

– Куда ушел тот... тот, что вот тут сидел со мной?

– Ушли-с! – отвечал служитель. – Известно, расплатились и ушли! Что прикажете? – прибавил он, махнув полотенцем по столу и принимая новых гостей.

У Генриха подкосились ноги, и он едва дошел до буфета.

– Не знаете ли вы... вон того, что там со мной обедал? – спросил он у буфетчика, который, с засученными рукавами красной рубахи, гремел чайной посудой, расставляя ее на подносе.

– Чего-с? – крикнул он, продолжая делать свое дело.

Генрих тоскливо повторил вопрос.

– А кто его знает, батюшка!

И буфетчик махнул рукой.

– Да как же это? – проговорил Генрих и, постояв, вышел из трактира и отправился на постоялый двор, где остановился, осматривая дорогой всех с ног до головы.

На постоялом дворе он получил о доверенном ответы, еще менее удовлетворительные. Но это не могло увеличить его тоски, которая охватила его душу при первой догадке. «Зачем, – думал себе Генрих, – честному человеку вдруг уйти куда бы то ни было, не сказав ему ни слова, и притом уйти в шляпе с чужими деньгами». Однако ж он снова возвратился в трактир, где обедал, и снова услышал те же ответы от служителя и буфетчика, который, сверх того, заинтересованный убитым видом и дрожавшим голосом Генриха, спросил:

– Да вам на что его, батюшка?

– Как на что! – отвечал Генрих тихо, как человек, измученный горем. – Он ушел... в своей шляпе.

Буфетчик выпучил на него глаза в недоумении.

– То есть в вашей шляпе, хотели вы сказать? – заметил он, переглянувшись с товарищем, стоявшим за буфетом.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Нет, в своей... да там были мои деньги... то есть не мои...

Генрих замолк, вздохнув.

– Много денег? – спросил буфетчик, снова переглянувшись с товарищем, вероятно сомневаясь, как, дескать, его деньги попали в чужую шляпу.

– Сорок тысяч, – проговорил Генрих машинально и пошел от буфета.

– Никак совсем рехнулся малый-то! – сказал буфетчик своему товарищу. – Слышь ты: сорок тысяч, говорит, в чужой шляпе!

– А бог его знает, – возразил тот, провожая глазами Генриха, который между тем выходил вон из трактира, – может, и впрямь так было.

– В шляпе! сорок тысяч! – повторил буфетчик в размышлении и, помолчав, прибавил:  
– Эк его угораздило!

Через час Генрих стоял в стороне от ярмарки на мосту небольшой речки. Опершись на перилы, он в каком-то окаменелом положении всматривался в черную неподвижную воду и не замечал проходивших мимо торговцев, которые весело и шумно расходились с ярмарки по своим временным квартирам.

Часть двенадцатая

Глава LVI

Борьба

Потеря места управляющего была ощутительна Ивану Софроньчу, любившему деревенскую жизнь и деятельность. Но он не ожидал губительных последствий, которые повлекла она за собою.

Спустя несколько дней после ссоры Тавровского с управляющим к Ивану Софроньчу явился господин, совершенно незнакомый, и просил уделить ему четверть часа времени.

– Позвольте узнать, с кем имею честь говорить? – спросил Познизовкин.

– Переваленко-Зацепа, Афанасий Кузьмич, – отвечал посетитель, низко кланяясь и сладко улыбаясь. Господин Переваленко-Зацепа был малоросс, средних лет, среднего роста и средней дородности. Его руки, ноги, голова, плечи, равно и черты лица, не отличались тонкостью отделки: всё было крупно и аляповато; за плечами торчал небольшой горб; на животе болталась сердоликовая печатка. Он ходил в длиннополом сюртуке и говорил на «о»; в левом ухе носил медную серьгу, или, лучше, обломок серьги, с которым никогда не расставался: он уверял, что так привык иметь в ухе серьгу, что даже дурно слышал, когда вынимал ее. В критические минуты он имел привычку дергать за нее, и она, казалось, служила ему источником вдохновения.

– Я к вашим услугам, – сказал ему Иван Софроньч. – Но какое дело вы можете иметь до меня?

– А вот: вы, батюшка, были управляющим у <господина> Тавровского в Софоновке?

– Так точно.

– В числе угодий приняли вы лесу строевого и дровяного семь тысяч пятьдесят десятин?

– Принял.

– Приняли? ну и будем помнить: приняли семь тысяч пятьдесят десятин лесу, – значительно произнес Переваленко-Зацепа и продолжал: – В ведомости вашей, ныне представленной владельцу, означено налицо: строевого лесу две тысячи шестьсот десятин, дровяного – четыре тысячи триста шестьдесят; а всего – шесть тысяч девятьсот шестьдесят десятин?

– Так, – отвечал Иван Софроньч. – Но я не понимаю, почему должен отвечать вам.

– Я новый управляющий господина Тавровского, – отвечал Зацепа с низким поклоном.  
– Извините, батюшка, может, что грубое сказал: я человек простой; но душа у меня

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
добрая, – прибавил он скороговоркой, как бы в скобках, и продолжал прежним  
голосом: – Если угодно удостовериться, документец со мной.

Он отправился в свой карман и вручил Ивану Софронычу документ. Пока Иван Софроныч рассматривал доверенность, данную Тавровским новому управляющему, Зацепа говорил:

– Изволите усмотреть: мне поручено управление Софоновым и мне же вверено принять имение согласно описи, и в чем окажется недочет...

– Недочета ни в чем оказаться не может, – перебил Иван Софроныч. – Напротив, имение улучшено и доход увеличен.

– Не сомневаюсь. Но желаю знать – извините грубое слово, не умею говорить красно, – куда девалось девяносто десятин строевого лесу?

– Лес продан.

– Так-с. С разрешения владельца?

– Я имел нужду в наличных деньгах и нашел выгодным продать часть леса, – сказал Понизовкин.

– Так-с. Но в доверенности вашей было ли упомянуто о праве продавать что-либо?

– Нет-с. Но я имел словесное разрешение владельца действовать по своему усмотрению в некоторых случаях.

– Стало быть, мне необходимо узнать, подходит ли под сказанное разрешение продажа леса? – заметил новый управляющий. – И прекрасно, батюшка! Подходит, так и беспокоить вас больше не буду!

– Что же, если нет? – спросил с беспокойством Иван Софроныч. – Во всяком случае деньги не пропали: ими исправлена и улучшена фабрика, которая теперь в полном ходу...

– Всё так-с, – возразил Зацепа сладким голосом. – Исправление, улучшение – важное дело, но, сами изволите знать, – темное! Извините, я человек простой, говорить красно не умею. А девяносто десятин лесу видный был косячок! Надо правду сказать!

Понизовкин вспыхнул.

– Советую вам поговорить сначала с Павлом Сергеичем: он довольно знает, способен ли я к тому, в чем вы меня подозреваете! – возразил он запальчиво. – Я не привык слушать...

– Извините, извините, – перебил Зацепа, в лице которого мгновенно выразилось такое отчаяние, как будто он был на охоте и, целясь в бекаса, нечаянно подстрелил лучшего своего друга. – Извините! я вас, кажется, огорчил? Видит бог, без намерения!.. Эх! Афоня, Афоня! – продолжал он с упреком, обращаясь к самому себе. – Вечно ты наговоришь вздору! А всё простота! погубит она тебя когда-нибудь, и добрые люди скажут: «Погиб от собственной своей простоты!» (при последних словах даже слезы показались на его глазах, как будто он уж действительно погибал и слышал над своею головою горестный приговор добрых людей). Не поверите, – продолжал он, обращаясь к Ивану Софронычу и постепенно возвышая голос, – говорить не умею, льстить не умею, кланяться способности бог не дал, унижаться не мое дело, притворствоваться, лицедействовать, клеветать мать и отец на смертном одре запретили! (При каждом периоде он делал паузу и загибал свой толстый и красный палец, как будто боясь пропустить которую-нибудь из своих добродетелей.) Так и мотаюсь по свету, и притом круглая сирота, – прибавил он жалобно, причем в глазах его снова показались слезы. – Даже сколько раз места лишился, в беду попадал – всё через свою простоту. Но честь свою сохранил и правды никогда ногами не попирал! – заключил он энергически.

Так как Иван Софроныч не обнаружил особенного участия к страданиям и рыцарской твердости господина Переваленко-Зацепы, то последний, окончив свой патетический монолог, очень скоро удалился, извиняясь, улыбаясь и кланяясь.

По уходе его Иван Софроныч погрузился в такое глубокое раздумье, что Настя долго не решалась заговорить с ним. Наконец она сказала, ласкаясь к нему:

– Батюшка, вы, кажется, встревожились. Но неужели вы думаете, что Павел Сергеич вступится в такие мелочи и станет преследовать вас?

– Эх, Настенька! молода еще ты! – возразил старик грустно. – Он, конечно, не станет; он, я думаю, даже и забыл, что мы с тобой существуем; но найдутся люди, которые, чтоб только угодить ему...

– Но кто же? – перебила Настя. – Мы никому ничего дурного не сделали. А господин Переваленко, кажется, такой добрый...

– Добрый? Эх, Настенька, Настенька! не знаешь ты людей, – возразил Иван Софроныч. – Бог простит, если я ошибаюсь; но мне кажется, что господин Переваленко мошенник первостепенный; не приведи господи никому попасть в его руки!

– Но почему же вы так думаете, батюшка? У него такое простое лицо, и он так откровенно говорил...

– Много людей встречал я в своей жизни, – наставительно сказал старик, – встречал и худых и добрых, и честных и ветреных. Всякие люди бывают; всякие маски они носят, всякие роли играют; редкий проживает в простоте, выходит в люди с таким лицом, какое дано ему богом, говорит, что по совести следует. Но не встречал я лживее того человека, который ходит в немецком платье, бороду бреет, а в манерах своих и в выговоре простым людям следует, говорит про свою честность и простоту, по-дружески с тобой обращается, то судариком, то батюшкой зовет. Недоброе в уме у такого человека. Личину надел он и ею хоронит свои волчьи зубы да вороновы когти!

Старик умолк и погрузился в прежнее раздумье.

И действительно, грустное предчувствие его не обманывало. Явившись к Тавровскому, Переваленко-Зацепа начал так:

– Грешный человек, боялся я не угодить вам, кормилец-батюшка, и со страхом вступал в мою трудную должность. Но теперь я успокоился и вижу, что мы с тобой, кормилец, никогда не расстанемся!

Переваленко-Зацепа говорил иногда людям гораздо выше его стоящим «ты»; но он умел так говорить, что его «ты» выходило вежливее всякого «вы» и притом так шло к нему, что, казалось, никакой другой образ выражения не мог быть ему доступен.

– Что такое? – улыбаясь, спросил Тавровский.

– Да сейчас был я у того... как бишь? у твоего прежнего управляющего. Уж коли ты с ним уживался, так и говорить нечего! Несговорчивый человек, упрямый человек, ехидный человек! – заключил Переваленко с негодованием. – И какие дерзости говорит, и о ком? о таких особах, которые и по рождению, и по уму, и по образованию самим перстом Божиим отмечены, перед которыми мы – черви ничтожные, гады бессловесные – пресмыкаться в пыли и прахе должны и радоваться, что они пред светлые очи свои нас допускают! Недоволен, видишь, моим голубчиком...

– Ну, Афанасий Кузьмич, – перебил Тавровский, не желая выслушивать сплетню. – Бог с ним! немудрено, если в сердцах и лишнее сказал! все мы люди!

– И на небе, – сказал управляющий, подняв на Тавровского влажные глаза свои и потянув серьгу, отчего ухо его покраснело, – и на небе все звезды, да не все одинаково светят!

И он чмокнул Тавровского в плечо, прежде чем тот успел увернуться.

Тавровский с досадой сжал губы и нахмурился.

– В отчетах и ведомости прежнего управляющего находятся некоторые неисправности и неверности, – сказал Переваленко. – Как прикажете поступить?

– Поступить, как должно! – сухо отвечал Тавровский.

Господину Переваленке ничего более не было нужно. Он принялся действовать и вывел как дважды два четыре, что Иван Софроныч должен уплатить владельцу за самовольную порубку леса и некоторые важные упущения до девяти тысяч рублей. Когда это требование, которое Переваленко доказывал самую ведомостью Ивана Софроныча и его отчетами, было объявлено Понизовкину, старик ужаснулся. Он решился писать к Тавровскому, прося его защиты и призывая его в свидетели своей честности. Ответ Тавровского был холоден и короток. «Вы знаете, – писал он, – как мало я сам занимаюсь своими делами; я никогда не понимал их и никогда не пойму. После вас я передал мои дела другому управляющему, честнейшему человеку, который, я уверен, сделает всё к обоюдному удовольствию».

Понизовкин увидел неминуемую гибель. Привыкнув почитать честь главною основой всякого дела, несчастный старик не соблюл некоторых формальностей как при вступлении в управление имением, так и при сдаче отчетов и оброчной суммы. Он даже не взял с Тавровского расписки в получении последней и не имел удостоверения, что Тавровский признал счета его и распоряжения верными. Выпутаться не было никаких средств. Переваленко дал ему месяц сроку и грозил в случае неуплаты взыскать деньги судебным порядком.

Трудно описать горестное положение, в котором находился Понизовкин. Он видел необходимость расстаться с дочерью, оставить ее одну, без друга и защитника, оставить в нищете, на жертву горю и соблазну, – и оставить затем, чтоб идти в тюрьму!

Целые дни лежал Иван Софроныч, покашливая и побрякивая, и всё думал тяжелую думу; он проводил ночи без сна, занятый теми же мыслями. Настя также не могла спать и слышала, как он иногда вслух рассуждал сам с собою, взывал к богу, прося твердости перенести тяжелое испытание, не поддаться искушению, – вспоминал Алексея Алексеича. В нем очевидно происходила борьба; слова: долг, клятва, беспрестанно повторяемые, смешивались с именами людей, которых Настя не знала, даже не помнила, чтоб отец когда-нибудь говорил, что знает их. Насте случалось также нередко слышать собственное свое имя, сопровождаемое рыданиями. К утру старик засыпал тревожным сном, и те же несвязные слова, те же имена повторяли его бледные губы, когда Настя, нагнувшись над ним, плакала и крестила его. Периоды, когда глухая и неведомая борьба в старике сменялась решимостью, были самые спокойные в их страдальческой жизни. Старик ласкал свою дочь и говорил тогда:

– Успокойся, Настя! да будет воля божия! Если господь желает попустить, чтоб злодеи наши торжествовали, я пойду в тюрьму! Но я буду и там бодр и весел, лишь бы знать, что дочь моя честная девушка, что я не запятнал своей чести низким поступком, обманом, клятвопреступл... – Старик вдруг останавливался, как будто чувствуя, что сказал лишнее, и продолжал: – Ты будешь приходить ко мне с работой, будешь сидеть со мной целые дни. Что, разве худо, дурочка? – прибавлял он, сияясь улыбнуться. – Всё равно будем жить, как и теперь: только и разницы, что помещение буду иметь даровое!

Оттого ли, что шутка плохо удавалась доброму старику, или Настя не видела ничего утешительного в перспективе, которую рисовал он, – только она еще пуще начинала плакать. Слезы ее раздирали сердце отца. Если б не дочь, можно утвердительно сказать, что он безропотно покорился бы испытанию, посылаемому провидением, и спокойно пошел в тюрьму. Но рыдания Насти снова воздвигали в сердце его борьбу и бурю, едва стихавшую при страшных усилиях воли.

– Господи! я не могу видеть, как плачет и сокрушается родное мое детище, и оставаться глухим и слепым! – восклицал старик в отчаянии. – Испытание выше сил моих. Не мне, о господи, вынести его!

Он разрешался последним страшным рыданием, и вдруг слезы его высыхали, – в лице появлялись признаки мрачной решимости, не той, которою озарялись черты его, когда говорил он о необходимости покориться провидению, – он будил быстрым прикосновением дочь свою, впавшую в забытие отчаяния, и говорил с уверенностью и энергией:

– Настя, Настенька! опомнись, не плачь! я не пойду в тюрьму, я останусь с тобой;

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
мы будем жить по-старому!

– Как? – говорила Настя. – Но чем же вы заплатите ему?

– Заплачу, заплачу! Если я говорю, так верь! – сурово говорил старик. – Разве ты видела, чтоб я когда-нибудь обманывал?

– Никогда, – отвечала Настя.

– Никогда! – грустно повторял Иван Софронич. – Счастлив, о ком и в последний час его скажут: никогда!

Он глубоко вздыхал и поникал головой.

Настя, привыкшая верить отцу, становилась веселей; веселость дочери сообщалась и отцу; они вместе строили планы своей будущей жизни; старик располагал искать снова места управляющего; Настя с живостью предавалась мечтам о деревне и деревенской природе, среди которой выросла. Так проходило несколько часов. Но понемногу лицо Понизовкина начинало омрачаться, брови сдвигались, Настя уже не смела с прежнею свободой передавать ему свои мечты и постепенно стихала. Опять водворялось прежнее тяжелое молчание; проходил час, и уже оба они боялись нарушить его. Ночью Настя слышала те же стоны отца, те же молитвы, отчаяние, тяжкие вздохи. Он призывал тень умершего друга и благодетеля своего, произносил те же, неведомые Насте, имена и, рыдая, поручал себя и дочь свою попечению божию! Наутро он вставал бледный, с опухшими глазами, и Настя снова была свидетельницей мучительной борьбы, которой не понимала, но которая ясно отражалась в страдальческих чертах старика. Он то утешал ее надеждою, то молил вооружиться силою и твердостью, молил подкрепить и его, изнемогшего под бременем лет и несчастий. Настя рыдала; старик сам не выдерживал и также присоединял свои рыдания. Так проходили дни, полные борьбы и страдания.

Наконец настал роковой день. Отец и дочь, не смыкавшие глаз, рано встали. Они долго и горячо молились. Иван Софронич простился с дочерью, поцеловал ее, благословил и сказал торжественным голосом:

– Забудь, Настя, что говорил я в порывах малодушия и отчаяния! Нам нет надежды; будем же тверды. Кто честно жил, тот должен честно и кончить век свой, какие бы испытания ни посылал ему бог! Он лучше нас знает, что делает, и не нам противиться его святой воле! В тебе одной мое утешение, моя радость, моя гордость, моя жизнь! Но есть голос в душе человека, громче самого голоса крови и отцовской любви, и благо тому, кто до последней минуты внимал святому голосу долга и чести и шел по призыву его, куда бы ни лежал путь! И я пойду по пути моему, хотя бы и голод, и жажда, и тысячи смертей угрожали мне, – пойду, благословляя имя пославшего мне тяжкий крест испытания! Но я слаб, я болен и стар: помоги же мне, дочь моя, не плачь, будь тверда и помни, что каждая слеза, которую ты подавишь в груди своей, поможет отцу твоему легче вынести жертву, к которой призывают его долг и клятва!

Настя собрала последние силы и твердо вынесла сцену осмотра и описи их небольшого имущества, назначенного к продаже с аукциона. Старик во всё продолжение тяжелой сцены был нем как могила. Но когда объявлено было, что Иван Софронич должен идти в долговое отделение тюрьмы, несчастная девушка не выдержала: рыдая, бросилась она к ногам Переваленко-Зацепы и страшными, раздирающими воплями умоляла его пощадить отца.

– Настя, Настя! – голосом, полным кроткого упрека, говорил Иван Софронич, и по угрюмому лицу его вдруг обильно потекли слезы. – Господи! – воскликнул он торжественно, воздев руки кверху. – Слабы силы мои пред испытанием, посланным тобою! Не мне, о господи, вынести его! Верю в неисчерпаемую благость твою и ныне взываю к ней: господи! разреши клятву, сковывающую руки и ноги, – и да будет воля твоя!

Он замолк на минуту и, подняв дочь свою, рыдавшую у ног Переваленко, сказал голосом грустного убеждения:

– Настя, не плачь! я не пойду, я остаюсь с тобой!

И он быстро вышел в другую комнату.

Настя в отчаянии снова упала к ногам Переваленки.

– Что сделал вам отец мой? – говорила она. – За что вы его преследуете? Он ни в чем не виноват!

– Если он не виноват, пусть жалуется, – возражал Переваленко с обычным своим красноречием и плавностью. – Его будут судить, и, если окажется...

– Меня будет судить бог! – воскликнул Иван Софронич, появляясь в дверях. – Вот деньги, которые вы требуете: возьмите их и оставьте нас!

И он подал Переваленке ломбардный билет. Все были поражены, как громом. Любопытные со всего дома, столпившиеся в дверях квартиры, испустили крик радости.

– Позвольте, – недоверчиво сказал Переваленко, принимая билет. – Надо еще посмотреть.

Он снял свои серебряные очки, протер их клетчатым платком, надел снова и начал рассматривать билет. Билет был очень старый: лет двадцать пять или больше была положена неизвестным небольшая сумма, которая теперь с накопившимися процентами составляла ровно сумму, взыскиваемую с Ивана Софронича.

Удостоверившись в подлинности билета, Переваленко сделал недовольную гримасу. Он знал неудовольствие, вследствие которого Тавровский расстался с своим управляющим, и единственная цель, с которой он начал процесс, состояла в том, чтоб в одно прекрасное утро доложить Тавровскому, между прочим, что прежний управляющий его содержится в тюрьме: хитрый малоросс думал угодить тем своему господину.

Но делать было нечего; он принял билет, расписался в получении и ушел с своими товарищами.

Настя бросилась в объятия отца. Зрители разошлись, довольные развязкой драмы. Только один молодой человек, бывший в числе их, заметил другому:

– Какой, однако ж, жадный старик! до последней минуты не хотел расстаться с деньгами. А я знал, что деньги у него есть.

– Да откуда? – спросил другой.

– Он выиграл триста пятьдесят тысяч, – отвечал первый, – я сам слышал, как он говорил дочери!

– Неужели? Слышите, слышите! – воскликнул второй, обращаясь к расходившейся компании. – Да у него, говорят, есть триста пятьдесят тысяч!

– Как? что такое? откуда? Не может быть! Триста пятьдесят тысяч!

И через несколько минут весь дом толковал об Иване Софрониче, называя его страшным богачом и отчаянным скрягой.

## Глава LVII Свидание

Часу во втором утра по Невскому проспекту ехала прекрасная коляска, обратившая общее внимание идущих и едущих странною противоположностью двух лиц, сидевших в ней. Рядом с молодым человеком, щегольски одетым, сидела худая сгорбленная старушонка в белом чепце с фалбалой и в черном ветхом салопе. Наружность старухи тоже нисколько не гармонировала с тонкими и привлекательными чертами молодого человека. Пока любопытные прохожие старались разгадать причину такого странного товарищества, в коляске происходил следующий разговор:

– Где же ваша квартира?

– Ох, батюшка, кормилец мой, далеко. Куда вам забиваться в такую глушь. Я и так доплетусь.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a

– Ничего. Вы мне скажите, куда вас везти.

– В Измайловский полк, касатик.

– А улица?

– В Девятую роту, батюшка, в Девятую; дом Ерофеева... О-о-ох!

Старуха жалобно простонала.

– Что, болит? – спросил молодой человек.

– Ох, болит, батюшка! И как же болит. Чтоб ему, окаянному, ни дна ни покрышки! – прибавила старуха с негодованием.

– Негодяй! – сказал молодой человек. – Жаль, что его не поймали!

– Ускакал, ускакал проклятый! – с соболезнованием, качая головой, говорила старуха.

Между тем коляска быстро проехала людные улицы и в повороте в бедную часть города; домики здесь были низенькие и малые, казавшиеся еще менее, при невероятной ширине улиц, которые не были вымощены; посреди их протекали лужи, в которых плескались утки. Колесо вязло в грязи по ступицу.

– Вот и Девятая рота. Стой, стой, голубчик! – крикнула старуха кучеру. – О-о-ох! да как же я выйду, горемычная! – прибавила она, когда коляска остановилась у ворот деревянного дома.

– Я вам пособлю.

– Ни-ни-ни, батюшка! и так, чай, надоело возиться со старухой!

– Ничего.

Молодой человек осторожно высадил ее и спросил:

– Ну, куда же?

– А вон, батюшка, видишь?

И она указала ему небольшой флигель в глубине двора, вросший, казалось, в землю; ибо никак нельзя было предполагать, чтоб его строили таким низеньким. Окна в нем были маленькие, уставленные еранью.

Молодой человек подвел к нему старуху, которая сильно хромала:

– Вы одни живете?

– Нет, батюшка, куда одной такую квартиру нанимать! – отвечала старуха. – Ольга Михайловна! – крикнула она, увидав в окне женскую фигуру.

Показалась полная и довольно красивая женщина лет сорока в распашном белом капоте.

– Ахти, господи! Маремьяна Степановна! да вы, никак, хромаете? – воскликнула она с испугом.

– А захромаешь, как переедут! – отвечала старуха. – Моли бога, что еще жива осталась! Стала я переходить Невский, и наскочи озорник какой-то – повалил! а сам и был таков – ускакал! Да вот спасибо еще доброму барину.

– Я поднял ее без чувств, – сказал молодой человек. – Помогите мне ввести ее в комнату; ей надобно подать помощь.

Они вошли в небольшую комнату, бедную и неопрятную, в которой помещалось несколько женщин и детей. Вид нищеты неприятно поразил молодого человека.



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Девочка лет одиннадцати кинулась с испугом к старухе.

– Вот моя дочка! – сказала старуха молодому человеку.

– Положите ее, а я пришлю доктора, – сказал он. – Вот на лекарство.

Он подал старухе довольно крупную ассигнацию; старуха не верила своим глазам.

– Кормилец мой! чем я заслужила? – воскликнула она и хотела повалиться ему в ноги.

Дверь соседней комнаты тихо скрипнула, и оттуда выглянула курчавая голова.

– Ничего, старуха. Я богат. Приходи, когда выздоровеешь: получишь еще. Ты очень бедна?

– Бедна, батюшка, ахти как бедна! Только и есть, что добрые господа пожалуют: тем и кормимся с дочерью. Да вот у нас жилец.

Дверь соседней комнаты поспешно затворилась, и курчавая голова исчезла.

– Так приходи ко мне: я прикажу выдавать тебе пенсион – десять рублей серебром в месяц.

Все бывшие в комнате ахнули!

Дверь снова скрипнула, и голова показалась.

– Батюшка! кормилец! благодетель! – воскликнула старуха. – Целуй ручку! целуй ручку! – шептала она в то же время дочери, толкая ее к щедрому посетителю.

– Вот подлинно: не знаешь, где найдешь, где потеряешь! – шепнула одна из бывших тут попрошаек той, которую звали Ольгой Михайловной.

– Счастье, подлинно счастье! – отвечала последняя.

– Вот уж другой пример на моем веку, – продолжала попрошайка. – Третьего года на моих глазах Терентьич под карету попал... Шли вместе; что бы мне угодить? так нет! Терентьич как тут был, и через то на всю жизнь счастлив стал: пенсион положили. А мне вот нет и нет счастья!

Попрошайка глубоко вздохнула.

До слуха посетителя достигли частию слова попрошайки, и сердце его болезненно сжалось. Он спешил уйти, повторив хромой старухе:

– Приходите же ко мне.

– Да как же найти тебя кормилец? – спросила старуха.

– Ах, в самом деле! мне надо оставить вам мой адрес. Нет ли карандаша или пера?

Женщины закопошились. Стали шарить. Ни того, ни другого не оказалось.

– Да вот у жильца, – сказала Ольга Михайловна. – Пожалуйста!

– Лучше вынесите сюда. Я его беспокою...

– Ничего, – возразила она и отворила дверь в комнату жильца. – Пожалуйста!

Посетитель вошел. Первый предмет, поразивший его глаза, был молодой человек, которого лицо показалось ему знакомым.

– Гриша! – воскликнул он, стараясь рассмотреть лицо молодого человека, который поспешно отвернулся. – Гриша!

Видя, что нет возможности скрыться, молодой человек повернулся к посетителю и сказал:

– Павел Сергеич!

Затем с минуту они ничего не говорили. Тавровский рассматривал с любопытством комнату Гриши: она была бедна; мебели в ней было только: кровать, стол и стул. На окне стоял чайник, крышка которого была опрокинута; в ней лежало немного чаю; подле, на синей бумаге, несколько кусков сахара; тут же табачная зола и сапожная щетка. Один палец Гриши был весь в чернилах, и неподалеку лежал сапог, от которого висела к полу белая нитка с иголкой; только глаз, приученный к картинам бедности, мог разгадать соотношение пальца, вымаранного в чернилах, с этим сапогом. Гриша за минуту зашивал свой сапог и закрашивал белые швы чернилами. Покуда Тавровский делал быстрый обзор комнаты, Гриша стоял в смущении, с поникшей головой.

Тавровский быстро затворил дверь и обратился к Грише:

– Скажи, пожалуйста, какие причины заставляют тебя жить так, когда у тебя есть тетка, издерживающая десятки тысяч на содержание людей, совершенно ей посторонних? Когда, наконец, у тебя есть родственники, которые, ты знаешь...

– Слишком долго рассказывать, – перебил его Гриша, – да и бесполезно.

– Я понимаю, – продолжал Тавровский, – что у тебя могли быть неприятности с тетушкой; с ней мудрено ужиться; но что же я сделал против тебя? Гриша! – прибавил он с чувством. – Неужели ты не веришь, что я готов сделать для тебя всё, что я тебя люблю, что помочь тебе будет для меня счастьем...

– Я никогда не сомневался в этом, – сказал Гриша.

– Ты говоришь: не сомневался, а между тем даже не побывал у меня; с той самой поры, как я воротился из деревни, я даже не знал, где ты находишься. И тебе не хотелось увидеть меня? Или ты не любишь меня, Гриша, и ни во что считаешь мою дружбу...

– Я очень верю, – сказал Гриша и остановился: его затрудняла фамильярность Тавровского, тогда как он сам чувствовал непобедимую неловкость отвечать ему прежним тоном товарищества. – Я очень верю тебе и твоей дружбе, – наконец сказал он с усилием. – Но наши дороги слишком различны в жизни, и лучше будет оставить всё, как оно есть...

– Но отчего же? – возразил Тавровский. – А наконец, если ты горд, так горд, что считаешь обидным пользоваться помощью даже своего друга и родственника, то всё же нет надобности терпеть такую нужду, какую ты терпишь: у тебя есть собственный капитал...

В лице Гриши выразилось болезненное чувство. Заметив его, Тавровский сказал:

– Если тебе тяжело самому говорить с тетушкой, поручи мне: я вытребую...

Гриша махнул рукой.

– Лучше оставить всему идти своим чередом! – сказал он с отчаянием.

– Да что с тобой, Гриша? Какие ты вещи говоришь? Что за охлаждение к жизни в двадцать лет? Что за отчаяние? Ты болен, ты в хандре, у тебя кровь застоялась. Тебе нужны балы, карты, музыка, освещение; пей, повесничай... попробуй взять приз на скачках, влюбись в актрису... Или ты всё еще влюблен в свою Настю? – спросил вдруг Тавровский, нечаянно вспомнив старую страсть своего родственника.

При имени Насти лицо Гриши слегка изменилось; но он ничего не отвечал.

– А если и так, то чего же зевать? Сидя здесь, в четырех стенах, в таком соседстве, ровно ничего не высидишь. Они могут, – прибавил Тавровский, вспомнив сальные карты, которые видел у старух, – пожалуй, предсказать и богатство, и счастье, и успех у червонной дамы или у какой угодно, а действительный успех всё-таки не так добывается. Я согласен, Настя стоит, чтоб по ней с ума сойти... по-моему, впрочем, не более как на неделю, – оговорился он. – Я сам недавно ее видел и признаюсь...

- Ты ее видел недавно? – с живостью спросил Гриша лицо которого вдруг вспыхнуло.
- Разве она здесь?
- Здесь, – отвечал Тавровский.
- Одна? с отцом? отец жив? – быстро спрашивал Гриша.
- Жив.
- Что они, как живут? старик здоров?
- Здоров; я их видел, признаться, мельком, – неохотно отвечал Тавровский и переменял разговор.

Он доказывал Грише, что такой образ жизни никуда не годится, и вызывался помочь ему в чем угодно и сколько угодно. Гриша не слушал его, занятый мыслию о Насте, и машинально дал ему слово быть у него, которого Тавровский непременно требовал.

Оставшись один, Гриша принялся скорыми шагами ходить по комнате.

Гриша был человек с необыкновенной энергией и замечательным характером. Услышав роковое решение Понизовкина, что дочь его никогда не будет принадлежать родственнику Натальи Кирилловны, Гриша составил следующий план. «Старика оскорбил не я, – думал он, – его оскорбила тетушка подозрением в умысле поймать в свои сети зятя, которому она оставит состояние. Это единственная причина, почему он объявил, что дочь его никогда не будет моею женою. Лично же против меня он не может иметь ничего и не имеет. Потом он горячо любит Настю, а Настя любит меня. Стало быть, если я сам проложу себе дорогу в жизни, приобрету положение в свете, средства к существованию без помощи протекции и денег тетушки, с которою даже прерву всякие сношения, то старик уже не будет иметь причины противиться нашему счастью». На основании такого рассуждения Гриша даже был рад, когда тетушка выгнала его из дому и он очутился лицом к лицу с бедностию и неизбежной перспективой труда и лишений; он так был тверд в своем намерении, что даже не хотел пользоваться помощью и других своих родственников; таким образом случилось, что Гриша не побывал ни разу даже у Тавровского. Скоро, однако ж, он увидел, что проложить дорогу в жизни собственными усилиями не так легко, как думалось ему прежде. Но он твердо шел к своей цели.

Гриша помнил свое обещание, данное старику, не искать случаев видаться с его дочерью и с юношеской верой в неизменность своей любезной решил держать слово, пока не будет вправе нарушить его, – но, узнав, что Настя в Петербурге, он не мог устоять против желания увидеть ее. В тот же день вечером отправился он в квартиру Тавровского, вызвал потихоньку Петра и узнал адрес Насти.

С того вечера начались его беспрестанные прогулки мимо дома, в котором жил Понизовкин. Но он делал их так осторожно, что даже Настя долго не замечала его, хотя ему не раз удавалось видеть ее в окне. Случая поговорить с Настей, однако ж, не представлялось. Гриша не мог и думать о дерзком покушении войти к Насте в отсутствие Ивана Софроныча. Настя же никогда не выходила со двора одна. Гриша замечал, что Иван Софроныч постоянно печален, что походка его всегда озабоченна и лицо бледно; он также видел, что Настя частенько подносила платок к глазам; нетерпение узнать причину их горя мучило юношу. Счастливым был тот день в его жизни, в который Настя наконец заметила его. Это было под вечер. Иван Софроныч, как всегда грустный, вышел со двора. Настя открыла окно и печальным взором провожала отца. Уже готовая закрыть окно, она случайно взглянула на противоположную сторону улицы. Как изменилось в одну минуту лицо Насти! как испугалась и вместе обрадовалась она! Гриша понял, что дело его еще не проиграно: в первом движении, в первом, еще безотчетном, взгляде Насти увидел он столько любви, столько радости! Они обменялись долгим взглядом; потом Настя быстро захлопнула окно, сделав отрицательное движение рукой, и Гриша в тот вечер уже не дождался ее вторичного появления. На другой день Гриша приготовил письмо, описал в нем свои планы и то, каким образом надеется переменить решение Ивана Софроныча, уверял ее в своей любви и умолял доставить ему случай говорить с ней хоть одну минуту. «Мне теперь нужно много твердости, и одно твое слово, что ты любишь меня, что ты будешь ждать и надеяться, – придаст мне силы», – так заключил Гриша свое послание, приложив к нему адрес свой, хоть и не смел надеяться ответа. Не скоро представился случай вручить его по адресу. Наконец

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
однажды, когда Иван Софроныч ушел со двора, а Настя сидела у окна, Гриша собрался с духом; он перешел улицу; поравнявшись с окном, бросил Насте записку и быстро прошел мимо.

Настя прочла письмо и, закрывая окно, сказала одно слово, которое поразило бедного Гришу в самое сердце:

– Невозможно!

Прошло несколько дней. Гриша уже терял всякую надежду говорить с Настей; каждый день решался он прекратить свои прогулки и каждый день в последний раз приходил к знакомому дому. Однажды вечером, продежурив около него несколько часов, он уже хотел идти домой, как вдруг Настя, в своем черном бурнусе и соломенной шляпке, показалась в воротах.

Сильно забилося сердце Гриши, когда он уверился, что Настя одна. Не заметив его, девушка быстро пошла по тротуару. Она была видимо озабочена.

– Настя! – тихо сказал Гриша, следуя за ней. Настя не оглянулась, но сделала такое движение, что Гриша убедился, что она узнала его голос.

Через минуту Гриша повторил свое восклицание. Настя опять не оглянулась и не отвечала.

– Вы узнали меня? Вы сердитесь? Скажите одно слово! Вы прикажете мне уйти? – такими вопросами осыпал Гриша Настю.

Она молчала.

– Скажите мне ответ. Я вам писал...

– Скажу, – произнесла Настя, не останавливаясь, – если вы обещаете тотчас уйти, ничего не говорить и больше не приходить к нашим окнам.

– Обещаю, всё обещаю! – воскликнул Гриша.

– Тише!

Настя переждала нескольких пешеходов, шедших им навстречу, и потом с большими паузами сказала, не оборачиваясь и продолжая быстро идти:

– Я вас люблю – я никого больше не буду любить – буду всегда вас любить – вы хорошо придумали обойтись без тетушки – не пишите больше. Идите!

Едва Настя произнесла последнее слово, как Гриша уже бежал в противную сторону с такою быстротою, как будто услышал смертный свой приговор, которого мог избежать только с помощью быстроты своих ног. И только прибежав домой, он пожалел, что так строго послушался приказания девушки. «Если она меня любит, она, верно, не рассердилась бы», – думал он. Ничего не может быть послушнее человека влюбленного, если он молод, любит в первый раз и любовь его искренна...

## Глава LVIII

### Коломенский крез

Может быть, в другое время Настя не так была бы довольна покорностью своего любезного; но в тот вечер Ивана Софроныча колотил озноб; Настя торопилась в аптеку купить малины, чтоб поскорей напоить старика и уложить. Она боялась, чтоб он не расхворался. К счастью, меры, принятые ею, удались: старик спал хорошо и проснулся здоровехонек, – так по крайней мере он уверял свою дочь.

В последнее время – именно со дня известной катастрофы – Иван Софроныч много изменился: тайная и тягостная забота видимо подавляла его ум и отражалась в его лице, постоянно грустном и болезненном. Остатки волос его, казалось, еще более поседел; глаза ввалились; голос лишился прежней силы и уверенности, в которой так много было достоинства. Казалось, в несколько дней он постарел десятью годами. Он сделался молчалив, редко шутил с Настей и еще реже говорил с ней о своих планах спокойной жизни, которые они прежде вместе строили. Настя заметила также, что старик сделался необыкновенно скуп, чего прежде за ним вовсе не замечала; он считал каждую копейку и поговаривал о перемене квартиры: теперешняя

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a казалась ему дорога.

Часу в двенадцатом утра, когда Иван Софроныч читал, а Настя работала, у двери их вдруг раздался звонок. Вошел молодой человек и робким голосом попросил у Ивана Софроныча позволения поговорить с ним полчаса. Настя вышла в другую комнату.

Молодой человек имел довольно приятную наружность и находился очевидно в сильном волнении. Когда они остались одни и Иван Софроныч спросил его, что ему угодно, молодой человек сильно смутился и несколько минут молчал.

– Мой поступок безрассуден, – наконец сказал он нетвердым голосом. – Но я слышал, что вы добры. Вы сами были молоды; может быть, с вами тоже случались несчастья, и вы по крайней мере не перетолкуете моей просьбы в дурную сторону.

– Просьбы? – спросил Иван Софроныч. – Но чем же я могу вам услужить?

– О, можете! – перебил с уверенностью молодой человек. – Можете, но только захотите ли?

– Если будет возможно, – сказал старик, которому понравилось лицо молодого человека. – Но потрудитесь сесть; вы, кажется, очень встревожены.

– Да, я не спал с неделю, и если б вы знали, как я провел ее! Не дай бог никому испытать такого несчастья!

В глазах молодого человека показались слезы.

– Но что же такое случилось с вами? – спросил старик.

– Я вам расскажу всё, – отвечал молодой человек, – потому что на вас моя единственная надежда. Если вы не войдете в мое положение, если мне не помогут, не дадут средства спасти мое честное имя, мою будущность и будущность существа, которое мне дороже жизни... о, я не знаю, что с собой сделаю!

И он в отчаянии обхватил свою голову руками и несколько минут молчал.

– Вам странно, – наконец сказал он, собираясь с силами, – вам смешно, может быть, что к вам, человеку совершенно незнакомому, пришел я излить свое горе, просить помощи. Но я сирота; я никогда не знал отца, я лишился матери, когда еще едва начинал ходить... о, я самое несчастное существо в свете!

Понизовкин почувствовал глубокое сожаление к бедному молодому человеку. В то же время любопытство его было сильно возбуждено, и он спросил:

– Но какое же несчастье случилось с вами? кто вы? чем занимаетесь?

– Меня призрел из сострадания человек посторонний, который заменил мне отца. Трудом, бережливостью, покорностью старался я отплатить ему за его благодеяние; наконец я приобрел его доверенность; он вверил мне, как родному сыну... И я обманул его ожидания! Видит бог, я ни в чем не виноват, – продолжал молодой человек после минутного молчания. – Но поверит ли он? И не всё ли равно? Он сам обременен семейством; всё, что имеет он, нажито неусыпным трудом, бережливостью, многими жертвованиями... И вдруг такая потеря! Нет, нет! я не могу отплатить ему такую черную неблагодарностью!

– Но кто же был причиной вашего несчастья?

– Кто? – сказал молодой человек. – Кто? я сам не знаю!

– Странно! – заметил Понизовкин, которого недоумение возрастало с каждым словом молодого человека. – Но в чем же состоит ваше несчастье?

– После многих лет труда, лишений, терпения и совершенной безнадежности в будущем мне вдруг улыбнулось счастье, – отвечал молодой человек. – Благодетель мой дал мне важное поручение: оно должно было быть пробой моего усердия, моей преданности к нему, моих способностей. Исполнив его хорошо, я мог надеяться получить у него хорошее место, хорошее жалованье, упрочить свое положение и улучшить судьбу бедной девушки, которая еще несчастнее меня и которую я люблю!

– Но что же помешало вам?

– Деньги, которые я должен был передать одному купцу, по поручению моего благодетеля, – с отчаяньем отвечал молодой человек, – эти деньги...

– Вы проиграли их?

– Нет, их у меня украли!

Он замолчал и закрыл руками свое лицо. Несколько минут продолжалось молчание.

– Очень, очень жалею вас, – сказал наконец Иван Софроныч, – но кроме дружеского участия и сожаления... что же еще могу я сделать для вас?

– О, можете! – воскликнул молодой человек. – Но захотите ли?

Иван Софроныч был так тронут его горестию, что обещал сделать всё, что будет в состоянии. И обещание его было искренно.

– И вы не шутите?

– Я никогда не шучу такими вещами, молодой человек, – строго отвечал старик.

Лицо молодого человека просияло.

– Но ведь сумма довольно большая, – сказал он. – Сорок тысяч!

– У вас украли сорок тысяч? Очень, очень жаль, – сказал старик, качая головой.

– О, если вы дадите мне средство возратить их моему благодетелю, моя карьера, моя честь будут спасены!

В лице Ивана Софроныча выразилось величайшее удивление.

– Так вы их просите у меня? – спросил он.

– Да, и клянусь вам, возвращу в несколько лет! – с жаром отвечал молодой человек. – А благодарность моя...

Иван Софроныч невольно посторонился: ему пришла мысль, что перед ним стоит сумасшедший. Он молчал.

– Так вы согласны?

– Да помилуйте! – сказал старик. – Если б я и хотел, то каким же образом я могу дать вам сорок тысяч, когда у самого нет...

– У вас их нет? – недоверчиво спросил молодой человек.

– Нет.

Лицо молодого человека снова помрачилось.

– Последняя надежда пропала! – сказал он плачущим голосом. – И вы не хотите помочь несчастному? Но вы сами дали слово...

– Я дал слово сделать, что могу; но денег у меня нет.

– Нет? – повторил молодой человек иронически. – Полноте! Или вы боитесь потерять их? клянусь вам, они не пропадут. Я беден, но я могу и умею трудиться. Я вам дам документы...

Иван Софроныч уже решительно убедился, что имеет дело с помешанным, и думал только о том, как бы поскорее выпроводить своего гостя.

– Охота вам, почтеннейший, – сказал он, переменяя тон, – тратить время, прося денег у человека, который сам едва перебивается, тогда как есть столько богачей,

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
которые, может быть, и сжалились бы...

– Вы еще смеетесь надо мною? – возразил молодой человек таким болезненно-грустным голосом, что сердце сжалось в груди доброго старика. Он усомнился в своем предположении. – Я не имею никакого права на ваши деньги, – продолжал молодой человек, – к чему же напрасная ложь? Вы уже стары, и не лучше ли прямо и решительно сказать, что не хотите помочь...

– Уверяю вас, – отвечал Иван Софроныч, – вы внушили мне такое сострадание, что я, может быть, и дал бы вам эту сумму, если б имел; но я не имею.

– У вас есть больше, – возразил молодой человек с полным убеждением. – Я знаю наверное.

– Но откуда же вы знаете? кто вам сказал такую нелепость?

– Нелепость! – иронически повторил гость. – Если хотите, я вам скажу, как я узнал: рядом с вами живет мой приятель, такой же бедняк, как и я; он однажды не спал ночь, занимаясь перепиской, и слышал собственными ушами, как вы, возвратясь домой, сказали своей дочери, что выиграли триста пятьдесят тысяч!

– А, так вот что! – произнес Иван Софроныч.

– И не один Гарелин, – продолжал гость, – весь ваш дом, вся Коломна говорит теперь, что у вас огромный капитал. Болтуны, разумеется, преувеличивают: утверждают, что вы миллионер; но Гарелин знает истину...

– Боже мой! Боже мой! – повторял Иван Софроныч, качая головой. – Какое заблуждение!

Теперь только он начал понимать, почему с некоторого времени и дворник, и хозяйка, и жильцы оказывали к нему глубочайшее почтение, низко кланялись при встрече, умильно глядели и предлагали свои услуги.

– У меня нет никого ближе Гарелина, – продолжал гость. – Когда случилось со мной несчастье, я приехал прямо к нему и рассказал всё. Оставалось еще десять дней, которые я мог не являться к своему хозяину, не опасаясь возбудить подозрения, и мы решились употребить их на то, чтоб приискать деньги. Три дня мы бегали и хлопотали, наконец потеряли всякую надежду; тогда Гарелин рассказал, что рядом с ним живет человек, который имеет огромный капитал, и мне пришла глупая мысль попросить у вас... Но теперь я вижу, как она была безумна...

– Понимаю, всё понимаю! – сказал печально старик. – Да, я точно выиграл триста пятьдесят тысяч. Но, уверяю вас, молодой человек, выиграл другому...

Читатель знает, что Понизовкин говорил правду; но молодой человек не верил. Он всё еще не желал расстаться с надеждою получить деньги и продолжал умолять.

– О, помогите, помогите мне! – говорил он в отчаянии, упав к ногам Ивана Софроныча. – Куда бережете вы свои деньги? Вам достались они так легко, вам послало их счастье, – и вы не хотите отделить ничтожной суммы, чтоб спасти погибающего человека! О, помогите! Спасите мою честь, мою карьеру, мою будущность, спасите девушку, которую я люблю! О, если б я мог представить вам надежные доказательства, что деньги будут возвращены, – знаю, вы тогда не отказали бы! Но я не имею никаких драгоценностей, я не имею ничего, кроме маленького портфеля, который... – молодой человек достал с груди своей небольшой портфель и с жаром поцеловал его, – который для меня дороже всех драгоценностей, потому что в нем хранятся волосы и медальон моей матери, письма отца... Но какую цену он может иметь в ваших глазах?... О, клянусь вам – этими единственными памятниками, оставшимися после моих родителей, – я возвращу деньги! клянусь вам моей матушкой, памятью моего отца, честного воина...

– Ваш отец был военный? – перебил его Иван Софроныч, которого участие к молодому человеку при этом известии удвоилось.

– Я никогда не знал его, даже не видал; мать говорила, что он умер, когда я родился. Может быть, он даже никогда не назвал бы меня своим сыном, потому что мать моя не была обвенчана... Но я помню, как мать учила меня молиться и поминать

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
отца: «Помяни, господи, храброго воина, на войне погибшего, раба божия  
Александра...»

– Александра? – повторил Иван Софроныч, невольно вздрогнув. – А ваше имя?

– Генрих.

– фамилия?

– Кнаббе.

Иван Софроныч подумал с минуту и спросил:

– Известна ли вам фамилия человека, которого вы почитаете своим отцом?

– Мать никогда не говорила мне ее; когда она умерла, я нашел в бумагах письма его к ней, но под ними подпись была так неразборчива, что я никак не мог догадаться.

– Можете ли вы, – сказал с особенной важностью Иван Софроныч, – можете ли вы, молодой человек, показать мне эти письма?

– Но для чего? – возразил молодой человек, которому видимо не понравилось желание старика. – В них нет ничего интересного для вас. Я храню их как святыню и думаю, что их не должно оскорблять посторонним прикосновением. В них самые душевные, дружеские излияния чувства, которое связывало их. И притом они писаны по-немецки, – прибавил молодой человек, как бы в извинение своего отказа.

– Так ваша мать была немка? – снова и заметнее прежнего вздрогнув, спросил Иван Софроныч.

– Да, она была немка.

– Ее звали Каролиной? – сказал он.

– А вы как знаете? – с удивлением спросил Генрих.

Понизовкин погрузился в глубокое размышление, которое продолжалось несколько минут.

– Именем бога, молодой человек, – наконец воскликнул он умоляющим голосом, – именем бога, я прошу вас показать мне их!

Молодой человек не решался.

– Дайте их, дайте! – нетерпеливо повторял старик. – Я узнаю в одну минуту!

– Но что вы можете узнать?

– Бог, которого пути неисповедимы, часто выбирает самые ничтожные случаи орудием к открытию тайны, которой не могли разъяснить никакие человеческие усилия! – сказал торжественно Иван Софроныч. – Не противьтесь же его воле! Дайте письма...

Голос старика был так повелителен, что молодой человек невольно повиновался. Он раскрыл портфель и стал выбирать письма.

– Довольно одного, – сказал нетерпеливо Иван Софроныч.

Молодой человек подал ему письмо, исписанное мелким немецким почерком. Иван Софроныч внимательно посмотрел почерк, потом стал смотреть подпись...

Вдруг лицо его побледнело; он зашатался, вскрикнул и упал без чувств, прежде чем молодой человек успел поддержать его.

– Батюшка! что с вами? – воскликнула испуганная Настя, выбегая из другой комнаты.

Через полчаса Иван Софроныч заперся с молодым человеком в Настинной комнате, и



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
они долго беседовали вполголоса.

– Я вам дам деньги, которые у вас украдены! – наконец сказал старик громче. – О, я должен их вам дать! – прибавил он печально. – Вы не должны испортить своей карьеры в самом начале!

– Как благодарить мне вас, благодетель мой! – воскликнул с жаром молодой человек. – Если б только я мог...

– Говорю вам, что вы не обязаны никакой благодарностью! – возразил Иван Софроныч. – Молитесь только, чтоб бог помог моему намерению! Его помощь теперь нам необходима! Знайте, молодой человек, что, не исполнив своего обещания, своего долга, – прибавил старик, возвысив голос, – я буду во сто крат несчастнее вас самих! Вы говорили, что вам еще остается десять дней. Нам не нужно столько времени. Приходите ко мне через три дня: вы получите деньги... или, – если богу не угодно будет явить свою милость к несчастному старику, – я сделаю так, что не вы будете обязаны ответственностию в вашей невольной оплошности!

Движение отчаянной решимости сопровождало последние слова старика.

– Теперь идите! – заключил он. – И надейтесь на бога!

– И на вас? – сказал молодой человек.

– О, вы можете быть уверены во мне, как в самом себе!

Молодой человек ушел.

С той самой минуты в Иване Софрониче началось болезненное предчувствие неминуемой гибели, которого он не мог победить. Как он ни старался успокоивать себя надеждою, как ни вероятно казались ему планы, придуманные им, он не мог успокоиться. Тоска, безнадежность, отчаяние овладевали им всё сильнее и сильнее. Долго просидев в тяжком раздумье по уходе Генриха, он наконец встал и произнес рыдающим голосом:

– Господи! я чувствую, что наступили мои последние дни!

Настю ужаснула перемена, совершившаяся в Иване Софрониче со времени свидания с молодым человеком. В последнее время она постоянно видела его печальным, но никогда еще не выражали такой мучительной, сжимающей сердце грусти благородные и кроткие черты старика. Все мысли его, казалось, сосредоточены были на одном предмете; он ничего не говорил, отвечал неохотно и невпопад, так что Настя наконец решила молчать. Настал час обеда, старик сел, по обыкновению, за свой прибор, но не прикоснулся ни к одному блюду; в восьмом часу Настя разлила чай, подала стакан старику, – и стакан остался нетронутый. В исходе десятого часа Иван Софроныч сказал дочери:

– Ты, Настя, очень бледна; уж, полно, здорова ли?

– Я здорова, батюшка.

– Ты бы сегодня пораньше легла спать.

– Я ложусь и так не поздно, батюшка: в одиннадцать часов; но, если хотите, я лягу раньше.

– Да, я думаю, тебе полезнее будет ложиться пораньше. Вишь, щечки твои совсем потускнели, – прибавил старик с нежностью. – Ляг, с богом, засни спокойно; завтра проснешься веселая!

И он благословил и поцеловал свою дочь. В десять часов Настя ушла в свою комнату и легла. Но ей не спалось. Она слышала тяжелую походку, вздохи, шорох бумаг, отрывочные слова и тихое чтение в комнате отца. Наконец там что-то резко визгнуло и смолкло. «Зачем бы ему, – подумала она, – отпирать комод (которого ящики имели привычку визжать и пищать, как мыши)? в нем нет ничего, кроме его парадного платья». Она еще более удивилась, когда услышала осторожный скрип, подобный тому, какой издавали новые сапоги Ивана Софроныча, недавно сделанные. Этот скрип с большими паузами всё приближался и наконец смолк у самой двери

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Настиней комнаты; спустя минуту он снова послышался, постепенно отдаваясь и разделяемый теми же продолжительными паузами. Наконец она услышала вздох и тихое восклицание старика: «Благослови господи!» Затем опять послышался скрип сапогов, потом скрип двери, еще через секунду – звук отпираемого и запираемого замка; а затем всё смолкло. «Он ушел!» – подумала Настя и стала прислушиваться: в соседней комнате царствовала такая тишина, как будто никого там не было; но до слуха Насти долетели шаги, звонко раздававшиеся по тротуару; они были быстры, неровны, и в них слышался знакомый скрип. Настя кинулась к окну, отдернула стору и увидела своего отца: в парадном своем вицмундире, в новых сапогах, в треугольной шляпе с пером, шел Иван Софроныч по тротуару; походка его была озабоченна; он размахивал руками и рассуждал, казалось, сам с собой. Настя только тогда перестала глядеть, когда он повернул в соседнюю улицу.

«Куда он ушел? что с ним? отчего он так печален?» – думала Настя, ворочаясь в своей постели.

Она решила не спать до его возвращения, думая, не будет ли ему что-нибудь нужно; да и не до сна было ей. Однако ж прошло несколько часов, стало рассветать, а старик не возвращался. Наконец Настя уснула.

Протяжный, странный и раздражающий звук свирели пастуха (подчинившегося в Петербурге, как и все, местным обычаям и выгоняющего скотину в девятом часу утра), крики разносчиков, топот пешеходов по тротуару разбудили Настю. Вспомнив вчерашнее, она кинулась к двери и, тихонько отворив ее, стала смотреть в комнату отца. Ничто не изменилось в ней; парадное платье было убрано, и подле кровати старика, по обыкновению, лежал его домашний костюм, как будто снятый с вечера, перед тем как лечь спать. Старик спал, беспокойно разметаившись; лицо его выражало такое страдание, что Настя содрогнулась.

«Боже! – думала она. – Он спрятал платье, которое надевал; он хочет скрыть, что уходил ночью. Что же такое угрожает нам?»

И сердце несчастной девушки также сжалось мучительным предчувствием.

«Но отчего же он не хочет ничего сказать мне? – думала Настя. – Неужели он считает меня недостойною и неспособною разделить его горе?.. О, неизвестность всего ужаснее!»

Иван Софроныч проснулся в десять часов. Поздоровавшись с своей дочерью, он сказал ей:

– Я сегодня встал поздно, но не удивляйся, если и в другой раз случится то же: я что-то нынче долго не засыпаю с вечера.

И более ничего уже не говорил он в тот день своей дочери, предаваясь глубокой думе. Воображение ли обмануло Настю, или и действительно было так, только бедной девушке в тот день Иван Софроныч показался еще более грустным, расстроенным, убитым, чем накануне.

«Я пожертвовала бы жизнью, чтоб только облегчить его страдания, – думала Настя. – Но что же я могу сделать, когда я даже не знаю, в чем состоит его несчастье?»

Настя несколько раз заговаривала с отцом, думая, что он наконец расскажет ей свою тайну; но Иван Софроныч упорно уклонялся. День прошел тоскливо и тихо. Два человека, столь близкие между собою и так любившие друг друга, не находили предмета к разговору, который мог только помешать их тайным и тягостным мыслям, кроме которых они ничего не хотели знать.

Около десяти часов старик напомнил дочери: не пора ли ей спать? Простившись с отцом, Настя ушла, и вчерашняя сцена повторилась: старик ушел с теми же предосторожностями. Настя так же опять провожала его глазами, так же не спала; но волнение в ней было гораздо сильнее. Она всю ночь проплакала и дождалась Ивана Софроныча, который возвратился несколько ранее вчерашнего. Уже начиналось утро, и в небольшую щель двери Настя могла видеть лицо старика: изнеможение, ужас и глубокое страдание ясно отражались в нем. Тихо приблизясь к своей кровати, Иван Софроныч опустил на нее и снова повторил слова, которые шептало ему роковое предчувствие:

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Погибель моя неизбежна. Я проживаю последние дни мои!

И старик в отчаянии поник головой. Настя чуть не вскрикнула, услышав страшные слова отца. Тихонько добралась она до постели и в подушке заглушала свои рыдания. Старик долго сидел неподвижно; казалось, он желал плакать, но слез не было, и только тяжелые, глубокие вздохи по временам облегчали его грудь. Наконец он встал, как будто несколько успокоенный; глаза его наполнились слезами, уста тихо шептали слово, которое трудно было расслышать, но легко угадать по кроткой улыбке успокоения и надежды, озарившей лицо старика. Это слово было: бог!

Через несколько минут солнце, ярко всходящее в то утро, осветило успокоительную картину: отец и дочь молились каждый в своей комнате, и молились, без ведома друг друга, друг о друге. К имени дочери в молитве старика примешивалось другое имя, другая мольба о счастье, и трудно было решить, которое имя произносил старик с большею любовью, кому просил у бога счастья с большею горячностью!

Помолившись горячо и искренно, Настя тихонько легла в постель; она боялась показать, что уже проснулась, чтоб не помешать отцу отдохнуть. Почти в то же время окончил свою молитву и Иван Софроныч. Теперь главною его заботою было уничтожить следы своей ночной отлучки. Он снял и спрятал в комод свое парадное платье, привел всё в обычный порядок около своей постели и лег. Силы старика были так утомлены, что он тотчас же уснул. Настя вздохнула свободнее.

Наступавший день прошел, как и предыдущий. В десять часов вечера Настя, уже не дожидаясь намека, простилась с отцом и ушла спать. В одиннадцать в комнате старика послышался шорох, сделавшийся обычным в последнее время. Настя тоже не спала в своей комнате и даже не ложилась: она также делала свой приготовления.

Как только Иван Софроныч ушел, и Настя оставила свою комнату.

Она была в бурнусае и шляпке.

Уходя, они обыкновенно или отдавали ключ хозяйке, или клали его под дверь, чтоб тот, кто первый возвратится, мог тотчас попасть в квартиру. Настя знала, что ключ можно достать как с той, так и с другой стороны. Но положил ли его Иван Софроныч? не унес ли с собой? С сильно бьющимся сердцем нагнулась она и посмотрела под дверь. Ключ был тут, Иван Софроныч не изменил привычке, а может быть, подумала с трепетом Настя, он имел и причины не уносить его. Осторожно отворив дверь и затворив ее за собою, Настя мимо спящего дворника быстро проскользнула в калитку, еще не запертую.

Иван Софроныч, в своем парадном одеянии, торопливо шел по тротуару, звонко стуча и поскрипывая своими новыми сапогами. В расстоянии десяти шагов, не спуская с него глаз, укрываясь и осторожно ступая, шла его дочь. Совершенная тишина царствовала в безлюдной улице. Ночь была темна, какие только и бывают в Петербурге в августе, и Настя не могла быть замечена отцом.

Несмотря на то, несчастная девушка каждую минуту дрожала при мысли, что отец увидит ее; сердце ее билось, ноги подкашивались; ей казалось, что она умрет прежде, чем взоры их встретятся и отец успеет потребовать у нее отчета в дерзком преследовании. И всё-таки она шла вперед!

Что думала она? С какой целью, по какому праву и поводу принимала она роль надсмотрщицы, соглядатайницы тайных отлучек своего отца, которые он очевидно желал скрыть?

Несколько слов, сказанных стариком в разное время и которых страшного смысла она не хотела допустить, внушали ей отчаянное намерение, которого она сама ужасалась.

Они продолжали идти, волнуемые тягостными мыслями. Скоро к ним присоединились шаги третьего человека, который, казалось, следил за Настей с таким же вниманием, с каким следила она за своим отцом.

Путь Ивана Софроныча лежал в лучшую часть города. Они пришли в широкую и красивую улицу. Среди темных и высоких домов, которых громадные тени густо ложились во всю ширину улицы, резко отличался небольшой двухэтажный дом, ярко освещенный. Около него стояло множество экипажей.

«Тут, видно, бал», – подумала Настя и очень удивилась, заметив, что шаги отца направляются прямо к освещенному дому.

Она не смела идти далее; кучера могли ее увидеть, сказать что-нибудь, и таким образом могло случиться, что и Иван Софронич увидал бы ее. Она прислонилась к лесенке противоположного дома, ведущей в магазин, заложенный теперь железным болтом, и стала наблюдать.

Она видела, как Иван Софронич через стеклянную дверь вошел в ярко освещенные сени; видела, как посторонился пестрый швейцар с огромной булавой и пропустил его, сказав несколько слов, которых она не расслышала; видела, как старик поднялся по лестнице, устланной ковром и уставленной цветами; даже заметила – или ей так показалось – отражение его в большом зеркале, прямо против лестницы, перед которым он на минуту остановился. Потом он исчез. Настя стала смотреть в окна второго этажа и видела люстру, ярко горящую, цветы на окнах, картины на стенах, видела мелькающие головы, но отца своего уже не могла различить. Долго простояла она у лесенки. Ей хотелось подойти к освещенному дому, спросить у кучеров, у швейцара: чей дом? у кого бал? Но каждый раз, как она делала несколько шагов вперед, ноги у ней подкашивались. То думалось ей, что кучера грубо обойдутся с ней и будут смеяться, то казалось, что вот дверь отворится, выйдет Иван Софронич и гневным голосом спросит: как смела она его преследовать? и скажет, что она не дочь ему, когда осмелилась бродить ночью по улицам! Вздвогнув, она возвращалась к лесенке и, ломая руки, молила бога, чтоб всё хорошо кончилось.

Мысль рассердить отца так ее испугала, что она решила уйти домой, лечь поскорей в постель и скрыть всё. Но против воли она еще долго оставалась у лесенки. Наконец, собрав силы, она пошла домой, но едва сделала несколько шагов, как встретила лицом к лицу с человеком, которого всего менее могла ожидать теперь.

В последнее время Настя вынесла столько тягостных ощущений, волнение в ней было так сильно, что она не думала скрываться, как поступила бы непременно при других обстоятельствах, и невольно воскликнула:

– Гриша!

– А! вы, верно, не дождалось, кого ждали! – запальчиво воскликнул молодой человек. – Теперь я всё понимаю! Ваши отказы, вашу строгость, ваши двусмысленные ответы...

– Что вы говорите? – проговорила Настя слабым, упавшим голосом, в котором гнев и недоумение боролись с отчаянием.

– Я говорю, что я всё понял! – с той же резкостью отвечал молодой человек. – Не старайтесь увертываться. Я вас любил, я вам верил, я хотел посвятить вам свою жизнь... Но теперь я всё знаю и знаю, что должен делать!

Он говорил с такою запальчивостью, так скоро, что Настя не находила времени возражать; да она и не думала оправдываться: оскорбление было слишком сильно и неожиданно; кровь бросилась в голову бедной девушке, и она могла только сказать:

– Оставьте меня сейчас же, оставьте!

– Вы напрасно говорите таким повелительным голосом, – язвительно отвечал молодой человек. – Я и без того готов исполнить ваше желание, которое, поверьте, есть в то же время и мое... О, я ничего теперь так не желаю, как быть как можно дальше от вас, чтоб никогда уже не встречаться с вами. Прощайте. Желаю вам успеха в вашей прогулке!

Он ушел. Даже болезненный крик и громкое рыдание Насти не воротили, не остановили его. Он был в сильном негодовании, в глубоком отчаянии. Он шел скорыми и неровными шагами, то проклиная, то горько жалуясь на свою несчастную судьбу. Наконец он пришел в улицу, где жила Настя, и исчез в маленьком деревянном доме, наискось против того, в котором нанимал квартиру Иван Софронич.

Силы изменили Насте. Она громко рыдала, повторяя: «Боже мой! Боже мой! Что мне

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
делать! И он против меня!»

Наконец она быстро побежала, но уже не к своему дому, а назад, туда, где был Иван Софроныч. Она опять стала у лесенки и смотрела в окна освещенного дома. Там всё было по-прежнему: ярко горела люстра, мелькали головы, слышалась музыка. Голова закружилась у Насти, и, прислонив ее к холодной стене, она тихо плакала. Сознание почти покинуло ее. Она смутно помнила, зачем вышла из дому, что с ней было, и не думала о том, что должна теперь предпринять. Как будто несколько часов времени, проведенного в тяжелом и глубоком сне, легло между ею и недавним прошедшим, которое она тщетно старалась сообразить. Еще страшная действительность не успела раскрыться перед ней во всем своем ужасе, как у подъезда освещенного дома произошло движение. Настя машинально посмотрела: она видела, как спустилось с лестницы несколько человек, как им подали экипажи, видела, как пестрый швейцар с силой захлопнул дверцы, закричав: «Пошел!» Потом экипажи поехали, и глухо отдавался в ушах Насти их стук, и сердце бедной девушки, готовое разорваться, громко вторило ему. Пораженная мыслию, что и отец скоро может показаться в дверях, она сжала руками виски, которые также громко стучали, и воскликнула: «Боже мой! что же мне делать?..» Она слаба, ноги отказываются служить ей; он может воротиться домой прежде: что он тогда скажет? Те же страшные подозрения, тот же стыд, может быть, проклятие угрожает ей! И она хотела бежать; но тайное, безотчетное предчувствие невольно удерживало ее. Еще полчаса простояла и проплакала Настя у лесенки; в дверях освещенного дома снова послышалось движение. Подан был и уехал с своим господином еще экипаж; потом с лестницы стало спускаться новое лицо; швейцар не засуетился, между экипажами также не произошло движения; новое лицо быстро спустилось с лестницы и пешком отправилось своею дорогою. Выпустив его несколько вперед, Настя побрела по другой стороне улицы.

Если лицо Ивана Софроныча вчера и третьего дня ужасало Настю выражением глубокого страдания, то благодарение судьбе, что расстояние мешало ей рассмотреть его теперь. И не одно лицо, вся фигура Ивана Софроныча, медленно двигавшаяся по тротуару и отбрасывавшая длинную тень, пересекавшую дорогу Насти, выражала страдание: так мог идти только человек убитый, потерянный, безнадежный. Настя поняла, что ей нечего ждать утешения и что вечер, который отец ее, отправляясь в свою ночную экспедицию, назвал решительным, не принес им ничего, кроме новых слез, нового горя!

Да, последние надежды старика рушились!

Сначала он шел тихо, опустив так низко свою голову, как будто ему тяжело было нести ее. Ни вздох, ни жалоба, ни слезы не облегчали внутренней бури, которая кипела и волновалась в груди его. Потом шаги его сделались быстрее и решительнее; но какая страшная, ужасающая решимость отражалась в них! Настя вздрогнула, когда отец удвоил шаги; она тоже инстинктивно ускорила их. Старик переходил мост. Путь их лежал прямо; но, миновав мост, он повернул по берегу реки.

Сделав несколько шагов, старик остановился и стал смотреть в реку, низко нагнувшись.

Ужасная мысль поразила Настю. Уже три дня ежеминутно ждала она страшного несчастья, и ей представилось, что наступил час, когда оно должно было совершиться!

Забыв прежнюю осторожность, Настя быстро подбежала к отцу и отчаянно вскрикнула:

– Батюшка!

Старик вздрогнул; но его, казалось, нисколько не поразило появление Насти; только испуг и досаду выражали его глаза.

– Батюшка! – повторила Настя, зарывав и обхватив руками колени старика. – Простите, простите мою дерзость! О, если б вы знали, сколько я страдала! Видеть, как вы мучитесь, и не смейте сказать вам утешительное слово, даже не знать, какое горе... О батюшка! почему вы не хотели разделить его со мною? Вы считаете дочь свою ребенком, но я всё поняла, я ко всему готова, и, если нужно умереть, я готова умереть с вами!

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
И девушка сделала невольное движение к реке, указав на нее рукой.

Старик весь вздрогнул; казалось, сознание только теперь воротилось к нему, – и какой ужас выразило лицо его, когда он машинально взглянул по направлению руки дочери!

– Кто тебе сказал, Настя, что я хочу умереть? – шепотом спросил он у дочери, быстро подняв ее и отводя к середине улицы.

Настя, не отвечая, с рыданием припала лицом к его груди.

Справедливы ли были опасения Насти? Что думал Иван Софроньч, когда, нагнувшись к реке, всматривался в холодную темную массу воды, неглубокую и неширокую, но достаточную, чтоб поглотить человека и разом покончить его волнения? Вся жизнь Ивана Софроньча была образом человеческой терпимости, покорности воле провидения и христианской готовности твердо переносить испытания; она была вечно борьбою, и не было примера во всем шестидесятилетнем поприще старика, чтоб он пал недостойно и позорно. Он боролся и побеждал во имя того, кто посылал ему испытания, кто давал ему и силу побеждать их! И если теперь враг человеческого рода, застигнув его в тяжкую минуту, внушил ему недостойное намерение, кто вправе сказать, что он не победил бы его, как и всегда? Пусть же его минутное намерение, каково бы оно ни было, навсегда останется непроницаемою тайною! Пусть без тени и упрека останется человек, которого страдания и подвиги – негромкие и неведомые – свидетельствуют душу мужественную, окрепшую в страдании, которая боролась и побеждала, боролась и падала, но падала там, где устоять уже не могли никакие силы человеческие! и да простит бог его дочери страшное подозрение, против которого готова восстать и громко возопить вся честная жизнь старика!

Через полчаса, когда уже начинало светать, отец и дочь подходили к своей квартире. Во всю дорогу они тихо разговаривали.

– Да, Настя, – говорил Иван Софроньч. – Я не хотел, но так угодно богу, и ты всё узнаешь. И ты сама увидишь, какое несчастье разразилось над головой твоего отца и какое страшное преступление совершил он.

Настя невольно вздрогнула.

– Да, я нарушил клятву, – грустно сказала старик, – и господь покарал грешника!

– Но какую же клятву? – спросила Настя.

– Ты всё узнаешь. Я расскажу тебе тайну, которой не открывал никому, которую доньше знали только я да бог!

## Глава LIX

### Тайна

Ни отец, ни дочь не ложились в ту ночь. Настя с трепетом слушала историю, которую передал ей отец.

«Я часто говорил тебе, Настя, о Наполеоне, о великой войне, которая прославила нашу матушку Россию; часто рассказывал наше житье-бытье с Алексеем Алексеичем – дай бог ему вечную память, – наши походы, сражения, в которых мы участвовали. Но я никогда не говорил тебе о первом нашем походе за границу и о первом моем благодетеле, Александре Фомиче... упокой господи его душу в числе праведников! Александр Фомич, а по прозванию Гарин, был наш ротный; Алексей Алексеич был у него поручиком, а я – унтер-офицером. Господи! И что за добрая душа была у Александра Фомича! И молодец же был! таких красавцев нынче не видно. Не забыть его орлиного глаза, соколиного посвиста, молодецкой удали! Как, бывало, сядет на коня да крикнет: «За мной, ребята!», так каждый готов душу свою положить, хоть в огонь, хоть в воду! И делал же он чудеса с своей ротой, – бывало, что ни есть горячее дело, мы там, и он всегда впереди! Храбрости был редкостной, но только рьян через меру и себя не берег. Дело было в самых первых годах теперешнего столетия. Стояли мы в малом немецком городке. Постояли и ушли. Я ничего и не знал, а потом уж мне вечной памяти Алексей Алексеич рассказал: полюбил он тут одну девушку и жениться хотел... Честный был человек и, будь жив, непременно слово свое исполнил бы! Да как время было военное – сегодня тут, а завтра там, а где послезавтра, одному богу известно, – так и положили они свадьбу на время отложить. Вот и ушли мы из городка, и тут скоро последовало сражение, и в том

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
сражении скончал жизнь свою Александр Фомич. Никто, как бог, его святая воля! Пуля так ловко угодила, что сердечный не жил больше пяти минут, и те употребил, чтоб душу свою господу поручить да о невесте подумать, – а то и показывает, что он ее любил, человек был честнейший, и кабы не смерть, так честь бы ее сохранил свято! По счастью, случился при его кончине Алексей Алексеич, ближе и дороже которого не было во всем свете ему человека. Он и рассказал, как рана и бедственное положение его позволило, тайну свою Алексею Алексеичу. Девушка была бедная: так просил оберегать ее, и как она родит, то сына или дочку блюсти... и тут он вынул пакет (вот я его покажу сейчас) и сказал, чтоб ей отдать, а если ее не будет, так ребенку. И клятву взял с Алексея Алексеича, что исполнит, да тут же и умер, царство ему небесное!

А в том пакете были три билета ломбардные и письмо. Алексей Алексеич только и думал, как бы волю покойника соблюсти, да известно: наше дело военное; полк пошел дальше, как отлучиться? А потом другим трактом в Россию пошли. Тут дело пошло жаркое: француз вступил в наши владения; некогда было и думать о постороннем, надо было безотлучно при полку находиться, отечество защищать. Не оставить же было фронта в такое время, когда и невоенные люди, и старики, и малые ребята готовы были грудь свою под пулю неприятельскую подставить. Вот так и случилось, что только лет, я думаю, будет через девять покойный благодетель мой Алексей Алексеич мог подумать о завещании покойника. Да как было его исполнить? Кто она, мы не знали; было в пакете с билетами письмо: женская рука да подписано только – Каролина. Какая же Каролина? Алексей Алексеич мараковал немного по-немецки, достали еще словарь, долго разбирали; всё поняли и перевели, а всё ничего необходимого не узнали. Пришел четырнадцатый год. Алексей Алексеич уж как хлопотал, чтоб прикомандироваться к полкам, которые в Париж шли. Попал! И уж через силу (у него, сердечного, ты знаешь, сколько ран было) пошел. Хоть и не совсем по пути было, однако ж удалось ему побывать в том городке. Ходил, присматривался, спрашивал – ничего не добился! Иные говорят умерла, иные – в Россию уехала, а иные так просто уверяли, что никакой такой Каролины у них и не было! Мы и подумали, что она точно в Россию уехала, и как воротился Алексей Алексеич – прямо в Петербург, и долго жил там, и разыскивал: ничего не оказалось! Ездили мы потом и вместе, раз и другой, да всё то же: ничего! И положили мы, что, видно, погибла несчастная, и стали думать, что надо, значит, теперь сына или дочь искать. Алексей Алексеич, покойник, всё, бывало, уверял, что, верно, сыном она разрешилась. Я же полагал, что, быть может, и дочерью. Но он всю душу прилепился к мысли, что после друга его и сослуживца остался сын, и такая мысль с летами в нем всё укреплялась. Он только и думал о том, как найдет его, как будет любить, учить уму-разуму, сделает из него храброго солдата и верного слугу государю. Он так часто говорил о нем, что даже дал ему имя, какое пришло и понравилось покойнику... он любил всё называть по-своему, и, бывало, как сгрустнется ему, чуть не плачет и говорит: «Софронич, голубчик! найди мне Ваню моего, Ваню! Я боюсь, что и умру, не увидавши его!» Вот и ездили мы в Петербург, и искали опять, и всё в газетах смотрели, не попадется ли прозвание: Гарин. И каких нашли Гариных, всех обошли и объездили и всё спрашивали: не приходила ли к ним женщина именем Каролина, с ребенком, и не спрашивала ли покойника. Думали: ведь знала же она его фамилию и, коли приехала в Россию, так должна же была, искавши его, спрашивать у родных и однофамильцев. Однако ничего не узнали и везде получали один ответ: такой женщины не было. И опять мы уехали. И жили мы в Овиницах, и всё горевали, что бог не приводит исполнить завет покойника, и берегли деньги его как зеницу ока. Бывало, покойник, не в укор будь сказано его высокоблагородию, скажет: «Не отделить ли частицу, потом пополним, Софронич»; но мысль, что вот явится Ваня (он и до конца жизни так называл его), удерживала его руку, и я, грешный человек, хвалил и укреплял твердость его высокоблагородия. И так билеты Александра Фомича и со всеми процентами оставались неприкосновенными до самой смерти благодетеля моего Алексея Алексеича, вечная память праведнику! Иван Софронич умолк и повесил голову.

– Со смерти его, – продолжал он, подавляя слезы, которыми наполнились глаза его, – билеты перешли ко мне. Я должен был исполнить священную волю Александра Фомича; я дал клятву Алексею Алексеичу, что исполню ее, если только будет малейшая возможность. И вот теперь настал час исполнить ее!

Старик опять помолчал.

– Молодой человек, которого ты видела третьего дня... сам бог привел его ко мне, – сказал, возвысив голос, старик, – ...этот молодой человек – сын той женщины,

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
которой приказано вручить деньги, сын Александра Фомича!

– Но точно ли вы уверены? – спросила пораженная Настя. – Через столько лет...

– Ничего не может быть яснее доказательств, которые я имею. Мать его звали Каролиной. Она выехала из Германии в 18\*\* году, когда мальчику еще не было года, а в 18\*\* мы были там с полком. Он хранит письма, которые остались по смерти его матери; они писаны Александром Фомичом, под ними подпись: Гарин. И писаны к ней, – утвердительно прибавил старик, – молодой человек перевел мне их, и в содержании одного я узнал ответ на письмо, которое храню вместе с билетами! Сам бог, говорю, вступился в дело сироты; время, которого я так нетерпеливо ждал, наступило... Но оно наступило поздно... поздно! – повторил он угрюмым и скорбным голосом. – Так поздно, что лучше, если б я умер ранее!

– Но отчего же, батюшка, вы не отдадите ему сколько можете... Или был только один билет? – спросила Настя, начиная догадываться, каким билетом были уплачены деньги господину Переваленко-Зацепе.

– Их было три, – отвечал старик, – один в четыре тысячи, другой в шесть и третий в пять, всего было положено пятнадцать тысяч, но с процентами, накопившимися в течение с лишком четверти столетия, они составляли довольно значительную сумму, именно столько или несколько более того, что теперь нужно молодому человеку, – с глубоким вздохом прибавил старик. – Первым билетом я уплатил по взысканию нового управляющего...

– Знаю, – перебила Настя. – Несчастный, ужасный день! с него начались все наши несчастья. О, зачем я не знала тогда, какую жертву вы приносите, я не была бы так малодушна. Простите, простите, батюшка, я была невольною причиною...

– Никто не виноват, – перебил старик плачущую дочь свою. – Бог знал мои силы: испытание было выше их и я не вынес его! Учись, Настя! перед тобою страшный пример: в жизни человека нет ничего выше и священнее долга и горе нарушителю его!

Старик печально поник головой.

– Но я думаю, батюшка, – сказала Настя, – что если вы отдадите ему остальные билеты, то дело может уладиться.

– У меня нет их, нет ничего! – отвечал старик.

– Но где же другие два билета?

– Я их проиграл.

– Как, вы играли?

– Ему нужно сорок тысяч. Почти четвертой части суммы недоставало, когда я узнал в нем сына моего благодетеля. Несколько времени тому назад я играл в первый раз в жизни – ты знаешь, по какому случаю, – и с таким счастьем, что одно воспоминание о нем внушило мне безумную мысль, которая погубила нас! Но тогда я выиграл страшную сумму, а теперь мне нужно было только десять тысяч... всего десять тысяч! – тоскливым голосом повторил старик. – И я думал, что если счастье благоприятствовало мне, когда нужно было поправить ошибку ветреника, который завтра же мог повторить ее, то неужели оно откажет мне в своем покровительстве, когда нужно спасти честь и будущность человека! Вот какая мысль была в моей голове. Люди, с которыми я тогда играл, обошлись со мной как с равным; они ласкали меня и приглашали приходить впредь. И я вздумал воспользоваться их благосклонностию. Я пошел к господину Брусилову, который казался мне добрее и благороднее других, хотя все они люди достойные, ничего не могу сказать против них. И действительно: Брусилов принял меня с удовольствием, и не было в его ласке ничего фальшивого или обидного. У него в тот вечер было только двое друзей, и, когда мы посидели и поговорили, он сказал мне: «Если вы хотите играть, почтеннейший Иван Софроныч, – я ведь знаю, вы большой мастер играть, – прибавил он с улыбкой, но такой доброй, что ничего в ней не было обидного, – то приходите послезавтра: у меня будет много народу... Впрочем, если хотите, то и сегодня можем немного поиграть». Нетерпение мое было так сильно, что не знаю, как я тотчас же обнаружил его, и мы стали играть. Игра продолжалась долго; я не



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a был в проигрыше, но и не выигрывал; уже стало светать; я поставил несколько больших кушей – и проиграл около десяти тысяч. Когда мы расходились, один из гостей Брусилова сказал мне: «Если вам угодно, приходите завтра ко мне: будем играть, и вы, верно, отыграетесь». Я взял адрес и обещал прийти. И я пришел, и когда возвратился домой, то недосчитался еще в кармане моем нескольких тысяч. Были тут люди, которые проиграли больше моего: они проклинали свое счастье, громко негодовали и чуть не плакали; я молчал; но если б они знали, что происходило в моем сердце! У меня оставался один билет и один вечер... и этот билет и этот вечер должны были решить мою судьбу! я знал, что несколько минут счастья – и всё будет поправлено, и еще не терял надежды. Я помнил, как в течение получаса выиграл несколько миллионов, а теперь мне нужно было только тридцать тысяч! С теми, которые я еще имел, они составили бы ровно ту сумму, которая была необходима. Пять или шесть часов тому назад я пошел к Брусилову, – и через два часа последний билет перешел в руки счастливого соперника! Видно, я был очень смущен своим проигрышем, – окружающие заботливо спрашивали, что со мной; добрый хозяин предлагал продолжать игру, обещаясь подождать, если я проиграю. Но я ничего не сказал и ушел; видно, в то время уже начинался припадок безумия, в котором ты нашла своего отца...»

Окончив свой рассказ, старик долго не возобновлял разговора. Настя также погрузилась в глубокую думу. Она предлагала много ребяческих и несбыточных средств достать деньги, при которых Иван Софроныч только грустно улыбался и качал головой; но наконец любовь и сострадание к отцу внушили ей счастливую мысль: она упомянула о Тавровском.

– Да, я пойду к нему! – сказал Иван Софроныч. – Я подавлю ложный стыд и ложную гордость, когда дело идет о спасении чести человека... двух человек, – поправился старик. – Я думаю, я имею право, – с гордостью прибавил он, – просить у него заимообразно сорок тысяч: я отыграл ему имение и отдал ему назад на одну карту всё его состояние, когда оно уже было моим!

Дождавшись одиннадцати часов, Иван Софроныч отправился к Тавровскому. Его встретил черный слуга, которого Иван Софроныч робко спросил: дома ли Петр Прохорыч?

– Пожалуйте! – отвечал глум, отворяя дверь во внутренние покои.

Старик нерешительно шел и, думая, не ошибся ли мальчик, выразительнее повторил вопрос.

– Пожалуйте, пожалуйста! – отвечал черный путеводитель, развязно отворяя дверь в кабинет Тавровского.

– Да мне не самого барина, а камердинера; нельзя же без доклада к барину? – заметил Иван Софроныч, желавший сначала посоветоваться с опытным камердинером.

– Да я к нему и веду вас, – отвечал мальчик.

«что такое? Уж не сделался ли Петр сам барином?» – подумал Иван Софроныч.

Пройдя кабинет, черный путеводитель откинул драпри и вошел с Иваном Софронычем в великолепную уборную.

В ней, перед уборным столиком, величественно сидел Петр. Он решительно разыгрывал роль своего барина, и, вероятно, чтоб довершить сходство, мазался его помадой, прыскался его духами, чесался его щетками и, наконец, с ног до головы оделся в платье Тавровского. Таким образом, Иван Софроныч второй раз присутствовал при его туалете, перебрасываясь с ним словами. Тут же находился другой гость – человек в потертом сюртуке, с фиолетовым носом и красными ушами. Петр попивал с ним кофе и курил дорогие сигары.

– Вот, Иван Софроныч! – сказал, между прочим, камердинер. – Матушка еще писала, не приеду ли я с вами в Софоново, а выходит, что и сами вы туда не попали... Эх, охота вам было!

Но Иван Софроныч не был в духе продолжать беседу и скоро простился, огорченный неудачей своего посещения: оказалось, что Тавровского нет дома и не будет с неделю. С целой компанией он отправился в маленькое путешествие по Финляндии.

Провожая Понизовкина, камердинер спросил:

– Где вы живете нынче, Иван Софроныч... или всё там же?

– Там же, – отвечал старик.

– Я всё собираюсь к вам зайти.

– Заходи, заходи, голубчик... Да хорошо, знаешь, Петруша, кабы ты повестил тотчас, как воротится барин: мне очень нужно его видеть.

– Повещу, повещу, – отвечал камердинер, – Сам приду...

В отсутствие Ивана Софроныча явился Генрих Кнаббе, которому старик назначил в тот день свидание. Настя предложила ему подождать. С невыразимой нежностью и грустью встретил его старик.

– Я еще не могу сегодня исполнить своего обещания, – сказал он ему, – но, если бог поможет, я непременно исполню его. Сколько дней вы можете еще ждать?

– До пятницы следующей недели (тогда была суббота), – отвечал Генрих. – Хозяин мой писал, чтоб я непременно возвратился к пятнадцатому числу. Если в пятницу я не явлюсь к нему и он не получит письма о причинах замедления, он будет беспокоиться. Даже, вероятно, пошлет туда кого-нибудь и напишет кому-нибудь, чтоб разведали, и тогда всё может открыться...

– Семь дней, – медленно сосчитал по пальцам Иван Софроныч. – Наведайтесь и раньше...

– Что сказал вам Тавровский? – спросила Настя, когда Генрих ушел.

Старик сообщил ей результат своего посещения. Они оба пригорюнились и с полчаса молча думали.

– Осталась еще надежда, – сказала Настя. – Батюшка! позвольте мне сходить... одной, – прибавила она, ласкаясь к отцу. – Я прохожу не более часа.

– Куда?

– Не спрашивайте! – отвечала она, продолжая ласкаться к нему.

– Дитя мое! – сказал старик, целуя ее. – Ты боишься признаться; ты лучше своего отца помнишь обещания! но мы теперь в таком положении, что если б кто решился спасти нас, тот – кто бы он ни был – получит вечное право назваться нашим другом!

– Вы не шутя говорите, батюшка? – тихо спросила Настя, вспыхнув.

– Да, я так думаю, – отвечал старик. – Но едва ли найдется такой человек.

– О, я уверена! – проговорила Настя и поцеловала отца.

Потом она оделась, снова поцеловала его, просила успокоиться, уснуть и вышла...

Путь Насти лежал довольно далеко. После долгих странствований и расспросов она наконец пришла в Измайловский полк, отыскала Девятую роту, а в ней дом господина Ерофеева, и постучалась в двери ветхого деревянного флигеля. Ее впустила бедно одетая старушонка, и, войдя в довольно неопрятную комнату, Настя увидела еще несколько таких же старух и детей в лохмотьях; старухи попивали кофей, гадали на картах и тараторили.

– Здесь живет господин Грачев? – спросила Настя.

– Съехали, матушка, съехали, – отвечала одна из старух.

– Куда же? он оставил вам адрес?

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– А как же, матушка. В Коломну, слышь, переехал, в Паточную улицу, в дом мещанки Афросимовой. Вот, извольте посмотреть.

Старуха подала ей лоскуток бумаги.

Настя очень удивилась, выслушав старуху и прочитав адрес: улица, куда переехал Грачев, была та самая, в которой жила она.

– А давно он съехал туда? – спросила Настя.

– Да уже давненько, голубушка... Да вот, помнится, вскорости после того, как Маремьяне Степановне счастье выпало: барин добрый такой на улице поднял ее полумертвую, домой привез и назначил ей пенсией. А потом он долго с жильцом говорил, а скоро потом жилец и съехал.

Настя не расспрашивала далее. Распростившись с старухами, она поспешно вышла и отправилась в обратный путь. Придя в Паточную улицу, она скоро нашла дом мещанки Афросимовой, который приходился почти против их собственной квартиры, и опять спросила, здесь ли живет Грачев и дома ли он.

– Дома, – отвечал ей небритый старик, в котором по ухваткам и бороде нетрудно было узнать отставного солдата, и, отворив дверь в соседнюю комнату, прибавил: – Пожалуйте!

Настя вошла, и в одно время произнесены были два восклицания:

– Настя!

– Гриша!

Гриша находился в отчаянном положении. Мучительная ревность терзала его. Вскоре после свидания с Настей Гриша переехал в Паточный переулок, чтоб быть ближе к ней. Целые дни проводил он у окна и счастлив был, когда удавалось ему хоть мельком увидеть Настю. Накануне настоящего дня, уже поздно вечером, он сидел, по обыкновению, у окна и смотрел в нижний этаж огромного дома, в котором жила Настя. Он видел, как около одиннадцати часов вышел из ворот Иван Софронич и скорыми шагами прошел мимо его дома. Мы знаем, что спустя не более пяти минут вышла и Настя. Гриша долго не верил своим глазам; наконец мучительное чувство ревности охватило его. Он уже ничего не думал, не соображал; одна мысль, что Настя неверна ему, овладела его умом. Он поспешно оделся и выбежал на улицу. «Она едва дождалась, чтоб ушел отец, и сама ушла... куда?..» Гриша не сомневался, что она шла на свидание с счастливым его соперником. И он хотел подстеречь их... Строя в разгоряченной голове своей планы мщения, он тихонько крался по следам Насти, не замечая, что впереди, в расстоянии еще двадцати шагов, шло третье лицо, служившее в свою очередь предметом наблюдений Насти. Правда, было темно, но если б Иван Софронич шел ближе, Гриша не заметил бы его: во всем мире он видел теперь одну Настю и мог помнить и думать только об одном, что Настя изменяет ему! Когда Настя притаилась у лешенки, он не сомневался, что она поджидает своего любезного, и также спрятавшись неподалеку, нетерпеливо выжидая его появления. Мы знаем уже, что спустя час Настя переменяла намерение и решила воротиться домой. Тут уже Гриша не мог ждать далее и, кинувшись к ней, встретил ее теми оскорбительными словами, которые так удивили и огорчили бедную девушку. Воротившись домой в сильном негодовании, Гриша не мог ни спать, ни спокойно обдумывать свое положение. Он метался на постели, рыдал и повторял, что всё потеряно и погибло. В таком положении провел он остаток ночи и часть утра до той самой минуты, когда перед ним неожиданно появилась Настя.

Как бы ни были озлоблены друг против друга влюбленные, стоит дать им полчаса времени, чтоб они непременно помирились. Точно так же случилось с Гришей и Настей. Сначала были слезы, отчаяние, взаимные упреки. Гордость не позволяла Насте оправдываться. Ревность не допускала Гришу отвергнуть свои подозрения, которые, казалось ему, были так несомненны, тогда как против них он не имел ничего, кроме холодного замечания Насти, что она невинна и что он глубоко оскорбил ее. Но когда Настя объявила причину своего посещения, коснувшись страшного положения отца и своего собственного, Гриша начал понимать истину. И скоро он лежал у ног своей возлюбленной, обливая их слезами, называя себя чудовищем и умоляя о прощении. Труднее было смягчить гордую Настю, в которой недавнее оскорбление было еще слишком свежо. Гриша должен был употребить много

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
времени и красноречия, описывая чувство, овладевшее им, когда он увидел Настю одну, ночью, среди улицы! Но, видно, описание было удачно, – Настя всё простила ему!

Гриша клялся, что непременно достанет к пятнице деньги, нужные Ивану Софронычу, причем Настя не забыла сообщить ему слов своего отца: «Мы теперь в таком положении, что человек, который спасет нас, – кто бы он ни был, – получит вечное право называться нашим другом».

Они расстались, счастливые надеждой скоро свидеться при лучших обстоятельствах.

Глава LX

Пятница

Прошло три дня, а положение дел всё еще оставалось неопределенным. Не было вести о Тавровском, не принес денег и даже не бывал Гриша. Только Генрих аккуратно наведывался каждый день – и получал всё тот же ответ, что надо еще ждать. По мере сокращения срока надежда покидала его, и раз, в припадке отчаяния, он сказал Ивану Софронычу, что если не достанет денег до пятницы, то ему ничего более не останется, как застрелиться.

– Не говорите, не думайте этого! – с ужасом воскликнул Иван Софроныч. – Говорю вам, что если деньги не будут найдены к сроку, то я сниму с вас ответственность перед господином Штукенбергом! Я буду один виноват... Дайте мне клятву, что слова, которые вы сейчас произнесли, были плодом минутного отчаяния, а не обдуманного намерения. Я имею право требовать ее, молодой человек, и я требую, чтоб вы мне дали ее!

– Но какое же право?

Таким образом Иван Софроныч пришел в необходимость раскрыть Генриху тайну его рождения. Молодой человек с увлечением обнял старика, называя его вторым отцом своим, и они долго и дружно беседовали в тот день.

В четверг Настя ходила к Грише, но не застала его; вечером опять пошла к нему, и Гриша объявил, что денег еще не достал, потому что в Петербурге нет теперь человека, у которого надеялся взять их (Настя поняла, что дело шло о Тавровском), но что завтра к десяти часам непременно достанет их.

Настя всё передала отцу; но надежды уже не было в сердце старика. Он грустно выслушал ее и, к удивлению Насти, сказал:

– Гриша добрый малый и любит тебя. Я уже стар, я могу умереть; ты, я знаю, любишь его, и, верно, вы обвенчаётесь. Я не противлюсь вашему счастью и благословляю вас. Живите дружно, берегите друг друга и вспоминайте иногда старика солдата, когда кости его лягут в могилу!

– Но, батюшка, вы еще не так стары? и почему мысль о смерти пришла вдруг вам в голову?.. О батюшка! я не могу быть счастлива без вас!

Старик ничего не отвечал. Настя страшно испугалась: она видела ясно, что мысль о смерти занимала ум старика, и опять боязливо начала наблюдать каждый взгляд его, доискиваться тайного смысла в каждом его слове. Под вечер Иван Софроныч ушел, не сказав ей куда, и воротился через час. Лицо его было спокойно; но в голосе и движениях проявилась особенная торжественность. Казалось, всё уже было решено в душе его, и спокойствие старика напоминало грозу, смолкшую перед последним роковым ударом, которым неминуемо грозили черные тучи, бродящие по небу...

Прежнее беспокойство с новою силою пробудилось в бедной девушке. Но она не могла открыть ничего ни в словах, ни в поступках старика, что могло бы подтвердить ее опасения.

В самом деле, в душе старика всё уже было решено.

Наступил двенадцатый час: время было ложиться спать.

– Когда хотел прийти Гриша? – спросил Иван Софроныч у своей дочери.

– Он сказал, что не позже десяти часов достанет деньги.

– В одиннадцать придет Генрих; потом ему должно будет явиться к своему хозяину. Ты сходишь к Грише?

– О, я завтра чуть свет пойду к нему.

– Может быть, я еще буду спать, – заметил старик, – Не лучше ли будет, Настя, если я займу твою комнату?

Квартира их состояла из двух комнат. Первую занимал Иван Софроныч, вторую, в которую можно было попасть только через первую, занимала его дочь. Настя нашла мысль своего отца очень счастливою и радовалась, что он заботится о своем спокойствии. В пять минут кровать Насти была перенесена в первую комнату и заставлена ширмами, а кожаный диван, на котором спал Иван Софроныч, – во вторую. Старик пожелал, чтоб туда перенесен был и стол, на котором стояла чернилица и другие принадлежности для письма, – хотя это желание исполнить было довольно трудно: стол был только о трех юшках, четвертая едва держалась.

Потом они простились и разошлись.

Ночью, часу в третьем, сквозь слабый сон Настя слышала звук ключа в замке двери, разделявшей две их комнаты. Она думала, не хочет ли старик опять уйти. Но звук умолк, и старик не показывался.

Казалось, он хотел только удостовериться, запирается ли замок. Так по крайней мере подумала Настя, в которой несчастные события последнего времени развили болезненную пронизательность и подозрительность.

Утром, часу в осьмом, Настя встала, тихонько оделась и поглядела в комнату отца. Он спал. Настя осторожно вышла.

Гриша уже совсем оделся и готов был уйти со двора, когда пришла Настя.

– Что? – спросила она.

– Сейчас иду и через час буду у вас с деньгами.

– Ради бога! или с нами случится что-нибудь ужасное! – сказала Настя отчаянным голосом.

Она была так бледна, так убита, что Гриша испугался.

– Успокойся, Настя! неужели ты не веришь моему слову? – сказал он. – Клянусь же, я принесу их, хотя бы мне должно было пройти через огонь, чтоб взять их. Деньги уже есть, и я могу их получить; но...

– Идите, идите! – отвечала Настя. – После всё расскажете.

Они разошлись в разные стороны.

– Что, Настя, твои детские надежды и опять обманули тебя? – сказал Иван Софроныч, встречая свою дочь, которой печальное лицо говорило яснее слов. – Не огорчайся, дитя мое: мы сделали всё, что могли, и если не удалось так, спасем его другим образом!

– Он сказал, что непременно в десять часов принесет, – отвечала Настя.

– Не ходи туда! – поспешно и с испугом воскликнул Иван Софроныч, заметив, что дочь хотела войти в его комнату.

– Я хотела убрать вашу постель, – сказала Настя, возвращаясь.

Сердце в ней вздрогнуло, и страшное подозрение снова мелькнуло в уме.

Пробило десять часов. Гриши не было.

– Я схожу к нему, – сказала Настя болезненным голосом. – Я потороплю его. Мы сейчас придем, батюшка!

– Сходи, сходи! – отвечал старик равнодушно. – Прощай. Бог с тобой!

Он прижал к своей груди голову дочери и осыпал ее поцелуями.

– Прощай, мое дитя, мое сокровище, моя радость! – говорил он.

Настя подумала, что прощанье своей нежностью и продолжительностью не соответствовало минутной разлуке, которая предстояла им. Сердце в ней опять вздрогнуло.

Как только ушла Настя, старик махнул рукою и громко зарыдал. Потом он вошел в свою комнату и начал писать.

Настя не застала Гришу. Она решила ждать. Но нетерпение, страх, мысль о том, что-то делает отец, мучительное предчувствие не позволяли ей ни минуты оставаться в одном положении: она очень скоро передумала ждать и бегом пустилась домой. У ворот своего дома она столкнулась с Генрихом, шедшим узнать свою участь.

– Ради бога, – сказала она ему с отчаянием, – погодите полчаса! побудьте где-нибудь; не входите! Сейчас должен прийти человек, который принесет деньги.

Генрих повиновался.

– Я приду через полчаса, – сказал он, удаляясь.

– Ты, Настя? – окликнул старик свою дочь.

– Я, батюшка.

– А Генриха еще нет?

– Нет.

Настя не смела войти в комнату отца, помня движение ужаса, которое обнаружил он при подобном покушении.

Она слышала скрип пера в его комнате и тяжелые вздохи. Сердце в ней разрывалось. С каждой минутой ужас, поддерживаемый гибельным предчувствием, возрастал в ней. «Что же нейдет Гриша? что нейдет Гриша?» – судорожно повторяла она и в мучительном нетерпении выбежала к воротам и жадно вглядывалась в лица идущим.

Гриши не было между ними!

Она была так взволнована, что не могла долго оставаться ни в каком положении, и, постояв пять минут у ворот, она как безумная снова кинулась к квартире Гриши.

Тем временем Генрих возвратился, постоял у ворот и вошел в квартиру Ивана Софроныча (Настя забыла или не сочла нужным запереть дверь).

– Ты, Настя? – окликнул опять старик.

– Я – Генрих Кнаббе, – отвечал молодой человек, приближаясь к двери его комнаты.

– Не входите сюда! – торопливо сказал Иван Софроныч. – Я сейчас выйду к вам.

Генрих остановился и стал ждать. Через минуту вышел старик. В руке его было письмо, с адресом, незапечатанное.

– Я не достал денег, – сказал он, – но всё равно: вот письмо, которое оправдывает вас. Прочтите его: по содержанию вы увидите, что должно делать... Прощайте!

Старик хотел идти, но не выдержал и, бросясь на шею к Генриху, рыдая, сказал:

– О, прости, прости меня! Не так думал я встретиться, не так поступить с сыном моего благодетеля!

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
У двери, ведущей в квартиру, послышались шаги.

– Идите! – сказал старик торопливо. – Не входите сюда!

И он поспешно ушел в свою комнату и долго вертел ключом, как будто замок не повиновался его дрожащей руке.

Вошла Настя – и вскрикнула, увидав Генриха:

– Вы уже были у него? он вас видел? что он вам сказал?

Генрих, пораженный известием, которое сообщил ему старик и которое лишало его всякой надежды, стоял, как приговоренный к смерти, бессмысленно держа в руке письмо, данное ему Иваном Софроньичем.

– Письмо? – сказала Настя. – Откуда? чье?.. он вам дал его?

– Да, – машинально отвечал Генрих.

Настя вырвала у него письмо, развернула и прочла следующее:

«Милостивый государь Август Иваныч!

Не вините Генриха Клаббе в том, в чем виноват единственно тот, кого уже теперь нет в живых...»

Настя не читала далее. Она всё поняла; с воплем кинувшись к двери, она толкнула ее с такою силою, что половинки быстро расскочились.

Настя увидела своего отца, который торопливо писал.

Подле него лежал пистолет.

– Батюшка, батюшка!

Старик сделал дочери своей грозный жест, как бы приказывая молчать и немедленно удалиться, и схватил пистолет.

– Генрих! Генрих! – закричала Настя, кидаясь к отцу.

Генрих быстро вошел.

Они соединили свои усилия, чтоб отвратить страшное намерение, которое старик непременно хотел совершить. Не прошло полминуты, как к ним присоединился третий помощник.

– Гриша! – с упреком воскликнула Настя. – Гриша! вот до чего вы довели свою медленностью! Принесли ли вы деньги?

– Принес!

Слово, произнесенное Гришей, имело действие электрического удара.

В одну секунду лица всех устремились к Грише.

Настя, Генрих и старик обратили к нему жадные глаза, полные сомнения и радости.

– Деньги? так он достал деньги? – проговорил старик.

– Вот они! здесь ровно сорок тысяч!

Деньги были переданы Генриху, который поспешно ушел, не слыша ног под собой.

Руки Насти и Гриши лежали одна в другой, соединенные самим Иваном Софроньичем. Шла дружеская беседа, когда у дверей послышался звонок.

Настя впустила гостя: то был камердинер Петр.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Приехал! – сказал он после первых приветствий. – Вам, кажется, было его очень  
нужно видеть, так я и поспешил повестить. Не больше часу, как приехал.  
Переоделся – и марш, а я к вам!

– Спасибо, Петруша! Да теперь уж не нужно: всё уладилось, слава богу,  
благополучно, – отвечал старик. – Мне лучше быть обязанным вам, дети мои, чем  
ему, – прибавил он тихо.

– Не нужно, так тем лучше! – заметил Петр. – А у нас в доме большая тревога... уж  
куда не люблю таких оказий!

– А что такое? – спросил Иван Софроныч.

– Да сегодня в десятом часу у старой барыни пропала шкатулка, в которой было,  
говорят, пятьдесят тысяч.

Глаза Ивана Софроныча и его дочери невольно и быстро обратились к Грише.

Лицо Гриши выражало величайшее смущение.

Часть тринадцатая

Глава LXI

Пропажа

Ложась спать, Наталья Кирилловна была поражена восклицанием испуга, которое  
вдруг вырвалось у Зины. Старуха долго допытывалась, что это значит, и наконец  
хватила своего маленького ящика с деньгами, стоявшего на комод. В минуту по  
всему дому быстрее молнии пронеслась весть о пропаже денег. На всех лицах  
появился ужас, а губы как бы самопроизвольно бормотали: «Пропали, пропали». Зина  
упала к ногам растерявшейся хозяйки дома и, рыдая, говорила:

– Господи! Господи! кто защитит меня? Я одна в доме знала, что тут деньги!

– Да разве я сказала, что подозреваю тебя? – сердито спросила Наталья  
Кирилловна.

– Но сами посудите, разве чужой мог знать, что тут лежат деньги, и войти в  
спальню именно в то время, когда вы кушали чай!

– Да, это всё так странно, что я не могу опомниться. Обокрасть меня!

И Наталья Кирилловна содрогнулась.

В эту минуту приживалки с воплями явились в спальню; они били себя в грудь,  
произнося страшные клятвы и призывая друг друга в свидетели своей невинности.

Наталья Кирилловна отложила допросы и розыски до другого дня, а дворецкому  
приказала обыскать строго всех людей и дом и поставить вооруженных часовых у  
своей спальни, а также и у ворот, чтоб вор не мог бегством спастись от  
наказания.

Никто глаз не смыкал в эту ночь. Лакеи рассуждали между собой. Горничные все  
собрались к приживалкам в комнату и слушали их гаданье на кофе и картах.  
Приживалка с мутными глазами в ночном туалете очень походила на одну из ведьм  
Шекспира в «Макбете».

– Ну, девушки, что ни говорите, а деньги украдены! – сказала она таинственно,  
держа перед свечкой чашку с кофейной гущей.

– Да как же! ведь мы и гадаем об этом! – заметила одна из горничных.

– Эх, какая проворная! – с досадой отвечала приживалка. – Украдены – и  
человеческими руками, – продолжала она с прежней таинственностью.

– Ах, господи! Оборони нас, боже! какие ужасы! – раздалось восклицания.

– Кто же украл? – спросила одна из приживалок.

– Кто??.. – всматриваясь в гущу, протяжно произнесла приживалка с зобом. – Их



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
украл человек с бородой!

– Уж не флегоска ли? – крикнула одна из горничных.

– Ну, вот что выдумала! ведь и у Антипа, чай, такая же борода! – с сердцем подхватила пожилая рябоватая горничная.

– Полноте, девушки... слушайте! вор был с бородой и с ножом!

– Ай, ой, ай! – на разные голоса восклицали слушательницы.

Утром, с последней чашкой кофе, – а она была, кажется, двадцатой с ночи, – окончилось гаданье приживалки с мутными глазами.

Утренний чай прошел в тягостном молчании и подавляющей тишине. Поэтому приживалки немало обрадовались, когда вошел дворецкий с умильно-растроганным, лоснящимся лицом. Низко поклонясь Наталье Кирилловне, он донес почтительно, что и дом и люди обысканы.

– И нас, пусть и нас обыщут! – отдавая ключи от своих сундуков и комодов дворецкому, воскликнули все приживалки, кроме Ольги Петровны и Зины.

– Не соваться, когда не с вами говорят! – крикнула Наталья Кирилловна и, обратясь к дворецкому, с горячностью продолжала: – Что же это, наконец! меня уже стали обкрадывать – и даже нет следов!

Речь ее была прервана появлением депутации от горничных, которая, пав на колени, произнесла клятву в невинности; потом явились с тем же лакеи, прачки, кучера. Зала была полна. Зина выразительно поглядывала на дворецкого, который не без робости начал:

– Осмелюсь доложить, так как вы изволите по справедливости требовать...

– Говори скорее! что такое? – крикнула Наталья Кирилловна.

– Осмелюсь доложить, что вчера никто из посторонних не входил в дом, кроме... – дворецкий поперхнулся и, бросив на Зину умоляющий взгляд, прибавил: – Кроме-с Григория Михайлыча.

Наталья Кирилловна быстро спросила:

– Ну, что же тут такое?

В это время Зина слабо вскрикнула: «ах!»

Наталья Кирилловна бросила на Зину такой взгляд, что Зина затрепетала. Медленно и гневно отвела старуха глаза от своей любимицы и, обратись к дворецкому, спросила:

– К кому и зачем он приходил вчера?

– Последнее время он очень часто изволил навещать Зиновью Михайловну! – язвительно заметила Ольга Петровна.

Наталья Кирилловна стукнула об пол палкой и сказала Зине:

– Что это значит, сударыня? а? Я выгнала его, запретила ему переступить порог моего дома, а вы, вы...

– Прикажете всем уйти: я всё вам открою! – отчаянным голосом сказала Зина своей благодетельнице, которая заметно вздрогнула и нетвердым голосом отдала приказание всем удалиться.

Но было поздно: имя Гриши было у всех на языке. Ольга Петровна первая произнесла утвердительно:

– Это уж дело их рук!

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Когда Зина осталась одна с своей благодетельницей, то некоторое время, кроме рыданий, ничего не было слышно. Наталья Кирилловна, казалось, медлила узнать тайну Зины; но наконец она тихо и с трудом произнесла:

– Говори скорее!

– Что могу я сказать в свое оправдание! Я, я виновата во всем!

И Зина упала на колени перед Натальей Кирилловной, которая с испугом вскочила. Зина продолжала отрывисто, перемешивая слезами и воплями свои слова:

– Я... я хотела, чтоб ваш племянник испросил у вас прощенье, я уговаривала его... я, несчастная! я устроила свидание в вашей спальне и провела его туда, думая, когда вы...

– Молчи! замолчи! это невозможно! – упав в креслы, проговорила Наталья Кирилловна.

В ту минуту дверь растворилась, и вошел Тавровский с тем самым ящиком в руках, который составлял предмет розысков.

Наталья Кирилловна радостно протянула к нему руки, воскликнув:

– Это он! где, где ты его нашел?

– Я вчера взял его из вашей спальни для шутки, чтоб посмотреть, хватитесь ли вы его, и дать вам урок – никогда не хранить денег в таких маленьких ящиках, – целуя руку у Натальи Кирилловны, отвечал Тавровский.

Он поставил ящик на стол. Наталья Кирилловна дрожащими руками раскрыла его и, свободно вздохнув, с упреком сказала:

– Можно ли делать такие вещи! Ты не знаешь, какого беспокойства наделал во всем доме.

– Виноват! но вы ведь знаете меня.

– Как же никто не видал, когда ты вошел?

– Я вошел через сад, у меня свой ключ от калитки, – я думал, что вы в своей комнате, заглянул в окно – никого! Я заметил этот ящик, знал, что в нем деньги, и мне пришла мысль пошутить.

– Хороши шутки! ты чуть не убил ее.

И Наталья Кирилловна указала на Зину, которая в продолжение их разговора находилась в лихорадочном состоянии.

Тавровский, смеясь и глядя на Зину, сказал:

– Чего вам было пугаться так? деньги нашлись!

– Ах, господи! неужели в самом деле меня стали бы подозревать, если б они пропали? – в отчаянии воскликнула Зина, заливаясь слезами.

– Павел! оставь ее: она и так была очень встревожена! – с упреком сказала Наталья Кирилловна и, обратись к Зине, продолжала: – Полно, глупая! ну кто тебя станет подозревать! Павел Сергеич пошутил. Он очень хорошо знает, что если я воспитала тебя, то никакая низкая вещь не будет тебе доступна.

– О, я оттого так дорого и ценю каждое ваше слово!

И Зина целовала руку у Натальи Кирилловны. Через несколько часов Тавровский, встретив Зину одну в комнате, сказал ей:

– Вы удивительная актриса! как вы хорошо разыграли роль обиженной и удивленной!

Зина, смеясь, отвечала:

– Я ужасно боялась, чтоб в доме не узнали, каким образом исчезли эти деньги, и страх...

– Вдохновил вас! но вы поступили так благородно, так смело, что я никак не ожидал от вас. Скажите мне откровенно, вы имеете виды на Гришу? Но я должен вас предупредить: у вас есть соперница, и опасная.

– Вы знаете очень хорошо, что я никого в жизни более не полюблю! – сердито отвечала Зина.

– Какое постоянство!

– Да, оно очень смешно в бедной неопытной девушке.

– Бедной – я согласен; что до неопытности...

– Тогда вам более еще чести, что вы могли воспользоваться расположением...

– Зиновья Михайловна, – перебил Тавровский выразительно, – я вас просил не упоминать мне никогда о прошлом!

Зина изменилась в лице, но очень равнодушно произнесла:

– И всегда сами заставляете. С тех пор как вы сделали женой, я потеряла всякую надежду.

– А до этого вы ее имели? – смеясь, спросил Тавровский.

– Когда женщина любит и своей любви принесла всё в жертву...

– О! да я вижу, что вы сегодня в романическом настроении духа! – воскликнул Тавровский и ушел.

Зина так стиснула тонкие свои губы, что они побелели; а глаза ее сверкали страшно.

Одной минутой позже, и тайна о пропаже денег была бы гласна; но благодаря участию Тавровского только три лица знали ее: Зина, Гриша и Тавровский. Вот как случилась пропажа. Дав слово достать денег Насте, Гриша надеялся занять их у Тавровского, но он, к несчастью, уехал из Петербурга. Медлить не было возможности, и Гриша решился идти к Наталье Кирилловне и просить у ней своих собственных денег, оставленных ему отцом. Он обратился к Зине, чтоб устроить свидание; но она своей находчивостью придумала легчайшее средство. Она наговорила Грише, что Наталья Кирилловна так сердита на него, что не только не даст ему денег, но даже не захочет видеть его, и предложила следующий план: у Натальи Кирилловны ящик с деньгами стоит в спальне, – Зина проведет туда Гришу; он возьмет деньги, а через несколько дней, когда Павел Сергеич приедет, деньги опять будут положены на прежнее место; до того же времени Наталья Кирилловна верно их не хватится, потому что никогда не берет денег из того ящика.

– Но одно, Гришенька!.. ваше честное слово: если что случится, тотчас признаться во всем, а про меня сказать, что вы меня обманули, – будто бы желаете просить прощения у своей тетушки.

Такое условие сделала Зина с Гришей, который готов был тогда решиться на всё. Зина знала честность его характера и решилась воспользоваться этим случаем, чтоб навсегда очернить Гришу в глазах Натальи Кирилловны, которая, по расчетам Зины, может быть, переменит завещание и деревню, завещанную Грише, назначит ей. Зина тем более была уверена в успехе этого плана, что Тавровский мог долго не приехать или не так скоро достать сумму, которая была нужна Грише.

Несмотря на вмешательство Тавровского, Наталья Кирилловна, может быть, не оставила бы так предположение своей любимицы насчет Гриши, если бы не важная новость, сообщенная ей Тавровским: он объявил, что невеста его лишилась отца и едет в Петербург.

– Я надеюсь, тетушка, – заключил Павел Сергеич, – что в вашем доме найдется

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a место для будущей вашей племянницы.

– Павел, Павел! – в отчаянии воскликнула Наталья Кирилловна, начинавшая уже в последнее время надеяться, что ее племянник отложил намерение жениться. – Неужели ты твердо решился на такой неблагоприятный шаг в твоей жизни?

– Какое неблагоприятие? я вас не понимаю!

– Как же! ты сам сознался, что она дочь цыганки, без всякого образования. Боже мой, я не узнаю тебя!

– Тетушка, к чему нам возобновлять старые неприятности! Я дал ей слово, и женюсь.

– Помилуй! разве нет примеров, что люди твоего круга увлекаются, но им прощают, если они не держат в таких случаях своего слова.

– Вспомните, что теперь за нее некому заступиться! – с достоинством отвечал Тавровский, у которого бывали минуты, когда он понимал обязанности и достоинство человека.

Он был тверд в своем решении, и ни слезы, ни мольбы не могли его поколебать. На рыдание своей тетки он твердил одно:

– Если вы не желаете ее видеть, я еду в Москву, женюсь там и буду жить с своей женой.

– Павел, Павел! я из любви к тебе всё это говорю. Я думала, что женитьба твоя возвысит еще более наш дом; а теперь!!

Тавровский иронически слушал длинные рассуждения Натальи Кирилловны в этом роде, пока она наконец сказала:

– Я представила тебе все невыгоды этого неровного брака. Ты стоишь на своем, и мне остается приготовиться для встречи твоей невесты, потому что я не потерплю, чтоб будущая твоя жена поселилась бог знает где. Всё будет готово; я сама обо всем позабочусь.

Тавровский поскакал навстречу своей невесте, оставив весь дом Натальи Кирилловны в тревоге.

Зина, разумеется, первая узнала о скором приезде госты и так изменилась в лице, что Наталья Кирилловна с удивлением спросила:

– Что с тобой?

– Теперь мои заботы и угожденья не будут вам нужны: она будет за вами ходить! – печально произнесла Зина.

– Я так стара, что и твои заботы обо мне не будут лишними.

– О, дай бог, чтоб она вас оценила! – с увлечением воскликнула Зина, и, целуя руку своей благодетельницы, она продолжала: – Я давно приготовилась все заботы передать вашей будущей племяннице; но поверьте, что готовность угождать вам так глубоко укоренилась во мне, что, кажется, я не вынесу этого!

И Зина заплакала.

– Полно! полно! еще соскучишься ходить за мной! – ласково замечала Наталья Кирилловна.

В день приезда невесты дом Натальи Кирилловны принял торжественный вид. Его осветили весь, лакеев нарядили в парадные ливреи, приживалок – в лучшие их платья. Сама Наталья Кирилловна оделась нарядно. Одна Зина надела простенькое белое платье и своему лицу старалась придать наивное и кроткое выражение; но злобная улыбка каждую минуту расстроивала маску. Казалось, никто с таким нетерпением не ждал приезда невесты, как она. Лихорадка по временам била ее, и она не могла скрыть своего гнева, когда, прислушиваясь к разговорам приживалок,

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a замечала, что они говорили о невесте Павла Сергеевича как о будущей хозяйке дома.

Настала наконец нетерпеливо ожидаемая минута. Дорожная карета подъехала к крыльцу, и Тавровский, приехавший за десять минут ранее, высадил Любу из кареты и ввел в будущий ее дом.

Наружность Любы очень изменилась. Она выросла заметно. Кроткая грусть и матовая бледность делали ее интересной. Открытая улыбка, нежность и мягкость взгляда в ее черных больших глазах, застенчивые манеры – всё вместе вновь пробудило начинавшую уже потухать любовь в усталом сердце Тавровского.

Легкая краска испуга покрыла щеки Любы, когда она переступила порог богатого дома. Приживалки кинулись было к ней целовать ее руки и плечи, жалобно пища:

– Полюбите, обласкайте нас, сирот!

Тавровский устранил их и повел Любу к Наталье Кирилловне, которая стояла посреди залы в величественной позе, упираясь одной рукой на палку, а локоть другой ее руки был поддерживаем Зиной.

Наталья Кирилловна поцеловала в лоб сконфуженную Любу и нетвердым, но торжественным голосом произнесла:

– Дай бог, чтоб мы полюбили друг друга!

И, взяв гостью за руку, она повела ее через анфиладу комнат в гостиную, где и посадила на диван. Начались представления. Наталья Кирилловна, указывая на Зину, сказала:

– Вот, рекомендую вам мою воспитанницу. Она признательная девушка, и я желала бы, чтоб вы приласкали ее.

Зина подошла к Любе и сделала почтительный реверанс, потупив глаза; но губы ее дрожали, и улыбка презрения передергивала их.

– Проси же, чтоб она тебя не оставила: ведь теперь она будет ваша хозяйка! – заметила Наталья Кирилловна.

Зина вздрогнула и что-то пробормотала.

– Вот, также рекомендую вам! – начала было Наталья Кирилловна, указывая на Ольгу Петровну, у которой уши запрыгали, лицо всё побагровело, задергалось; дрожащим голосом она перебила свою благодетельницу:

– Честь имею рекомендоваться! Я вашего жениха еще ребенком знала!

И Ольга Петровна фыркнула громко – знак, что она была в сильном гневе, зачем не ее первую отрекомендовали.

– А я так нашему красавчику всё из бумаги лошадок вырезывала, и он такой был ласковый. Впрочем, меня все дети очень любят! – мотая головой, перебила Ольгу Петровну приживалка с зубом.

– Это всё бедные и одинокие; я им дала угол у себя, – сказала Наталья Кирилловна.

– Можно сказать, мы благодетельствованы с ног до головы; каждая тряпка на нас есть щедрость добродетельной женщины! Мы в совершенстве имеем приют в этом доме, – опять протараторила мерно и сиповатым голосом приживалка с зубом и мутными глазами и тотчас была подхвачена хором всех товаров:

– Мы все молим бога за нашу благодетельницу!

Для Любы слишком тяжела была эта сцена; она едва сидела, не зная, куда глядеть: со всех сторон устремлены были на нее глаза разного цвета и выражения. Тавровский понял ее умоляющие взгляды и под предлогом усталости испросил у Натальи Кирилловны позволение Любе уйти в свою комнату, куда и проводила ее сама Наталья Кирилловна. Зина осталась одна с Любой и по уходе Натальи Кирилловны

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
кинулась к ней на шею и, целуя ее, со слезами сказала:

– Защитите хоть вы меня здесь! У меня нет ни отца, ни брата; я из милости взята в дом. О, я самая несчастная!

Люба была тронута отчаянием Зины, которая с первого взгляда не очень-то ей понравилась; но быстрые глаза Зины в эту минуту были отуманены избытком слез. Люба спросила ее с участием:

– Что же я могу сделать?

– Ах, ваше одно внимание ко мне – и участь моя изменится. Если б вы знали, что за люди окружают добрую Наталью Кирилловну; они даже ссорят ее со всеми родственниками. – Голос Зины понизился, и она, глядя на дверь, прибавила:– Вот, смотрите, за мной уж подсматривают.

И точно, дверь скрипнула и лягушечья физиономия Ольги Петровны показалась.

Зина, уходя, шепнула Любе:

– Вот самая страшная женщина в доме; берегитесь ее и не говорите ей ничего: она всё передает навыворот Наталье Кирилловне.

Но любезная улыбка уже дрожала на ее губах, когда, удаляясь, она встретила лицом к лицу с Ольгой Петровной, которая подошла к Любе и сказала:

– Вы, я думаю, очень устали после дороги; всё ли вам хорошо? не хотите ли чего-нибудь – чаю или кофею?

– Нет, благодарю вас!

Ольга Петровна приблизилась к Любе и, глядя на дверь, таинственно и шепотом сказала:

– Я пришла вас предупредить, что лицо, сейчас бывшее у вас, вертит всем домом; берегитесь ее: она способна на всякое черное дело!

Люба с удивлением слушала.

– Спокойной ночи! усните хорошенько! – громко сказала Ольга Петровна и вышла из комнаты.

Люба не успела вздохнуть от двух визитов, как дверь вновь скрипнула: приживалка с мутными глазами, высунув одну головку и мотая ею, как алебастровый зайчик, с приторной улыбкой сказала:

– Позвольте взглянуть на нашу красавицу? – И, не дождавсь позволения, вошла в комнату, продолжая напевать сиповатым голосом:– Можно сказать, будет парочка: оба красавцы, молоды, добродетельны, щедры... и... и... – Приживалка приостановилась и через минуту поспешно продолжала:– Я могу сказать, что любима всеми. Вот на днях я еще встретила Зюзиных: уж как меня просили погостить к себе! и барышни тоже, они такие милые, ласковые и в совершенстве, можно сказать, умные, все науки прошли – и арифметику, и грамматику, даже такие худенькие чрез науки, – и они уж как упрашивали меня! Но как же мне было оставить дом, когда такого счастья и, можно сказать, торжества мы ждали! Я признательна: мой батюшка и матушка были такие, зато их все любили и ласкали. – И приживалка чмокнула в плечо Любу и сказала:– Мы все вас покорно просим не оставить нас вашими милостями; мы и малым будем довольны. Извините, что беспокоила вас, желая лично засвидетельствовать от всех нас глубочайшее почтение и пожелать вам спокойной ночи после такой дальней дороги.

И приживалка, кланяясь до самой двери, наконец скрылась.

Люба, усталая и удивленная, осталась одна в доме, где не только стены, но и все живущие были для нее совершенно новы.

Любу несколько не изменило пребывание в Москве, куда привез ее отец, чтоб дать ей, по желанию Тавровского, светское образование. Она прожила там несколько

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
месяцев, но провела их большею частию у постели больного отца, а остальное время с учителями, которые решительно не могли ей внушить никакой светскости. И Люба осталась, как она была. Разумеется, любовь, потеря отца, другая обстановка жизни – всё это настолько на нее подействовало, что оригинальное ее воспитание не могло обнаружиться резко. Цыган был при ней; на него заметно легла печать пребывания в столице. Он принял все манеры самостоятельного человека, сосредоточенного в себе. Его туалет, гордая осанка вовсе не шли к роли лакея, каким его приняли в доме Натальи Кирилловны, – и он, казалось, не желал изменить ее.

## Глава LXII

### Открытие

Наталья Кирилловна, при всей своей гордости, не могла не поддаться чувству, так естественному в женщине, именно – порисоваться перед Любой. Люба иначе ее не видела, как окруженною толпой приживалок, рассыпавших щедро похвалы доброте и знатности своей благодетельницы. Тон голоса Натальи Кирилловны с Любой был покровительный; она проповедовала ей о неслыханном счастье породниться с таким знатным домом.

– Мой племянник мог иметь невесту не только из первых красавиц знатного дома, но и богачку. Верно уже так было угодно богу! – вздохнув, замечала Наталья Кирилловна.

– Да уж он такой красавчик, что все, кажется, из нашей сестры одного его мизинчика не стоим! Он в совершенстве, можно сказать, один из первых красавцев во всем свете, – подхватывала приживалка с мутными глазами.

Зина, как бы по наивности, рассказала множество проказ Павла Сергеича, и, между прочим, как от него сошла с ума дочь одного бедного чиновника, жившего в одной улице.

Для Любы были тягостны такого рода беседы. Она не произносила ни слова, с удивлением слушая эти толки и каждый раз рассматривая коллекцию зверообразных лиц приживалок с таким видом, как будто в первый раз она их видит.

– И глупа даже! хоть бы одно слово! – с негодованием восклицала Наталья Кирилловна по уходе ее.

– Ей говорят, что какую ей честь сделал Павел Сергеич, а она хоть бы приласкалась к вам! – с ужасом восклицала та же приживалка с мутными глазами.

– Да она ни с кем, кроме как с цыганом, кажется, не говорит, и то всё на их языке! – заметила Зина.

– Как угодно Павлу Сергеичу, а я удалю из своего дома цыгана, – сказала Наталья Кирилловна.

– Да они ведь все конокрады: надо конюшни крепче запирать! – подхватила приживалка с зобом и мутными глазами.

– Даже совестно! придешь к ней в комнату, а он сидит перед ней и не встает! – опять сказала Зина, поглядывая на Наталью Кирилловну, которая, стукнув палкой, сказала:

– Позвать его сюда!

В минуту приказание было исполнено, и цыган гордо вошел в комнату, где, приняв важную позу, сидела в креслах Наталья Кирилловна. Он поклонился только ей одной, и то без особенного почтения. Приживалки стали перешептываться; но голос Натальи Кирилловны заставил их замолчать. Она сказала презрительно:

– Любезный, я узнала, что ты заведешь делами Любови Алексеевны.

– Да.

– Я тебя устранию, и ты должен передать теперь все бумаги и документы моему управляющему; она теперь будет под моим надзором.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Я не могу этого сделать и ни одной бумаги не дам! – отвечал цыган.

– Как! – с горячностью воскликнула Наталья Кирилловна. – Я? мне! ты не отдашь ее бумаг? Да я еще хочу знать, есть ли у Любви Алексеевны что-нибудь?

– Деревня.

– Как говорит! даже досадно слушать, точно не видит, что с барыней! – заметила Зина вполголоса.

Но Наталья Кирилловна услышала и отвечала ей:

– Деревенщина! – и, обратись к цыгану, повелительно продолжала:– Любовь Алексеевна у меня в доме, и я требую, чтоб ее дела были сданы мне, слышишь: мне на руки!

– И этого не могу!

– Да ты с ума сошел! – стукнув палкой об пол, крикнула Наталья Кирилловна. – Ты, кажется, вообразил, что Павел Сергеич имел виды на ее деревушку, сватаясь за Любовь Алексеевну! ха-ха-ха!

И хор приживалок подхватил смех Натальи Кирилловны.

Цыган обводил глазами всех, и когда смех унялся, он громко сказал:

– Никто, даже сама Любовь Алексеевна, не знает своего состояния.

– Неужели каких-нибудь пятьсот душ ей трудно сосчитать! – язвительно заметила Зина.

– Ее состояние не в душах, – отвечал цыган.

– В чем же? деньги есть? – спросила Наталья Кирилловна с достоинством.

– Да.

Наталья Кирилловна заметно пришла в волнение, мучимая желанием узнать скорее сумму, – но боялась уронить свое достоинство. Зина, эта догадливая фея, тотчас поняла желание своей благодетельницы и сказала:

– А сколько тысяч? в ломбарде или в частных руках?

– Несколько миллионов! – протяжно произнес цыган, и презрительная улыбка мелькнула на его губах, когда Наталья Кирилловна встрепенулась, приживалки ахнули, повторяя: «Миллионщица, миллионщица!», а Зина, побледнев, с ужасом поглядела на него и как бы невольно произнесла:

– Это неправда!

Цыган вынул из кармана какие-то бумаги и показал Наталье Кирилловне. Зина, вся дрожа, глядела на них через плечо Натальи Кирилловны, и пот крупными каплями выступал на ее крутом лбу.

– И в твоих руках такие суммы! даже Любовь Алексеевна не знает! – воскликнула почти с ужасом Наталья Кирилловна.

– Она знает, что у ней есть деньги, но мало обращает на них внимания. Отец ее, умирая, сделал меня своим душеприказчиком и опекуном всего имения его дочери.

– Какое безрассудство! мальчишке! – воскликнула Наталья Кирилловна, но остановилась, брови ее сдвинулись, и она окинула глазами толпу приживалок, потому что кто-то из них, увлекшись ее примером, подхватил:

– Цыгану!

– Это что? молчать! вы, кажется, одурели! вмешиваетесь в барские дела! – крикнула Наталья Кирилловна.



Все приживалки повесили носы.

Наталья Кирилловна обратилась к цыгану и более мягким голосом, чем прежде, спросила его:

– Ты очень привязан к Любове Алексеевне?

– Да.

– Грех, великий грех во зло употреблять доверенность умирающего человека, который оставляет сироту. О, это черное, низкое дело! – наставительно сказала Наталья Кирилловна.

Цыган молчал.

– Ну а сколько миллионов? три, четыре? – спросила Наталья Кирилловна, наскучив выжидать вопроса своей догадливой Зины, которая словно пораженная громом стояла за ее креслом.

– Отец Любвы Алексеевны еще давно имел большой капитал, потом он продал всё имение свое, исключая одной деревни, и даже не трогал процентов. А этому лет пятнадцать.

– Сколько же, сколько же? – потеряв всякое достоинство, нетерпеливо говорила Наталья Кирилловна.

– Одиннадцать миллионов! – громко произнес цыган.

Зина вздрогнула. Наталья Кирилловна свободно вздохнула, а приживалки радостно начали креститься и шептались между собой:

– Вот поди узнай, что такая богачка, – выглядит просто сотысячной невестой!

– Не всё то золото, что блестит!

И так далее; шепот продолжался, пока Наталья Кирилловна была погружена в какое-то раздумье. У ней в голове быстро всё уладилось: как она вновь поднимет этими деньгами свой дом, выкупит имения, заложенные или запроданные. Улыбка озарила ее строгое лицо, и она очень ласково сказала цыгану:

– Хорошо ли тебе, любезный, у меня в доме? ты спроси, что тебе будет нужно...

Цыган поклонился и вышел.

Приживалка с мутными глазами выступила из толпы вприпляску, подперев руки в бока и сильным голосом напевая:

– Миллиончики, голубчики! тра-ла-ла!

– Чему ты радуешься? а? – спросила, смеясь, Наталья Кирилловна.

– А как же не радоваться! надо веселиться: свадьба в доме!

И приживалка опять завертелась, напевая.

Все смеялись, исключая Зины, которая бессмысленно глядела на всех.

Наталья Кирилловна в этот день встретила Павла Сергеича очень любезно и, поцеловав его, погрозила ему пальцем, сказав:

– У-у-у, какой хитрец! ишь как скрывал, я не ожидала от тебя таких расчетов!

– Что такое? – не без удивления спросил Тавровский, который решительно не знал о миллионах своей невесты.

– Тс! идет твоя невеста! – отвечала Наталья Кирилловна и, к удивлению всех приживалок, сама пошла к ней навстречу и, поцеловав ее, сказала:– Что ты всё

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
сидишь одна?.. Павел Сергеич, я надеюсь, что могу ее назвать так, как свою дочь?

– Она верно будет очень счастлива! – заметил Тавровский.

– Не хочешь ли ты посмотреть Петербург? тебе надо быть веселой, а ты всё такая печальная! Впрочем, недавняя потеря!.. это даже ей делает честь, что у ней такое чувствительное сердце.

– Можно сказать, что кто взглянет на Любовь Алексеевну, то уж не скажет, что она злая; и взаправду говорят, что глаза есть зеркало души! – протараторила приживалка с мутными глазами.

– Да, уж у кого злые глаза, то и душа дурная! – подхватила Ольга Петровна.

И глаза ее встретили презрительный взгляд Зины, стоявшей позади Натальи Кирилловны, которая, потрепав по щеке Любу, сказала:

– Да, у ней глазки хорошенькие! – и прибавила: – Я знаю, отчего ты скучаешь: хочется скорее свадьбы!

Люба покраснела, сконфузилась и выронила из рук носовой платок. Она хотела его поднять, но Наталья Кирилловна удержала ее и, обратясь к Зине и указывая на платок палкой, повелительно сказала:

– Подыми!

Зина сделала вид, что не слышит, и повернулась назад; но Наталья Кирилловна коснулась ее плеча палкой и сердито сказала:

– Ты слышишь, я тебе говорю: подыми!

Зина закусила губы и не двигалась с места. Люба и Тавровский желали прекратить сцену; но Наталья Кирилловна не позволила им и, стукнув палкой об пол, грозно сказала Зине:

– я тебе говорю: подыми платок Любви Алексеевны!!

Тишина воцарилась в зале; все смотрели на бледную Зину и гордо стоявшую перед ней Наталью Кирилловну. Члены Зины, казалось, лишились способности гнуться, и она с трудом наклонилась, чтоб поднять платок. Наталья Кирилловна, следившая за ней, толкнула ее палкой в спину, сказав:

– Согнись пониже, пониже!!

Зина очутилась на коленях перед Любой и, подавая ей платок, так взглянула на нее, что та попятилась назад.

– Что это значит?! Вам, кажется, показалось низким поднять платок Любви Алексеевны? а? – с горячностью спросила Зину Наталья Кирилловна.

– Я... я потому не могла этого скоро сделать, что, побежав к вам с лестницы, ушибла колено, – невнятно произнесла Зина и, морщась и прихрамывая, вышла из комнаты под радостно-насмешливые взгляды приживалок.

– То-то! я бы посмотрела, кто осмелился бы оказать невнимание моей племяннице в моем доме...

И Наталья Кирилловна грозно обвела глазами своих приживалок, которые старались умильно-почтительными улыбками выразить готовность для угождений идти в огонь и воду...

Зина, прибежав в свою комнату, предалась бешеному отчаянию. Она била себя в грудь, рвала на себе волосы; но через полчаса, как ни в чем не бывало, она вертелась уже перед зеркалом, примеривая новое платье. Вечером в тот же день она в девичьей разыграла роль Натальи Кирилловны с одной из молоденьких горничных, и еще с большим эффектом, хотя и без помощи палки. Потом Зина обошла и обнюхала весь дом. И в ее комнате беспрестанно стояли на коленях, прося прощенья, то лакей, то кучер, то прачка.

Приживалки более ни о чем не могли толковать несколько дней сряду, как о несметном богатстве Любы.

– Говорят, что у ней бабушка была, знаете, колдунья: ну, известное дело – цыганка. Она свою душу в совершенстве, можно сказать, отдала нечистому за то, чтоб вот всё превратилось в золото. Она и насыпала два мешка круп и отдала своей дочке, велела беречь и умерла; а дочь отдала мешки своей дочери, то есть нашей невесте, и та как развяжет мешки, думая: с крупой, а там всё золото! Она...

Зина тихонько подкралась, прослушала повествование приживалки с мутными глазами и, ударив ее по плечу, крикнула:

– Ну что вы чушь-то говорите!

Приживалки все вскрикнули, а рассказчица обидчиво сказала:

– Я говорю, что мне сказали! Я не умею сочинять турусы на колесах.

– Оттого что вы глупы! ну просто деньги эти украдены табором, а ее отец обокрал цыган, – вот и всё. Вот тебе и важная фамилия: роднится с цыганками!.. ха-ха-ха!.. А небось на бедной, вишь, ее племяннику никак нельзя жениться!

Зина в минуты гнева выбалтывала самые сокровенные свои тайны. Ольга Петровна, как опытный охотник, всегда зорко сторожила добычу и часто в такие минуты подстрекала Зину.

– и была бы хороша собой, умна! а то просто пень: всё молчит! – заметила Ольга Петровна.

– Да просто проигрался в пух и представился, что влюбился, а сам для денег! – отвечала Зина.

– Да она могла его и приколдовать: ведь цыганки все знают, что подсыпать! – заметила приживалка с мутными глазами.

– А вот Зинушка и не цыганка, а, помните, Павлу Сергеичу что-то сыпала в кофей, – смеясь, сказала Ольга Петровна.

– Я сыпала? я?

– Да, я всё видела, да молчала.

Зина видела, что отпираться нельзя, и презрительно сказала:

– Я его потчевала, чтоб он меня оставил в покое. Я знала, что ему деньги нужны. Да я его еще угощу!! – грозно прибавила она.

– Ну что вы ему можете сделать? – стараясь как можно более придать своему вопросу простодушия, спросила Ольга Петровна.

– Да я, если захочу, то свадьбу расстрою: я...

Зина вдруг остановилась, быстро оглянула своих слушательниц и принужденно и громко засмеялась, так что все вздрогнули.

– Ха-ха-ха! вот уши-то развесили! я им говорю разный вздор, а они, кажется, верят... Ха-ха-ха!

Напрасно Зина смеялась, вывертывалась. Ольга Петровна слово в слово передала этот разговор Тавровскому, который принял свои меры. Он просил Любу не пускать Зину к себе и не говорить с ней. Люба и сама этого желала, потому что Зина просто пугала ее.

#### Глава LXIII

##### Бенефициантка

Сколько тревог и волнения для актрисы в день ее бенефиса! Колокольчик в ее квартире беспрерывно раздаётся, являются лакеи с пакетами, с которых не без

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
волнения срывается бенефицианткой печать, и улыбка удовольствия или презрения  
выражается на ее озабоченном лице. В это утро нет минуты для нее свободной:  
примерить костюм, заказать ужин, закупить вина, разослать билеты лицам,  
пользующимся ее уважением. Каждый час приносятся известия о распродаже билетов в  
кассе, и если толпа большая у окна, то даются тайные инструкции увеличить цену  
на билеты.

В уборной бенефициантки множество народу, чай, как разливанное море, льется в уста  
всех. Бутылки с вином, пирог, конфеты стоят на окнах уборной. Если в пьесе  
нужно угощение, то бенефициантка считает обязанностью подать его настоящее, а не  
картонный пирог и не пустую бутылку.

Был бенефис одной актрисы; театр был полон; бенефициантку встретили  
продолжительным рукоплесканием, стучанием палками и ногами.

После первого акта бенефициантка поддурманивала себе щеки у трюмо. Уборная ее  
была большая комната, меблированная очень хорошо; в углу сидел за столом  
мрачного вида старик, раскладывавший по кучкам деньги, вынимаемые из ридикюля.  
Руки его слегка дрожали, а глаза блистали каким-то странным в его лета огнем. Он  
вслух считал деньги и, отделив несколько кучек серебра и ассигнаций, сказал:

– Ровно тысяча! Это верно: три раза пересчитывал.

– Ужасно дешево пущен раек! – заметила бенефициантка, пристально всматриваясь в  
себя. Держа в руке румяны, она в нерешительности то приближала руку к щеке, то  
удаляла ее.

– Как! дешево? – с удивлением спросил мрачного вида старик.

– Ну да! сами сказали, что половина народу ушла назад.

– Оно так; но если б вы слышали, как сначала публика была недовольна. Один  
пожилой господин так раскричался!..

– Дурак! он, верно, думает, что с него одного возьмут такую цену! Ну и не взял  
билета? Чего он хотел – ложу?

– Креслы!

Бенефициантка засмеялась и сказала:

– Чем дороже пустить билеты в бенефис, тем более можно надеяться на полный сбор,  
потому что каждому льстит, что он был в бенефисе. Да если бы пустить дешево в  
кассе, тогда что бы присылали на дом за билеты! – так рассуждала бенефициантка,  
а мрачного вида старик с удовольствием слушал ее, потирая руки.

В уборную вбежало несколько актрис и актеров с поздравлениями по случаю хорошего  
приема бенефициантки публикой. Но при виде денег все обступили стол и осыпали  
вопросами мрачного старика: «Сколько очистилось? Почему был пущен 1-й ярус лож?»  
– и так далее.

– Очистилось четыре тысячи, да на дому до трех тысяч, – небрежно отвечала  
бенефициантка.

Некоторые актрисы выразительно перемигнулись между собою. Один из актеров, в  
испанском плаще и с наклеенными усами, сказал:

– Вот это бенефис! не то что у Лапотниковой: всего было сто человек... и с  
детьми-то ее!

– Своих приплатила по расходу пьесы... ха-ха-ха! – заметила молоденькая актриса.

И смех сделался общим, но от стука в дверь уборной замолк, и многие из  
присутствующих закричали:

– Войдите, войдите!

– Любская здесь одевается? – раздался сиповатый, дрожащий голос за ширмами,  
Страница 372

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
которыми была отгорожена дверь уборной.

– Здесь! здесь! – отвечали все в один голос, и любопытство озарило их лица.

– Можно войти? ее нет здесь? – опять раздался сиповатый голос.

– Я здесь! – отвечала бенефициантка, выступая вперед.

Из-за ширм показалось лицо, знакомое уже читателям: то был Остроухов, который, очутясь в ярко освещенной комнате, с минуту озирался кругом, ничего не видя.

– Ты, кажется, меня не узнаешь, – подходя к Остроухову, сказала бенефициантка.

Немудрено, что Остроухов не вдруг узнал Любскую. Между той, которая оставила город NNN, и теперешней почти ничего не было общего. Года не сделали большого влияния на красоту ее. Нет, она, казалось, в эту минуту была во всем блеске. Но выражение лица до того изменилось, что Остроухов глядел во все глаза на Любскую, как бы стараясь отыскать в ее лице хотя одну черту, глубоко запечатлевшуюся в его памяти.

– Неужели я так изменилась? – ласково и в волнении спросила Любская.

Остроухов, как бы узнав ее теперь только, радостно кинулся к ней, обнял ее и с жаром поцеловал в щеки, в губы и в лоб, бормоча:

– Так это ты? Наконец-то я тебя опять вижу!

Любская вырывалась из его объятий, сердито крича:

– С ума сошел! дурак! что с тобой?

Присутствующие с ужасом глядели на Остроухова, которого оттолкнула Любская, крича своей горничной:

– Белил, румян!!

Остроухов пугливо вытирал рукой губы и с ужасом смотрел на румяны, как будто бы то была кровь. Потом он робко взглянул на Любскую, озабоченно забеливавшую свое лицо.

Остроухов нашел, что в красоте Любская очень много выиграла; может быть, костюм и сильное освещение способствовали немало этому. Но он не мог не сознаться, что это не та Любская, с ласковым взглядом, с кротким голосом. И, как бы рассуждая сам с собой, он произнес, глядя на Любскую:

– Да, много, много изменилась!

– Небось, ты мало изменился! – смеясь, отвечала Любская.

– Что я? Но знаешь ли: ведь ты лучше стала!

На лице Любской заметно показалась улыбка гордости и самодовольствия, и, продолжая подрумяниваться, она сказала:

– Лучше не лучше... а знаешь ли, ты попал на мой бенефис?

– Я бы, может быть, и не так скоро нашел тебя, если бы не твой бенефис. Я спал у себя и слышу вприсонках: читают афишу за перегородкой... прислушиваюсь: твое имя. Я вскочил да сломя голову! взял извозчика, говорю... Ах, я и забыл его... дай-ка мне гривенник!

Любская обратилась к мрачному старику, продолжавшему считать деньги, и сказала:

– Дайте ему гривенник!

Мрачного вида старик злобно посмотрел на Остроухова и грубо кинул ему гривенник по столу.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Скажи, зачем ты приехал в Петербург? и каким образом? – спрашивала его Любская.

– Я приехал для тебя! – отвечал печально Остроухое.

Колокольчик, раздавшийся у двери уборной, привел всех в волнение. Все побежали из комнаты. Любская, подбирая шлейф своей мантии, сказала Остроухову:

– Для меня?? зачем же? скажи-ка!

– Нет, после, после! – отвечал в волнении Остроухов.

– Какие глупости! да разве что-нибудь ужасное? Я, право, не знаю ничего, что могло бы меня огорчить. Мы так давно не видались, у меня там никого нет близких!.. – в недоумении говорила Любская, как бы стараясь разгадать причину приезда Остроухова, и нетерпеливо прибавила: – Да говори: я ведь не ребенок, как была прежде.

Остроухое сначала не решался, но при повелительном жесте Любской он нагнулся к ее уху и шепнул что-то. Любская быстро отшатнулась назад, поглядела с минуту на Остроухова и потом засмеялась, сказав:

– Напрасно хлопотал из-за пустяков. Ну и только?

Остроухов молчал, глядя странно на Любскую, которая на звон колокольчика быстро пошла к двери, сказав Остроухову:

– Ты подожди меня!

И она скрылась.

Остроухов и без ее приказанья остался бы. Он долго стоял на том месте, где его оставила Любская, перебирая губами:

– Ну только-то? гм!! только-то!!

Вздыхнув тяжело, Остроухов сел на стул, стоявший против трюмо, и, увидев в нем свою фигуру, с грустью покачал головой и с презрением произнес:

– Господи, господи! как же глупа эта старая башка!

И он, с силою ударив себя в лоб, отвернулся с сердцем от трюмо и устремил глаза свои на старика мрачного вида, совершенно углубленного в счет денег.

– Вы ее кассир сегодня? – спросил у него Остроухов после некоторого молчания.

Старик вместо ответа сухо кивнул головой.

– А хорош сбор?

Старик опять кивнул головой.

Остроухов искоса поглядел на него и начал ходить по уборной.

Его изношенное, старого покроя платье, размашистые манеры, покрытое морщинами лицо, всклокоченные волосы очень были странны в ярко освещенной комнате, убранной с роскошью, и посреди денег, брильянтов и других дорогих вещей, разбросанных на столах.

Горничная неумоимо следила за его движениями, и когда Остроухов подошел к столу, где были разбросаны вещи, она без церемонии стала их убирать в ящик и заперла на ключ. Остроухов не замечал этого; он разглядывал дорогой несессер и спросил горничную:

– Это чей?

– Наш-с! – отвечала горничная и тоже стала его укладывать.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Остроухов, казалось, только теперь понял, в чем дело; однако ж без гнева и без гримасы он быстро отошел от стола и спросил горничную:

– А что, скоро кончится это действие?

– Я не знаю-с: пьесу в первый раз дают.

– Гм! Ну а как – билеты сама она развозила? или не в моде? а?

– К нам-с сами все приезжают или присылают за ними, – с гордостью отвечала горничная.

– Вот! оно и лучше, чем самому мерить лестницы да по часу ждать в передней, да еще вышлют сказать с лакеем, что, дескать, убирайся восвояси. А не то велят оставить билеты, а деньги, мол, после! Нет, так, как я вижу, лучше. И актер не унижается, да и публика свободна – взять билет или нет.

– Что город, то норов, что деревня...

– То обычай... так! – перебил Остроухов старика мрачного вида и продолжал: – Уж коли есть в крови способность низкопоклонничать, так хорошо жить; не посмотрит и на обычай. Я вот знавал одного актера: дрянь был, ну а везло, – полный бенефис, да еще цену какую соберет. Вот целый год вьется да увивается около какого-нибудь театрала. И куплетцы ему сочиняет, и детей своих всех нарядит шутами да разыграет с ними комедию на его празднике; ну вот, придет бенефис его, а он и бух в ноги милостивцу, говорит: жена, малые дети, помоги! Как так? А вот увидишь, только созови побольше гостей. Обед задает театрал, созовет весь город. Подают суп, а пирожки несет по-поварски одетый будущий бенефициант и потчует усердно гостей, упрасивает кого два, кого четыре взять. Гости берут, едят, а к концу обеда мнимый повар возьмет серебряную тарелку, да и ну обходить да собирать деньги за пирожки, а билеты в руки. Вот как деньги достают! – ораторствовал Остроухов.

В это время впопыхах вбежала Любская, срывая с себя платье, вещи и крича:

– Переодеваться, переодеваться!

Платье трещало, брильянты летели на пол, волосы если запутывались, то клоками вырывались или отрезывались. Минуты скорого переодевания имеют что-то лихорадочное. Остроухов принимал такое сильное участие в переодевании Любской, что повторял почти все жесты, какие делала она.

– На сцену, на сцену! – раздался запыхавшийся голос у дверей.

– Сейчас, сейчас! – кричала Любская и топала ногами на свою горничную, замешкавшуюся с вуалем.

Любская кинулась к дверям и остановилась, сказав:

– Войдите, вы можете подождать, я сейчас вернусь.

– Вы играли превосходно! – отвечал чей-то голос за ширмами.

– Извините, я спешу, – сказала Любская и исчезла.

В уборную вошел Тавровский. Увидав Остроухова, он нахмурил брови.

– Вы меня не узнаете? – кланяясь, сказал Остроухов.

– А-а-а! старые знакомые! Это как вы сюда попали? Даша! не скрываете ли вы сюрприз публике, какой-нибудь дивертисемент из него?

Даша, горничная Любской, залилась смехом.

– Нет-с, я в дивертисементах никогда не участвовал: мое амплуа – драма, – несколько обиженным голосом отвечал Остроухов.

– Это, впрочем, сейчас видно: у вас и наружность драматическая.

– Зато я в жизни никакой драмы не устроил и никого не заставил проливать слезы.

– Я замечаю, что вы очень смелы в уборной! – с презрением и не без досады проворчал Тавровский.

– Может быть, потому, что здесь я не боюсь никого, кто бы, зная мою слабость, воспользовался ею, – понизив голос, отвечал Остроухов.

Тавровский гордо взглянул на него и сказал:

– Вы очень ошиблись, если думали, что я принимал какие-нибудь меры...

– Не вы, а ваш верный слуга.

– Я не виноват, что вы имеете привычку дружить с лакеями.

Остроухов весь вспыхнул и, едва сдерживая свой гнев, с расстановкой сказал:

– А у вас, верно, вошло в привычку оскорблять людей, ниже вас стоящих, не краснея! Это доказывает, сколько мало вас воспитывали, и если бы не...

– Прошу не продолжать!! – крикнул грозно Тавровский и, подойдя к столу, у которого сидел мрачного вида старик, сказал:

– Кажется, полон театр и цена очень дорогая, мне говорили.

– Пустяки-с, – возразил мрачного вида старик.

– Возьмите кстати и за мои креслы.

И Тавровский положил на стол ассигнацию в двести рублей.

Остроухов неожиданно кинулся к столу: бумажка очутилась в руках его. Старик с ужасом сказал:

– Что вы? как вы смеее чужие деньги трогать?

– Возьмите назад! я отдаю их вам от нее. Она не захочет... – крикнул Остроухов; но его слова были заглушаемы голосом мрачного старика:

– Вы ее разорвете! оставьте!

– Я не хочу, чтоб он платил ей! – выходя из себя, сказал Остроухов.

Он рванул бумажку, и половина ее осталась у него в руке, а другая у старика, из груди которого вырвался дикий крик.

Остроухов подал деньги Тавровскому, который стоял у трюмо и оттуда следил за борьбой. Тавровский отклонился от Остроухова и сказал:

– Я советую вам лечиться, потому что такие вещи можно делать только в белой горячке.

И Тавровский пошел к двери, но остановился. Любская, усталая, вошла в уборную и спросила:

– Что за шум?

– Да вот здесь есть господин в белой горячке, – отвечал Тавровский.

– То, что я сделал... я уверен, она будет довольна мною! – перебил его Остроухов.

– Посмотрите, что он наделал! – чуть не плача, говорил мрачного вида старик, прилаживая половинки бумажки.

Любская, взяв ее, спросила:



– Это как он ее разорвал?

– Брось ее: эти деньги от него! он вздумал оскорблять меня; ты.. – голос Остроухова задрожал, и он замолк, глядя на Любскую, которая, усмехнувшись, положила ассигнацию в несессер свой.

– Прощайте! – сказал Тавровский.

– Погодите; два слова! – отвечала Любская.

– Нельзя ли отложить?

– А-а-а! вы, верно, уже догадываетесь, в чем дело! – подходя к нему, сказала Любская.

– Этот сумасброд, кажется, сделался моим трубадуром и везде расславляет...

– Имя вашей красавицы!

– Знаете ли, ужасно смешно видеть вас под защитой этого ярмарочного актера! – смеясь, сказал Тавровский.

– Но, я думаю, вы еще смешнее в роли жениха.

– Вы, я вижу, за серьезное приняли всё, что наболтали вам?

– Я столько раз, по вашим уверениям, считала за шутки вещи очень важные, что теперь я наоборот делаю.

– То есть всё, что я ни скажу серьезно, вы принимаете за шутку, и наоборот?

– Да!

– Тогда я вам скажу серьезно, что я женюсь! и скоро! Как вы это примете?? – принужденно смеясь, сказал Тавровский.

– Я шутя вам буду отвечать, что этому не бывать. Ведь вы давно бы женились; но вы чувствуете, что неспособны к семейной жизни, что сделаете несчастной ту, которая свяжет с вами жизнь свою.. ха-ха-ха!

И Любская смеялась очень весело.

– Вы, кажется, горячитесь! – заметил ей Тавровский.

– Нисколько!

Весь их разговор происходил за ширмами очень тихо; особенно те слова, которые были многозначительны, произносились чуть слышно. Звонок, раздавшийся опять у двери, заставил их разойтись. Любская приветливо сказала Тавровскому:

– Я надеюсь, после спектакля вы ко мне ужинать?

– Непременно! непременно! – уходя, отвечал Тавровский.

Когда кончился спектакль, Любская, после нескольких вызовов, переодетая в капот, считала деньги и укладывала их в маленький ящик; горничная ее убирала костюмы в картонки, а Остроухов скорыми шагами мрачно ходил по комнате.

Любская прервала молчание:

– Ну, долго ли ты здесь пробудешь?

– Не знаю!

– Однако что тебе здесь делать?

– О, я знаю... нет, я уеду, я очень скоро уеду отсюда! – как бы в отчаянии говорил Остроухов.

– Карета готова, – сказал мрачного вида старик, войдя в уборную в шинели.

– Возьмите несессер! – надевая салоп, отвечала Любская.

Мрачного вида старик исполнил приказание и вышел.

– Кто это у тебя? – спросил Остроухов.

– Неужели не догадался?

– Кто?

– А, Федор Андреич! – равнодушно отвечала Любская.

– Так этот! – вскрикнул Остроухов и с удивлением глядел на Любскую, которая, взяв ящик с деньгами и озираясь кругом, сказала, уходя к дверям:

– Даша, не забыли ли мы чего?

– Нет-с, всё взято.

– Да! прощай! – повернув голову к Остроухову, сказала Любская и прибавила: – Ты сегодня не приходи ко мне: у меня гости; а завтра поутру мы еще раз переговорим.

И она вышла.

Остроухов как пригвожденный стоял на одном месте и смотрел в дверь, куда удалилась Любская.

Кучер вынес корзины и картонные коробки из уборной. Женщина с ключами всё прибрала в ней, погасила лампы и, готовясь гасить последнюю, грубо сказала:

– Ну, что стоите? здесь ночевать нельзя.

Остроухов вышел из уборной на сцену, которая быстро темнела; смрад от загашенных ламп разливался всюду; таскали кулисы, ставя их по местам. Мужики шумели между собой. Занавес взвился, и темный партер открылся, как пропасть. Сцена, не застановленная кулисами, казалась огромною. Остроухов, прижавшись в угол, следил машинально за всем, что происходило вокруг него. Наконец полили сцену, чтоб потушить искру, на случай, если б она как-нибудь попала в щель, и всё замолкло. Остроухов очнулся; но было поздно: сцена была пуста и темна. Вдруг показался вдали огонек, вот ближе и ближе: мужик пробирался по сцене с фонарем в руке. Остроухов кинулся к нему, спрашивая, как выйти.

– Эх, как засиделся! кругом заперто! иди через люк! – отвечал мужик.

И Остроухов скрылся с ним в люке.

На другой день мужчина и женщина не очень смело вошли в прихожую Натальи Кирилловны и спросили: «Дома ли Любовь Алексеевна Куратова?»

– Дома-с; а как доложить об вас? – спросил швейцар.

– Скажи, что госпожа Любская и господин Остроухов желают ее видеть, – отвечала поспешно дама.

Через минуту они были приведены в приемную комнату к Любе.

Часть четырнадцатая

Глава LXIV

Отступление

К одной из глухих станций \*\*\* губернии, в полдень летнего дня, подъехала дорожная коляска со стеклами. Лакея при ней не было, и, пока ямщик выпрягал лошадей, никакого движения не замечалось в экипаже.

Но когда ямщик, сняв шапку и держа усталых, взмыленных своих лошадей, подошел к завешенному окну коляски и сказал: «На водочку!», женская рука высунулась из

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
окна и подала ямщику монету.

– Вели скорее запрягать, – послышался приятный женский голос.

– Лошадей нет-с! – крикнул полный, краснощекий мужчина, лежавший животом на окне и в своих пухлых, красных руках державший чубук с бисерным чехлом.

Очень красивая женская головка выглянула из коляски и с ужасом спросила:

– Как нет лошадей?

– Только курьерские; вот-с и генеральское семейство ночевало по этой же причине: сегодня всех лошадей обобрали, – отвечал краснощекий мужчина.

– Боже мой! да как же это сделать? Ради бога, нельзя ли? – умоляющим голосом говорила путешественница.

– Никак-с не можно-с! – хладнокровно отвечал краснощекий мужчина и стал курить.

– Что же мне делать? – в отчаянии воскликнула путешественница.

– Извольте обождать: вон тут насупротив хороший есть трактир, – успокоительным голосом заметил краснощекий мужчина.

– Когда же будут лошади? – спросила путешественница, выходя из коляски.

– А вот-с как будут, сейчас и дадим, – отвечал он улыбаясь.

Путешественница была женщина лет двадцати трех, очень красивая, стройная, очень хорошо одетая; но с ней не было никого.

Несмотря на страшную пыль по всей дороге, от станционного дома до трактира была ужасная грязь, как будто ее искусственно поддерживали.

Путешественница призадумалась, как ей пройти; вдруг до нее долетел голос краснощекого мужчины:

– Полевей: там есть доска.

– А мои вещи в коляске?

– Не тронут-с; а не то извольте приказать внести к себе.

– Неужели не скоро лошади будут? – как бы всё еще не веря, спросила путешественница.

– Как-с будут, сейчас зложим! – с любезностью отвечал краснощекий мужчина.

Путешественница обошла грязь и с большим трудом взошла на лестницу трактира, встречая почти на каждой ступеньке какое-нибудь препятствие: то собаку со щенками, скалившую зубы, то наседку с цыплятами, то корыто с месивом, щетки сапожные в ваксе, корзину с сальными огарками, – всё было тут. Она вошла в большую комнату почти без мебели; в ней никого не было. Постояв с минуту, путешественница пошла далее и в соседней комнате, тоже не отличавшейся ни чистотой, ни избытком мебели, увидела белокурого парня, босого, в розовой грязной рубашке, сидевшего за круглым столом, на кожаном диване с деревянной спинкой, украшенном медными зеленоватыми гвоздями. Парень играл сам с собою в шашки и так был погружен в игру, что не заметил появления путешественницы, которая окликнула его. Парень поднял голову, и путешественница увидела сонное, бледное и пухлое лицо.

– Комнату почище, да внеси мои вещи из коляски! – сказала она.

Парень лениво встал с дивана и мерно постукивал шашкой о шашку.

– Вон там коляска! да скажи, чтоб сейчас же закладывали лошадей, как будут.

Парень, продолжая постукивать шашками под такт своей походки, медленно вышел из

Вещи из коляски были внесены в комнату, где ждала путешественница.

– Дайте же мне комнату, – сказала она белокурому парню.

– Да вот-с! других нет-с! – отвечал парень и стал собирать шашки.

Путешественница пугливо обвела глазами грязную комнату и тяжело вздохнула.

В самом деле, комната имела вид очень неприятный. Стены ее были забрызганы, стекла грязны. Из мебели кроме рыжего дивана в комнате находились еще круглый стол, несколько сломанных стульев, зеркало, испещренное точками и так высоко повешенное в простенке, что если б кому пришла охота в него посмотреться, то нужно было бы подставить стул, шкаф со стеклами и с комодом; на полках красовалась посуда, почти вся изувеченная.

– Что у вас есть кушать? – спросила путешественница.

– Ку-шать! – протяжно повторил парень.

– Ну да! что у вас есть?

– Да у нас ничего нет-с: мы не готовили сегодня.

– Как же у вас трактир, а ничего не готовили?

– Да-с, ничего-с! – флегматически отвечал парень.

– Ну приготовьте что-нибудь!

– Огонь-с надо разводить.

– Ну так что же?

– Да провизии никакой нет.

– Дай хоть чаю! – горячась, сказала путешественница.

– Чаю-с?

– Ну да!

– Не знаю-с! кажись, хозяин взял самовар! – пробормотал парень и пошел из комнаты.

Лицо путешественницы вспыхнуло; она сказала насмешливо:

– Хорош трактир – ровно ничего нет!

– Вино есть-с, и хорошее, – с гордостью отвечал парень. – Хозяин еще недавно на восемь тысяч купил на ярмарке.

– А есть нечего! – с упреком заметила она.

– Помилуйте-с, здесь проезжающих на редкость, а в этакой жар всякое съестное портится. Ну-с а вино дело другое. Коли гостей не будет, так и сам хозяин выпьет. Не пропадет! – улыбаясь, сказал парень.

– Как хочешь, достань мне самовар! я хочу чаю! – повелительно произнесла путешественница.

– Ветчина есть, да только... – нерешительно сказал парень.

– Ну так дай! – радостно перебила его путешественница.

– Да маленько пахнет! – вопросительно глядя на путешественницу, сказал парень.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Она отвечала:

– Ну хоть самовар достань!

Парень вышел из комнаты, притворив за собой дверь, и путешественница услышала следующий разговор парня с краснощекой мужчиной; оба они лежали на окнах. Парень кричал:

– Флегонт Саввич! а Флегонт Саввич!

– Асинька, Тихоныч? – позевывая, протяжно спросил краснощекий мужчина.

– Просят самовара, а хозяин унес свой.

Ответа не было, потому что Флегонт Саввич собирался чихнуть.

– Просят самовара?

– Да!

– Да!

– Желая здравствовать!

С минуту длилось молчание; потом зевота раздалась с обеих сторон.

Путешественница нетерпеливой рукой раскрыла окно и закричала Флегонту Саввичу:

– Дайте хоть вы самовар. В этом трактире ровно ничего нет!

Флегонт Саввич закричал повелительно:

– Мошка, Мошка!

Как бы из земли выскочил мальчишка из-под яслей и поднял голову кверху.

Мальчику было лет десять; он был бледен, худ; белые его волосы были всклокочены; толстая дырявая рубашка с поясом составляла всё его одеяние.

Флегонт Саввич важно произнес:

– Пошел, отнеси самовар Тихонычу!

Мошка кинулся на крыльцо станционного дома и через минуту, жиясь, тащил огромный самовар совершенно изумрудного цвета.

Путешественница, завидя самовар, пугливо закричала:

– Не надо! не надо!

– Мошка, назад! – крикнул, как бы обидясь, Флегонт Саввич.

– Мошка, давай скорее! – в то же время крикнул Тихоныч.

Мошка мялся, не зная, куда идти и кого слушаться.

– Мошка! – грозно крикнул Флегонт Саввич.

Мошка кинулся с самоваром к нему.

– Дурак, тащи его назад!

– Давай сюда, Мошка! я его почищу!

Мошка вопросительно глядел на Флегонта Саввича, который, указав головой на трактир, сказал:

– Ведь не желают?

– Давай!

– Ну неси!

Мошка понес в трактир самовар.

Ровно через час путешественница, соскучась ждать, вышла узнать о своей участи – будет ли она хоть пить чай? В большой комнате не было никого, и она раскрыла дверь в сени.

Смрад был страшный в сенях от самовара, наружность которого нисколько не изменилась. Он клокотал у самой головы спящего парня, растянувшегося на лестнице. При виде путешественницы собака выскочила из корзинки и, скаля зубы, кинулась на нее, как бы охраняя сон парня. Как ни кричала путешественница, выглядывая из двери, ей не было другого ответа, кроме сильного хранения парня и рычания собаки.

Слезы досады выступили на глазах путешественницы, и она, возвратясь в свою комнату, подошла к окну, в надежде пригласить на помощь флегонта Саввича, чтоб разбудить спящего полового. Но, увы! флегонт Саввич, засев плотно в окне, тоже сладко спал, свеся голову через сложенные руки, отчего его красное лицо посинело.

Путешественница стала звать дремавшего на крыльце мальчика; она долго звала его безуспешно, наконец крикнула:

– Мошка!

Тогда мальчик пугливо вскочил и поднял голову кверху, где висела голова флегонта Саввича.

– Мальчик, ко мне! – маня его, сказала путешественница.

Мошка кинулся через дорогу, вмиг очутился в дверях и, высунув свою косматую голову, спросил:

– Чего нада-с?

– Разбуди... как его зовут? ну, что спит на лестнице... собака кидается на меня!

– Его таперича не разбудишь!

– Отчего?

– Коли он захрапел, так ничем, кроме холодной воды! Уж его так завсегда хозяин будит.

– Ну облей его водой.

– Как же-с, я боюсь!

– Кто же мне даст самовар?

– Да я подам.

– Где тебе! ты и без воды-то его едва принес. Нет, лучше я положу в чайник чаю, а ты и налей там кипятку.

Мошка подставил стул к шкапу, достал с полки чайник с отбитым и почерневшим носком. Засаленный шнурок придерживал крышку его.

– Ты вымой его сперва, – сказала путешественница и прибавила: – Да как тебя зовут?

– Мирон!

– Отчего же тебя называют Мошкой?

- Знать, так им хочется!
- Есть у тебя мать, отец?
- Нет, мать давно-давно умерла, а батька убился зимой.
- Как?
- Он был ямщик: ну и убился.
- Где же ты живешь?
- А вон там.

И мальчик указал на крытый двор.

- И зимой? разве тебе не холодно? – с ужасом спросила путешественница.
- Иной раз так ночью прикрутит, что плачу, плачу... А сливочек достать? – спросил Мирон и потянулся на вторую полку.
- Отчего же тебя не пускают спать, где тепло?
- А как же – я должен будить Флегонта Саввича: кто приедет аль почта! – не без гордости отвечал Мирон.

Мальчик был так услужлив, что даже где-то достал путешественнице свежих яиц и черного мягкого хлеба, за что получил очень хорошее награждение. К ужасу своему путешественница узнала от Мирона, что не ранее завтрашнего дня ей дадут лошадей.

Часа через три сонный парень втащил самовар в комнату путешественницы, которая не могла не улыбнуться его удивленному лицу, когда он узнал, что она уже давно напилась чаю. Путешественница хотела было прилечь отдохнуть на диване, но парень сказал ей:

- Уж вы не извольте на нем ложиться – никак!
- А что?
- Да один приезжий чуть в окно не выскочил: так его закусили!

Путешественница с ужасом соскочила с дивана и села у окна.

Наблюдая за всем, что делается на улице, она убедилась, что действительно не для кого готовить кушать в трактире. Проезжающих совсем не было. Парень и Флегонт Саввич валялись на окнах, лениво перебрасываясь словами; драка петухов занимала их, словно какое-нибудь необыкновенное представление.

Путешественница принимала все меры к сокращению времени: работала, читала, пробовала дремать, и очень обрадовалась, когда солнце село и стало смеркаться. Она послала спросить о лошадях у Флегонта Саввича и получила ответ, что, «как будут лошади, сейчас заложат». И, покорясь своей участи, она решила провести ночь в комнате, откуда кто-то покушался выброситься через окно. Страшный стук телеги, крики, плач Мирона заставили ее выглянуть из окна. Она увидела приезжего господина, в усах, в серой шинели, в фуражке набекрень: он страшно кричал, наступая на Мошку:

- Так нет лошадей? нет? А куда же они девались?

Путешественница крикнула:

- Флегонт Саввич! – и голос у ней замер от взгляда, брошенного на нее приезжим. Он расшаркнулся и, приподняв фуражку, сказал:
- Коман ву порте ву?

Путешественница пугливо заперла окно. Через минуту она услышала страшный шум в

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a соседней комнате и умоляющий голос парня:

- Да нельзя-с, ей-богу, нельзя-с: занята-с.
- Пошел дурак! пошел! – кричал приезжий.

И дверь раскрылась настежь: сначала влетел в нее сонный парень, а потом бойко вошел усач; расшаркавшись, он сказал путешественнице:

– Экскюзе пур деранже! – и, крутя усы, пошатываясь и улыбаясь, он глядел на путешественницу, которая, вся вспыхнув, сердито сказала:

– Эта комната занята!

– Я не буду, сударыня, вас беспокоить. Эй, вина! да смотри, хорошего! – крикнул усач, усаживаясь на диван и набивая себе трубку из кисета, висевшего на пуговице его шинели.

Путешественница пошла к двери.

– Куда-с? Я, кажется, вас не обидел и не мешаю вам? – вскочив с дивана, сказал усач.

– Напротив, очень. Я первая заняла эту комнату; но если... Я уступаю ее вам.

– Помилуйте, сударыня! да я за честь почту услужить такой прелестной... Вы изволите ожидать лошадей?

– Я устала и прошу вас оставить мою комнату! – нетерпеливо и повелительно сказала путешественница.

Но усач расставил широко ноги; крутя усы и лукаво поглядывая на путешественницу, он продолжал:

– Вы откуда-с?

– Вы слышали мою просьбу – оставить меня в покое! – выходя из себя, сказала путешественница.

– Извините, извините, сударыня! – шаркая, говорил усач, но не двигался с места.

Не спуская глаз с нее, он спросил:

– Вы одни-с изволите путешествовать?

– Оставьте мою комнату! – крикнула путешественница.

– Экскюзе, мадам! Не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен?

– Очень, если вы оставите мою комнату!

– Вы здесь изволите ночевать?

– Да!

Усач закрутил усы, зашаркал, бормоча: «Экскюзе», и важно вышел вон.

Путешественница радостно кинулась запирать дверь – и с ужасом вскрикнула: замок был испорчен, ни крючка, ни задвижки не было. Бледность разлилась по ее лицу, когда она услышала голос усача:

– Вели отложить! я здесь останусь ночевать.

Путешественница открыла дверь и сказала слуге:

– Вели мне их заложить!

– Экскюзе, мадам! – радостно подскочив к ней, сказал усач.



Путешественница захлопнула дверь. Сердце у ней сильно билось, руки дрожали, и она в отчаянии искала убежища в своей комнате, пока усач бранился с парнем, осмелившимся ему заметить, что в комнату нельзя входить, потому что она занята. От страха у путешественницы как бы явилась сверхъестественная сила: она притащила диван к двери, поставила на него стол, стулья, даже бросила свой платок и салоп, воображая этим увеличить тяжесть. Потом она раскрыла окно и крикнула Мирона, которому велела принести гвоздей и молоток. Пока она связывала полотенцы и спускала за окно, чтоб Мирон навязал ей гвоздей, усач стучался в дверь, говоря:

– Сударыня, отворите! отворите!

Мирон так был догадлив, что даже навязал доску. И не успела она втащить всё это, как усач, высунувшись из окна своей комнаты, закричал:

– А-а-а! здравствуйте, здравствуйте! зачем вы прячетесь от меня? а?

Путешественница скрылась от окна, затворив его, и принялась заколачивать дверь.

Усач продолжал кричать, стуча чубуком в стекло:

– Не прячьтесь! выгляньте-ка! мне очень нравятся ваши глазки: держу пари целую дюжину, что лучше их не найдется во всем свете. Эй, вина! – заключил он, как будто уже выиграл свое пари.

Слезы ручьями текли по щекам бедной путешественницы, вколачивавшей бесчисленное количество гвоздей в доску, из которой она сделала нечто вроде запора.

– Что вы там стучите, а? да взгляните! – продолжал кричать усач, ударив с силою чубуком в стекло так, что оно треснуло.

Путешественница открыла окно, вырвала чубук из рук усача, который никак не ожидал этого, и бросила его на улицу, в грязь.

– Bravo, bravo! вот молодец! bravo! – аплодируя, кричал усач и, высунувшись до половины из окна, сказал: – Слышите, я теперь должен получить награждение!

И усач стал стучать в дверь и грозился выломать ее, догадавшись, что дверь заколочена. Он стал бить посуду, выбрасывая стулья за окна и страшно бранился.

Ночь провела путешественница в страшной тревоге, не смыкая глаз. Усач неутомимо бушевал.

Лишь только стало рассветать, к станционному дому подъехала отличная дорожная коляска; на козлах и назади сидело по лакею, которые стали, горячась, спорить с флегонтом Саввичем о лошадях, потому что он более четверки не давал, а они требовали шесть. Однако наконец стали запрягать шесть; тогда путешественница раскрыла окно и сказала флегонту Саввичу:

– Помилуйте! как вам не стыдно держать меня целые сутки здесь, когда есть же у вас лошади?

– Нельзя-с! – грубо отвечал флегонт Саввич.

Из коляски высунулось мужское лицо и поглядело на путешественницу, которая в ту минуту вскрикнула, потому что усач, высунувшись из соседнего окна, хотел схватить ее за плечо.

Путешественница ловко уклонилась и в отчаянии произнесла, обращаясь к новому приезжему:

– Это ужасно, что они со мной делают!

И она заплакала.

Приезжий поспешно вышел из коляски. Он был мужчина средних лет, высок, довольно полон. Лицо его было рябо, черты правильны и не лишены ума и приятности.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Поговорив с Флегонтом Саввичем, он обратился к усачу и сказал:

– Милостивый государь, извольте-ка выйти вон из трактира и оставьте в покое даму!

– Спасите меня! я сойду с ума! – умоляющим голосом сказала путешественница.

Усач залился смехом.

– Успокойтесь: вы сейчас будете освобождены от невежливого вашего соседа, – отвечал приезжий и пошел в трактир.

Путешественница дрожала, прислушиваясь к разговору, происходившему между усачом и ее защитником. Сначала усач кричал, горячился, потом стал тише, наконец кто-то слегка постучался в дверь к путешественнице и сказал:

– Теперь вы можете выйти: его нет здесь. Велеть заложить вам лошадей?

Путешественница так заколотила дверь, что не могла вытащить гвоздей.

– Я не могу выйти! – сказала она.

– Отчего?

– Я так заколотила дверь от него...

– Ах, боже мой! и давно вы находитесь в этом положении? – с участием спросил приезжий.

– Со вчерашнего вечера!

– Я сейчас распорядюсь: велю снять с петель дверь.

– Погодите! я, кажется, отворю!

Через несколько минут дверь уступила общим усилиям, и путешественница предстала, с пылающими щеками, пред лицом своего покровителя.

Они раскланялись. Путешественница подробно рассказала свое горестное положение и с чувством благодарила своего избавителя, который пригласил ее сделать ему честь пить с ним чай. Вместо зеленого самовара флегонта Саввича и грязного чайника с отбитым носком чай был сервирован на серебре, и уже не босой парень и не грязный Мошка служивали путешественнице, а ловкие лакеи. Всё окружающее показывало, что покровитель ее был человек благовоспитанный и с достатком; а сам он к этому прибавил, что он человек семейный. В его голосе и манере было столько солидности, что путешественница чувствовала себя совершенно свободной. Он сказал ей свою фамилию, но не любопытствуя узнать ее. Лакеи называли его Марком Семенычем.

Когда лошади были готовы в обоих экипажах, Марк Семеныч усадил путешественницу в ее старомодную коляску, простился с ней, и она поехала. Дорога, видно, им была одна, потому что Марк Семеныч ехал сзади. Путешественница, не спавшая целую ночь, сладко заснула, убаюканная мерным покачиванием своей высокой коляски. Когда она проснулась, глаза ее встретились с глазами Марка Семеныча, который стоял на ступеньках коляски и смотрел к ней в окно.

– Я вас разбудил?

– Мы приехали? – покраснев и оправляя свой туалет, спросила путешественница.

– Давно. Уж одиннадцать часов.

– Как?

– Я рассудил, что вам надо отдохнуть.

– И это вы меня ждали? – почти с упреком воскликнула она.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Встреча ваша с этим грубым человеком, кажется, поселила в вас сильное отвращение к мужскому обществу, – смеясь, сказал Марк Семеныч и прибавил с утонченной вежливостью: – Если вы меня не причисляете к числу людей ветреных и не уважающих женщин, то позвольте мне вас высадить из коляски и провести в комнату, где нас ждет чай.

Путешественница смело подала руку Марку Семенычу и почувствовала легкое пожатие, сопровождаемое словом «Merci» [4], тихо произнесенным. Марк Семеныч привел ее в комнату, где нашла она всё уже приготовленным для туалета. Эта внимательность тронула ее, и она, освежая свое лицо, невольно сравнивала все свои встречи в дороге. Переменив свой туалет, путешественница явилась в комнату, где ее ждали самовар и Марк Семеныч, который, указывая на диван, сказал:

– Не откажите мне в моей просьбе: позвольте мне пить с вами чай? Я так привык к семейной жизни, что пить чай одному для меня страшное наказание!

Она с готовностью поспешила разлить чай, желая хоть чем-нибудь отплатить своему покровителю за всю его внимательность к ней.

Они продолжали дорогу вместе. Чай, обед, завтрак были продолжительны. Марк Семеныч был так любезен, что упрасивал путешественницу останавливаться ночевать, боясь за ее силы; но она не согласилась.

– Я, право, боюсь, чтоб вас не утомила дорога, – говорил Марк Семеныч.

– О нет! я теперь очень покойна и отлично сплю в коляске.

– Позвольте мне сделать вам один нескромный вопрос; но я потому осмеливаюсь его сделать, что завтра, может быть, он будет еще более некстати. Мы приедем в Москву; у вас, верно, есть там родственники, близкие знакомые?

– У меня нет ни тех, ни других.

– Какая же цель вашего путешествия? – с живостью спросил Марк Семеныч и прибавил: – Извините мое... любопытство... вы, верно, так поймете мой вопрос.

– Только два дня, как мы знакомы, и вы столько сделали мне одолжений, что имеете полное право сделать мне такой вопрос. Я смело решаюсь вам открыть мое положение, – искренно сказала путешественница.

– Я буду очень счастлив, если вы удостоите меня вашей доверенности.

– Мой отъезд был неожидан; как вы видите, со мной даже нет горничной. Цель моего путешествия неопределенна. Я не могу жить независимо. И я решительно еще не знаю, что буду делать.

Марк Семеныч сказал:

– Может быть, с моей стороны будет нескромно, если я изъяслю мое участие?

– Напротив, я очень буду вам благодарна! – с чувством отвечала путешественница.

– Не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен? Я очень много знаю людей с весом в Москве. Не желаете ли какого-нибудь места?

– Я боюсь должности гувернантки.

– Почему?

– Во-первых, я получила домашнее воспитание.

– Тем лучше! Я гораздо более предпочитаю...

– Во-вторых, мне кажется, что обязанность слишком щекотливая для самолюбия...

– Ваше самолюбие не может страдать: тот, кто вас увидит, в каком бы вы ни были звании, всегда оценит и...

- Я никогда не пробовала заниматься с детьми, хотя я их очень люблю.
- Любовь к ним есть самый верный залог, что вы можете быть наставницей их.
- Всё так; но это занятие меня пугает...
- Будьте покойны: я отыщу вам порядочный дом, где вы, верно, измените ваше мнение об этом занятии. Люди образованные понимают, как высоко значение быть второй матерью их детям...
- Если б я нашла таких людей, то мне было бы совестно, что я не буду уметь выполнять как следует своих обязанностей.
- По вашим летам и красоте?.. Но это ничего не значит! – как бы опомнясь, заметил Марк Семеныч.

Женщине нетрудно угадать, какое она произвела впечатление на мужчину, и путешественница ясно видела, что почтительность и внимание к ней Марка Семеныча доходили до высшей степени. Но его солидная наружность, ежеминутное воспоминание о детях и жене разрушали всякое сомнение путешественницы. Она смотрела на всё его участие к ней как на плод необыкновенно сострадательного сердца, каким обладал Марк Семеныч. Его слова, казалось, подтверждали это. Он сказал путешественнице, заметив, что она избегает его заботливости:

– Я сам отец и представляю себе весь ужас положения беззащитности, в каком вы находитесь. Моя обязанность, как мужа и отца, оказывать помощь беззащитным женщинам. Да, я научился уважать их вполне только тогда, как сделался их покровителем/ У меня три дочери, и очень хорошенькие; я ужасно огорчен, что должен поручать их разному сброду, приезжающему сюда из-за границы. Их жизнь тайна для нас, а мы между тем смело вверяем им своих детей, – с грустью говорил Марк Семеныч.

Они приближались к Москве и на другое утро должны были приехать; но неожиданный случай замедлил их приезд.

Вечером, когда они остановились пить чай, Марк Семеныч вошел озабоченный в комнату и с досадой сказал:

- Надо же быть такому случаю!
- Что такое? – спросила путешественница.
- Ось лопнула! это просто как на смех!
- Вас ждет завтра ваше семейство и будет беспокоиться...
- Нет! оно в деревне, и я возвращусь ранее срока. Но как же вам ждать?

И Марк Семеныч вопросительно глядел на путешественницу, которая сказала:

- Теперь так близко, что, я думаю, со мной не может ничего случиться.
- Не лучше ли послать вперед одного из моих лакеев: пусть вам приготовит номер, и...
- О нет, это лишние хлопоты!
- Я должен вам сказать откровенно, что также имею цель: мне хочется известить о моем приезде семейство. А вы пока отдохните, поговорим о ваших намерениях, – что вам предпринять...

Лакей был послан на перекладных; а путешественница с Марком Семенычем, в ожидании починки экипажа, отправилась гулять.

Вечер был очень хорош; они незаметно зашли далеко. Стемнело совершенно, когда они возвращались. Марк Семеныч крепко сжал руку путешественницы; она не отнимала ее, потому что всё, что он говорил, далеко было от волокитства. Дети, семейство, обязанности отца – вот предмет его разговора.

Ужин был уже готов, когда они возвратились с гулянья. Они весело сели за стол.

Марк Семеныч был любезен. Из строгого отца семейства он превратился в самого тонкого дамского угодника. Ужин был великолепен. Налив бокал вина, Марк Семеныч встал и почтительно сказал:

– Позвольте ли вы мне выпить за ваше здоровье и за ту минуту, когда вы решились почтить меня вашей дружбой? Да, я прошу у вас дружбы...

Путешественница что-то проговорила, благодаря Марка Семеныча, который, протянув к ней руку, с жаром сказал:

– Вашу руку! у вас есть теперь самый искренний и преданный друг и защитник. Я смело мог бы поспорить с вашим братом или отцом в чистоте моих чувств. Итак, мы друзья!

И Марк Семеныч поцеловал руку путешественницы.

Ужин длился долго: почти за полночь они встали из-за стола, чему путешественница была очень рада, потому что ей стало как-то неловко от пристальных, даже увлажненных слезой взглядов Марка Семеныча и от вопросов: точно ли она его друг?

Усаживая ее в коляску, Марк Семеныч опять поцеловал у ней руку.

Путешественница не скоро заснула: лошади скакали во весь дух, как бы желая наверстать время, потерянное за починкой оси. Марк Семеныч на каждой станции отворял дверцы коляски путешественницы и, стоя на ступеньках, обращался к ней с заботливыми вопросами: спокойно ли ей? не хочет ли она пить чего-нибудь?

– Вам, кажется, неловко лежать? – спросил ее Марк Семеныч на одной из станций. – Не дать ли вам подушку?

– Не беспокойтесь: у меня есть! – отвечала путешественница; но Марк Семеныч спрыгнул со ступенек и через минуту возвратился с подушкой.

– Мне, право, не надо: у меня есть своя! – говорила путешественница.

– Ложитесь, ложитесь! дайте вашему другу позаботиться об вас. Ну, так хорошо ли?

И Марк Семеныч, взяв голову путешественницы и положив ее на подушки, сам сел на второе место в коляске.

– Что же мы не едем? – спросила путешественница, прервав неприятное для нее молчание.

– Верно, лошади не готовы.

– Вот они, готовы! – выглянув из коляски, заметила путешественница.

– Вы гоните своего друга! вы кажется, не верите искренности моей? – с упреком возразил Марк Семеныч.

– Помилуйте! – сконфузясь, произнесла путешественница.

– Да, да! Я так в жизни был несчастлив, что даже ни лета мои, ни обязанности не уничтожают преград к простым чувствам дружбы, о которой я с детства мечтал. Знаете ли, что я, бывши ребенком, чуть не умер оттого, что дружбу мою отвергли. Я женился по любви и очень счастлив до сих пор. Но дружбы, дружбы – этого тихого, кроткого чувства – я желаю теперь!

– Говорят, что между женщиной и мужчиной не может быть дружбы, – заметила путешественница.

– Это вздор! Одни скептики да люди, истратившие всю искренность чувств и попирающие свои обязанности, так говорят. Нет, я был дружен с одной женщиной: всё кругом толковало, судило в том роде, как вы сейчас заметили, что между женщиной и мужчиной не может быть дружбы. К счастью, домашние ее и мои слишком

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a хорошо знали меня и смеялись над толками. Я должен сознаться вам, что часто спешил ей первой сообщить какое-нибудь мое горе или радость.

– Может быть, вы, сами не зная, любили эту женщину?

– Помилуйте! если б я любил эту женщину, разве бы я мог радоваться и способствовать ее браку? Нет, я ревнив, и страшно ревнив! Но она! она была мне искренним другом.

– Где же она теперь?

Марк Семеныч в волнении произнес:

– Она умерла!.. Вы напомнили мне живо о моей Вере. Я был поражен сходством вашим с ней. Когда я смотрю на вас, мне кажется, что передо мной моя Вера, мой искренний друг! – И Марк Семеныч взял руку путешественницы и умоляющим голосом прибавил: – Замените мне мою Веру!

Путешественница пришла в такое волнение, что пугливо сказала:

– Успокойтесь... Нас ждут лошади...

– Извините! я забылся: мне казалось, что я сижу с моим другом; а воспоминание о ней наводит на меня страшную тоску. Я сам не понимаю, что со мной делается.

И Марк Семеныч ударил себя в грудь; слезы ручьями текли по его щекам, и он, ломая руки, повторял тоскливо:

– Вера, Вера!

Путешественница с удивлением глядела на порывы отчаяния человека в годах, с наружностью, по которой нельзя было подозревать такой сильной сентиментальности.

– Марк Семеныч, если б было в моей власти заменить вам вашего друга, я была бы очень счастлива!

– О, будьте добры, не оставляйте меня в такую минуту! – рыдая, говорил Марк Семеныч.

Слезы и просьбы его были так искренни, что путешественница, забыв неловкое положение свое, стала утешать его.

Через несколько минут Марк Семеныч как бы пришел в себя, стал извиняться и сказал:

– Эти припадки у меня с детства, и я могу показаться очень странным и смешным тому, кто меня не знает. Я лечился много; но еще не открыто средство против сильной впечатлительности сердца. Достаточно малейшего потрясения моим нервам, чтоб я впал в такое состояние, в каком вы меня сейчас видели... Я думаю, я вам надоел? извините меня...

И Марк Семеныч вышел из коляски и более уже не беспокоил путешественницу, которой долго еще слышался его молящий голос, с тоскливой нежностью взывающий к Вере.

Рано утром они остановились пить чай уже близко от Москвы. Марк Семеныч был по-прежнему почтительно-вежлив с путешественницей; но грусть была разлита в его словах и взгляде. После чаю он серьезным голосом сказал ей:

– Не можете ли вы мне пожертвовать десятью минутами вашего времени?

– С большим удовольствием!

– Имеете ли вы ко мне настолько доверенности, чтоб принять мое предложение?

– Какое?

– Я всё время обдумывал, что бы вам предпринять, и мне пришла мысль...

– Какая?

– Предложить вам, так, для пробы, взять на себя обязанность следить не за учением моих детей, а за их нравственностью. Я прошу вас не обижаться моими словами... Вы будете в порядочном семействе, под защитой моей жены, во всех отношениях достойной...

– Благодарю вас... но я... право...

– Согласитесь на мою просьбу: докажите, что вы не обиделись моим предложением.

– Я ничуть не обиделась, но...

– Значит... я имею ваше согласие? я счастлив, что дети мои будут под присмотром такой женщины, как вы.

– Но как же, – в недоумении заметила путешественница, – ваша жена? она не знает...

– Будьте покойны, положитесь на меня! В память той, с которою вы имеете такое сходство, я готов жертвовать всем!

– Ради бога!.. если только нужны какие-нибудь жертвы... я...

– Успокойтесь: их и тени нет в моем предложении. Но я говорю, что если бы оказалась надобность доказать искренность моих слов...

– Позвольте мне подумать...

– Значит, вы сомневаетесь?

– Нисколько; но я боюсь, захочет ли ваша жена иметь при своих детях женщину, которой она вовсе не знает.

– Боже мой! Как же мы берем в дом француженок и других гувернанток?

– К ним более снисходительны.

– Я занимаюсь воспитанием моих детей и потому смело делаю вам предложение. Оно не очень лестно для вас; зато для меня ваше согласие будет самым приятным доказательством вашей ко мне доверенности и дружбы.

И Марк Семеныч красноречиво доказывал высокую роль воспитательницы.

– Извольте: я согласна, но прошу вас не требовать от меня никаких других обязанностей, как только учить их русскому языку, – сказала путешественница.

– Это самый важный предмет! Я был молод и не вникал сначала в важность воспитания; но как же я потом ужаснулся, заметив, что мои дети выходят не русские, а иностранцы – всех наций. Дочери лучше говорят по-английски, чем по-русски, один сын по-немецки, а старший – чистейший француз. Не правда ли, это непростительно? И я краснею за свою небрежность.

Пожав друг другу руки, они простились очень чувствительно. Путешественница благодарила Марка Семеныча за все его хлопоты и защиту, он же – за ее доверенность к нему. Марк Семеныч поскакал вперед.

У заставы путешественницу встретил лакей, который был послан вперед, и проводил ее в гостиницу, где были приготовлены для нее комнаты. Номер был взят очень дорогой, так что путешественница заметила лакею, зачем он не взял дешевле.

– Так приказывали Марк Семеныч, – отвечал лакей.

Путешественница с нетерпением ждала Марка Семеныча, который не являлся дня три. Обед, чай, завтрак – всё было сервировано отлично. Экипаж стоял у подъезда, на случай, не пожелает ли она куда-нибудь проехаться. Путешественницу видимо беспокоило, что Марк Семеныч не едет; она хотела уже писать к нему, но отдумала, решась на другой день перебраться в номер поскромнее.

На четвертый день ее приезда, рано утром, она еще лежала в постели, как кто-то постучался к ней в дверь. Путешественница тотчас догадалась, кто стучится, и, позвонив горничную, велела ей принять гостя в другой комнате. Она не ошиблась: то был Марк Семеныч.

Сделав наскоро утренний туалет, путешественница вышла к гостю, который не скрывал своей радости, что наконец видит ее. Он поцеловал у ней руку и с участием спрашивал: «Покойно ли ей? хорошо ли? как она провела время?»

– Очень хорошо! благодарю вас; но я одним недовольна, – отвечала путешественница.

– Это чем? вы меня пугаете!

– Слишком дорогой номер взят по вашему приказанию.

– Полноте! как можно говорить о таком вздоре! – обиженным голосом воскликнул Марк Семеныч.

– Однако я не хочу бросать деньги, – смеясь, отвечала путешественница.

– Да вы и не имеете права; я ваш друг: я вам не позволю на пустяки тратить деньги! – шутливо сказал Марк Семеныч.

– Так я под опекой?

– И очень строгой.

– Скажите, пожалуйста, мой опекун, отчего я вас так давно не видала? – садясь на диван, сказала путешественница не без некоторого кокетства.

Марк Семеныч ничего не отвечал и глядел ей прямо в глаза.

– Что же вы не отвечаете?

– Я... я стараюсь удостовериться, точно ли это сказано искренно.

– Что я вас хотела видеть?

– Да.

– Повторяю, что очень.

Марк Семеныч схватил руку путешественницы и, с жаром поцеловав ее, сказал:

– Я постараюсь заслужить ваше расположение ко мне.

– Я хотела с вами поговорить.

– Я счастлив: я вижу, что вы поняли меня.

Марк Семеныч говорил с чувством и с жаром, а путешественница слушала холодно и не без лукавой улыбки.

– Я переменяла свое намерение быть гувернанткой, – сказала она.

Марк Семеныч привскочил на своем месте и, глядя с ужасом на путешественницу, сказал:

– Это невозможно! вы шутите!

– Отчего это вас так поразило?

– Потому... потому что я вижу в этом недоверчивость ко мне с вашей стороны.

– Какой вздор! я просто боюсь обязанностей гувернантки.



– В моем доме вы будете совершенно свободны.

– Благодарю вас! но я именно боюсь вашего дома.

– Вы меня оскорбляете! чем мог я это заслужить! – с горячностью воскликнул Марк Семеныч.

– Какое же тут оскорбление для вас? Я не решаюсь взять обязанности, для которой не готовилась...

– Что же вы думаете делать?

Путешественница задумалась и потом отвечала:

– Я хотела бы, чтоб вы мне дали этот совет.

– Что могу я сделать! доверчивость ваша ко мне слишком слаба! Я буду просить одного от вас: это не предпринимать никаких мер для средств к жизни без моего ведома. Могу ли я надеяться хоть на это? – сказал Марк Семеныч обиженным голосом.

– Очень! тем более что я вам скажу мои планы... Я хочу ехать в Петербург.

– Как! уехать отсюда! – почти вскрикнул Марк Семеныч и прибавил с сердцем: – Что же вы намерены делать там?

– Право, не знаю... но мне кажется, я...

Путешественница запнулась. Марк Семеныч прервал ее, сказав:

– Впрочем, я, кажется, слишком дерзко поступаю. Я не имею права слишком далеко простирать свое любопытство и советы.

– Отчего? я вам даю полное право, – задумчиво отвечала путешественница.

Лицо Марка Семеныча прояснилось, и он наставительно сказал:

– Если у вас и в Петербурге нет никого близких, к чему бежать отсюда? тем более что здесь у вас есть человек, преданный вам и принимающий живое участие в вашем положении. Разве вы не можете испытать себя на этом поприще и потом уже искать другого? К тому ж я переговорил с своей женой: она очень довольна и ждет вас к себе.

– Как, вы уже сказали обо мне?

– Я всё говорю своей жене: мы очень откровенны.

– Вы ей рассказали о нашей встрече? – поспешно спросила путешественница.

– Нет... я этого не говорил... потому что я не знал, понравится ли это вам. Я не люблю ничем стеснять других. Нет! я сказал моей жене, что желаю иметь детей русских и потому возьму им русскую наставницу.

Путешественница насмешливо слушала Марка Семеныча. Он продолжал:

– Вы видите, что я всё уже обработал. От вас теперь зависит успокоить меня уверенностью, что у моих детей будет такая наставница. Докажите, что у вас есть ко мне хоть маленькая доверенность. Вы свободны всегда оставить наш дом, если обязанность эта вам покажется тяжелой. Согласитесь!

– Я готова... но на одном условии.

– Всё, что вам угодно.

– Чтоб, кроме детей, на меня не была возложена обязанность развлекать...

– Болтать по-русски с детьми, гулять с ними, – перебил Марк Семеныч, – вот и всё! Жалованье, может быть, покажется вам ничтожно...

– И должность моя у вас в доме...

– Вы убиваете меня! Я должен наконец высказать то, что я от всех скрываю. Слушайте! Вы заставляете меня прикасаться к моей страшной ране, – в волнении сказал Марк Семеныч.

– Замолчите: я не хочу, я... – пугливо воскликнула путешественница.

– Теперь поздно! слушайте: я люблю мою жену, она женщина добрая, благородная, но... воспитание или, может быть, характер... но она мало занимается детьми. Впрочем, ей и некогда: она живет в свете... Я страдаю жестоко, видя, что дети мои отданы в руки наемщицам.

– Разве я не то же самое буду у вас в доме? – спросила путешественница.

– Вы? о нет, нет! Я буду покоен и счастлив, когда увижу вас около моих детей. Они, я замечаю, тоскуют, что нет около них нежного и любящего человека. О, сделайте их счастливыми; у вас столько теплоты и чувства, что вы замените им многое!

Марк Семеныч говорил долго и очень красноречиво в этом роде, так что путешественница видимо была тронута. Марк Семеныч продолжал:

– Я понимаю, что для всякой женщины эти обязанности тяжелы, тем более в ваши года; но вы, верно, не откажетесь помочь отцу в воспитании детей. Я прошу у вас этого, как благодеяния.

Путешественница согласилась через два дня явиться к жене Марка Семеныча с рекомендательным письмом, которое он ей доставит.

В назначенный день и час путешественница села в наемную карету четверкой, потому что летом семейство Марка Семеныча жило в двадцати верстах от города, в своей деревне. По волнению путешественницы можно было заключить, что новое звание, в которое готовилась она вступить, слишком ее тревожит.

Приехав к богатому дому с разными аристократическими затеями, она вышла на лестницу, которая вся была уставлена цветами. Ее отвели в небольшую гостиную, убранную роскошно. Большие двери с зеркальными стеклами, начинавшимися с самого пола, выходили на огромную террасу, обтянутую полосатым холстом и всю уставленную цветами. Терраса вела в огромный густой сад; вдаль виднелся большой луг, по которому бегали дети. На столе у кушетки был приготовлен прибор для кофе из дорогого севрского фарфора.

Через несколько минут в комнату вошла высокая женщина, лет тридцати, очень стройная, несмотря на роскошь плеч. Черты ее лица были строгой правильности. Цвет его был белизны необыкновенной, тонкость кожи поразительная. Глаза у ней были серые, очень строгие и быстрые, опущенные густыми темно-красноватыми ресницами, так что издали они казались черными. Несколько бледных веснушек было на ее лице. Но ни красноватость ее волос, ни бледные веснушки не портили ее красоты, а, напротив, делали ее очень оригинальной. Одета она была по-утреннему: вся в белом; дорогой кружевной вуаль накинут был на ее голове; передние волосы были в папильотках. Она быстро окинула с ног до головы путешественницу, или, лучше сказать, новую гувернантку, которая поклонилась ей с большим достоинством и подала письмо.

– Садитесь, – сказала хозяйка дома и стала читать письмо. Окончив чтение, она смело взглянула в глаза своей гувернантки и сказала: – Очень рада, mademoiselle Анет, что буду иметь вас в доме. Об вас так много пишет madame Андерсон...

И она опять окинула с ног до головы mademoiselle Анет, которая довольно смело вынесла этот обзор.

– Хотите видеть своих будущих учениц и учеников? – спросила хозяйка дома после некоторого молчания.

– Очень рада!

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Хозяйка позвонила: вошел лакей, и ему велено было привести детей. Дети вошли через террасу в сопровождении желтой, сухой, вертлявой француженки с талиею в рюмочку. Ее впалые желтые щеки прикрывались взбитыми большими пуклями, как бы из тафты.

Дети, сделав реверанс и расшаркиваясь, поцеловали руку у своей матери, которая гладила кого по щеке, кого по плечу.

Француженка, сделав хозяйке почтительный реверанс, спросила, как ее здоровье, и устремила с жадностью свои черные глаза на mademoiselle Анет.

– Дети, вот вам папа взял еще гувернантку; познакомьтесь с ней, проводите ее в сад, – сказала хозяйка дома.

Дети отрекомендовались новой своей гувернантке и повели ее в сад. Уходя, mademoiselle Анет слышала следующий разговор между хозяйкой дома и француженкой, происходивший вполголоса на французском языке.

– Какой гордый взгляд, какие манеры! как будто она вовсе не гувернантка! – сказала хозяйка дома.

– Ваш муж, верно, недоволен нами?

– Нисколько! Он странный: боится, что дети забудут говорить по-русски.

– Да на что им русский язык? они будут жить в порядочном кругу! – возразила француженка.

– Это его упрямство одно!

Mademoiselle Анет очень скоро подружилась с детьми. Старшую дочь звали Софи: ей было лет десять; меньшую – Ольгой; сына старшего – Эжень, а других двух – Серж и Андре.

Эжень вовсе не походил на одиннадцатилетнего ребенка, а скорее на взрослого юношу: он не бегал, говорил отборными фразами и вообще имел повелительный тон старшего над сестрами и братьями.

В полчаса дети успели всё рассказать своей новой гувернантке – когда встает папа и мама, как зовут их гувернанток: англичанку – мисс Бетси, француженку – mademoiselle Клара, а нянюшку – mademoiselle Шарлот.

Mademoiselle Анет, гуляя по саду с детьми, которые показывали ей редкости его, заметила в нижнем этаже угловых комнат чьи-то глаза, выглядывавшие из-за ширм, стоявших на окнах. Она спросила, чья это комната.

– Это папа, – отвечали дети.

– Он дома?

– Он поздно встает, даже позже мама! – поспешила ответить Софи.

Через несколько минут явился в сад Марк Семеныч. Дети радостно и шумно кинулись к нему: стали вешаться ему на шею, целовать его; даже преждевременно созревший Эжень превратился в ребенка. С минуту Марк Семеныч был весь в детях: он их ласкал, шутил с ними и потом, взяв дочерей на руки, поднес к mademoiselle Анет и сказал:

– Честь имею рекомендовать вам моих резвущек.

Mademoiselle Анет поклонилась Марку Семенычу, приняла из его рук дочерей и, поцеловав каждую, поставила их на землю.

– Любите их, – тихо произнес Марк Семеныч растроганным голосом, собрав в кучу всех детей около mademoiselle Анет, которая тоже растрогалась и с чувством перецеловала их. Эжень весь вспыхнул и как бы обиделся такой фамильярностью.

– Будьте строги к нему, – шепнул Марк Семеныч mademoiselle Анет, указывая на

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
старшего сына. – Они успели его испортить... Дети, дети! – прибавил он громко: –  
Ну, кто скорее добежит до той скамейки?

Дети с криком пустились вперегонку.

– Как она вас приняла? – спросил Марк Семеныч и, не дождавсь ответа, продолжал: – У ней несколько холоден прием, но в душе она очень добра. Вы были в своей комнате? Я боюсь, не покажется ли вам тесно. Вот ваши окна.

И Марк Семеныч указал на второй этаж над окнами его комнаты.

Дети, запыхавшись, возвратились, крича:

– Папа, Софи, опять Софи добежала!

Софи кинулась к отцу и радостно сказала по-английски:

– Я возле тебя буду обедать сегодня?

– Дети, слушайте: когда вы будете со мной и с mademoiselle Анет, извольте говорить по-русски. Слышите! ни слова на другом языке, – строго произнес Марк Семеныч.

– Матап велит говорить с ней по-французски, – заметил Эжень.

– Прекрасно! значит, следует говорить с ней по-французски, когда она желает.

– Да мне трудно говорить по-русски!

– Учись! mademoiselle Анет будет так добра, что станет поправлять твои ошибки.

– Зачем нам говорить по-русски, папа? и с кем? у нас все гости говорят по-французски, – заметил Серж.

– Ты русский: значит, должен хорошо говорить по-русски; а не то над тобой будут смеяться: скажут, что ты не русский..

– Мисс Бетси говорит, что по-русски одни мужицкие рожи говорят, – перебил его Андре.

– Вы видите, чему их учат эти иностранки! – с тяжелым вздохом сказал Марк Семеныч.

Mademoiselle Клара, припрыгивая, бежала к ним.

– Вот идет любимица моей жены, – самая хитрая из женщин, каких я только видел. Держите себя осторожнее с нею.

– Я притворюсь, что не понимаю по-французски.

– И прекрасно сделаете!

– Monsieur, ваша жена желает вас видеть, – делая реверанс, сказала по-французски mademoiselle Клара.

– Bonjour, mademoiselle, [5] – отвечал на поклон Марк Семеныч и пошел к террасе, где лежала в креслах особенного устройства хозяйка дома и покачивалась.

Марк Семеныч подошел к жене и поцеловал у ней руку.

– Bonjour, – сказала хозяйка дома, продолжая качаться.

Молчание длилось с минуту.

– Ты дома обедаешь сегодня? – спросила она.

– Дома, Надинь.

– Скажи, пожалуйста, что это за лицо, новая твоя гувернантка?

– А что? не правда ли, она похожа на Веру?

– Не заметила. Она какая-то странная! Ее манеры, голос, взгляд... как будто она что-нибудь важное... Где ты отыскал такую?

– Ты знаешь, что у madame Андерсон пансион и очень часто из ее бывших воспитанниц идут в гувернантки. Я ее просил давно.

– Интересно знать, как жила она, в каком доме, – я уверена, что не на правах гувернантки, – как бы рассуждая сама с собой, говорила Надинь.

Марк Семеныч искоса взглянул на жену, которая продолжала раскачивать креслы.

– Если ты недовольна, ей можно отказать, – заметил Марк Семеныч.

– О нет, пожалуйста! я не вмешиваюсь в эти дела: делай как знаешь. Я так только заметила, что гордая осанка этой женщины или девушки мне показалась смешна. Но она очень недурна всё-таки. Я люблю хорошеньких женщин вокруг себя.

Марк Семеныч молчал, рассматривая цветы, стоявшие на террасе.

– Да, я забыла тебе сказать, что серые лошади мои никуда не годятся. Я хочу вороных.

– Друг мой, давно ли я купил для тебя серых потому, что вороные не нравились тебе?

– Мне это нравится! Вы купите мне хороших серых, а не...

– Но ты знаешь, что просили с меня за двух орловских рысаков, а тебе еще нужна четверка.

– Вы знаете, что я не люблю вмешиваться в ваши дела, – небрежно отвечала Надинь.

– я тебе бы это советовал, потому что тогда ты, может быть, не была бы так требовательна, тем более что у нас дети.

– Вот ваш припев ко всему! Ну что могут иметь общего с орловскими рысаками дети? ну какое сравнение? – горячась, говорила Надинь.

– Граф Тавровский! – доложил лакей, явясь в дверях террасы.

Надинь в минуту приняла самое беспечное выражение лица, грациозную позу, и, качнув с силою креслы, которые быстро стали качаться, она повернула голову к двери, где стоял Тавровский (тот самый, с которым мы уже знакомы; но тогда он был моложе, в самом расцвете лет). Он раскланялся с хозяйкой и с хозяином дома и сел возле Надинь, которая сказала:

– Что нового?

– Ничего... впрочем, я думаю, это будет ново: я ужасно устал и хочу спать! Представьте, мы вчера скакали верхом вместо жокеев, – отвечал Тавровский.

– Какие фарсы вы всё придумываете! и от этого вы не были на даче у князя? – спросила Надинь.

– Кто же выиграл приз? – спросил в то же время Марк Семеныч.

– Я, – ответил Тавровский.

– Значит, целая ночь прошла в поздравлениях?

– Угадали, и я, как видите, только переменял туалет – на лошадь и к вам!

– Bravo! – смеясь, сказал Марк Семеныч.

– Да вы так превратитесь в самом деле в искусного жокея, – тоже смеясь, подхватила Надинь.

– Это кто стоит с mademoiselle кларой? Неужели мисс Бетси превратилась в такую худенькую и стройную? – заметил Тавровский, глядя на луг, где бегали дети.

Надинь оправила вуаль на своей голове и довольно резко сказала:

– Это новая гувернантка, русская.

– Это что значит? зачем русская? – спросил удивленный Тавровский, смотря на Марка Семеныча, который с досадою отвечал:

– Я надеюсь, что моим детям надо уметь говорить по-русски?

– Mademoiselle Клара, mademoiselle Клара! – кричала Надинь, махая платком.

Француженка подбежала к террасе и раскланялась с Тавровским.

– Позовите детей и... как ее...

– Mademoiselle Анет?

– Да!

Разговор, разумеется, был на французском языке, на котором Надинь и продолжала, обращаясь к Тавровскому:

– Я должна вас предупредить, что эта mademoiselle Анет очень смешная особа; она держит себя, как будто она член нашего семейства.

И Надинь засмеялась.

– Ты привыкла к mademoiselle кларе и ее манерам, и потому она тебе такой кажется! – с горячностью возразил Марк Семеныч.

Надинь подняла брови, как бы удивленная чем-то; и, улыбаясь иронически, сказала:

– Ты так преследуешь mademoiselle клару, что я начинаю подозревать, что тебе не удалось приобрести ее расположение.

– Полноте! вы обижаете его! неужели у него такой вкус! – смеясь, сказал Тавровский.

– Шутки ваши слишком странны, Надежда Александровна! Вы очень хорошо знаете, что если бы гувернантка моих детей была и красавица, то и тогда бы я не стал заискивать ее расположение.

– Пуританин! – смеясь, подхватила Надежда Александровна и шепотом произнесла: – Тише: она близко.

Mademoiselle Анет в самом деле имела спокойно-величавую походку, которая при ее выразительно-красивом лице невольно бросалась в глаза, – тем более что возле нее, как угорь, вертелась mademoiselle Клара.

– Какая хорошенькая! поздравляю! Право, приятно иметь такую гувернантку, – шептал Тавровский.

Mademoiselle Анет медленно вошла на ступеньки террасы, пустив вперед детей, которые кинулись с распростертыми объятиями к Тавровскому. Mademoiselle Анет осталась на последней ступеньке, спокойно вынося взгляды сидящих.

Марк Семеныч подал стул mademoiselle Анет. Поблагодарив его, она села.

Надежда Александровна тотчас же встала и пошла в гостиную.

Тавровский, играя с детьми, не сводил глаз с новой гувернантки и шепнул Эженю:

– Ты, я думаю, очень рад, что у вас такая хорошенькая гувернантка?

– Еще бы! у ней отличные руки и уши. Я попробую снять с нее портрет, – важно отвечал Эжень.

– И подари мне.

– Граф! – кричала из гостиной Надежда Александровна.

Тавровский нехотя вошел в гостиную и сел в креслы, возле кушетки, на которой полулежала хозяйка дома. Она спросила язвительно:

– Вы, кажется, тоже были поражены ее надменностью?

– Она очень хороша собой.

– Как это скучно! я вовсе не об этом хочу говорить, – не без досады перебила его Надежда Александровна.

– Извините!

С минуту длилось молчание. Надежда Александровна сказала:

– Ах, как шумят дети!

– Я скажу, чтоб они шли играть дальше.

– Не беспокойтесь... Mademoiselle Анет!

Mademoiselle Анет явилась в дверях.

– Потрудитесь увести детей в сад, – сказала Надежда Александровна.

Mademoiselle Анет молча пошла.

– Знаете ли, она у меня с утра, а я еще голоса ее не слыхала: она, кажется, боится говорить. Впрочем, у ней, может быть, дурные зубы.

– Посмотрите, какие отличные! вот она улыбнулась! – воскликнул Тавровский.

– Странно! я заметила, что женщины с дурными зубами все очень серьезные.

– Везде есть исключения. Вы так проницательны, что, верно, заметили, какая у ней маленькая ножка.

Надежда Александровна вспыхнула, и невольно ее нога быстро спряталась под платье.

Тавровский подошел к дверям террасы и стал глядеть на луг, где бегали дети, mademoiselle Анет и Марк Семеныч. Надежда Александровна тихонько подкралась к Тавровскому и тоже глядела на луг.

В самом деле, было очень любопытно видеть mademoiselle Анет, которая, отбросив свою гордую осанку, резвилась, как дитя. Она ловко изгибалась, обманывая детей, догонявших ее, и вдруг сделала такое движение, что гребенка выпала у ней из косы, и длинные, густые волосы, ничем не связанные, рассыпались по ее плечам. Она силилась вырваться из рук обрадовавшихся детей, чтоб привести свои волосы в порядок, но они не давали ей этого сделать.

– Какие волосы! как хороша она так! – сказал Тавровский.

Надежда Александровна кусала губы, щурясь, глядя на луг, и отвечала:

– Я держу пари, что эта гребенка упала с расчетом.

– И расчет был верен, потому что она так великолепно-хороша...

– Мне кажется, что она какая-нибудь колдунья. Посмотрите, как разбежался мой

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a муж: хочет показать, что он еще молод! – смеясь принужденно, говорила Надежда Александровна.

– Я пойду тоже бегать! – сказал Тавровский и кинулся с террасы.

– Поль! Поль! – стиснув зубы, кричала ему вслед Надежда Александровна.

Но он не воротился, и лицо ее приняло такое злое выражение, что вся красота ее исчезла. Она кинулась в креслы и с силою стала качаться, потом вскочила, почти бегом пробежала комнату и дернула так сильно за шнурок колокольчика, что кисть осталась в ее руках. Отбросив ее от себя далеко, она сказала отрывисто вошедшему лакею:

– Мисс Бетси!

Через две минуты вошла, или, лучше сказать, вкатилась, толстая англичанка. Огненные ее волосы были взбиты в мелкие пукли; на голове ее был чепчик с лиловыми лентами, но и он не мог скрыть ее жидкой косы и таких жидких волос, что красная кожа на голове просвечивалась. Она была затянута в пестрое платье, и пышная ее талия была открыта.

– Детей за класс! – не отвечая на поклон мисс Бетси, сказала Надежда Александровна и нетерпеливо глядела вслед толстой англичанке. Потом она подошла к зеркалу, оправила вуаль на голове и, приняв спокойное выражение лица, пошла на террасу, мимоходом взяв какую-то книгу. Она уселась в креслы и стала качаться; но покачивание на этот раз было медленно, выражение лица так кротко; ее серые быстрые глаза шурились и наконец закрылись.

В это время Тавровский возвратился к террасе; но голова его была повернута к лугу, где дети плакали, узнав, что им велют идти учиться.

Когда он подошел к ступенькам и увидел дремавшую в креслах Надежду Александровну, он остановился, посмотрел с улыбкой на спящую и повернул назад. Спящая быстро открыла глаза и крикнула:

– Поль!

– Я думал, вы спите...

– Вы куда идете?

– Назад. Я было пришел ходатайствовать за детей.

– Оставайтесь! – повелительно произнесла Надежда Александровна.

– Вы, кажется, считаете меня тоже за ребенка? Но вам трудно будет сладить со мной; я очень капризен и...

– Разве это вежливо – убежать и оставить, – горячась, перебила его Надежда Александровна.

Тавровский, смеясь, в свою очередь перебил ее, сказав:

– Мы играли с детьми. Вообразите, я было догнал ее и взял за руку: как она на меня посмотрит... Я сконфузился даже.

– Вы, кажется, слишком много приписываете могуществу ее взгляда; чтоб вас привести в смущение, надо...

Надежда Александровна остановилась и, взяв неожиданно под руку Тавровского, повлекла его к лугу. Подходя к детям, она приняла такой строгий вид, что Марк Семеныч сказал:

– Надинь, ты не сердись; это я виноват.

Но Надинь не слушала его и строго спросила мисс Бетси по-французски:

– Что значит, что дети не уведены?



- Они заигрались! – подхватила mademoiselle Клара.
- Матап, позвольте! – со слезами бормотали дети.
- Надинь, дай им поиграть еще! – сказал Марк Семеныч.
- Вздор! голову мне вскружили своими криками, – отвечала Надежда Александровна и повелительным жестом приказала детям удалиться.

Мисс Бетси и mademoiselle Клара пошли за детьми. Mademoiselle Анет тоже хотела было следовать за ними; но хозяйка дома остановила ее, сказав небрежно:

- Вы теперь им не нужны, можете идти в свою комнату.

Марк Семеныч подхватил любезно:

- Вы, я думаю, устали. Мы, кажется, слишком пользовались вашей добротой. Позвольте, я вас провожу.
- Mademoiselle Клара, mademoiselle Клара! – закричала Надежда Александровна, не выпуская руки Тавровского.

Француженка подбежала к хозяйке дома, которая сказала:

- Прикажите провести ее в ее комнату, – и, обратись к Марку Семенычу, она поманила его к себе.

Он подошел; жена взяла его под руку и, глядя язвительно то тому, то другому в лицо, молча повела их на террасу.

Комнаты, назначенные для новой гувернантки, были очень милы и удобно меблированы. Одна выходила в сад и была перегорожена занавесью, так что из нее вышла спальня и маленькая гостиная. Другая выходила на двор; в ней была уборная. Из каждой комнаты был выход: из одной – на двор, из другой – в сад.

Явилась горничная, очень порядочной наружности, и стала разбирать чемоданы.

Mademoiselle Анет, сев у окна в мягкие креслы, так задумалась, что не замечала Марка Семеныча, стоявшего уже с минуту в дверях и пристально смотревшего на нее.

Mademoiselle Анет, наконец увидя его, быстро встала. Марк Семеныч кинулся к ней, взял ее руку и тихо, с волнением сказал:

- Простите, простите меня!
- Что вы, Марк Семеныч!
- Я виноват: вы...
- Полноте! – с принужденною веселостью перебила его mademoiselle Анет, и, придвигая стул к окну, она сказала: – Садитесь! – но, как бы опомнясь, улыбнулась, положила руку на спинку стула и продолжала: – Я еще не привыкла к своему новому положению; но я скоро совершенно войду в него. Эти комнатки очень миленькие, и я...
- Скажите, может быть, чего-нибудь недостает здесь?
- Нет, здесь всё так удобно!
- Я рад, что хоть комнатой вы довольны.
- Я всем довольна... Ваши дети очень милы.

Марк Семеныч тяжело вздохнул.

Молчание длилось с минуту. Марк Семеныч сказал:

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Для вас избрана горничная очень порядочная; вы можете быть покойны на этот счет.

– Благодарю вас.

– Может быть, вам не нравится, что ваши комнаты очень отдалены от других? Но всё занято, и я думал, что вам здесь будет свободнее.

– Вы очень добры.

– Я, кажется, вас стесняю! – как бы только теперь заметив, что mademoiselle Анет стоит, сказал Марк Семеныч и, раскланиваясь, прибавил: – Мы будем обедать в пять часов en famille [6].

Не успел скрыться Марк Семеныч, как mademoiselle Анет вошла в уборную, думая застать горничную; но ее уже не было. Она подошла к окну и, взглянув в него, услышала топанье лошадей и свист бича. Тавровский сидел впереди в четвероместном шарабане, запряженном серыми лошадьми. Надежда Александровна и mademoiselle Клара усаживались на второе место. Шарабан уже двинулся, как Тавровский повернул голову к дамам, верно желая что-нибудь сказать, и его глаза встретились с глазами mademoiselle Анет. Он почтительно приподнял шляпу, отчего женские головы, как бы через электрический удар, повернулись к окну; но mademoiselle Анет успела скрыться.

Эжень был прислан отцом за mademoiselle Анет, чтоб вести ее в столовую. Комната была большая, освещенная сверху. Огромное зеркало вделано в простенке; с боков были этажерки с вазами и разными редкими сервизами. Громадный буфет занимал почти всю ширину стены столовой. Стол был уже накрыт. Все гувернантки и дети находились в ней. Марк Семеныч встретил новую гувернантку в дверях столовой и, приветливо улыбаясь, сказал:

– Эжень выпросил у меня позволение быть вашим кавалером сегодня. Позволите ли вы ему?

– Мне очень лестно иметь такого кавалера, – отвечала mademoiselle Анет и заметила выразительный взгляд, которым обменялись мисс Бетси и mademoiselle Клара.

Явилась Надежда Александровна, разряженная в пух. Рыжеватые ее пукли были распущены и взбиты, но вуаль не покидал ее головы. Слегка прищурив глаза, она окинула столовую и быстро спросила:

– А где Тавровский?

– Не знаю! – отвечал Марк Семеныч.

Хозяйка нахмурилась и с досадою села за стол; она очень мало ела и вдруг спросила Марка Семеныча:

– Это что значит, что ты на новом месте сидишь сегодня?

– Мне так лучше!

Надежда Александровна обвела глазами весь стол и остановилась на mademoiselle Анет, которая тоже переменила свой туалет и была одета просто, но с большим вкусом. Целый обед новая гувернантка находилась под взглядами хозяйки.

Mademoiselle Анет нечаянно взглянула в зеркало и встретила глаза Марка Семеныча, устремленные на нее. Она невольно вспыхнула, и яркий румянец не сходил с ее щек в продолжение всего обеда. Когда встали из-за стола, хозяйка тотчас удалилась к себе, mademoiselle Клара и мисс Бетси тоже, а mademoiselle Анет повела детей в сад; оттуда она видела Марка Семеныча, сидящего у себя в кабинете у окна с сигарою.

Дети играли до семи часов. Марк Семеныч явился к ним со шляпою, перецеловал всех, раскланялся с mademoiselle Анет и пошел к террасе. Mademoiselle Анет узнала от детей, что Марк Семеныч с незапамятных времен в семь часов уезжал в клуб, не только в городе, но даже и из деревни.

Должность mademoiselle Анет не была весьма трудна. Дети ее ужасно полюбили, потому что она от них ничего не требовала, кроме веселости. Она изобретала им игры, в которых, казалось, иногда сама не менее их принимала участие. Одно было ей неприятно: это пытливые взгляды и тон Надежды Александровны.

Mademoiselle Клара льстила mademoiselle Анет, навязывала ей свои сердечные тайны, коверкая в разговорах русский язык, перемешанный с французскими фразами. Мисс Бетси сохраняла полное равнодушие к mademoiselle Анет. По-русски она с ней ни слова не говорила; но в ее присутствии она еще сильнее пыхтела. Так что mademoiselle Анет никого не нашла в доме, с кем бы могла сблизиться. Одно существо ей очень нравилось: что mademoiselle Шарлот; но она вечно была занята, и притом, кроме немецкого языка, не умела ни на каком говорить, а mademoiselle Анет его очень плохо даже понимала, и они, встречаясь, только дружелюбно улыбались друг другу. Бедная mademoiselle Шарлот была труженица в доме. Она разливала чай не только детям, но и всем гостям. На ее руках был весь гардероб детей, и за всякое упущение в нем Надежда Александровна очень строго взыскивала.

В несколько времени mademoiselle Анет обжилась в доме; но всё-таки она никак не могла покойно выносить свою роль в гостиной, когда были гости и она должна была присутствовать с детьми. Впрочем, на это была очень понятная причина. Надежда Александровна имела особый дар выискивать случаи делать ей вслух замечания, что она пренебрегла своей обязанностью.

Тавровского mademoiselle Анет видала всякий день и никак не могла иметь настолько власти над собой, чтоб не краснеть при его появлении. Впрочем, Тавровский так был красив собой, умен, любезен, что его внимание и для женщины, очень высоко стоящей в обществе, было бы лестно, не только для гувернантки: mademoiselle Анет в его присутствии чувствовала, что его внимание к ней ставит ее выше всех находящихся в гостиной, потому что все женщины искали одного его взгляда, ловили его слово и он был всюду первый.

Mademoiselle Анет замечала, что внимание его к ней оскорбляло многих и злило; но иногда мелочное мщение – такое сладкое чувство для женщины! Ее стал беспокоить Марк Семеныч своими наблюдениями за ней, особенно когда она говорила с Тавровским, – хотя он маскировал их, – как например: он садился против зеркала и оттуда глядел на mademoiselle Анет или, взяв книгу, делал вид, что читает, но вместо того следил за каждым движением ее. Раз mademoiselle Анет была свидетельницей очень неприятной домашней сцены. Надежда Александровна за столом стала подсмеиваться над Марком Семенычем, что он сделался домоседом и даже забыл клуб. Это была правда; но Марк Семеныч очень разгорячился, и они крупно говорили.

Марк Семеныч в семь часов вечера, каждый день после обеда, усаживал детей в большой шарабан, mademoiselle Анет и mademoiselle Шарлот брались для надзора за ними, и он, сам правя, возил их по парку своему, который был огромен. Раз, когда они катались, их встретил Тавровский верхом с жокеем сзади.

Марк Семеныч заметно был недоволен этой встречей и спросил его:

– Это как вы сюда попали?

– Я ехал к вам, и мне вздумалось прогуляться... А вы часто делаете такие прогулки?  
– спросил Тавровский, обратись к mademoiselle Анет, которая отвечала:

– Всякий день; дети очень любят кататься.

– Где же они? – озираясь во все стороны, спросил Тавровский.

– Они с mademoiselle Шарлот собирают травы какие-то, – отвечала mademoiselle Анет и, любуясь лошадью Тавровского, прибавила: – Какая красивая у вас лошадь!

Тавровский ехал близко шарабана, со стороны, где сидела mademoiselle Анет, которая потрепала лошадь по шее. Он быстро остановил ее и, наклонясь, поцеловал то место, к которому прикасалась рука mademoiselle Анет. Это было сделано так быстро, что краска, бросившаяся ей в лицо, не успела скрыться, как Тавровский ехал опять возле и, трепля лошадь по шее, говорил вполголоса:

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Счастливица, счастливица!

И, обратясь к mademoiselle Анет, он спросил ее:

– Вы ездите верхом?

– Да! – отвечала она, не повертывая головы, чтоб скрыть свою краску.

– Вы ездите? что же вы мне не сказали? – с упреком подхватил Марк Семеныч.

– Нет, извините, я первый спросил! – воскликнул Тавровский и торопливо прибавил, обращаясь к mademoiselle Анет: – Вы мне позволите быть вашим кавалером?

– Да я вовсе не думала делать прогулки верхом.

– Если вы желаете, то каждый вечер можете иметь смирную лошадь и верхом с нами делать прогулку! – говорил Марк Семеныч, стараясь гнать своих лошадей.

– Вы напрасно мучите лошадей: моя три приза выиграла! – смеясь, сказал Тавровский, скача в галоп возле шарабана.

– С чего вы взяли, что я еду скоро от вас? – сухо отвечал Марк Семеныч.

И mademoiselle Анет заметила, что руки его дрожали.

Дети и mademoiselle Шарлот с травами ожидали шарабана, который остановился. Тавровский бросил поводья своему жокею и высадил mademoiselle Анет, которая стала усаживать детей. Эжень сел с отцом, mademoiselle Шарлот на вторую скамейку, с Софи и маленькими детьми, а mademoiselle Анет на последнюю, с Ольгой.

Тавровский уже занес ногу в стремя, как вдруг кинулся к шарабану, уже двинувшемуся, ловко вскочил в него и сел возле mademoiselle Анет, взяв Ольгу на руки. Марк Семеныч остановил лошадей и сказал:

– Угодно вам править?

– Нет, избавьте: вы знаете, я езжу неосторожно, а здесь столько драгоценностей сидит для вас.

– Я устал, возьмите! – бросая вожжи, сказал Марк Семеныч.

– Что вы делаете! – воскликнул Тавровский, кинувшись из шарабана и схватив под уздцы лошадей, которые хотели тронуться с места.

Марк Семеныч закрыл лицо руками и, повесив голову на грудь, сидел молча.

– Что с вами? – иронически спросил Тавровский, подавая ему вожжи.

Дети и гувернантка тревожно глядели на Марка Семеныча, который, подняв голову и тяжело вздохнув, сказал:

– Вдруг что-то голова закружилась!

И точно, лицо его было бледно.

– Извините, я не догадался и думал, что вы из вежливости предлагаете мне править.

– Садитесь возле меня! если опять у меня закружится голова, вы возьмете на себя труд править лошадьми, – отрывисто сказал Марк Семеныч.

– С большим удовольствием! – отвечал Тавровский и посадил Эжю к mademoiselle Анет. Он успел шепнуть ей: «Будьте осторожнее» – и сел возле Марка Семеныча.

Шарабан помчался. Дети снова заболтали.

Тавровский шутил и всё время ехал лицом к дамам.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
В этот вечер хозяйка дома уехала куда-то в гости. Mademoiselle Клара и мисс Бетси ждали их пить чай в комнате, где стояло фортепьяно. Mademoiselle Клара не скрыла своего удивления при виде Тавровского.

Чай прошел очень весело. Дети шумели, играя с Тавровский. Когда окончился чай, он сказал:

– Mademoiselle Клара, сделайте одолжение, сыграйте англес.

– С большим удовольствием! Вы будете танцевать?

– Да, я буду просить мисс Бетси.

И он стал упрашивать ее идти с ним танцевать. Мисс Бетси злилась, пыхтела, дети кричали, смеясь, под игру mademoiselle Клары.

Mademoiselle Анет стояла у фортепьян, разбирая ноты, чтоб скрыть свой смех. Марк Семеныч подошел к ней и что-то вполголоса говорил ей.

Глаза mademoiselle Клары поминутно перебегали от клавишей на Марка Семеныча и mademoiselle Анет, которая смеялась, глядя, как Тавровский танцевал англес с Софи и, подражая толстяку, пыхтел и тяжело прыгал. По окончании танца mademoiselle Клара заиграла вальс и сказала:

– Эжень, ангажируйте mademoiselle Анет; мы еще не видали, как она танцует.

Начался бал. Дети и большие вальсировали. Марк Семеныч, по просьбе дочери, пошел тоже кружиться.

Тавровский ангажировал mademoiselle Анет, и они минут десять вертелись так, что Марк Семеныч шепнул mademoiselle Кларе:

– Перестаньте играть: он закружит ее.

Тавровский усадил свою даму, подошел к mademoiselle Кларе и сказал:

– Вы, верно, устали? извините! Но mademoiselle Анет так легко вальсирует, что я готов целый день с ней кружиться.

И Тавровский, сев за фортепьяно, продолжал играть вальс, тихо напевая его. Глаза его горели, и вся его фигура так была выразительна, что все как бы невольно смотрели на него. Mademoiselle Клара сказала:

– Спойте что-нибудь!

Тавровский, как бы опомнясь, встал со стула и, указывая на него mademoiselle Кларе, сказал:

– Подайте пример.

Француженка стала гримасничать, отговариваться, но когда ее перестали просить, она откашлялась и начала петь какую-то итальянскую арию. Голос у ней был очень плох и вовсе не для такого пения: она фальшивила и голос у ней сорвался раза два. Тогда она сказала Тавровскому:

– Лучше дуэт из «Монтеки и Капулети».

Тавровский согласился, и начался дуэт. Голос у него был сильный и удивительно приятный, метода пения отличная, так что mademoiselle Клару нельзя было слушать. В продолжение всего пения Тавровский не спускал глаз с mademoiselle Анет, стоявшей на другой стороне, против него. Тавровский как будто видел перед собою Юлию и к ней пел. Mademoiselle Анет находилась в странном волнении и, как бы околдованная, не могла свести глаз с него.

Мисс Бетси слушала внимательно пение. Один Марк Семеныч скорыми шагами ходил по комнате. И когда кончился дуэт, он подошел к фортепьяно и сказал:

– Ну, дети, русскую песню!

Дети обступили отца и запели «Вниз по матушке по Волге...» даже mademoiselle Клара и мисс Бетси подтягивали. Тавровский тоже пел. Наконец и mademoiselle Анет решила присоединить свой голос.

– А-а-а! вы поете? спойте, спойте нам что-нибудь! – остановясь внезапно, сказал Марк Семеныч, обращаясь к mademoiselle Анет, которая пугливо отвечала:

– О, я не умею петь!

– Не может быть! Ну что-нибудь! – сказал Тавровский.

Дети тоже осыпали ее своими просьбами и поцелуями, так что mademoiselle Анет силою посажена была за фортепьяно.

– Только с хором! – сказала наконец mademoiselle Анет, взяв аккорд.

– Извольте, извольте! – отвечали ей.

В комнате настала тишина, и mademoiselle Анет, собравшись с силами, неполным голосом запела русскую песню, бывшую тогда в моде.

Хор аккомпанировал ей. Голос певицы всё становился громче, и наконец она запела с таким увлечением и так вела хор, что Марк Семеныч и Тавровский пришли в восторг.

– Спойте еще что-нибудь! – говорил Марк Семеныч, когда mademoiselle Анет окончила петь.

Mademoiselle Анет запела романс Офелии. Молчание сделалось страшное. Слезы блестели на глазах Марка Семеныча, мисс Бетси подошла ближе к стулу певицы и, освободив одно ухо из-под чепчика, напряженно слушала. Mademoiselle Анет уже без просьб запела романс Дездемоны из второго акта.

Посреди глубокой тишины вошла в комнату хозяйка дома, только что возвратившаяся из гостей. Кто стоял сзади, заметил ее присутствие и попятился назад, сообщив эту весть соседу; наконец все отошли от фортепьян. Одна mademoiselle Анет ничего не замечала и продолжала петь. Хозяйка дома в эту минуту очень походила бы на Отелло, если б не была рыжевата. Вместо кинжала она коснулась ручкой зонтика до плеча mademoiselle Анет и строго произнесла:

– Довольно!

Mademoiselle Анет, вскрикнув, соскочила со стула, но опять села на него; страшно побледнев и закрыв лицо руками, она зарыдала. Тавровский кинулся к ней; голова mademoiselle Анет лежала на его груди, и рыдания наполняли комнату.

– Воды! воды! – кричал Марк Семеныч.

Все суетились в комнате, исключая хозяйки дома, которая стояла на одном месте и гневно на всех смотрела.

Освежась водой, mademoiselle Анет быстро встала, оглядела комнату и тихо сказала:

– Я испугалась... впрочем, ничего... это...

Надежда Александровна подошла к зеркалу и, срывая свои перчатки, сказала сердито:

– Мисс Бетси, уведите детей!

И, бросясь на стул, она нетерпеливо стучала ногой об пол.

Все двинулись из комнаты, исключая Марка Семеныча, который сказал:

– Надинь!

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a  
Но она не слышала, потому что провожала глазами Тавровского, подавшего руку mademoiselle Анет. Они медленно шли, тихо разговаривая.

– Надежда Александровна! – опять сказал Марк Семеныч.

Надежда Александровна быстро повернула голову и так взглянула на Марка Семеныча, что он сделал нетерпеливый жест и, сев у фортепьян, стал барабанить по клавишам.

– Вы надоели мне с музыкой! – вставая, сказала Надежда Александровна и, позвонив в колокольчик, прибавила вошедшему лакею: – Вынести отсюда фортепьяно.

– Надинь! – воскликнул Марк Семеныч.

– Куда прикажете? – спросил лакей.

– На чердак!

– Помилуй, Надинь! как же дети будут учиться?

– Ну так в детскую! Скорее!

– Это слишком! Неужели для детей нет комнаты? – заносчиво начал Марк Семеныч; но его перебила Надежда Александровна:

– Не от детей, а от пения ваших гувернанток я избавляю себя.

– Напрасно! она поет очень хорошо! – сказал Тавровский, входя в комнату.

– Вы, верно, так заслушались, что забыли ваше слово приехать к Мари? – язвительно заметила Надежда Александровна.

– И вы не ошиблись: я так приятно провел время, что...

– я не любопытна! прощайте!

И Надежда Александровна вышла из комнаты. Тавровский взял шляпу и сказал Марку Семенычу:

– Поедемте в клуб!

– Нет, я буду дома.

– Об вас все спрашивают, не знают, что думать, и решили, что вы влюблены! – натягивая перчатки, говорил Тавровский.

– Кому какое дело, бываю ли я или нет в клубе! – горячась, отвечал Марк Семеныч.

– Разве вы не знаете, что партнер так же любопытен, как ревнивая женщина. До свидания!

И Тавровский удалился, а Марк Семеныч долго сидел задумчиво за фортепьяно, склонив голову на грудь; несколько лакеев стояли у дверей и шептались между собой, готовые вынести фортепьяно..

Несколько дней Надежда Александровна не выходила к столу. Все в доме ходили на цыпочках. Марк Семеныч был озабочен и мрачен. Mademoiselle Клара целые дни сидела у больной и занимала роль лектрисы. Мисс Бетси водила к хозяйке дома здороваться и прощаться детей, так что mademoiselle Анет не имела случая видеть больную.

Времени оказалось очень много свободного у mademoiselle Анет, и она занялась чтением маленькой своей библиотеки, стоявшей у ней в комнате в красивом шкапу. Книги были большей частью назидательные, и поля их мелко исписаны карандашом. Писавшая свои заметки особа была очень мрачного настроения духа. Всё говорилось о необходимости жертв, о сладости дружбы; о том же были исписаны целые листы, вложенные в книги. Эти отрывки очень заинтересовали mademoiselle Анет, и она спросила Марка Семеныча, кому принадлежала маленькая библиотека ее.

– А что? – спросил он.

– Может быть, я поступила нескромно, но я прочла заметки в книгах.

– Как вы их нашли?

– Мне кажется, тот, кто писал, должен быть очень несчастлив.

– Вы жалеете о нем?

– Кто же писал?

– Это была комната Веры и ее любимые книги; но когда ее не стало, то я в тяжелые минуты часто приходил туда и...

– Так это ваши...

– Вас удивляет?

Анет молчала. Тогда Марк Семеныч наставительно сказал:

– Никто, кроме вас, мне кажется, не знает, какие глубокие раны в моем сердце. Сожаление пустых людей только растравляет их, и потому я стараюсь иметь личину довольную. Да, одни лицемерят, чтоб приняли в них участие, а я, я решаюсь на это, чтоб избежать его. Я горд и хочу только одного искреннего участия.

Марк Семеныч мог говорить свободно с mademoiselle Анет: это было после обеда, во время прогулок детей по саду; часто они выходили даже из калитки в поле.

Наконец Надежда Александровна сняла с себя карантин, потому что на ее наружности не было и тени болезни. Она небрежно отвечала на поклон mademoiselle Анет и оставляла ее без внимания, как будто она была невидимкою для нее.

Гостиная Надежды Александровны была полна молодых людей и дам, исключая Тавровского, который не показывался в дом с того дня, как пела mademoiselle Анет.

Однажды, когда садились за стол, лакей известил о прибытии Тавровского. Надежда Александровна так поспешно встала с своего места, на котором она уже сидела, что mademoiselle Клара закашлялась.

Вошел Тавровский. Он раскланялся с хозяйкой и хозяином дома, потом со всеми и сел возле Надежды Александровны, которая приказала поставить ему прибор. Она спросила:

– Что значит, что вас столько времени не было видно?

– Я был на охоте.

– Целую неделю? – язвительно воскликнула Надежда Александровна.

– Да.

– Странно! а Мари мне говорила, будто бы она вас видела...

– Ошиблась: приняла другого за меня, – отвечал Тавровский и, обращаясь к Эженю, продолжал: – Ну что? как идет твое рисованье?

– Очень хорошо! я теперь рисую головку... – отвечал Эжень.

– Портрет с mademoiselle Авет! – подхватила, смеясь, Софи.

– Неправда! – покраснев, перебил ее Эжень.

– Да, да! ты сам меня спрашивал, похоже ли.

Mademoiselle Анет покраснела.



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Мисс Бетси запыхтела и сделала замечание Софи, что она стала говорить очень скоро.

– Да, это правда, и манеры у ней стали какие-то резкие! – подхватила Надежда Александровна.

Краска сменилась бледностью у mademoiselle Анет.

– Немудрено: живость mademoiselle клары очень увлекательна. Она так грациозна... – смеясь, сказал Тавровский.

– Я не беру на себя выговора, потому что Софи, кроме класса, не бывает со мной, – отвечала mademoiselle Клара.

– И я тоже! – заметила мисс Бетси.

Слезы дрожали на ресницах у mademoiselle Анет. Она сидела потупив глаза. За столом вдруг воцарилось молчание.

Младший сын, сидевший возле mademoiselle Анет, вдруг сказал с грустью:

– Папа, она плачет!

Глаза всех устремились на бедную, сконфуженную mademoiselle Анет.

– Какая чувствительность! – презрительно воскликнула Надежда Александровна.

Mademoiselle Анет не выдержала, и слезы ручьями потекли по ее лицу; она едва слышно произнесла извинение и встала из-за стола.

Марк Семеныч, подав ей руку, повел ее из столовой. Возвратись на свое место, он с сердцем сказал:

– Надинь! это жестоко, это... – Надежда Александровна смеялась так весело и простодушно, что Марк Семеныч замолчал и нетерпеливо ждал, когда пройдет порыв этой веселости. Он строго продолжал: – Я вас не узнаю, Надинь.

– Потому что я вмешалась в воспитание моих детей; но я надеюсь, что имею на это право!

– Я был бы очень счастлив, если бы вы это давно сделали; но внимание не так должно выражаться.

– Вы знаете, что я морали не люблю ни читать, ни слушать.

– Однако! – возразил Марк Семеныч, весь вспыхнув.

– Скажите, пожалуйста, нельзя ли мне попробовать убитую вами дичь? – обращаясь к Тавровскому, сказала Надежда Александровна и этим вопросом прекратила свой разговор с Марком Семенычем, который тотчас после обеда, собрав детей, пошел в сад.

Mademoiselle Клара хотела ему сопутствовать; но Марк Семеныч сказал:

– Не беспокойтесь: mademoiselle Анет, верно, будет так добра, что исполнит свою обязанность, – и, обратись к сыну, он продолжал: – Эжень, сходи к mademoiselle Анет и уприси ее хорошенько, чтоб она вышла в сад.

И Марк Семеныч тоже последовал с детьми за сыном. Он вошел в комнату mademoiselle Анет, которая сидела у окна и, закрыв лицо платком, горько рыдала. Эжень, прибежавший первый, робко стоял в дверях. Марк Семеныч сказал детям:

– Подите и упрсите ее, чтоб она перестала.

Дети бросились целовать и обнимать mademoiselle Анет, которая поспешно вытерла слезы, поправила волосы и сказала:

– Я готова...

– Вы и на меня сердитесь, – сказал Марк Семеныч.

– Уверяю вас, что, кроме благодарности и удивления моего к вам, я ровно ничего не имею..

– Вы забыли, может быть, ваше слово разделить со мной тягость воспитания?

– И я сдержу его, потому что я должна же чем-нибудь заплатить вам за то участие..

– Боже мой! не говорите со мной так. Вы для меня принесли жертву.

– Однако зачем их делать свидетелями, – заметила mademoiselle Анет, потому что дети с большим вниманием слушали их разговор.

И они пошли в сад; но не успели они сделать круг, как к ним навстречу шла Надежда Александровна и ласково сказала, обращаясь к mademoiselle Анет:

– А я вас искала.

– Я была в своей комнате, – отвечала mademoiselle Анет.

Надежда Александровна молча пошла возле нее. Она, казалось, хотела что-то сказать ей, но как бы не решалась.. и вдруг она торопливо сказала:

– Вы, mademoiselle Анет, извините меня, я не хотела вас обидеть! – И, сказав это, она быстро отошла в сторону и заметила своей дочери, шедшей впереди:– Как я не люблю на тебе, Софи, этого платья!

Тавровский шел навстречу, и когда он встретил Надежду Александровну, то пытливо взглянул на нее, потом на mademoiselle Анет, которой он сказал:

– Я к вам с предложением: не хотите ли попробовать мою верховую лошадь? она очень смиренная. Mademoiselle Клара уже подпрыгивает на ней и страшно кричит.

– Благодарю вас! в другой раз.

– Отчего же вы не хотите? – заметила любезно Надежда Александровна.

И все пошли на подъезд, выходящий на большой двор, посреди которого был огорожен луг с зеленой травой; в центре его красовались солнечные часы. Mademoiselle Клара, скривив талию, подпрыгивала на аршин от седла, смеялась, поддерживая свою гребенку в косе. Лошадь вели под уздцы, и она шла легкой рысью.

Дети стали проситься тоже сесть на лошадь, когда mademoiselle Клара сошла с нее. Тавровский сел по-дамски и прокатывал поочередно детей; Марк Семеныч ходил возле и останавливал Тавровского, когда тот скоро ехал. Mademoiselle Анет в это время крепче увернула свою косу, на что не без зависти смотрели Надежда Александровна и гувернантки; потом она надела длинную суконную юбку и ожидала лошади, которую подвел к ней Тавровский, спросив ее:

– Вы как садитесь, с лестницы?

– Нет, я и так могу, – отвечала mademoiselle Анет.

Тавровский так приподнял ее, что она с секунду стояла ногой на его руке. Сев на седло, она взяла повод и, оправив платье, повернула лошадь прямо, пришпорила ее и перескочила через перегородку в луг.

Послышались разного рода восклицания.

Тавровский кричал «браво!», Марк Семеныч: «Осторожнее!», дети, прыгая, били в ладоши, а дамы с удовольствием следили за mademoiselle Анет, скакавшей рысью вокруг. Она, казалось, одушевилась, то ехала рысью по-английски, то просто, – потом, подняв лошадь в галоп, сделала тур, пустила ее во весь карьер и неожиданно остановила перед Тавровским, стоявшим на лугу. Она бросила ему повод и спрыгнула на землю, так что дети вскрикнули, думая, что она упала с лошади. Похвалы сыпались со всех сторон mademoiselle Анет. Надежда Александровна сказала

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a ей:

– Да, вы удивительная наездница! где это вы выучились так ездить?

– В деревне, один из моих родственников, хороший кавалерист, учил меня, – гордо отвечала mademoiselle Анет.

Надежда Александровна подняла брови и произнесла:

– А-а-а!

Марк Семеныч подошел в это время к mademoiselle Анет и сказал:

– Нет, я вам больше не позволю ездить верхом: вы ужасно смелы. Как можно, не зная лошади...

– Ах, как ты скучен с своими моральями! ну, читай их детям! – перебила его Надежда Александровна и закричала Тавровскому, скакавшему по-дамски: – Полноте! теперь вы нас не удивите своей смелостью.

Вечер прошел довольно весело. Приехали гости; но mademoiselle Анет удалилась, потому что детям было время идти спать. Прощаясь с детьми, Тавровский успел тихо спросить mademoiselle Анет:

– Извинялась?

– Кто? – невольно шепотом спросила mademoiselle Анет.

– Кому следовало.

Mademoiselle Анет ничего не отвечала.

Тавровский, взяв на руки Андре и целуя его, сказал ему:

– Поди и крепко поцелуй за меня мисс Бетси.

– Не хочу!

– Ну mademoiselle Клару.

– Не хочу, не хочу! – говорил ребенок.

– Ну а хочешь ли поцеловать mademoiselle Анет?

Ребенок протянул к ней руки. Mademoiselle Анет ждала его, только чтоб уйти, и когда брала Андре от Тавровского, то почувствовала легкое пожатие руки; она в волнении сказала:

– Вы, кажется, следуете общему примеру и тоже намерены мне делать оскорбления.

И mademoiselle Анет повела детей прощаться к Марку Семенычу.

Тавровский громко воскликнул:

– Неужели вы это серьезно думаете?

– Что такое? что такое? – кричала с другого конца гостиной Надежда Александровна.

– Mademoiselle Анет обижает меня, – отвечал так печально Тавровский, что вызвал смех детей.

– Бедный! а вы не умеете защититься! – насмешливо сказала Надежда Александровна, подходя к нему.

– Без вашей помощи – нет.

– Чем же она обидела вас?

– Не хочет ехать верхом завтра со мной.

– Какая обида! – с неудовольствием заметила Надежда Александровна.

Mademoiselle Анет гордо глядела на Тавровского и медленно удалилась с детьми.

Не без волнения пришла она к себе в комнату и, усевшись в креслы, о чем-то задумалась, что случалось очень часто с некоторого времени. Вошла горничная и подала ей записку.

– От кого? – спросила mademoiselle Анет.

– Мне подал Сергей, ничего не сказав, – отвечала горничная.

Mademoiselle Анет распечатала записку и стала читать. Лицо ее покрылось краской; разорвав, она бросила ее на пол и стала в сильном волнении ходить по комнате. Записка была от Тавровского, который писал:

«Вам показалось, что я хотел вас оскорбить. Я согласен, что, может быть, моя шутка была дерзка. Но клянусь вам честью, что в ней и тени не было того, что вы предположили. Это всё меня так поразило, что я чуть не наделал глупостей. Простите, простите меня! Если вы не сердитесь на меня, то покажитесь у вашего окна. Я буду стоять в саду у кустов и простою целую ночь за свою ветреность».

Mademoiselle Анет отослала свою горничную ранее обыкновенного и вышла из своей комнаты, выходящей в сад, в другую. Она пробовала читать, работать, но скоро всё бросала и поминутно ходила в смежную комнату. Она подкрадывалась к окну и, отскакивая от него с ужасом, повторяла:

– Боже мой, его увидят! что он делает!

Настала ночь. Волнение ее усилилось, тем более что Марк Семеныч, возвратись к себе, имел привычку открывать у себя окно и долго сидел, мурлыча романс Офелии или Дездемоны.

Mademoiselle Анет, дрожа, прислушивалась к малейшему шуму, и сердце у ней забилося сильно, когда окно раскрылось внизу и послышался голос Марка Семеныча.

Mademoiselle Анет поспешно открыла свое окно, махнула платком и тотчас заперла его. Но не успела она это сделать, как чья-то фигура стояла на дорожке и глядела к ней в окно. Mademoiselle Анет, слабо вскрикнув, присела, стараясь скрыться. Она медленно подняла голову и робко взглянула в окно. Фигура всё еще продолжала прохаживаться взад и вперед.

– Господи, что он делает со мной! – почти рыдая, воскликнула mademoiselle Анет – и вдруг кинулась к себе на кровать, потому что кто-то застучал ключом у дверей другой комнаты.

То была горничная, которая, подойдя к двери, робко сказала:

– Если вы не почиваете, так вот-с записка.

– Боже мой, опять! – с сердцем сказала mademoiselle Анет, отворяя дверь.

– От mademoiselle Клары! – отвечала горничная. Но записка была от Тавровского. Он писал следующее:

«Я счастлив: вы простили меня; берегитесь: за вами подсматривают и ходят дозором около ваших окон. Чтоб отвлечь подозрение горничной, я велел сказать, что это от mademoiselle Клары. Дайте ей какую-нибудь книгу. Благодарю, благодарю вас».

Mademoiselle Анет отдала горничной книгу и сказала:

– Ты больше не входи ко мне: я хочу спать.

Но когда горничная ушла, она подкралась к окну и увидела всё ту же фигуру, расхаживающую под окнами.

Mademoiselle Анет пугало всякое сближение с Тавровским, и в то же время она не могла не согласиться, что внимание его льстило ей. Она заметила, что на нее стали обращать особенное внимание, когда она являлась в гостиную с детьми; да она и сама чувствовала, что взгляд и улыбка ее, даже каждое движение приняло какое-то особенно спокойное и гордое выражение. При всей своей живости характера она мало принимала участия в разговорах и очень редко улыбалась. От детей она узнала, что ее прозвали гости: *mademoiselle de Fierté*. [7] Чем ни старались уязвить ее женское самолюбие многие дамы, внимание Тавровского всё выкупало. В ее присутствии, в гостиной, он бросал всех и постоянно находился с детьми, то есть находился около *mademoiselle* Анет. Шутки сыпались на него; особенно смеялась над ним Надежда Александровна. Раз, когда *mademoiselle* Анет удалилась с детьми, Тавровский подошел к кружку хозяйки дома, и она иронически сказала ему:

- Да вы совершенно превратились в ребенка: только с детьми и говорите.
- Я очень желал бы, но с условием, чтоб *mademoiselle* Анет согласилась быть и моей наставницей, – отвечал Тавровский.
- Вы ее так избалуете своими пошлыми комплиментами, что я буду принуждена ей отказать от дому, – тихо сказала Надежда Александровна.
- Эта мера с вашей стороны очень будет простибельна.
- Это что значит! Неужели вы думаете, что я унижусь до того, чтоб бояться ее красоты! И что в ней хоршего!
- Всё: рост, взгляд, походка; а уметь держать себя в вашей гостиной – это показывает очень топкий ум.
- Так это более сострадание вами руководит? – смеясь принужденно, перебила его Надежда Александровна.
- Может быть! Я очень желал бы ее видеть в другом положении: она произвела бы эффект в обществе.
- То есть вы сожалеете, что уже нет тех волшебников, которые жен рыбаков превращали в графинь! – изменяясь в лице, шепотом проговорила Надежда Александровна.
- Разумеется, это жаль!
- И вы бы женились на ней? ха-ха-ха!

И Надежда Александровна громко стала смеяться, как бы желая скрыть свое волнение.

С этого дня она стала выезжать почти всякий вечер, и гостиная ее была пуста, чем Марк Семеныч, казалось, был очень доволен. Гуляя с *mademoiselle* Анет и детьми, он говорил:

– Не правда ли, что тихая семейная жизнь гораздо лучше этих пустых собраний, где каждый, являясь, должен запастись большим количеством принужденных улыбок и пошлых фраз. Мне кажется, вы не из числа тех тщеславных женщин, для которых блеск заменяет всё в жизни. Вот я заметил, что вы исключение: блеск не увлекает вас, а пошлые комплименты не удовлетворяют.

Марк Семеныч ошибался или не хотел замечать, каким огнем блестели глаза у *mademoiselle* Анет, когда она находилась в освещенной, шумной зале, какая гордая улыбка блуждала на ее губах, когда она замечала, что была предметом общего разговора. Нет! Марк Семеныч не понимал ее презрительной холодности ко всему, что ее окружало...

Приближался день рождения Марка Семеныча. *Mademoiselle* Клара и мисс Бетси учили детей разным поздравительным стихам к этому дню.

*Mademoiselle* Анет придумала другого рода сюрприз: она из детей и их знакомых составила кадрили в характерных костюмах. Хлопоты были большие для *mademoiselle*

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovnikola  
Анет. Она сама заказывала парики. Костюмы шились дома под ее руководством.

Марк Семеныч желал детского бала, а Надежда Александровна и слышать не хотела, и дом готовился к блистательному собранию. Накануне дня рожденья, за обедом, Надежда Александровна сказала mademoiselle Анет:

– Есть ли у вас платье для завтрашнего дня? Впрочем, вы не стесняйтесь, можете и передать свою должность.

– Это очень мило! Я уж просил mademoiselle Анет тоже на этот день быть гостьей у меня, – и, обращаясь к ней, Марк Семеныч продолжал: – Вы так молоды, что, верно, вам приятно будет потанцевать.

– Какой лестный комплимент вы делаете mademoiselle Кларе! – с досадой заметила Надежда Александровна.

– Я хотел просить mademoiselle Клару об этом же. Мисс Бетси, верно, будет так добра, что возьмет на себя все хлопоты.

– Я бы с большим удовольствием взялась, но mademoiselle Анет слишком слаба к детям, и я боюсь, что не слажу с ними! – отвечала мисс Бетси.

– Я небольшая охотница до танцев и потому могу не передавать своей обязанности, – сказала mademoiselle Анет Марку Семенычу. Вечером mademoiselle Клара явилась с советами к mademoiselle Анет, как ей следует хорошо одеться. Она сказала:

– Ma chere [8] mademoiselle Анет, вы не знаете, что хозяйка дома очень взыскательна: она не любит, когда гувернантки ее одеты, как гости.

– Я не условливалась насчет туалета, вступая в дом, и потому оденусь, как мне вздумается, – сухо отвечала mademoiselle Анет.

– Вы счастливы: вы можете поступать так, – со вздохом заметила француженка.

– А зачем вы делали такие условия, принимая на себя обязанность...

– Если бы я была на вашем месте, и мне бы легко было пренебрегать ими.

– Разве наши роли не равны: я гувернантка и вы?..

– Да, только я... не пользуюсь вниманием.

– Ни я особенным.

– Полноте! мы всё видим с мисс Бетси.

– Да я ничего и ни от кого не скрываю! – покраснев, с сердцем сказала mademoiselle Анет.

– С вами очень трудно говорить: вы скрытны и горды. Но это вам самим послужит во вред.

Раскланявшись, mademoiselle Клара ушла.

Горничная рассказала, как от нее выводывала она, какое платье готовит себе mademoiselle Анет для бала. Эти мелочи серьезно заняли mademoiselle Анет, и она долго обдумывала, как бы ей одеться, чтоб было к лицу и эффектно. У ней было приготовлено белое газовое платье; но она примерила еще несколько других и, утомленная, легла спать, верно вспомнив пословицу, что утро вечера мудренее. Она встала рано, потому что была разбужена детьми, вошедшими к ней с mademoiselle Шарлот. Mademoiselle Анет оделась и пошла с ними в поле собирать цветы. У каждого из детей было по пучку полевых цветов, когда они возвратились в сад. Подкравшись к окну кабинета отца, они стали петь, прыгать, крича:

– Пора вставать, папа!

Марк Семеныч появился в окне: дети кинулись к нему с поздравлениями, подавая наперерыв свои букеты. Отец каждого перецеловал, прижав букеты к своей груди. Он

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a протянул руку к mademoiselle Анет и со слезами сказал:

– Благодарю вас: вы одни могли только придумать такое милое поздравление.

И он поцеловал у ней руку.

– Вот вы всё собирались рано встать и идти гулять с детьми: мы вас разбудили, – говорила mademoiselle Анет.

– Вы... вы поняли меня вполне! – в волнении отвечал Марк Семеныч и продолжал, обращаясь к детям: – Я сейчас выйду к вам.

Через четверть часа он явился в сад, вновь перецеловал детей, и они пошли гулять. Марк Семеныч был ужасно весел и, вдыхая в себя воздух, говорил:

– Какое утро! такие редко бывают в жизни каждого человека.

После прогулки он пригласил mademoiselle Анет с детьми пить чай у него в кабинете. Тут только mademoiselle Анет увидела одного из лакеев, бывших в дороге. Кабинет Марка Семеныча был очень хорош и имел вид ученый и деловой в то же время.

– Вот креслы, где я в грустные минуты ищу силы и спокойствия для себя! – сказал Марк Семеныч, указывая на вольтеровское кресло с подушкой, той самой, на которой mademoiselle Анет спала в дороге, и прибавил: – Узнали вы эту подушку?

– Нет! – отвечала mademoiselle Анет, слегка покраснев от своей невинной лжи.

Марк Семеныч тяжело вздохнул.

Дети были совершенно счастливы. Они везде лазили, всё рассматривали, и Ольга сказала, подойдя к отцу:

– Папа, пусть твое рождение будет всякий день.

– Я бы сам желал этого! – целуя дочь, отвечал Марк Семеныч, и, обратись к mademoiselle Анет, он прибавил с благодарностью: – Вы и их делаете счастливыми.

После чаю они все пошли на террасу, где ожидали выхода Надежды Александровны, которая очень поздно встала и вышла на террасу пить чай за общим столом, что она делала только в торжественные дни. Дети поздравляли ее и целовали у ней руку. Она дала знак mademoiselle Кларе и мисс Бетси, которые заставили детей поочередно читать поздравительные стихи рассеянному слушавшему Марку Семенычу. Он, однако, любезно благодарил гувернанток и поцеловал руку у жены, которая, увидя полевые букеты в вазе, сказала:

– Это что за дрянь?

– Это мы собрали с mademoiselle Анет для папа, – отвечал Эжень.

– Разве вы не могли догадаться и заказать букет садовнику? – строго спросила Надежда Александровна у mademoiselle Анет.

– Я более доволен этими букетами, потому что дети сами их составляли, – отвечал Марк Семеныч.

Надежда Александровна с жалостью взглянула на него и, улыбнувшись, пожала плечами. Помолчав, она сказала:

– Я желала бы, чтоб дети, не обедали сегодня с нами.

– Это отчего? – нахмурив брови, спросил Марк Семеныч.

– Потому что будет очень много гостей.

– Я просил не звать никого и желал этот день провести в семействе.

– Я желала бы знать, когда вы будете довольны, если я что-нибудь сделаю для вас?

– Благодарю тебя за внимание; но ты знаешь, что я не очень люблю такие важные обеды. Я прошу об одном, чтоб дети обедали с нами.

Целое утро Марк Семеныч был занят визитами, Надежда Александровна – туалетом, потому что к ней приехала модистка с бальным платьем. Стали съезжаться гости.

Mademoiselle Анет оделась к столу очень просто. Mademoiselle Клара была наряжена страшно и ходила как кукла, боясь измять свое платье. Мисс Бетси затянулась более обыкновенного, отчего еще сильнее пыхла; а цвет ее лица до того был красен, что равнялся с пунцовой гвоздикой, которою был убран ее чепчик. Сама хозяйка дома была одета с такою роскошью, что трудно описать. Ее плечи и руки, алебастровой белизны, были открыты; но кружевной вуаль не покидал ее головы, в которой были живые розы. Мари, друг ее, была женщина лет двадцати пяти, очень маленького роста, с лицом очень обыкновенным, но зато с улыбкой до того язвительной, что вся ее фигура делалась замечательною. Она тоже была одета пышно, как и прочие дамы, так что mademoiselle Анет в простом кисейном платье своем бросалась в глаза между шелком и цветами. Мари имела привычку глядеть в лорнет, и mademoiselle Анет не раз чувствовала неловкость от уставленного на нее лорнета.

Гувернантки и дети уже собрались в столовой. Марк Семеныч, войдя в сад, с удивлением спросил лакея:

– Что значит, что я не вижу детских приборов?

– Сама барыня изволили так распорядиться, – отвечал лакей.

В это время все вошли в столовую и было уже поздно перекрывать стол. На лице Марка Семеныча резко выразилось неудовольствие. Все уселись за стол, – дети и гувернантки за особый, стоявший у большого зеркала. Не прошло и пол-обеда, как Тавровский взял свой стул и уселся с детьми подле mademoiselle Анет, с которой он всё время говорил.

Надежда Александровна поминутно поворачивала голову к детскому столу и не раз быстро отворачивалась, потому что mademoiselle Анет, против своего обыкновения, была говорлива.

Дамы, почти все, остались решительно недовольны Тавровским, и Мари, друг хозяйки дома, заметила, что он предпочел стол нянек.

В антрактах Марк Семеныч подходил тоже к детскому столу и говорил шепотом mademoiselle Анет:

– Да, у вас здесь гораздо веселее.

После обеда все пошли в сад. Тавровский принял участие в играх детей. Почти все гости сошлись посмотреть на них, и mademoiselle Анет с надменностью встречала насмешливые взгляды дам и их презрительные улыбки. Гувернантки, как бы сговорясь, отделились от нее, и она стояла одна, как бы гордясь своим одиночеством. Она решилась бесить всех и даже слегка кокетничала с Тавровским.

Надежда Александровна наконец сказала:

– Mademoiselle Анет, вам пора переодеть детей.

Эта фраза была произнесена в ту самую минуту, как она говорила с Тавровским, и произнесена так, что досада заметно вспыхнула в лице mademoiselle Анет; но она тотчас приняла спокойно-гордую осанку и удалилась с детьми.

Когда смерклось, иллюминировали сад. Зала и другие комнаты были освещены. Кареты не переставали подъезжать.

Дети должны были открыть бал. Mademoiselle Анет одела их с такой тщательностью, с таким вкусом, что даже мисс Бетси изъявила удовольствие, когда дети попарно вошли в залу. Туалет mademoiselle Анет был очень эффектен, несмотря на простоту. Белое газовое платье, голова, убранный незабудками, у лифа такой же букет. На ней не было ни браслет, ни лент, ни кусочка блонд, а между тем она казалась



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a одетой роскошно. Она вошла в залу, окруженная детьми, пестро костюмированными, при звуках музыки. Всё, что было в зале, обратило внимание на нее, и общие похвалы посыпались со всех сторон. Mademoiselle Анет расставила детей, и началась кадриль под аплодисманы гостей. Дети танцевали развязно, выделявая разные трудные па; а mademoiselle Анет гордо смотрела вокруг себя, как бы сознавая сама свою красоту. Она была посредине залы одна, и когда кончилась кадриль, гости стали целовать и осматривать детей. Марк Семеныч подошел к mademoiselle Анет. Голос его был нетверд, и он сказал:

– Я не знаю, как мне благодарить вас.

– Не правда ли, Софи очень мила с мушками и в напудренном парике; а Серж так смешон маркизом, и как натурально он нюхает табак! Посмотрите, как кокетливо смотрит Ольга, – весело говорила mademoiselle Анет, окидывая залу.

Лицо ее приняло такое живое выражение, глаза так блестели, что Марк Семеныч глядел на нее с удивлением и сказал:

– Я вас не узнаю, я поражен!

– Чем? – рассеянно спросила mademoiselle Анет.

– Вы так хороши, вы...

– А-а-а! вы, кажется, намерены благодарить меня комплиментами.

– Это – истина.

– Бальная!

– Что же делать, когда...

– Позвольте вас просить на тур вальса, – подходя к mademoiselle Анет, сказал Тавровский.

Mademoiselle Анет подала руку; но вдруг она остановилась и спросила:

– Мне кажется, мы первые начинаем?

– Так и должно быть: вас все признали царицей бала! – кружась, говорил Тавровский.

– Я уверена, что есть много исключений, и Надежда Александровна...

– Ей же хуже, если она будет не в духе: красота ее требует большого спокойствия.

Они не замечали или не хотели заметить, но никто более не вальсировал. Посадив свою даму, Тавровский подошел к одному молодому человеку и сказал:

– Что же вы не танцуете?

– Да никто не хочет: я к трем подходил.

– Это забавно! они все обиделись! – смеясь, отвечал Тавровский.

В эту минуту его схватил за руку с волнением какой-то юноша очень приятной наружности и умоляющим голосом сказал:

– Ради бога, скажите, с кем вы сейчас вальсировали?

– Это гувернантка дома, mademoiselle Анет.

– Не может быть! Как ее фамилия?

– Ах, боже мой! да разве есть у них фамилии! – подхватила Мари, шедшая мимо, и с своей язвительной улыбкой спросила юношу: – И вас, барон, она пленила?

И, засмеясь, она пошла дальше.

Барон не спускал глаз с mademoiselle Анет, с которой только и танцевал Тавровский. В одной кадрили он сказал ей:

- Вы такой производите эффект, что посмотрите на этого несчастного юношу...
- Где? у дверей?
- Вы, верно, его заметили!
- Чем же он несчастлив?
- Он, увидев вас, сошел с ума.

Mademoiselle Анет засмеялась; но смех ее замер, и она изменилась в лице от следующих слов:

- Право, он помешался: уверяет, будто он вас видел на сцене.
- На какой? – тревожно спросила она.
- На провинциальной.

Mademoiselle Анет вздрогнула, побледнела и с ужасом смотрела кругом.

- Вам начинать, – сказал, делая фигуру, ее кавалер vis-a-vis. [9]

Mademoiselle Анет спохватилась, но не ту фигуру стала делать и сбила всех. Когда она возвратилась на свое место, Тавровский, взяв ее руку, чувствовал через перчатку, что она была холодна; лицо гувернантки было бледно как полотно.

Когда фигура была окончена, Тавровский, нагнувшись к ее стулу, шепнул:

- Что с вами? на вас все смотрят.
- У меня кружится голова.
- Оставим кадрили.
- Нет!

И она продолжала танцевать. Тавровский пытливо глядел то на mademoiselle Анет, то на барона, к которому он подошел по окончании кадрили и сказал:

- Ну что, вы еще уверены, что это она?
- Еще более; и когда она вдруг побледнела, мне так живо она напомнила Десдемону...

Тавровский взял его под руку, и они, разговаривая, удалились в сад, где долго ходили.

Марк Семеныч, по окончании кадрили, подошел к mademoiselle Анет и, задыхаясь, сказал:

- Что с вами? вы бледны... Ваш кавалер так дерзок, что от него всего можно ожидать... Что он сказал вам? О, он поплатится!.. Он не ожидает, что за вас вступятся.
- Право, ничего! – в смущении отвечала mademoiselle Анет.
- Вы скрываете! – стиснув зубы, сказал Марк Семеныч и с горячностью продолжал: – Нет, я не позволю никому оскорблять нашего дома. Я, я...
- Ради бога, не делайте сцены ему! – в испуге сказала Анет.
- А! вы испугались?
- Да, потому что мое положение будет смешно, когда вы потребуете отчета у него в

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a том, в чем он вовсе не виноват. Он может подумать бог знает что обо мне.

– Вы говорите правду?

– Я никогда, кажется, не подала вам повода сомневаться в моих словах.

– Что с вами? вы как будто чего-то испугались, танцуя с Тавровский? – заметила Надежда Александровна, проходя мимо говоривших, и, не дождавшись ответа, ушла.

Mademoiselle Клара тоже подбежала к ней и пугливо, с участием спросила:

– Вам, верно, ma chere Анет, узко платье? Я вам устрою, что не будет заметно, если его расстегнуть.

– Благодарю вас. Мне платье не узко; а у меня, верно, от жару закружилась голова, но теперь уж всё прошло, – отвечала mademoiselle Анет и увидела по этому случаю, до чего за ней все следят.

Она спешила идти танцевать, чтоб прекратить толки, и по-прежнему смотрела спокойно, гордо; румянец появился у ней на щеках. Тавровский ангажировал ее на вальс, давал ей отдохнуть и снова пускался с ней кружиться. Надежда Александровна остановила их, когда они вновь хотели вальсировать, и строго сказала:

– Mademoiselle Анет, вы, кажется, совершенно забыли о детях!

– Они с мисс Бетси.

– Мисс Бетси получает одинаковую плату с вами от меня, и потому...

Mademoiselle Анет быстро оставила Тавровского, сказав ему извинение, и удалилась из залы. Надежда Александровна, торжествуя, глядела ей вслед и улыбалась. Тавровский глядел на нее и сказал:

– Вы любуетесь ею? Не правда ли, какие у ней плечи, руки, талия!

Надежда Александровна быстро повернула голову и устремила сверкающие глаза на Тавровского, который спокойно продолжал:

– Вот это женщина! она не нуждается ни в каком прикрытии своих недостатков, она вся...

– Довольно, довольно! вы наконец выведете меня из терпения! – дрожа, сказала Надежда Александровна.

– Неужели вы ревнуете ваших гувернанток к мужу? – продолжал Тавровский шутливым тоном.

– Поль! – задыхаясь и побледнев, произнесла Надежда Александровна, и, завидя mademoiselle Анет, снова появившуюся в зале, она измерила с ног до головы Тавровского и кинулась к ней навстречу; но Тавровский загородил ей дорогу, взял ее за талию и силою увлек в круг вальсирующих. Они с жаром говорили во всё время, пока танцевали.

К ужину Надежда Александровна приказала детям идти спать. Они стали упрашивать отца, который сказал:

– Надинь, я прошу тебя оставить их для меня; я хочу, чтоб они ужинали со мной.

– Помилуйте! они болтаются между нами, гувернантки вертятся, прыгают.

И Надежда Александровна гневно посмотрела на стоявшую с детьми mademoiselle Анет.

Марк Семеныч воскликнул с упреком:

– Надинь!

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Я вами очень недовольна, mademoiselle Анет, и советую вам вперед более  
обращать внимание, что вы в доме не гостья, а нянька моих детей! – выйдя из  
своей гордой роли, говорила Надежда Александровна.

– Надинь! Надежда Александровна! вы забываетесь! – с равной горячностью сказал  
Марк Семеныч.

– Не я, а ваши гувернантки забываются! – отвечала Надежда Александровна и вышла  
из комнаты.

Эта сцена происходила в столовой в присутствии лакеев, накрывавших стол, и  
детей. Марк Семеныч совершенно потерялся; но mademoiselle Анет была покойна, и,  
взяв детей за руки, она тихо сказала ему:

– Не огорчайтесь! дети пойдут спать.

– Нет! не ходите, дети: подите ко мне.

И Марк Семеныч, перецеловав их всех, сказал им:

– Уважайте и любите mademoiselle Анет: она достойна глубокого уважения за свой  
кроткий характер. С каждым днем мое удивление к вам увеличивается. Я горжусь,  
что с первой встречи понял вас...

Ужин был накрыт в разных комнатах: в одной – председательствовала хозяйка дома, а в другой  
хозяин; дети сидели около него, mademoiselle Анет и Тавровский возле них, а  
напротив – барон и другие гости, состоящие из детей и гувернанток. К концу ужина  
Тавровский поднял бокал и громко сказал:

– Барон, не хотите ли выпить за здоровье дамы вашего сердца?

– Извольте!

И барон залпом выпил бокал, смотря на mademoiselle Анет, сохранявшую спокойное  
выражение лица.

– Кто? за чье здоровье вы пьете? – спросил Марк Семеныч, за детским шумом не  
слыхав тоста.

– Да вот барон воображает, что здесь есть лицо, очень похожее...

Тавровский говорил протяжно, смотря на mademoiselle Анет, которая страшно  
изменилась в лице и слегка толкнула локтем Тавровского.

– Ну что же?.. – с любопытством спрашивал Марк Семеныч.

Но Тавровский наклонился под столом, чтоб поднять салфетку свою, и записка  
очутилась в руках mademoiselle Анет.

– Я поражен сходством одной из здешних дам с одной актрисой, – сказал барон.

– С кем? на кого она похожа? – спросил Марк Семеныч.

Но когда отвечал барон, Тавровский поднял ужасный шум: он уронил свой бокал,  
отодвинул стул и, извиняясь перед mademoiselle Анет, что испортил ее платье, тер  
его салфеткой, хотя ничего на нем не было. И весь разговор барона с Марком  
Семенычем был покрыт говором и шумом, производимым Тавровским. Mademoiselle Анет  
после ужина побежала в сад и при свете шкаликов прочла следующие две строчки,  
написанные карандашом:

«Я должен вас видеть. Горничная ваша вам очень предана...»

Mademoiselle Анет пугливо спрятала записку на грудь, потому что mademoiselle  
Клара подбежала к ней и язвительно сказала:

– Ах, ma chere, что вы здесь делаете? так сыро в саду.

– Я думаю, и для вас также.

– Но о моем здоровье некому хлопотать, – отвечала mademoiselle Клара, и не успела она удалиться, как Марк Семеныч бежал по аллее и озабоченно кричал:

– mademoiselle Анет! какое безрассудство – после жару идти на сырость!

– Я сейчас уйду.

– Мне надо с вами переговорить.

– Завтра.

– Нет, непременно сегодня.

– Помилуйте, где же! народ кругом, и я должна вести детей спать.

– Я велел это сделать мисс Бетси.

– Марк Семеныч, вы подвергаете меня...

– Да... вы правы, точно; но, боже мой, целую ночь в неизвестности!.. Это ужасно!

– Прощайте! я иду к себе.

– Одно слово! – И Марк Семеныч сделал умоляющий жест.

Mademoiselle Анет убежала бегом, сказав:

– До завтра, до завтра!

Войдя к себе в комнату, она заперлась кругом и свободно вздохнула. Стук в двери, выходящие на двор, заставил ее вздрогнуть. Она дрожащим голосом спросила:

– Кто там?

– Я-с, пришла вас раздеть, – отвечала горничная.

– Не нужно.

– Мне нужно-с...

– Иди спать и оставь меня в покое! – строго закричала mademoiselle Анет; но не успела она окончить фразы, как кто-то тихонько стукнул в дверь другой комнаты.

Голос замер у mademoiselle Анет, и она не знала, на что решиться. Наконец она тихонько подкралась к двери и приложила ухо: тихий стук повторился.

– Кто там? – дрожащим голосом спросила она.

– Это я; узнали ли вы мой голос?

– Что вы здесь делаете? вы хотите погубить меня! – в отчаянии воскликнула mademoiselle Анет.

– Отворите дверь! одно слово.

– Нет, нет.

– Для вашей безопасности! умоляю вас.

– Мне всё равно гибнуть! – решительно отвечала mademoiselle Анет.

– Слушайте, mademoiselle Клара всё слышала, что говорил барон: завтра для вас готовится сцена.

Mademoiselle Анет отчаянно вскрикнула и с чувством сказала:

– Благодарю вас! я скажусь больной.

– О нет! напротив, будьте веселы; надо отклонить их подозрение.

– Хорошо.

– Отворите!

– Ради бога, уходите! вы разве не знаете, как за мной следят! – умоляющим голосом сказала mademoiselle Анет.

И долго она оставалась у двери; потом она кинулась к окну, раскрыла его и увидела черную тень, рисовавшуюся в ночном тумане; а вдали бежала женская фигура, и что-то белое на голове довольно ясно отделялось в зелени.

Стук раскрывшегося окна внизу заставил ее вздрогнуть; голос Марка Семеныча послышался в тишине: он уныло напевал романс Десдемоны.

Рассвело, а mademoiselle Анет всё еще не ложилась спать. Эту ночь многие в доме провели беспокойно.

На другое утро бала все долго спали; одна mademoiselle Анет встала в обычный час и вышла с детьми в сад. Она была бледна и задумчива. Происшествия вчерашнего дня так потрясли ее, что она не могла ничего говорить, даже не понимала, о чем ее спрашивали дети, которых наконец упростила оставить ее в покое и заняться чем-нибудь.

– Я буду с вас рисовать портрет! – сказал Эжень, усаживаясь на траву против нее.

– Я – убирать ваши волосы! – подхватила Софи.

– Хорошо, хорошо! – отвечала рассеянно mademoiselle Анет.

Через несколько минут составила удивительная группа. Mademoiselle Анет, в своем белом утреннем капоте, с распущенными волосами, в которые Софи, стоя на скамейке, вплетала разные травы и цветы; другие дети, окружив mademoiselle Анет, облокотись локтями на ее колени, полные цветов и трав, и подпираясь рукою в щеку, смотрели на работу сестры своей. Эжень не рисовал, а внимательно глядел на склоненную голову mademoiselle Анет и на ее потупленные глаза. Во всей ее фигуре было столько страдания, что это даже пугало ребенка.

Этой группой любовались две особы: Марк Семеныч и Тавровский. Они друг друга не замечали, потому что их разделяли кусты. Марк Семеныч первый приблизился. Mademoiselle Анет сконфузилась, стала собирать волосы; но Марк Семеныч остановил ее, сказав:

– Оставайтесь так одну минуту, и вы, дети! Покажи, Эжень, твою работу! – И он взял портфель от сына, сев возле него, и продолжал: – Позвольте ему поправить его ошибки.

– Вот картина, достойная кисти великого художника, – сказал Тавровский, явсья неожиданно из-за кустов посреди глубокой тишины.

Все вздрогнули, а mademoiselle Анет слабо вскрикнула. Марк Семеныч с сердцем заметил:

– Вы всех перепугали и...

– ...нарушил такую славную картину. Я завистлив и хочу тоже наслаждаться, как и вы, – сказал Тавровский, усаживаясь с другой стороны Эжени.

Mademoiselle Анет проворно завернула волосы; но их небрежность имела свою прелесть.

– Вы рано встали сегодня! – сказал Марк Семеныч Тавровскому, который отвечал ему:

– Да и вы не поздно.

– Я всегда так встаю.

– И очень понятно.

И они оба замолчали. mademoiselle Анет встала и объявила детям, что пора идти в детскую. Марк Семеныч и Тавровский последовали за ней. Но какво было общее удивление, когда вдали показалась фигура Надежды Александровны. Все переглянулись, а дети с удивлением восклицали:

– Матап, матап встала!!

Марк Семеныч пошел вперед. Надежда Александровна сухо кивнула ему головой на его приветствие и не подала ему руки. Она прямо шла к mademoiselle Анет, шедшей с Тавровским; и, не отвечая на поклоны, она заносчиво спросила:

– Отчего дети не в классе и не с мисс Бетси?

– Почему они не за классом? я думала, что дети устали после... – начала mademoiselle Анет, но ее перебила Надежда Александровна:

– А вы думаете, что они не устали быть ширмами?

– Надинь! – взяв жену за руку, сказал Марк Семеныч.

– Оставьте! мне надоело!

– Приди в себя! дети! – говорил Марк Семеныч, изменяясь в лице.

Тавровский напевал что-то и рассматривал паутину на кусте.

– Mademoiselle Анет, прошу вас прекратить утренние прогулки с детьми – задыхаясь, сказала Надежда Александровна.

– Дети, посмотрите, как паук наслаждается мучениями бедной мухи! Не правда ли, как он отвратителен? его надо раздавить! – сказал Тавровский.

Надежда Александровна побледнела. С минуту она стояла, как бы пораженная чем-то, – и вдруг она, зарыдав, побежала от аллеи. Странно было видеть эту гордую, насмешливую женщину с повелительными манерами, которая теперь бежала в слезах, как молоденькая девочка.

– Что с ней? – как бы не понимая, что делается вокруг него, пугливо произнес Марк Семеныч.

– Нервный припадок! – покойно отвечал Тавровский.

– Идите скорее к ней! – сказала mademoiselle Анет Марку Семенычу и Тавровскому, а сама быстро пошла с детьми из сада. Сдав детей мисс Бетси, mademoiselle Анет вошла к себе и застала Марка Семеныча совершенно убитого, который при ее появлении в отчаянии воскликнул:

– Друг мой!

– Марк Семеныч, я должна оставить ваш дом! – решительно произнесла mademoiselle Анет.

– Нет, нет, вы этого не сделаете! это невозможно, – с ужасом сказал Марк Семеныч.

– Однако после всего, что я слышала от Надежды Александровны, я разве могу остаться?

– Неужели я в вас ошибся? неужели у вас нет настолько сострадания ко мне? О нет, нет! я не пущу вас из моего дома! я заставлю уважать вас!

– Марк Семеныч! – пугливо вскрикнула mademoiselle Анет, потому что лицо его пылало, слезы текли по его полным щекам; он вдруг упал в креслы, стал рыдать, ломая себе руки. Припадок чувствительности повторился, только еще сильнее, чем в

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
дороге.

Mademoiselle Анет сама плакала, подавая ему воды. Он схватил ее руки и, упав на колени, торжественно сказал:

– Я... я прошу у вас жертвы.

– Что могу я сделать?

– Забудьте всё и простите ей.

– Марк Семеныч...

– Сжальтесь! я начинаю терять рассудок!

И Марк Семеныч пугливо схватил себя за голову. Он полусидел на полу.

– Марк Семеныч! Марк Семеныч! я на всё согласна, придите в себя, – плача, говорила mademoiselle Анет.

Марк Семеныч медленно встал, оправил волосы; пройдясь несколько раз по комнате, он сел на диван и указал на место возле себя mademoiselle Анет, которая молча повиновалась. После некоторого молчания Марк Семеныч мрачно спросил:

– Я вчера еще желал спросить вас, считаете ли вы меня за человека, преданного вам искренно?

– Да!

– Значит, я могу надеяться, что вы будете отвечать мне откровенно?

– Да!.. – не так утвердительно произнесла mademoiselle Анет.

Марк Семеныч тяжело вздохнул, лицо его покрылось бледностью, и он невнятно сказал:

– Вы... вам нравится Тавровский?

Mademoiselle Анет инстинктивно готовилась к такому вопросу, но не могла не покраснеть, услышав его, и молчала, потупив глаза.

– Это Дон-Жуан с холодным сердцем; я много знаю случаев...

– К чему вы мне сделали такой вопрос? разве я подала повод? – гордо перебила его mademoiselle Анет.

– О, сохрани вас боже! – пугливо проговорил Марк Семеныч и, подумав с минуту, продолжал: – Но вы сами сознаетесь, что этот человек имеет столько разных орудий для своих жертв, что трудно не попасть в его сети.

– Я не так молода и неопытна, чтоб не заметить этих сетей, если бы даже они были сотканы из паутины.

– О, не говорите мне этого! Я знал его победы над такими женщинами, которые его ненавидели и... Впрочем, к чему всё это я говорю! вашего слова для меня достаточно. Я покоен: ваша дружба ко мне теперь доказана...

И Марк Семеныч, почтительно пожав руку mademoiselle Анет, вышел из ее комнаты.

Не без страха вошла в столовую mademoiselle Анет и была очень довольна, что хозяйка дома не явилась к столу. Марк Семеныч был весел, но, к удивлению mademoiselle Анет, после обеда, в семь часов, поехал в клуб. Уложив детей спать, mademoiselle Анет возвратилась к себе и нашла на столе записку: она была от Тавровского; вот ее содержание:

«Принимая участие в вашем настоящем положении, я решаюсь известить вас, что есть лицо, способное наделать вам таких оскорблений, которые ничем нельзя загладить. Я беру на себя смелость дать вам совет. Оставьте немедленно этот дом; скажу еще



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
проще: не выходите из своей комнаты ни к чаю, ни к столу... даже если за вами будут присылать. Будьте благоразумны: последуйте моему совету. Если же вы желаете меня видеть и лично услышать причины, почему я решаюсь давать советы, то вы можете меня известить, положив записку на вашу лестницу в сад, на шестой ступеньке внизу» и пр..

Эта записка привела mademoiselle Анет в совершенное отчаяние. Она долго думала, наконец написала записку и положила на условленное место.

Ночь она провела очень тревожно и рано утром, встав, оделась и вышла через садовую калитку в поле. Тавровский, спрятавшись за кусты, уже ждал ее. Он радостно пошел к ней навстречу и сказал:

– Я очень благодарен вам, что вы имели ко мне несколько доверия и решились...

– Ради бога, скажите, чего я должна ожидать от нее? – поспешно спросила mademoiselle Анет в сильном волнении.

Наружность Тавровского была встревожена, даже мрачна, и он, иронически улыбнувшись, сказал:

– Всего, что только может сделать женщина в порывах необузданного гнева.

– Что мне делать! – в отчаянии воскликнула mademoiselle Анет.

– Немедленно оставить этот дом... Я желал вас видеть, потому что хочу вам сообщить...

В это время mademoiselle Анет слабо вскрикнула, указывая на калитку, из которой вышла мужская фигура.

– Боже мой! что со мной будет! – побледнев, произнесла она.

– Идите смело назад. Я вечером буду здесь.

Сказав эти слова, Тавровский скрылся в кустах, а mademoiselle Анет чуть не бегом побежала домой. У калитки она встретила Марка Семеныча, который нисколько не удивился, увидав ее, и сказал:

– Вы, кажется, как и я, вышли подышать чистым утренним воздухом.

– Да, я... – в смущении произнесла mademoiselle Анет.

Марк Семеныч подал ей руку и с участием спросил:

– Что с вами? вы встревожены?

– Я скажу вам откровенно, что сначала испугалась, увидя, что кто-то идет ко мне.

– Бедная, бедная! как вы напуганы! Но я дождусь, что жизнь ваша будет течь тихо и спокойно... О, сколько наслаждения видеть друга своего счастливым и знать, что я один всё это сделал! В этих случаях простителен эгоизм, не правда ли?

Mademoiselle Анет была в таком волнении, что ничего не понимала, что говорил ей Марк Семеныч, и со всем соглашалась.

Она сказалась больной и не выходила к столу и чаю. Вечером она решила идти опять в поле, но не успела она выйти из калитки сада, как чья-то фигура скользнула по забору и калитка заперлась изнутри. Слезы брызнули из глаз бедной mademoiselle Анет, которая напрасно силилась отворить ее. Прислонясь к забору, она простонала:

– Боже мой, я погибла!

– Не бойтесь: я здесь! – сказал Тавровский.

Mademoiselle Анет радостно кинулась к нему и, рыдая, сказала:

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Меня заперли!

– Спешите же оставить дом: вы видите!

– Куда я денусь?

– У вас есть человек, преданный вам...

Но mademoiselle Анет не слушала Тавровского.. Она задрожала: кто-то раскрывал калитку, и скоро она услышала голос Марка Семеныча:

– Mademoiselle Анет! вы здесь? где вы?

– Я здесь! – в волнении отвечала mademoiselle Анет и, пожав руку Тавровскому, шепнула ему:

– Я оставлю завтра же этот дом.

И она пошла навстречу к Марку Семенычу, который с удивлением спросил:

– Что это значит? калитка заперта!

– Вообразите, я только вышла, как кто-то вошел в нее и запер.

– Вы пришли для вашего друга?.. Да, нам надо переговорить с вами! – с чувством пожимая руку mademoiselle Анет, сказал Марк Семеныч.

– Да, я хотела переговорить! – с замешательством сказала mademoiselle Анет и умоляющим голосом продолжала:– Пойдемте домой: за нами следят.

– Вы правы! против вас и так вооружены!

Вбежав к себе, mademoiselle Анет так была взволнована, что не вдруг заметила mademoiselle Клару, углубившуюся в креслах в темном углу.

– Что вы здесь делаете? – с сердцем спросила ее mademoiselle Анет.

– Меня прислала хозяйка дома за вами; я вас жду уже с полчаса. Где это вы были?  
– улыбаясь, спросила француженка.

– Скажите Надежде Александровне, что я не могу идти к ней... Завтра – когда угодно.

– Хорошо, я скажу ей.

И mademoiselle Клара, иронически улыбаясь, вышла из комнаты.

В страшной тревоге провела ночь mademoiselle Анет, решившись твердо оставить завтра же дом Марка Семеныча. На другое утро, выйдя в сад к детям, которые были с гувернантками, чтоб видеть Марка Семеныча, она была поражена следующей сценой. Дети хотели кинуться к ней, но мисс Бетси остановила их и тотчас увела, а mademoiselle Клара презрительно улыбалась, смотря на побледневшую mademoiselle Анет, лицо которой, однако, выражало столько решимости, что ей мог бы позавидовать каждый вождь в критическую минуту сражения.

В это время все собрались в гостиной Надежды Александровны, которая сидела в креслах, допрашивая, всю в слезах, горничную mademoiselle Анет. Несколько лакеев и девушек стояли у дверей. Вошел Марк Семеныч и с удивлением воскликнул:

– Это что за собрание? – и, поцеловав руку у жены, он смотрел на нее вопросительно.

– Очень простое: вы набираете к себе в дом таких гувернанток, что их по ночам нет в комнате, – язвительно улыбаясь, отвечала Надежда Александровна.

– Я вас не понимаю! – изменяясь в лице, сказал Марк Семеныч.

– А вот вы всё поймете. Просите сюда mademoiselle Анет!

Один из лакеев вышел.

– Что за сцены вы делаете! к чему эти лакеи, горничные у вас в комнате? – с ужасом оглядываясь кругом, говорил Марк Семеныч.

– Я должна же позаботиться, кому поручены мои дети.

– Ваши дети, по-настоящему, не должны были бы никому быть поручаемы, кроме вас!

– Вы правы! я сегодня убедилась в этом.

Вошла mademoiselle Анет. Вид ее был так покоен и горд, что Надежда Александровна, обратись к mademoiselle Кларе, стоящей сзади ее кресел, сказала по-французски:

– Какая наглость! – и продолжала по-русски вопросительным тоном: – Где вы были вчера вечером, mademoiselle Анет, когда с час вас ждали в вашей комнате?

– Я гуляла!

– Ха-ха-ха!.. слышите, гуляла!! как прилично – одной, ночью!

– Здесь деревня!..

– Но вы забыли, что живете не с мужиками.

– Я это очень хорошо вижу.

– А позвольте узнать, с кем вы гуляли?

– Надежда Александровна, удалите детей! – весь дрожа, заметил Марк Семеныч.

– Мисс Бетси, уведите их, пожалуйста.

– И лакеев! – перебил ее муж.

– Что до людей, они мне нужны, чтоб уличить вас, ослепленного ее лицемерством.

– Я запрещаю далее продолжать такие сцены: они – пятно на чести дома! – задыхаясь, говорил Марк Семеныч; но Надежда Александровна возвысила голос и сказала:

– Антон, ты видел ее вчера в поле?

– Видел-с! – отвечал Антон.

– Кто же с ней был?

– Надинь! – грозно крикнул Марк Семеныч.

– Господин Тавровский! – поспешно проговорил лакей.

– Лжешь, мерзавец! пошел вон! – в ярости воскликнул Марк Семеныч, поднял руку, но, как бы опомнясь, указал лакею выразительно на дверь и продолжал: – Все, все уходите отсюда! и вас, mademoiselle Клара, прошу оставить комнату! – и потом, обратясь к Надежде Александровне, он с презрением прибавил: – Вот до чего вы довели меня, что я чуть в вашей комнате не ударил этого лжеца.

Надежда Александровна сидела потупив глаза. Марк Семеныч был даже страшен в эту минуту.

– Позвольте мне оставить вас! – сказала mademoiselle Анет, обращаясь к Марку Семенычу, который в негодовании воскликнул:

– Да, да, вам нельзя ни минуты оставаться здесь!

Mademoiselle Анет вышла из комнаты, а Надежда Александровна, оставшись одна с

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Марком Семенычем, как бы себе в оправдание, воскликнула:

- Она даже не простилась со мной!
- И имела полное право!

Когда mademoiselle Анет возвратилась к себе в комнату, Тавровский стоял у окна. При виде ее он радостно кинулся к ней, сказав:

- Боже мой, как они вас мучат здесь! всё готово: уезжайте скорее!
- Куда? – с удивлением спросила mademoiselle Анет.
- Доверьтесь мне! Коляска вас ждет. Вам не должно оставаться здесь ни минуты.
- Я должна проститься с Марком Семенычем.
- Этот человек опять вас поставит в затруднительное положение. Бойтесь его: под личиною дружбы...
- Прошу вас ничего не говорить мне о нем.
- Извольте! я скажу только одно: вы должны если не для себя оставить этот дом и удалиться от Марка Семеныча, то хоть для бедных детей!
- Что вы говорите! – побледнев, воскликнула mademoiselle Анет.
- Будто вы не замечали ничего!

Дверь с шумом раскрылась, и Марк Семеныч вбежал в комнату. Его взгляд был дик, и он, грозно подойдя к Тавровскому, сказал:

- Кто дал вам право распоряжаться здесь? к чему эта дорожная коляска?
- Mademoiselle Анет желает оставить ваш дом, – покойно отвечал Тавровский.

Марк Семеныч вздрогнул и сказал:

- Как! Я позволю увезти ее из моего дома!
- Я думаю, мы имеем равные права... то есть никаких... на mademoiselle Анет.
- Это по вашему желанию он приехал? – весь дрожа, спросил Марк Семеныч mademoiselle Анет, бледную и всю в слезах.
- Нет, я ничего не знала! – отвечала она.
- Извольте идти вон отсюда! вы лжец! – воскликнул Марк Семеныч.

Тавровский побледнел и, стиснув зубы, с минуту не мог ничего сказать, потом, вздохнув тяжело, подошел к Марку Семенычу, сконфуженному от своей горячности, и сказал тихо:

- Уйдемте отсюда: мы беспокоим mademoiselle Анет (которая сидела на стуле, закрыв лицо руками).

Она долго сидела в таком положении, как вдруг вбежала к ней с воплями Надежда Александровна. Волосы ее были в беспорядке, вуаль упал с головы. Бледная, задыхаясь, она бросилась на колени перед mademoiselle Анет и, хватая у ней руки, невнятно бормотала:

- Спасите, спасите... дети!.. Они хотят стреляться!..

Голос ее замер, и она упала без чувств на грудь mademoiselle Анет. Как ни был велик испуг гувернантки, но она заметила причину вечного вуаля на голове Надинь: красное родимое пятно было на затылке этой дамы.

Mademoiselle Анет смочила голову водой, натерла виски одеколоном и тем привела в

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
чувство Надежду Александровну. Первое, что она произнесла, открыв глаза, было:

- Ах, бегите, бегите к нему, умолите его!
- К кому?
- К Марку Семенычу, – рыдая, говорила Надежда Александровна.
- Отчего же не вы?
- Я, я всему причиной: я не должна показываться ему на глаза.

Mademoiselle Анет кинулась в кабинет к Марку Семенычу, которого она застала писавшего. При виде ее Марк Семеныч поспешно встал.

- Вы стреляетесь? – спросила mademoiselle Анет.
- Кто вам сказал?
- Надежда Александровна. Она у меня в комнате.
- Несчастливая...
- А ваши дети?

Марк Семеныч, закрыв лицо руками, кинулся на стул. Mademoiselle Анет упала перед ним на колени и со слезами сказала:

- Откажитесь от вашего намерения.
- Я поступлю подло.
- Для пустых людей; а каждый порядочный человек, напротив, будет еще более уважать вас. Какого скандалу наделает ваша дуэль!.. Бедная ваша жена, дети... Нет, Марк Семеныч, нет, я, как ваш друг, я не допущу вас до этого!
- Друг, друг мой! вы требуете моей чести! – нагнувшись к mademoiselle Анет, говорил Марк Семеныч.
- Что выше для вас – честь или долг?..
- О! пожалейте меня... но что я могу сделать?
- Помириться!
- Нет, нет! я слишком оскорблен, я... ни за что первый!
- У вас будут просить прощенья.
- Хорошо! на одном условии.
- Какое?
- Чтоб вы остались в доме.
- Марк Семеныч! – с упреком сказала было mademoiselle Анет, но поспешно прибавила: – Хорошо, я согласна!

Марк Семеныч встал и, тяжело вздохнув, сказал:

- Я для вас жертвую моей честью.
- То есть для вашего семейства?
- Да...

Mademoiselle Анет вышла из комнаты, оставив в раздумье Марка Семеныча. Надежда Александровна встретила ее в сенях и тревожно сказала:

– Ну что?

– Он согласен на примирение, только первый не хочет просить...

– Благодарю вас, благодарю! – воскликнула Надежда Александровна, с чувством пожав ей руку, и пошла в кабинет к Марку Семенычу, ласково сказав: – Приведите, пожалуйста, скорее детей.

Mademoiselle Анет привела детей и, стоя у окна, плакала, смотря на радостные слезы Марка Семеныча при виде детей, тоже плакавших, не понимая отчего; а рассказывая Надежда Александровна рыдала, спрятав голову на его груди.

Mademoiselle Анет удалилась, боясь быть смешной. Вечером у ней всё было готово к отъезду. Она в волнении кого-то ждала. Вбежал Марк Семеныч, запыхавшись.

– Что, что вам угодно?

И он, как бы ошеломленный, остановился, глядя на чемоданы.

– Вы уезжаете? – с упреком сказал Марк Семеныч.

– Я должна уехать! И вы, верно, сами будете согласны со мной, если я открою вам мою тайну.

– Что? вы пугаете меня! – едва устояв на ногах, произнес Марк Семеныч.

– Садитесь! – взяв его за руку, сказала mademoiselle Анет.

Они уселись на диване; после нескольких минут молчания mademoiselle Анет с замешательством сказала:

– Марк Семеныч, простите меня, я... я, поступив в ваш дом, скрыла от вас...

– Что такое?..

– Я... я была актрисой.

– Ну?

– Я хотела изменить свое занятие, избранное мною по необходимости, чтоб жить независимо...

– Так барон не ошибся?

– Вы видите, я не должна и не могу более быть в вашем доме. К тому ж положение гувернантки равно тяжело, как и актрисы. Последнее более независимо, и я решилась вновь поступить на театр.

– Ну что же! это очень умно! если у вас есть талант, то вы не должны заглушить его. Хорошая актриса так же всюду уважается, как и другие женщины, и их добродетели еще более удивляются, зная скользкий путь, по которому они идут.

– Итак, я имею ваше согласие оставить ваших детей.

– Для них будет большая потеря; но вы молоды, и вам надо жить. С богом, с богом, мой друг! Да, мы останемся друзьями... Вы не отнимете у меня права продолжать заботиться о вас?..

– Благодарю! я очень буду счастлива!

Mademoiselle Анет простилась с Марком Семенычем, который условился с ней видаться на другой же день в Москве, в той гостинице, где они уже виделись прежде. Но когда он приехал в Москву, в гостинице не было mademoiselle Анет. Марк Семеныч был в отчаянии и через два дня поскакал в Петербург, но и там не нашел mademoiselle Анет. Од возвратился, убитый, в деревню. Надежда Александровна очень изменилась в лице и похудела. Она была в хлопотах, собираясь за границу. Передавая мужу новости, она, между прочим, сказала:

– А ты знаешь, что наша mademoiselle Анет провела всё это время в одной из подмосковных у Тавровского? и теперь куда-то уехала...

Через несколько дней Марк Семеныч проводил свою жену за границу в сопровождении mademoiselle Клары. Мисс Бетси и он остались с детьми на зиму в деревне.

Часть пятнадцатая

(Последняя)

Глава LXV

Превращение

Если читатель не забыл, по какому случаю и при каких обстоятельствах Любская оставила театр города NNN и самый город, то ему нетрудно будет догадаться о времени, когда она встретила с Марком Семенычем. Огорченная смертью Мечиславского, испуганная появлением в городе NNN бывшего своего благодетеля, Любская уехала с такою поспешностью, что не успела даже запастись горничною. Она ехала в Москву, сама, впрочем, не зная, что будет делать. Встреча с Марком Семенычем решила выбор: она сделалась гувернанткой. Потом, оставив, по известным нам обстоятельствам, дом Марка Семеныча, Любская действительно провела в подмосковной у Тавровского всё время, пока Марк Семеныч искал ее в Петербурге. Трудно было бороться девушке, тогда еще неопытной, против пламенной любви, красоты и богатства человека, которого она любила. Притом, прожив несколько месяцев в новом, блестящем кругу, среди соблазнительной роскоши, она ужасалась одной мысли снова возвратиться к бедному существованию, к маленькой квартире с вечным запахом кухни, с грязной лестницей вместо лестницы, уставленной цветами и устланной коврами. А самолюбие, так взлелеянное Марком Семенычем и так раздраженное Надеждой Александровной? Всеми этими обстоятельствами достаточно объясняются воздушные замки, которые строила Любская, мечтая, что Тавровский сдержит свое слово и женится на ней. Тавровский действительно любил ее, сколько мог; но его молодость, его положение в обществе, родня – всё ясно показывало, как несбыточны надежды Любской, которым она предавалась с каждым днем более. Она, казалось, помешалась на этом предмете. Плакала, ревновала его и требовала выполнения слова. Слезы и упреки ее могли бы смягчить другого, но не Тавровского, который никогда в жизни не плакал и удивлялся, как могут люди плакать. Его любовь к Любской сделалась гласной; и насмешки друзей, что он женится на провинциальной актрисе, бесили его. Нашлись добрые люди, которые не замедлили известить Наталью Кирилловну об этом намерении племянника. Гнев тетки был страшен. Тавровский с радостью принял ее предложение ехать за границу и уехал потихоньку, скрыв от Любской день своего отъезда.

Удар самолюбию был слишком силен, чтоб не сделать резкого потрясения в характере Любской. Она как бы переродилась: вместо слез и отчаяния, которых ожидали, она с улыбною встречала знакомых Тавровского; начала выезжать в театр, на гулянья, смело смотря на всех. Она поступила на сцену, принимала блестящее общество, жила роскошно, – и всё заговорило о ней. В то время Федор Андреич снова случайно увидел на сцене свою прежнюю Аню. Как безумный кинулся он к ней на квартиру после спектакля. Он дрожал, ожидая ее в пышно убранной гостиной, и готовился умолять ее, чтоб она не вздумала снова бежать от него. Но он был поражен развязностью и любезностью приема, какой сделала ему бывшая его воспитанница. Добродушным и ласковым смехом она поспешила разогнать смущение Федора Андреича и сказала:

– А, наконец-то мы встретились!

– Вы бегали меня? – задыхаясь, произнес Федор Андреич.

– Будьте покойны: теперь я ни от кого и ни от чего не убегу. Да, Федор Андреич, благодарю вас: вы многое предсказали мне очень верно, когда я оставляла ваш дом...

– Он вас ждет! он ваш! всё, что я имею, – ваше, только не бегите меня! – перебил Федор Андреич.

– Куда бежать мне? и зачем? – насмешливо спросила Любская.

Федор Андреич был удивлен тоном голоса и взглядами Любской. Прежней Ани не было тени, – кроме лица, которого черты, казалось, сделались еще выразительнее и красивее. Он также был удивлен блеском общества Любской и роскошью жизни, какую она вела.

Всё еще влюбленный, Федор Андреич стал умолять Любскую бросить сцену и ехать к нему в деревню. Он обещал тотчас же отдать ей всё, что имел, лишь бы она согласилась на его предложение. Любская долго отказывалась. Наступило лето, и она объявила ему, что согласна сделать маленькое путешествие, чтоб посмотреть те места, где провела свое детство.

Как только они приехали в деревню, первым делом Любской было бежать в свою комнатку. Она оставалась в ней довольно долго одна, вероятно припоминая всё прошедшее. Потом она пошла по другим комнатам, и когда кончила обзор всего дома, лицо ее нисколько не смягчилось; напротив, что-то язвительное было в ее улыбке, во взгляде, в словах. Ни лакеи, ни горничные – никто не хотел верить, что приезжая барыня – та самая Аня, которая несколько лет тому назад скромно сидела за столом, с робким взглядом, полным нежности, и трепетала при одном звуке сурового голоса Федора Андреича. Теперь роли до того изменились, что Федор Андреич, некогда гроза всего дома, уничтожался перед капризами Любской. Довольно было одной ее недовольной мины за столом, и он готов был бросить тысячи, чтоб угодить ее вкусу.

Федор Андреич питал надежду, что Любская выйдет за него замуж, тронувшись его угождениями, и потому сорил деньгами. С неделю они прожили в деревне. Любская заметно стала скучать и поговаривать о своем возвращении. Федор Андреич пришел в отчаяние; он умолял ее высказывать прямо все свои желания, даже капризы, обещая всё исполнять, лишь бы она не скучала и осталась в деревне.

– Ваше состояние не позволит вам вести такую жизнь, к которой я привыкла, – равнодушно отвечала ему Любская.

– Мое состояние довольно значительно, – говорил Федор Андреич. – Я всю жизнь свою неумоимо занимался устройством его и в последнее время принял участие в откупках, и очень счастливо. Если же денег моих недостаточно, я снова займусь делами и оборотами; вы не будете ни в чем нуждаться. Только оставьте жизнь, какую вы вели... я считаю себя всему причиною!

– Скажите, пожалуйста, чем жизнь моя вам не нравится? Я артистка; следовательно, на меня все обращают особенное внимание. Я должна жить порядочно. И чем же лучше была бы моя жизнь теперь? В нищете, окруженная детьми? Нет! я очень благодарна вам, что вы неусыпно следили за мной и не дали мне пойти по ложной дороге, которая вовсе не в моем характере.

Федор Андреич не мог равнодушно слушать таких благодарностей от своей прежней воспитанницы: он выходил из себя и впадал в такое отчаяние, что пугал даже Любскую. В одну из таких минут Любская поспешно поставила на стол шашечную доску, села перед ней и, наивно-ласково глядя на Федора Андреича, с робостью сказала:

– Готово-с!

В эту минуту она не была Любская, но прежняя Аня, с веселой улыбкой, с кротким взглядом. Расставляя шашки, она говорила:

– Вы, пожалуйста, выпускайте меня: мне очень хочется выиграть у вас.

Федор Андреич как бы не верил себе: он машинально сел на свое место, не спуская удивленных глаз с своего партнера.

Действительно, наружность Любской так изменилась, что прислуга верно признала бы ее теперь за прежнюю Аню!

Федор Андреич передвигал шашки, сам не понимая куда и зачем. Наконец партия кончилась, и Любская с кокетливостью девочки сказала:

– Я выиграла!

– Что же вы хотите?

– Чтоб завтра же начали ломать этот дом, – простодушно отвечала Любская.



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Как! ломать дом?

– Вы по-прежнему с трудом исполняете мои просьбы! – надув губы, печально сказала Любская.

– Но для чего его ломать? Вы разве не знаете, что здесь умер мой отец, моя мать, жил я... он для меня дорог по воспоминанию.

– Кого и чего? – резко возразила было Любская, но тотчас продолжала с прежней кротостью: – Я по вашему же приказанию – всё говорить вам, что мне захочется, – объявила мое желание.

– К чему же ломать дом? где будем жить?

– Я для этого и хочу его ломать, чтоб было мне где жить! – таким вкрадчивым голосом произнесла Любская, что Федор Андреич чуть от радости не сошел с ума. Он тотчас же кинулся распоряжаться, чтоб на другой же день приступили к работе. Дворня уже и так дивилась выходкам своего барина, прежде всегда расчетливого и сурового: но последнее его намерение просто испугало всех, – и в застольной было решено, что гостит у них не Аня, а какая-то колдунья, которая морочит бедного Федора Андреича. Любская перебралась в баню, недавно выстроенную, Федор Андреич – в садовую беседку, люди разместились по избам.

Приступили к сломке дома, и когда раздался первый треск рухнувшей стены, Федор Андреич изменился в лице; но улыбка Любской успокоила его. Она сама следила за работой и торопила рабочих, говоря, что ей хочется как можно скорее отделать дом и поселиться в нем. Когда наконец дом превратился в какой-то хаос, стены были проломлены и только по краске, оставшейся на них, можно было узнать залу и другие комнаты, Любская вошла через окно в дом и, радостно оглядывая его, сказала Федору Андреичу:

– Ну вот и нет того кабинета, к которому я всегда с таким страхом подходила! ни той гостиной, где по вечерам я читала вам газеты, ни той залы, где ваша сестра читала мне длиннейшие наставления, ни комнаты моей, где я так часто плакала, ни комнаты дедушки, – и ничего, ровно ничего!!

И Любская тихо смеялась.

– Но всё будет новое! – как бы с испугом сказал Федор Андреич.

– Может быть; только не я буду жить в новом доме! – насмешливо отвечала Любская.

– Как? Я сломал дом! вы этого пожелали! Нет, я шутить так не позволю с собою! – с прежнею яростью и неумолимостью закричал Федор Андреич.

– Мне некогда, извините меня: я вечером еду отсюда, – спокойно отвечала Любская.

Федор Андреич в отчаянии воскликнул:

– Я прежде не понял вас: этот дом противен вам?

– Всё равно, вы поняли теперь! – и с этими словами Любская оставила Федора Андреича одного, на развалинах его дома.

В тот же вечер Любская уехала из деревни, очень веселая. Федор же Андреич был мрачен, расставаясь с ней, и тотчас сделал такие распоряжения по дому, из которых можно было положительно заключить, что он не намерен никогда более возвращаться в него...

Состояние Федора Андреича очень скоро исчезло в Петербурге. В доме у Любской иногда играли в большую игру, в которой принимала участие и сама хозяйка. Давнишняя страсть Федора Андреича к картам, долго побеждаемая силою воли, вновь вспыхнула и губительно разрешилась. Он проиграл всё свое состояние, проиграл и деревню свою, где росла Аня, и остался нищим. Любская не отказала ему в том, чем некогда была сама ему обязана: она давала ему ровно столько денег, сколько нужно, чтоб поддерживать существование, и в веселом расположении духа иногда спрашивала:

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Ну что, Федор Андреич, весело есть чужой хлеб?

С той минуты жизнь Любской потекла ровно и широко, как корабль, выплывший в открытое море и летящий на всех парусах, не страшась более встретить на своем пути подводных губительных скал и уверенный, что никакая буря не опасна ему.

Глава LXVI

Визиты

Читатели потрудятся припомнить, что Любская и Остроухов были введены в приемную к Любе. Актриса вошла гордо, с презрительной улыбкой, а ее товарищ – робко, не смея поднять глаз. Он остался у дверей.

Любу очень сконфузили гордо-насмешливые взоры незнакомой дамы; но, увидя Остроухова, она вздрогнула и пугливо-вопросительно глядела на своих гостей.

Любская, казалось, наслаждалась замешательством девушки; в лице ее еще резче отразилось самодовольно-гордое выражение. Оглядывая Любу с ног до головы, она язвительно улыбалась.

Люба, то краснея, то бледнея, едва могла проговорить:

– Что вам угодно?

Любская вместо ответа засмеялась.

Слезы выступили на глазах Любы. Остроухов, как будто покоробленный смехом Любской, печально сказал:

– Говори скорее: мы можем наскучить.

– Вы, верно, догадываетесь, кто я? – с важностью спросила Любская.

Люба молчала.

– Я та самая, которой по всем правам следовало поселиться в этом доме. Но я была бедна, одинока, за меня некому было вступить, – продолжала актриса.

– Это правда: она была брошена на все соблазны, – шептал Остроухов у двери.

– Что же вы хотите от меня? – едва внятно спросила Люба, страшно изменяясь в лице.

– Позвольте, я еще не докончила своей истории! – перебила ее Любская и, приняв драматическую позу, продолжала, возвышая постепенно голос: – Мне, как и вам, обещались жениться. Но... – насмешливо прибавила она, – я, может быть, не так была опытна и более доверчива...

– Говори дело, и скорей! – перебил ее Остроухов.

Но Любская не обратила на его слова внимания и с большею иронией продолжала:

– Может быть, ваша любовь дальновидна; но я, я любила просто, без расчетов... я...

– Господи!.. да говори порядочно! – умоляющим голосом опять перебил ее Остроухов.

На этот раз Любская резко ему отвечала:

– Прошу не перебивать! – и с горячностью обратилась к несчастной девушке, бледневшей от каждого ее слова всё более и более: – Любовь увлекла меня, или, лучше сказать, меня старались увлечь, чтоб моим падением воспользоваться и бросить безжалостно. Да, я была брошена, предана злословию, стыду, и всему этому, знаете ли, кто был причиной?

Остроухов кинулся к Любской, взял ее за руку и умоляющим голосом сказал:

– Довольно! посмотри, посмотри на нее, пожалей, она еще так молода!

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
В самом деле, Люба находилась в таком положении, что при взгляде на нее замирал дух. Она была бледна как полотно; полураскрытые губы усиливались говорить, но звуков не было. Глаза молили пощады, и она придерживалась за письменный стол, чтоб не упасть.

– Ах! оставь меня! – с сердцем вырвав свою руку, сказала Любская и язвительно спросила: – Кто, кто жалел меня? я тоже была молода! И ты это знаешь очень, очень хорошо!!

– Всё-таки это тебе не дает права мстить другим, – горячася, отвечал Остроухов.

– Разве я кому-нибудь мщу? нет, я пришла с добрым намерением...

Но вдруг она остановилась и так громко засмеялась, как будто была на огромной сцене, а не в комнате. Указывая трагическим жестом на портрет Тавровского, стоявший на письменном столе, она сказала язвительно:

– Как жаль, что я не вижу в эту минуту самого оригинала!

Потом она близко подошла к Любе и, сняв с себя медальон, открыла его и поднесла к глазам отчаянной девушки.

То был миниатюрный портрет Тавровского в самом цветущем его возрасте.

Люба пошатнулась и села на стул.

– Вы видите, у меня такой же. Он был подарен с клятвами, что оригинал будет вечно принадлежать мне; но в моих руках осталось одно его изображение. Видите, как смешно доверять чему-нибудь и кому бы то ни было.

– Пойдем, пойдем отсюда! дай ей успокоиться! – говорил в волнении Остроухов, с ужасом глядя на Любу и дергая за платье Любскую, которая продолжала:

– Я с вами буду говорить коротко и прямо: вы обмануты; если я не принуждаю его быть моим мужем, то не позволю ему быть и вашим! Да, я надеюсь, вы не захотите сами быть женой человека, который даже в то время, как был вашим женихом, не оставлял своих старых связей, имел тысячу новых интриг, даже не одну сделал несчастною.

– Перестань! разве я тебя затем привел, чтоб ты оскорбляла ее? – в негодовании сказал Остроухов, кинувшись между Любой и Любской.

Последняя, выходя из своей важной, гордой роли, сказала:

– Ты с ума сошел! разве я не могла без тебя прийти?.. да я еще дождусь его здесь!

Люба слабо вскрикнула и, закрыв лицо, припала к столу.

– Иди, иди сейчас же отсюда! – почти шепотом, но грозно сказал Остроухов и в отчаянии продолжал, хватая себя за голову: – Пусть будет проклят тот час, когда я вздумал вмешаться в это дело! Но кто же мог ожидать, что из тебя вышло! Я думал, что ты всё та же! – Остроухов с отвращением отвернулся от Любской и, почти плача, продолжал, не смея поднять глаз на Любу: – Это не она! нет, это не та женщина, для которой я скакал дни и ночи, не ел, не пил. Я сам отказываюсь от нее! – И Остроухов заплакал, как ребенок, бормоча:– Федя! Федя! ты хорошо сделал, что умер!

Любская ходила скорыми шагами по комнате; ее руки судорожно сжимались; она то пожимала плечами, то злобно глядела на Любу и Остроухова, который вдруг выпрямился и, повелительно указав ей на дверь, сказал грозно:

– Сейчас же оставь ее!! Ты знаешь меня очень хорошо! и если не хочешь истории, беги скорее!

Любская стиснула зубы и, грозя Остроухову, в гневе отвечала:

– Ты у меня поплатишься за эту выходку! – и язвительно прибавила: – Вы, кажется,

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
вздумали разыграть роль защитника, надеясь, может быть, что вам заплатят за нее...  
ха-ха-ха!

– А ты роль леди Макбет начинаешь осуществлять в жизни, и только недостает кровью запятнать руки, – отвечал Остроухов, прибегая в своем возражении к театральным воспоминаниям. – Сердце, кажется, у тебя давно запятнано.

Остроухов выходил из себя и был страшен.

– Хорошо!.. я уйду, – задыхаясь, отвечала Любская и, обращаясь к Любе, прибавила грозно: – Но знайте, избранная из всех смертных, чтоб быть подругой самого развратного и безжалостного человека, я решусь на страшные вещи, но не допущу его быть ничьим мужем!

С этими словами Любская быстро вышла из комнаты. Остроухов кинулся за ней и захлопнул дверь, а сам остался на пороге, повесив голову, как преступник, ожидающий наказания.

Люба, казалось, ничего не видала. С минуту она оставалась всё в той же позе; но вдруг рыдания ее наполнили комнату.

Остроухов тоже тихо всхлипывал, бормоча жалобно:

– Простите, простите... Я, я всему виноват!

Люба пугливо отерла слезы и отчаянным голосом сказала:

– Чем же? я благодарю вас: вы раскрыли мне жизнь человека...

– О, не верьте, не верьте озлобленной женщине... нет! это не женщина, а фурия какая-то... Господи! если бы вы ее видели несколько лет тому назад, о, вы приняли бы в ней участие!.. Ради бога, выходите скорее замуж. Вы его любите... и где вы найдете мужчину без каких-нибудь проступков?.. Простите, простите меня!

И Остроухов весь дрожал и, казалось, готовился упасть к ногам Любы, которая кротко сказала:

– Я на вас не сержусь: вы любили ее...

– Как дочь! – подхватил Остроухов.

– Значит, вы ни в чем не виноваты.

– О, вы добрая!.. да, вы женщина, вы еще не испорчены, как она! Я скажу вам откровенно, я ехал сюда, чтоб расстроить вашу свадьбу; а теперь, теперь! – И Остроухов тоскливо рванул себя за поношенный черный фрак и печально продолжал: – Я готов отдать свою жизнь, хотя трудно, чтоб она что-нибудь стоила, – прибавил он иронически, – лишь бы успокоить вас и всё уладить... Прощайте! не думайте обо мне того, что недавно сказала безумная, испорченная женщина, будто я вступался за вас из... Ну да кто ей станет верить!.. Нет, вся вина моя в том, что я не износил вместе с своей наружностью привязанности и горячности к людям, которых я люблю. Но... я ее более не увижу!! Прощайте и простите великодушно старому и из ума выжившему ярмарочному актеру...

И Остроухов, почтительно поклонясь, печально вышел из комнаты.

Собирая свои растерянные мысли, Люба походила на женщину, упавшую с большой высоты и едва очнувшись, голова которой не пришла в порядок от сильного сотрясения.

Почти в то же самое время и Тавровский имел визит; но разница в том, что он вовсе не был потрясен.

Когда он сидел у себя в кабинете, Зина тихо вошла к нему, с потупленными глазами, и, как бы сконфуженная своей смелостью, робко сказала:

– Я, может быть, вас беспокою?

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a  
– Очень приятно! не угодно ли? – отвечал Тавровский, подавая ей стул.

Зина села и как бы задумалась.

Тавровский, смотря на нее, шутливым тоном спросил (впрочем, он всегда этим тоном говорил с ней):

– Вы о чем-то мечтаете?

– Да! я думала о своем положении – как ужасно быть одной, не иметь никого, кто бы принял участие, защитил... – печально отвечала Зина.

– Помилуйте! да вы мне кажетесь окруженной двадцатью опытными маменьками, тетушками и прабабушками, которые наперерыв дают вам советы, как вести себя и обрабатывать ваши дела.

– Ах! – тяжело вздохнув, с грустью отвечала Зина. – Вот в сию минуту, когда я пришла к вам с открытым сердцем...

– Это должно быть очень любопытно – увидеть такое сердце! – перебил ее Тавровский.

– В нем, как и в других, есть очень много недостатков.

– Например?

– Излишняя привязанность...

– Немстительность, доброта, кротость... У! какое богатство!

– Зато я не имею денег!

– Да эти достоинства уравнивают вас с первыми богачками на свете.

– Не все так думают, как вы; всего прежде требуют от девушки приданого.

– А вы собираетесь замуж? – быстро спросил Тавровский.

– Может быть! – лукаво отвечала Зина.

– Ну что же, очень умно сделаете: тетушка уже стара...

– И не так щедра, чтоб надеяться быть вознагражденною за все жертвы, – подсказала Зина.

– Да, она вас решительно не понимает!

– Вы всё шутите, Павел Сергеич, а я пришла очень серьезно поговорить с вами.

– За чем же дело стало? я готов!

И Тавровский подвинул свой стул ближе к Зине, которая жалобно начала:

– Павел Сергеич, вы знаете, что я девушка бедная и...

– Знаю, очень знаю, что вы дочь дворецкого! – подхватил Тавровский.

Зина изменилась в лице, но подавила в себе злобу и, придав своему лицу вид угнетенный, продолжала:

– У меня нет никого, кто бы защитил меня, о моей участи некому позаботиться, я сама должна быть себе и матерью и защитником.

Тавровский, покачивая головой, произнес:

– Ну-с?

– Я пришла... к вам... с маленькой просьбой.

- С какой? – с удивлением воскликнул Тавровский.
- Вы не догадываетесь? – лукаво смотря на Тавровского, спросила Зина.
- Нет! – серьезно отвечал Павел Сергеич.
- Говорят, будет очень скоро ваша свадьба?
- Да, я постараюсь устроить ее как можно скорее.

И Тавровский вопросительно глядел на Зину, которая, приняв плаксивую мину и потупив глаза, спросила:

- А вы обо мне не подумали?
  - Что же мне думать об вас?
  - Павел Сергеич! я надеялась на вашу деликатность! – обиженно отвечала Зина.
  - Нет ли у вас еще каких других надежд?
  - Да! и на вашу щедрость, – незастенчиво и любезно улыбаясь, сказала Зина.
  - На мою щедрость? Гм!.. нет! я стал скуп.
  - С тех пор как женитесь на миллионерке.
  - С чего же вы взяли, что она миллионерка? – смеясь, спросил Тавровский.
  - Не притворяйтесь; я видела сама с вашей тетушкой документы в руках ее братца!
- На последнем слове Зина сделала сильное ударение.

- Прибавьте: молочного! – резко заметил Тавровский.
- Да, молочного.

И Зина рассказала Тавровскому подробно о богатстве его невесты, что было совершенной новостью для Павла Сергеича и, разумеется, очень приятною. Зина продолжала:

- Вот видите, какой вы богач, и не хотите бедной девушке дать средства к существованию.
- А-а-а, так вот к чему всё клонилось! Зачем же вы столько лавировали? а? я люблю прямоту.
- Извольте! я скажу вам прямо, что надеюсь получить от вас сумму денег, которая вас не стеснит, а мне будет очень кстати, – говорила шутливо Зина, как будто дело шло о самой ничтожной вещи.
- Позвольте узнать, какие вы имеете права просить у меня денег? – запальчиво спросил Тавровский, отбросив совершенно шутливый свой тон.

Зина как бы сконфузилась, потупила глаза и потом, быстро подняв их, – вероятно, чтоб более придать им эффекта, – устремила их печально на Павла Сергеича и тихо сказала:

- Спросите вашу совесть...
- Она мне говорит, что гроша не следует давать! – презрительно отвечал Тавровский.

Зина побледнела. Злоба, казалось, душила ее; но она победила ее и через минуту молчанья кротко, но твердо сказала:

- Если вы так бесчеловечны, что не хотите признать моих прав, я... я обращусь к

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a другим: может быть, в бедной девушке и примут участие.

– К кому же вы намерены обратиться?

– Говорят очень много хорошего о вашей невесте... Она...

– Ну нет-с! вы ее должны оставить в покое. Слышите: не смей!! – энергически произнес Тавровский.

Глаза его засверкали; он гордо глядел на Зину, которая с наивностью спросила:

– Почему?

– Я этого не хочу!!

– Что же мне делать! – в раздумье говорила Зина, как бы рассуждая сама с собой.

– Я так низко стою во мнении вашей тетушки, да, верно, и вашей невесты, что кого могу я обидеть, если обращусь с просьбой о помощи мне, бедной девушке. Павел Сергеич, подумайте, мне нечего терять. Я привыкла ко всему и, бывши еще ребенком, часто слышала, что меня могут выгнать каждую минуту из вашего дома.

– И хорошо бы сделали! – проворчал Тавровский.

Зина вздрогнула и, изменив тон своего голоса, язвительно сказала:

– Значит, я ровно ничего не теряю. Моя неопытность...

– Говорите скорее! во сколько вы цените ее? – сердито сказал Тавровский, подвинув свой стул к письменному столу, у которого они сидели.

Зина, злобно улыбаясь, отвечала:

– Я полагаюсь на вас.

– Я думаю, цена будет очень дорогая, если вы согласитесь на пять тысяч? – серьезно спросил Тавровский.

Зина закусила губы и, задыхаясь, сказала:

– Вы знаете очень хорошо, что такую сумму можно было бы предложить вашим нянюшкам.

– Сколько же? – бросая перо, спросил Тавровский.

– Я желаю пятьдесят тысяч! – отвечала резко Зина.

Тавровский вскрикнул с ужасом:

– Пятьдесят тысяч?!.. Я, верно, ослышался!

– Павел Сергеич, прошу без шуток! – горячась тоже, воскликнула Зина.

– Какие шутки! до шуток ли? я не могу опомниться! пятьдесят тысяч!!.. Полноте! согласитесь наполовину!.. Да этак, я уверен, не запрашивают и на Щукином дворе!!

Зина вся задрожала и вскочила с своего места.

– Куда вы? – удерживая ее за руку, покойно спросил Тавровский.

– Оставьте меня! Я не могу более выносить подобные оскорбления.

– Садитесь.

И Тавровский усадил Зину на прежнее место и, взяв бумагу и перо, сказал:

– Вот вам пятьдесят тысяч, и надеюсь, что они с излишеством всё выкупят.

Тавровский стал писать. Зина сказала ему, встав и раскланиваясь:

– Не трудитесь: я теперь их не приму от вас...

Тавровский посмотрел на Зину, она на него; с минуту они любовались друг другом, и когда Зина насмешливо присела ему, Тавровский вскочил, запер дверь и, спокойно возвратись с Зиной к столу, посадил ее перед ним, подвинул к ней чернила и бумагу, дал ей перо, а сам, подойдя к звонку, сказал очень решительно:

– Зиновья Михайловна, извольте написать ко мне письмо, что вы просите у меня прощенья за ваше намерение наделать мне неприятностей и что цель ваша была денежный расчет. Я вам не советую ссориться со мною, – продолжал Тавровский, заметив, что Зина отбросила перо:– Я поступлю жестоко. Я попрошу сюда сейчас же Наталью Кирилловну, которая...

Зина поспешно стала писать, а Тавровский, смеясь, стоял за ее стулом, следил за ней и одобрительно говорил:

– Хорошо! вот так! ваше имя теперь...

И когда Зина встала со стула, Тавровский взял записку, спрятал в карман и сказал:

– Вы знаете, Зиновья Михайловна, я не люблю сцен...

– Бог и добрые люди не дадут в обиду бедную девушку! – торжественно произнесла Зина.

– Всё-таки советую вам беречься. Вот вам записка: явитесь к моему управляющему, и вы будете удовлетворены.

Зина взяла записку из рук Тавровского и поспешно пошла к двери, у которой остановилась и сказала:

– Отоприте же!.. Да, я и забыла вам сказать, – будто сейчас вспомнив, наивно прибавила она, – что к Любове Алексеевне пришли гости.

– Это кто?

– Да какая-то госпожа Любская с отцом, а может быть, и мужем... Отоприте же!

Тавровский не двигался с места.

Зина, смеясь, глядела на него и пугливо сказала:

– Ах, господи, отчего же вы не отворяете! что еще хотите меня заставить написать?

Нетвердой рукой Тавровский вложил ключ в замок и первый выбежал из кабинета, а Зина, припрыгивая за ним, поддразнивала его запиской и делала ему нос.

Тавровский застал еще следы слез и отчаяния на лице Любы. Она старалась скрыть их, но напрасно: в ее голосе и взгляде были рыдания, – и при виде своего жениха она хотела убежать. Но Тавровский таким умоляющим, отчаянным голосом и вместе с упреком произнес: «Люба, Люба!», что она остановилась. Он подошел к ней, взял ее за руку; глядя ей в лицо, которое было склонено на грудь, с потупленными глазами, он от волненья долго не мог говорить, наконец печально сказал:

– Я надеялся, что ты поверила наконец в искренность моих слов, что я тебя, одну тебя люблю. Разве я отпирался от своих прежних увлечений? Я жалел твою чистоту и только потому не признавался в них. Сама рассуди, мог ли я жениться на подобной женщине? Ты видела ее и, несмотря на свою неопытность, я уверен, поняла, что двигало эту женщину, когда она вздумала изъявлять свои смешные права. Только к тебе, как девушке, полной чистоты и не знающей жизни, она могла явиться так смело. Кто бы другой допустил ее говорить? Одно ее присутствие здесь было уже большое оскорбление!

– Что же мне было делать? Я так испугалась ее.



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Люба, она на это рассчитывала. Не ты первая из невест, которые слышат ужасы про своих женихов, и, верно, не последняя. Я не буду выставять себя примером скромности. Но знай, Люба, что всё дурное во мне развито от воспитания и людей, окружавших меня. Каждый дурной поступок в моей жизни верно найдет оправдание. Расставшись с тобой, я для испытания себя и своей любви вновь вел прежнюю жизнь – и глубоко сознал, что она недостойна порядочного человека. Я всё оставлю: все свои привычки, – я уеду отсюда, только вырви меня из этой пустоты, которая погубит меня. Да, ты одна только можешь спасти меня!

Тавровский в подобные минуты имел столько энергии, говорил так убедительно и был так привлекателен, что не пламенно любящему сердцу Любы было устоять. Она колебалась. Павел Сергеич спешил воспользоваться этой минутой, и Люба невольно дала согласие ускорить свадьбу.

Тавровский поехал к Любской, желая как-нибудь запугать ее, задарить, уговорить – одним словом, как можно скорее покончить это дело. Он знал упрямство ее характера, но надеялся и на свою настойчивость. Однако ж, увидев Любскую и вспомнив ее дерзость, Тавровский забыл свое благоразумие; злоба душила его. Любская явилась перед ним расстроенная, вся в слезах, чем он был немного удивлен.

– Я думал найти вас торжествующей, – сказал он иронически, – и льстил себя надеждою уничтожить ваше торжество.

– Да вон тот дурак, помешанный, наделал мне таких сцен, что я как дура расплакалась, – говорила Любская, вытирая слезы и как бы стыдясь их.

– Ваш свирепый защитник? Это что-то худой знак. От вас все отступаются, как...

– Прошу вас умерить выражения! – перебила Любская.

– Это почему? Вы, кажется, не умеряли их, да еще в моем доме, в присутствии особы, на которую вам с благоговением следовало бы смотреть. Знаете ли, вы еще не взвесили вашего неблагоразумного поступка. Ну, если бы я вас встретил первый, то...

– Что бы вы сделали?

– Я?.. я сначала переломал бы ребра швейцару, потом вашему защитнику, а...

– Замолчите! вы забываете, что вы говорите! – в ужасе воскликнула Любская.

– Да! я нахожусь в таком состоянии, что не могу ручаться за свои слова; даже...

Лицо Тавровского было страшно, так что Любская пугливо сказала:

– Успокойтесь; я потом буду говорить с вами.

Тавровский долго ходил по комнате, как бы желая успокоиться, и потом, сев возле Любской на диван, серьезно, но уже покойно сказал:

– Я надеюсь, что между нами всё и давно было кончено?

– Я надеялась, что года, моя терпеливость тронут вас и вы исполните то, что несколько лет тому назад обещали.

– Это забавно, это мило!! ха-ха-ха! Вы просто шута из меня хотели сделать! – сказал Тавровский.

– Не говорите так со мной! вы знаете мой характер: за оскорбление я плачу тем же! – в негодовании отвечала Любская.

– Извольте! будем говорить иначе. Например: что вы надеялись приобрести вашим визитом? Вы подвергали себя страшной опасности. Ну что, если бы вы встретили не кроткую и робкую девушку, а опытную и знающую людей? вы были бы жалки и ваше положение было бы унизительно. И когда вы вздумали утолять ваше самолюбие? после таких огромных промежутков времени, разделявших нас! Я женюсь... что же такого ужасного для вас? Вы разве можете упасть во мнении ваших собраток и братьев?

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
напротив, новая квартира, мебель, экипаж – и вы стали выше в их мнении. Я хорошо знаю вас, и я надеялся на ваше образование, опытность, знание жизни. Сознаться, что наши отношения друг к другу вовсе не были такого рода, чтоб вы имели право являться ко мне в дом и делать сцены?

– Я глупо сделала! я сама себе удивляюсь! – искренно отвечала Любская, покраснев при воспоминании о своей ошибке.

– Вот теперь я вас узнаю! И к чему вам было выходить из вашей роли?.. Я рад, что вы сознались в своем проступке, и вы должны его исправить.

– Это как? и чего вы от меня требуете?

– Очень простой вещи: явиться опять ко мне в дом и сознаться той, которой вы наговорили глупостей, что всё вами сказанное – чистейший вздор...

– Ваше требование выходит из границ. Нет! я никогда не унижусь! придумайте другое средство, – гордо сказала Любская.

– Другого нет! советую согласиться, если вы не хотите нажать себе самого страшного врага! – таким угрожающим голосом сказал Тавровский, что Любская с досадой отвечала ему:

– Я не ребенок: не страшайте меня!

Но вдруг ее лицо озарилось радостью; она засмеялась и весело сказала:

– Извольте, я на всё согласна, – только на одном условии.

– Какое? – с любопытством и поспешно спросил Тавровский.

– Вы должны ужинать у меня накануне вашей свадьбы! – сказала актриса.

Павел Сергеич нахмурил брови, потом усмехнулся и сказал:

– Это только вам могут прийти в голову такие условия.

– Согласны? – кокетливо спросила Любская.

Тавровский подумал и сказал:

– Я готов! Мне ужасно надоели ссоры, объяснения. Я согласен!

– Вашу руку, – поспешно сказала Любская.

– Вот она.

– Я сейчас же еду.

– И умно сделаете!

Они расстались так дружно, как будто между ними и тени не было неприятностей.

Люба еще находилась под влиянием страшного визита, как ей доложили опять о желании Любской видеть ее. Люба в испуге не велела принимать; но Любская стояла уже в дверях и бросала умоляющие взгляды. Ее голос, взгляд, манеры, походка – всё выказывало женщину под тяжким бременем раскаяния. Она была бледна, глаза красны и впалы. Если бы не вечер и не сильное волнение Любы, может быть, она заметила бы, что всё это было искусственно.

– Я пришла у вас просить прощенья... – тихим голосом сказала актриса.

– Не у меня, а у него вы должны просить прощенья, если любите его, – нетвердым голосом отвечала Люба, верно припомнив слова Тавровского, что иначе надо было бы говорить с Любской.

– Слова, сказанные раздраженной женщиной, не есть оскорбление мужчине. Нет! я у вас должна просить прощенья. Я обдумала свой поступок и ужаснулась его! Меня

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a увлекла любовь; но я актриса и не имею тех прав, как другие женщины.

– Почему?

– Условия нашей жизни выходят из ряда; свобода, которою мы пользуемся в некоторых случаях, есть в то же время страшная преграда для нас. Я сама чувствую смешную сторону моих надежд и спешу уверить вас, что счастье ваше с ним будет прочно. Он один из благороднейших людей, и я готова дать клятву, что он не сделал ни одного поступка в своей жизни, за который вам как жене его можно краснеть.

– Как же вы говорили утром? – воскликнула удивленная Люба.

– Повторяю вам, я говорила в бреду.

Люба свободно вздохнула.

– Простите раскаивающейся женщине.. Вы можете заметить по моему лицу, что должна я была перечувствовать с той минуты, как оставила вас.

Люба испугалась бледности и страдальческого вида Любской, которая продолжала почти шепотом:

– Позвольте мне уйти: я.. чувствую, что силы меня оставляют...

И она пошатнулась, идя к двери.

– Сядьте: вы упадете! – сказала Люба, подбежав к актрисе, которая зашаталась и облокотилась на ее плечо. Но она скоро очнулась; как бы удивленная, вспоминала, казалось, где она, глядела на Любу, осматривалась и наконец, заплакав, сказала:

– Как вы добры! вы простили меня, вы не испугались поддержать женщину, оскорбившую вас. О, возьмите, возьмите его! он вам одним должен принадлежать!

И актриса, сорвав медальон с своей груди, поцеловала его и, оставив в руках растроганной Любы, поспешно вышла. Лишь только она захлопнула дверь за собой, как поднесла платок к губам, заглушая свой смех.

## Глава LXVII

### Ужин и его последствия

Тавровский так спешил свадьбой, что все в доме сбилось с ног. Накануне дня свадьбы, начиная от Ольги Петровны до последней приживалки, все улеглись спать в папилютках, сделав такие приготовления, как будто каждая из них была невестой. Тавровский не желал пышной свадьбы; но Наталья Кирилловна и слышать не хотела о простоте и скромности: она созвала всё, что некогда ей было знакомо. Люба с трепетом ждала этого дня: она без ужаса не могла вспомнить, что должна будет предстать всем родным Тавровского, которые, казалось ей, должны быть похожи на Наталью Кирилловну, и гостям. И к тому ж сомнение не совсем уснуло в ней. Она долго не ложилась спать, всё о чем-то думая. Поздно ночью кто-то тихо постучался к ней в дверь. Люба очень удивилась, кто мог бы прийти в такой поздний час; она отворила дверь – и в ужасе отскочила: перед ней стоял цыган, бледный, с сверкающими глазами.

– Что случилось с тобой? – воскликнула Люба.

Цыган не мог говорить.

– Ты весь дрожишь...

Цыган робко подал Любе маленькую записку. Пробежав ее, Люба помертвела и в отчаянии упала в креслы. Записка была очень лаконическая, из двух строк: «Стерегите его. Он дал слово ужинать у одной знакомой ему дамы, с которой давно уже довольно короток».

– Эту записку я получил час тому назад. Меня вызвали из моей комнаты, и незнакомый мне человек, подав ее, скрылся, – отчаянным голосом говорил цыган.

– Ну что же? он дома? он не ушел? – шепотом спросила Люба.

Цыган глухим голосом отвечал:

– Я следил...

Люба вскрикнула в негодовании, быстро вскочила с своего места и, бегая по комнате, искала что-нибудь надеть.

– Ты знаешь, где он? веди, веди меня туда! – говорила она, перемешивая слова свои рыданиями.

– Я поступил бесчеловечно! – в отчаянии воскликнул цыган. – Пусть лучше ты была бы обманута!

Люба выпрямилась: в минуту слезы у ней исчезли, и она решительным голосом сказала:

– Нет! это последние слезы о нем. Веди меня, где он: я хочу, я должна сама увериться. И это будет мое прощанье с ним.

– Что ты хочешь делать?

– Вели закладывать дорожную карету! Но как же я выйду из дому?

– Той же дорогой, как он, – отвечал цыган и вышел.

Через пять минут он воротился к Любе. Она, уже одетая, нетерпеливо ждала его. Цыган повел ее темными комнатами, привел в свою, оттуда они вышли, через окно, в сад. Проводя ее мимо кабинета Тавровского, цыган указал на открытое окно. Люба, рыдая, воскликнула:

– Значит, нет более сомненья!

– К несчастью, нет! – отвечал цыган. – Я был даже в том доме, где он теперь пирует: я подкупил горничную, которая, если хочешь, проведет нас в комнаты. Ты сама всё увидишь...

Люба быстро и твердо пошла вперед. Из сада вышли они на улицу через калитку, ключ от которой был в кармане у цыгана. Идя по пустым и темным улицам, Люба вздрагивала, слышав шаги пешехода или грохот экипажа. Они вошли в калитку одного небольшого дома и, пройдя двор, поднялись во второй этаж по темной лестнице. Цыган постучал в дверь и был впущен какой-то женщиной. Эта женщина повела их по темному коридору, потом отперла ключом какую-то дверь, и они очутились в комнате, тоже темной, но устланной коврами. Они прошли несколько таких комнат; в одной из них Люба вдруг вся вздрогнула, остановилась и шепотом сказала цыгану:

– Это его голос!

И она кинулась к занавеске, разделявшей ту комнату от соседней. Комната, которую увидела Люба, была большая зала, ярко освещенная люстрой и дорогими канделябрами, стоявшими всюду. За столом, богато сервированным, сидели: Любская, разряженная и веселая, и рядом с ней Тавровский, с нахмуренными бровями.

Как будто нарочно в ту самую минуту, когда Люба подошла к занавеске, Любская встала с бокалом в руке и громко и насмешливо сказала:

– Поздравляю вас со вступлением в новую жизнь, и дай бог, чтоб вы не забыли своих старых друзей!

Тавровский нехотя чокнулся.

– Вы, кажется, чем-то недовольны? О, черная неблагодарность! Я всё устроила: завтра вы будете счастливейший из смертных – и вы не хотите в последний раз быть веселым и любезным с старыми своими знакомыми.

Тавровский молчал. Любская, поглядывая на дверь с занавеской, продолжала:

– А знаете ли, что роль моя была очень трудная, когда я, зарисовав себе лицо, явилась кающейся и так напугала...

– Довольно! Я не сомневался в вашем таланте, – резко сказал Тавровский.

– Я непременно закажу пьесу к своему бенефису и велю вставить эту сцену: она будет очень эффектна.

– Мне пора! я сдержал свое слово, – вставая, сказал Тавровский; но Любская удержала его за руку и с любезностью сказала:

– Нет, я вас не пушу: мое условие было, чтоб вы отужинали у меня, а еще только два блюда подали.

– Может быть, вы их заказали сто!

– Какое нетерпение! Я так сговорчива, так уступчива, а всё оттого, что люблю вас!

– Благодарю! – презрительно пробормотал Тавровский; но Любская не обиделась и с тою же нежностью продолжала:

– Вспомните последний пример; сначала я хотела, чтоб вы в день свадьбы ужинали у меня; но я уступила. Вот отчего я много теряю в жизни: я не умею выдерживать характера!

– К вам нейдет роль угнетенной! – сказал Тавровский.

– Нетерпение делает вас очень нелюбезным; но завтра, завтра вы будете свободны – и на всю жизнь, – разумеется, в таком случае, если подруга вашей жизни останется всегда так простодушна, как теперь.

Люба отскочила от двери и почти выбежала из комнаты. Возвращаясь домой, она спотыкалась поминутно, как будто на каждом шагу под ноги ей бросали камни. Цыган поддерживал ее.

– Тише, тише! – говорил он. – Ты должна была быть готова ко всему!

Возвратясь в свою комнату, Люба стала бегать как помешанная, шарить в комодах, потом всё бросала и, ломая руки, умоляющим и раздирающим голосом повторяла:

– Ради бога, скорее, едем! едем!

– Полно! обдумай свое намерение, может быть, это только первый порыв гнева.

– О нет, нет! Я сойду с ума со стыда, если опять не устою и поддамся его словам и уверениям. Боже мой! что я сделала ему, чтоб так страшно обманывать!.. Ах, увези меня скорее!

Она рыдала. Цыган печально смотрел на нее и тихо шептал:

– Я никогда не ожидал, чтоб она могла быть счастлива с ним! – И потом он прибавил, обратись к Любе: – Послушай: я очень хорошо знаю тебя – твоя любовь к нему слишком велика. Ты подумай, что всё готово, всем объявлена свадьба его. И поступка твоего он не простит тебе никогда...

– Я его никогда более не увижу!

– Да станет ли у тебя настолько силы?

– Ты должен спасти меня!..

Через час из дома Натальи Кирилловны выехала дорожная карета.

Всё в доме спало, кроме Зины, которая, притаив дыхание, стояла за дверьми в сенях, откуда вышла Люба. Когда Люба села в карету и карета выехала из ворот, Зина, смеясь, побежала в спальню Натальи Кирилловны и дико закричала:

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Ах! убежала! убежала!!

Наталья Кирилловна была очень пуглива со сна, и потому вокруг нее обыкновенно сохранялась глубокая тишина, когда она почивала. Понятно, что стук дверьми, вопли Зины и свеча, сунутая ей под самые глаза воспитанницей, страшно испугали старуху. Вся дрожа, она быстро вскочила с постели и вопросительно глядела на Зину, которая, придав своему лицу дикое выражение, продолжала кричать:

– Убежала! срам всему дому! убежала!!!

– Кто? с кем? – едва могла пробормотать Наталья Кирилловна.

– С цыганом, сейчас уехала!!

Последние слова с таким ужасом были произнесены Зиной, что произвели на старуху необыкновенное впечатление. Наталья Кирилловна снова вся затряслась, потом села на кровать и стала закутываться в одеяла. Глаза ее блистали и расширились; она долго смотрела на одну точку – и вдруг, сбросив с себя одеяло, сорвав чепчик, причем седые волосы ее рассыпались, быстро встала и отрывисто сказала:

– Скорей дай мне одеваться!

Зина пугливо подала ей капот.

– Дура, подай мне брильянты!.. Мои брильянты – где, где они? их украли! а, украли? – сверкая глазами и сжимая кулаки, закричала Наталья Кирилловна и затопала ногами.

Зина уже с непритворным ужасом выбежала из спальни, сзывая людей. Весь дом сбежался, и каждый с трепетом отскакивал от дверей спальни, едва успев заглянуть туда.

Наталья Кирилловна, закутавшись в одеяло, с распущенными седыми волосами, в чепце, надетом задом наперед, в брильянтовых серьгах и колье, сидела у окна. Иногда она вставала, раскланивалась, как бы принимая гостей, и снова величаво садилась. Долго не знали, что делать. Наконец приживалки, сомкнувшись в каре, вошли в комнату под предводительством Зины, которая робко окликнула Наталью Кирилловну.

– А, это ты, Зина! вели скорее осветить комнаты; разве не видишь, что гости уж съехались?

И она, может быть в первый раз, с любезностью и вежливо поздоровалась с приживалками, просила их сесть, предлагала им вопросы касательно их детей, мужей, – так что приживалка с мутными глазами уже начала было своим сиплым голосом какую-то историю, соответственную вопросам, но свечи, внесенные в комнату, отняли у ней способность говорить, которою обладала она в такой великой степени.

– Свечей! больше огня! – кричала сердито Наталья Кирилловна.

И вот внесли несколько зажженных канделябр; но блеск их не мог сравниться с блеском сверкающих глаз Натальи Кирилловны.

– Где же невеста? невеста? – говорила старуха. – Зовите Павла Сергеича: я его благословлю... скорее!

Кинулись за Павлом Сергеичем. Он вбежал в спальню бледный, весь дрожа, и с ужасом отскочил от Натальи Кирилловны, которая, всплеснув руками, как бы желая его обнять, дико закричала:

– Где же твоя невеста?

И, шатаясь, она упала на пол.

Несмотря на скорые пособия докторов, паралич был сильный. Наталья Кирилловна лишилась употребления ноги, руки и языка. Павел Сергеич ходил как убитый; приживалки выли, приговаривая:

– Что с нами будет? куда мы денемся? О, наша голубушка, наша кормилица! зачем оставила ты столько сирот!

Зина тоже плакала, но при малейшем поводе едва могла сдерживать смех.

С рассветом дня, вместо радостей и поздравлений, в доме раздавались рыдания, крики отчаяния, происходила печальная суматоха.

Тавровский легко мог прекратить толки о бегстве невесты между приживалками, но прекратить их в городе было не в его власти. На другой день в Петербурге ни о чем более не говорили, как о бегстве его невесты с цыганом. Сплели такие истории, что Павел Сергеич не знал, куда деваться, где скрыть свой позор. Это был слишком сильный и страшный удар его самолюбия, которое привыкло к вечному потворству. Если б Люба думала о мщении, то и тогда ничего не могла бы придумать лучше этого неожиданного бегства накануне свадьбы, внушенного ей отчаянием. Тавровский пробовал уверять, что будто отвез Любу в Москву, чтоб она не была свидетельницей печального зрелища; но никто не верил ему даже из близких, благодаря Зине, которая встречному и поперечному пересказывала бегство Любы с надлежащими прибавлениями.

Действительно, в доме было печальное зрелище. Никто без тайного волнения не мог видеть теперь эту женщину, еще недавно столь гордую. Суровое лицо, бессмысленные глаза, а вместо высокомерных слов дикие звуки вроде мычания – такова была теперь старуха! В ее спальне приживалки распорядились, как у себя в комнатах: они очень скоро свыклись с мыслью, что Наталья Кирилловна не страшна им теперь, и всё свободно обнюхивали, шарили во всех уголках, а под вечер располагались у самой кровати, вокруг стола, – и Зина раскладывала карты, гадая, скоро ли будет в доме покойник и какая ждет ее перспектива?

– Ах, неожиданное и радостное письмо! – восклицала приживалка с мутными глазами.

– Что вы? что вы? какое письмо? Разве не видите – к несчастью? А вот хлопоты! – перебивала другая.

– Ну что же? чего удивляетесь! небось я не твердила вам всем, что будет страшная перемена в доме? а? что? не угадала? – радостно восклицала приживалка с мутными глазами. И потом, указывая своими огромными неуклюжими пальцами по картам, она продолжала: – Вот с дороги вести, дурные; у-у! хлопот-то по дому, хлопот! Огорчение в совершенстве всему дому! Значит, будет покойница! – всхлипывая, окончила приживалка с мутными глазами (она же и с зубом), забыв, что за минуту она радовалась, что ее предсказания на картах исполнились,

Остальные приживалки подтягивали ей хором, жалобно повторяя:

– Бедные, бедные мы! куда мы денемся?

И каждая читала надгробные панегирики, может быть, и не совсем потерявшей слух и сознание Наталье Кирилловне, которая отвечала им тоскливым мычанием.

Зина радостно слушала приживалок и, глядя на карты, посмеивалась. Она всех чаще и усерднее гадала, скоро ли будет покойник в доме; и наконец ей не нужно было более гадать.

Наталью Кирилловну, под великолепным балдахинном, окруженную множеством лакеев с пестрыми лентами на плечах, с плачем приживалок в трауре и гостей, вывезли из дому.

Зина, в глубоком трауре, шла с Ольгой Петровной за гробом; они притворялись рыдающими, а между тем перебранивались между собой. Зина упрекала Ольгу Петровну в пропаже ключей от комодов покойницы, а Ольга Петровна упрекала Зину в пропаже ключей от шкапов с старинным серебром, платьями и мехами.

#### Глава LXVIII

##### Последняя жертва

Ни дорога, ни возвращение в деревню, где родилась и выросла Люба, – ничто не облегчило тоскливого состояния несчастной невесты Тавровского. По возможности она скрывала от цыгана свое страдание, но он всё видел и готов был пожертвовать

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
жизнью, лишь бы развлечь ее как-нибудь. Иногда он приходил в отчаяние и умолял  
Любу помириться с женихом.

– Я не могу видеть тебя в этой тоске, – говорил он. – Помиришься с ним, если не хочешь, чтобы я упрекал себя каждую минуту, что расстроил твоё счастье!

– Это как? – спрашивала удивленная Люба.

– Без меня ты многого не знала бы о нем и теперь была бы его женой.

– Тогда у меня отнято было бы последнее благо...

– какое же?

– Я теперь могу располагать собой.

– Но на что тебе свобода?

– погоди! дай пройти моей болезни... это не любовь: это болезнь какая-то во мне... и я сделаюсь прежней, веселой... и...

Но сомнение у неё самой выразилось в лице, и они оба замолчали.

Прошло довольно времени, и цыган с радостью стал замечать, что Люба с весной возобновила свои прежние прогулки. Она каталась по озеру, гуляла и по целым часам задумчиво сидела близ берега, на том самом скате, где сживала с Тавровским. Это стало повторяться каждый день; задумчивость Любы усиливалась. Она как будто совестились цыгана и стала кататься по озеру одна. Но часто цыган в беспокойстве, что её долго нет, тихонько подсматривал за ней. Люба, думая, что никто не следит за ней, клала на колени медальон, склоняла голову и по целым часам смотрела на изображение Тавровского. Иногда она робко подносила медальон к губам своим, но тотчас же прятала его на грудь, как будто боясь, чтоб кто-нибудь не подсмотрел этого движения. Бывали минуты, когда она, глядя долго на портрет, что-то с жаром говорила ему, плакала, потом отбрасывала его с негодованием; но всегда кончалось тем, что медальон снова был в руках бедной девушки, и она глядела на него такими глазами, как будто просила у него прощения.

Раз Люба тихо плыла по озеру к обычному месту, припоминая точно такой же день, когда она, беззаботная и веселая, бегала по лесу с своей подругой. Этот день был слишком памятен ей: тогда в первый раз она увидела Тавровского. Подъехав к скату горы, Люба вышла на берег и села на привычное место... как вдруг в лесу раздался конский топот. Люба так привыкла к уединению, что сначала вздрогнула, но скоро успокоилась, подумав, что, верно, цыган едет к ней. Шорох заставил её повернуть голову: она радостно вскрикнула и, вскочив, остановилась как окаменелая.

Тавровский стоял на высоте ската в эффектной позе; даже костюм на нем был точно такой же, как в тот памятный день.

Люба опомнилась, хотела бежать; но он с упреком сказал ей:

– К чему бежать? лучше я уйду! я не знал, что найду вас здесь... Я приехал еще раз увидеть мои любимые места, чтоб уехать потом далеко, далеко!

Люба не смела поднять глаз, но не двигалась с места.

Тавровский привязал лошадь к дереву и, подходя к Любе, сказал трогательным голосом:

– Могу ли я отдохнуть здесь и проститься с местом...

Люба взглянула на Тавровского и с плачем упала ему на грудь.

Счастлива была она, что не видала мрачной улыбки, мелькнувшей на лице Тавровского, когда губы его коснулись её лба.

Люба долго не могла произнести ни слова: она, как безумная, то плакала, то радостно глядела на Тавровского.



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
– Ты забыла всё? да, да? ты простила мне всё? – спрашивал Тавровский, страстно глядя на Любу, которая с полной доверчивостью прятала свое лицо на его груди.

Много с той и другой стороны было высказано друг другу страданий, перенесенных во время разлуки.

Тавровский, между прочим, рассказал, как страшно было его положение, когда она бежала, намекнул о причине смерти его тетки, о слухах, которые ходили тогда по городу, – и роли изменились: Люба была виновной и умоляла о прощении, а Тавровский разыгрывал роль милующего.

– Я хочу знать одно, Люба: кто подал тебе совет сделать такую страшную вещь со мной? это он?

И лицо Тавровского изменилось. Он нетерпеливо ждал ответа.

– Нет! нет! я сама! Он даже еще недавно уговаривал меня помириться с тобой! – краснея своего поступка, отвечала Люба.

Тавровский посмотрел на нее с жалостью и тихо сказал:

– я лучше желал бы, чтоб он был всему причиной!

Люба с жаром защищала цыгана, приписав злобное выражение лица Тавровского его подозрениям и давнему нерасположению к цыгану. В пылу счастья Люба не могла заметить разительной перемены в Тавровском. Постоянно презрительно-ядовитая улыбка мелькала на его губах, и слова его, манеры, взгляды не имели прежней открытой привлекательности.

Тавровский уговорил Любу не медлить свадьбой и обещался приехать к ней в дом вечером же, чтоб всё устроить.

Когда цыган встретился с Любой, ему не нужно было ни о чем спрашивать. Вся фигура девушки выражала столько блаженства, что он только мог сказать:

– я этого ждал; дай бог, чтоб скорее всё кончилось!

Тавровский был любезен с цыганом. Он упросил его похлопотать, чтоб как можно скорее играть свадьбу, которую желал сделать как можно великолепно. Люба хотела его отговаривать, но Тавровский сказал:

– Ты не хочешь войти в мое положение. Мое сватовство наделало столько шума, столько времени я был пищей сплетен и болтовни, что надо же наконец всё разом исправить!

И, по его настоянию, сама Люба, как уже владетельница имения, пригласила всех соседей и соседок на свою свадьбу.

Наступил день свадьбы. Люба так была счастлива, что, глядя на нее, всякий бы позавидовал ей.

Гости съехались; дворня и крестьяне, в ожидании невесты и жениха, стояли уже у церкви. Люба торопилась одеться. Она надевала уже перчатки, когда ей принесли письмо. Она распечатала его – и смертная бледность покрыла лицо несчастной.

Письмо (от Тавровского) было следующего содержания:

«Я спешу вас уведомить, что я далеко, очень далеко теперь и уехал с тем, чтоб более никогда уже не видеть вас. Да! я не ожидал быть так гнусно обманутым. Теперь мне всё ясно, почему вы так долго не решались выйти за меня и так были придирчивы к моим проступкам. Гости съехались, всё готово; советую вам скорее сделаться женой того, кто имеет право быть вашим мужем. Я же надеюсь, что поступаю, как следует порядочному человеку. Я не хочу мстить за обман. Живите счастливо».

Люба испугала окружающих ее диким выражением своего лица. Они кинулись к ней с пособиями, но она, вырвавшись из их рук, выбежала к гостям, хотела что-то сказать им, зарыдала и кинулась дальше, призывая цыгана. Они встретились в

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
пустой комнате и долго с ужасом глядели друг на друга.

Люба подала ему письмо, но цыган, отклонив его, сказал:

– И я получил такое же!

– Значит, ты знаешь, в чем он обвиняет меня? – с негодованием воскликнула Люба.

– Я догнал бы его, и, если б он не захотел драться со мной, я задушил бы его; но я боюсь оставить тебя! – в отчаянии отвечал цыган.

Люба в своем свадебном наряде походила скорее на покойницу, чем на невесту.

– Что мне делать? куда бежать от стыда? – ломая себе руки, говорила она.

– Я пойду и объявлю им, что...

Цыган потерялся.

– Нет! я сама! – гордо сказала Люба.

– Ты не вынесешь этого! – удерживая ее, говорил цыган.

Но Люба твердым шагом пошла к двери и с трепетом остановилась у порога. Гости толпой стояли у дверей, а когда Люба приблизилась, они настезь распахнули обе половинки и прошли мимо несчастной невесты, насмешливо кланяясь ей и делая между собой замечания, из которых Люба поняла, что не она только знала о причине отъезда жениха: знали и все гости.

Оставшись одни, Люба и цыган с ужасом разбежались по своим комнатам.

Через несколько часов, когда утренний туман ревниво прикрывал еще озеро, посреди мертвой тишины слышался плеск весел. Потом он замолк. Наконец снова раздалось два сильные удара; послышался плеск воды; пронесся над озером отчаянный, но слабый крик... И всё замерло...

Туман поднимался всё выше и выше над мрачным огромным озером; весеннее солнце медленно всходило, освещая гладкую и мертвую поверхность его, по которой одиноко носилась пустая лодка, как будто не решаясь пристать ни к которому берегу.

Эпилог

I

В жизни некоторых людей есть эпоха, с наступлением которой они как будто ограждены от всех переворотов и случайностей. С той счастливой эпохи дни их начинают плестись однообразно и правильное течение их нарушается только изредка домашними незначительными происшествиями.

Точно так текла жизнь некоторых лиц нашего романа. День сменялся днем, месяцы месяцами, года годами, и наконец явилась к ним в свою очередь неумолимая старость. Красивое лицо Любской уже не было так привлекательно, как ни старалась она каждое утро придавать ему прежнюю свежесть, тщательно скрывая седину и морщины. Впрочем, надо отдать ей справедливость: долголетняя сценическая опытность много изошрила в ней способность поддерживать увядающую красоту. Для своих лет она казалась еще очень молода. Но ее талия не имела уже прежней стройности; тучность бросалась в глаза, несмотря на туго стянутый корсет. Любская оставила сцену вовремя, когда публика всё еще по старой памяти встречала ее аплодисманом, но другие актрисы, моложе и красивее, заняли в вечно любящих сердцах театралов место, прежде ей принадлежавшее. Она оставила сцену, но ее можно было видеть в театре, на гуляньях, в концертах, – в позе всегда очень эффектной; только в осанке, в движениях и взгляде оставившей свое поприще актрисы было уже чересчур много достоинства и величавости, так что торжественностью фигуры своей она невольно бросалась в глаза и повергала некоторых в недоумение. Ее сопровождал всюду почтенный, заслуженный человек с лысиной, лицо и манеры которого свидетельствовали о долгой службе в климате более жарком, чем петербургский. Он был довольно полон и любил дремать. То был супруг Любской. Вот каким образом произошло их соединение. С той поры как мы с ней расстались, еще лет пять жила она роскошно, окруженная поклонниками; но мало-помалу круг их стал уменьшаться, – бледнела и роскошь квартиры. Самолюбие

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Любской как актрисы также начало страдать: явились таланты и моложе, и лучше, которые с большим успехом заняли ее роли. Одним словом, Любская очутилась в самом неприятном моменте жизни сухой и самолюбивой женщины, когда она видит, что стареется. В это-то время, когда она однажды, лежа на диване, проходила роль, ей доложили, что какой-то полковник желает ее видеть, но не сказывает фамилии. Любская велела принять. Вошел пожилой мужчина с загорелым лицом, с белыми усами. Голубые его глаза были подернуты слезой, и он в волнении мял свою шапку. Одна нога его была короче другой, и крест георгиевский доказывал, что не простым случаем он лишился ее. Любская глядела на него покойно и даже улыбалась: она думала, что перед ней робкий сочинитель, плененный ее талантом и желающий поднести ей для бенефиса свою драму.

– Вы меня не узнали? – трепещущим голосом спросил посетитель.

Любская тревожно впиалась своими смелыми глазами в его лицо.

– Аня! – дрожащим голосом, нетерпеливо произнес он.

Любская пронзительно вскрикнула: «Петруша!» – а упала без чувств в его объятия.

Надо сказать, что Любская вовсе не узнала в почтенном посетителе того привлекательного Петрушу, о существовании которого она давно забыла. Но ее слезы, радость ее были так натуральны, что можно было ручаться, что она только за минуто до его появления думала о нем.

Петруша тоже горько заплакал, – и видеть такого почтенного человека в слезах было довольно умирительно, – и повторял радостно:

– Так ты не забыла меня? не забыла?

– Я? я забыла тебя?!.., о нет! мои чувства к тебе, несмотря на столько лет, на столько превратностей, всё те же... Нет, я не забыла. Отчего ты не писал ко мне?

– Я дал слово ему! а где он?

Любская сделала печальное лицо и торжественно сказала, подняв глаза к потолку:

– Он там! и умер на моих руках, – прибавила она.

– О, я узнаю тебя... Вот моя Аня, моя прежняя Аня! – в восторге воскликнул страстный служака, целуя руки Любской, которая спросила его:

– Ты где пропадал?

– Я... я сражался и сражался, был в плену у горцев несколько месяцев, умирал от страшной раны. Но бог спас меня! Ты не думай, Аня, чтоб я забыл о тебе: нет! я думал, и думал часто, о тебе. У меня был приятель, – убит он в одном деле, – мы были равно ранены. Я спасся. Вот он лучше бы тебе мог сказать, помнил ли я о тебе. Я был вчера в театре. И посуди, что было со мной... Сначала я не узнал тебя. Но что-то знакомое... глядел, глядел, стал расспрашивать у соседа (Любская при этом слове вздрогнула). Он ничего не знал. Да тут какой-то сзади стоял молодой человек, верно, актер, – он мне и скажи, как тебя зовут. У меня сердце застучало. Я еще узнал, что ты не имеешь никого родных, приезжая и из благородных, – вот они что рассказали. Ну, я целую ночь не спал, и вот теперь вижу свою Аню.

– А я... что могу я сказать? Ты сражался с дикими, а я защищалась против соблазнов общества, в которое кинули обстоятельства твою бедную Аню! О, сколько я выстрадала, сколько вынесла! Но, чтоб жить честно и не быть никому обязанной, я решила сделать актрисой.

– И как ты хорошо играешь!

– Нужда! одна нужда заставила меня пойти по такому поприщу! ты не знаешь, каково оно!

Петруша, проживший столько лет между солдатами и горцами, решительно походил на ребенка, чувствительного и романического; может быть, элемент мечтательности

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
отца перешел к нему по наследству.

Любская описала страшную картину своей жизни и тех страданий, которые должна выносить по милости злословия, зависти и прочая... Одним словом, она искусно предупредила Петрушу не верить ничему, что бы он ни услышал о ней.

Он, слушая ее, повторял:

– Господи! как ты страдала, сколько ты выстрадала!

Любская, впрочем, приняла строгие меры: она закрыла свои двери для всех, жила тихо, скромно, имела постоянно озабоченное лицо и всё твердила о трудности своих занятий. Утомленная, приезжала она после спектакля и часто плакала, что ее обидели за кулисами и за нее некому заступиться. Петруша очень скоро предложил ей свою руку, сказав:

– Я беден; но у тебя будет хоть защитник. Я давно бы тебе предложил ту руку и сердце, которые давно принадлежат тебе, но боялся, нет ли у тебя чувства, которое могло бы...

– Нет! нет! я должна сознаться тебе, что никого не любила, но я встретила с одним человеком, который обещал на мне жениться... Благодарение богу, что наша свадьба расстроилась! Вот моя исповедь.

Через несколько месяцев они обвенчались. Любская с гордостью окидывала своих прежних собраток и братьев, торжественно шествуя под руку с своим мужем. Она очень любила являться непременно с ним в публику, сделалась очень скупа в домашней жизни, запирала всё от мужа на ключ; хотя у ней у самой частенько являлись дорогие наряды, но она уверяла Петрушу, что они стоят только четверть настоящей цены. Петруша не мог не разочароваться несколько в Ане, но поэтизировал даже экономические наклонности своей супруги, направленные к тому, чтоб держать под ключом водку, к которой Петруша, впрочем, вовсе не был пристрастен; он только любил выпить перед завтраком и обедом, а пуще всего любил попотчевать гостя.

Любская всё и всех бранила и явно обижалась, когда при ней хвалили красоту той или другой женщины.

– То ли я была в ее лета! – завистливо говорила она.

Или, услышав похвалу игре какой-нибудь актрисы, она кричала:

– Это просто дрянь! вы бы посмотрели, какова я была в этой роли!

И, таким образом, наконец Петруша и Аня наслаждались счастьем после стольких препятствий и переверотов в их жизни...

## II

Жестокий поступок с Любой, которого ужасных последствий Тавровский не мог предвидеть, да он и не думал о последствиях, успокоил несколько прихотливую гордость жениха, брошенного, как говорили в городе, своей невестой. Возвратись в Петербург, Тавровский снова предался своей прежней жизни и еще несколько лет прожил без оглядки, пусто – и невесело. Невесело потому, что прошло уже для него время, когда шумная, праздная жизнь, отданная одной внешности, нравится и удовлетворяет благодаря избытку жизни в нас самих. Ему было уже под сорок лет, и пресыщение, давно сторожившее его, начало явно и губительно обнаруживаться.

Около того времени до него случайно достигла весть о смерти Любы. Погибель невесты, не пережившей позора, которого он был причиною, поразила его сильнее, чем можно было ожидать. Он вспомнил детскую доверчивость, кротость и преданность бедной девушки, неразвитой и почти дикой, но которая так умела любить и прощать, и тогда только почувствовал всю бесчеловечную жестокость своего поступка. Любовь его к Любе проснулась с новою силою; он дошел до убеждения, что только одну ее любил и мог любить и что только она могла спасти его, наполнив страшную пустоту, которая подавляла его. И плодом его отчаяния, его хандры была поездка в имение Любы, которое он купил с целью провести остаток жизни у страшного озера, которое было могилою его невесты. И он действительно прожил там около трех месяцев, бродил около озера, по несколько часов просиживал у ската горы, вспоминал свою

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
первую встречу с Любой и счастливые часы, которые провел с ней. Но не такова была натура Тавровского, чтоб навсегда заключиться в тесном кругу прошедшего, отдавшись унылым воспоминаниям. В нем еще было довольно жизни, характер его требовал разнообразия и новых впечатлений, – и через три месяца он оставил имение Любы, подарив его своему родственнику. И когда он снова воротился в Петербург, то удивил даже людей, коротко его знавших, своими причудами и проказами, безумными издержками, чудовищным разгулом. Но уже не надолго стало ему силы, так долго и безрассудно расточаемой: энергия быстро падала, сменяясь апатией и желчной раздражительностью, которой не было ни видимой причины, ни исхода; изменяло и здоровье в свою очередь, красота блекла. И тяжело было ему видеть быструю утрату тех преимуществ, которые давали ему первенство в кругу, где он жил. В этом кругу стали появляться новые светила, на стороне которых была и молодость, и красота, и энергия, еще не растроченная, и богатство, которого только внешние признаки остались у Тавровского. Всего сильнее убивала его потеря красоты, которою он славился и которая доставила ему столько завидных успехов у женщин. По целым часам сидел он у своего портрета или бюста, сделанных с него в цветущую пору молодости, и с горькой усмешкой сознавался, что он уже не тот. И дошел он до того, что стал красить свои усы и бакенбарды, а потом и волосы на голове, в которых начала уже пробиваться седина. Потом он стал румяниться и в странном ослеплении не замечал, что делается сказкой города. Когда, нарумянившись и подкрасив волосы, являлся он в публику, все невольно перешептывались, и самоуверенные манеры утонченного денди, которые прежде так шли к нему, теперь срывали невольную улыбку. Так жил он, возбуждая удивление одних, насмешку других, презрение третьих. Случайно или по расчету спустился он в круг, ступенью ниже того, к которому принадлежал, и в том новом кругу, как бывшее светило более блестящего круга, играл некоторое время первую роль: его носили чуть не на руках. Но и там нашлись люди, которые стали посматривать на него насмешливо и замечать ненатуральный блеск его щек. Он опять переменял общество, и так менял их часто, всегда стараясь окружать себя такими людьми, между которыми мог бы играть первую роль. Самолюбие некогда блестящего льва, возбуждавшего всеобщую зависть, не могло в нем угомониться, а внутренняя пустота отнимала всякую возможность обратиться к чему-нибудь другому, более приличному его летам и положению. Последний период его светской жизни прошел в провинции, где он еще довольно долго и не без успеха разыгрывал свою прежнюю роль. Но и там его раскусили. Потом его видели в деревне, где проводил он время в глубокой апатии. Всё так ему надоело, по его собственным словам, что он не сделал бы шагу, чтоб заслужить благосклонность первой красавицы в свете, не лег бы пятью минутами позже в постель, если б мог в течение их выиграть пять миллионов! Однажды, когда он сидел на крыльце с приятелем, случайно заехавшим к нему в деревню, приятель спросил его:

– Скажи, пожалуйста, кто та счастливая женщина, которая пользуется теперь твоим расположением?

– Вот она! – отвечал Тавровский, указывая на сгорбленную старуху в котях и повойнике, которая в то время переходила через двор.

И он не лгал.

Смерть его была так сообразна со всей его жизнью и в то же время так ужасна, что лучше умолчать о ней.

### III

Зину постигла та же участь, как и Любскую: она постарела, вышла замуж, только не за человека хоть когда-нибудь любимого. После смерти Натальи Кирилловны Зина еще очень долго жила в доме в качестве неизвестно кого. Но Тавровский продал дом, и Зина съехала на квартиру. Переваленко-Зацепа усердно хлопотал при переезде, принес ей крендель на новую квартиру и сказал:

– Вот, матушка, вам хлеб-соль на новоселье. Ну вот, теперь зажили сами домком. Дай бог...

– Полноте, Афанасий Кузьмич, – отвечала Зина, – вы знаете, что я не могу долго жить на квартире: какие мои средства! Что за деньги оставила мне Наталья Кирилловна за все мои жертвы, заботы и слезы! Нет! я опять пойду в дом – мне предлагали уже – к одной очень почтенной вдове в компаньонки. Я уж, верно, и умру в чужом доме!

– Отчего же вы, матушка-сударыня, замуж нейдете? Известно, что честной девушке, да с таким добрым сердцем, как ваше, тяжеленько жить по чужим домам.

– Да! вы сами знаете, Афанасий Кузьмич, какова была моя жизнь.

– Как же-с, как же-с; я вот сам тоже-с до сих пор бьюсь как рыба об лед, – куда в какой нужде! А тружусь, как другие, еще и побольше; ни днем ни ночью покоя не знаю... да что толку! всё оттого, матушка-сударыня, Зиновья Михайловна, что правду-то больно мы с вами любим, честно ведем себя, добротой сердечной бог с излишком наградил нас. Чай, с голыми руками оставили дом-то Натальи Кирилловны?

– Помилуйте! я и так рада, что еще вырвалась... Ольга Петровна таких вещей наговорила обо мне...

– Ну вот и я тоже... Чем вознаградились наши добродетели! – заметил Переваленко. – Больно подумать!

Зина жалобно продолжала, тяжело вздохнув:

– Ну да бог с ними! я столько терпела от людей, что привыкла всё прощать им.

– Христианская обязанность, матушка! да-с! Я вот гляжу на вашу квартиру да себе и думаю, – извините простого человека, – и думаю себе, чего недостает вам в ней...

– чего, Афанасий Кузьмич? – наивно спросила Зина.

– Да вещи видной, матушка.

– И, полноте! ну где мне покупки делать? с моими ли средствами?

– Да вы можете не тратя денег приобрести...

– Да как же?.. И чего же недостает? – говорила Зина, оглядывая комнату и в то же время стараясь скрыть лукавую улыбку.

Переваленко-Зацепа отвечал не менее лукаво:

– Да недостает... муженька! да-с, муженька! и муженька солидного!

– Мужа?! – как бы удивленная, воскликнула Зина и с грустью прибавила: – Да кто захочет взять бедную девушку?

– Найдутся! отчего же? есть люди разумные: не смотрят на приданое, а смотрят на характер да доброту сердца. Да, например, вот я про себя скажу. Ведь я не стар, ну и не нищий, кое-что имею.

Зина засмеялась и сказала:

– Уж не вы ли хотите за меня свататься?

– А почему же и нет-с?

Зина молчала, потупив глаза.

Переваленко-Зацепа продолжал:

– Я человек простой, невзрачный, может быть, – да душа добрая, и уж как люблю правду! вот мои прегрешения. Деньги есть! Бог даст, прибавлю и еще. Не велика важность, что Павлу Сергеичу понаушничали, так раскудахтался и выгнал!

– Да и нечего жалеть: весь разорился! – заметила Зина.

– Найдём место! есть люди, которые любят честность да прямоту. А хоть и не найду, так сможем прожить, и без нужды, с семейством. А ну-ка, Зиновья Михайловна, вы девушка уж немолодая и...

Переваленко-Зацепа заикнулся: так смутил его взгляд Зины, которая сердито сказала:

– И небедная! Я могу себе найти жениха и через пять лет! С моими деньгами молодой возьмет, да еще из благородных.

– Ну-ну-ну... и раскудахтались. Я ведь так сказал, по глупой своей простоте. Ну что нам турусы на колесах плести! напрямик, матушка-сударыня, лучше. Сколько у вас денег?

– А у вас?

Теперь они стали хвастать друг перед другом своими богатствами, как недавно хвалились взаимною ницетою – плодом добродетельного образа жизни. И оказалось, что добродетель их вознаградилась совсем не так плохо, как говорили они сначала.

– Я, Зиновья Михайловна, уважаю вас за прямоту, – сказал в заключение Переваленко-Зацепа.

– И я вас, Афанасий Кузьмич, за то же, – отвечала Зина.

И оба они лукаво улыбались.

– Ну что ж, матушка! – сказал изгнанный управляющий. – Угодно быть моей хозяйшкой – милости просим! не угодно – плакать не станем: найдем! ей-богу, найдем!

Зина, подумав несколько дней, согласилась вступить в брак с Зацепой, который, очевидно, горел нетерпением принять в свое распоряжение «крохи», вынесенные Зиной из дому Натальи Кирилловны, как выражалась Зина. Эти «крохи» состояли из весьма порядочной суммы денег, брильянтов, серебряных сервизов, белья, даже из хрупких вещей, как-то: хрусталя и фарфора. Но Переваленко жестоко ошибся в расчете: Зина, после долгого стеснения в доме Натальи Кирилловны, вырвавшись на свободу, походила на дикую лошадь, которая не терпит узды. Она не только не отдала своих «крох» мужу, но даже забрала его самого в руки, а с ним и «крохи», которые он успел скопить во время управления имением Тавровского. Зина оправдывала свои действия тем, что она же доставила ему случай собрать их, что было действительно справедливо, ибо место управляющего Зацепа получил у Тавровского через нее. С Зиной случилось странное превращение. Она во что бы то ни стало хотела разыграть в жизни роль Натальи Кирилловны, почему и набрала в квартиру свою приживалок; и если муж замечал ей о расходах, несообразных с их состоянием, она кричала:

– Я привыкла жить по-барски! я воспитывалась в барском доме!

И, вероятно вследствие своего барского воспитания, она целые дни проводила то в лакейской, то в девичьей, то в кухне, читая своей прислуге наставления вроде следующего:

– Я вас выучу, как отвечать барыне! я вас заставлю глядеть весело, а не хмуриться! Вас пой, корми, одевай, а вы чувствуете ли? а? Сапоги недавно вам купила, а чувствуете ли вы? С вами надо поступать иначе!

Зина часто служила сама у себя за столом, чтоб примером своим сообщить наемному слуге лоск барского лакея. И странно было видеть ее, как она вела под руку своего лакея через залу, показывая ему, как он должен поддерживать ее при входе на лестницу. Она учила его, между прочим, прилично улыбаться, а также и своих горничных.

Она имела большой круг знакомых, которым без разбора придавала чин не менее генеральского, – даже кучеру своему приказывала отвечать, если спросят, чей экипаж: «Генеральши Переваленко-Зацены». Она требовала, чтоб Афанасий Кузьмич поступил служить, и уже заранее грозилась, что будет жаловаться на него его начальнику; но если б Переваленко и удалось попасть в службу, то до генерала было бы ему очень, очень далеко. Нужно заметить, что Зацепа сначала принял было крутые меры к обузданию своевольтства Зины, но она умела ловко защищаться своими острыми зубами и другими средствами. Раз она ранила себе руку и так громко кричала, прося помощи, что мог сбегаться весь дом. Такие средства защиты совершенно обезоруживали Переваленко-Зацепу, и он спешил обещаниями и ласками купить примирение. К тому же Зина была удивительно сведуща в делах и хранила

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a несколько документов, найденных ею в тех счастливых процессах, о которых хлопотал Переваленко. Несчастный супруг сделался тише воды, ниже травы, и Зина делала что хотела...

Ольга Петровна часто навещала Зину и усердно лестила ей, что, впрочем, не мешало старой приживалке рассказывать знакомым и незнакомым разные домашние тайны Зины, как настоящие, так и прошедшие. Ольга Петровна жила в одном многочисленном и благородном, но бедном семействе, плату получала малую, вовсе несообразную с количеством раздора, который посеяла не только между членами семейства, но даже и между прислугой. Остальные приживалки Натальи Кирилловны разместились по разным углам Петербурга, обивая пороги у добрых людей, которые имеют привычку раздавать сколько-нибудь бедным...

Приживалка с мутными глазами (она же и с зобом) занимала угол в кухне какой-то мещанки, которой постоянно рассказывала о том, как ее все любят, как Зюзины приглашали ее на зиму погостить в Яковку, потому что надо было присмотреть за пустым домом, как она жила и была всеми любима в доме у Натальи Кирилловны, которая любила ее, как сестру, «и (заклучала приживалка) если б не злые люди, то я теперь была бы в совершенстве счастлива!» Она часто бегала к Зине, перешивала ей что-нибудь, гадала, лестила, хвалила всё, что у ней видела.

– Ах, Зиновья Михайловна! я как приду к вам, ну точь-в-точь как будто я опять у нашей благодетельницы в доме. Всё-то у вас по-барски, можно сказать, в совершенстве вы живете, как вельможа!

За такие панегирики приживалки Зина поила ее кофеем и очень редко дарила ей старые свои обноски, никуда не годные, так что приживалка с мутными глазами, встречаясь с Ольгой Петровной, жаловалась на неблагодарность Зины и рассказывала сокровенные тайны ее.

– И что он-то, дурак, не видит, что ли, что его добро-то по чужим рукам ходит! – говорила Ольга Петровна.

– Можно сказать, что просто жалости смотреть, как она сорит деньгами. Да вот что еще: вещи-то нашей Натальи Кирилловны все у Петра! Право, он теперь так нос поднял, что намерднись встретил меня – я ему низко поклонилась, а он, этакой холоп, отвернулся. Да со мной и не такие лица кланяются, а у Зюзиных генерал был, так целковый дал. А этот деревенщина! ведь я помню, как его привезли в нагольном тулупе, – с позволения сказать, насилиу в бане его отмыли. А теперь нос воротит!

Трудно передать как силу гнева, так и лести приживалки с мутными глазами. Она также упражнялась в гадании, являлась в дома, знакомые ей еще через Наталью Кирилловну; поздравляла с большими праздниками, с именинами, принеся крендель и плачевно упомянув, что он куплен на последние деньги, и в каждом семействе непременно говорила, что у ней только они и есть одни благодетели, что она ими только и живет и, кабы не их доброта, она умерла бы с голоду.

Говоря о приживалках, должно сказать несколько слов об Остроухове. С приездом в Петербург он покончил свое сценическое поприще. Он постоянно собирался уехать из Петербурга, но каждый день вместо дальней дороги в NNN отправлялся в ближайший трактир, где, в облаках табачного дыма, при сильном кухонном запахе, с жаром декламировал стихи, даже целые сцены из своих ролей, уцелевшие в его памяти. Он превратился тоже в приживалку или приживальщика в своем роде, и приютом его был трактир. Посетители знали его, кормили, даже давали ему свои старые платья, и часто Остроухов среди самых жестоких морозов являлся в трактир в летних брюках, светлом галстухе и в каком-нибудь летнем пальто, почему и умолял буфетчика дать ему погреться. Он приходил в трактир рано утром и сидел в нем до тех пор, как гасили последнюю лампу. Если в трактире никого не было, он спал на диване и не обижался грубыми выходками лакеев, стараясь шутками и гримасами обезоруживать их гнев. Так шли годы. Остроухов, казалось, не замечал течения времени, – может быть, потому, что дни его текли слишком однообразно. Та же нищета, то же унижение и всё одна и та же неумолимая тоска. Когда случалось, что посетители слишком щедро угощали его за интересные рассказы о жизни кочующих актеров, он совершенно переносился в прошедшее и, по выходе из трактира, горячо размахивая руками, рассуждая сам с собой о Любской и Мечиславском. И, воображая себя в NNN, он искал своей квартиры, вследствие чего проводил ночь на улице или в будке.



#### IV

Бедная Люба была последнею жертвою страшного озера, которое суеверный народ окружил чудными рассказами и прозвал Мертвым. Нет уже опасных болот, которые делали недоступными его берега; огромный лес, которого часть превращена теперь в красивый парк, лишился своей мрачности; нет более и нелепых таинственных слухов о мертвецах, водяных и привидениях, – слухов, волновавших еще недавно воображение окрестных жителей. Озеро лишилось своей пугающей таинственности и только по преданию удержало свое мрачное название. Рыбак смело строит жилище поблизости его и спокойно закидывает сети в глубокие воды озера в твердой надежде хорошей добычи; охотник, преследуя дичь, без страха доходит до самой окраины его. Так же бесстрашно бродит он по лесу, стреляя зайцев и лосей. Окрестность переменяла характер: нет уже той угрюмой безжизненности, которая прежде подавляла путника, случайно сюда заходившего. Всё кипит кругом постоянной и ровной деятельностью, и долгое пренебрежение, которое оказывал человек сокровищам, таившимся в глубине озера и леса, послужило ему же в пользу: нигде труд рыбака и охотника не вознаграждается так щедро, как здесь...

Кто же виновник такой перемены?

Приняв в свое владение деревню Любы, купленную Тавровским, Гриша передал ее в управление своему тестю.

И тут–то развернулись в полном блеске хозяйственные способности нашего старого друга. Он осушил болота около озера, окопал их канавами, нарушил неприступность леса, прорубив в нем широкие просеки и собственным примером показав, что в нем, как и во всяком другом лесу, можно охотиться, запастись дровами, рубить строевые деревья, собирать грибы. Часть леса, прилегавшую к господскому дому, управляющий искусно превратил в парк с извилистыми бесконечными дорожками.

Самый дом подвергся переделкам, с помощью которых лишился своего мрачного вида и приобрел удобства, необходимые в сельском быту. Большую часть его комнат занимал Гриша с своей молодой женой. Остальные отведены были управляющему. Уже одна наружность дома говорила, что в нем жилось весело. И действительно было так.

Только люди, долго терпевшие нужду и много выстрадавшие, могут оценить прелесть своего скромного, уединенного уголка, богатого красотами природы, спокойствием и независимостью.

Гриша много страдал, потратив лучшие годы в недобровольном бездействии и самой нелепой зависимости. Иван Софроньич имел в долгой жизни своей уж слишком много деятельности и потерпел много горя, часть которого досталась и Насте...

Понятно, что, очутившись наконец в независимом и обеспеченном положении, они дали друг другу слово никогда не расставаться, не гоняться за многим, довольствуясь тем, что есть, и жить постоянно в деревне. После различных своих приключений к городу, каков бы он ни был, они вообще не чувствовали большого расположения.

Решившись жить постоянно в деревне, они позаботились окружить свою жизнь всевозможными удобствами. И распоряжения их могут служить образцом умения разнообразить сельскую жизнь, умно пользуясь всем, что представляет природа, климатические перемены и местные условия. Начиная с устройства и меблировки комнат до экипажей, в которых они делали свои прогулки, – всё было удивительно приспособлено к действительным потребностям; у них были не великолепные, но кроткие и красивые верховые лошади, лучшие принадлежности охоты, рыбной ловли; они прекрасно знали, что в какую пору года должно ловить, стрелять или собирать, и пользовались своим знанием, а не валялись в апатии целые дни по диванам, как делают некоторые господа, имеющие привычку переносить в деревню городские требования и удивляющиеся, что им в ней скучно. Но наши друзья, можно сказать положительно, и не думали скучать в деревне. И если кто попадал к ним и принимал участие в их развлечениях, тот невольно сознавался, что невозможно проводить время приятнее. К таким, между прочим, принадлежал Генрих Кнаббе, который иногда навещал их с своей женой. Женой Генриха была Саша – та самая, которой он когда–то помог поднять корзинку дров. Кстати должно сказать, что отец Саши, обиженный своими соучастниками, открыл мошенников, похитивших у Генриха деньги, и некоторая часть их была возвращена ему.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Генрих был главным приказчиком у Штукенберга и не без волнения подумывал о том  
счастливого времени, когда в Петербурге появится новое торговое заведение с  
вывеской: «Табачная и сигарная фабрика Генриха Кнаббе».

Да сбудется его скромное желание!

#### Комментарии

Печатается по тексту первой публикации, с исправлением явных опечаток: с. 298, строка 18: «почтенные приживалки» вместо «почетные приживалки»; с. 323, строка 39: «с <кредиторами>» вместо «с должниками»; с. 427, строка 38: «огорчить ее» вместо «очернить ее».

Впервые опубликовано: С, 1851, № 1 (ценз. разр. – 31 дек. 1850 г.), с. 5–114; № 2 (ценз. разр. – 13 февр. 1851 г.), с. 141–247; № 3 (ценз. разр. – 28 февр. 1851 г.), с. 81–120; № 4 (ценз. разр. – 2 апр. 1851 г.), с. 143–202; № 5 (ценз. разр. – 30 апр. 1851 г.), с. 33–88; № 6 (ценз. разр. – 3 июня 1851 г.), с. 137–182; № 7 (ценз. разр. – 30 июня 1851 г.), с. 121–216; № 8 (ценз. разр. – 8 авг. 1851 г.), с. 217–322; № 9 (ценз. разр. – 31 авг. 1851 г.), с. 93–200; № 10 (ценз. разр. – 4 окт. 1851 г.), с. 201–248, с подзаголовком: «Роман» и подписями: «Н. Станицкий и Н. А. Некрасов» (перепечатано отдельным изданием: Станицкий Н. и Некрасов Н. Мертвое озеро. Роман, т. I, ч. 1–5; т. II, ч. 6–10; т. III, ч. 11–15 (ценз. разр. – 6 нояб. 1851 г.). СПб., 1852).

В собрание сочинений впервые включено: ПСС, т. VIII.

Автограф не найден.

#### 1

Замысел «Мертвого озера» может быть датирован лишь приблизительно – по объявлению в ноябрьской книжке «Современника» за 1848 г., в котором сообщалось о том, что, наряду с другими произведениями, в следующем году в журнале будет напечатан роман Н. Некрасова и Н. Станицкого «Озеро смерти» (см.: С, 1848, № 11, с. 7 особой пагинации; ПСС, т. XII, с. 128–129).

Месяцем ранее, в октябре 1848 г., в «Современнике» началась публикация романа «Три страны света», принадлежавшего тем же авторам. Объявляя о новом большом романе не менее, чем за полгода до его возможного появления в печати, авторы рассчитывали на повышенный читательский интерес к произведениям этого жанра.

В названном выше объявлении «Современника» было сказано, что «Озеро смерти» уже поступило в редакцию. Не исключается, что в последние месяцы 1848 г. было написано начало романа. «Боже мой, как легко стало, – вспоминает Панаева, – когда мы закончили «Три страны света». Но Некрасов тотчас же уговорил меня писать новый роман «Мертвое озеро» (Панаева, с. 176). Некрасов, по-видимому, предполагал печатать «Озеро смерти» с осени следующего года (январская–майская книжки журнала за 1849 г. были предназначены для «Трех стран света») и при этом хотел представить в цензуру законченный текст романа, как это было и с «Тремя странами света» (см.: наст. изд., IX, кн. 2, с. 310). Для того чтобы завершить работу к лету, нужно было начать ее не позднее, чем в конце 1848 г.

В 1849 г., однако, работа едва ли была возобновлена. Издание «Современника» наталкивалось на все возрастающие трудности, отражавшиеся и на судьбе романа: «...журналы по некоторым причинам, – писал Некрасов Тургеневу 27 марта того же года, намекая на запреты цензуры, – стали скучны и пошлы до крайности». Может быть, по этой причине Некрасов стал меньше работать. Его образ жизни переменился. «Все люди дивятся перемене его», – писала А. Я. Панаева М. Л. Огаревой 15 марта 1849 г., сообщая о том, что Некрасов редко бывает дома (Черняк, с. 368). Некрасов не видел обнадеживающих перспектив в издании «Современника» и предполагал приобрести «Литературную газету» или «Иллюстрацию» (см. письмо его к Н. М. Сатину от 8 апреля 1849 г.).

Угнетающе подействовал на Некрасова арест М. В. Петрашевского и членов его кружка в конце апреля 1849 г. Среди арестованных и близких к ним лиц многие были причастны к литературе. «Уныние и тревога царили в редакции, – вспоминает Панаева. – Как издатель «Современника», так и его сотрудники опустили голову. Прежних оживленных споров и разговоров более не слышалось. Гости не собирались на обеды и ужины» (Панаева, с. 376).

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a

В начале лета 1849 г. Некрасов уехал из Петербурга. Еще в апреле он знал, что ему предстоит поездка в Москву (см.: ПСС, т. X, с. 130). Началось «огаревское дело», в котором Некрасов – совместно с Панаевой – выступал на стороне М. Л. Огаревой, предъявившей иск своему мужу. В июле Некрасов находился в Москве, где вел переговоры с Т. Н. Грановским, [10] доверенным лицом Н. П. Огарева, и в том же месяце, как сообщает Панаева, «уехал в деревню к себе» (Черняк, с. 379), т. е. в одно из имений отца; в Петербург он возвратился не ранее, чем в конце лета.

Осень 1849 г. оказалась еще менее благоприятной для писания «Озера смерти». Запущенные дела по журналу потребовали от Некрасова срочной и напряженной работы, преимущественно редакторской, но иногда и авторской: рассказ «Психологическая задача» и рецензия на «Холостяка» Тургенева для ноябрьской книжки за 1849 г. и статья «Русские второстепенные поэты» для январской книжки за 1850 г.

В октябре редакция «Современника» стала жертвой придирки со стороны негласного Комитета 2 апреля (так называемого Бутурлинского), осуществлявшего надзор над цензурой. Председатель комитета Н. Н. Анненков усмотрел в октябрьской книжке журнала колкий намек на деятельность комитета. Намек был замечен в рецензии, где по поводу книги С. Н. Смараглова «Руководство к средней истории для женских учебных заведений» (СПб., 1849) говорилось о распространившейся в настоящее время в России эпидемии «книгоненавидения» (С, 1849, № 10, отд. III, с. 87). Император утвердил заключение комитета и приказал объявить издателю и редактору «Современника» предупреждение, что и было исполнено 1 ноября шефом жандармов графом А. Ф. Орловым [11]. Перед этим Некрасову и И. И. Панаеву за помещение этой же рецензии был объявлен выговор от товарища министра народного просвещения. Тогда же министр народного просвещения князь П. А. Ширинский-Шихматов получил из комитета 2 апреля рекомендацию объявить выговор тем же лицам за публикацию в февральской книжке «Современника» за 1849 г. рецензии на книгу Е. С. Македонского «Очерк всеобщей истории для начинающих...» (СПб., 1848), содержащей «похвалы таким идеям, которые, напротив, в понятиях чистой нравственности должны бы вызвать одно строгое порицание». [12]

Крайне суровый приговор петрашевцам, объявленный в конце декабря 1849 г., хотя и был смягчен императором, усугубил тяжелое впечатление, произведенное на руководителей «Современника» вызовом в III Отделение. «В квартире очень испуганного Некрасова» (Анненков, с. 520) особенно тщательно отбирались и обрабатывались материалы для январской книжки журнала.

О занятиях и самочувствии Некрасова в конце 1849 – начале 1850 г. можно судить по его письму к Тургеневу от 9 января 1850 г.: «...1) Лихорадка <...> трясет меня каждый вечер вот уже с лишком месяца; 2) глазная боль, от которой только недавно избавился несколько; 3) невероятное, поистине обременительное и для крепкого человека, количество работы – чстью Вас уверяю, что я, чтоб составить 1-ю книжку, прочел до 800 писанных листов разных статей, прочел 60-т корректурных листов (из них пошло в дело только 35-ть), два раза переделывал один роман (не мой), раз в рукописи и другой раз в наборе, переделывал еще несколько статей в корректурах, наконец, написал полсотни писем, был каждый день, кроме лихорадки, болен еще злостью, разлитием желчи и проч. Кроме физических недугов, и состояние моего духа гнусно, к чему есть много причин <...>. Редко и со двора выходил...». Среди корректур январского номера едва ли было «Озеро смерти».

К середине января Некрасову стало легче. Его жизнь вошла в прежнюю колею (см. письмо Панаевой к М. Л. Огаревой от 24 февраля 1850 г. – Черняк, с. 489). Но к весне редакторская и авторская нагрузка Некрасова постепенно начала возрастать и вскоре вновь стала максимальной. К апрельской книжке Некрасов пишет рассказ «Новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и Ко». С мая все тяготы по ведению «Современника» ложатся целиком на него, в связи с отъездом в деревню до сентября редактора журнала И. И. Панаева.

Планы и обстоятельства жизни Панаевой в 1849–1850 гг. также не оставляли достаточно времени для работы над «Озером смерти». В конце 1848 г., вместе с объявлением о предстоящей публикации в следующем году «Озера смерти», был анонсирован и роман Н. Н. Станицкого «Актриса». Трудно предположить, что Панаева могла работать одновременно над двумя большими произведениями. Первое полугодие 1849 г. преимущественно было посвящено, по-видимому, «Актрисе». Рассказ Панаевой «Жена часового мастера», опубликованный в «Современнике» в феврале 1849 г., скорее всего был написан в конце прошедшего года. К лету 1849 г. Панаева

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a собиралась уехать в новгородскую деревню, в глухие места, где двоюродные братья ее мужа В. А. и И. А. Панаевы участвовали в постройке железной дороги (см.: Черняк, с. 368, 375). Поездка, однако, не состоялась: в июле Панаева тяжело заболела (там же, с. 379, 382, 383, 385, 392). Роман «Актриса» в печати не появился. Его заменили повесть «Пасека» (С, 1849, № 11), с обещанием продолжения, и рассказ «Необдуманный шаг» (С, 1850, № 1).

Для Панаевой участие в «Современнике», где за каждую печатную страницу платили до двух рублей серебром (см.: ПСС, т. X, с. 131), было существенным источником заработка. Но в наступившем 1850 г. ей пришлось на долгое время прекратить литературную деятельность: «...к несчастью, – писала она М. Л. Огаревой 24 февраля, – при моих малых средств я должна была оставить работу...» (Черняк, с. 490). Несостоявшееся материнство потребовало длительного отдыха и лечения. В мае 1850 г. Панаева уехала за границу и возвратилась лишь в сентябре.

Тем не менее в начале 1850 г. «Современник» вновь известил о предстоящей публикации «Озера смерти». В январской книжке, прошедшей через цензуру 31 декабря 1849 г., должны были появиться, но по недостатку места были перенесены на февраль (см.: С, 1850, № 1, обложка, с. 3) «Современные заметки», в которых под рубрикой «Литературные новости» сообщалось о том, что «авторы «Трех стран света» написали уже несколько частей нового своего романа «Озеро смерти»» (С, 1850, № 2, отд. VI, с. 103). Однако уже 9 января, в объявлении об издании «Современника» на 1850 г., было пояснено, что печатание обещанного романа откладывается с тем, чтобы дать место новому произведению Евгении Тур (экземпляр объявления см.: ГБЛ, ф. 233, карт. 75, д. 24). В марте это извещение было повторено (МВ, 1850, 16 марта, № 32; сообщено Б. В. Мельгуновым).

Лишь к исходу 1850 г. авторы решаются сообщить, что «роман Н. Н. Станицкого и Н. А. Некрасова» (заглавие романа в объявлении не названо) будет печататься в следующем году «с первой же книжки» (С. 1850, № 12, отд. VI, с. 267; ПСС, т. XII, с. 160).

Роман, появившийся в январской книжке под измененным заглавием «Мертвое озеро», печатался в 1851 г. без перерывов – по октябрьскую книжку включительно.

В конце января 1851 г. в письме к М. Л. Огаревой Панаева сообщала: «...больше сижу в своей комнате и работаю. <...>. Некрасов работает, как обыкновенно. Ив. Ив. <Панаев> выезжает в большой свет. К князьям Юсуповым да графам» (Черняк, с. 509). На Некрасова, как и ранее, ложилась главная тяжесть работы по ведению «Современника».

В первом полугодии 1851 г., начиная с январской книжки, запоздавшей с выходом в свет из-за болезни Некрасова (см.: ПСС, т. X, с. 164–165), сроки выхода очередных номеров журнала выдерживались с трудом (своевременно вышли лишь мартовская и майская книжки). Это сказалось и на ходе работы над «Мертвым озером».

В январской-февральской книжках журнала, куда вошли части первая-четвертая романа, текст помещался большими фрагментами, приблизительно по шесть с половиной печатных листов в каждой книжке. К началу печатания романа авторы, по-видимому, располагали каким-то готовым объемом текста. В дальнейшем «задел» был исчерпан, и нужно было при любых обстоятельствах ежемесячно создавать новый текст. В мартовскую-июньскую книжки журнала (части пятая-восьмая романа) текст поступал в меньшем объеме – в среднем по три печатных листа в каждой книжке.

Короткие промежутки времени для писания – между смежными журнальными книжками – были, однако, преодолимым препятствием, по крайней мере для одного из соавторов – Некрасова, владевшего навыками скорописания. Так, предлагая Григоровичу написать небольшую повесть для «Современника», Некрасов убеждал его, что работа займет не более, чем неделю (см.: ПСС, т. X, с. 169).

Стремительный график издания вынуждал печатать текст в первоизданном виде, без повторного обращения к написанному. Торопливая небрежность в работе, принимавшей характер импровизации и исключавшей черновика, привела, например, к тому, что в главе XXVI части пятой, публиковавшейся в мартовской книжке, искусственно завершилась сюжетная линия учителя музыки Эдуарда Карлыча. В главе выведен слепой музыкант, нахлебник в актерской семье, оказывающийся неожиданно Эдуардом Карлычем. Выясняется, что Петруша, приемный, переданный при загадочных

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a обстоятельствах его ученице Настасье Андреевне (главы II и III части первой), был его сыном. Когда и на ком женился Эдуард Карлыч, в которого некогда была влюблена его ученица, разлученная с ним насильственно; почему он должен был расстаться с трехлетним Петрушей, сделавшимся любимцем Настасьи Андреевны; когда он ослеп и почему обнищал, не сообщается ни в главе XXVI, ни в последующем тексте романа.

В апреле 1851 г. цензура потребовала от авторов разъяснить заглавие романа (см.: Некр. сб., II, с. 447–449; подробнее об этом см. ниже.). Фрагменты из авторского «Объяснения, заглавия романа «Мертвое озеро»» текстуально близки отрывкам главы XLII части восьмой, помещенной в июньской книжке и прошедшей цензуру в мае, и эпилога, прошедшего цензуру в сентябре и опубликованного в следующем месяце, но полного тождества между ними не наблюдается. Помещик Булатов («Объяснение заглавия...») именуется в романе Куратов (глава XLII). В эпилоге имение Любы достается Грише от Тавровского, а не от Натальи Кирилловны. Эти и ряд других перемен указывают на то, что текст «Объяснения заглавия...» не был цитатой из ранее подготовленных фрагментов романа, а, напротив, был вставлен в создававшийся текст и подвергся правке в процессе писания в мае.

Подготовив июньскую книжку, Некрасов позволил себе короткий отдых. Позже, объясняя в письме к Д. В. Григоровичу от 17 июля 1851 г. причину своего двухмесячного молчания, он писал: «...или был очень занят, или предавался бездействию (на даче первое время)...». Панаева, находившаяся на той же даче, в это время энергично трудилась, по-своему объясняя необходимость усердного писания в письме к Огаревой от 6 июня: «...работаю очень много [13], потому что расходы на чистом воздухе увеличиваются, как и аппетит всех домашних» (Черняк, с. 516).

В июльской–сентябрьской книжках, где были помещены части девятая–четырнадцатая романа, текст снова печатался большими фрагментами, по шесть–семь печатных листов в каждой книжке.

В июне, когда подготавливался к печати большой фрагмент для июльской книжки, включавший части девятую и десятую, недостаток времени для писания снова привел к сюжетным зияниям. О Кате, отданной в театральную школу (главы XIII и XVIII части третьей), в главе XLIV неожиданно сообщалось, что она, прослужив некоторое время на сцене, умерла, оставив матери–прачке двух детей, прижитых вне брака. Неожиданным образом оборвалась и другая сюжетная линия: влюбленный в Аню Петруша, один из главных героев двух первых частей романа, в дальнейшем полностью выпал из повествования – до эпилога, где этот герой выступает в изменившемся до неузнаваемости виде и играет чисто служебную роль в завершении фабулы.

Некрасов мог бы печатать роман небольшими фрагментами. В этом случае публикация протянулась бы до конца года. И если с июльской книжки объем ежемесячных фрагментов удвоился, а параллельно печатались и другие беллетристические произведения, составлявшие определенный резерв, то это, по-видимому, указывало на стремление закончить роман печатанием к осени, к началу подписки на следующий год.

Одновременно с появлением в печати последней части романа и эпилога весь ранее вышедший текст был повторно направлен к цензору. Сопроводительная записка Некрасова, датированная 19 октября 1851 г., заключала в себе просьбу «возвратить поскорее» присланный текст с резолюцией о разрешении опубликовать его отдельным изданием (см.: ПСС, т. XII, с. 42). Однако печатавшийся в журнале под наблюдением А. Л. Крылова роман пролежал у цензора более двух недель, до 6 ноября, а поступил в продажу, судя по объявлениям в газетах, лишь в начале следующего года (см.: СП, 1852, 9 янв., № 7).

Отдельное издание романа печаталось по журнальным матрицам, без исправления опечаток и механических дефектов набора.

Спрос на роман, поступивший в продажу вслед за вторым отдельным изданием «Трех стран света», был невелик. Последние объявления о продаже книги относятся к 1862 г. (см.: СП, 1862, 8 сент., № 242) (сообщено М. Г. Логиновой).

2

Цензурное вмешательство в текст романа не зарегистрировано.

Публикация «Мертвого озера» пришлось на двадцать пятую годовщину царствования императора Николая. По воспоминаниям П. В. Анненкова, в это время по отношению к печати «правительство <...> было умеренно; первый страх потрясения прошел и возобновлять опять истории осуждений en masse <повсеместно> не было ни у кого охоты, особенно не было этой охоты – надо отдать ему справедливость – у графа Орлова» (Анненков, с. 530).

Некоторое временное смягчение мер по надзору за прессой проявилось, в частности, в том, что председатель Комитета 2 апреля статс-секретарь М. А. Корф, сменивший на этом посту Н. Н. Анненкова, отклонил донесение о неблагонадежности Некрасова и Станицкого, авторов романа «Три страны света» (см.: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 317). Резолюция Корфа относится к началу 1851 г., т. е. ко времени появления в печати первых частей «Мертвого озера».

Вопреки цензурным порядкам от Некрасова и Панаевой не потребовали проспекта публикуемого романа, как это было с «Тремя странами света» в 1848 г. (см.: ПСС, т. XII, с. 40–41). Цензор Крылов, очевидно, удовлетворился устными разъяснениями.

Дорожа благосклонностью цензора, наблюдавшего за «Современником» с мая 1848 г., Некрасов стремился расположить его в свою пользу, действуя на его личные слабости. Крылов был гостем на редакционных обедах по случаю выхода очередных номеров журнала. Один из таких обедов был дан в январе 1851 г., когда вышла в свет январская книжка, где были опубликованы и первые части «Мертвого озера»: «...будет почтеннейший Александр Лукич, коего мы так привыкли уважать», – сообщил Некрасов В. П. Гаевскому 20 января, иронически намекая на истинную причину предупредительности к Крылову.

Авторам «Мертвого озера» лишь однажды, в апреле 1851 г., пришлось давать объяснения в С.-Петербургском цензурном комитете в связи с тем, что цензор Крылов не располагал проспектом романа. Причиной вмешательства Комитета явилось то обстоятельство, что роман после выхода его первых шести частей не отвечал своему заглавию (см. выше.). Ничто не указывает на то, что неизвестное продолжение романа, в сочетании с его заглавием, было источником политических опасений. С чьей инициативой было связано вмешательство Комитета, остается невыясненным. Но можно предположить, что в этом эпизоде отразился массовый интерес, возбужденный заглавием романа. По свидетельству Ап. Григорьева, относящемуся, как и «Объяснение заглавия...», к апрелю 1851 г., «многие из читателей романа с нетерпением ожидают появления его главного героя, т. е. самого Мертвого озера, и беспрестанно спрашивают, будет ли оно наконец» (М, 1851, № 7, с. 419).

Представленное в цензуру «Объяснение заглавия...» было формальным и не могло быть иным. Авторы описали мрачное озеро, у берегов которого погибали и люди, и скот, и предупредили цензуру о том, что в эпилоге окрестности озера вследствие энергичной хозяйственной деятельности благонамеренных героев романа предстанут в преображенном виде.

Отсутствие замечаний о «Мертвом озере» в документах цензурного ведомства само по себе еще не означает, что текст романа остался нетронутым. Едва ли Крылов, употреблявший «весь ум на ослабление выражений писателя, называя это «кровопусканьем от удара»» (Анненков, с. 522), обошелся без замечаний. Некрасов, по-видимому, «ослаблял» выражения, а может быть, делал купюры и вставки по пометам Крылова на корректурах, не доводя дела до Цензурного комитета.

3

«Верите ли, – писал Некрасов Тургеневу 15 сентября 1851 г., – что на XI книжку у нас нет ни строки: ничего – ибо даже и «Мертвое озеро» иссякло». В течение десяти месяцев «Мертвое озеро» обеспечивало журнал литературным материалом, отвечавшим требованиям цензуры. Вызванный к жизни критической ситуацией в издании «Современника», а соответственно и в жизненных обстоятельствах авторов, для которых издание журнала было средством существования, роман представлял собой в творческом отношении вынужденную дань моменту.

Начиная с 1848 г., после ужесточения надзора над прессой, отдел беллетристики в «Современнике» по сравнению с другими отделами испытывал наибольшие затруднения. В конце 1851 г. руководители журнала писали: «Читатели заметили, что в течение

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a <...> пяти лет журнал не был постоянно одинаков, изменяясь иногда к лучшему, иногда, по отделу словесности, к худшему, – и, вероятно, также заметили, что причины подобных перемен находились всегда в связи с самою литературою: известно, что интерес наших лучших журналов, в которых принимают участие наши таланты, зависит столько же от усилий редакции, сколько (если еще не более) от состояния литературы и степени производительности (количественной и качественной) ее деятелей в данное время» (С, 1851, № 12, с. 2 особой пагинации; ПСС, т. XII, с. 161).

Романы Некрасова и Панаевой, публиковавшиеся на страницах журнала с 1848 по 1851 г. и представлявшие собой результат непосредственных «усилий редакции», дают представление о «состоянии литературы и степени производительности (количественной и качественной) ее деятелей» в эпоху безвременья.

Несмотря на то что роман был создан во многом по внешней необходимости, его проблематика не имела принципиально приспособительного характера и в главном не расходилась с программой журнала.

«Мертвое озеро» – социальный роман, написанный под заметным влиянием идей утопического социализма.

«Биографические истории», образующие корпус романа [14], обнаженно тенденциозны. В них осуждается общественное неравенство и проповедуется трудовая мораль.

Тема общественного неравенства соединяет между собой сюжетные линии главных героев – актрисы Любской, графа Тавровского, «дикарки» Любы, отставного прапорщика, родом из крепостных, Ивана Софроныча Понизовкина, а также героев второго плана – тетки Тавровского Натальи Кирилловны, ее племянника Гриши, ее же воспитанницы Зины, фабриканта Августа Штукенберга и его приказчика Генриха Кнаббе.

Герои романа подразделяются на знатных и безродных, богатых и бедных, праздных и тружеников. Картинами жизни и исходом событий читатели приводятся к заключению, что привилегии знатности и богатства действуют разлагающе на их обладателей и приносят несчастья окружающим.

В проблематике «Мертвого озера» выделяется «женский вопрос» (см.: Евгеньев-Максимов, т. II, с. 157–158), освещаемый в тесной связи с темой общественного неравенства. История Любской насыщена эпизодами, рисующими тяжелые испытания, с которыми сталкивается одинокая девушка, не защищенная от посягательств на ее красоту и честь. Нравственному падению Любской предшествует ее вынужденное знакомство с профессиями актрисы и гувернантки, требующими образования и таланта и вместе с тем обрекающими на зависимость от нанимателей и меценатов.

Круг проблем, освещаемых в «Мертвом озере», включает в себя и социально-экономические вопросы.

В эпизодах из жизни Кирсанова, в прошлом храброго офицера, а затем помещика-домоседа, затрагивается актуальный вопрос о мелкопоместном дворянском хозяйстве. Хлопотливая деятельность Кирсанова сводится к бесполезным дешевым покупкам и ненужным постройкам и перестройкам. Патриархальное крепостное хозяйство, исконно русский помещичий быт, неотделимый от крестьянского быта, изображаются с несомненной иронией, хотя и с сочувствием к персонажу, человеку добросердечному.

С описанием жизни Кирсанова соотносится история Августа Штукенберга, петербургского фабриканта. Антипод Кирсанова, преуспевающий капиталист, Штукенберг достиг благосостояния расчетливой деятельностью. Его фабрика устроена образцово: в цехах светло, в жилых помещениях чисто, рабочие сыты, здоровы и грамотны. Но этот «фаланстер» [15], где все подчиняется производственным интересам, угнетающе действует на рабочих, крепостных крестьян на оброке. Размеренное устройство фабричного быта, поддерживаемое с помощью «унтера», напоминает военное поселение.

Противопоставленные по социальному признаку, герои романа в то же время наделены общей способностью к лучшим движениям души. Мысль о прирожденной доброте человека и заложенных в нем талантах формирует личностные характеристики почти

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a всех персонажей – в особенности Тавровского, развращенность которого одерживает трудную победу над благородством.

Принципиально значим в романе образ Ивана Софроныча Покизовкина – героя, в котором нашел выражение авторский взгляд на народный характер, взятый в его основополагающих свойствах. В Иване Софроныче соединились храбрый солдат и умелый хозяин, преданный друг и заботливый семьянин. Он тверд в упованиях на высшее благо, добр к ближним, скромен в потребностях, безусловно честен и бескорыстен в делах. В обрисовке этого персонажа прозвучал «славянофильский» мотив, сформулированный руководителями «Современника» в программе журнала в 1848 г. (см.: ПСС, т. XII, с. 121) и развитый в том же году в «Трех странах света», в характеристике Антипа Хребтова (подробнее см.: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 318–319).

Авторский идеал, другой его гранью, воплотился в образе Любы. Дочь цыганки, выросшая у берегов Мертвого озера, на лоне природы, в окружении себе подобных, Люба не испытала растлевающего воздействия сословного общества и осталась наивной «дикаркой», сохранившей прирожденную чистоту морального чувства. Этим «сценарием», проступающим и в развитии действия, и в прямом авторском комментарии, обусловлена и трагическая развязка: не выдержав вероломства Тавровского, Люба бросается в Мертвое озеро.

Еще один нравственно-философский вопрос, ставший предметом авторского внимания, – вопрос о личном счастье. «Мертвое озеро», как и «Три страны света», можно назвать романом о бессемейных. Почти все герои романа теряют родителей и живут вне семьи: Аня и Петя, взятые в дом Федора Андреича, Тавровский и Гриша, воспитывавшиеся у тетки, Люба, внебрачная дочь помещика, дочь Ивана Софроныча Настя, отданная на воспитание Наталье Кирилловне, сироты Генрих Кнаббе и Саша Отрыгина, живущие в семье Августа Штукенберга. Одиноким заканчивает свой век Тавровский. Поздно и по расчету выходит замуж Любская и, подобно Наталье Кирилловне, а также и Зине, не имеет детей. Картины сиротства и распада семьи приобретают в романе обобщающий смысл и воспринимаются как симптом глубокого общественного недуга, делающего невозможным личное счастье.

В эпилоге романа изображается идиллический семейный союз, представляемый как прообраз гармонии общественных отношений. Иван Софроныч с дочерью Настей, вышедшей замуж за Гришу, переселяется из чуждой ему столицы в усадьбу на берегу Мертвого озера и преобразует его окрестности, доселе отпугивавшие местных жителей, ко благу собственного семейства и к пользе своих соседей-крестьян. Деятельный союз просвещенного дворянина с вольным тружеником деревни символизирует соотносительный с русской действительностью идеал утопического социализма – слияние сословий в совместном труде по освоению богатств природы.

4

Действие в «Мертвом озере» происходит во второй половине 1820–конце 1840-х гг. [16]. Но авторы не руководствовались стремлением изобразить недавнее прошлое с соблюдением исторической точности. Роман соотносится непосредственно с современностью, и даже то, что написано по воспоминаниям, выступает в нем как явление современности.

Автобиографическое начало в романе выражено сравнительно слабо. По сравнению с «Тремя странами света» в «Мертвом озере» мало авторских отступлений. Лирический неперсонифицированный герой, скрыто определяющий подбор персонажей и придающий единство повествованию, почти не заметен в романе.

Текст романа вобрал и сохранил в узнаваемом виде некоторые существенные приметы быта и нравов своего времени, дающие материал для сравнения вымышленного рассказа с жизненными реалиями.

«Мертвое озеро» – один из первых в России театральных романов. Несмотря на то что театр назван в романе провинциальным, авторы прежде всего имеют в виду столичную сцену – Александрийский театр.

Роман изобилует намеками на актеров и на порядки столичной сцены. Мать Панаевой А. М. Брянская, вероятно, узнала себя в образе Орлеанской. Большое семейство, претензии на молодость и красоту, деспотическое обращение с родственниками, роли важных особ, которые исполняют жена и муж Орлеанские – премьеры труппы (глава XV части третьей) – все это факты ее биографии (см.: Панаева, с. 26; ср. также



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a автобиографическую повесть Панаевой «Семейство Тальниковых» (1848)). Созвучие фамилий (Орлеанская – Брянская) усиливает намек, хотя Орлеанский – невымышленная фамилия: под этой фамилией выступал актер и руководитель (в 1837–1840 гг.) ярославской труппы. [17]

В театральной среде, близкой к александрийской сцене, по-видимому, догадывались, что в образе сочинителя пьес, предназначенных для бенефисов, выведен покойный К. А. Бахтурин (умер в 1841 г.) (глава XIV части третьей). На это намекали и наружность героя («небольшого роста господин с опухшим лицом»; ср.: «небольшого роста, с одутловатым лицом» – Панаева, с. 61), и трескучий патриотизм его драмы, и такая биографическая подробность, как добровольный домашний арест: сочинителя запирали в комнате, лишали сапог, давали перо, бумагу и водку, кормили и не выпускали из дома до тех пор, пока не была закончена пьеса (ср. там же).

Черты некоторых актеров александрийской труппы могут быть отмечены в характере Мечиславского. Канвой для сюжетной линии Мечиславского, вероятно, послужила история актера, дебютировавшего на столичной сцене под псевдонимом «Мстиславский» или «Ростиславский» (см.: там же, с. 29–30; ПСС, т. VIII, с. 758): сын купца, поступивший на сцену и оставленный без содержания отцом, он пользовался на первых порах успехом, особенно у купчиков-театралов, которые спаивали его, и вскоре умер. Рассказ, составленный по этой канве, соотносится также с некоторыми особенностями личности и биографии А. Е. Мартынова. Мечиславского принуждают играть больным (глава XXII части четвертой). Именно так поступали, по словам Панаевой, с Мартыновым (см.: Панаева, с. 49). Мечиславский был неспособен обхаживать театралов (глава XV части третьей). Это черта того же Мартынова (см.: Панаева, с. 48). Сходство распространяется и на наружность: доброе выражение глаз, светлые волосы (глава XIV той же части). Еще один штрих в характеристике Мечиславского – он не считал для себя возможной выгодную женитьбу на богатой актрисе (та же глава). Среди актеров александрийской сцены было распространено убеждение, будто А. М. Максимов и В. В. Самойлов были женаты на бывших любовницах императора Николая, Н. С. Аполлонской и С. И. Дранше (см.: Панаева, с. 39–40). [18].

При описании бутафорской – тесной комнатки, переполненной мебелью, – мимоходом замечено, что она одновременно служила и арестантской (глава XV части третьей). Об этом же пишет Панаева, вспоминая о порядках в Александринском театре (см.: Панаева, с. 60).

Молодые актрисы в романе говорят на особом жаргоне: «Да, счастливые!», «Да, несчастная!», «Ай, девицы... ай, урод!» (глава XV части третьей), «Да, страсти!» (глава XXII части четвертой). На этом жаргоне изъяснялись, как вспоминает Панаева, в петербургском Театральном училище, воспитанницы которого поступали на подмостки Александрийской сцены (ср.: «Да, страсти, девицы!», «Да, девицы, счастливая!», «Да, девицы, несчастная!», «Да, девицы, черт противный!» – Панаева, с. 57).

Соперничество между Любской и Ноготковой также принадлежит к эпизодам, в которых запечатлелись лица и нравы александрийской труппы. Ноготкова требует снять пьесы, в которых ее соперница вызывает аплодисменты (главы XIV части третьей и XX части четвертой). Если верить воспоминаниям Панаевой, именно так поступил В. А. Каратыгин по отношению к Мстиславскому (см.: Панаева, с. 30). По наущению Ноготковой, бутафор подставляет Любской испорченную скамейку (глава XIV части третьей). Нечто подобное произошло – или считалось, что произошло, – между А. М. Каратыгиной и Брянской (см.: Панаева, с. 26). Любской не выдавали новых костюмов (главы XIV и XVI той же части). Так же поступали с В. В. Самойловой (см.: Панаева, с. 44). Расставшись со сценой, Любская часто бывала в театре, где привлекала внимание публики величавостью взглядов и поз, усвоенных ею в ролях ее обычного амплуа. Она обеспечена, но очень скупа в домашних расходах. Это штрихи биографии Каратыгиной, оставившей сцену в 1844 г. (молва приписывала супругам Каратыгиным скупость; см., например, карикатуру Н. А. Степанова на тему: «Гамлет, покупающий дрова», которая должна была появиться в «Иллюстрированном альманахе», обещанном подписчикам «Современника» в 1848 г.).

Соединение вымысла и реальности в театральных главах романа исключало полное сходство и создавало типическую картину, но отдельные невымышленные подробности вызывали эффект узнавания в узком кругу посвященных лиц и были рассчитаны на этот эффект.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Ряд эпизодов из жизни Тавровского, в число которых были и театральные, также отчасти заимствован из действительности. По свидетельству Ап. Григорьева (см. ниже, с. 278), в этом герое можно узнать нескольких лиц, известных по анекдотам.

Не все анекдотические истории, включенные в рассказ о Тавровском, поддаются комментарию. К их числу относится эпизод, в котором Тавровский, путешествуя по Италии, попадает в провинциальный театр и допекает арию за актера, потерявшего голос (глава XXXVII части седьмой). Аналогичный действительный случай не выявлен, но сходные факты – увлечение итальянской оперой, обучение пению за границей, популярность певцов-дилетантов в 1830–1840-е гг. – делают его вполне вероятным (ср. ниже, с. 289).

Другой эпизод, основанный на предании, отчетливо соотносится с определенными лицами. Тавровский узнает себя в роли, исполненной популярным комиком, и в знак уважения к его таланту дарит ему дорогие запонки (та же глава). Нечто подобное произошло, по воспоминаниям Н. И. Куликова, в Москве в начале 1830-х гг. с графом Н. А. Самойловым, красавцем, франтом и игроком. По желанию императора Николая, раздраженного щегольской наружностью графа, одетого по последней парижской моде, любимец московской публики В. И. Живокини изобразил Самойлова в комедии-водевиле Э. Скриба «Первая любовь», добавив к тексту реплику от себя – о картах. Граф пригласил к себе Живокини и подарил ему запонки – под тем предлогом, что их не хватает для полноты сходства. [19].

Многое перешло в историю Тавровского из рассказов о П. В. Нащокине. Его личность, происхождения и наблюдения отразились в литературе – в произведениях Пушкина [20], Гоголя [21], а также в водевиле Н. И. Куликова «Цыганка» (сезон 1849/50 гг.) [22]. Кумир аристократической молодежи 1820-х гг., игрок, донжуан, Нащокин был в то же время отзывчив, умен, талантлив и широко образован [23]. Эти черты свойственны и Тавровскому.

Павел Тавровский напоминает Павла Нащокина еще и тем, что предметы его увлечений были те же: актриса, цыганка. Известен роман Нащокина с актрисой А. Е. Асенковой (матерью знаменитой актрисы) [24]. Другое его увлечение – дочь цыганской певицы Стеша, Оля (Ольга Андреевна), на которой он чуть не женился [25]. Сходство есть и в частной детали: Тавровский держал у себя эфиопа, Нащокин – карлу-«головастика» [26].

Эпизоды, изображающие приезд комедиантов в имение Тавровского (глава XLV части девятой), в некоторых деталях перекликаются с воспоминаниями Н. И. Куликова и его сестры П. И. Орловой о гастролях на даче Ф. Ф. Кокошкина в Бедрине в 1820-х гг. [27]. В романе на представление, происходящее на берегу озера, сходится вся деревня. Всех угощают. После встречи с Куратовым Остроухов патетически цитирует трагедию В. А. Озерова «Эдип в Афинах» (1804). Ср. в воспоминаниях Н. И. Куликова: спектакль – трагедия из античной жизни – в усадьбе на берегу озера, затем крестьянские хороводы и угощение зрителей и участников. Есть еще один сходный момент: табор возле усадьбы («Мертвое озеро»), хор цыган, приглашенных на праздник (см. воспоминания П. И. Орловой и Н. И. Куликова). Примечательно, что в представлении выступают артисты цирка, в том числе и наездники. Эта подробность восходит к реалиям петербургской культурной жизни: в 1849 г. в столице открылся театр-цирк для конных и драматических представлений и по Петербургу прокатилась волна всеобщего увлечения цирком, в особенности искусством наездниц.

Комментарием к главам романа, изображающим тетку Тавровского, Наталью Кирилловну, могут служить воспоминания и автобиографические рассказы «Прошедшее и настоящее» (1856), «Ночь на рождество» (1858), «Наяву и во сне» (1859) И. И. Панаева, где описывается старинный дом, наполненный приживалками, среди которых особа с мутными глазами; здесь же властная и капризная барыня, восседающая в столовой с палкой, украшенной дорогим набалдашником; обожаемый внук и третируемый племянник; старшая горничная, перед которой заискивает прислуга. [28]. Эти лица и обстановка – картины детства И. И. Панаева – перешли на страницы романа, хотя и в несколько измененном виде (глава XXXIII части седьмой).

В деревенских эпизодах романа прослеживаются некоторые приметы, относящиеся к ярославскому краю, к местам некрасовской молодости.

Дом Федора Андреича – темно-серый, неуклюжий, запущенный, с небольшой речкой и

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a лесом поблизости (глава I части первой) – похож на дом Некрасовых в Грешневе, возле речки Самарки. [29].

В рассказе о прошлом Кирсанова отразились семейные предания Некрасовых. Кирсанов – участник двух заграничных походов против наполеоновской Франции; он был среди осажденных в Данциге, участвовал в Аустерлицкой битве, был ранен в бедро (главы XXX–XXXI части шестой). В этих моментах рассказ о Кирсанове совпадает с историей жизни дяди Некрасова – Александра Сергеевича. [30]

Имение Кирсанова расположено на почтовом тракте. При нем устроено экипажное заведение и нечто вроде постоянного двора (главы XXIX–XXXI той же части). Это приметы сельца Грешнева, принадлежавшего отцу Некрасова Алексею Сергеевичу и его брату Сергею Сергеевичу. [31]

Помощник Кирсанова по управлению имением Иван Софроныч Понизовкин был его сослуживцем во время войны, подобно Кондратию Андрееву, сопровождавшему братьев Некрасовых в военных походах, а затем жившему при отце Некрасова в Грешневе.

Фамилии Кирсанов и Понизовкин – грешневские: первая идентична фамилии крепостных, принадлежавших С. С. Некрасову [32], вторая созвучна названию Понизовники, – в этом урочище часто охотился А. С. Некрасов, возможно и с сыновьями [33]. Имение Софоновка, которым (служа уже у Тавровского) управлял Иван Софроныч, носит название (слегка измененное) деревни, принадлежавшей А. С. Некрасову (Сафоново Владимирской губернии).

Заглавие романа вряд ли имеет в виду определенную местность. В «Объяснении заглавия...» указано, что Мертвое озеро расположено в «отдаленной губернии» (Некр. сб., II, с. 447). Единственной относительно отдаленной губернией, знакомой авторам по личным впечатлениям, к этому времени была Казанская, где авторы побывали в 1846 г. Однако в этой губернии не известно озер, подобных описываемому в романе. [34]

В Ярославской губернии, в окрестностях Грешнева, находилось озеро, с которым связывалось предание о провалившемся селении и церкви [35]. Но и оно не похоже на описываемое в романе. Что касается названия «Мертвое озеро» [36], то оно, видимо, является калькой с финского. Известны озера Куолемайярви (Kuolemajärvi) в бывшей Выборгской губернии (ныне в районе одноименной станции по Ленинград–финляндскому отделению Октябрьской железной дороги) и Куолаярви (Kuolajärvi) в Олонецкой (ныне карельская АССР) [37]. В переводе на русский язык оба названия означают «Озеро смерти» [38]. Описаний этих озер, которыми могли бы воспользоваться авторы комментируемого романа, не обнаружено. Но о них и о связанных с ними преданиях авторам могло быть известно от жившего в свое время в Финляндии издателя «Финского вестника» Ф. К. Дершау и от уроженца Олонецкой губернии, преподавателя финского языка в петербургской духовной семинарии Д. И. Успенского, знакомых Некрасова. Финляндия привлекала внимание авторов и ранее: герой романа «Три страны света» Каютин родился в Выборге (глава VIII части второй), другой герой того же романа кирпичов был вильманstrandским купцом (глава V части первой). Едва ли случайно и в «Мертвом озере» упоминается о том, что Тавровский путешествовал по Финляндии (глава LIX части двенадцатой).

5

«Мертвое озеро», как и «Три страны света», – большой по объему роман, что само по себе является характерным жанровым признаком в ряду разновидностей романической прозы. Традиционный большой роман – в журнальном варианте роман с продолжением – многоплановое повествование, предполагающее обилие персонажей, разнообразие места действия и захватывающую интригу с неперенным любовным сюжетом.

Новый роман Некрасова и Панаевой соединял в себе атрибуты произведения, обращенного к современной действительности, и шаблоны романического повествования.

Реалистические картины и зарисовки, психологические мотивировки поступков, более частые в эпизодах, начинающих сюжетные линии, перемежаются с иллюстративными образами.

«Мертвое озеро» продолжает традицию, отчетливо выраженную в «Трех странах света» и восходящую к образцам так называемой «легкой беллетристики» – школы,

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a сложившейся в 1830-е гг. во французской литературе. Произведения писателей этой школы, в особенности романы Э. Сю, имели огромный успех в России, главным образом в середине 1840-х гг.

В «Мертвом озере» могут быть отмечены реминисценции из романа Сю «Вечный жид» (рус. пер. – 1844–1845). [39]. Ап. Григорьевым было указано на сходство между героем этого романа Дагобером и Иваном Софроньичем (см. ниже). Оба героя – в прошлом солдаты, участники наполеоновских войн, оба готовы отдать свою жизнь за друзей-командиров, оба являются воплощением прямодушия и доброты [40]. Эпилог «Мертвого озера», изображающий счастливую жизнь тружеников, уединившихся в пустынном краю, близок по теме и настроению эпилогу романа Сю. Полемическим откликом на роман французского беллетриста можно считать эпизод, в котором представлена образцовая фабрика, напоминающая усовершенствованную казарму и в то же время похожая на «фаланстер» Гарди. По наблюдению Ап. Григорьева (см. ниже), Федор Андреич, влюбленный в Аню, нарисован по образу и подобию Полидори, героя романа Сю «Парижские тайны» (рус. пер. – 1844). В «Мертвом озере» несомненно отразилось знакомство с романом Сю «Мисс Мери, или Гувернантка», опубликованном в во французской газете «Siècle» с ноября 1850 г. по март 1851 г. Обедневшая дворянка вынуждена поступить в гувернантки; в семье, куда она прибывает после трудного путешествия, в нее влюбляются хозяин дома и его гость, молодой человек, побуждающий ее к побегу. Вся эта ситуация повторяется в части четырнадцатой «Мертвого озера».

В романе Некрасова и Панаевой наблюдаются переклички и с произведением другого французского беллетриста – П. Феваля. Не бравший ранее в руки карт, Иван Софроньич выигрывает огромную сумму, не нуждаясь в деньгах, но последующие попытки, когда деньги были необходимы, кончаются проигрышем. В подобной ситуации оказался молодой шарманщик Реньо, герой романа «Сын дьявола» (рус. пер. под заглавием «Сын тайны» – 1846). В этом романе развивается и мотив тайны рождения, один из ведущих в «Мертвом озере». Впрочем, здесь трудно с точностью указать бесспорный конкретный источник, ибо этот мотив, встречающийся и в «Вечном жиде», был одним из самых распространенных в европейской литературе. Стимулирующее влияние литературных образцов вообще проявляется в «Мертвом озере» лишь в форме общих сюжетных соответствий.

В «Мертвом озере» по-своему обозначилась характерная для французской романтической литературы тема «естественного человека». Люба, выросшая в глуши, вне светского общества, оказалась нравственно выше этого общества и не покорилась его диктату, подобно героине романа Жорж Санд «Индиана» (рус. пер. – 1833) [41].

Сохраняя общую близость к французской беллетристической школе, роман Некрасова и Панаевой одновременно обнаруживает усилившуюся после завершения «Трех стран света» тенденцию к восприятию английской традиции – в первую очередь достижений сатирического романа, вдохновляющим образцом которого была для Некрасова и Панаевой «Ярмарка тщеславия» У.М. Теккерея (рус. пер. – 1850) (наблюдение Т. С. Царьковой).

В то же время предшественник Теккерея – Диккенс оставался для авторов «Мертвого озера» столь же высоким авторитетом, каким он был для них в период их работы над «Тремя странами света». Изображая труппу странствующих актеров, авторы «Мертвого озера» используют опыт Диккенса («Жизнь и приключения Николаса Никльби»; рус. пер. – 1840). Вместе с тем это достаточно отдаленная параллель. Провинциальные актеры у Диккенса комичны в своем служении Мельпомене, в то время как у Некрасова и Панаевой они далеко не всегда смешны.

«Мертвое озеро» создавалось в период «шекспиромании» [42], и не случайно в романе неоднократно упоминаются персонажи шекспировских пьес. Ап. Григорьев отметил и сюжетную близость к эпизоду одной из них, указав, что Иван Софроньич возле умершего Кирсанова «совершенно превратился в короля Лира над трупом Корделии» (М, 1851, № 9 и 10, с. 197). Подобно Лиру, Иван Софроньич не верит тому, что Кирсанов скончался, а когда убеждается в истине, предается неистовому отчаянию.

Из отечественных писателей, чье влияние бесспорно сказалось в романе, можно назвать лишь Гоголя. Но и в этом случае речь может идти лишь об одном отрывке, относящемся к усадебной теме, – описании деревеньки Овинищи, выполненном в открыто гоголевской манере [43].

Остальные случаи общности с произведениями отечественной словесности не содержат в себе отчетливых указаний на влияние какого-либо писателя, но позволяют сделать вывод о том, что в «Мертвом озере» разрабатывались сюжеты, имевшие широкое хождение в литературе.

В ряду многочисленных произведений, посвященных театру, «Мертвому озеру» предшествовали рассказ В. А. Соллогуба «Воспитанница» (1846), повесть Д. В. Григоровича «Капельмейстер Сусликов» (1848) [44], водевиль Д. Т. Ленского «Лев Гурыч Синичкин» (1840) (на сходство Калинского и Ноготковой с героями водевиля обратил внимание Ап. Григорьев – см. ниже, с. 277).

Неблагодарный труд гувернантки был темой рассказов и повестей А. В. Дружинина («Петергофский фонтан» – 1850), Т. Ч. (А. Я. Марченко) («Гувернантка» – 1847), Н. Борисова (В. В. Толбина) («Любинька» – 1849), анонимного беллетриста («Нелли» – С, 1850, № 1).

Роман А. Ф. Вельтмана «Саломея» (1846–1848), близкий к традициям «плутовского» романа, – ближайший по времени прецедент соответствующего сюжета в «Мертвом озере» [45].

6

Вопрос о доле авторского участия Некрасова и Панаевой в «Мертвом озере» не может быть решен с достаточной точностью: рукописи романа не найдены; в сохранившейся переписке «Мертвое озеро» – в период его писания – ни прямо, ни косвенно не упоминается.

Известно устное высказывание Панаевой о работе над «Мертвым озером» в записи А. М. Скабичевского. Оно сводится к утверждению, будто Некрасову в этом романе «принадлежит <...> лишь один сюжет, в составлении которого он принимал участие вместе с г-жой Панаевой, и много что две-три главы. А затем Некрасов захворал, слег в постель и решительно отказался продолжать роман. Таким образом, «Мертвое озеро» почти всецело принадлежит перу г-жи Панаевой» [46].

Одновременно Панаева сообщила Скабичевскому – или, по крайней мере, он так ее понял, – что в работе и над «Тремя странами света», и над «Мертвым озером» авторы «составляли общими совещаниями сюжеты романов, а потом распределяли, какую кому из них писать главу...» [47]. Это свидетельство противоречит тому, что писала сама же Панаева, говоря о своем почти единоличном участии в написании «Мертвого озера». Скабичевский, по-видимому, заметил это противоречие и во второй редакции своего очерка о Некрасове отнес приведенные выше слова об «общих совещаниях» авторов лишь к «Трем странам света» [48].

Высказывание Панаевой, почти полностью исключая авторский вклад Некрасова, нуждается в критическом осмыслении. Прежде всего важно выяснить, могло ли одно лицо написать роман. В связи с этим следует выделить группы глав, принадлежащих скорее всего одному исполнителю, поскольку группы эти образуют художественное целое по единству темы, сюжета и литературной манеры.

Исполнительски монолитные группы глав входят в сложную сюжетную композицию: текст романа разделен на три тома, пятнадцать частей и шестьдесят восемь глав с эпилогом.

Том первый (части первая–пятая) начинается с группы глав, объединенных усадебной темой. В тщательно выписанных портретах героев – Ани и Пети, Федора Андреича и Настасьи Андреевны – авторское внимание сосредоточивается преимущественно на какой-то одной неизменной особенности характера, предопределяющей поступки героев в обыденной для них обстановке. Однако при изображении исключительных обстоятельств характеристики тех же героев неизменно изменяются. С особенной наглядностью это наблюдается в главе IV части первой, выпадающей из усадебной темы и содержащей рассказ о том, как Аня познакомилась с Федором Андреичем на похоронах своей бабушки. Внешность и поведение героини представлены здесь совершенно условно, в крайних физических проявлениях чувств. «Очерковый» реализм и мелодраматические эффекты не исключают друг друга и внутри отдельных глав, выступая как компоненты единой манеры повествования.

Следующая группа глав первого тома (части третья–пятая) обнимается театральной темой и продолжает историю Ани, поступившей под фамилией Любская в

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a провинциальный театр (главы XIV, XV и XVII части третьей; часть четвертая, кроме главы XVIII; часть пятая). Героем тех же частей романа выступает и верный друг Любской актер Остроухов (главы XIV, XV и XVII части третьей; часть четвертая, за исключением главы XXIV; главы XXVII и XXVIII части пятой). Художественное родство этой группы глав с рассмотренной выше достаточно очевидно. Сюжетная линия Ани – Любской проходит через весь первый том, связывая его части в единое целое общей манерой изображения, в которой трезвая наблюдательность устойчиво сочетается с аффектацией. Глава XXIV части четвертой – в отступление от театральной темы – рассказывает о том, как Аня, покинув дом Федора Андреича, жила с бабушкой в Петербурге и добывала трудами свой хлеб. Образ Ани утрачивает здесь живые черты и превращается – как и в главе IV части первой – в символ невинности и страдания.

В томе втором (части шестая–десятая) выделяются три группы глав, отличающихся единством темы, сюжета и художественной манеры.

В части шестой, возобновляющей усадебную тему, главными действующими лицами являются помещик Кирсанов и его помощник Иван Софронович, обитатели деревеньки Овинущи. Подобно героине первого тома Настасье Андреевне, Кирсанов относится к числу персонажей, не встречающихся в последующем повествовании. Ивану Софроновичу, напротив, принадлежит важнейшая роль в дальнейших событиях. Впервые появившийся в томе втором, этот герой по характеру напоминает персонажа предшествующего тома Остроухова, с которым его роднит доброта, доходящая до экзальтации.

Группа глав, составляющих часть седьмую, вводит в роман светскую тему. В этой части, как и в предыдущей, описание преобладает над действием. В характеристике одинокой и деспотичной Натальи Кирилловны, любящей лишь своего племянника Тавровского, используется сюжетный материал первых частей романа, где представлен аналогичный тип в образе Настасьи Андреевны. История Гриши, изгнанного из дома, напоминает историю Петруши.

Среди прочих действующих лиц части седьмой – Иван Софронович, ставший управляющим имением Тавровского (главы XXXIV, XXXV, XXXVII). Через сюжетную линию Ивана Софроновича седьмая часть оказывается связанной с предыдущей как общей фабулой, так и трактовкой характера, выдержанного до малейших подробностей.

Еще одна слитная группа глав второго тома продолжает светскую тему, подключая к ней цыганский мотив. Тавровский, поселившийся возле Мертвого озера, встречается с Любой и возвращается в Петербург ее женихом (части восьмая–девятая). Люба – образ, полностью «идеологизированный», воплощающий идею «естественной» гармонической личности. Исполнительская манера здесь та же, что и в характеристике Ани в главе IV части первой и в главе XXIV части четвертой тома первого. В той же манере трактован и образ Тавровского, демонстрирующий аристократическую «привлекательность», в духе «оперного» любовника.

В части девятой появляется Остроухов, приехавший в усадьбу Тавровского с труппой странствующих актеров (главы XLIV–XLVI), в части десятой – Иван Софронович, выигравший в пользу Тавровского огромную сумму денег (главы XLVIII–L). Круг глав с участием персонажей, введенных в действие в предыдущих главах и всюду верных самим себе, расширяется в этой части настолько, что позволяет предполагать единоличное авторское участие в обоих томах романа.

Завершающий том романа (части одиннадцатая–пятнадцатая) включает в себя целую часть, написанную в особом ключе, – повесть о гувернантке мадемуазель Анет (бывшей Любской), не устоявшей перед ухаживаниями Тавровского. Барышня с изысканными манерами и ее настойчивый соблазнитель мало похожи на одноименных героев, выведенных в прочих главах романа. Другие действующие лица части четырнадцатой – подверженный нервическим припадкам Марк Семеныч и его жена Надинь, рафинированная светская дама, – полностью обособлены от остальных персонажей.

Части одиннадцатая и двенадцатая тома третьего слагаются в композицию, подобную той, которая наблюдалась в томе втором: новые герои, появляющиеся в этих частях, встречаются с прежними, и это определяет последующее развитие действия. В части одиннадцатой, начинающей том третий, главная роль принадлежит Генриху Кнаббе, отправившемуся с хозяйскими деньгами в другую губернию и ограбленному попутчиком. События, описанные в части двенадцатой, завершают этот сюжет. Авторская принадлежность этих частей романа одному исполнителю самоочевидна, так

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a же как и их художественная близость к главам с участием Ивана Софроньча в томе втором.

В частях тринадцатой и пятнадцатой действуют персонажи предшествующих томов: Любская, расстраивающая свадьбу Тавровского, Федор Андреич, попадающий в услужение к Любской, Остроухов, ее обличающий, Наталья Кирилловна, умирающая от удара, Тавровский, отомстивший Любе за ее бегство из его дома, в, наконец, Люба, кончающая самоубийством в пучине Мертвого озера. Характеристики этих героев полностью соотносятся с прежними, в первом и во втором томах, и позволяют считать все три тома, за исключением части четырнадцатой, в целом принадлежащими одному исполнителю.

В эпилоге представлены Любская, вышедшая замуж за Петрушу, Тавровский, кончающий свои дни в деревне, Зина, также нашедшая себе мужа, Переваленко-Зацепу, Гриша, женившийся на Насте, и Иван Софроньч, благоустроивший берега Мертвого озера. Едва ли сомнительно, что автором эпилога было лицо, которому принадлежит рассказ об этих же персонажах в основном тексте романа.

Таким образом, представляется вероятным, что почти все части романа написаны одним автором. Этот вывод, казалось бы, согласуется с утверждением Панаевой о том, что она была почти единственным автором текста. Однако другие аргументы косвенного характера говорят более в пользу авторства Некрасова, нежели Панаевой.

В объявлении о предстоящей публикации «Озера смерти» (см. выше, с. 249) фамилия Некрасова значится первой. Следовательно, Некрасов изначально предполагался главным участником совместного начинания. Разумеется, и позднее Панаева не могла взять на себя разработку замысла в целом и основную работу по его осуществлению. Это было выше ее возможностей.

Некоторые части и главы романа безусловно могут быть атрибутированы Некрасову уже потому, что в них отразился его жизненный опыт, отчасти преломившийся в других его художественных произведениях и не совпадающий с наблюдениями Панаевой.

Картины дворянского поместного быта, представленные в части шестой романа, написаны человеком, знающим этот быт досконально, т. е. Некрасовым [49]. Это видно и из весьма многочисленных примет ярославского имения Некрасовых в описании деревеньки Овинищи, из отголосков семейных преданий в характеристиках персонажей, из аналогий с обликом отца и других родственников, из антропонимических переключек (см. выше, с. 263–264). К биографическим соответствиям прибавляются литературные параллели: убитый громом пастух (глава XXIX части шестой) упомянут в «Деревенских новостях» (1860), знахарка, жившая в околотке (глава XXXII той же части), – в «Знахарке» (1860). Фамилия Позизовкин перешла к герою поэмы «Горе старого Наума» (1874).

Описание табачной фабрики, сцены охоты и развлечений на островах, история ограбления Генриха Кнаббе – содержание части одиннадцатой – сюжеты, доступные лишь Некрасову.

Некоторые главы в других частях также являются бесспорно некрасовскими по их содержанию.

Только Некрасов мог описать кофейную близ театра (глава XIV части третьей), куда были вхожи лишь мужчины. Только ему могло принадлежать описание холостяцкой актерской квартиры (глава XVIII части четвертой).

Ряд глав содержит подробное описание игры в банк (глава XXXVI части седьмой, глава XLIX части десятой) – их автором мог быть только Некрасов.

Некрасову – но не Панаевой – был хорошо известен, вплоть до самого «дна», мир городского захолустья, к которому он испытывал интерес с самого начала своей литературной деятельности [50]. Сцена бедных похорон (глава IV части первой), эпизоды труженической жизни Ани, проживающей в меблированных комнатах и торгующей куклами возле Гостиного двора (глава XXIV части четвертой), описание квартиры Щекоткиных (глава XXV части пятой), рассказ о благотворительной поездке Тавровского в Измайловский полк (глава LVII части двенадцатой), образ бедного переписчика пригласительных билетов, жителя Коломны (глава LVIII той же части),

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a – весь этот жанрово-бытовой фон знаком по прежним произведениям Некрасова – «Повести о бедном Климке» (1841–1848), «Жизни и похождениям Тихона Тростникова» (1843–1848) и «Трем странам света». Некоторые из зарисовок, образующих этот фон, варьируют или полностью повторяют прежние. Аня, изготавливающая на продажу игрушки, добывает средства к существованию тем же трудом, что и герой «Жизни и похождениям Тихона Тростникова» (см.: наст. изд., т. VIII, с. 123). Параша, героиня того же произведения, – прямая предшественница Ани в ее петербургском обличий. Визит Тавровского в бедный домик Измайловского полка – сюжетная подробность, подсказанная наблюдениями Некрасова над деятельностью Общества посещения бедных, куда он вступил в 1851 г. Случайно встретив в домике Гришу, Тавровский застаёт его за попыткой закрасить чернилами белые нитки на сапоге. Подобная сцена впервые появляется в рассказе Некрасова «Без вести пропавший пиита» (1840) (см.: наст. изд., т. VII, с. 45–46, 542) и повторяется в «Жизни и похождениям Тихона Тростникова» (см.: наст. изд., т. VIII, с. 90, 729). О том же – как о биографическом факте – Некрасов однажды вспомнил позднее [51]. Фамилия названного выше героя – Грачев – вновь возникла в романе Некрасова «Тонкий человек, его приключения и наблюдения».

О Некрасове напоминают некоторые чисто мужские заметки, например о цыгане, который затягивается сигарой, как трубкой (глава XXXIX части восьмой), а также характерные для Некрасова житейские наблюдения, например о пресыщении удовольствиями молодости (вторая подглавка эпилога).

В ряде глав обнаруживается талант, намного превосходящий дарование Панаевой. Таковы сцены с участием камердинера Петра (глава XLVIII части десятой), приживалок (особенно рассказ приживалки с зобом о девушке из благородной семьи, влюбившейся в повара своей маменьки) (глава XLVII той же части), управляющего имениями Тавровского Переваленко-Зацепы (глава LVI части двенадцатой и третья подглавка эпилога). Фамилия Зацепа вошла в антропонимический фонд некрасовской лексики и вновь появилась в его поэме «Современники» (1875).

Содержание ряда частей и глав в принципе допускает авторское участие Панаевой, но значительно более соответствует жизненному опыту и литературной деятельности Некрасова.

Части первая и вторая, посвященные усадебной теме, в некоторых подробностях соотносятся со сведениями о родственниках Панаевой. Аня, красавица и будущая актриса, напоминает сестру Панаевой Анну, дебютировавшую перед замужеством на сцене Александрийского театра. История Петруши, поссорившегося с опекуном и затем воевавшего на Кавказе, близка к биографии брата Панаевой (ср. также соответствующий эпизод в повести «Семейство Тальниковых»). Однако значение этих сопоставлений сводится до минимума при обращении к сведениям о родственниках Некрасова. Сестру Некрасова, гувернантку (ср. с мадемуазель Анет), также звали Анной. Героиня романа похожа на нее и наружностью, и характером. Брат Некрасова Константин, не пользовавшийся расположением отца, по окончании кадетского корпуса вынужден был отправиться на Кавказ [52]. В имени и отчестве Федора Андреича соединились имена других некрасовских братьев. В стихотворении «Отрывок» (1844), напечатанном в год издания «Мертвого озера» и, по-видимому, представляющем собой фрагмент неосуществленной поэмы, намечен портрет Федора Андреича и предвосхищена история Петруши: «Имел наружность дикую И мне не потакал... Он часто, как страшилище, Пугал меня собой И порешил в училище Отправить с рук долой». В пояснениях Нового поэта отмечается автобиографическое содержание этого стихотворения (С, 1851, № 11, отд. VI, с. 85–86; наст. изд., т. I, с. 419–420, 686–687). Эпизодическое лицо «Жизни и похождениям Тихона Тростникова», Иван Францевич, учитель живописи, боготворит свою ученицу Парашу. Этот типаж повторился в образе Эдуарда Карлыча, учившего музыке Настасью Андреевну. Любовь Настасьи Андреевны к музицированию имеет биографическую и литературную аналогию: героиня поэмы «Мать» (1877) – увлеченная пианистка. Примечательна и похожесть имен: мать Некрасова звали Еленой Андреевной. Любская с наслаждением наблюдает, как разрушается ненавистный ей дом, в котором прошли ее юные годы (часть пятая, глава LXV). Этот мотив затронут и в «Родине» (1846): «И набок валится пустой и мрачный дом» (наст. изд., т. I, с. 46). Образ отчего «ветхого дома», впервые появляющийся в «Жизни и похождениям Тихона Тростникова» (там же, т. VIII, с. 64), в поэме «Затворница» (вариант поэмы «Мать», 1877) символизирует, как и в «Мертвом озере», одиночество и неволю: «Я помню, мы безвыходно сидели Сам-друг с тобой в разрушенном доме. (Угрюмый дом, похожий на тюрьму...)» (там же, т. IV, с. 514).



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a

В главах XIV и XV части третьей романа, изображающих театральную жизнь, встречаются явные – иногда текстуральные – переключки с позднейшими воспоминаниями Панаевой. Но в этих же главах выше было отмечено наглядное авторское участие Некрасова (см. с. 259, 271). Из этого можно было бы заключить, что отдельные главы романа являлись предметом совместной работы. Трудно, однако, предположить столь дробное разделение труда. Кроме того, факт переключки названных глав с воспоминаниями Панаевой сам по себе еще не указывает на принадлежность отмеченных мест именно этому автору, ибо то, о чем вспоминала Панаева, знал и Некрасов, находившийся в приятельских отношениях со многими актерами и актрисами александрийской сцены и обращавшийся к театральной теме в своих прежних произведениях. Провинциальный домашний театр показан в рассказе «Опытная женщина» (1841). Одновременно Некрасов переводит водевиль «Вот что значит влюбиться в актрису!», пишет водевиль «Актер» и рассказ «В Сардинии», где также затронут театральный мотив. Особая тема в некрасовском творчестве – Александрийский театр. Этой теме посвящены стихотворения «Офелия» (1840), «Памяти <Асенков>ой» (1854–1855), ряд эпизодов в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» (см.: наст. изд., т. VIII, с. 179–186, 220–221), «Выдержка из записок старого театрала (материалы для физиологии Александрийского театра)» (1845), «Очерки литературной жизни» (1845), множество театральных заметок и рецензий. В «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» выведен режиссер Николаша, прототипом которого был Н. И. Куликов (см.: наст. изд., т. VIII, с. 184, 745). Этот же прототип узнается и в режиссере – эпизодическом персонаже «Мертвого озера» (главы XV и XVII части третьей, главы XX и XXII части четвертой, глава XXVII части пятой). Некрасов познакомился с Куликовым в конце 1830–начале 1840-х гг. [53] и поддерживал с ним близкие отношения в продолжение нескольких лет [54]. Результатом их дружеского сближения были совместно изданные «Статейки в стихах. Без картинок» (СПб., 1843). Допустимо предположить, что Куликов делился с Некрасовым воспоминаниями о своей молодости и что Некрасов использовал в «Мертвом озере» рассказ Куликова о подмосковной гастрольной поездке в 1820-х гг. (см. об этом выше, с. 262–263). Рассказ Остроухова о том, как он сделался актером, входящий в «некрасовскую» главу XVIII части четвертой, возможно, написан со слов М. С. Щепкина, с которым Некрасов также был хорошо знаком (ср. рассказ «Психологическая задача», опубликованный в 1849 г. со ссылкой на устное сообщение Щепкина). [55] С театральными преданиями связаны и сцены «Как убить вечер?» (1866), где представлены мать и дочь – актрисы. В этих же сценах фигурирует персонаж, унаследовавший фамилию героя «Мертвого озера», – Остроухов (см.: ПСС, т. VIII, с. 758). Аналогичным образом в поэме «Кому на Руси жить хорошо» (глава «Пир на весь мир») повторилась фамилия Ляпушкин (см. в романе главы XIV, XV и XVII части третьей, XIX и XX части четвертой, XXVII и XXVIII части пятой).

Светская тема, в частности описание быта и нравов барского особняка, принадлежащего старой аристократке (главы XXXIII–XXXVI части седьмой), – предмет, далекий от непосредственных наблюдений как Панаевой, так и Некрасова. Отчетливые переключки в этих главах с воспоминаниями И. И. Панаева (см. выше, с. 263), по-видимому, восходят к устным рассказам будущего мемуариста, слушателями которого с середины 1840-х гг. с одинаковой степенью вероятности могли быть и Панаева, и Некрасов. Однако авторство Некрасова представляется более вероятным. В его пользу говорит прецедент: устные рассказы Панаева отразились в «Трех странах света», в главах, несомненно принадлежащих Некрасову (см.: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 348–349).

Анекдоты о Нащокине и Н. А. Самойлове, вошедшие в главу XXXIII части седьмой «Мертвого озера» (см. об этом выше), могли быть известны и Панаевой, и Некрасову, но ввел их в роман скорее всего Некрасов, который был приятелем Куликова, близкого к источнику анекдотов – московской театральной среде (эти же анекдоты Некрасов мог слышать и от М. С. Щепкина).

Панаевой скорее всего принадлежит часть четырнадцатая романа, в которой изображаются обитатели подмосковной дачи [56] и которую предполагалось перепечатать под заглавием «M-lle Annette», с подзаголовком: «Повесть» и за подписью: «Н. Н. Станицкий» в томе шестом сборника «Для легкого чтения» (СПб., 1857) (см.: С, 1857, № 4, отд. IV, с. 60) [57]. Повесть в печати не появилась, хотя причины для цензурного запрещения не было. Тем не менее извещение в «Современнике» можно рассматривать как указание на то, что часть четырнадцатая «Мертвого озера» была написана, по-видимому, Панаевой [58].

Прямые и косвенные приметы авторского участия Некрасова обнаруживаются, таким

Страница 473

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a образом, почти в каждой части романа [59]. Этому заключению, правда, противоречит то обстоятельство, что на титуле «Мертвого озера» фамилия «Н. Н. Станицкий» значилась первой. Но это было сделано, по всей вероятности, для популяризации нового имени, последовательно осуществлявшейся в «Современнике» в 1849–1851 гг. и опережавшей возможности автора.

Наблюдения над историей журнального текста (см. выше, с. 249–255) согласуются с предположительным заключением о почти единоличном участии Некрасова в написании «Мертвого озера».

Когда в конце 1848 г. в «Современнике» было объявлено, что в следующем году, кроме продолжения «Трех стран света», появятся два романа Н. Н. Станицкого – «Актриса» и «Озеро смерти» (последний в соавторстве с Некрасовым) (см. выше), это означало, что «Актриса» должна была увидеть свет ранее, ибо «Озеро смерти» заняло бы все номера журнала после майской книжки, в которой завершилась публикация «Трех стран света». Последовательность работы, следовательно, могла быть только такая: пока Панаева пишет «Актрису», Некрасов работает над первыми частями «Озера смерти». Таким образом, подтверждается сделанное на основании других наблюдений предположение о том, что части первая и вторая, напечатанные в январской и февральской книжках журнала, принадлежат Некрасову. Далее же, когда авторам пришлось подготавливать текст к каждой новой журнальной книжке, справиться с этим мог только Некрасов. И не случайно в периоды особой загруженности Некрасова текущими журнальными делами объем публикуемых фрагментов резко сокращался. Панаева не могла подменить Некрасова.

7

У любителей занимательного чтения – для них в первую очередь было предназначено «Мертвое озеро» – роман имел несомненный успех.

С удовольствием прочитал роман пятнадцатилетний Н. А. Добролюбов. «Превосходная вещь», – отозвался он в дневнике о первых частях романа (августовская запись 1851 г.). Сентябрьская запись о части шестой: «Эта часть «Мертвого озера» особенно хороша» [60]. Добролюбов не согласился со своей знакомой А. Ф. Щепотьевой, которая «хвалила «Полину Бутлер», «Ветку фуксии», «Семейную тайну», бранила «Вечного жида», «Парижские тайны», «Мертвое озеро», восхищалась «Тремя мушкетерами»» (Добролюбов, т. VIII, с. 425). «Прекрасный роман», – таково общее впечатление Добролюбова (январская запись 1852 г.) [61]. Примечательно, что с годами это впечатление не изгладилось. В одной из своих последних статей, во «Внутреннем обозрении» «Современника» (1861, № 8), Добролюбов указал на верное изображение провинциального театра в романе «Мертвое озеро», заметив, правда, что ранее оно казалось ему не вполне правдоподобным (см.: Добролюбов, т. VII, с. 96).

Из двух известных писательских откликов один, посвященный одновременно «Мертвому озеру» и «Старому дому» (роман В. Р. Зотова, печатавшийся одновременно в «Отечественных записках»), принадлежит Тургеневу. «Удивляюсь, – иронизировал Тургенев в письме к А. А. Краевскому от 27 июля 1851 г., – «когда прекратятся знаменитые два романа: «Мертвый дом» и «Старое озеро»?» [62].

Другой отзыв принадлежит Толстому, ознакомившемуся с романом через несколько лет после его публикации. Отзыв Толстого, не предназначенный для печати, был негативным и односложным (дневниковая запись от 27 ноября 1857 г.) [63].

Печатные отклики на «Мертвое озеро» также очень немногочисленны. Подробно роман был рассмотрен лишь в «Москвитянине» – в девяти рецензиях (на каждую часть романа, кроме десятой) Ап. Григорьева.

В первой рецензии Ап. Григорьев предсказывает, что роман «протянется на целый год». К таким романам Ап. Григорьев относится настороженно – как к произведениям по большей части ремесленным, – по «из уважения к дарованию одного из соавторов» – Н. Станицкого – выражает готовность «преимуществом обращать внимание на хорошие его <<Мертвого озера>> стороны, если таковые будут» (М, 1851, № 5, с. 78, 79) [64].

В «живом» характере Ани, каким он предстает в первой и второй частях романа, Ап. Григорьев находит сходство с героиней романа Панаевой «Пасека». Отмечая в романе «и ум, и наблюдательность, и даже талант», он относит эти качества, по-видимому, лишь к Панаевой. Но все это, по мнению Ап. Григорьева, «потрачено задаром», ибо

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a на первый план выступают «лица с ярлыками на лбу» – «два молодых, разумеется, невинных существа» (Аня и Петруша), «старик, разумеется, с сумрачным видом, с неистовыми страстями» (Федор Андреич), «идеальное лицо немца» (учитель музыки) (там же, с. 80, 77–78).

Ту же «смену самых обыденных пошлостей или приторного идеализма с очерками смелыми, живыми, новыми, с частностями, из которых многие, в полном смысле, прекрасны», Ап. Григорьев констатирует и в следующих частях. Так, отношения между прачкой и ее мужем «очерчены прекрасно»; «все сцены закулисного быта отличаются необыкновенною правдою»; Орлеанская «в особенности обрисована удачно»; рассказ Остроухова о том, как он сделался актером, «превосходен»; «Любская точно так же хорошо очерчена в романе»; картина провинциальной театральной жизни – несмотря на некоторые переключки с водевилем «Лев Гурыч Синичкин» (Ноготкова – Сурмилова, Калинин – граф, покровительствующий искусству) (М, 1851, № 6, с. 284–288) – «яркое и несколько не карикатурное изображение» (М, 1851, № 8, с. 414). Но все это сочетается с «ходульностью в характеристике Мечиславского», а смерть Мечиславского – «мелодрама и самая плохая, самая дикая <...> все становятся на ходули» (М, 1851, № 6, с. 288; № 7, с. 418).

Ко времени появления части шестой Ап. Григорьев приходит к выводу: «роман <...> пишется приемами», от книжки к книжке, и именно поэтому в нем нет «внутренней связи» и единой «психологической задачи»; «запас наблюдений авторов уже истощился <...> начинается уже рутинерский труд...». В подтверждение этой мысли указывается на заимствование из французской литературы: Алексей Алексеевич и Иван Софроныч созданы по образу и подобию Дагобера, героя романа Э. Сю «Вечный жид», – та же «моральная основа характера», тот же «пошлый комизм, основанный на одних только ни из чего не выведенных странностях» (М, 1851, № 9, с. 194–195) (в одной из предыдущих рецензий Ап. Григорьев отметил еще одну заимствованную деталь – неистовая любовь Федора Андреича к Ане напоминает страстное влечение Полидори к Сесили в романе Сю «Парижские тайны» – М, 1851, № 5, с. 79).

Последние части романа еще более убеждают Ап. Григорьева в том, что «все приходящее случайно в голову авторам переходит тотчас же и в роман»; вводя «беспрестанно все новых лиц», авторы, замечает Ап. Григорьев, «забывают совершенно о главных героях романа». В то же время из новых героев некоторые – в первую очередь Зина и приживалки – «представлены превосходно» (М, 1851, № 13, с. 61–63). Умело обрисован Тавровский: «Нельзя не отдать справедливости искусству, хотя и чисто внешнему, с которым авторы романа совокупляют в избранном ими герое несколько анекдотических, известных всем черт» (М, 1851, № 15, с. 346–347). «Мастерски» выполнен очерк «деятельности» Винтушевича (М, 1851, № 17, с. 171). Марк Семеныч, «хотя и не совсем удался авторам, но задуман ими довольно хорошо»; что же касается жены Марка Семеныча, то «все внешние стороны ее характера удались им очень хорошо». В этих частях романа, как и в некоторых иных, «есть черты, подмеченные с чрезвычайною наблюдательностью, есть намеки на возможность драматизма в тронутых отношениях» (М, 1851, № 22, с. 360–363). А наряду с этим – «мелодраматическое чучело, в особе цыгана» (М, 1851, № 15, с. 348) и «умилительное» описание фабрики Штукенберга, «по тону своему и колориту» не отличающееся от описания хозяйства помещика Руссова в одном из старинных романов (М, 1851, № 17, с. 168).

Резкое осуждение вызывают у Ап. Григорьева главы эпилога, изображающие перерождение Любской, счастливую семейную жизнь Гриши и Насти, спокойную старость Ивана Софроныча, окончательное нравственное падение Тавровского. «Бессмыслен подобный конец, – пишет Ап. Григорьев о Любской, – а не безотраден, каким, может быть, представляли его себе авторы романа, и не горькая трагическая ирония слышна в последних заключительных строках <...> а пошлая издевка над своим собственным трудом, над недодуманными и недосозданными ими лицами <...> Торжество же добродетели Ивана Софроныча с дочерью и зятем и юного немца с его предметом столько же пошло, если еще не более <...> Конец же Тавровского так отвратителен, что предполагает участие морального цинизма в его изобретении» (там же, с. 367).

К рецензиям Ап. Григорьева непосредственно примыкает реплика Эраста Благодного (псевдоним Б. Н. Алмазова), помещенная в том же журнале. Алмазов замечает, что еще недавно «два наших самых лучших, самых петербургских журнала» – «Современник» и «Отечественные записки» – не только не помещали романов, подобных «Мертвому озеру» и «Старому дому», но и «очень невыгодно отзывались о такого рода произведениях». Теперь же «помянутые журналы смекнули, что писать

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a только для избранной публики невыгодно, что если они будут писать только для нее, то у них будет мало подписчиков. И вот они принялись за создание разных романов на манер Дюма. Да ведь оно и легче, и дешевле: такого рода произведения может делать, в свободное время, сама редакция» (М, 1851, № 19 и 20, с. 267).

«Отечественные записки», оказавшиеся в той же ситуации, что и «Современник», воздержались от жестких оценок, подобных той, какую они дали в свое время «Трем странам света» (см.: ОЗ, 1850, № 1, с. 20–22; подробнее см.: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 338–339). Несколько строк, посвященных «Мертвому озеру», оправдывали появление романа литературным безвременьем и отмечали, в общей форме, «хорошие частности и некоторые хорошие свойства выражения» (ОЗ, 1852, № 1, с. 14).

Отдельное издание романа, появившееся в начале года, вызвало лишь один отклик – статью в «Библиотеке для чтения», подписанную криптонимом «И. П.». В отличие от других отрицательных отзывов, проникнутых тревогой за судьбу литературы, статья И. П. написана в издевательском тоне и направлена не столько против «Мертвого озера», сколько против «натуральной школы» в целом. Из всего романа И. П. выделяет лишь несколько глав, заслуживающих внимания: «...разрежьте, пожалуй, и прочтите тридцать четвертую главу и начало тридцать пятой <...> потом тридцать девятую и сороковую, в которой Тавровский встречается с Любой на берегу озера; прочтите еще заглавие – единственную остроуту в этом романе, и довольно – остальные шестьдесят шесть глав с эпилогом не употребляйте на чтение: все они сплошь покрыты натуральной плесенью» (БдЧ, 1852, № 4, с. 45).

Незначительность содержания, длинноты, пропуски, карикатурные образы, отсутствие слога и неряшливость языка – все это И. П. относит на счет обоих авторов – «равномощных поэтов», но «один из сочинителей», по мнению И. П., «в особенном разладе со вкусом и русским языком» (там же, с. 44). Речь идет, по-видимому, о Некрасове как о более известном (по сравнению со Станицким) представителе «натуральной школы».

Статья И. П. возмутила даже тех, кто неодобрительно отзывался о «Трех странах света» и «Мертвом озере». «Кто у вас разбирает «Мертвое озеро»? – писал А. В. Дружинин редактору журнала А. В. Старчевскому. – Этот господин пишет легко, но я с горестью увидел в нем булгаринские замашки. Что за выражения и зачем нападать на «натуральную школу»! Это уже старо» [65].

В том же духе выдержана и анонимная заметка в «Москвитянине»: «...странно, что г. И. П. взялся преследовать в «Мертвом озере» натуральность, странно, что ему не нравятся в нем именно те самые немногие оазисы, где авторы сколько-нибудь верно изображают действительность <...> Кроме подобной странности приема, ничем для нас не объяснимой, статья г. И. П. отличается удивительной оригинальностью тона...» (М, 1852, № 9, с. 38–39).

В углу против окон – массивный флигель... – флигель – прямострунный рояль с крыловидной формой корпуса.

...из темного ситцевого капота... – Капот – верхнее женское платье широкого покроя, вроде халата.

У окна, затянутого серпянкой... – Серпянка – род грубой марли.

Коса ее, очень густая, низко спускалась на затылок... – Слово «коса», помимо своего основного значения, сохранившегося в наши дни, означало и пряди незаплетенных волос (см.: Даль, т. II, с. 172).

...вилились от природы маленькие пукли. – Пукля (букля) – локон.

...в вольтеровских полинялых креслах. – Так называемое вольтеровское кресло – массивное, с очень высокой спинкой.

...имел вид недоросля. – Недоросль – подросток или юноша, не достигший 21 года, т. е. совершеннолетия, и не поступивший еще на государственную службу.

...нанковые сиреневые узенькие панталоны... – Нанка – разновидность хлопчатобумажной ткани из грубой пряжи (чаще желтого цвета).

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
...в редкие свободные часы дозволялось Настасье Андреевне садиться за избитые  
пятиоктавные клавикорды. – Клавикорды – ударный струнный (не более чем  
пятиоктавный) клавишный инструмент, имевший вид столика; предшественник  
современного фортепиано; сохранялся в русском домашнем быту до середины XIX в.

То был факсимиль Бетховена. – Индивидуальное написание, в отличие от  
орфографической нормы – факсимиле (франц. fac-simile).

Похороны были пышные ~ Много тут было и притворно и искренно грустных лиц... – Ср.  
аналогичную сцену в поэме Некрасова «Несчастные» (1856) (см.: наст. изд., т. IV,  
с. 32).

...была одета в черный коленкорový салоп... – Коленкор – плотная хлопчатобумажная  
ткань. Салоп – верхняя женская одежда в виде широкой длинной накидки с  
пелериной, с прорезями для рук или с широкими рукавами.

...упрашивала Федора Андреича покушать кутьи... – Кутья – поминальное блюдо (обычно  
рис с изюмом или медом).

...с огромной пенковой трубкой... – Трубка из легкого огнестойкого минерального  
вещества, так называемой пенки.

Одет он был в синеватого цвета венгерку... – Венгерка – верхняя одежда военных  
чинов, в том числе отставных, напоминающая форму венгерских гусар.

Он пел русскую песню: Не одна-то во поле дороженька... – Протяжная любовная  
народная песня, часто включавшаяся в песенники 1830-1840-х гг.

...старичок сделал ренонс. – Т. е. ошибся мастью.

...на ломберных столах... – т. е. на карточных столах, покрытых зеленым сукном, на  
котором мелом записывались взятки.

...старинный рыдван стоял у крыльца. – Рыдван – громоздкая карета для дальних  
поездок.

В одной из отдаленных улиц города NNN... – Необычное трехбуквенное обозначение  
названия города вместо общепринятого NN, употребляемого для обозначения  
местности, которую нежелательно называть (от лат. *non enim nescio*: имени не знаю),  
приобретает иронически-утрированный характер, поскольку под изображаемым здесь  
театром подразумевается столичный (см. выше).

...пожилой человек в ситцевом архалуке... – Архалук – стеганый кафтан без рукавов.

Ведь Семен Семеныч не раз говаривал мне... – В журнальной публикации и в отдельном  
издании романа этот персонаж именуется здесь, в отличие от последующих страниц,  
Петром Семенычем.

...уж скоро заблаговестят... – Благовест – колокольный звон, призывающий на молитву  
в церковь, в данном случае – на утреннее богослужение. Благовест к заутрене в  
осеннее время года производился в Петербурге около пяти часов пополудни.

Кофейная близ театра. – В 1830-1840-е гг. возле Александрийского театра помещался  
трактир «Феникс» (площадь Александрийского театра, № 61; ныне площадь  
Островского, № 2) (см.: Цылов, л. 43), завсегдатаями которого были артисты и  
театралы. В конце 1830-начале 1840-х гг. Некрасов был постоянным посетителем  
«Феникса» (см.: Алексеев А. А. Воспоминания актера, с. 31-32). Трактир упомянут  
в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» (см.: наст. изд., изд., т. VIII, с.  
186, 745); ср. также главу вторую «Княгини Лиговской» (1836-1837) Лермонтова.  
Весьма вероятно, что Некрасову была знакома и артистическая кофейная Печкина  
близ Малого театра в Москве. Знакомый Некрасова, актер и водевилист Д. Т.  
Ленский исполнял здесь импровизированные куплеты (см.: СП, 1841, 29 авг., №  
192). Ср. также воспоминания Н. И. Куликова об артистической кофейной Бажанова в  
Москве, где постоянно бывал М. С. Щепкин (Куликов Н. И. Театральные  
воспоминания. – Искусство, 1883, № 15, с. 170).

...перед бенефисом... – Бенефис – спектакль, сбор от которого полностью или частично  
поступает в пользу одного из актеров.

...дарил крестнику на зубок ломбардные билеты в несколько тысяч! – Имеется в виду билет Сохранной казны при Воспитательном доме. Ломбардный билет – квитанция, выданная Ссудной казной (ломбардом) при том же учреждении.

...внимание всех было устремлено на вновь прибывшую молодую актрису Любскую.. – Любская (Любский) – распространенная сценическая фамилия, встречающаяся, например, в комедии М. Н. Загоскина «Благородный театр» (сезон 1829/30 гг.), в водевиле Ф. А. Кони «В тихом омуте черти водятся» (сезон 1834/35 гг.) и в комедии К. Д. Ефимовича (Ефимовича) и Н. Крестовского (псевдоним Н. И. Куликова) «Нашествие иноплеменных» (сезон 1846/47 гг.) (см.: История русского театра, т. 3, с. 225, 227; т. 4, с. 294, 297, 357). Среди актрис Александринского театра была и Любская (см.: Вольф, ч. I, с. 163).

...тащат юнкера... – Юнкер – нижний военный чин из дворян.

Отдай Гирея мне – он мой! ~ Но знай: кинжалом я владею: Я близ Кавказа рождена!!! – Слегка измененный текст из поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1824) (ср.: Пушкин. Полн. собр. соч., т. 4. М., 1937, с. 166–167). Цитата имела театральные источники. В 1825 г. поэма была инсценирована А. А. Шаховским под заглавием «Керим-Гирей». В Петербурге в сезон 1837/38 гг. роль Марии исполняла сестра Панаевой Анна Брянская (см.: Вольф, ч. I, с. 64). Некрасов мог видеть инсценировку в сезоны 1840/41 и 1842/43 гг. (см.: История русского театра, т. 2, с. 482; т. 3, с. 264; т. 4, с. 337). В 1841 г. инсценировка была напечатана (см.: Шаховской А. А. Керим-Гирей. Романтическая трилогия в пяти действиях... – Пантеон русского и всех европейских театров, 1841, № 11 и 12). Некрасов в это время сотрудничал в «Пантеоне...». В рассказе «Новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и Ко» (1850) пародийно обыгрываются начальные строки поэмы (см.: наст. изд., т. VII, с. 388, 607).

...начала делать батманы.. – Батманы – группа движений классического танца, часть ежедневных упражнений артистов балета.

...какие маленькие – в четвертак!» – Четвертак – серебряная монета достоинством в 25 копеек (диаметр 21 мм).

...смазаны черным фиксатуаром... – фиксатуар – помада для приглаживания волос.

...доказал свое благородство в истории с нашей милой пери. – Пери – дух в образе пленительно красивой женщины (иранская мифология); здесь: обиходный романтический образ, синоним очаровательницы.

...свалился чрезвычайно высокий мужчина в фризовой шинели... – Фриз – толстая ворсистая шерстяная ткань.

...наша по утрам не ездит теперь в ваших корзинках? – Корзинки – обиходное название карет, в которых привозили в Александрийский театр воспитанниц Театрального училища.

...с надписью, хотя взятой с известного памятника, но всё-таки оскорбительной для нее ~ Завистниц имела, Соперниц не знала.– Переделанная надпись с памятника на могиле актера А. С. Яковлева: «Завистников имел, соперников не знал» (см.: Петербургский некрополь, т. 4. СПб., 1913, с. 684), которая помещена также под его посмертным гравированным портретом с указанием: «В. Ф-в» (см.: Пантеон славных российских мужей, 1818, февр., № 3; Яковлев <А. С>. Соч. СПб., 1827, а также: Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравированных портретов, т. 3. СПб., 1888, стб. 2191). Автором эпитафии считался Б. М. Федоров (см.: Арапов П. Летопись русского театра. СПб., 1861, с. 259; Каратыгин П. А. Записки. Л., 1970, с. 65, 297). Однако Р. М. Зотов упоминает ее в числе собственных сочинений (см.: Зотов Р. М. Записки. – ИВ, 1896, № 7, с. 48). О яркой личности знаменитого трагика напомнили в 1840-е гг. статья Р. М. Зотова «Биография актера Яковлева» (см.: Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров, 1842, кн. 5) и пьеса Н. Крестовского (Н. И. Куликова) «Актер Яковлев. Театральная хроника», сцены из которой ставились в Петербурге в 1848 и 1850 гг. (см.: История русского театра, т. 4, с. 287). Ряд персонажей и эпизодов из этой хроники предшествует таковым же в «Мертвом озере»: выездной спектакль на даче, князь-волокита, старик, защищающий честь своей дочери от домогательств князя. См. также упоминание о Яковлеве в «Петербургских углах» (1845) (наст. изд., т. VII, с.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a (345).

– Вы, как Робинзон, окружены зверьми... – Роман Д. Дефо «Робинзон Крузо» авторам «Мертвого озера» был, по-видимому, знаком прежде всего по переделкам И.-Г. Кампе: Новый Робинзон. 2-е изд. М., 1819; Робинзон Крузе. Роман для детей. СПб., 1842 (2-е изд. СПб., 1846) (пер. с нем. В. С. Межевича). В переводе с английского подлинника имя главного героя получило несколько иную транскрипцию (см.: Жизнь и приключения Робинсона Крузо. СПб., 1843 (пер. с англ. П. А. Корсакова) и краткое переложение этого перевода – Робинсон. Рассказ для детей. Изд. книгопродавца Василия Полякова. СПб., 1845). О Робинзоне, окруженном зверьми, упоминает в своей переписке Панаева (см. ее письмо к М. Л. Огаревой от 21 января 1851 г. – Черняк, с. 509).

...сунула в руку камердинеру красную бумажку.– Т. е. десятирублевую ассигнацию.

Денщик с нафабранными усами... – Фабра – косметический состав для чернения бороды и усов и придания им определенной формы.

...массивный турецкий диван, обтянутый тиком... – Диван без спинки, с подушками. Тик – полосатая холщовая ткань.

...тут висел французский кафтан с блестками... – Театральная терминология под французским кафтаном обычно подразумевала костюм по моде XVIII в.: почти наглухо застегнутый, без ворота, с обшлагами до локтя, двумя большими карманами на полах и шитьем по бортам.

...предложил содержателю театра дать некоторые сцены из «Отелло». ~ У меня роли Дездемоны и Отелло так перепутались в голове, что я едва мог находиться, что мне говорить. – Рассказ Остроухова относится к тому времени, когда трагедия Шекспира исполнялась по тексту, где главная героиня называлась не Дездемоной, а Эдельмоной (см.: Дюсис Ж.-Ф. Отелло, или Венецианский мавр. Подражание Шекспиру. СПб., 1808).

...он раздваивал светильню... – Светильня – здесь: фитиль от свечи.

Фигуранты – артисты балета, исполняющие групповые танцы.

...на дворе стояли ломовые роспуски... – Роспуски – городская телега для перевозки тяжелой клади.

...все в креповых платьях... – Креп – прозрачная шероховатая шелковая или бумажная ткань.

...мушку на левый бок. – Мушка (шпанская муха) – нарывный пластырь.

«О чем шумите вы...» – Первая строка из стихотворения Пушкина «Клеветникам России» (1831). Стихотворение приобрело особую актуальность после революционных событий 1848–1849 гг. в Европе.

...чуть меня не отправило в царство Плутонovo. – Плутон – в античной мифологии бог подземного мира.

...заялся отпарыванием галуна от камзола. – Камзол – однобортный безрукавный костюм, принадлежность мужского туалета, которую носили под верхней одеждой. В театральном обиходе употреблялся камзол по моде XVIII в. с полами почти до колен. В комментируемом тексте камзол, по-видимому, отождествляется с кафтаном. Ср. часть пятая, глава XXVIII: галуны, отпоротые от французского кафтана...

Вербовщица.– Здесь: продавщица кукол или игрушек в вербную неделю (см. ниже).

Это была вербная неделя. – Вербная неделя – последняя неделя великого поста перед Пасхой.

...проходя мимо Гостиного двора, я попал в страшную сумятицу ~ каждый желал занять повыгоднее место для верб. – Торговля ветками вербы, искусственными цветами, куклами и игрушками происходила перед Гостиным двором на Невском проспекте в течение последних трех дней вербной недели (см.: СП, 1840, 6 апр., № 78; Пушкирев, Описание Санкт-Петербурга, ч. 3, с. 24; Греч А. Н. Весь Петербург в

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a кармане. СПб., 1846, с. 137).

...с первой пушкой дверь скрипнула... – В Петербурге в день Пасхи благовест к заутрене начинался обычно по выстрелу из сигнальной пушки, находившейся в Петропавловской крепости. Время выстрела назначалось (если в столице присутствовал император) каждый раз по особому предписанию из духовной консистории (не позднее, чем в два часа пополудни) (см.: Богданов А. И. Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга. СПб., 1779, с. 447). Второй – ежедневный – выстрел сигнальной пушки производился в полдень.

...раздались звуки скрипки, наигрывающей казачка, – Казачок – быстрый украинский танец, вошедший в моду в 1820-е гг. и исполнявшийся обычно вдвоем.

...пошел на печь, Велисарий! – Слепой музыкант иронически сравнивается с героем драмы Э. Шенка «Велизарий» (переделка с нем. в стихах П. Г. Ободовского), первое представление которой на русской сцене состоялось в сезон 1839/40 гг. (см.: История русского театра, т. 3, с. 228; т. 4, с. 298). Легендарный византийский полководец, которому посвящена драма, окончил жизнь слепцом и нищим. Некрасову принадлежит рецензия на эту пьесу и на ее постановку в Александрийском театре (см.: Театральный альбом, 1843, тетр. 3; ПСС, т. IX, с. 523–531). В этой рецензии отмечался и успех оперы Г. Доницетти «Велизарий» в петербургском Большом театре (сезон 1839/40 гг. – см.: Вольф, ч. II, с. 64).

...запела дребезжащим дискантом: Во лужях, лужях... – Народная песня, известная в публикациях с конца XVIII в. и не утратившая своей популярности во времена Некрасова. См. изображение поющего эту песню подгулявшего мужичка в изданном Некрасовым альманахе «Первое апреля» (СПб., 1846).

...играл на скрипке англес... – Англес (контрданс) – быстрый танец английского происхождения, родственник кадрили.

...на ногах – плисовые высокие сапоги. – Т. е. из бумажного бархата; обычно носились в старости.

Чтец начал читать псалтырь. – Псалтырь – книга религиозных песнопений, псалмов, в состав которой в русских печатных изданиях включались и молитвы. Здесь: молитвенник.

Славная деревенька Овинищи! – Овинищи – распространенное название деревень Ярославской и Владимирской губерний, где находились поместья Некрасовых (см.: Ярославская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 г. СПб., 1865 (по указателю); Владимирская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 г. СПб., 1863 (по указателю)).

...безобразных колодцев с очепами ~ и не видано... – Очеп – колодезный журавль.

...сказал однажды, заехав к ним, заседатель. – Заседатель – выборная дворянская должность в уездном суде.

Рококо – стиль в европейской архитектуре и декоративном искусстве XVII–XVIII вв., отличавшийся изысканной сложностью форм.

– Желаю здравствовать вашему высокоблагородию! – Для военных чинов – титул, соответствующий штаб-офицерским чинам от майора до полковника. Судя по тому, что Кирсанов недолго служил в чине поручика (часть двенадцатая, глава LIX), он вышел в отставку в чине майора, т. е., подобно отцу Некрасова, был отставным майором.

То был календарь 1796 года. ~ прочел, какая зима стояла в 1795 году. – Имеется в виду «Месяцеслов на лето от рождества Христова 1796». В «Месяцесловах» регулярно публиковались «Выписки учиненным при Санктпетербургской Академии наук наблюдениям о погодах и воздушных приключениях». Сведения о погоде в 1795 г. были опубликованы в «Месяцеслове» за 1797 г. (с. 64–66). По описи, составленной после смерти деда Некрасова, Сергея Алексеевича, в барском доме в 1810-е гг. числилось пять «старых годов календарей» (ЦГАЛИ, ф. 338, оп. 1, ед. хр. 222). Эти календари, по-видимому, сохранились в домашней библиотеке Некрасовых в Грешневе.



ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
...и греческую грамматику ~ дети пойдут; пригодится! – С 1830-х гг. греческий язык преподавался во всех гимназиях. Некрасову предстояло его изучать. Наиболее распространённым учебником греческого языка с конца XVIII в. до 1840-х гг. была «Краткая грамматика древнего греческого языка» (автор Б. В. Филонов), выдержавшая четырнадцать изданий. См. также, возможно, знакомые Некрасову-гимназисту «Начальные правила греческой грамматики» (М., 1834; 2-е изд. М., 1836) Г. Шада.

– На целковый не на целковый, а гривенников на десять будет... – Целковый – серебряный рубль.

– Ну, насчет пушки проштыкнулся! – Слово из военного лексикона, означающее «промахнулся», «ошибся»; Некрасову хорошо был знаком этот лексикон с раннего детства, по семейному окружению.

...да и Иван Софронич тоже не виноват... – В журнальной публикации и в отдельном издании романа этот герой именуется здесь, в отличие от предшествующих страниц, Иваном Сидорычем.

...нужно еще ~ басону... – т. е. тесьмы.

...упоминается Аустерлицкая битва... – Сражение между армией Наполеона I и частями союзных войск под общим командованием Кутузова, состоявшееся в Моравии 20 ноября 1805 г.

...отправился в Динабург... – Город Динабург (позднее Двинск) находился в Витебской губернии (ныне г. Даугавпилс Латвийской ССР).

Статья о приезжающих и отъезжающих с особенным интересом первая прочитывалась... – Сведения об офицерах и классных чиновниках, приезжающих в Петербург и отъезжающих, печатались в «Русском инвалиде», «С.-Петербургских ведомостях» и «Северной пчеле».

В числе экипажей ~ были старинные фельдъегерские дрожки... – Фельдъегерь – военный правительственный курьер.

...подсед сделался... – Подсед – трещина в копыте.

Пенник – крепкая малоочищенная водка.

...выдержит ли дрога... – Дрога – продольный брус в экипаже, соединяющий переднюю ось с задней.

...я давно не видал моего вицмундира... – Вицмундир – обычная (не парадная) форма одежды военных и гражданских чинов. Ср. часть двенадцатая, глава LVIII:...в парадном своем вицмундире...

– Верю во единого бога-отца... – Первый пункт символа веры – сущности учения православной церкви.

– А помнишь Данциг? ~ Ваше высокоблагородие там взяли знамя... – Имеется в виду эпизод войны 1806–1807 гг. между Россией, выступавшей в союзе с Пруссией, и Францией. В марте 1807 г. в Данциг, осажденный французами, прибыли морем на помощь пруссакам русские войска. В мае после неудачной попытки прорвать блокаду прусско-русский гарнизон капитулировал (упоминание о взятом знамени, таким образом, является художественной вольностью). Дядя Некрасова, Александр Сергеевич, участвовал в этом сражении в составе будущего Белостокского пехотного полка, в чине унтер-офицера (портупей-прапорщика). В позднейших походах, до гибели в сражении под Бунцлау в 1813 г., его сопровождал крепостной Некрасовых Кондратий Андреев. Материалом для комментируемого отрывка, по-видимому, послужили рассказы Кондратия, который в 1830-е гг. был дядькой при малолетних Некрасовых (см. выше). Ср.: наст. изд., т. VI, с. 197 («да брат с ногой, оторванной под Данцигом...») и 685, где в комментарии к пьесе «Забракованные» (1859) говорится о сражении под Данцигом 17 декабря 1813 г.

...а форменное завещание, как следует, в Приказе. – Завещания обычно представлялись в уездный суд или в губернскую Гражданскую палату. Приказ общественного призрения – учреждение, ведавшее устройством сирот, престарелых и

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
т. п.

...я сошелся с волостным головой... – Волостной голова – управляющий волостью, т. е. округом из нескольких сел и деревень, – низшей административной единицей, входившей в уезд.

...шляпа поярковая... – т. е. сотканная или сваленная из поярка (шерсти молодой овцы – ярки).

...крикнут: затылок/.. – Негодному рекруту подбривали затылок.

Доктор как закричит: «Лоб!» – Годному рекруту подбривали лоб.

...не слыхано, чтоб люди переодевались медведями, даже о святках. – Святки – время от Рождества до Крещения, между церковными праздниками, отмечавшимися 24 декабря и 6 января. В святочных играх участвовали ряженные.

...драдедамовый... – т. е. полусуконный.

В одной из больших петербургских улиц, отдаленной от центра города ~ дом, как крепость окруженный каменной стеной. – В романе изображен типичный дом с садом в стиле позднего барокко. Прообразом усадьбы явились произведения дворцово-паркового искусства середины XVIII в. в Царском Селе (ныне Пушкин), Петергофе (ныне Петродворец) и Ораниенбауме (ныне Ломоносов). Львы у входа в богатые особняки изготовлялись не из алебаstra, а из более прочного материала.

Зеркала в простенках ~ были штучные... – т. е. сборные, составленные из отдельных частей.

...камлотовый передник... – Камлот – грубая шерстяная ткань.

...под густой фальбарой чепчика... – Фальбара – оборка. В конце 1840-начале 1850-х гг. орфография этого слова не была единообразной (ср. часть двенадцатая, глава LVII: ...в белом чепце с фалбалой...).

...под огромным зеленым зонтиком... – Необычное употребление слова «зонтик» – в значении: козырек.

...угождай Зиновье Михайловне. – В журнальной публикации и в отдельном издании романа эта героиня именуется здесь, в отличие от последующих страниц, Зиновьеве Львовной.

...вследствие смерти Федосьи Васильевны... – В журнальной публикации и в отдельном издании романа эта героиня именуется здесь, в отличие от предшествующих страниц, Федосьей Ивановной.

...ее можно было сравнить разве с улыбкой Мефистофеля, когда он смотрел на плачущую Гретхен. – См. сцену «Тюрьма» из драматической поэмы Гете «Фауст». В сцене, однако, отсутствует авторская ремарка о физиономии беса. Сравнение с язвительно улыбающимся Мефистофелем либо является произвольным, либо подсказано каким-нибудь иллюстрированным зарубежным изданием поэмы.

...отыскала через приживалок старую, безобразную грузинку... – Косвенное указание на то, что в описании дома Наталья Кирилловны претворилась наблюдения над родственным окружением И. И. Панаева: среди знакомых М. Л. Панаевой, матери И. И. Панаева, родом армянки, были выходцы с Кавказа.

...разноцветные шкалики. – Шкалик – плошка с салом, употреблявшаяся при иллюминациях.

...исключая самого понтера. – Понтер – игрок, ставящий куш на карту в игре в банк.

– Новая талия! – Талия в игре в банк – законченный период игры, в течение которого прометывается вся колода.

...не сорвите банка! – Банк – ставка в карточной игре того же названия. Сорвать банк – выиграть всю ставку.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
...первые сюжеты труппы... – т. е. ведущие актеры, премьеры труппы.

...побежал в Коломну... – Коломна – часть Петербурга между Фонтанкой, Невой, Мойкой и Крюковым каналом.

– В Ухтомском лесу? – Источник топонима не установлен.

...мужик заходил в болото и проваливался в окошко. – Окошко – здесь: топкое место, скрытое тонким слоем растительности.

...усердно гонялся с Любой по лесу за коньками... – Конек – кузнечик. Кроме этих названий в романе употребляются и другие, отнесенные к этому же насекомому: стрекоза, сверчок. Ср.: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 301, 357.

...к холоду бабочка превращается в куколку? ~ у меня она есть, с картинками. – В книге с картинками, на которую ссылается героиня, поправляя своего собеседника, утверждавшего, что к зиме бабочки умирают, не могло рассказываться о превращении бабочки в куколку (ср., например: Естественная история для детей. Царство животных. СПб., 1842, с. 26).

Спенсер – короткий облегающий жакет.

...искал эквилибру... – т. е. равновесия.

Модита – проклятый (итал. modita).

– Полно, Кирилловна... – В журнальной публикации и в отдельном издании романа эта героиня именуется здесь, в отличие от предшествующих страниц, Устиновной.

Антраша – элемент классического танца; вертикальный прыжок с двух ног.

Волтижеры – цирковые гимнасты-наездники.

«Сам и пашет, сам орет и оброк с крестьян берет»... – Источник цитаты не установлен. Орать – пахать, но не плугом, а сохой. Ср.: «В городе не орут, не пашут, а сытей нашего едят» (Даль, т. II, с. 689).

...маленькая левретка лежала на ковре. – Левретка – комнатная собачка.

– Какой же я буду дож? – Дождь – выборный пожизненный глава государства в Венецианской (VIII–XVIII вв.) и Генуэзской (XIV–XVIII вв.) республиках. Это редкий сценический персонаж в русском театральном репертуаре, известный преимущественно по трагедии Шекспира «Отелло». Однако из последующего изложения видно, что заезжие комедианты разыгрывают в усадьбе другую трагедию, – точнее, мелодраму с благополучным концом. Немотивированное упоминание о костюме дождя, возможно, связано с забавным памятным эпизодом некрасовской биографии, относящимся к началу 1840-х гг. Некрасов, заложив свое платье, взял напрокат для участия в маскараде костюм венецианского дождя и вынужден был в нем оставаться до тех пор, пока не добыл денег на выкуп своего платья (см.: Белоголовый И. А. Граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов. – В кн.: Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. М., 1897, с. 207–208).

...пел басом: Мы живем среди полей... ~ Жизнь для нас копейка! – Нарочито комическая контаминация строк из различных произведений. Первая строка – из «Цыганской песни» впервые прозвучавшей в опере «Пан Твардовский» (д. II, явл. 1) (муз. А. Н. Верстовского, либретто М. Н. Загоскина; первое представление в Петербурге в сезон 1828/29 гг. – см.: Вольф, ч. II, с. 13) и вскоре широко распространившейся в альманахах и песенниках (см., например: Драматический альманах для любителей и любительниц театра, изданный на 1828 год Ардальоном Ивановым. СПб., 1828, с. 133–134). Прием шуточной контаминации текстов наблюдался и в романе «Три страны света» в строках «Будем пить и веселиться, Станем жизнью играть» (часть первая, глава VII). Первый стих – слегка измененная цитата из оперы «Цампа, или Мраморная невеста» (д. I, явл. 13) (муз. Л.-Ж.-Ф. Герольда, рус. вариант либретто Д. Т. Ленского) (см.: Оперы и водевили. Пер. с франц. Д. Ленского. Т. 3. М., 1836, с. 43).

...стихи из «Эдипа»: О дочь несчастная преступного отца! – Цитата по памяти из трагедии В. А. Озерова «Эдип в Афинах» (СПб., 1804). Ср.: «Постой, дочь нежная

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a преступного отца!» (д. II, явл. 1). Трагедия, пользовавшаяся большим успехом в первой четверти XIX в., возобновлялась в Александринском театре несколько раз и в позднейшее время, например в 1840 и 1846 гг. (см.: История русского театра, т. 2, с. 540; т. 3, с. 336; т. 4, с. 417), в бытность Некрасова в Петербурге. Цитата вошла в роман, по-видимому, не по воспоминаниям о спектакле, а из устного обихода, сообщившего крылатому выражению характерный для 1840-х гг. мелодраматический оттенок. Былой успех трагедии отозвался в различных слоях русского общества, приобщавшихся к театральной жизни. По воспоминаниям М. Д. Бутурлина, его крепостной буфетчик Иван Бешенцов, позднее ставший управляющим его костромским имением, любил декламировать стихи из трагедии, подражая трагику А. С. Яковлеву (см.: Бутурлин М. Д. Записки. – РА, 1897, № 3, с. 400; № 4, с. 619). О знакомстве Некрасова с Бутурлиным и его управляющим сведений не имеется. Однако важно иметь в виду, что Бутурлин был заметной фигурой в Петербурге 1840-х гг. Владелец прекрасного голоса, он долго жил и учился в Италии. Может быть, не случайно, Тавровский, герой «Мертвого озера», наделен таким же талантом и подобной особенностью биографии. Трагик, изображенный в «Трех странах света», именуется Бешенцовым, – возможно, не только по аналогии с фамилией ярославского оперного и драматического актера (см.: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 350). Некрасов во время поездок на родину нередко охотился в Костромской губернии, где находилось имение Бутурлина.

Она теперь со всем семейством уехала в Яковку... – Известны деревни под названием Яковково в Ярославской губернии (см.: Ярославская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 г. (по указателю)).

...позвонил у двери великолепной квартиры в С\*\* улице.– По-видимому, подразумевается Сергиевская улица, с которой связаны отразившиеся в романе устные воспоминания И. И. Панаева (см. выше, с. 263, 287). Панаев воспитывался в семье С. П. Берникова, проживавшей до конца 1810–1820-х гг. по Сергиевской улице, № 533 (ныне улица Чайковского, № 23) (см.: <Реймерс Г.>. Санктпетербургская адресная книга на 1809 год, р.с. 16, 371; Аллер Самуил. Указатель жилищ и зданий в С.-Петербурге, или Адресная книга на 1823 г. СПб., 1822, с. 101; ЛГИА, ф. 841, оп. 1, ед. хр. 42, л. 33). Дом, описываемый в романе, в отличие от указанного выше, имеет вид роскошного старинного особняка.

...человек лет тридцати в утреннем костюме ~ трижды поцеловал господина в халате и феске. – Прототипом франта-камердинера можно считать слугу Панаевых по прозвищу «Барон» (см.: Панаева, с. 168, 365; Панаев В. А. Воспоминания, с. 482).

...политики никакой нет... – Слово «политика» употреблено здесь в значении: вежливое, учтивое обращение.

– И приказный из города сватался... – Приказный – архаическое название канцелярского служителя.

– Что в вашей? ~ А вынеси-ка, говорит, «Опытного предостерегателя» в прихожую... – Традиционный намек на газету «Северная пчела», издатель которой, Ф. В. Булгарин, оказывал личные услуги владельцам ряда известных магазинов и ресторанов. См. об этом же в «Очерках литературной жизни» (1845) (наст. изд., т. VII, с. 372, 600) и в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» (т. VIII, с. 177, 743), а также: Греч Н. И. Фаддей Венедиктович Булгарин (1789–1859).– РС, 1871, № 11, с. 506.

...как схватит его сплин... оно, понимаете, по-французски так называется, а по-нашему выходит – вроде черной немочи... – Сплин (spleen) – слово английского происхождения. Черная немочь – народное название легочной болезни.

...спросит бутылку клеко... – Искаженная огласовка названия марки шампанского Клико (полное название – Вдова Клико Понсарден), ввозившейся в Россию из Франции и до середины 1830-х гг. считавшейся среди этой категории вин самой лучшей.

– Темная! – Т. е. карта изнанкой вверх. Игра в темную – наиболее азартный вид карточной игры.

...была убита по второму абцугу... – Абцуг – в игре в банк метание карт вправо и влево.

...водил ее в Кунсткамеру... – Кунсткамера – зоологический, зоотомический и анатомический музей при Академии наук (ныне ее коллекции вошли в состав Музея

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a антропологии и этнографии им. Петра Великого и Зоологического музея АН СССР).

Биржа – петербургская фондовая биржа, учреждение, осуществлявшее покупку и продажу ценных бумаг и оформление товарных оптовых сделок; находилась на стрелке Васильевского острова, в одном из красивейших мест Петербурга (ныне в здании бывшей Бирнш помещается Центральный военно-морской музей). За Биржей был расположен сквер, в котором в теплое время года выставлялись клетки с заморскими певчими птицами (см.: Пушкирев, Описание Санкт-Петербурга, ч. 3, с. 62).

...поставил карту ва-банк. – Т. е. на ставку, равную всему банку.

...жил в номерах где-то возле Ямской. – На Ямской улице (ныне улица Достоевского) находилось несколько постоянных дворов для приезжих разного звания (см.: Нистрем К. М. Книга адресов С.-Петербурга. СПб., 1837, с. 1428). С этой улицей у Некрасова были связаны воспоминания о первых годах проживания в Петербурге. В 1842 г. он снимал квартиру на углу Ямской и Разъезжей улиц. Автобиографический герой «Жизни и походов Тихона Тростникова» по приезде в Петербург поселяется на Ямской (см.: наст. изд., т. VIII, с. 69).

Фаэтон – легкая коляска с откидным верхом.

Жокей – здесь: грум, т. е. слуга, сопровождающий экипаж.

...помещалось несколько магазинов... – Магазин – здесь: склад.

...табак крошился и набивался в картузы... – Картуз – здесь: бумажный мешок.

...бралась ложа в немецком театре... – Немецкая труппа давала спектакли попеременно в зданиях Александрийского театра (ныне Государственный Академический театр драмы им. А. С. Пушкина) на одноименной площади (ныне площадь Островского) и Михайловского театра (ныне Государственный Академический Малый театр оперы и балета) на Михайловской площади (ныне площадь Искусств). Обычный состав публики на спектаклях немецкой труппы – чиновники среднего класса, купцы и ремесленники; многие приходили с детьми (см.: <Греч Н. И.> Карманная книжка для любителей театра. СПб., 1853, с. 66–67).

...семейный вечер в клубе... – в Петербурге 1840-х гг. было два немецких клуба: Бюргер-клуб Большого гражданского общества (бывший Шустер-клуб; Адмиралтейский проспект, № 11 (ныне № 8)) и Малого мещанского собрания (зимнее помещение – Невский проспект, № 14 (ныне № 15), летнее – набережная реки Мойки, № 95 (ныне № 102)) (см.: Пушкирев, Описание Санкт-Петербурга, ч. 3, с. 147, 149; Панаева, с. 42).

...дом в городе ВВ... – Русские литеры в отличие от общепринятых латинских NN как бы указывают на определенный город. Единственным соответствующим этим литерам является название города Вышний Волочек Тверской губернии. Некрасов был знаком с описанием этого города, принадлежавшим И. Ф. Штукенбергу (см.: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 326, 357–359). Кроме сходства в начальных буквах названия, изображенный в романе город ничем не напоминает Вышний Волочок. В этом городе не было сезонной ярмарки. Ниже (– Открываю новое отделение фирмы в городе ВВ...) он отнесен к Нижегородской губернии, где возле губернского города действительно устраивалась ежегодная ярмарка. Некрасов, возможно, посетил эту ярмарку в 1846 г. во время своего путешествия в Казанскую губернию (см. выше).

...Во время прогулок с бульвара Гарелин часто проходил на Английскую набережную, останавливался против здания Академии художеств... – Английская набережная (ныне набережная Красного флота) находилась напротив Набережной Большой Невы, где помещалась Академия художеств (ныне Университетская набережная, № 17).

...можно было получить предполагаемые вещи разве только в толкучем рынке. – Толкучий рынок, на котором сбывались без свидетельства о торговле подержанные вещи, располагался рядом со Щукиным двором, позади лавок Апраксина двора (Садовая улица, № 23 (ныне № 28)) (см.: Пушкирев, Описание Санкт-Петербурга, ч. 3, с. 17–18).

...«Показать Магелойму»... – Сведений о портном Магелойме не обнаружено.

...картины американской природы, вычитанные им из романов Купера. – Авторы

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a  
«Мертвого озера» испытали заметное влияние Ф. Купера. Панаева зачитывалась, или, вернее, заслушивалась его романами, которые вслух читал ей муж (см.: Панаев В. А. Воспоминания, с. 480). Знакомство с произведениями Купера явилось одним из стимулов к написанию романа «Три страны света», где в параллель к американским индейцам изображаются камчадалы и где один из главных персонажей, Антип Хребтов, своим благородством и знанием природы напоминает главного героя куперовских романов – Патфайндера. Роман Купера «Следопыт» в первом переводе на русский язык (1840; переводчики – М. Н. Катков, И. И. Панаев, М. А. Языков) назван «Путеводитель в пустыне, или Озеро-море». Вторая часть заголовка несколько перекликается с первоначальным вариантом заглавия романа – «Озеро смерти».

...явилась лодка, похожая на гичку... – Гичка – узкая легкая быстроходная лодка.

...принесет просвиру... – Просвира – белый круглый хлебец из крутого теста, употребляемый в обрядах православного богослужения.

Прочитав «Богородицу»... – «Богородица» – здесь: название молитвы (тропаря к пресвятой богородице) о спасении от бедствия.

...отправившись к св. Сергию, по обещанию... – Имеется в виду Троице-Сергиевская лавра, монастырь в Загорске, под Москвой. Обещание здесь: религиозный обет.

...пустое место занималось ~ поминаньем в бархатном переплете.– Поминанье – здесь: книжечка со списком имен усопших для поминовения в церкви.

Мы собрались на Расплёс (так называется место, где начинается взморье). – Ныне эта местность соответствует Гутуеву острову.

...подъезжали к Круглому острову... – О Круглом острове (ныне часть Гутуева острова) см.: Петербург и вода. Заметки петербургского зеваки. – Репертуар и Пантеон, 1845, кн. 4, с. 288; кн. 8, с. 524, 526.

Остров с одной стороны огибала Бабья речка... – Ныне эта речка не существует.

– А ружье-то славное! ~ Лепажевское! – Жан Лепаж (1779–1822) – знаменитый парижский оружейный мастер.

...(он торговал красным товаром)... – т. е. тканями.

– В Измайловский полк ~ В Девятую роту <...> дом Ерофеева... – Ныне 9-я Красноармейская улица. Домовладелец Ерофеев, по-видимому, вымышленное лицо. Дом Ерофеева упоминается и в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» (см.: наст. изд., т. VIII, с. 166).

...в своем черном бурнусе... – Бурнус – безрукавный плащ с капюшоном, обычно изготовлявшийся из белой овечьей шерсти. В России вошел в моду с начала 1840-х гг. (см.: СП, 1840, 24 апр., № 94, а также: Муллер Н. Андриенн, берта и епанечка. – Наука и жизнь, 1975, № 4, с. 154–155). Мода 1851 г. предписывала носить бурнусы «исключительно <...> черного цвета» (С, 1851, № 11, отд. VI, с. 92). Отдел мод в «Современнике» обычно вели супруги Панаевы. При этом, однако, не исключалось эпизодическое участие Некрасова (см.: Боград Совр., с. 71, 483, 515). Примечательно, что в цитированном обозрении, как и в части первой «Мертвого озера» (С, 1851, № 1), колеблется орфография слова «пелеринка» (вариант: «перелинка»).

Крез – царь Лидии, живший в V в. до н. э. и, по преданию, обладавший несметными богатствами; здесь это имя употреблено как нарицательное.

...откинул драпри... – Драпри – занавеси со складками.

В Коломну, слышь, переехал, в Паточную улицу... – Паточная улица (см. также ниже – Паточный переулок) – вымышленное название.

Приживалка ~ очень походила на одну из ведьм Шекспира в «Макбете». – В трагедии Шекспира «Макбет» ремарки с описанием наружности ведьм отсутствуют. Ко времени написания «Мертвого озера» «Макбет» с иллюстрациями в России не издавался. Сравнение приживалки с «одной из ведьм» подсказано скорее всего воображением автора комментируемой главы. Трагедия была известна Некрасову, по-видимому, в

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
переводе А. И. Кронеберга (см.: Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым.  
СПб., 1846)..

– Кроме-с Григория Михайлыча. – В журнальной публикации и в отдельном издании романа этот герой именуется здесь, в отличие от предшествующих страниц, Григорием Семенычем.

«Сколько очистилось? – Специфически театральное выражение; вопрос, означающий: сколько получено чистого денежного сбора?»

...какой-нибудь дивертисемент из него? – Дивертисмент – сценическое представление, состоящее из отдельных музыкальных или драматических номеров, в дополнение к спектаклю; обычная особенность театрального репертуара в описываемое время.

– Коман ву порте ву? (франц. «Comment vous portez-vous?» – «Как поживаете?»).

– Экскузе пур деранже! (искаж. франц. «Excusez pour deranger!») – «Извините за беспокойство!».

...как бы из тафты. – Тафта – гладкая тонкая шелковая ткань.

...сидел впереди в четвероместном шарабане... – Шарабан – открытый экипаж с поперечными скамьями.

...дуэт из «Монтеки и Капулетти».- Имеется в виду дуэт Ромео и Джульетты из оперы В. Беллини «Капулетти и Монтеки» (д. I, явл. 6), написанной на сюжет трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Поставленная в Петербурге в сезон 1836/37 гг., опера пользовалась большим успехом до середины 1840-х гг. (см.: Вольф, ч. I, с. 57 и др.). В петербургской театральной среде обиходным было название «Капулеты». Судя по инверсии в названии оперы («Монтеки и Капулетти»), комментируемый эпизод писался по отдаленным театральным воспоминаниям.

...как будто видел перед собою Юлию... – В дуэте, исполнявшемся Тавровским и мадемуазель Анет, Ромео обращается к Джульетте: «Бесценная, положиись на мою верность, бежим для счастья!» (Капулетти и Монтеки, мелодрама в 4-х действиях. Муз. Беллини. СПб., 1844, с. 14–15). Русская огласовка имени героини – Юлия – восходит, видимо, к первоначальному переводу либретто оперы Д. Штейбельта «Ромео и Юлия», принадлежавшему А. Волкову.

...запели «Вниз по матушке по Волге...» – Известная по песенникам с 1770-х гг., эта песня в 1840-е гг. пользовалась большой популярностью в различных слоях русского общества. Среди известных ее исполнителей был знакомый Некрасова и Панаевой, Г. М. Толстой (см.: Анненков, с. 291; Тургенев А. И. Хроника русского. Дневник (1825–1826). л., 1964, с. 527; Ирли, ф. 309, ед. хр. 300, л. 28 об.; см. также: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 356).

...запела романс Офелии.- Имеется в виду романс Офелии из трагедии Шекспира «Гамлет» (д. IV, явл. 2), переведенной Н. А. Полевым (см.: Гамлет, принц датский. Драматическое представление. Соч. Виллиама Шекспира. Пер. с англ. Николая Полевого. М., 1837, с. 157–158). Перевод романса, положенного на музыку А. Е. Варламовым, принадлежит Кс. А. Полевому (см.: Иванов Г. К. Русская поэзия в отечественной музыке (до 1917 г.), вып. 1. М., 1966, с. 272). В Петербурге, в Александрийском театре, в сезон 1839/40 гг., роль Офелии исполняла В. Н. Асенкова. Некрасов посвятил ей стихотворение «Офелия» (1840). Позднее роль Офелии перешла к В. В. Самойловой, обратившей на себя внимание прочувствованным исполнением романса (см.: Вольф, ч. I, с. 97). Некрасов был лично знаком с обеими исполнительницами этой роли.

...запела романс Дездемоны из второго акта. – По-видимому, имеется в виду романс Дездемоны из третьего акта (явл. 15) оперы Д. Россини «Отелло» (1817; сезон 1828/29 гг.), одной из самых популярных в репертуаре итальянской оперы в Петербурге (см.: Вольф, ч. II, с. 13; подстрочный перевод романса см. в русском варианте либретто: Отелло. Большая опера в трех действиях. Муз. Россини. Пер. с итал. СПб., 1843, с. 27). Романс Дездемоны известен также по пьесе Шекспира «Отелло, или Венецианский мавр» (д. IV, сц. 3), переведенной И. И. Панаевым (отд. изд.: П-в Ив. Отелло, или Венецианский мавр. Драма в пяти действиях Шекспира... СПб., 1836, с. 171–172; автор музыки не установлен). Трагедия в этом переводе шла в Александрийском театре, начиная с сезона 1836/37 гг. Последние ее

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a постановки относятся к сезону 1848/49 гг. (отдельные сцены) (см.: История русского театра, т. 3, с. 244; т. 4, с. 314). В сезон 1836/37 гг. в роли Дездемоны выступала сестра Панаевой Анна Брянская (см.: Вольф, ч. I, с. 51; Панаева, с. 63).

...уже нет тех волшебников, которые жен рыбаков превращали в графинь! – Литературный источник не установлен.

Приближался день рождения Марка Семеныча. ~ учили детей разным поздравительным стихам к этому дню. – Детские поздравления в стихах по случаю дней рождения и праздничных дней были обычны в культурных семьях вплоть до конца XIX в. Воспитатели разучивали с детьми стихотворения, большая часть которых заимствовалась из сборников, издававшихся специально для этой цели (см., например: Федоров Б. М. Приветствия детской любви, или Собрание стихов, говоренных детьми для поздравления родителей и родных. СПб., 1834; Новые детские поздравления в стихах, с праздниками. Подарок детям и родителям. СПб., 1838; 2-е изд. СПб., 1844; Г-н В. Детские поздравления на русском, французском и немецком языках (стихотворения). СПб., 1847). В автобиографической заметке Некрасов приводит свое первое стихотворение, написанное в семилетнем возрасте и обращенное к матери в день ее именин (см.: ПСС, т. XII, с. 20); возможно, это были «ходячие поздравительные стихи той эпохи» (Некрасов П. А. Полн. собр. стихотворений. 9-е изд. Л., 1935, с. 561). Вариант этого поздравления (от имени вымышленного лица, четырнадцатилетнего мальчика) приводится в некрасовских «Записках Пружиним» (1845) (см.: ПСС, т. V, с. 531).

...ни кусочка блонд... – Блонды – шелковое кружево тонкой работы, белого или кремового цвета.

...в застольной было решено... – Застольная в барском доме – столовая комната для дворовых людей.

– А ты роль леди Макбет начинаешь осуществлять в жизни ~ отвечал Остроухое, прибегая в своем возражении к театральным воспоминаниям. – «Макбет» на русской сцене не ставился до 1861 г. Сравнение Любской с леди Макбет основано на отдаленной ассоциации с общим обликом шекспировской героини и не соотносится с сюжетом трагедии. Слова «только недостает кровью запятнать руки» имеют в виду сцепу 1 действия V.

...не запрашивают и на Щукином дворе!! – Щукин двор – петербургский рынок, находившийся на углу Садовой улицы, № 21 (ныне № 28) и Чернышева переулка, на месте одного из строений нынешнего универсама «Апраксин двор».

...указывая на сгорбленную старуху в котях и повойнике... – Коты – женские башмаки; повойник – головной убор замужних крестьянок, платок, обвитый вокруг головы.

...проводил ночь на улице или в будке. – Имеется в виду полицейская будка, караульное помещение.

Условные сокращения, принятые в настоящем томе  
Анненков – Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983.

Бдч – «Библиотека для чтения».

Боград Совр. – Боград В. Э. Журнал «Современник». 1847–1866. Указатель содержания. М.-Л., 1959.

ВЕ – «Вестник Европы».

Вольф – Вольф А. И. Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года, ч. I–II. СПб., 1877.

ГБЛ – Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва).

ГПБ – Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

Даль – Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка, т. I–IV. М., 1978–1980.



Добролюбов – Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти т. М. – Л., 1961–1964.

Евгеньев-Максимов – Евгеньев-Максимов В. Е. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова, т. I–III. М. – Л., 1947–1952.

Зими́на – Зими́на А. Некрасов-беллетрист. – В кн.: Творчество Некрасова. Сб. статей под ред. А. М. Еголина. М., 1939 (Тр. Моек, ин-та истории, философии и лит., т. 3).

ИВ – «Исторический вестник».

ИРЛИ – Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (Ленинград).

История русскою театра – История русского драматического театра. М., 1976– (издание продолжается).

ЛГ- «Литературная газета».

ЛГИА – Ленинградский государственный исторический архив.

М – «Москвитянин».

МВ – «Московские ведомости».

Некр. сб. – Некрасовский сборник, I–III. М.-Л., 1951, 1956, 1960; IV–VIII. Л., 1967, 1973, 1978, 1980, 1983.

ОЗ – «Отечественные записки».

Панаев – Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950.

Панаева – Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания, М., 1972.

ПСС – Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, т. I–XII. М., 1948–1953.

Пушкарев, Описание Санкт-Петербурга – Пушкарев Иван. Описание Санкт-Петербурга и других городов Санкт-Петербургской губернии, т. I–IV. СПб., 1839–1842.

РА – «Русский архив».

РС – «Русская старина».

С – «Современник».

Скабичевский – Скабичевский А. Николай Алексеевич Некрасов (его жизнь и поэзия). – Отеч. зап., 1878, № 6.

СП – «Северная пчела».

Тургенев, Соч. – Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т. Соч. в 15-ти т. М. – Л., 1960–1968.

ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (Москва).

Цылов – Цылов Н. Атлас тринадцати частей С.-Петербурга. СПб., 1849.

Чернышевский – Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. I–XVI. М., 1939–1953.

Черняк – Черняк Я. З. Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве. М. – Л., 1933.

Примечания

1  
в китайском стиле (франц.)

2  
Добрый вечер (франц.)

3  
здравствуйте (франц.).

4  
Благодарю (франц.).

5  
Здравствуйте, мадемуазель! (франц.)

6  
по-семейному (франц.)

7  
Гордячка (франц.)

8  
Моя дорогая (франц.)

9  
напротив (франц.)

10  
См.: Звенья, VI. М.-Л., 1936, с. 363.

11  
См.: Лемке Мих. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. СПб., 1908, с. 199–201. В анонимной записке, приложенной к делу, выражалось несогласие с замечанием Н. Н. Анненкова: указывалось, что рецензент «Современника» не погрешил против истины, говоря об упадке литературы, ибо, действительно, «уже лет 10-ть, как не появлялось ни отличных произведений, ни новых литературных талантов; кроме как на Жуковского, не на кого теперь указать из русских писателей. Подававшие надежду в начале своего поприща Кукольник, Бенедиктов, Гоголь, чем долее трудились, тем более теряли свои права на литературную знаменитость <...>. Даже от Булгарина, который ищет, нет ли чего преступного в каждой строке других журналов, не слышно замечаний на статью «Современника»» (там же, с. 200–201). Записка, по-видимому, не противоречила мнению шефа жандармов. В поэме «Недавнее время» (1871) Некрасов, рассказывая о вызове в III Отделение, так передал заключительные слова Орлова: «Только знайте: еще попадетесь, Я не в силах вас буду спасти» (наст. изд., т. III, с. 75, 340). Близкое к приведенному высказывание Орлова приводит в своих мемуарах Панаева: «Будьте осторожны, господа! Тогда я уже ничего не буду в состоянии сделать для вас...» (Панаева, с. 178). Мягкий тон выговора, однако, не означал того, что Некрасову нечего было опасаться. «Господин шеф жандармов, – писал 31 октября 1849 г. управляющий III Отделением граф Л. В. Дубельт, – имеет неблагоприятные сведения насчет образа мыслей редактора «Современника» господина Некрасова. Должно наблюдать за ним» (Лемке Мих. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг., с. 201).

12  
Лемке Мих. Очерки по истории русской цензуры. СПб., 1904, с. 247–248;  
Евгеньев-Максимов В. «Современник» в 40–50-е годы. Л., 1934, с. 257–258; ГПБ, ф. 831, ед. хр. 3, л. 15 об.–18.

13

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovnikola  
Это сообщение может относиться как к «Мертвому озеру», так и к другому роману. В  
объявлении об издании «Современника», датированном 3 августа 1851 г., среди  
произведений, уже имеющих в редакции, назван «новый роман г. Станицкого»  
(возможно, «Мелочи жизни») (С, 1851, № 11, с. 4 особой пагинации; ПСС, т. XII,  
с. 162).

14

См.: Пыпин А.Н. Некрасов. СПб., 1905, с. 210.

15

См.: Каминский В. И. Из наблюдений над прозой Некрасова (о романе «Мертвое озеро»). – В кн.: Н. А. Некрасов и русская литература второй половины XIX – начала XX веков. Ярославль, 1982, с. 30.

16

Начало действия определяется по рассказу о прошлом Кирсанова. Кирсанов был ранен во время кампании 1806–1807 гг. и умер спустя двадцать с небольшим лет, т. е. в конце 1820-х гг. или в самом начале 1830-х гг. (главы XXX и XXXI части шестой). После этого проживавший с ним Иван Софронич переселяется в Петербург вместе с тринадцатилетней дочерью Настей. Из дома Натальи Кирилловны Настя уходит в возрасте восемнадцати лет (глава XXXV части седьмой), т. е. приблизительно в середина 1830-х гг. Через год или два приезжает из-за границы Тавровский (глава XXXVI той же части). Еще через год он отправляется в деревню, где встречает Любу (главы XXXVII части седьмой и XXXVIII части восьмой), а через два года Люба, оставленная Тавровским, кончает с собой (глава LXVIII части пятнадцатой). События эпилога охватывают период приблизительно в десять лет. Действие, таким образом, завершается в конце 1840-х гг.

17

См.: Майков Ф. Ярославский театр. – Пантеон русского и всех европейских театров, 1840, № 7, с. 197–198; Коренной ярославец. Письмо в редакцию. – Репертуар русского театра на 1841 год, кн. II, отд. «Хроника современных театров», с. 85. Автор последней статьи утверждает, приводя неотразимые доказательства, что статья, подписанная: «Ф. Майков», основывается на полустершихся впечатлениях сезона 1836/37 гг. и что подпись под нею – псевдоним позднейшего происхождения. Не исключается, что псевдоним «Ф. Майков» принадлежал Некрасову, ставшему в 1840 г. постоянным сотрудником «Пантеона русского и всех европейских театров». На это указывает не только анахронизм в характеристике ярославской труппы, налагающийся на дату отъезда Некрасова из Ярославля (июль 1838 г.), но и наличие фамилии Орлеанский как в антропонимике «Мертвого озера», так и в рассматриваемой статье.

18

Это убеждение не было, однако, всеобщим. См., например, замечание А. И. Шуберт (урожденной Куликовой) о приведенных воспоминаниях Панаевой: Шуберт А. И. Моя жизнь. Л., 1929, с. 58.

19

См.: Куликов Н. И. Театральные воспоминания. – Искусство, 1883, № 22, с. 253–254. Воспоминания Куликова подтверждаются свидетельством самого Живокини (см.: Театральные афиши и антракт, 1864, 12 марта; перепечатано: Б-ка театра и искусства, 1914, кн. 2, с. 23). Николай мог видеть водевиль в Москве 2 октября 1830 г. (см.: История русского театра, т. 3, с. 292). Случай с Н. А. Самойловым не единственный в закулисных распоряжениях Николая. Известны его предложения Мартынову и П. Г. Григорьеву имитировать разных лиц (см.: Вольф, ч. I, с. 121; Алексеев А. А. Воспоминания актера. М., 1894, с. 41). Подобный обычай был вообще распространен среди артистов столичных театров. Так, в комических сценах Гоголя «Игроки» (сезон 1843/44 гг.) В. В. Самойлов воспроизвел речь и манеры одного петербургского игрока (см.: Вольф, ч. I, с. 104; История русского театра, т. 3, с. 260; т. 4, с. 333); он же в водевиле П. И. Григорьева «Складчина на ложу в итальянские оперы» (тот же сезон) загримировался под известного меломана (см.: Вольф, ч. I, с. 105; История русского театра, т. 3, с. 312; т. 4, с. 391). В водевиле П. А. Каратыгина «Ложа первого яруса на последний дебют Тальони» (сезон

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a  
1837/38 гг.) актеры того же театра Милославский (сценический псевдоним Н. К. Фридебурга), Н. П. Беккер и В. В. Годунов представили Поливанова, А. Л. Элькана и еще одного театрала; автор пьесы получил от императора ценный подарок (см.: Вольф, ч. I, с. 68–69; История русского театра, т. 3, с. 269; т. 4, с. 344). В. В. Пруссаков в водевиле Вельяшева и Рунича «Театралы» (сезон 1848/49 гг.) изобразил графа С. П. Потемкина (см.: Вольф, ч. I, с. 132; История русского театра, т. 4, с. 401).

20

См.: Анненков П. В. Литературные проекты А. С. Пушкина.– ВЕ, 1881, кн. 7, с. 41.

21

См.: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. 7. [М.-л.], 1951, с. 431; т. 12. [М.-л.], 1952, с. 72–78.

22

См.: Куликов И. И. Пушкин и П. В. Нащокин.– РС, 1880, с. 993; История русского театра, т. 4, с. 441.

23

См.: Гершензон М. Друг Пушкина Нащокин. – В кн.: Гершензон М. Образы прошлого. М., 1912, с. 51–70; Раевский Николай. Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин. – В кн.: Раевский Николай. Избранное в 2-х т., т. 2. Алма-Ата, 1984, с. 30, 34, 35.

24

См.: Т-н В. <Толбин В.В.>. Московские оригиналы былых времен (заметки старожила). Павел Воинович. – Искра, 1866, № 47, с. 625.

25

См.: Куликов Н. И. Пушкин и П. В. Нащокин, с. 991.

26

См. там же, с. 990.

27

См.: Куликов Н. И. Театральные воспоминания. – Искусство, 1883, № 5, с. 54, 55–56; Орлова П. И. В старой театральной школе. – Зап. гос. ин-та театрального искусства, 1940, с. 222–223.

28

См.: Панаев И. И. Первое полн. собр. соч., т. 5. СПб., 1889, с. 17–18, 20, 362–372, 514; см. также о приживалках в доме матери И. И. Панаева: Панаева, с. 84; Панаев В. А. Воспоминания.– РС, 1893, сент., с. 475, 478.

29

См.: Первухин Н. По живым следам. Родовое гнездо Некрасовых. – Красная нива, 1928, № 1, с. 8; Чистяков В. Ф. Старожилы некрасовщины о Некрасовых. – В кн.: Ярославский край, сб. II. Ярославль, 1930, с. 198; Еремин Г. Архивные документы о роде Некрасовых. – Сев. рабочий, 1939, 24 авг., № 193. В 1842 г. господский дом в Грешневе был перестроен (см.: Дмитриев С. С. Объявления Некрасовых в ярославской газете. – В кн.: Ярославский край, сб. I. Ярославль, 1928, с. 61).

30

См. о нем: Евгеньев-Максимов, т. I, с. 13–14; Николаев Е. П. История 50-го Белостокского пехотного полка. СПб., 1907, с. 54, 57, 72, 77 (прилож.).

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
31

См., например: Дмитриев С. С. Объявления Некрасовых в ярославской газете, с 61; Полотебнов А. Г. Грешнево и Некрасов. – В кн.: Ярославский край, сб. I, с. 68; Попов А. Н. А. Некрасов и Ярославская область. – В кн.: Альманах. Литературно-художественный и краеведческий сборник Ярославской области. М.-Ярославль, 1938, с. 64.

32

См.: С.-Петербургские сенатские объявления <...> по судебным делам, 1855, 31 янв., № 9.

33

См.: Евгеньев В. Н. А. Некрасов. М., 1914, с. 27, а также: наст. изд., т. III, с. 458.

34

Сохранилась статуэтка работы Е. А. Лансере, изображающая элегантную всадницу, у ног которой плещутся волны. Существует предание, что тема скульптуры – Панаева на берегу Мертвого озера (см.: Чельшев Б. Интересная находка. – Волга, 1972, № 1, с. 188–189). Однако физиономического сходства с Панаевой не наблюдается, а дата скульптуры (1870-е гг.) указывает на то, что если автора и вдохновлял образ Панаевой, то он создавался по воображению. Тем более нет оснований считать, что элемент пейзажа в скульптуре относится к некоему Мертвому озеру.

35

См.: Полотебнов А. Г. Грешнево и Некрасов, с. 76.

36

В литературе о «Мертвом озере» указывалось на то, что заглавие романа, вероятно, символизирует «социальное зло» (Евгеньев-Максимов, т. II, с. 167) и что цензура в этом заглавии, возможно вызвавшая «ассоциацию с названием поэмы Гоголя» (Каминский В. И. Из наблюдений над прозой Некрасова..., с. 37), усмотрела «аллегорический намек на царскую Россию» (Некр. сб., II, с. 447). Это предположение нуждается в доказательствах.

37

См.: Stuckenberg J. Ch. Hydrographie des Russischen Reiches, Bd I. Sankt-Peterburg, 1844, S. 640–641. Некрасов использовал статью И. Ф. Штукенберга о Боровицких порогах в романе «Три страны света» (см.: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 358–359). А. И. Штукенберг, сын предыдущего, печатал стихи в «Литературной газете» в начале 1840-х гг. Неоднократно встречавшаяся Некрасову, эта фамилия перешла на страницы «Мертвого озера».

38

Это название вновь напомнило о себе в сравнительно недавнее время. Среди жителей деревни Семиозерье, находящейся возле Куолемаярви и заселенной после войны, бытует предание о том, что до их поселения в озере погибло много народу.

39

Здесь и далее для переводов приведены даты журнальных публикаций.

40

Ср. упоминание о Дагобере в «Тонком человеке, его приключениях и наблюдениях» (1853–1855) (наст. изд., т. VIII, с. 368).

41

По воспоминаниям И. И. Панаева, Некрасов в середине 1840-х гг. очень увлекался Жорж Санд (см.: Панаев, с. 248). Такое же увлечение пережила и Панаева (см.:

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekрасovniko1a Панаева, с. 89).

42

См.: Шекспир и русская культура. М.-Л., 1965, с. 285, 317, 363.

43

См.: Зими́на, с. 195, а также: Евгенъев-Максимов, т. II, с. 164.

44

Среди неосуществленных замыслов Григоровича были сюжеты, развитые позднее Некрасовым и Панаевой в «Трех странах света» и в «Мертвом озере», например «Прачка», «Простодушный ремесленник», «Художник», «Столичные приживальщики», «Актер-бенефициант» (см.: <Григорович Д. В.>. Дагерротип. Картины, эскизы, силуэты современных нравов. – ЦГАЛИ, ф. 138, оп. 2, ед. хр. 2, л. 1-1об.). Некоторые из подобных зарисовок были опубликованы Григоровичем в «Литературной газете», в отделе «Дагерротип» (см.: ЛГ, 1845, 18 янв., № 3; 8 февр., № 6; 1 марта, № 8), где в это время сотрудничал и Некрасов. О предполагавшемся соавторстве Григоровича в написании «Трех стран света» см.: наст. изд., т. IX, кн. 2, с. 327–328, 347–349, 352.

45

См.: Долгих У. М. А. Я. Панаева – соавтор Н. А. Некрасова (роман «Три страны света»). – В кн.: Пути развития русской прозы XIX в. Л., 1976, с. 47.

46

Скабичевский, с. 395; см. также: Скабичевский А. Соч., т. 2. СПб., 1890, с. 361.

47

Скабичевский, с. 394.

48

См.: Скабичевский А. Соч., т. 2, с. 360.

49

Панаева, выросшая в столице, поверхностно знала помещичью жизнь – по непродолжительным наблюдениям в 1839 и 1846 гг., когда она побывала в Казанской губернии, где находилось имение ее мужа.

50

См., например: Глинка Ф. С. К биографии Н. А. Некрасова. – ИВ, 1891, кн. 2, с. 585–586.

51

См.: Успенский Н. Воспоминание о Н. А. Некрасове (письмо в редакцию). – Иллюстрированная газ., 1878, 5 февр., № 6.

52

См.: Евгенъев В. Н. А. Некрасов, с. 42–43.

53

См.: Алексеев А. А. Воспоминания актера, с. 31–33, 35–38; Шуберт А. И. Моя жизнь, с. 86–87; Писарев М. И. Воспоминания о Некрасове. – Новости, 1902, 25 дек., № 355. См. также: наст. изд., т. VI, с. 672–673; ИВ, 1890, кн. 2, с. 338.

54

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
Позднее Куликов не без горечи вспоминал о «слишком близком знакомстве с Н. А. Некрасовым» (Куликов Н.И. Театральные воспоминания. – Искусство, 1883, № 22, с. 255). В письме к матери от 28 мая 1850 г. Куликов сетовал на то, что Некрасов у него не был «вот уже несколько лет» (Куликов Н. И. Дневник режиссера. – Б-ка театра и искусства, 1913, кн. 3, с. 21).

55

Щепкин любил вспоминать о своих странствованиях с труппой бродячих актеров. В 1845 или 1846 г. в Москве его слушательницей была Панаева: «За ужином Щепкина всегда просили рассказать что-нибудь из его молодости, когда он еще был провинциальным актером и служил у антрепренеров» (Панаева, с. 149). См. также: Тур Евгения. Профессор П. Н. Кудрявцев. Воспоминания. М., 1891, с. 36.

56

Летом 1845 г. Панаевы и Некрасов жили возле подобной дачи в Соколове (см.: Панаев, с. 209; Анненков, с. 257). Здесь отдыхал в это лето и Щепкин (см.: наст. изд., т. VII, с. 602). Ранее в Соколове жил на даче Нащокин (см.: Михаил Семенович Щепкин. 1788–1863. СПб., 1914, с. 386).

57

См. также: Чернышевский, т. IV, с. 581.

58

Если это действительно так, то этот текст после соответствующих переделок мог перейти в «Мертвое озеро» либо из романа «Актриса», либо из части второй повести «Пасека» – произведений, обещанных автором, но, по-видимому, незавершенных (см. выше).

59

Важнейшие данные для атрибуции дают лексико-синтаксические сопоставления, но они составляют предмет специального исследования и не могут войти в состав данного комментария.

60

Добролюбов Н. А. Дневники. 1851–1859. 2-е изд. М., 1932, с. 48.

61

Там же.

62

Тургенев, Соч., т. II, с. 32.

63

См.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. и писем: в 90-та т., т. 47. М., 1937, с. 164.

64

Ап. Григорьев познакомился с Панаевой в начале 1840-х гг., встречаясь с нею в доме В. С. Межевича.

65 См.: Старчевский А. В. Александр Васильевич Дружинин, – Наблюдатель, 1885, № 4, с. 125.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке <http://nekrasovniko1ai.ru/> Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

ание сочинений в пятнадцати томах. Том 10. Мертвое озеро. Николай Алексеевич Некрасов nekrasovniko1a  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет  
магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных  
сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>  
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!